М. Лермонтов



ГОСУДАРСТВЕННОЕ
ИЗДАТЕЛЬСТВО
ХУДОЖЕСТВЕННОЙ
ЛИТЕРАТУРЫ

М·Ю·ЛЕРМОНТОВ

СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ

В ЧЕТЫРЕХ ТОМАХ

Под общей редакцией
И. Л. АНДРОНИКОВА, Д. Д. БЛАГОГО,
Ю. Г. ОКСМАНА

Государственное издательство
ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
МОСКВА 1958

М·Ю·ЛЕРМОНТОВ

СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ

ТОМ ЧЕТВЕРТЫЙ

ПРОЗА
ПИСЬМА

Государственное издательство
ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
МОСКВА 1958

Подготовка текста и примечания
В. А. МАНУЙЛОВА

Переплет художника
И. ЖИХАРЕВА

ГЕРОЙ
НАШЕГО ВРЕМЕНИ

Во всякой книге предисловие есть первая и вместе с тем последняя вещь; оно или служит объяснением цели сочинения, или оправданием и ответом на критики. Но обыкновенно читателям дела нет до нравственной цели и до журнальных нападок, и потому они не читают предисловий. А жаль, что это так, особенно у нас. Наша публика так еще молода и простодушна, что не понимает басни, если в конце ее не находит нравоучения. Она не угадывает шутки, не чувствует иронии; она просто дурно воспитана. Она еще не знает, что в порядочном обществе и в порядочной книге явная брань не может иметь места; что современная образованность изобрела орудие более острое, почти невидимое и тем не менее смертельное, которое, под одеждою лести, наносит неотразимый и верный удар. Наша публика похожа на провинциала, который, подслушав разговор двух дипломатов, принадлежащих к враждебным дворам, остался бы уверен, что каждый из них обманывает свое правительство в пользу взаимной, нежнейшей дружбы.

Эта книга испытала на себе еще недавно несчастную доверчивость некоторых читателей и даже журналов к буквальному значению слов. Иные ужасно обиделись, и не шутя, что им ставят в пример такого безнравственного человека, как Герой Нашего Времени; другие же очень тонко замечали, что сочинитель нарисовал свой портрет и портреты своих знакомых... Старая

и жалкая шутка! Но, видно, Русь так уж сотворена, что все в ней обновляется, кроме подобных нелепостей. Самая волшебная из волшебных сказок у нас едва ли избегнет упрека в покушении на оскорбление личности!

Герой Нашего Времени, милостивые государи мои, точно портрет, но не одного человека: это портрет, составленный из пороков всего нашего поколения, в полном их развитии. Вы мне опять скажете, что человек не может быть так дурен, а я вам скажу, что ежели вы верили возможности существования всех трагических и романтических злодеев, отчего же вы не веруете в действительность Печорина? Если вы любовались вымыслами гораздо более ужасными и уродливыми, отчего же этот характер, даже как вымысел, не находит у вас пощады? Уж не оттого ли, что в нем больше правды, нежели бы вы того желали?..

Вы скажете, что нравственность от этого не выигрывает? Извините. Довольно людей кормили сластями; у них от этого испортился желудок: нужны горькие лекарства, едкие истины. Но не думайте, однако, после этого, чтоб автор этой книги имел когда-нибудь гордую мечту сделаться исправителем людских пороков. Боже его избави от такого невежества! Ему просто было весело рисовать современного человека, каким он его понимает и, к его и вашему несчастию, слишком часто встречал. Будет и того, что болезнь указана, а как ее излечить — это уж бог знает!

Часть первая

I

БЭЛА

Я ехал на перекладных из Тифлиса. Вся поклажа моей тележки состояла из одного небольшого чемодана, который до половины был набит путевыми записками о Грузии. Большая часть из них, к счастию

для вас, потеряна, а чемодан с остальными вещами, к счастию для меня, остался цел.

Уж солнце начинало прятаться за снеговой хребет, когда я въехал в Койшаурскую долину. Осетин-извозчик неутомимо погонял лошадей, чтоб успеть до ночи взобраться на Койшаурскую гору, и во все горло распевал песни. Славное место эта долина! Со всех сторон горы неприступные, красноватые скалы, обвешанные зеленым плющом и увенчанные купами чинар, желтые обрывы, исчерченные промоинами, а там высоко-высоко золотая бахрома снегов, а внизу Арагва, обнявшись с другой безыменной речкой, шумно вырывающейся из черного, полного мглою ущелья, тянется серебряною нитью и сверкает, как змея своею чешуею.

Подъехав к подошве Койшаурской горы, мы остановились возле духана. Тут толпилось шумно десятка два грузин и горцев; поблизости караван верблюдов остановился для ночлега. Я должен был нанять быков, чтоб втащить мою тележку на эту проклятую гору, потому что была уже осень и гололедица, — а эта гора имеет около двух верст длины.

Нечего делать, я нанял шесть быков и нескольких осетин. Один из них взвалил себе на плечи мой чемодан, другие стали помогать быкам почти одним криком.

За моею тележкою четверка быков тащила другую как ни в чем не бывала, несмотря на то, что она была доверху накладена. Это обстоятельство меня удивило. За нею шел ее хозяин, покуривая из маленькой кабардинской трубочки, обделанной в серебро. На нем был офицерский сюртук без эполет и черкесская мохнатая шапка. Он казался лет пятидесяти; смуглый цвет лица его показывал, что оно давно знакомо с закавказским солнцем, и преждевременно поседевшие усы не соответствовали его твердой походке и бодрому виду. Я подошел к нему и поклонился; он молча отвечал мне на поклон и пустил огромный клуб дыма.

— Мы с вами попутчики, кажется?

Он молча опять поклонился.

— Вы, верно, едете в Ставрополь?

— Так-с точно... с казенными вещами.

— Скажите, пожалуйста, отчего это вашу тяжелую тележку четыре быка тащат шутя, а мою, пустую, шесть скотов едва подвигают с помощию этих осетин?

Он лукаво улыбнулся и значительно взглянул на меня.

— Вы, верно, недавно на Кавказе?

— С год, — отвечал я.

Он улыбнулся вторично.

— А что ж?

— Да так-с! Ужасные бестии эти азиаты! Вы думаете, они помогают, что кричат? А черт их разберет, что они кричат? Быки-то их понимают; запрягите хоть двадцать, так коли они крикнут по-своему, быки всё ни с места... Ужасные плуты! А что с них возьмешь?.. Любят деньги драть с проезжающих... Избаловали мошенников! Увидите, они еще с вас возьмут на водку. Уж я их знаю, меня не проведут!

— А вы давно здесь служите?

— Да, я уж здесь служил при Алексее Петровиче [1], — отвечал он, приосанившись. — Когда он приехал на Линию, я был подпоручиком, — прибавил он, — и при нем получил два чина за дела против горцев.

— А теперь вы?..

— Теперь считаюсь в третьем линейном батальоне. А вы, смею спросить?..

Я сказал ему.

Разговор этим кончился, и мы продолжали молча идти друг подле друга. На вершине горы нашли мы снег. Солнце закатилось, и ночь последовала за днем без промежутка, как это обыкновенно бывает на юге; но благодаря отливу снегов мы легко могли различать дорогу, которая все еще шла в гору, хотя уже не так круто. Я велел положить чемодан свой в тележку, заменить быков лошадьми и в последний раз оглянулся вниз на долину; но густой туман, нахлынувший волнами из ущелий, покрывал ее совершенно, и ни

---

[1] Ермолове. *(Прим. М. Ю. Лермонтова.)*

единый звук не долетал уже оттуда до нашего слуха. Осетины шумно обступили меня и требовали на водку; но штабс-капитан так грозно на них прикрикнул, что они вмиг разбежались.

— Ведь этакий народ! — сказал он, — и хлеба по-русски назвать не умеет, а выучил: «Офицер, дай на водку!» Уж татары по мне лучше: те хоть непьющие...

До станции оставалось еще с версту. Кругом было тихо, так тихо, что по жужжанию комара можно было следить за его полетом. Налево чернело глубокое ущелье; за ним и впереди нас темно-синие вершины гор, изрытые морщинами, покрытые слоями снега, рисовались на бледном небосклоне, еще сохранявшем последний отблеск зари. На темном небе начинали мелькать звезды, и странно, мне показалось, что они гораздо выше, чем у нас на севере. По обеим сторонам дороги торчали голые, черные камни; кой-где из-под снега выглядывали кустарники, но ни один сухой листок не шевелился, и весело было слышать среди этого мертвого сна природы фырканье усталой почтовой тройки и неровное побрякиванье русского колокольчика.

— Завтра будет славная погода! — сказал я.

Штабс-капитан не отвечал ни слова и указал мне пальцем на высокую гору, поднимавшуюся прямо против нас.

— Что ж это? — спросил я.

— Гуд-гора.

— Ну так что ж?

— Посмотрите, как курится.

И в самом деле, Гуд-гора курилась; по бокам ее ползали легкие струйки облаков, а на вершине лежала черная туча, такая черная, что на темном небе она казалась пятном.

Уж мы различали почтовую станцию, кровли окружающих ее саклей, и перед нами мелькали приветные огоньки, когда пахну́л сырой, холодный ветер, ущелье загудело и пошел мелкий дождь. Едва успел я накинуть бурку, как повалил снег. Я с благоговением посмотрел на штабс-капитана...

— Нам придется здесь ночевать, — сказал он с досадою, — в такую метель через горы не переедешь. Что? были ль обвалы на Крестовой? — спросил он извозчика.

— Не было, господин, — отвечал осетин-извозчик, — а висит много, много.

За неимением комнаты для проезжающих на станции, нам отвели ночлег в дымной сакле. Я пригласил своего спутника выпить вместе стакан чая, ибо со мной был чугунный чайник — единственная отрада моя в путешествиях по Кавказу.

Сакля была прилеплена одним боком к скале; три скользкие, мокрые ступени вели к ее двери. Ощупью вошел я и наткнулся на корову (хлев у этих людей заменяет лакейскую). Я не знал, куда деваться: тут блеют овцы, там ворчит собака. К счастию, в стороне блеснул тусклый свет и помог мне найти другое отверстие наподобие двери. Тут открылась картина довольно занимательная: широкая сакля, которой крыша опиралась на два закопченные столба, была полна народа. Посередине трещал огонек, разложенный на земле, и дым, выталкиваемый обратно ветром из отверстия в крыше, расстилался вокруг такой густой пеленою, что я долго не мог осмотреться; у огня сидели две старухи, множество детей и один худощавый грузин, все в лохмотьях. Нечего было делать, мы приютились у огня, закурили трубки, и скоро чайник зашипел приветливо.

— Жалкие люди! — сказал я штабс-капитану, указывая на наших грязных хозяев, которые молча на нас смотрели в каком-то остолбенении.

— Преглупый народ! — отвечал он. — Поверите ли? ничего не умеют, не способны ни к какому образованию! Уж по крайней мере наши кабардинцы или чеченцы хотя разбойники, голыши, зато отчаянные башки, а у этих и к оружию никакой охоты нет: порядочного кинжала ни на одном не увидишь. Уж подлинно осетины!

— А вы долго были в Чечне?

— Да, я лет десять стоял там в крепости с ротою, у Каменного Брода, — знаете?

— Слыхал.

— Вот, батюшка, надоели нам эти головорезы! Нынче, слава богу, смирнее; а бывало, на сто шагов отойдешь за вал, уж где-нибудь косматый дьявол сидит и караулит: чуть зазевался, того и гляди — либо аркан на шее, либо пуля в затылке. А молодцы!..

— А, чай, много с вами бывало приключений? — сказал я, подстрекаемый любопытством.

— Как не бывать! бывало...

Тут он начал щипать левый ус, повесил голову и призадумался. Мне страх хотелось вытянуть из него какую-нибудь историйку — желание, свойственное всем путешествующим и записывающим людям. Между тем чай поспел; я вытащил из чемодана два походные стаканчика, налил и поставил один перед ним. Он отхлебнул и сказал как будто про себя: «Да, бывало!» Это восклицание подало мне большие надежды. Я знаю, старые кавказцы любят поговорить, порассказать; им так редко это удается: другой лет пять стоит где-нибудь в захолустье с ротой, и целые пять лет ему никто не скажет «здравствуйте» (потому что фельдфебель говорит «здравия желаю»). А поболтать было бы о чем: кругом народ дикий, любопытный; каждый день опасность, случаи бывают чудные, и тут поневоле пожалеешь о том, что у нас так мало записывают.

— Не хотите ли подбавить рому? — сказал я моему собеседнику, — у меня есть белый из Тифлиса; теперь холодно.

— Нет-с, благодарствуйте, не пью.

— Что так?

— Да так. Я дал себе заклятье. Когда я был еще подпоручиком, раз, знаете, мы подгуляли между собою, а ночью сделалась тревога; вот мы и вышли перед фрунт нàвеселе, да уж и досталось нам, как Алексей Петрович узнал: не дай господи, как он рассердился! чуть-чуть не отдал под суд. Оно и точно: другой раз целый год живешь, никого не видишь, да как тут еще водка — пропадший человек!

Услышав это, я почти потерял надежду.

— Да вот хоть черкесы, — продолжал он, — как напьются бузы на свадьбе или на похоронах, так и пошла рубка. Я раз насилу ноги унес, а еще у мирнова князя был в гостях.

— Как же это случилось?

— Вот (он набил трубку, затянулся и начал рассказывать), вот изволите видеть, я тогда стоял в крепости за Тереком с ротой — этому скоро пять лет. Раз, осенью, пришел транспорт с провиантом; в транспорте был офицер, молодой человек лет двадцати пяти. Он явился ко мне в полной форме и объявил, что ему велено остаться у меня в крепости. Он был такой тоненький, беленький, на нем мундир был такой новенький, что я тотчас догадался, что он на Кавказе у нас недавно. «Вы, верно, — спросил я его, — переведены сюда из России?» — «Точно так, господин штабс-капитан», — отвечал он. Я взял его за руку и сказал: «Очень рад, очень рад. Вам будет немножко скучно... ну, да мы с вами будем жить по-приятельски. Да, пожалуйста, зовите меня просто Максим Максимыч, и, пожалуйста, — к чему эта полная форма? приходите ко мне всегда в фуражке». Ему отвели квартиру, и он поселился в крепости.

— А как его звали? — спросил я Максима Максимыча.

— Его звали... Григорьем Александровичем *Печориным*. Славный был малый, смею вас уверить; только немножко странен. Ведь, например, в дождик, в холод целый день на охоте; все иззябнут, устанут — а ему ничего. А другой раз сидит у себя в комнате, ветер пахнёт, уверяет, что простудился; ставнем стукнет, он вздрогнет и побледнеет; а при мне ходил на кабана один на один; бывало, по целым часам слова не добьешься, зато уж иногда как начнет рассказывать, так животики надорвешь со смеха... Да-с, с большими странностями, и, должно быть, богатый человек: сколько у него было разных дорогих вещиц!..

— А долго он с вами жил? — спросил я опять.

— Да с год. Ну да уж зато памятен мне этот год; наделал он мне хлопот, не тем будь помянут! Ведь

есть, право, этакие люди, у которых на роду написано, что с ними должны случаться разные необыкновенные вещи!

— Необыкновенные? — воскликнул я с видом любопытства, подливая ему чая.

— А вот я вам расскажу. Верст шесть от крепости жил один мирно́й князь. Сынишка его, мальчик лет пятнадцати, повадился к нам ездить: всякий день, бывало, то за тем, то за другим. И уж точно, избаловали мы его с Григорьем Александровичем. А уж какой был головорез, проворный на что хочешь: шапку ли поднять на всем скаку, из ружья ли стрелять. Одно было в нем нехорошо: ужасно падок был на деньги. Раз, для смеха, Григорий Александрович обещался ему дать червонец, коли он ему украдет лучшего козла из отцовского стада; и что ж вы думаете? на другую же ночь притащил его за рога. А бывало, мы его вздумаем дразнить, так глаза кровью и нальются, и сейчас за кинжал. «Эй, Азамат, не сносить тебе головы, — говорил я ему, — яман [1] будет твоя башка!»

Раз приезжает сам старый князь звать нас на свадьбу: он отдавал старшую дочь замуж, а мы были с ним кунаки: так нельзя же, знаете, отказаться, хоть он и татарин. Отправились. В ауле множество собак встретило нас громким лаем. Женщины, увидя нас, прятались; те, которых мы могли рассмотреть в лицо, были далеко не красавицы. «Я имел гораздо лучшее мнение о черкешенках», — сказал мне Григорий Александрович. «Погодите!» — отвечал я, усмехаясь. У меня было свое на уме.

У князя в сакле собралось уже множество народа. У азиатов, знаете, обычай всех встречных и поперечных приглашать на свадьбу. Нас приняли со всеми почестями и повели в кунацкую. Я, однако ж, не позабыл подметить, где поставили наших лошадей, знаете, для непредвидимого случая.

— Как же у них празднуют свадьбу? — спросил я штабс-капитана.

---

[1] плохо (*тюрк.*).

— Да обыкновенно. Сначала мулла прочитает им что-то из корана; потом дарят молодых и всех их родственников; едят, пьют бузу; потом начинается джигитовка, и всегда один какой-нибудь оборвыш, засаленный, на скверной, хромой лошаденке, ломается, паясничает, смешит честну́ю компанию; потом, когда смеркнется, в кунацкой начинается, по нашему сказать, бал. Бедный старичишка брянчит на трехструнной... забыл, как по-ихнему... ну, да вроде нашей балалайки. Девки и молодые ребята становятся в две шеренги, одна против другой, хлопают в ладоши и поют. Вот выходит одна девка и один мужчина на середину и начинают говорить друг другу стихи нараспев, что попало, а остальные подхватывают хором. Мы с Печориным сидели на почетном месте, и вот к нему подошла меньшая дочь хозяина, девушка лет шестнадцати, и пропела ему... как бы сказать?.. вроде комплимента.

— А что ж такое она пропела, не помните ли?

— Да, кажется, вот так: «Стройны, дескать, наши молодые джигиты, и кафтаны на них серебром выложены, а молодой русский офицер стройнее их, и галуны на нем золотые. Он как тополь между ними; только не расти, не цвести ему в нашем саду». Печорин встал, поклонился ей, приложил руку ко лбу и сердцу и просил меня отвечать ей; я хорошо знаю по-ихнему и перевел его ответ.

Когда она от нас отошла, тогда я шепнул Григорью Александровичу: «Ну что, какова?» — «Прелесть! — отвечал он. — А как ее зовут?» — «Ее зовут Бэлою», — отвечал я.

И точно, она была хороша: высокая, тоненькая, глаза черные, как у горной серны, так и заглядывали к вам в душу. Печорин в задумчивости не сводил с нее глаз, и она частенько исподлобья на него посматривала. Только не один Печорин любовался хорошенькой княжной: из угла комнаты на нее смотрели другие два глаза, неподвижные, огненные. Я стал вглядываться и узнал моего старого знакомца Казбича. Он, знаете, был не то, чтоб мирно́й, не то, чтоб немирно́й. Подозрений на него было много, хоть он



Вид на Бештау

Рисунок Лермонтова

Дарьяльское ущелье возле станции Балта

Рисунок Лермонтова

ни в какой шалости не был замечен. Бывало, он приводил к нам в крепость баранов и продавал дешево, только никогда не торговался: что запросит, давай, — хоть зарежь, не уступит. Говорили про него, что он любит таскаться за Кубань с абреками, и, правду сказать, рожа у него была самая разбойничья: маленький, сухой, широкоплечий... А уж ловок-то, ловок-то был, как бес! Бешмет всегда изорванный, в заплатках, а оружие в серебре. А лошадь его славилась в целой Кабарде, — и точно, лучше этой лошади ничего выдумать невозможно. Недаром ему завидовали все наездники и не раз пытались ее украсть, только не удавалось. Как теперь гляжу на эту лошадь: вороная как смоль, ноги — струнки, и глаза не хуже, чем у Бэлы; а какая сила! скачи хоть на пятьдесят верст; а уж выезжена — как собака бегает за хозяином, голос даже его знала! Бывало, он ее никогда и не привязывает. Уж такая разбойничья лошадь!..

В этот вечер Казбич был угрюмее, чем когда-нибудь, и я заметил, что у него под бешметом надета кольчуга. «Недаром на нем эта кольчуга, — подумал я, — уж он, верно, что-нибудь замышляет».

Душно стало в сакле, и я вышел на воздух освежиться. Ночь уж ложилась на горы, и туман начинал бродить по ущельям.

Мне вздумалось завернуть под навес, где стояли наши лошади, посмотреть, есть ли у них корм, и притом осторожность никогда не мешает: у меня же была лошадь славная, и уж не один кабардинец на нее умильно поглядывал, приговаривая: «*Якши тхе, чек якши!*» [1]

Пробираюсь вдоль забора и вдруг слышу голоса; один голос я тотчас узнал: это был повеса Азамат, сын нашего хозяина; другой говорил реже и тише. «О чем они тут толкуют? — подумал я, — уж не о моей ли лошадке?» Вот присел я у забора и стал прислушиваться, стараясь не пропустить ни одного слова. Иногда шум песен и говор голосов, вылетая из сакли, заглушали любопытный для меня разговор.

---

[1] Хороша, очень хороша! *(тюрк.)*

— Славная у тебя лошадь! — говорил Азамат, — если б я был хозяин в доме и имел табун в триста кобыл, то отдал бы половину за твоего скакуна, Казбич!

«А! Казбич!» — подумал я и вспомнил кольчугу.

— Да, — отвечал Казбич после некоторого молчания, — в целой Кабарде не найдешь такой. Раз, — это было за Тереком, — я ездил с абреками отбивать русские табуны; нам не посчастливилось, и мы рассыпались кто куда. За мной неслись четыре казака; уж я слышал за собою крики гяуров, и передо мною был густой лес. Прилег я на седло, поручил себя аллаху и в первый раз в жизни оскорбил коня ударом плети. Как птица нырнул он между ветвями; острые колючки рвали мою одежду, сухие сучья карагача били меня по лицу. Конь мой прыгал через пни, разрывал кусты грудью. Лучше было бы мне его бросить у опушки и скрыться в лесу пешком, да жаль было с ним расстаться, — и пророк вознаградил меня. Несколько пуль провизжало над моей головою; я уж слышал, как спешившиеся казаки бежали по следам... Вдруг передо мною рытвина глубокая; скакун мой призадумался — и прыгнул. Задние его копыта оборвались с противного берега, и он повис на передних ногах. Я бросил поводья и полетел в овраг; это спасло моего коня: он выскочил. Казаки всё это видели, только ни один не спустился меня искать: они, верно, думали, что я убился до смерти, и я слышал, как они бросились ловить моего коня. Сердце мое облилось кровью; пополз я по густой траве вдоль по оврагу, — смотрю: лес кончился, несколько казаков выезжают из него на поляну, и вот выскакивает прямо к ним мой Карагёз; все кинулись за ним с криком; долго, долго они за ним гонялись, особенно один раза два чуть-чуть не накинул ему на шею аркана; я задрожал, опустил глаза и начал молиться. Через несколько мгновений поднимаю их — и вижу: мой Карагёз летит, развевая хвост, вольный как ветер, а гяуры далеко один за другим тянутся по степи на измученных конях. Валлах! это правда, истинная правда! До поздней ночи я сидел в своем овраге.

Вдруг, что ж ты думаешь, Азамат? во мраке слышу, бегает по берегу оврага конь, фыркает, ржет и бьет копытами о землю; я узнал голос моего Карагёза: это был он, мой товарищ!.. С тех пор мы не разлучались.

И слышно было, как он трепал рукою по гладкой шее своего скакуна, давая ему разные нежные названья.

— Если б у меня был табун в тысячу кобыл, — сказал Азамат, — то отдал бы тебе его весь за твоего Карагёза.

— *Йок*[1], не хочу, — отвечал равнодушно Казбич.

— Послушай, Казбич, — говорил, ласкаясь к нему, Азамат, — ты добрый человек, ты храбрый джигит, а мой отец боится русских и не пускает меня в горы; отдай мне свою лошадь, и я сделаю все, что ты хочешь, украду для тебя у отца лучшую его винтовку или шашку, что только пожелаешь, — а шашка его настоящая гурда: приложи лезвеем к руке, сама в тело вопьется; а кольчуга — такая, как твоя, нипочем.

Казбич молчал.

— В первый раз, как я увидел твоего коня, — продолжал Азамат, — когда он под тобой крутился и прыгал, раздувая ноздри, и кремни брызгами летели из-под копыт его, в моей душе сделалось что-то непонятное, и с тех пор все мне опостылело: на лучших скакунов моего отца смотрел я с презрением, стыдно было мне на них показаться, и тоска овладела мной; и, тоскуя, просиживал я на утесе целые дни, и ежеминутно мыслям моим являлся воронóй скакун твой с своей стройной поступью, с своим гладким, прямым, как стрела, хребтом; он смотрел мне в глаза своими бойкими глазами, как будто хотел слово вымолвить. Я умру, Казбич, если ты мне не продашь его! — сказал Азамат дрожащим голосом.

Мне послышалось, что он заплакал: а надо вам сказать, что Азамат был преупрямый мальчишка, и ничем, бывало, у него слез не выбьешь, даже когда он был и помоложе.

---

[1] Нет (*тюрк.*).

В ответ на его слезы послышалось что-то вроде смеха.

— Послушай! — сказал твердым голосом Азамат, — видишь, я на все решаюсь. Хочешь, я украду для тебя мою сестру? Как она пляшет! как поет! а вышивает золотом — чудо! Не бывало такой жены и у турецкого падишаха... Хочешь? дождись меня завтра ночью там, в ущелье, где бежит поток: я пойду с нею мимо в соседний аул, — и она твоя. Неужели не сто̀ит Бэла твоего скакуна?

Долго, долго молчал Казбич; наконец, вместо ответа он затянул старинную песню вполголоса: [1]

Много красавиц в аулах у нас,
Звезды сияют во мраке их глаз.
Сладко любить их, завидная доля;
Но веселей молодецкая воля.
Золото купит четыре жены,
Конь же лихой не имеет цены:
Он и от вихря в степи не отстанет,
Он не изменит, он не обманет.

Напрасно упрашивал его Азамат согласиться, и плакал, и льстил ему, и клялся; наконец, Казбич нетерпеливо прервал его:

— Поди прочь, безумный мальчишка! Где тебе ездить на моем коне? На первых трех шагах он тебя сбросит, и ты разобьешь себе затылок об камни.

— Меня! — крикнул Азамат в бешенстве, и железо детского кинжала зазвенело об кольчугу. Сильная рука оттолкнула его прочь, и он ударился об плетень так, что плетень зашатался. «Будет потеха!» — подумал я, кинулся в конюшню, взнуздал лошадей наших и вывел их на задний двор. Через две минуты уж в сакле был ужасный гвалт. Вот что случилось: Азамат вбежал туда в разорванном бешмете, говоря, что Казбич хотел его зарезать. Все выскочили, схватились за ружья — и пошла потеха!

---

[1] Я прошу прощения у читателей в том, что переложил в стихи песню Казбича, переданную мне, разумеется, прозой; но привычка — вторая натура. (*Прим. М. Ю. Лермонтова.*)

Крик, шум, выстрелы; только Казбич уж был верхом и вертелся среди толпы по улице, как бес, отмахиваясь шашкой.

— Плохое дело в чужом пиру похмелье, — сказал я Григорью Александровичу, поймав его за руку,— не лучше ли нам поскорей убраться?

— Да погодите, чем кончится.

— Да уж, верно, кончится худо; у этих азиатов все так: натянулись бузы, и пошла резня! — Мы сели верхом и ускакали домой.

— А что Казбич? — спросил я нетерпеливо у штабс-капитана.

— Да что этому народу делается! — отвечал он, допивая стакан чая, — ведь ускользнул!

— И не ранен? — спросил я.

— А бог его знает! Живущи, разбойники! Видал я-с иных в деле, например: ведь весь исколот, как решето, штыками, а все махает шашкой. — Штабс-капитан после некоторого молчания продолжал, топнув ногою о землю: — Никогда себе не прощу одного: черт меня дернул, приехав в крепость, пересказать Григорью Александровичу все, что я слышал, сидя за забором; он посмеялся, — такой хитрый! — а сам задумал кое-что.

— А что такое? Расскажите, пожалуйста.

— Ну уж нечего делать! начал рассказывать, так надо продолжать.

Дня через четыре приезжает Азамат в крепость. По обыкновению, он зашел к Григорью Александровичу, который его всегда кормил лакомствами. Я был тут. Зашел разговор о лошадях, и Печорин начал расхваливать лошадь Казбича: уж такая-то она резвая, красивая, словно серна, — ну, просто, по его словам, этакой и в целом мире нет.

Засверкали глазенки у татарчонка, а Печорин будто не замечает; я заговорю о другом, а он, смотришь, тотчас собьет разговор на лошадь Казбича. Эта история продолжалась всякий раз, как приезжал Азамат. Недели три спустя стал я замечать, что Азамат бледнеет и сохнет, как бывает от любви в романах-с. Что за диво?..

Вот видите, я уж после узнал всю эту штуку: Григорий Александрович до того его задразнил, что хоть в воду. Раз он ему и скажи:

— Вижу, Азамат, что тебе больно понравилась эта лошадь; а не видать тебе ее, как своего затылка! Ну, скажи, что бы ты дал тому, кто тебе ее подарил бы?..

— Все, что он захочет, — отвечал Азамат.

— В таком случае я тебе ее достану, только с условием... Поклянись, что ты его исполнишь...

— Клянусь... Клянись и ты!

— Хорошо! Клянусь, ты будешь владеть конем; только за него ты должен отдать мне сестру Бэлу: Карагёз будет ее калымом. Надеюсь, что торг для тебя выгоден.

Азамат молчал.

— Не хочешь? Ну, как хочешь! Я думал, что ты мужчина, а ты еще ребенок: рано тебе ездить верхом...

Азамат вспыхнул.

— А мой отец? — сказал он.

— Разве он никогда не уезжает?

— Правда....

— Согласен?..

— Согласен, — прошептал Азамат, бледный как смерть. — Когда же?

— В первый раз, как Казбич приедет сюда; он обещался пригнать десяток баранов; остальное — мое дело. Смотри же, Азамат!

Вот они и сладили это дело... по правде сказать, нехорошее дело! Я после и говорил это Печорину, да только он мне отвечал, что дикая черкешенка должна быть счастлива, имея такого милого мужа, как он, потому что, по-ихнему, он все-таки ее муж, а что Казбич — разбойник, которого надо было наказать. Сами посудите, что ж я мог отвечать против этого?.. Но в то время я ничего не знал об их заговоре. Вот раз приехал Казбич и спрашивает, не нужно ли баранов и меда; я велел ему привести на другой день.

— Азамат! — сказал Григорий Александрович, — завтра Карагёз в моих руках; если нынче ночью Бэла не будет здесь, то не видать тебе коня...

— Хорошо! — сказал Азамат и поскакал в аул.

Вечером Григорий Александрович вооружился и выехал из крепости: как они сладили это дело, не знаю, — только ночью они оба возвратились, и часовой видел, что поперек седла Азамата лежала женщина, у которой руки и ноги были связаны, а голова окутана чадрой.

— А лошадь? — спросил я у штабс-капитана.

— Сейчас, сейчас. На другой день утром рано приехал Казбич и пригнал десяток баранов на продажу. Привязав лошадь у забора, он вошел ко мне; я попотчевал его чаем, потому что хотя разбойник он, а все-таки был моим кунаком [1].

Стали мы болтать о том, о сем... Вдруг, смотрю, Казбич вздрогнул, переменился в лице — и к окну; но окно, к несчастию, выходило на задворье.

— Что с тобой? — спросил я.

— Моя лошадь!.. лошадь! — сказал он, весь дрожа.

Точно, я услышал топот копыт: «Это, верно, какой-нибудь казак приехал...»

— Нет! Урус яман, яман! — заревел он и опрометью бросился вон, как дикий барс. В два прыжка он был уж на дворе; у ворот крепости часовой загородил ему путь ружьем; он перескочил через ружье и кинулся бежать по дороге... Вдали вилась пыль — Азамат скакал на лихом Карагёзе; на бегу Казбич выхватил из чехла ружье и выстрелил. С минуту он остался неподвижен, пока не убедился, что дал промах; потом завизжал, ударил ружье о камень, разбил его вдребезги, повалился на землю и зарыдал, как ребенок... Вот кругом него собрался народ из крепости — он никого не замечал; постояли, потолковали и пошли назад; я велел возле его положить деньги за баранов — он их не тронул, лежал себе ничком, как мертвый. Поверите ли, он так пролежал до поздней ночи и целую ночь?.. Только на другое утро пришел в крепость и стал просить, чтоб ему назвали похитителя. Часовой, который видел, как Азамат отвязал коня и ускакал на нем, не почел за нужное скрывать. При

[1] Кунак значит — приятель. (*Прим. М. Ю. Лермонтова.*)

этом имени глаза Казбича засверкали, и он отправился в аул, где жил отец Азамата.

— Что ж отец?

— Да в том-то и штука, что его Казбич не нашел: он куда-то уезжал дней на шесть, а то удалось ли бы Азамату увезти сестру?

А когда отец возвратился, то ни дочери, ни сына не было. Такой хитрец: ведь смекнул, что не сносить ему головы, если б он попался. Так с тех пор и пропал: верно, пристал к какой-нибудь шайке абреков, да и сложил буйную голову за Тереком или за Кубанью: туда и дорога!..

Признаюсь, и на мою долю порядочно досталось. Как я только проведал, что черкешенка у Григорья Александровича, то надел эполеты, шпагу и пошел к нему.

Он лежал в первой комнате на постели, подложив одну руку под затылок, а в другой держа погасшую трубку; дверь во вторую комнату была заперта на замок, и ключа в замке не было. Я все это тотчас заметил... Я начал кашлять и постукивать каблуками о порог, — только он притворялся, будто не слышит.

— Господин прапорщик! — сказал я как можно строже. — Разве вы не видите, что я к вам пришел?

— Ах, здравствуйте, Максим Максимыч! Не хотите ли трубку? — отвечал он, не приподнимаясь.

— Извините! Я не Максим Максимыч: я штабс-капитан.

— Все равно. Не хотите ли чаю? Если б вы знали, какая мучит меня забота!

— Я все знаю, — отвечал я, подошед к кровати.

— Тем лучше: я не в духе рассказывать.

— Господин прапорщик, вы сделали проступок, за который и я могу отвечать...

— И, полноте! что ж за беда? Ведь у нас давно все пополам.

— Что за шутки? Пожалуйте вашу шпагу!

— Митька, шпагу!..

Митька принес шпагу. Исполнив долг свой, сел я к нему на кровать и сказал:

— Послушай, Григорий Александрович, признайся, что нехорошо.

— Что нехорошо?

— Да то, что ты увез Бэлу... Уж эта мне бестия Азамат!.. Ну, признайся, — сказал я ему.

— Да когда она мне нравится?..

Ну, что прикажете отвечать на это?.. Я стал в тупик. Однако ж после некоторого молчания я ему сказал, что если отец станет ее требовать, то надо будет отдать.

— Вовсе не надо!

— Да он узнает, что она здесь?

— А как он узнает?

Я опять стал в тупик.

— Послушайте, Максим Максимыч! — сказал Печорин, приподнявшись, — ведь вы добрый человек, — а если отдадим дочь этому дикарю, он ее зарежет или продаст. Дело сделано, не надо только охотою портить; оставьте ее у меня, а у себя мою шпагу...

— Да покажите мне ее, — сказал я.

— Она за этой дверью; только я сам нынче напрасно хотел ее видеть: сидит в углу, закутавшись в покрывало, не говорит и не смотрит: пуглива, как дикая серна. Я нанял нашу духанщицу: она знает по-татарски, будет ходить за нею и приучит ее к мысли, что она моя, потому что она никому не будет принадлежать, кроме меня, — прибавил он, ударив кулаком по столу. Я и в этом согласился... Что прикажете делать? Есть люди, с которыми непременно должно соглашаться.

— А что? — спросил я у Максима Максимыча, — в самом ли деле он приучил ее к себе, или она зачахла в неволе, с тоски по родине?

— Помилуйте, отчего же с тоски по родине? Из крепости видны были те же горы, что из аула, — а этим дикарям больше ничего не надобно. Да притом Григорий Александрович каждый день дарил ей что-нибудь: первые дни она молча гордо отталкивала подарки, которые тогда доставались духанщице и возбуждали ее красноречие. Ах, подарки! чего не сделает

женщина за цветную тряпичку!.. Ну, да это в сторону... Долго бился с нею Григорий Александрович; между тем учился по-татарски, и она начинала понимать по-нашему. Мало-помалу она приучилась на него смотреть, сначала исподлобья, искоса, и все грустила, напевала свои песни вполголоса, так что, бывало, и мне становилось грустно, когда слушал ее из соседней комнаты. Никогда не забуду одной сцены: шел я мимо и заглянул в окно; Бэла сидела на лежанке, повесив голову на грудь, а Григорий Александрович стоял перед нею.

— Послушай, моя пери, — говорил он, — ведь ты знаешь, что рано или поздно ты должна быть моею, — отчего же только мучишь меня? Разве ты любишь какого-нибудь чеченца? Если так, я тебя сейчас отпущу домой. — Она вздрогнула едва приметно и покачала головой. — Или, — продолжал он, — я тебе совершенно ненавистен? — Она вздохнула. — Или твоя вера запрещает полюбить меня? — Она побледнела и молчала. — Поверь мне, аллах для всех племен один и тот же, и если он мне позволяет любить тебя, отчего же запретит тебе платить мне взаимностью? — Она посмотрела ему пристально в лицо, как будто пораженная этой новой мыслию; в глазах ее выразились недоверчивость и желание убедиться. Что за глаза! они так и сверкали, будто два угля. — Послушай, милая, добрая Бэла! — продолжал Печорин, — ты видишь, как я тебя люблю; я все готов отдать, чтобы тебя развеселить: я хочу, чтоб ты была счастлива; а если ты снова будешь грустить, то я умру. Скажи, ты будешь веселей?

Она призадумалась, не спуская с него черных глаз своих, потом улыбнулась ласково и кивнула головой в знак согласия. Он взял ее руку и стал ее уговаривать, чтоб она его поцеловала; она слабо защищалась и только повторяла: «Поджалуста, поджалуста, не нада, не нада». Он стал настаивать; она задрожала, заплакала.

— Я твоя пленница, — говорила она, — твоя раба; конечно, ты можешь меня принудить, — и опять слезы.

Григорий Александрович ударил себя в лоб кулаком и выскочил в другую комнату. Я зашел к нему; он сложа руки прохаживался угрюмый взад и вперед.

— Что, батюшка? — сказал я ему.

— Дьявол, а не женщина! — отвечал он, — только я вам даю мое честное слово, что она будет моя...

Я покачал головою.

— Хотите пари? — сказал он, — через неделю!

— Извольте!

Мы ударили по рукам и разошлись.

На другой день он тотчас же отправил нарочного в Кизляр за разными покупками; привезено было множество разных персидских материй, всех не перечесть.

— Как вы думаете, Максим Максимыч! — сказал он мне, показывая подарки, — устоит ли азиатская красавица против такой батареи?

— Вы черкешенок не знаете, — отвечал я, — это совсем не то, что грузинки или закавказские татарки, совсем не то. У них свои правила, они иначе воспитаны. — Григорий Александрович улыбнулся и стал насвистывать марш.

А ведь вышло, что я был прав: подарки подействовали только вполовину; она стала ласковее, доверчивее — да и только; так что он решился на последнее средство. Раз утром он велел оседлать лошадь, оделся по-черкесски, вооружился и вошел к ней. «Бэла! — сказал он, — ты знаешь, как я тебя люблю. Я решился тебя увезти, думая, что ты, когда узнаешь меня, полюбишь; я ошибся: прощай! оставайся полной хозяйкой всего, что я имею; если хочешь, вернись к отцу, — ты свободна. Я виноват перед тобой и должен наказать себя; прощай, я еду—куда? почему я знаю! Авось недолго буду гоняться за пулей или ударом шашки: тогда вспомни обо мне и прости меня». — Он отвернулся и протянул ей руку на прощанье. Она не взяла руки, молчала. Только стоя за дверью, я мог в щель рассмотреть ее лицо: и мне стало жаль — такая смертельная бледность покрыла это милое личико! Не слыша ответа, Печорин сделал несколько шагов к двери; он дрожал — и сказать ли вам? я думаю, он в состоянии был исполнить в самом деле то, о чем

говорил шутя. Таков уж был человек, бог его знает! Только едва он коснулся двери, как она вскочила, зарыдала и бросилась ему на шею. Поверите ли? я, стоя за дверью, также заплакал, то есть, знаете, не то чтоб заплакал, а так — глупость!..

Штабс-капитан замолчал.

— Да, признаюсь, — сказал он потом, теребя усы, — мне стало досадно, что никогда ни одна женщина меня так не любила.

— И продолжительно было их счастие? — спросил я.

— Да, она нам призналась, что с того дня, как увидела Печорина, он часто ей грезился во сне и что ни один мужчина никогда не производил на нее такого впечатления. Да, они были счастливы!

— Как это скучно! — воскликнул я невольно. В самом деле, я ожидал трагической развязки, и вдруг так неожиданно обмануть мои надежды!.. — Да неужели, — продолжал я, — отец не догадался, что она у вас в крепости?

— То есть, кажется, он подозревал. Спустя несколько дней узнали мы, что старик убит. Вот как это случилось...

Внимание мое пробудилось снова.

— Надо вам сказать, что Казбич вообразил, будто Азамат с согласия отца украл у него лошадь, по крайней мере я так полагаю. Вот он раз и дождался у дороги, версты три за аулом; старик возвращался из напрасных поисков за дочерью; уздени его отстали, — это было в сумерки, — он ехал задумчиво шагом, как вдруг Казбич, будто кошка, нырнул из-за куста, прыг сзади его на лошадь, ударом кинжала свалил его наземь, схватил поводья — и был таков; некоторые уздени все это видели с пригорка; они бросились догонять, только не догнали.

— Он вознаградил себя за потерю коня и отмстил, — сказал я, чтоб вызвать мнение моего собеседника.

— Конечно, по-ихнему, — сказал штабс-капитан, — он был совершенно прав.

Меня невольно поразила способность русского чело-

века применяться к обычаям тех народов, среди которых ему случается жить: не знаю, достойно порицания или похвалы это свойство ума, только оно доказывает неимоверную его гибкость и присутствие этого ясного здравого смысла, который прощает зло везде, где видит его необходимость или невозможность его уничтожения.

Между тем чай был выпит; давно запряженные кони продрогли на снегу; месяц бледнел на западе и готов уж был погрузиться в черные свои тучи, висящие на дальних вершинах как клочки разодранного занавеса. Мы вышли из сакли. Вопреки предсказанию моего спутника, погода прояснилась и обещала нам тихое утро; хороводы звезд чудными узорами сплетались на далеком небосклоне и одна за другою гасли по мере того, как бледноватый отблеск востока разливался по темно-лиловому своду, озаряя постепенно крутые отлогости гор, покрытые девственными снегами. Направо и налево чернели мрачные, таинственные пропасти, и туманы, клубясь и извиваясь, как змеи, сползали туда по морщинам соседних скал, будто чувствуя и пугаясь приближения дня.

Тихо было все на небе и на земле, как в сердце человека в минуту утренней молитвы; только изредка набегал прохладный ветер с востока, приподнимая гриву лошадей, покрытую инеем. Мы тронулись в путь; с трудом пять худых кляч тащили наши повозки по извилистой дороге на Гуд-гору; мы шли пешком сзади, подкладывая камни под колеса, когда лошади выбивались из сил; казалось, дорога вела на небо, потому что, сколько глаз мог разглядеть, она все поднималась и, наконец, пропадала в облаке, которое еще с вечера отдыхало на вершине Гуд-горы, как коршун, ожидающий добычу; снег хрустел под ногами нашими; воздух становился так редок, что было больно дышать; кровь поминутно приливала в голову, но со всем тем какое-то отрадное чувство распространилось по всем моим жилам, и мне было как-то весело, что я так высоко над миром: чувство детское, не спорю, но, удаляясь от условий общества и приближаясь к природе, мы невольно становимся детьми; все приобретенное отпадает

от души, и она делается вновь такою, какой была некогда и, верно, будет когда-нибудь опять. Тот, кому случалось, как мне, бродить по горам пустынным, и долго-долго всматриваться в их причудливые образы, и жадно глотать животворящий воздух, разлитой в их ущельях, тот, конечно, поймет мое желание передать, рассказать, нарисовать эти волшебные картины. Вот, наконец, мы взобрались на Гуд-гору, остановились и оглянулись: на ней висело серое облако, и его холодное дыхание грозило близкой бурею; но на востоке все было так ясно и золотисто, что мы, то есть я и штабс-капитан, совершенно о нем забыли... Да, и штабс-капитан: в сердцах простых чувство красоты и величия природы сильнее, живее во сто крат, чем в нас, восторженных рассказчиках на словах и на бумаге.

— Вы, я думаю, привыкли к этим великолепным картинам? — сказал я ему.

— Да-с, и к свисту пули можно привыкнуть, то есть привыкнуть скрывать невольное биение сердца.

— Я слышал напротив, что для иных старых воинов эта музыка даже приятна.

— Разумеется, если хотите, оно и приятно; только все же потому, что сердце бьется сильнее. Посмотрите, — прибавил он, указывая на восток, — что за край!

И точно, такую панораму вряд ли где еще удастся мне видеть: под нами лежала Койшаурская долина, пересекаемая Арагвой и другой речкой, как двумя серебряными нитями; голубоватый туман скользил по ней, убегая в соседние теснины от теплых лучей утра; направо и налево гребни гор, один выше другого, пересекались, тянулись, покрытые снегами, кустарником; вдали те же горы, но хоть бы две скалы похожие одна на другую, — и все эти снега горели румяным блеском так весело, так ярко, что кажется, тут бы и остаться жить навеки; солнце чуть показалось из-за темно-синей горы, которую только привычный глаз мог бы различить от грозовой тучи; но над солнцем была кровавая полоса, на которую мой товарищ обратил особенное внимание. «Я говорил вам,—воскликнул он, — что

нынче будет погода; надо торопиться, а то, пожалуй, она застанет нас на Крестовой. Трогайтесь!» — закричал он ямщикам.

Подложили цепи под колеса вместо тормозов, чтоб они не раскатывались, взяли лошадей под уздцы и начали спускаться; направо был утес, налево пропасть такая, что целая деревушка осетин, живущих на дне ее, казалась гнездом ласточки; я содрогнулся, подумав, что часто здесь, в глухую ночь, по этой дороге, где две повозки не могут разъехаться, какой-нибудь курьер раз десять в год проезжает, не вылезая из своего тряского экипажа. Один из наших извозчиков был русский ярославский мужик, другой осетин: осетин вел коренную под уздцы со всеми возможными предосторожностями, отпрягши заранее уносных, — а наш беспечный русак даже не слез с облучка! Когда я ему заметил, что он мог бы побеспокоиться в пользу хотя моего чемодана, за которым я вовсе не желал лазить в эту бездну, он отвечал мне: «И, барин! Бог даст, не хуже их доедем: ведь нам не впервые», — и он был прав: мы точно могли бы не доехать, однако ж все-таки доехали, и если б все люди побольше рассуждали, то убедились бы, что жизнь не стоит того, чтоб об ней так много заботиться...

Но, может быть, вы хотите знать окончание истории Бэлы? Во-первых, я пишу не повесть, а путевые записки: следовательно, не могу заставить штабс-капитана рассказывать прежде, нежели он начал рассказывать в самом деле. Итак, погодите или, если хотите, переверните несколько страниц, только я вам этого не советую, потому что переезд через Крестовую гору (или, как называет ее ученый Гамба, le Mont St.-Christophe) достоин вашего любопытства. Итак, мы спускались с Гуд-горы в Чертову долину... Вот романтическое название! Вы уже видите гнездо злого духа между неприступными утесами, — не тут-то было: название Чертовой долины происходит от слова «черта», а не «черт», ибо здесь когда-то была граница Грузии. Эта долина была завалена снеговыми сугробами, напоминавшими довольно живо Саратов, Тамбов и прочие *милые* места нашего отечества.

— Вот и Крестовая! — сказал мне штабс-капитан, когда мы съехали в Чертову долину, указывая на холм, покрытый пеленою снега; на его вершине чернелся каменный крест, и мимо его вела едва-едва заметная дорога, по которой проезжают только тогда, когда боковая завалена снегом: наши извозчики объявили, что обвалов еще не было, и, сберегая лошадей, повезли нас кругом. При повороте встретили мы человек пять осетин; они предложили нам свои услуги и, уцепясь за колеса, с криком принялись тащить и поддерживать наши тележки. И точно, дорога опасная: направо висели над нашими головами груды снега, готовые, кажется, при первом порыве ветра оборваться в ущелье; узкая дорога частию была покрыта снегом, который в иных местах проваливался под ногами, в других превращался в лед от действия солнечных лучей и ночных морозов, так что с трудом мы сами пробирались; лошади падали; налево зияла глубокая расселина, где катился поток, то скрываясь под ледяной корою, то с пеною прыгая по черным камням. В два часа едва могли мы обогнуть Крестовую гору — две версты в два часа! Между тем тучи спустились, повалил град, снег; ветер, врываясь в ущелья, ревел, свистал, как Соловей-Разбойник, и скоро каменный крест скрылся в тумане, которого волны, одна другой гуще и теснее, набегали с востока... Кстати, об этом кресте существует странное, но всеобщее предание, будто его поставил император Петр I, проезжая через Кавказ; но, во-первых, Петр был только в Дагестане, и, во-вторых, на кресте написано крупными буквами, что он поставлен по приказанию г. Ермолова, а именно в 1824 году. Но предание, несмотря на надпись, так укоренилось, что, право, не знаешь, чему верить, тем более что мы не привыкли верить надписям.

Нам должно было спускаться еще верст пять по обледеневшим скалам и топкому снегу, чтоб достигнуть станции Коби. Лошади измучились, мы продрогли; метель гудела сильнее и сильнее, точно наша родимая, северная; только ее дикие напевы были печальнее, заунывнее. «И ты, изгнанница, — думал я, — плачешь о своих широких, раздольных степях! Там

есть где развернуть холодные крылья, а здесь тебе душно и тесно, как орлу, который с криком бьется о решетку железной своей клетки».

— Плохо! — говорил штабс-капитан, — посмотрите, кругом ничего не видно, только туман да снег; того и гляди, что свалимся в пропасть или засядем в трущобу, а там пониже, чай, Байдара так разыгралась, что и не переедешь. Уж эта мне Азия! что люди, что речки — никак нельзя положиться!

Извозчики с криком и бранью колотили лошадей, которые фыркали, упирались и не хотели ни за что в свете тронуться с места, несмотря на красноречие кнутов.

— Ваше благородие, — сказал, наконец, один, — ведь мы нынче до Коби не доедем; не прикажете ли, покамест можно, своротить налево? Вон там что-то на косогоре чернеется — верно, сакли: там всегда-с проезжающие останавливаются в погоду; они говорят, что проведут, если дадите на водку, — прибавил он, указывая на осетина.

— Знаю, братец, знаю без тебя! — сказал штабс-капитан, — уж эти бестии! рады придраться, чтоб сорвать на водку.

— Признайтесь, однако, — сказал я, — что без них нам было бы хуже.

— Все так, все так, — пробормотал он, — уж эти мне проводники! чутьем слышат, где можно попользоваться, будто без них и нельзя найти дороги.

Вот мы свернули налево и кое-как, после многих хлопот, добрались до скудного приюта, состоявшего из двух саклей, сложенных из плит и булыжника и обведенных такою же стеною. Оборванные хозяева приняли нас радушно. Я после узнал, что правительство им платит и кормит их с условием, чтоб они принимали путешественников, застигнутых бурею.

— Все к лучшему! — сказал я, присев у огня, — теперь вы мне доскажете вашу историю про Бэлу; я уверен, что этим не кончилось.

— А почему ж вы так уверены? — отвечал мне штабс-капитан, примигивая с хитрой улыбкой.

— Оттого, что это не в порядке вещей: что началось необыкновенным образом, то должно так же и кончиться.

— Ведь вы угадали...

— Очень рад.

— Хорошо вам радоваться, а мне так, право, грустно, как вспомню. Славная была девочка эта Бэла! Я к ней, наконец, так привык, как к дочери, и она меня любила. Надо вам сказать, что у меня нет семейства: об отце и матери я лет двенадцать уж не имею известия, а запастись женой не догадался раньше, — так теперь уж, знаете, и не к лицу; я и рад был, что нашел кого баловать. Она, бывало, нам поет песни иль пляшет лезгинку... А уж как плясала! Видал я наших губернских барышень, а раз был-с и в Москве в благородном собрании, лет двадцать тому назад, — только куда им! совсем не то!.. Григорий Александрович наряжал ее как куколку, холил и лелеял, и она у нас так похорошела, что чудо; с лица и с рук сошел загар, румянец разыгрался на щеках... Уж какая, бывало, веселая, и все надо мной, проказница, подшучивала... Бог ей прости!..

— А что, когда вы ей объявили о смерти отца?

— Мы долго от нее это скрывали, пока она не привыкла к своему положению; а когда сказали, так она дня два поплакала, а потом забыла.

Месяца четыре все шло как нельзя лучше. Григорий Александрович, я уж, кажется, говорил, страстно любил охоту: бывало, так его в лес и подмывает за кабанами или козами, — а тут хоть бы вышел за крепостной вал. Вот, однако ж, смотрю, он стал снова задумываться, ходит по комнате, загнув руки назад; потом раз, не сказав никому, отправился стрелять, — целое утро пропадал; раз и другой, все чаще и чаще... «Нехорошо, — подумал я, — верно, между ними черная кошка проскочила!»

Одно утро захожу к ним — как теперь перед глазами: Бэла сидела на кровати в черном шелковом бешмете, бледненькая, такая печальная, что я испугался.

— А где Печорин? — спросил я.

— На охоте.

— Сегодня ушел? — Она молчала, как будто ей трудно было выговорить.

— Нет, еще вчера, — наконец, сказала она, тяжело вздохнув.

— Уж не случилось ли с ним чего?

— Я вчера целый день думала, думала, — отвечала она сквозь слезы, — придумывала разные несчастия: то казалось мне, что его ранил дикий кабан, то чеченец утащил в горы... А нынче мне уж кажется, что он меня не любит.

— Право, милая, ты хуже ничего не могла придумать! — Она заплакала, потом с гордостью подняла голову, отерла слезы и продолжала:

— Если он меня не любит, то кто ему мешает отослать меня домой? Я его не принуждаю. А если это так будет продолжаться, то я сама уйду: я не раба его — я княжеская дочь!..

Я стал ее уговаривать.

— Послушай, Бэла, ведь нельзя же ему век сидеть здесь, как пришитому к твоей юбке: он человек молодой, любит погоняться за дичью, — походит, да и придет; а если ты будешь грустить, то скорей ему наскучишь.

— Правда, правда! — отвечала она, — я буду весела. — И с хохотом схватила свой бубен, начала петь, плясать и прыгать около меня; только и это не было продолжительно; она опять упала на постель и закрыла лицо руками.

Что было с нею мне делать? Я, знаете, никогда с женщинами не обращался; думал, думал, чем ее утешить, и ничего не придумал; несколько времени мы оба молчали... Пренеприятное положение-с!

Наконец, я ей сказал: «Хочешь, пойдем прогуляться на вал? погода славная!» Это было в сентябре. И точно, день был чудесный, светлый и не жаркий; все горы видны были как на блюдечке. Мы пошли, походили по крепостному валу взад и вперед, молча; наконец, она села на дерн, и я сел возле нее. Ну, право, вспомнить смешно: я бегал за нею, точно какая-нибудь нянька.

Крепость наша стояла на высоком месте, и вид был с вала прекрасный: с одной стороны широкая поляна, изрытая несколькими балками[1], оканчивалась лесом, который тянулся до самого хребта гор; кое-где на ней дымились аулы, ходили табуны; с другой — бежала мелкая речка, и к ней примыкал частый кустарник, покрывавший кремнистые возвышенности, которые соединялись с главной цепью Кавказа. Мы сидели на углу бастиона, так что в обе стороны могли видеть все. Вот смотрю: из леса выезжает кто-то на серой лошади, все ближе и ближе, и, наконец, остановился по ту сторону речки, саженях во сте от нас, и начал кружить лошадь свою как бешеный. Что за притча!..

— Посмотри-ка, Бэла, — сказал я, — у тебя глаза молодые, что это за джигит: кого это он приехал тешить?..

Она взглянула и вскрикнула:

— Это Казбич!..

— Ах он разбойник! смеяться, что ли, приехал над нами? — Всматриваюсь, точно Казбич: его смуглая рожа, оборванный, грязный как всегда.

— Это лошадь отца моего, — сказала Бэла, схватив меня за руку; она дрожала, как лист, и глаза ее сверкали. «Ага! — подумал я, — и в тебе, душенька, не молчит разбойничья кровь!»

— Подойди-ка сюда, — сказал я часовому, — осмотри ружье да ссади мне этого молодца, — получишь рубль серебром.

— Слушаю, ваше высокоблагородие; только он не стоит на месте...

— Прикажи! — сказал я смеясь...

— Эй, любезный! — закричал часовой, махая ему рукой, — подожди маленько, что ты крутишься, как волчок?

Казбич остановился в самом деле и стал вслушиваться: верно, думал, что с ним заводят переговоры, — как не так!.. Мой гренадер приложился... бац!.. мимо, — только что порох на полке вспыхнул; Казбич толкнул лошадь, и она дала скачок в сторону. Он привстал на

---

[1] овраги. (*Прим. М. Ю. Лермонтова.*)

стременах, крикнул что-то по-своему, погрозил нагайкой — и был таков.

— Как тебе не стыдно! — сказал я часовому.

— Ваше высокоблагородие! умирать отправился, — отвечал он, — такой проклятый народ, сразу не убьешь.

Четверть часа спустя Печорин вернулся с охоты; Бэла бросилась ему на шею, и ни одной жалобы, ни одного упрека за долгое отсутствие... Даже я уж на него рассердился.

— Помилуйте, — говорил я, — ведь вот сейчас тут был за речкою Казбич, и мы по нем стреляли; ну, долго ли вам на него наткнуться? Эти горцы народ мстительный: вы думаете, что он не догадывается, что вы частию помогли Азамату? А я бьюсь об заклад, что нынче он узнал Бэлу. Я знаю, что год тому назад она ему больно нравилась, — он мне сам говорил, — и если б надеялся собрать порядочный калым, то, верно, бы посватался...

Тут Печорин задумался. «Да, — отвечал он, — надо быть осторожнее... Бэла, с нынешнего дня ты не должна более ходить на крепостной вал».

Вечером я имел с ним длинное объяснение: мне было досадно, что он переменился к этой бедной девочке; кроме того, что он половину дня проводил на охоте, его обращение стало холодно, ласкал он ее редко, и она заметно начинала сохнуть, личико ее вытянулось, большие глаза потускнели. Бывало, спросишь: «О чем ты вздохнула, Бэла? ты печальна?» — «Нет!» — «Тебе чего-нибудь хочется?» — «Нет!» — «Ты тоскуешь по родным?» — «У меня нет родных». Случалось, по целым дням, кроме «да» и «нет», от нее ничего больше не добьешься.

Вот об этом-то я и стал ему говорить. «Послушайте, Максим Максимыч, — отвечал он, — у меня несчастный характер: воспитание ли меня сделало таким, бог ли так меня создал, не знаю; знаю только, что если я причиною несчастия других, то и сам не менее несчастлив. Разумеется, это им плохое утешение — только дело в том, что это так. В первой моей молодости, с той минуты, когда я вышел из опеки родных, я стал наслаждаться бешено всеми удовольствиями,

которые можно достать за деньги, и, разумеется, удовольствия эти мне опротивели. Потом пустился я в большой свет, и скоро общество мне также надоело; влюблялся в светских красавиц и был любим, — но их любовь только раздражала мое воображение и самолюбие, а сердце осталось пусто... Я стал читать, учиться — науки также надоели; я видел, что ни слава, ни счастье от них не зависят нисколько, потому что самые счастливые люди — невежды, а слава — удача, и чтоб добиться ее, надо только быть ловким. Тогда мне стало скучно... Вскоре перевели меня на Кавказ: это самое счастливое время моей жизни. Я надеялся, что скука не живет под чеченскими пулями, — напрасно: через месяц я так привык к их жужжанию и к близости смерти, что, право, обращал больше внимания на комаров, — и мне стало скучнее прежнего, потому что я потерял почти последнюю надежду. Когда я увидел Бэлу в своем доме, когда в первый раз, держа ее на коленях, целовал ее черные локоны, я, глупец, подумал, что она ангел, посланный мне сострадательной судьбою... Я опять ошибся: любовь дикарки немногим лучше любви знатной барыни; невежество и простосердечие одной так же надоедают, как и кокетство другой. Если вы хотите, я ее еще люблю, я ей благодарен за несколько минут довольно сладких, я за нее отдам жизнь, — только мне с нею скучно... Глупец я или злодей, не знаю; но то верно, что я также очень достоин сожаления, может быть больше, нежели она: во мне душа испорчена светом, воображение беспокойное, сердце ненасытное; мне все мало; к печали я так же легко привыкаю, как к наслаждению, и жизнь моя становится пустее день от дня; мне осталось одно средство: путешествовать. Как только будет можно, отправлюсь — только не в Европу, избави боже! — поеду в Америку, в Аравию, в Индию, — авось где-нибудь умру на дороге! По крайней мере я уверен, что это последнее утешение не скоро истощится, с помощию бурь и дурных дорог». — Так он говорил долго, и его слова врезались у меня в памяти, потому что в первый раз я слышал такие вещи от двадцатипятилетнего человека, и, бог даст, в последний... Что за диво! Ска-

жите-ка, пожалуйста, — продолжал штабс-капитан, обращаясь ко мне, — вы вот, кажется, бывали в столице, и недавно: неужто тамошняя молодежь вся такова?

Я отвечал, что много есть людей, говорящих то же самое; что есть, вероятно, и такие, которые говорят правду; что, впрочем, разочарование, как все моды, начав с высших слоев общества, спустилось к низшим, которые его донашивают, и что нынче те, которые больше всех и в самом деле скучают, стараются скрыть это несчастие, как порок. Штабс-капитан не понял этих тонкостей, покачал головою и улыбнулся лукаво:

— А всё, чай, французы ввели моду скучать?

— Нет, англичане.

— А-га, вот что!.. — отвечал он, — да ведь они всегда были отъявленные пьяницы!

Я невольно вспомнил об одной московской барыне, которая утверждала, что Байрон был больше ничего как пьяница. Впрочем, замечание штабс-капитана было извинительнее: чтоб воздерживаться от вина, он, конечно, старался уверять себя, что все в мире несчастия происходят от пьянства.

Между тем он продолжал свой рассказ таким образом:

— Казбич не являлся снова. Только не знаю почему, я не мог выбить из головы мысль, что он недаром приезжал и затевает что-нибудь худое.

Вот раз уговаривает меня Печорин ехать с ним на кабана; я долго отнекивался: ну, что мне был за диковинка кабан! Однако ж утащил-таки он меня с собою. Мы взяли человек пять солдат и уехали рано утром. До десяти часов шныряли по камышам и по лесу, — нет зверя. «Эй, не воротиться ли? — говорил я, — к чему упрямиться? Уж, видно, такой задался несчастный день!» Только Григорий Александрович, несмотря на зной и усталость, не хотел воротиться без добычи... Таков уж был человек: что́ задумает, подавай; видно, в детстве был маменькой избалован... Наконец, в полдень отыскали проклятого кабана: паф! паф!.. не тут-то было: ушел в камыши... такой уж был несчастный

день!.. Вот мы, отдохнув маленько, отправились домой.

Мы ехали рядом, молча, распустив поводья, и были уж почти у самой крепости: только кустарник закрывал ее от нас. Вдруг выстрел... Мы взглянули друг на друга: нас поразило одинаковое подозрение... Опрометью поскакали мы на выстрел, — смотрим: на валу солдаты собрались в кучку и указывают в поле, а там летит стремглав всадник и держит что-то белое на седле. Григорий Александрович взвизгнул не хуже любого чеченца; ружье из чехла — и туда; я за ним.

К счастию, по причине неудачной охоты, наши кони не были измучены: они рвались из-под седла, и с каждым мгновением мы были все ближе и ближе... И, наконец, я узнал Казбича, только не мог разобрать, что такое он держал перед собою. Я тогда поровнялся с Печориным и кричу ему: «Это Казбич!..» Он посмотрел на меня, кивнул головою и ударил коня плетью.

Вот, наконец, мы были уж от него на ружейный выстрел; измучена ли была у Казбича лошадь, или хуже наших, только, несмотря на все его старания, она не больно подавалась вперед. Я думаю, в эту минуту он вспомнил своего Карагёза...

Смотрю: Печорин на скаку приложился из ружья... «Не стреляйте! — кричу я ему, — берегите заряд; мы и так его догоним». Уж эта молодежь! вечно некстати горячится... Но выстрел раздался, и пуля перебила заднюю ногу лошади; она сгоряча сделала еще прыжков десять, споткнулась и упала на колени. Казбич соскочил, и тогда мы увидели, что он держал на руках своих женщину, окутанную чадрою... Это была Бэла... бедная Бэла! Он что-то нам закричал по-своему и занес над нею кинжал... Медлить было нечего: я выстрелил в свою очередь, наудачу; верно, пуля попала ему в плечо, потому что вдруг он опустил руку... Когда дым рассеялся, на земле лежала раненая лошадь и возле нее Бэла; а Казбич, бросив ружье, по кустарникам, точно кошка, карабкался на утес; хотелось мне его снять оттуда — да не было заряда готового! Мы соскочили с лошадей и кинулись к Бэле. Бедняжка, она лежала неподвижно, и кровь лилась из раны

ручьями... Такой злодей: хоть бы в сердце ударил — ну, так уж и быть, одним разом все бы кончил, а то в спину... самый разбойничий удар! Она была без памяти. Мы изорвали чадру и перевязали рану как можно туже; напрасно Печорин целовал ее холодные губы — ничто не могло привести ее в себя.

Печорин сел верхом; я поднял ее с земли и кое-как посадил к нему на седло; он обхватил ее рукой, и мы поехали назад. После нескольких минут молчания Григорий Александрович сказал мне: «Послушайте, Максим Максимыч, мы этак ее не довезем живую». — «Правда», — сказал я, и мы пустили лошадей во весь дух. Нас у ворот крепости ожидала толпа народа; осторожно перенесли мы раненую к Печорину и послали за лекарем. Он был хотя пьян, но пришел; осмотрел рану и объявил, что она больше дня жить не может; только он ошибся...

— Выздоровела? — спросил я у штабс-капитана, схватив его за руку и невольно обрадовавшись.

— Нет, — отвечал он, — а ошибся лекарь тем, что она еще два дня прожила.

— Да объясните мне, каким образом ее похитил Казбич?

— А вот как: несмотря на запрещение Печорина, она вышла из крепости к речке. Было, знаете, очень жарко; она села на камень и опустила ноги в воду. Вот Казбич подкрался — цап-царап ее, зажал рот и потащил в кусты, а там вскочил на коня, да и тягу! Она между тем успела закричать; часовые всполошились, выстрелили, да мимо, а мы тут и подоспели.

— Да зачем Казбич ее хотел увезти?

— Помилуйте! да эти черкесы известный воровской народ: что плохо лежит, не могут не стянуть; другое и не нужно, а все украдет... уж в этом прошу их извинить! Да притом она ему давно-таки нравилась.

— И Бэла умерла?

— Умерла; только долго мучилась, и мы уж с нею измучились порядком. Около десяти часов вечера она пришла в себя; мы сидели у постели; только что она открыла глаза, начала звать Печорина. «Я здесь, подле тебя, моя джанечка (то есть, по-нашему,

душенька)», — отвечал он, взяв ее за руку. «Я умру!» — сказала она. Мы начали ее утешать, говорили, что лекарь обещал ее вылечить непременно; она покачала головкой и отвернулась к стене: ей не хотелось умирать!..

Ночью она начала бредить; голова ее горела, по всему телу иногда пробегала дрожь лихорадки; она говорила несвязные речи об отце, брате: ей хотелось в горы, домой... Потом она также говорила о Печорине, давала ему разные нежные названия или упрекала его в том, что он разлюбил свою джанечку...

Он слушал ее молча, опустив голову на руки; но только я во все время не заметил ни одной слезы на ресницах его: в самом ли деле он не мог плакать, или владел собою — не знаю; что до меня, то я ничего жальче этого не видывал.

К утру бред прошел; с час она лежала неподвижная, бледная и в такой слабости, что едва можно было заметить, что она дышит; потом ей стало лучше, и она начала говорить, только как вы думаете о чем?.. Этакая мысль придет ведь только умирающему!.. Начала печалиться о том, что она не христианка, и что на том свете душа ее никогда не встретится с душою Григорья Александровича, и что иная женщина будет в раю его подругой. Мне пришло на мысль окрестить ее перед смертию; я ей это предложил; она посмотрела на меня в нерешимости и долго не могла слова вымолвить; наконец, отвечала, что она умрет в той вере, в какой родилась. Так прошел целый день. Как она переменилась в этот день! Бледные щеки впали, глаза сделались большие, большие, губы горели. Она чувствовала внутренний жар, как будто в груди у ней лежало раскаленное железо.

Настала другая ночь; мы не смыкали глаз, не отходили от ее постели. Она ужасно мучилась, стонала, и только что боль начинала утихать, она старалась уверить Григорья Александровича, что ей лучше, уговаривала его идти спать, целовала его руку, не выпускала ее из своих. Перед утром стала она чувствовать тоску смерти, начала метаться, сбила перевязку, и кровь потекла снова. Когда перевязали рану, она на минуту успокоилась и начала просить Печорина, чтоб

он ее поцеловал. Он стал на колени возле кровати, приподнял ее голову с подушки и прижал свои губы к ее холодеющим губам; она крепко обвила его шею дрожащими руками, будто в этом поцелуе хотела передать ему свою душу... Нет, она хорошо сделала, что умерла! Ну, что́ бы с ней сталось, если б Григорий Александрович ее покинул? А это бы случилось, рано или поздно...

Половину следующего дня она была тиха, молчалива и послушна, как ни мучил ее наш лекарь припарками и микстурой. «Помилуйте! — говорил я ему, — ведь вы сами сказали, что она умрет непременно, так зачем тут все ваши препараты?» — «Все-таки лучше, Максим Максимыч, — отвечал он, — чтоб совесть была покойна». Хороша совесть!

После полудня она начала томиться жаждой. Мы отворили окна — но на дворе было жарче, чем в комнате; поставили льду около кровати — ничего не помогало. Я знал, что эта невыносимая жажда — признак приближения конца, и сказал это Печорину. «Воды, воды!..» — говорила она хриплым голосом, приподнявшись с постели.

Он сделался бледен как полотно, схватил стакан, налил и подал ей. Я закрыл глаза руками и стал читать молитву, не помню какую... Да, батюшка, видал я много, как люди умирают в гошпиталях и на поле сражения, только это все не то, совсем не то!.. Еще, признаться, меня вот что печалит: она перед смертью ни раза не вспомнила обо мне; а, кажется, я ее любил как отец... Ну, да бог ее простит!.. И вправду молвить: что ж я такое, чтоб обо мне вспоминать перед смертью?..

Только что она испила воды, как ей стало легче, а минуты через три она скончалась. Приложили зеркало к губам — гладко!.. Я вывел Печорина вон из комнаты, и мы пошли на крепостной вал; долго мы ходили взад и вперед рядом, не говоря ни слова, загнув руки на спину; его лицо ничего не выражало особенного, и мне стало досадно: я бы на его месте умер с горя. Наконец, он сел на землю, в тени, и начал что-то чертить палочкой на песке. Я, знаете, больше

для приличия, хотел утешить его, начал говорить; он поднял голову и засмеялся... У меня мороз пробежал по коже от этого смеха... Я пошел заказывать гроб.

Признаться, я частию для развлечения занялся этим. У меня был кусок термаламы, я обил ею гроб и украсил его черкесскими серебряными галунами, которых Григорий Александрович накупил для нее же.

На другой день рано утром мы ее похоронили за крепостью, у речки, возле того места, где она в последний раз сидела; кругом ее могилки теперь разрослись кусты белой акации и бузины. Я хотел было поставить крест, да, знаете, неловко: все-таки она была не христианка...

— А что Печорин? — спросил я.

— Печорин был долго нездоров, исхудал, бедняжка; только никогда с этих пор мы не говорили о Бэле: я видел, что это ему будет неприятно, так зачем же? Месяца три спустя его назначили в е.....й полк, и он уехал в Грузию. Мы с тех пор не встречались... Да, помнится, кто-то недавно мне говорил, что он возвратился в Россию, но в приказах по корпусу не было. Впрочем, до нашего брата вести поздно доходят.

Тут он пустился в длинную диссертацию о том, как неприятно узнавать новости годом позже — вероятно, для того, чтоб заглушить печальные воспоминания.

Я не перебивал его и не слушал.

Через час явилась возможность ехать; метель утихла, небо прояснилось, и мы отправились. Дорогой невольно я опять завел разговор о Бэле и о Печорине.

— А не слыхали ли вы, что́ сделалось с Казбичем? — спросил я.

— С Казбичем? А, право, не знаю... Слышал я, что на правом фланге у шапсугов есть какой-то Казбич, удалец, который в красном бешмете разъезжает шажком под нашими выстрелами и превежливо раскланивается, когда пуля прожужжит близко; да вряд ли это тот самый!..

В Коби мы расстались с Максимом Максимычем; я поехал на почтовых, а он, по причине тяжелой поклажи, не мог за мной следовать. Мы не надеялись никогда более встретиться, однако встретились, и, если

хотите, я расскажу: это целая история... Сознайтесь, однако ж, что Максим Максимыч человек достойный уважения?.. Если вы сознаетесь в этом, то я вполне буду вознагражден за свой, может быть, слишком длинный рассказ.

II

МАКСИМ МАКСИМЫЧ

Расставшись с Максимом Максимычем, я живо проскакал Терекское и Дарьяльское ущелия, завтракал в Казбеке, чай пил в Ларсе, а к ужину поспел в Владыкавказ. Избавляю вас от описания гор, от возгласов, которые ничего не выражают, от картин, которые ничего не изображают, особенно для тех, которые там не были, и от статистических замечаний, которых решительно никто читать не станет.

Я остановился в гостинице, где останавливаются все проезжие и где между тем некому велеть зажарить фазана и сварить щей, ибо три инвалида, которым она поручена, так глупы или так пьяны, что от них никакого толка нельзя добиться.

Мне объявили, что я должен прожить тут еще три дня, ибо «оказия» из Екатеринограда еще не пришла и, следовательно, отправиться обратно не может. Что за оказия!.. Но дурной каламбур не утешение для русского человека, и я, для развлечения, вздумал записывать рассказ Максима Максимыча о Бэле, не воображая, что он будет первым звеном длинной цепи повестей: видите, как иногда маловажный случай имеет жестокие последствия!.. А вы, может быть, не знаете, что такое «оказия»? Это — прикрытие, состоящее из полроты пехоты и пушки, с которым ходят обозы через Кабарду из Владыкавказа в Екатериноград.

Первый день я провел очень скучно; на другой рано утром въезжает на двор повозка... А! Максим Максимыч!.. Мы встретились как старые приятели. Я предложил ему свою комнату. Он не церемонился, даже ударил меня по плечу и скривил рот на манер улыбки. Такой чудак!..

Максим Максимыч имел глубокие сведения в поваренном искусстве: он удивительно хорошо зажарил фазана, удачно полил его огуречным рассолом, и я должен признаться, что без него пришлось бы остаться на сухоядении. Бутылка кахетинского помогла нам забыть о скромном числе блюд, которых было всего одно, и, закурив трубки, мы уселись — я у окна, он у затопленной печи, потому что день был сырой и холодный. Мы молчали. О чем было нам говорить?.. Он уж рассказал мне о себе все, что было занимательного, а мне было нечего рассказывать. Я смотрел в окно. Множество низеньких домиков, разбросанных по берегу Терека, который разбегается шире и шире, мелькали из-за дерев, а дальше синелись зубчатою стеною горы, и из-за них выглядывал Казбек в своей белой кардинальской шапке. Я с ними мысленно прощался: мне стало их жалко...

Так сидели мы долго. Солнце пряталось за холодные вершины, и беловатый туман начинал расходиться в долинах, когда на улице раздался звон дорожного колокольчика и крик извозчиков. Несколько повозок с грязными армянами въехало на двор гостиницы и за ними пустая дорожная коляска; ее легкий ход, удобное устройство и щегольской вид имели какой-то заграничный отпечаток. За нею шел человек с большими усами, в венгерке, довольно хорошо одетый для лакея; в его звании нельзя было ошибиться, видя ухарскую замашку, с которой он вытряхивал золу из трубки и покрикивал на ямщика. Он явно был балованный слуга ленивого барина — нечто вроде русского фигаро.

— Скажи, любезный, — закричал я ему в окно, — что́ это — оказия пришла, что ли?

Он посмотрел довольно дерзко, поправил галстук и отвернулся; шедший возле него армянин, улыбаясь, отвечал за него, что точно пришла оказия и завтра утром отправится обратно.

— Слава богу! — сказал Максим Максимыч, подошедший к окну в это время. — Экая чудная коляска! — прибавил он, — верно, какой-нибудь чиновник едет на следствие в Тифлис. Видно, не знает наших горок! Нет,

шутишь, любезный: они не свой брат, растрясут хоть английскую!

— А кто бы это такое был — подойдемте-ка узнать...

Мы вышли в коридор. В конце коридора была отворена дверь в боковую комнату. Лакей с извозчиком перетаскивали в нее чемоданы.

— Послушай, братец, — спросил у него штабс-капитан, — чья эта чудесная коляска?.. а?.. Прекрасная коляска!.. — Лакей, не оборачиваясь, бормотал что-то про себя, развязывая чемодан. Максим Максимыч рассердился; он тронул неучтивца по плечу и сказал: — Я тебе говорю, любезный...

— Чья коляска?.. моего господина...

— А кто твой господин?

— Печорин...

— Что ты? что ты? Печорин?.. Ах, боже мой!.. да не служил ли он на Кавказе?.. — воскликнул Максим Максимыч, дернув меня за рукав. У него в глазах сверкала радость.

— Служил, кажется, — да я у них недавно.

— Ну так!.. так!.. Григорий Александрович?.. Так ведь его зовут?.. Мы с твоим барином были приятели, — прибавил он, ударив дружески по плечу лакея, так что заставил его пошатнуться...

— Позвольте, сударь; вы мне мешаете, — сказал тот, нахмурившись.

— Экой ты, братец!.. Да знаешь ли? мы с твоим барином были друзья закадычные, жили вместе... Да где ж он сам остался?..

Слуга объявил, что Печорин остался ужинать и ночевать у полковника Н...

— Да не зайдет ли он вечером сюда? — сказал Максим Максимыч, — или ты, любезный, не пойдешь ли к нему за чем-нибудь?.. Коли пойдешь, так скажи, что здесь Максим Максимыч; так и скажи... уж он знает... Я тебе дам восьмигривенный на водку...

Лакей сделал презрительную мину, слыша такое скромное обещание, однако уверил Максима Максимыча, что он исполнит его поручение.

— Ведь сейчас прибежит!.. — сказал мне Максим Максимыч с торжествующим видом, — пойду за

ворота его дожидаться... Эх! жалко, что я не знаком с Н...

Максим Максимыч сел за воротами на скамейку, а я ушел в свою комнату. Признаюсь, я также с некоторым нетерпением ждал появления этого Печорина; хотя, по рассказу штабс-капитана, я составил себе о нем не очень выгодное понятие, однако некоторые черты в его характере показались мне замечательными. Через час инвалид принес кипящий самовар и чайник.

— Максим Максимыч, не хотите ли чаю? — закричал я ему в окно.

— Благодарствуйте; что-то не хочется.

— Эй, выпейте! Смотрите, ведь уж поздно, холодно.

— Ничего; благодарствуйте...

— Ну, как угодно! — Я стал пить чай один; минут через десять входит мой старик:

— А ведь вы правы: все лучше выпить чайку, — да я все ждал... Уж человек его давно к нему пошел, да, видно, что-нибудь задержало.

Он наскоро выхлебнул чашку, отказался от второй и ушел опять за ворота в каком-то беспокойстве: явно было, что старика огорчало небрежение Печорина, и тем более, что он мне недавно говорил о своей с ним дружбе и еще час тому назад был уверен, что он прибежит, как только услышит его имя.

Уже было поздно и темно, когда я снова отворил окно и стал звать Максима Максимыча, говоря, что пора спать; он что-то пробормотал сквозь зубы; я повторил приглашение, — он ничего не отвечал.

Я лег на диван, завернувшись в шинель и оставив свечу на лежанке, скоро задремал и проспал бы покойно, если б, уже очень поздно, Максим Максимыч, войдя в комнату, не разбудил меня. Он бросил трубку на стол, стал ходить по комнате, шевырять в печи, наконец лег, но долго кашлял, плевал, ворочался...

— Не клопы ли вас кусают? — спросил я.

— Да, клопы... — отвечал он, тяжело вздохнув.

На другой день утром я проснулся рано; но Максим Максимыч предупредил меня. Я нашел его у ворот сидящего на скамейке. «Мне надо сходить к комен-



Тамань

Рисунок Лермонтова

Рисунок Лермонтова

данту, — сказал он, — так пожалуйста, если Печорин придет, пришлите за мной...»

Я обещался. Он побежал, как будто члены его получили вновь юношескую силу и гибкость.

Утро было свежее, но прекрасное. Золотые облака громоздились на горах, как новый ряд воздушных гор; перед воротами расстилалась широкая площадь; за нею базар кипел народом, потому что было воскресенье; босые мальчики осетины, неся за плечами котомки с сотовым медом, вертелись вокруг меня; я их прогнал: мне было не до них, я начинал разделять беспокойство доброго штабс-капитана.

Не прошло десяти минут, как на конце площади показался тот, которого мы ожидали. Он шел с полковником Н..., который, доведя его до гостиницы, простился с ним и поворотил в крепость. Я тотчас же послал инвалида за Максимом Максимычем.

Навстречу Печорина вышел его лакей и доложил, что сейчас станут закладывать, подал ему ящик с сигарами и, получив несколько приказаний, отправился хлопотать. Его господин, закурив сигару, зевнул раза два и сел на скамью по другую сторону ворот. Теперь я должен нарисовать вам его портрет.

Он был среднего роста; стройный, тонкий стан его и широкие плечи доказывали крепкое сложение, способное переносить все трудности кочевой жизни и перемены климатов, не побежденное ни развратом столичной жизни, ни бурями душевными; пыльный бархатный сюртучок его, застегнутый только на две нижние пуговицы, позволял разглядеть ослепительно чистое белье, изобличавшее привычки порядочного человека; его запачканные перчатки казались нарочно сшитыми по его маленькой аристократической руке, и когда он снял одну перчатку, то я был удивлен худобой его бледных пальцев. Его походка была небрежна и ленива, но я заметил, что он не размахивал руками — верный признак некоторой скрытности характера. Впрочем, это мои собственные замечания, основанные на моих же наблюдениях, и я вовсе не хочу вас заставить веровать в них слепо. Когда он опустился на скамью, то прямой стан его согнулся, как будто у него

в спине не было ни одной косточки; положение всего его тела изобразило какую-то нервическую слабость; он сидел, как сидит бальзакова тридцатилетняя кокетка на своих пуховых креслах после утомительного бала. С первого взгляда на лицо его я бы не дал ему более двадцати трех лет, хотя после я готов был дать ему тридцать. В его улыбке было что-то детское. Его кожа имела какую-то женскую нежность; белокурые волосы, вьющиеся от природы, так живописно обрисовывали его бледный, благородный лоб, на котором, только по долгом наблюдении, можно было заметить следы морщин, пересекавших одна другую и, вероятно, обозначавшихся гораздо явственнее в минуты гнева или душевного беспокойства. Несмотря на светлый цвет его волос, усы его и брови были черные — признак породы в человеке, так, как черная грива и черный хвост у белой лошади. Чтоб докончить портрет, я скажу, что у него был немного вздернутый нос, зубы ослепительной белизны и карие глаза; о глазах я должен сказать еще несколько слов.

Во-первых, они не смеялись, когда он смеялся! Вам не случалось замечать такой странности у некоторых людей?.. Это признак — или злого нрава, или глубокой постоянной грусти. Из-за полуопущенных ресниц они сияли каким-то фосфорическим блеском, если можно так выразиться. То не было отражение жара душевного или играющего воображения: то был блеск, подобный блеску гладкой стали, ослепительный, но холодный; взгляд его — непродолжительный, но проницательный и тяжелый, оставлял по себе неприятное впечатление нескромного вопроса и мог бы казаться дерзким, если б не был столь равнодушно спокоен. Все эти замечания пришли мне на ум, может быть, только потому, что я знал некоторые подробности его жизни, и, может быть, на другого вид его произвел бы совершенно различное впечатление; но так как вы о нем не услышите ни от кого, кроме меня, то поневоле должны довольствоваться этим изображением. Скажу в заключение, что он был вообще очень недурен и имел одну из тех оригинальных физиономий, которые особенно нравятся женщинам.

Лошади были уже заложены; колокольчик по временам звенел под дугою, и лакей уже два раза подходил к Печорину с докладом, что все готово, а Максим Максимыч еще не являлся. К счастию, Печорин был погружен в задумчивость, глядя на синие зубцы Кавказа, и, кажется, вовсе не торопился в дорогу. Я подошел к нему.

— Если вы захотите еще немного подождать, — сказал я, — то будете иметь удовольствие увидеться с старым приятелем...

— Ах, точно! — быстро отвечал он, — мне вчера говорили; но где же он? — Я обернулся к площади и увидел Максима Максимыча, бегущего что было мочи... Через несколько минут он был уже возле нас; он едва мог дышать; пот градом катился с лица его; мокрые клочки седых волос, вырвавшись из-под шапки, приклеились ко лбу его; колени его дрожали... он хотел кинуться на шею Печорину, но тот довольно холодно, хотя с приветливой улыбкой, протянул ему руку. Штабс-капитан на минуту остолбенел, но потом жадно схватил его руку обеими руками: он еще не мог говорить.

— Как я рад, дорогой Максим Максимыч! Ну, как вы поживаете? — сказал Печорин.

— А... ты?.. а вы?.. — пробормотал со слезами на глазах старик... — сколько лет... сколько дней... да куда это?..

— Еду в Персию — и дальше...

— Неужто сейчас?.. Да подождите, дражайший!.. Неужто сейчас расстанемся?.. Столько времени не видались...

— Мне пора, Максим Максимыч, — был ответ.

— Боже мой, боже мой! да куда это так спешите?.. Мне столько бы хотелось вам сказать... столько расспросить... Ну что́? в отставке?.. как?.. что поделывали?..

— Скучал! — отвечал Печорин, улыбаясь...

— А помните наше житье-бытье в крепости? Славная страна для охоты!.. Ведь вы были страстный охотник стрелять... А Бэла?..

Печорин чуть-чуть побледнел и отвернулся...

— Да, помню! — сказал он, почти тотчас принужденно зевнув...

Максим Максимыч стал его упрашивать остаться с ним еще часа два.

— Мы славно пообедаем, — говорил он, — у меня есть два фазана; а кахетинское здесь прекрасное... разумеется, не то, что в Грузии, однако лучшего сорта... Мы поговорим... вы мне расскажете про свое житье в Петербурге... А?..

— Право, мне нечего рассказывать, дорогой Максим Максимыч... Однако прощайте, мне пора... я спешу... Благодарю, что не забыли... — прибавил он, взяв его за руку.

Старик нахмурил брови... Он был печален и сердит, хотя старался скрыть это.

— Забыть! — проворчал он, — я-то не забыл ничего... Ну, да бог с вами!.. Не так я думал с вами встретиться...

— Ну полно, полно! — сказал Печорин, обняв его дружески, — неужели я не тот же?.. Что делать?.. всякому своя дорога... Удастся ли еще встретиться — бог знает!.. — Говоря это, он уже сидел в коляске, и ямщик уже начал подбирать вожжи.

— Постой, постой! — закричал вдруг Максим Максимыч, ухватясь за дверцы коляски, — совсем было забыл... У меня остались ваши бумаги, Григорий Александрович... я их таскаю с собой... думал найти вас в Грузии, а вот где бог дал свидеться... Что мне с ними делать?..

— Что хотите! — отвечал Печорин. — Прощайте...

— Так вы в Персию?.. а когда вернетесь?.. — кричал вслед Максим Максимыч...

Коляска была уже далеко; но Печорин сделал знак рукой, который можно было перевести следующим образом: вряд ли! да и незачем!..

Давно уже не слышно было ни звона колокольчика, ни стука колес по кремнистой дороге, — а бедный старик еще стоял на том же месте в глубокой задумчивости.

— Да, — сказал он наконец, стараясь принять равнодушный вид, хотя слеза досады по временам

сверкала на его ресницах, — конечно, мы были приятели, — ну, да что приятели в нынешнем веке!.. Что ему во мне? Я не богат, не чиновен, да и по летам совсем ему не пара... Вишь, каким он франтом сделался, как побывал опять в Петербурге... Что за коляска!.. сколько поклажи!.. и лакей такой гордый!..— Эти слова были произнесены с иронической улыбкой. — Скажите, — продолжал он, обратясь ко мне, — ну что вы об этом думаете?.. ну, какой бес несет его теперь в Персию?.. Смешно, ей-богу смешно!.. Да я всегда знал, что он ветреный человек, на которого нельзя надеяться... А, право, жаль, что он дурно кончит... да и нельзя иначе!.. Уж я всегда говорил, что нет проку в том, кто старых друзей забывает!.. — Тут он отвернулся, чтоб скрыть свое волнение, и пошел ходить по двору около своей повозки, показывая, будто осматривает колеса, тогда как глаза его поминутно наполнялись слезами.

— Максим Максимыч, — сказал я, подошедши к нему, — а что это за бумаги вам оставил Печорин?

— А бог его знает! какие-то записки...

— Что вы из них сделаете?

— Что? Я велю наделать патронов.

— Отдайте их лучше мне.

Он посмотрел на меня с удивлением, проворчал что-то сквозь зубы и начал рыться в чемодане; вот он вынул одну тетрадку и бросил ее с презрением на землю; потом другая, третья и десятая имели ту же участь: в его досаде было что-то детское; мне стало смешно и жалко...

— Вот они все, — сказал он, — поздравляю вас с находкою...

— И я могу делать с ними все что хочу?

— Хоть в газетах печатайте. Какое мне дело!.. Что, я разве друг его какой или родственник?.. Правда, мы жили долго под одной кровлей... Да мало ли с кем я не жил?..

Я схватил бумаги и поскорее унес их, боясь, чтоб штабс-капитан не раскаялся. Скоро пришли нам объявить, что через час тронется оказия: я велел закладывать. Штабс-капитан вошел в комнату в то время,

когда я уже надевал шапку; он, казалось, не готовился к отъезду; у него был какой-то принужденный, холодный вид.

— А вы, Максим Максимыч, разве не едете?

— Нет-с.

— А что так?

— Да я еще коменданта не видал, а мне надо сдать кой-какие казенные вещи...

— Да ведь вы же были у него?

— Был, конечно, — сказал он, заминаясь...— да его дома не было... а я не дождался.

Я понял его: бедный старик, в первый раз отроду, может быть, бросил дела службы для *собственной надобности,* говоря языком бумажным,— и как же он был награжден!

— Очень жаль, — сказал я ему, — очень жаль, Максим Максимыч, что нам до срока надо расстаться.

— Где нам, необразованным старикам, за вами гоняться!.. Вы молодежь светская, гордая: еще покамест под черкесскими пулями, так вы туда-сюда... а после встретишься, так стыдитесь и руку протянуть нашему брату.

— Я не заслужил этих упреков, Максим Максимыч.

— Да я, знаете, так, к слову говорю; а впрочем, желаю вам всякого счастия и веселой дороги.

Мы простились довольно сухо. Добрый Максим Максимыч сделался упрямым, сварливым штабс-капитаном! И отчего? Оттого, что Печорин в рассеянности или от другой причины протянул ему руку, когда тот хотел кинуться ему на шею! Грустно видеть, когда юноша теряет лучшие свои надежды и мечты, когда пред ним отдергивается розовый флер, сквозь который он смотрел на дела и чувства человеческие, хотя есть надежда, что он заменит старые заблуждения новыми, не менее проходящими, но зато не менее сладкими... Но чем их заменить в лета Максима Максимыча? Поневоле сердце очерствеет и душа закроется...

Я уехал один.

ЖУРНАЛ ПЕЧОРИНА

ПРЕДИСЛОВИЕ

Недавно я узнал, что Печорин, возвращаясь из Персии, умер. Это известие меня очень обрадовало: оно давало мне право печатать эти записки, и я воспользовался случаем поставить свое имя над чужим произведением. Дай бог, чтоб читатели меня не наказали за такой невинный подлог!

Теперь я должен несколько объяснить причины, побудившие меня предать публике сердечные тайны человека, которого я никогда не знал. Добро бы я был еще его другом: коварная нескромность истинного друга понятна каждому; но я видел его только раз в моей жизни на большой дороге; следовательно, не могу питать к нему той неизъяснимой ненависти, которая, таясь под личиною дружбы, ожидает только смерти или несчастия любимого предмета, чтоб разразиться над его головою градом упреков, советов, насмешек и сожалений.

Перечитывая эти записки, я убедился в искренности того, кто так беспощадно выставлял наружу собственные слабости и пороки. История души человеческой, хотя бы самой мелкой души, едва ли не любопытнее и не полезнее истории целого народа, особенно когда она — следствие наблюдений ума зрелого над самим собою и когда она писана без тщеславного желания возбудить участие или удивление. Исповедь Руссо имеет уже тот недостаток, что он читал ее своим друзьям.

Итак, одно желание пользы заставило меня напечатать отрывки из журнала, доставшегося мне случайно. Хотя я переменил все собственные имена, но те, о которых в нем говорится, вероятно себя узнают, и, может быть, они найдут оправдания поступкам, в которых до сей поры обвиняли человека, уже не имеющего отныне ничего общего с здешним миром: мы почти всегда извиняем то, что понимаем.

Я поместил в этой книге только то, что относилось к пребыванию Печорина на Кавказе; в моих руках осталась еще толстая тетрадь, где он рассказывает всю жизнь свою. Когда-нибудь и она явится на суд

света; но теперь я не смею взять на себя эту ответственность по многим важным причинам.

Может быть, некоторые читатели захотят узнать мое мнение о характере Печорина. Мой ответ — заглавие этой книги. «Да это злая ирония!» —скажут они.— Не знаю.

I

ТАМАНЬ

Тамань — самый скверный городишка из всех приморских городов России. Я там чуть-чуть не умер с голода, да еще вдобавок меня хотели утопить. Я приехал на перекладной тележке поздно ночью. Ямщик остановил усталую тройку у ворот единственного каменного дома, что при въезде. Часовой, черноморский казак, услышав звон колокольчика, закричал спросонья диким голосом: «Кто идет?» Вышел урядник и десятник. Я им объяснил, что я офицер, еду в действующий отряд по казенной надобности, и стал требовать казенную квартиру. Десятник нас повел по городу. К которой избе не подъедем — занята. Было холодно, я три ночи не спал, измучился и начал сердиться. «Веди меня куда-нибудь, разбойник! хоть к черту, только к месту!» — закричал я. «Есть еще одна фатера, — отвечал десятник, почесывая затылок, — только вашему благородию не понравится; там нечисто!» Не поняв точного значения последнего слова, я велел ему идти вперед, и после долгого странствования по грязным переулкам, где по сторонам я видел одни только ветхие заборы, мы подъехали к небольшой хате, на самом берегу моря.

Полный месяц светил на камышовую крышу и белые стены моего нового жилища; на дворе, обведенном оградой из булыжника, стояла избочась другая лачужка, менее и древнее первой. Берег обрывом спускался к морю почти у самых стен ее, и внизу с беспрерывным ропотом плескались темно-синие волны. Луна тихо смотрела на беспокойную, но покорную ей стихию, и я мог различить при свете ее, далеко от берега, два корабля, которых черные снасти, подобно

паутине, неподвижно рисовались на бледной черте небосклона. «Суда в пристани есть, — подумал я, — завтра отправлюсь в Геленджик».

При мне исправлял должность денщика линейский казак. Велев ему выложить чемодан и отпустить извозчика, я стал звать хозяина — молчат; стучу — молчат... что это? Наконец, из сеней выполз мальчик лет четырнадцати.

«Где хозяин?» — «Не-ма». — «Как? совсем нету?» — «Совсим». — «А хозяйка?» — «Побигла в слободку». — «Кто же мне отопрет дверь?» — сказал я, ударив в нее ногою. Дверь сама отворилась; из хаты повеяло сыростью. Я засветил серную спичку и поднес ее к носу мальчика: она озарила два белые глаза. Он был слепой, совершенно слепой от природы. Он стоял передо мною неподвижно, и я начал рассматривать черты его лица.

Признаюсь, я имею сильное предубеждение против всех слепых, кривых, глухих, немых, безногих, безруких, горбатых и проч. Я замечал, что всегда есть какое-то странное отношение между наружностью человека и его душою: как будто с потерею члена душа теряет какое-нибудь чувство.

Итак, я начал рассматривать лицо слепого; но что прикажете прочитать на лице, у которого нет глаз?.. Долго я глядел на него с невольным сожалением, как вдруг едва приметная улыбка пробежала по тонким губам его, и, не знаю отчего, она произвела на меня самое неприятное впечатление. В голове моей родилось подозрение, что этот слепой не так слеп, как оно кажется; напрасно я старался уверить себя, что бельмы подделать невозможно, да и с какой целью? Но что делать? я часто склонен к предубеждениям...

«Ты хозяйский сын?» — спросил я его, наконец. «Ни». — «Кто же ты?» — «Сирота, убогий». — «А у хозяйки есть дети?» — «Ни; была дочь, да утикла за море с татарином». — «С каким татарином?» — «А бис его знает! крымский татарин, лодочник из Керчи».

Я вошел в хату: две лавки и стол, да огромный сундук возле печи составляли всю ее мебель. На стене ни одного образа — дурной знак! В разбитое стекло

врывался морской ветер. Я вытащил из чемодана восковой огарок и, засветив его, стал раскладывать вещи, поставил в угол шашку и ружье, пистолеты положил на стол, разостлал бурку на лавке, казак свою на другой; через десять минут он захрапел, но я не мог заснуть: передо мной во мраке все вертелся мальчик с белыми глазами.

Так прошло около часа. Месяц светил в окно, и луч его играл по земляному полу хаты. Вдруг на яркой полосе, пересекающей пол, промелькнула тень. Я привстал и взглянул в окно: кто-то вторично пробежал мимо его и скрылся бог знает куда. Я не мог полагать, чтоб это существо сбежало по отвесу берега; однако иначе ему некуда было деваться. Я встал, накинул бешмет, опоясал кинжал и тихо-тихо вышел из хаты; навстречу мне слепой мальчик. Я притаился у забора, и он верной, но осторожной поступью прошел мимо меня. Под мышкой он нес какой-то узел и, повернув к пристани, стал спускаться по узкой и крутой тропинке. «В тот день немые возопиют и слепые прозрят», — подумал я, следуя за ним в таком расстоянии, чтоб не терять его из вида.

Между тем луна начала одеваться тучами и на море поднялся туман; едва сквозь него светился фонарь на корме ближнего корабля; у берега сверкала пена валунов, ежеминутно грозящих его потопить. Я, с трудом спускаясь, пробирался по крутизне, и вот вижу: слепой приостановился, потом повернул низом направо; он шел так близко от воды, что казалось, сейчас волна его схватит и унесет; но, видно, это была не первая его прогулка, судя по уверенности, с которой он ступал с камня на камень и избегал рытвин. Наконец, он остановился, будто прислушиваясь к чему-то, присел на землю и положил возле себя узел. Я наблюдал за его движениями, спрятавшись за выдавшеюся скалою берега. Спустя несколько минут с противоположной стороны показалась белая фигура; она подошла к слепому и села возле него. Ветер по временам приносил мне их разговор.

— Что, слепой? —сказал женский голос,— буря сильна; Янко не будет.

— Янко не боится бури, — отвечал тот.

— Туман густеет, — возразил опять женский голос с выражением печали.

— В тумане лучше пробраться мимо сторожевых судов, — был ответ.

— А если он утонет?

— Ну что ж? в воскресенье ты пойдешь в церковь без новой ленты.

Последовало молчание; меня, однако, поразило одно: слепой говорил со мною малороссийским наречием, а теперь изъяснялся чисто по-русски.

— Видишь, я прав, — сказал опять слепой, ударив в ладоши,— Янко не боится ни моря, ни ветров, ни тумана, ни береговых сторожей; прислушайся-ка: это не вода плещет, меня не обманешь, — это его длинные весла.

Женщина вскочила и стала всматриваться вдаль с видом беспокойства.

— Ты бредишь, слепой, — сказала она, — я ничего не вижу.

Признаюсь, сколько я ни старался различить вдалеке что-нибудь наподобие лодки, но безуспешно. Так прошло минут десять; и вот показалась между горами волн черная точка: она то увеличивалась, то уменьшалась. Медленно поднимаясь на хребты волн, быстро спускаясь с них, приближалась к берегу лодка. Отважен был пловец, решившийся в такую ночь пуститься чрез пролив на расстояние двадцати верст, и важная должна быть причина, его к тому побудившая! Думая так, я с невольным биением сердца глядел на бедную лодку; но она, как утка, ныряла и потом, быстро взмахнув веслами, будто крыльями, выскакивала из пропасти среди брызгов пены; и вот, я думал, она ударится с размаха об берег и разлетится вдребезги; но она ловко повернулась боком и вскочила в маленькую бухту невредима. Из нее вышел человек среднего роста, в татарской бараньей шапке; он махнул рукою, и все трое принялись вытаскивать что-то из лодки; груз был так велик, что я до сих пор не понимаю, как она не потонула. Взяв на плечи каждый по узлу, они пустились вдоль по берегу, и скоро я потерял их из вида. Надо

было вернуться домой; но, признаюсь, все эти странности меня тревожили, и я насилу дождался утра.

Казак мой был очень удивлен, когда, проснувшись, увидел меня совсем одетого; я ему, однако ж, не сказал причины. Полюбовавшись несколько времени из окна на голубое небо, усеянное разорванными облачками, на дальний берег Крыма, который тянется лиловой полосой и кончается утесом, на вершине коего белеется маячная башня, я отправился в крепость Фанагорию, чтоб узнать от коменданта о часе моего отъезда в Геленджик.

Но, увы! комендант ничего не мог сказать мне решительного. Суда, стоящие в пристани, были все — или сторожевые, или купеческие, которые еще даже не начинали нагружаться. «Может быть, дни через три, четыре придет почтовое судно, — сказал комендант, — и тогда — мы увидим». Я вернулся домой угрюм и сердит. Меня в дверях встретил казак мой с испуганным лицом.

— Плохо, ваше благородие! — сказал он мне.

— Да, брат, бог знает, когда мы отсюда уедем! — Тут он еще больше встревожился и, наклонясь ко мне, сказал шепотом:

— Здесь нечисто! Я встретил сегодня черноморского урядника; он мне знаком — был прошлого года в отряде; как я ему сказал, где мы остановились, а он мне: «Здесь, брат, нечисто, люди недобрые!..» Да и в самом деле, что это за слепой! ходит везде один, и на базар, за хлебом, и за водой... уж видно, здесь к этому привыкли.

— Да что ж? по крайней мере показалась ли хозяйка?

— Сегодня без вас пришла старуха и с ней дочь.

— Какая дочь? у нее нет дочери.

— А бог ее знает, кто она, коли не дочь; да вон старуха сидит теперь в своей хате.

Я вошел в лачужку. Печь была жарко натоплена, и в ней варился обед, довольно роскошный для бедняков. Старуха на все мои вопросы отвечала, что она глуха, не слышит. Что было с ней делать? Я обратился к слепому, который сидел перед печью и под-

кладывал в огонь хворост. «Ну-ка, слепой чертенок, — сказал я, взяв его за ухо, — говори, куда ты ночью таскался с узлом, а?» Вдруг мой слепой заплакал, закричал, заохал: «Куды я ходив?.. никуды не ходив... с узлом? яким узлом?» Старуха на этот раз услышала и стала ворчать: «Вот выдумывают, да еще на убогого! за что вы его? что он вам сделал?» Мне это надоело, и я вышел, твердо решившись достать ключ этой загадки.

Я завернулся в бурку и сел у забора на камень, поглядывая вдаль; предо мной тянулось ночною бурею взволнованное море, и однообразный шум его, подобный ропоту засыпающего города, напомнил мне старые годы, перенес мои мысли на север, в нашу холодную столицу. Волнуемый воспоминаниями, я забылся... Так прошло около часа, может быть и более... Вдруг что-то похожее на песню поразило мой слух. Точно, это была песня, и женский, свежий голосок, — но откуда?.. Прислушиваюсь — напев странный, то протяжный и печальный, то быстрый и живой. Оглядываюсь — никого нет кругом; прислушиваюсь снова — звуки как будто падают с неба. Я поднял глаза: на крыше хаты моей стояла девушка в полосатом платье, с распущенными косами, настоящая русалка. Защитив глаза ладонью от лучей солнца, она пристально всматривалась вдаль, то смеялась и рассуждала сама с собой, то запевала снова песню.

Я запомнил эту песню от слова до слова:

Как по вольной волюшке —
По зелену морю,
Ходят все кораблики
    Белопарусники.
Промеж тех корабликов
Моя лодочка,
Лодка неснащеная,
    Двухвесельная.
Буря ль разыграется —
Старые кораблики
Приподымут крылышки,
    По морю размечутся.
Стану морю кланяться
Я низехонько:
«Уж не тронь ты, злое море,
    Мою лодочку:

Везет моя лодочка
Вещи драгоценные,
Правит ею в темну ночь
Буйная головушка».

Мне невольно пришло на мысль, что ночью я слышал тот же голос; я на минуту задумался, и когда снова посмотрел на крышу, девушки там не было. Вдруг она пробежала мимо меня, напевая что-то другое, и, прищелкивая пальцами, вбежала к старухе, и тут начался между ними спор. Старуха сердилась, она громко хохотала. И вот вижу, бежит опять вприпрыжку моя ундина; поровнявшись со мной, она остановилась и пристально посмотрела мне в глаза, как будто удивленная моим присутствием; потом небрежно обернулась и тихо пошла к пристани. Этим не кончилось: целый день она вертелась около моей квартиры; пеньё и прыганье не прекращались ни на минуту. Странное существо! На лице ее не было никаких признаков безумия; напротив, глаза ее с бойкою проницательностию останавливались на мне, и эти глаза, казалось, были одарены какою-то магнетическою властью, и всякий раз они как будто бы ждали вопроса. Но только я начинал говорить, она убегала, коварно улыбаясь.

Решительно, я никогда подобной женщины не видывал. Она была далеко не красавица, но я имею свои предубеждения также и насчет красоты. В ней было много породы... порода в женщинах, как и в лошадях, великое дело; это открытие принадлежит юной Франции. Она, то есть порода, а не юная Франция, большею частью изобличается в поступи, в руках и ногах; особенно нос очень много значит. Правильный нос в России реже маленькой ножки. Моей певунье казалось не более восемнадцати лет. Необыкновенная гибкость ее стана, особенное, ей только свойственное наклонение головы, длинные русые волосы, какой-то золотистый отлив ее слегка загорелой кожи на шее и плечах и особенно правильный нос — все это было для меня обворожительно. Хотя в ее косвенных взглядах я читал что-то дикое и подозрительное, хотя в ее улыбке было что-то неопределенное, но такова сила

предубеждений: правильный нос свел меня с ума; я вообразил, что нашел Гётеву Миньону, это причудливое создание его немецкого воображения, — и точно, между ими было много сходства: те же быстрые переходы от величайшего беспокойства к полной неподвижности, те же загадочные речи, те же прыжки, странные песни...

Под вечер, остановив ее в дверях, я завел с нею следующий разговор:

«Скажи-ка мне, красавица, — спросил я, — что ты делала сегодня на кровле?» — «А смотрела, откуда ветер дует». — «Зачем тебе?» — «Откуда ветер, оттуда и счастье». — «Что же? разве ты песнею зазывала счастье?» — «Где поется, там и счастливится». — «А как неравно напоешь себе горе?» — «Ну что ж? где не будет лучше, там будет хуже, а от худа до добра опять недалеко». — «Кто ж тебя выучил эту песню?» — «Никто не выучил; вздумается — запою; кому услыхать, тот услышит; а кому не должно слышать, тот не поймет». — «А как тебя зовут, моя певунья?» — «Кто крестил, тот знает». — «А кто крестил?» — «Почему я знаю». — «Экая скрытная! а вот я кое-что про тебя узнал». (Она не изменилась в лице, не пошевельнула губами, как будто не об ней дело.) «Я узнал, что ты вчера ночью ходила на берег». — И тут я очень важно пересказал ей все, что видел, думая смутить ее — нимало! Она захохотала во все горло. «Много видели, да мало знаете; а что знаете, так держите под замочком». — «А если б я, например, вздумал донести коменданту?» — и тут я сделал очень серьезную, даже строгую мину. Она вдруг прыгнула, запела и скрылась, как птичка, выпугнутая из кустарника. Последние слова мои были вовсе не у места; я тогда не подозревал их важности, но впоследствии имел случай в них раскаяться.

Только что смерклось, я велел казаку нагреть чайник по-походному, засветил свечу и сел у стола, покуривая из дорожной трубки. Уж я доканчивал второй стакан чая, как вдруг дверь скрипнула, легкий шорох платья и шагов послышался за мной; я вздрогнул и обернулся, — то была она, моя ундина! Она

села против меня тихо и безмолвно и устремила на меня глаза свои, и не знаю почему, но этот взор показался мне чудно-нежен; он мне напомнил один из тех взглядов, которые в старые годы так самовластно играли моею жизнью. Она, казалось, ждала вопроса, но я молчал, полный неизъяснимого смущения. Лицо ее было покрыто тусклой бледностью, изобличавшей волнение душевное; рука ее без цели бродила по столу, и я заметил в ней легкий трепет; грудь ее то высоко подымалась, то, казалось, она удерживала дыхание. Эта комедия начинала мне надоедать, и я готов был прервать молчание самым прозаическим образом, то есть предложить ей стакан чая, как вдруг она вскочила, обвила руками мою шею, и влажный, огненный поцелуй прозвучал на губах моих. В глазах у меня потемнело, голова закружилась, я сжал ее в моих объятиях со всею силою юношеской страсти, но она, как змея скользнула между моими руками, шепнув мне на ухо: «Нынче ночью, как все уснут, выходи на берег», — и стрелою выскочила из комнаты. В сенях она опрокинула чайник и свечу, стоявшую на полу. «Экий бес-девка!» — закричал казак, расположившийся на соломе и мечтавший согреться остатками чая. Только тут я опомнился.

Часа через два, когда все на пристани умолкло, я разбудил своего казака. «Если я выстрелю из пистолета, — сказал я ему, — то беги на берег». Он выпучил глаза и машинально отвечал: «Слушаю, ваше благородие». Я заткнул за пояс пистолет и вышел. Она дожидалась меня на краю спуска; ее одежда была более нежели легкая, небольшой платок опоясывал ее гибкий стан.

«Идите за мной!» — сказала она, взяв меня за руку, и мы стали спускаться. Не понимаю, как я не сломил себе шеи; внизу мы повернули направо и пошли по той же дороге, где накануне я следовал за слепым. Месяц еще не вставал, и только две звездочки, как два спасительные маяка, сверкали на темно-синем своде. Тяжелые волны мерно и ровно катились одна за другой, едва приподнимая одинокую лодку, причаленную к берегу. «Войдем в лодку», — сказала моя

спутница. Я колебался — я не охотник до сентиментальных прогулок по морю; но отступать было не время. Она прыгнула в лодку, я за ней, и не успел еще опомниться, как заметил, что мы плывем. «Что это значит?» — сказал я сердито. «Это значит, — отвечала она, сажая меня на скамью и обвив мой стан руками, — это значит, что я тебя люблю...» И щека ее прижалась к моей, и я почувствовал на лице моем ее пламенное дыхание. Вдруг что-то шумно упало в воду: я хвать за пояс — пистолета нет. О, тут ужасное подозрение закралось мне в душу, кровь хлынула мне в голову! Оглядываюсь — мы от берега около пятидесяти сажен, а я не умею плавать! Хочу оттолкнуть ее от себя — она как кошка вцепилась в мою одежду, и вдруг сильный толчок едва не сбросил меня в море. Лодка закачалась, но я справился, и между нами началась отчаянная борьба; бешенство придавало мне силы, но я скоро заметил, что уступаю моему противнику в ловкости... «Чего ты хочешь?» — закричал я, крепко сжав ее маленькие руки; пальцы ее хрустели, но она не вскрикнула: ее змеиная натура выдержала эту пытку.

«Ты видел, — отвечала она, — ты донесешь!» — и сверхъестественным усилием повалила меня на борт; мы оба по пояс свесились из лодки; ее волосы касались воды; минута была решительная. Я уперся коленкою в дно, схватил ее одной рукой за косу, другой за горло, она выпустила мою одежду, и я мгновенно сбросил ее в волны.

Было уже довольно темно; голова ее мелькнула раза два среди морской пены, и больше я ничего не видал...

На дне лодки я нашел половину старого весла и кое-как, после долгих усилий, причалил к пристани. Пробираясь берегом к своей хате, я невольно всматривался в ту сторону, где накануне слепой дожидался ночного пловца; луна уже катилась по небу, и мне показалось, что кто-то в белом сидел на берегу; я подкрался, подстрекаемый любопытством, и прилег в траве над обрывом берега; высунув немного голову, я мог хорошо видеть с утеса все, что внизу делалось,

и не очень удивился, а почти обрадовался, узнав мою русалку. Она выжимала морскую пену из длинных волос своих; мокрая рубашка обрисовывала гибкий стан ее и высокую грудь. Скоро показалась вдали лодка, быстро приблизилась она; из нее, как накануне, вышел человек в татарской шапке, но острижен он был по-казацки, и за ременным поясом его торчал большой нож. «Янко, — сказала она, — все пропало!» Потом разговор их продолжался, но так тихо, что я ничего не мог расслушать. «А где же слепой?» — сказал, наконец, Янко, возвыся голос. «Я его послала», — был ответ. Чрез несколько минут явился и слепой, таща на спине мешок, который положили в лодку.

— Послушай, слепой! — сказал Янко, — ты береги то место... знаешь? там богатые товары... скажи (имени я не расслышал), что я ему больше не слуга; дела пошли худо, он меня больше не увидит; теперь опасно; поеду искать работы в другом месте, а ему уж такого удальца не найти. Да скажи, кабы он получше платил за труды, так и Янко бы его не покинул; а мне везде дорога, где только ветер дует и море шумит! — После некоторого молчания Янко продолжал: — Она поедет со мною; ей нельзя здесь оставаться; а старухе скажи, что, дескать, пора умирать, зажилась, надо знать и честь. Нас же больше не увидит.

— А я? — сказал слепой жалобным голосом.

— На что мне тебя? — был ответ.

Между тем моя ундина вскочила в лодку и махнула товарищу рукою; он что-то положил слепому в руку, примолвив: «На, купи себе пряников». — «Только?» — сказал слепой. «Ну, вот тебе еще», — и упавшая монета зазвенела, ударясь о камень. Слепой ее не поднял. Янко сел в лодку, ветер дул от берега, они подняли маленький парус и быстро понеслись. Долго при свете месяца мелькал белый парус между темных волн; слепой все сидел на берегу, и вот мне послышалось что-то похожее на рыдание: слепой мальчик точно плакал, и долго, долго... Мне стало грустно. И зачем было судьбе кинуть меня в мирный круг *честных контрабандистов?* Как камень, брошен-

ный в гладкий источник, я встревожил их спокойствие и, как камень, едва сам не пошел ко дну!

Я возвратился домой. В сенях трещала догоревшая свеча в деревянной тарелке, и казак мой, вопреки приказанию, спал крепким сном, держа ружье обеими руками. Я его оставил в покое, взял свечу и пошел в хату. Увы! моя шкатулка, шашка с серебряной оправой, дагестанский кинжал — подарок приятеля — все исчезло. Тут-то я догадался, какие вещи тащил проклятый слепой. Разбудив казака довольно невежливым толчком, я побранил его, посердился, а делать было нечего! И не смешно ли было бы жаловаться начальству, что слепой мальчик меня обокрал, а восьмнадцатилетняя девушка чуть-чуть не утопила? Слава богу, поутру явилась возможность ехать, и я оставил Тамань. Что сталось с старухой и с бедным слепым — не знаю. Да и какое дело мне до радостей и бедствий человеческих, мне, странствующему офицеру, да еще с подорожной по казенной надобности!..

Конец первой части.

Часть вторая

(Окончание журнала Печорина)

II

КНЯЖНА МЕРИ

11-го мая.

Вчера я приехал в Пятигорск, нанял квартиру на краю города, на самом высоком месте, у подошвы Машука: во время грозы облака будут спускаться до моей кровли. Нынче в пять часов утра, когда я открыл окно, моя комната наполнилась запахом цветов, растущих в скромном палисаднике. Ветки цветущих черешен смотрят мне в окно, и ветер иногда усыпает мой письменный стол их белыми лепестками. Вид с трех сторон у меня чудесный. На запад пятиглавый Бешту синеет, как «последняя туча рассеянной бури»; на север подымается Машук, как мохнатая персидская шапка, и закрывает всю эту часть небо-

склона; на восток смотреть веселее: внизу передо мною пестреет чистенький, новенький городок, шумят целебные ключи, шумит разноязычная толпа, — а там, дальше, амфитеатром громоздятся горы все синее и туманнее, а на краю горизонта тянется серебряная цепь снеговых вершин, начинаясь Казбеком и оканчиваясь двуглавым Эльборусом... Весело жить в такой земле! Какое-то отрадное чувство разлито во всех моих жилах. Воздух чист и свеж, как поцелуй ребенка; солнце ярко, небо синё — чего бы, кажется, больше? зачем тут страсти, желания, сожаления?.. Однако пора. Пойду к Елисаветинскому источнику: там, говорят, утром собирается все водяное общество.

. . . .

Спустясь в середину города, я пошел бульваром, где встретил несколько печальных групп, медленно подымающихся в гору; то были большею частию семейства степных помещиков; об этом можно было тотчас догадаться по истертым, старомодным сюртукам мужей и по изысканным нарядам жен и дочерей: видно, у них вся *водяная* молодежь была уже на перечете, потому что они на меня посмотрели с нежным любопытством: петербургский покрой сюртука ввел их в заблуждение, но, скоро узнав армейские эполеты, они с негодованием отвернулись.

Жены местных властей, так сказать хозяйки вод, были благосклоннее; у них есть лорнеты, они менее обращают внимания на мундир, они привыкли на Кавказе встречать под нумерованной пуговицей пылкое сердце и под белой фуражкой образованный ум. Эти дамы очень милы, и долго милы! Всякий год их обожатели сменяются новыми, и в этом-то, может быть, секрет их неутомимой любезности. Подымаясь по узкой тропинке к Елисаветинскому источнику, я обогнал толпу мужчин, штатских и военных, которые, как я узнал после, составляют особенный класс людей между чающими движения воды. Они пьют — однако не воду, гуляют мало, волочатся только мимоходом; они играют и жалуются на скуку. Они франты: опуская свой оплетенный стакан в колодезь кислосерной воды, они принимают академические позы;

штатские носят светло-голубые галстуки, военные выпускают из-за воротника брыжжи. Они исповедывают глубокое презрение к провинциальным домам и вздыхают о столичных аристократических гостиных, куда их не пускают.

Наконец, вот и колодезь... На площадке близ него построен домик с красной кровлею над ванной, а подальше галерея, где гуляют во время дождя. Несколько раненых офицеров сидело на лавке, подобрав костыли, — бледные, грустные. Несколько дам скорыми шагами ходило взад и вперед по площадке, ожидая действия вод. Между ними были два-три хорошенькие личика. Под виноградными аллеями, покрывающими скат Машука, мелькала порою пестрая шляпка любительницы уединения вдвоем, потому что всегда возле такой шляпки я замечал или военную фуражку, или безобразную круглую шляпу. На крутой скале, где построен павильон, называемый Эоловой Арфой, торчали любители видов и наводили телескоп на Эльборус; между ними были два гувернера с своими воспитанниками, приехавшими лечиться от золотухи.

Я остановился, запыхавшись, на краю горы и, прислонясь к углу домика, стал рассматривать живописную окрестность, как вдруг слышу за собой знакомый голос:

— Печорин! давно ли здесь?

Оборачиваюсь: Грушницкий! Мы обнялись. Я познакомился с ним в действующем отряде. Он был ранен пулей в ногу и поехал на воды с неделю прежде меня.

Грушницкий — юнкер. Он только год в службе, носит, по особенному роду франтовства, толстую солдатскую шинель. У него георгиевский солдатский крестик. Он хорошо сложен, смугл и черноволос; ему на вид можно дать двадцать пять лет, хотя ему едва ли двадцать один год. Он закидывает голову назад, когда говорит, и поминутно крутит усы левой рукой, ибо правою опирается на костыль. Говорит он скоро и вычурно: он из тех людей, которые на все случаи жизни имеют готовые пышные фразы, которых просто прекрасное не трогает и которые важно драпируются в

необыкновенные чувства, возвышенные страсти и исключительные страдания. Производить эффект — их наслаждение; они нравятся романтическим провинциалкам до безумия. Под старость они делаются либо мирными помещиками, либо пьяницами, — иногда тем и другим. В их душе часто много добрых свойств, но ни на грош поэзии. Грушницкого страсть была декламировать: он закидывал вас словами, как скоро разговор выходил из круга обыкновенных понятий; спорить с ним я никогда не мог. Он не отвечает на ваши возражения, он вас не слушает. Только что вы остановитесь, он начинает длинную тираду, по-видимому имеющую какую-то связь с тем, что вы сказали, но которая в самом деле есть только продолжение его собственной речи.

Он довольно остер: эпиграммы его часто забавны, но никогда не бывают метки и злы: он никого не убьет одним словом; он не знает людей и их слабых струн, потому что занимался целую жизнь одним собою. Его цель — сделаться героем романа. Он так часто старался уверить других в том, что он существо, не созданное для мира, обреченное каким-то тайным страданиям, что он сам почти в этом уверился. Оттого он так гордо носит свою толстую солдатскую шинель. Я его понял, и он за это меня не любит, хотя мы наружно в самых дружеских отношениях. Грушницкий слывет отличным храбрецом; я его видел в деле: он махает шашкой, кричит и бросается вперед, зажмуря глаза. Это что-то не русская храбрость!..

Я его также не люблю: я чувствую, что мы когда-нибудь с ним столкнемся на узкой дороге, и одному из нас несдобровать.

Приезд его на Кавказ — также следствие его романтического фанатизма: я уверен, что накануне отъезда из отцовской деревни он говорил с мрачным видом какой-нибудь хорошенькой соседке, что он едет не так, просто, служить, но что ищет смерти, потому что... тут он, верно, закрыл глаза рукою и продолжал так: «Нет, вы (или ты) этого не должны знать! Ваша чистая душа содрогнется! Да и к чему? Что я для вас? Поймете ли вы меня?..» и так далее.

Он мне сам говорил, что причина, побудившая его вступить в К. полк, останется вечною тайною между им и небесами.

Впрочем, в те минуты, когда сбрасывает трагическую мантию, Грушницкий довольно мил и забавен. Мне любопытно видеть его с женщинами: тут-то он, я думаю, старается!

Мы встретились старыми приятелями. Я начал его расспрашивать об образе жизни на водах и о примечательных лицах.

— Мы ведем жизнь довольно прозаическую, — сказал он, вздохнув, — пьющие утром воду — вялы, как все больные, а пьющие вино повечеру — несносны, как все здоровые. Женские общества есть; только от них небольшое утешение: они играют в вист, одеваются дурно и ужасно говорят по-французски. Нынешний год из Москвы одна только княгиня Лиговская с дочерью; но я с ними незнаком. Моя солдатская шинель — как печать отвержения. Участие, которое она возбуждает, тяжело, как милостыня.

В эту минуту прошли к колодцу мимо нас две дамы: одна пожилая, другая молоденькая, стройная. Их лиц за шляпками я не разглядел, но они одеты были по строгим правилам лучшего вкуса: ничего лишнего. На второй было закрытое платье *gris de perles*[1], легкая шелковая косынка вилась вокруг ее гибкой шеи. Ботинки *couleur puce*[2] стягивали у щиколки ее сухощавую ножку так мило, что даже не посвященный в таинства красоты непременно бы ахнул, хотя от удивления. Ее легкая, но благородная походка имела в себе что-то девственное, ускользающее от определения, но понятное взору. Когда она прошла мимо нас, от нее повеяло тем неизъяснимым ароматом, которым дышит иногда записка милой женщины.

— Вот княгиня Лиговская, — сказал Грушницкий, — и с нею дочь ее Мери, как она ее называет на английский манер. Они здесь только три дня.

---

[1] серо-жемчужного цвета (*франц.*).
[2] красновато-бурого цвета (*франц.*).

— Однако ты уж знаешь ее имя?

— Да, я случайно слышал, — отвечал он, покраснев, — признаюсь, я не желаю с ними познакомиться. Эта гордая знать смотрит на нас, армейцев, как на диких. И какое им дело, есть ли ум под нумерованной фуражкой и сердце под толстой шинелью?

— Бедная шинель! — сказал я, усмехаясь, — а кто этот господин, который к ним подходит и так услужливо подает им стакан?

— О! это московский франт Раевич! Он игрок: это видно тотчас по золотой огромной цепи, которая извивается по его голубому жилету. А что за толстая трость — точно у Робинзона Крузоэ! Да и борода кстати, и прическа *à la moujik* [1].

— Ты озлоблен против всего рода человеческого.

— И есть за что...

— О! право?

В это время дамы отошли от колодца и поровнялись с нами. Грушницкий успел принять драматическую позу с помощию костыля и громко отвечал мне по-французски:

— Mon cher, je haïs les hommes pour ne pas les mépriser, car autrement la vie serait une farce trop dégoutante [2].

Хорошенькая княжна обернулась и подарила оратора долгим любопытным взором. Выражение этого взора было очень неопределенно, но не насмешливо, с чем я внутренно от души его поздравил.

— Эта княжна Мери прехорошенькая, — сказал я ему. — У нее такие бархатные глаза — именно бархатные: я тебе советую присвоить это выражение, говоря об ее глазах; нижние и верхние ресницы так длинны, что лучи солнца не отражаются в ее зрачках. Я люблю эти глаза без блеска: они так мягки, они будто бы тебя гладят... Впрочем, кажется, в ее лице только и есть хорошего... А что, у нее зубы белы?

---

[1] по-мужицки (*франц.*).

[2] Милый мой, я ненавижу людей, чтоб их не презирать, потому что иначе жизнь была бы слишком отвратительным фарсом (*франц.*).

Это очень важно! жаль, что она не улыбнулась на твою пышную фразу.

— Ты говоришь о хорошенькой женщине, как об английской лошади, — сказал Грушницкий с негодованием.

— Mon cher, — отвечал я ему, стараясь подделаться под его тон, — je méprise les femmes pour ne pas les aimer, car autrement la vie serait un mélodrame trop ridicule [1].

Я повернулся и пошел от него прочь. С полчаса гулял я по виноградным аллеям, по известчатым скалам <с> висящими между них кустарниками. Становилось жарко, и я поспешил домой. Проходя мимо кислосерного источника, я остановился у крытой галереи, чтоб вздохнуть под ее тенью, и это доставило мне случай быть свидетелем довольно любопытной сцены. Действующие лица находились вот в каком положении. Княгиня с московским франтом сидела на лавке в крытой галерее, и оба были заняты, кажется, серьезным разговором. Княжна, вероятно допив уж последний стакан, прохаживалась задумчиво у колодца. Грушницкий стоял у самого колодца; больше на площадке никого не было.

Я подошел ближе и спрятался за угол галереи. В эту минуту Грушницкий уронил свой стакан на песок и усиливался нагнуться, чтоб его поднять: больная нога ему мешала. Бедняжка! как он ухитрялся, опираясь на костыль, и все напрасно. Выразительное лицо его в самом деле изображало страдание.

Княжна Мери видела все это лучше меня.

Легче птички она к нему подскочила, нагнулась, подняла стакан и подала ему с телодвижением, исполненным невыразимой прелести; потом ужасно покраснела, оглянулась на галерею и, убедившись, что ее маменька ничего не видала, кажется, тотчас же успокоилась. Когда Грушницкий открыл рот, чтобы поблагодарить ее, она была уже далеко. Через

---

[1] Милый мой, я презираю женщин, чтобы не любить их, потому что иначе жизнь была бы слишком нелепой мелодрамой (*франц.*).

минуту она вышла из галереи с матерью и франтом, но, проходя мимо Грушницкого, приняла вид такой чинный и важный — даже не обернулась, даже не заметила его страстного взгляда, которым он долго ее провожал, пока, спустившись с горы, она не скрылась за липками бульвара... Но вот ее шляпка мелькнула через улицу; она вбежала в ворота одного из лучших домов Пятигорска. За нею прошла княгиня и у ворот раскланялась с Раевичем.

Только тогда бедный страстный юнкер заметил мое присутствие.

— Ты видел? — сказал он, крепко пожимая мне руку, — это просто ангел!

— Отчего? — спросил я с видом чистейшего простодушия.

— Разве ты не видал?

— Нет, видел: она подняла твой стакан. Если б был тут сторож, то он сделал бы то же самое, и еще поспешнее, надеясь получить на водку. Впрочем, очень понятно, что ей стало тебя жалко: ты сделал такую ужасную гримасу, когда ступил на простреленную ногу...

— И ты не был нисколько тронут, глядя на нее в эту минуту, когда душа сияла на лице ее?..

— Нет.

Я лгал; но мне хотелось его побесить. У меня врожденная страсть противоречить; целая моя жизнь была только цепь грустных и неудачных противоречий сердцу или рассудку. Присутствие энтузиаста обдает меня крещенским холодом, и, я думаю, частые сношения с вялым флегматиком сделали бы из меня страстного мечтателя. Признаюсь еще, чувство неприятное, но знакомое пробежало слегка в это мгновение по моему сердцу; это чувство — было зависть; я говорю смело «зависть», потому что привык себе во всем признаваться; и вряд ли найдется молодой человек, который, встретив хорошенькую женщину, приковавшую его праздное внимание и вдруг явно при нем отличившую другого, ей равно незнакомого, вряд ли, говорю, найдется такой молодой человек (разумеется, живший в большом свете и привыкший баловать свое самолюбие), который бы не был этим поражен неприятно.

Молча с Грушницким спустились мы с горы и прошли по бульвару, мимо окон дома, где скрылась наша красавица. Она сидела у окна. Грушницкий, дернув меня за руку, бросил на нее один из тех мутно-нежных взглядов, которые так мало действуют на женщин. Я навел на нее лорнет и заметил, что она от его взгляда улыбнулась, а что мой дерзкий лорнет рассердил ее не на шутку. И как, в самом деле, смеет кавказский армеец наводить стеклышко на московскую княжну?..

13-го мая.

Нынче поутру зашел ко мне доктор; его имя Вернер, но он русский. Что тут удивительного? Я знал одного Иванова, который был немец.

Вернер человек замечательный по многим причинам. Он скептик и матерьялист, как все почти медики, а вместе с этим поэт, и не на шутку, — поэт на деле всегда и часто на словах, хотя в жизнь свою не написал двух стихов. Он изучал все живые струны сердца человеческого, как изучают жилы трупа, но никогда не умел он воспользоваться своим знанием; так иногда отличный анатомик не умеет вылечить от лихорадки! Обыкновенно Вернер исподтишка насмехался над своими больными; но я раз видел, как он плакал над умирающим солдатом... Он был беден, мечтал о миллионах, а для денег не сделал бы лишнего шага: он мне раз говорил, что скорее сделает одолжение врагу, чем другу, потому что это значило бы продавать свою благотворительность, тогда как ненависть только усилится соразмерно великодушию противника. У него был злой язык: под вывескою его эпиграммы не один добряк прослыл пошлым дураком; его соперники, завистливые водяные медики, распустили слух, будто он рисует карикатуры на своих больных, — больные взбеленились, почти все ему отказали. Его приятели, то есть все истинно порядочные люди, служившие на Кавказе, напрасно старались восстановить его упадший кредит.

Его наружность была из тех, которые с первого взгляда поражают неприятно, но которые нравятся впоследствии, когда глаз выучится читать в неправильных чертах отпечаток души испытанной и высокой. Бывали примеры, что женщины влюблялись в таких людей до безумия и не променяли бы их безобразия на красоту самых свежих и розовых эндимионов; надобно отдать справедливость женщинам: они имеют инстинкт красоты душевной; оттого-то, может быть, люди, подобные Вернеру, так страстно любят женщин.

Вернер был мал ростом, и худ, и слаб, как ребенок; одна нога была у него короче другой, как у Байрона; в сравнении с туловищем голова его казалась огромна: он стриг волосы под гребенку, и неровности его черепа, обнаженные таким образом, поразили бы френолога странным сплетением противоположных наклонностей. Его маленькие черные глаза, всегда беспокойные, старались проникнуть в ваши мысли. В его одежде заметны были вкус и опрятность; его худощавые, жилистые и маленькие руки красовались в светло-желтых перчатках. Его сюртук, галстук и жилет были постоянно черного цвета. Молодежь прозвала его Мефистофелем; он показывал, будто сердился за это прозвание, но в самом деле оно льстило его самолюбию. Мы друг друга скоро поняли и сделались приятелями, потому что я к дружбе не способен: из двух друзей всегда один раб другого, хотя часто ни один из них в этом себе не признается; рабом я быть не могу, а повелевать в этом случае — труд утомительный, потому что надо вместе с этим и обманывать; да притом у меня есть лакеи и деньги! Вот как мы сделались приятелями: я встретил Вернера в С... среди многочисленного и шумного круга молодежи; разговор принял под конец вечера философско-метафизическое направление; толковали об убеждениях: каждый был убежден в разных разностях.

— Что до меня касается, то я убежден только в одном... — сказал доктор.

— В чем это? — спросил я, желая узнать мнение человека, который до сих пор молчал.

— В том, — отвечал он, — что рано или поздно, в одно прекрасное утро я умру.

— Я богаче вас, — сказал я, — у меня, кроме этого, есть еще убеждение — именно то, что я в один прегадкий вечер имел несчастие родиться.

Все нашли, что мы говорим вздор, а, право, из них никто ничего умнее этого не сказал. С этой минуты мы отличили в толпе друг друга. Мы часто сходились вместе и толковали вдвоем об отвлеченных предметах очень серьезно, пока не замечали оба, что мы взаимно друг друга морочим. Тогда, посмотрев значительно друг другу в глаза, как делали римские авгуры, по словам Цицерона, мы начинали хохотать и, нахохотавшись, расходились довольные своим вечером.

Я лежал на диване, устремив глаза в потолок и заложив руки под затылок, когда Вернер вошел в мою комнату. Он сел в кресла, поставил трость в угол, зевнул и объявил, что на дворе становится жарко. Я отвечал, что меня беспокоят мухи, — и мы оба замолчали.

— Заметьте, любезный доктор, — сказал я, — что без дураков было бы на свете очень скучно... Посмотрите, вот нас двое умных людей; мы знаем заранее, что обо всем можно спорить до бесконечности, и потому не спорим; мы знаем почти все сокровенные мысли друг друга; одно слово — для нас целая история; видим зерно каждого нашего чувства сквозь тройную оболочку. Печальное нам смешно, смешное грустно, а вообще, по правде, мы ко всему довольно равнодушны, кроме самих себя. Итак, размена чувств и мыслей между нами не может быть: мы знаем один о другом все, что хотим знать, и знать больше не хотим; остается одно средство: рассказывать новости. Скажите же мне какую-нибудь новость.

Утомленный долгою речью, я закрыл глаза и зевнул...

Он отвечал, подумавши:

— В вашей галиматье, однако ж, есть идея.

— Две! — отвечал я.

— Скажите мне одну, я вам скажу другую.

— Хорошо, начинайте! — сказал я, продолжая рассматривать потолок и внутренно улыбаясь.

— Вам хочется знать какие-нибудь подробности насчет кого-нибудь из приехавших на воды, и я уж догадываюсь, о ком вы это заботитесь, потому что об вас там уже спрашивали.

— Доктор! решительно нам нельзя разговаривать: мы читаем в душе друг друга.

— Теперь другая...

— Другая идея вот: мне хотелось вас заставить рассказать что-нибудь; во-первых, потому, что слушать менее утомительно; во-вторых, нельзя проговориться; в-третьих, можно узнать чужую тайну; в-четвертых, потому, что такие умные люди, как вы, лучше любят слушателей, чем рассказчиков. Теперь к делу: что вам сказала княгиня Лиговская обо мне?

— Вы очень уверены, что это княгиня... а не княжна?..

— Совершенно убежден.

— Почему?

— Потому что княжна спрашивала о Грушницком.

— У вас большой дар соображения. Княжна сказала, что она уверена, что этот молодой человек в солдатской шинели разжалован в солдаты за дуэль...

— Надеюсь, вы ее оставили в этом приятном заблуждении...

— Разумеется.

— Завязка есть! — закричал я в восхищении, — об развязке этой комедии мы похлопочем. Явно судьба заботится о том, чтоб мне не было скучно.

— Я предчувствую, — сказал доктор, — что бедный Грушницкий будет вашей жертвой...

— Дальше, доктор...

— Княгиня сказала, что ваше лицо ей знакомо. Я ей заметил, что, верно, она вас встречала в Петербурге, где-нибудь в свете... я сказал ваше имя... Оно было ей известно. Кажется, ваша история там наделала много шума... Княгиня стала рассказывать о ваших похождениях, прибавляя, вероятно, к светским сплетням свои замечания... Дочка слушала с любопытством. В ее воображении вы сделались героем романа

в новом вкусе... Я не противоречил княгине, хотя знал, что она говорит вздор.

— Достойный друг! — сказал я, протянув ему руку. Доктор пожал ее с чувством и продолжал:

— Если хотите, я вас представлю...

— Помилуйте! — сказал я, всплеснув руками, — разве героев представляют? Они не иначе знакомятся, как спасая от верной смерти свою любезную...

— И вы в самом деле хотите волочиться за княжной?..

— Напротив, совсем напротив!.. Доктор, наконец я торжествую: вы меня не понимаете!.. Это меня, впрочем, огорчает, доктор, — продолжал я после минуты молчания, — я никогда сам не открываю моих тайн, а ужасно люблю, чтоб их отгадывали, потому что таким образом я всегда могу при случае от них отпереться. Однако ж вы мне должны описать маменьку с дочкой. Что они за люди?

— Во-первых, княгиня — женщина сорока пяти лет, — отвечал Вернер, — у ней прекрасный желудок, но кровь испорчена; на щеках красные пятна. Последнюю половину своей жизни она провела в Москве и тут на покое растолстела. Она любит соблазнительные анекдоты и сама говорит иногда неприличные вещи, когда дочери нет в комнате. Она мне объявила, что дочь ее невинна как голубь. Какое мне дело?.. Я хотел ей отвечать, чтоб она была спокойна, что я никому этого не скажу! Княгиня лечится от ревматизма, а дочь бог знает от чего; я велел обеим пить по два стакана в день кислосерной воды и купаться два раза в неделю в разводной ванне. Княгиня, кажется, не привыкла повелевать; она питает уважение к уму и знаниям дочки, которая читала Байрона по-английски и знает алгебру: в Москве, видно, барышни пустились в ученость и хорошо делают, право! Наши мужчины так не любезны вообще, что с ними кокетничать, должно быть, для умной женщины несносно. Княгиня очень любит молодых людей; княжна смотрит на них с некоторым презрением: московская привычка! Они в Москве только и питаются, что сорокалетними остряками.

— А вы были в Москве, доктор?

— Да, я имел там некоторую практику.

— Продолжайте.

— Да я, кажется, все сказал... Да! вот еще: княжна, кажется, любит рассуждать о чувствах, страстях и прочее... она была одну зиму в Петербурге, и он ей не понравился, особенно общество: ее, верно, холодно приняли.

— Вы никого у них не видали сегодня?

— Напротив; был один адъютант, один натянутый гвардеец и какая-то дама из новоприезжих, родственница княгини по муже, очень хорошенькая, но очень, кажется, больная... Не встретили ль вы ее у колодца? — она среднего роста, блондинка, с правильными чертами, цвет лица чахоточный, а на правой щеке черная родинка: ее лицо меня поразило своею выразительностию.

— Родинка! — пробормотал я сквозь зубы. — Неужели?

Доктор посмотрел на меня и сказал торжественно, положив мне руку на сердце:

— Она вам знакома!.. — Мое сердце точно билось сильнее обыкновенного.

— Теперь ваша очередь торжествовать! — сказал я, — только я на вас надеюсь: вы мне не измените. Я ее не видал еще, но уверен, узнаю в вашем портрете одну женщину, которую любил в старину... Не говорите ей обо мне ни слова; если она спросит, отнеситесь обо мне дурно.

— Пожалуй! — сказал Вернер, пожав плечами.

Когда он ушел, ужасная грусть стеснила мое сердце. Судьба ли нас свела опять на Кавказе, или она нарочно сюда приехала, зная, что меня встретит?.. и как мы встретимся?.. и потом, она ли это?.. Мои предчувствия меня никогда не обманывали. Нет в мире человека, над которым прошедшее приобретало бы такую власть, как надо мною. Всякое напоминание о минувшей печали или радости болезненно ударяет в мою душу и извлекает из нее все те же звуки... Я глупо создан: ничего не забываю, — ничего!



Вид Крестовой горы из ущелья близ Коби

Автолитография Лермонтова

Лезгинка

Рисунок Лермонтова

После обеда часов в шесть я пошел на бульвар: там была толпа; княгиня с княжною сидели на скамье, окруженные молодежью, которая любезничала наперерыв. Я поместился в некотором расстоянии на другой лавке, остановил двух знакомых Д... офицеров и начал им что-то рассказывать; видно, было смешно, потому что они начали хохотать как сумасшедшие. Любопытство привлекло ко мне некоторых из окружавших княжну; мало-помалу и все ее покинули и присоединились к моему кружку. Я не умолкал: мои анекдоты были умны до глупости, мои насмешки над проходящими мимо оригиналами были злы до неистовства... Я продолжал увеселять публику до захождения солнца. Несколько раз княжна под ручку с матерью проходила мимо меня, сопровождаемая каким-то хромым старичком; несколько раз ее взгляд, упадая на меня, выражал досаду, стараясь выразить равнодушие...

— Что он вам рассказывал? — спросила она у одного из молодых людей, возвратившихся к ней из вежливости,— верно, очень занимательную историю — свои подвиги в сражениях?.. — Она сказала это довольно громко и, вероятно, с намерением кольнуть меня. «А-га! — подумал я, — вы не на шутку сердитесь, милая княжна; погодите, то ли еще будет!»

Грушницкий следил за нею, как хищный зверь, и не спускал ее с глаз: бьюсь об заклад, что завтра он будет просить, чтоб его кто-нибудь представил княгине. Она будет очень рада, потому что ей скучно.

16-го мая.

В продолжение двух дней мои дела ужасно подвинулись. Княжна меня решительно ненавидит; мне уже пересказывали две-три эпиграммы на мой счет, довольно колкие, но вместе очень лестные. Ей ужасно странно, что я, который привык к хорошему обществу, который так короток с ее петербургскими кузинами и тетушками, не стараюсь познакомиться с нею. Мы встречаемся каждый день у колодца, на бульваре; я употребляю все свои силы на то, чтоб отвлекать ее

обожателей, блестящих адъютантов, бледных москвичей и других, — и мне почти всегда удается. Я всегда ненавидел гостей у себя: теперь у меня каждый день полон дом, обедают, ужинают, играют — и, увы, мое шампанское торжествует над силою магнетических ее глазок!

Вчера я ее встретил в магазине Челахова; она торговала чудесный персидский ковер. Княжна упрашивала свою маменьку не скупиться: этот ковер так украсил бы ее кабинет!.. Я дал сорок рублей лишних и перекупил его; за это я был вознагражден взглядом, где блистало самое восхитительное бешенство. Около обеда я велел нарочно провести мимо ее окон мою черкесскую лошадь, покрытую этим ковром. Вернер был у них в это время и говорил мне, что эффект этой сцены был самый драматический. Княжна хочет проповедовать против меня ополчение; я даже заметил, что уж два адъютанта при ней со мною очень сухо кланяются, однако всякий день у меня обедают.

Грушницкий принял таинственный вид: ходит, закинув руки за спину, и никого не узнает; нога его вдруг выздоровела: он едва хромает. Он нашел случай вступить в разговор с княгиней и сказать какой-то комплимент княжне; она, видно, не очень разборчива, ибо с тех пор отвечает на его поклон самой милой улыбкою.

— Ты решительно не хочешь познакомиться с Лиговскими? — сказал он мне вчера.

— Решительно.

— Помилуй! самый приятный дом на водах! Все здешнее лучшее общество...

— Мой друг, мне и не здешнее ужасно надоело. А ты у них бываешь?

— Нет еще; я говорил раза два с княжной, не более. Знаешь, как-то напрашиваться в дом неловко, хотя здесь это и водится... Другое дело, если бы я носил эполеты...

— Помилуй! да этак ты гораздо интереснее! Ты просто не умеешь пользоваться своим выгодным положением... Да солдатская шинель в глазах всякой чув-

ствительной барышни тебя делает героем и страдальцем.

Грушницкий самодовольно улыбнулся.

— Какой вздор! — сказал он.

— Я уверен, — продолжал я, — что княжна в тебя уж влюблена.

Он покраснел до ушей и надулся.

О самолюбие! ты рычаг, которым Архимед хотел приподнять земной шар!..

— У тебя все шутки! — сказал он, показывая, будто сердится, — во-первых, она меня еще так мало знает...

— Женщины любят только тех, которых не знают.

— Да я вовсе не имею претензии ей нравиться: я просто хочу познакомиться с приятным домом, и было бы очень смешно, если б я имел какие-нибудь надежды... Вот вы, например, другое дело! — вы, победители петербургские: только посмотрите, так женщины тают... А знаешь ли, Печорин, что́ княжна о тебе говорила?

— Как? она тебе уж говорила обо мне?..

— Не радуйся, однако. Я как-то вступил с нею в разговор у колодца, случайно; третье слово ее было: «Кто этот господин, у которого такой неприятный тяжелый взгляд? он был с вами, тогда...» Она покраснела и не хотела назвать дня, вспомнив свою милую выходку. «Вам не нужно сказывать дня, — отвечал я ей, — он вечно будет мне памятен...» Мой друг, Печорин! я тебя не поздравляю; ты у нее на дурном замечании... А, право, жаль! потому что Мери очень мила!..

Надобно заметить, что Грушницкий из тех людей, которые, говоря о женщине, с которой они едва знакомы, называют ее *моя Мери, моя Sophie*, если она имела счастие им понравиться.

Я принял серьезный вид и отвечал ему:

— Да, она недурна... Только берегись, Грушницкий! Русские барышни большею частью питаются только платоническою любовью, не примешивая к ней мысли о замужстве; а платоническая любовь самая беспокойная. Княжна, кажется, из тех женщин, которые хотят, чтоб их забавляли; если две минуты сряду

ей будет возле тебя скучно, ты погиб невозвратно: твое молчание должно возбуждать ее любопытство, твой разговор — никогда не удовлетворять его вполне; ты должен ее тревожить ежеминутно; она десять раз публично для тебя пренебрежет мнением и назовет это жертвой, и чтоб вознаградить себя за это, станет тебя мучить, а потом просто скажет, что она тебя терпеть не может. Если ты над нею не приобретешь власти, то даже ее первый поцелуй не даст тебе права на второй; она с тобой накокетничается вдоволь, а года через два выйдет замуж за урода, из покорности к маменьке, и станет себя уверять, что она несчастна, что она одного только человека и любила, то есть тебя, но что небо не хотело соединить ее с ним, потому что на нем была солдатская шинель, хотя под этой толстой, серой шинелью билось сердце страстное и благородное...

Грушницкий ударил по столу кулаком и стал ходить взад и вперед по комнате.

Я внутренно хохотал и даже раза два улыбнулся, но он, к счастию, этого не заметил. Явно, что он влюблен, потому что стал еще доверчивее прежнего; у него даже появилось серебряное кольцо с чернью, здешней работы: оно мне показалось подозрительным... Я стал его рассматривать, и что же?.. мелкими буквами имя *Мери* было вырезано на внутренней стороне, и рядом — число того дня, когда она подняла знаменитый стакан. Я утаил свое открытие; я не хочу вынуждать у него признаний; я хочу, чтобы он сам выбрал меня в свои поверенные, — и тут-то я буду наслаждаться...

. . . .

Сегодня я встал поздно; прихожу к колодцу — никого уже нет. Становилось жарко; белые мохнатые тучки быстро бежали от снеговых гор, обещая грозу; голова Машука дымилась, как загашенный факел; кругом его вились и ползали, как змеи, серые клочки облаков, задержанные в своем стремлении и будто зацепившиеся за колючий его кустарник. Воздух был напоен электричеством. Я углубился в виноградную аллею, ведущую в грот; мне было грустно. Я думал

о той молодой женщине с родинкой на щеке, про которую говорил мне доктор... Зачем она здесь? И она ли? И почему я думаю, что это она? и почему я даже так в этом уверен? Мало ли женщин с родинками на щеках? Размышляя таким образом, я подошел к самому гроту. Смотрю: в прохладной тени его свода, на каменной скамье сидит женщина, в соломенной шляпке, окутанная черной шалью, опустив голову на грудь; шляпка закрывала ее лицо. Я хотел уже вернуться, чтоб не нарушить ее мечтаний, когда она на меня взглянула.

— Вера! — вскрикнул я невольно.

Она вздрогнула и побледнела.

— Я знала, что вы здесь, — сказала она. Я сел возле нее и взял ее за руку. Давно забытый трепет пробежал по моим жилам при звуке этого милого голоса; она посмотрела мне в глаза своими глубокими и спокойными глазами: в них выражалась недоверчивость и что-то похожее на упрек.

— Мы давно не видались, — сказал я.

— Давно, и переменились оба во многом!

— Стало быть, уж ты меня не любишь?...

— Я замужем!.. — сказала она.

— Опять? Однако несколько лет тому назад эта причина также существовала, но между тем...

Она выдернула свою руку из моей, и щеки ее запылали.

— Может быть, ты любишь своего второго мужа?..

Она не отвечала и отвернулась.

— Или он очень ревнив?

Молчание.

— Что ж? Он молод, хорош, особенно, верно, богат, и ты боишься... — Я взглянул на нее и испугался; ее лицо выражало глубокое отчаяние, на глазах сверкали слезы.

— Скажи мне,— наконец, прошептала она,— тебе очень весело меня мучить? Я бы тебя должна ненавидеть. С тех пор как мы знаем друг друга, ты ничего мне не дал, кроме страданий... — Ее голос задрожал, она склонилась ко мне и опустила голову на грудь мою.

«Может быть, — подумал я, — ты оттого-то именно меня и любила: радости забываются, а печали никогда...»

Я ее крепко обнял, и так мы оставались долго. Наконец, губы наши сблизились и слились в жаркий, упоительный поцелуй; ее руки были холодны как лед, голова горела. Тут между нами начался один из тех разговоров, которые на бумаге не имеют смысла, которых повторить нельзя и нельзя даже запомнить: значение звуков заменяет и дополняет значение слов, как в итальянской опере.

Она решительно не хочет, чтоб я познакомился с ее мужем — тем хромым старичком, которого я видел мельком на бульваре: она вышла за него для сына. Он богат и страдает ревматизмами. Я не позволил себе над ним ни одной насмешки: она его уважает, как отца, — и будет обманывать, как мужа... Странная вещь сердце человеческое вообще, и женское в особенности!

Муж Веры, Семен Васильевич Г...в,—дальний родственник княгини Лиговской. Он живет с нею рядом; Вера часто бывает у княгини; я ей дал слово познакомиться с Лиговскими и волочиться за княжной, чтобы отвлечь от нее внимание. Таким образом мои планы нимало не расстроились, и мне будет весело...

Весело!.. Да, я уже прошел тот период жизни душевной, когда ищут только счастия, когда сердце чувствует необходимость любить сильно и страстно кого-нибудь, — теперь я только хочу быть любимым, и то очень немногими; даже мне кажется, одной постоянной привязанности мне было бы довольно: жалкая привычка сердца!..

Одно мне всегда было странно: я никогда не делался рабом любимой женщины; напротив, я всегда приобретал над их волей и сердцем непобедимую власть, вовсе об этом не стараясь. Отчего это? — оттого ли, что я никогда ничем очень не дорожу и что они ежеминутно боялись выпустить меня из рук? или это — магнетическое влияние сильного организма? или мне просто не удавалось встретить женщину с упорным характером?

Надо признаться, что я точно не люблю женщин с характером: их ли это дело!..

Правда, теперь вспомнил: один раз, один только раз я любил женщину с твердою волей, которую никогда не мог победить... Мы расстались врагами, — и то, может быть, если б я ее встретил пятью годами позже, мы расстались бы иначе...

Вера больна, очень больна, хотя в этом и не признается; я боюсь, чтобы не было у нее чахотки или той болезни, которую называют fièvre lente — болезнь не русская вовсе, и ей на нашем языке нет названия.

Гроза застала нас в гроте и удержала лишних полчаса. Она не заставляла меня клясться в верности, не спрашивала, любил ли я других с тех пор, как мы расстались... Она вверилась мне снова с прежней беспечностью, — и я ее не обману: она единственная женщина в мире, которую я не в силах был бы обмануть. Я знаю, мы скоро разлучимся опять и, может быть, навеки: оба пойдем разными путями до гроба; но воспоминание о ней останется неприкосновенным в душе моей; я ей это повторял всегда, и она мне верит, хотя говорит противное.

Наконец, мы расстались; я долго следил за нею взором, пока ее шляпка не скрылась за кустарниками и скалами. Сердце мое болезненно сжалось, как после первого расставания. О, как я обрадовался этому чувству! Уж не молодость ли с своими благотворными бурями хочет вернуться ко мне опять, или это только ее прощальный взгляд, последний подарок—на память?.. А смешно подумать, что на вид я еще мальчик: лицо хотя бледно, но еще свежо; члены гибки и стройны; густые кудри вьются, глаза горят, кровь кипит...

Возвратясь домой, я сел верхом и поскакал в степь; я люблю скакать на горячей лошади по высокой траве, против пустынного ветра; с жадностью глотаю я благовонный воздух и устремляю взоры в синюю даль, стараясь уловить туманные очерки предметов, которые ежеминутно становятся все яснее и яснее. Какая бы горесть ни лежала на сердце, какое бы беспокойство ни томило мысль, все в минуту рассеется; на душе станет легко, усталость тела победит тревогу

ума. Нет женского взора, которого бы я не забыл при виде кудрявых гор, озаренных южным солнцем, при виде голубого неба или внимая шуму потока, падающего с утеса на утес.

Я думаю, казаки, зевающие на своих *вышках,* видя меня скачущего без нужды и цели, долго мучились этою загадкой, ибо, верно, по одежде приняли меня за черкеса. Мне в самом деле говорили, что в черкесском костюме верхом я больше похож на кабардинца, чем многие кабардинцы. И точно, что касается до этой благородной боевой одежды, я совершенный денди: ни одного галуна лишнего; оружие ценное в простой отделке, мех на шапке не слишком длинный, не слишком короткий; ноговицы и черевики пригнаны со всевозможной точностью; бешмет белый, черкеска темнобурая. Я долго изучал горскую посадку: ничем нельзя так польстить моему самолюбию, как признавая мое искусство в верховой езде на кавказский лад. Я держу четырех лошадей: одну для себя, трех для приятелей, чтоб не скучно было одному таскаться по полям; они берут моих лошадей с удовольствием и никогда со мной не ездят вместе. Было уже шесть часов пополудни, когда вспомнил я, что пора обедать; лошадь моя была измучена; я выехал на дорогу, ведущую из Пятигорска в немецкую колонию, куда часто водяное общество ездит *en piquenique*[1]. Дорога идет, извиваясь между кустарниками, опускаясь в небольшие овраги, где протекают шумные ручьи под сенью высоких трав; кругом амфитеатром возвышаются синие громады Бешту, Змеиной, Железной и Лысой горы. Спустясь в один из таких оврагов, называемых на здешнем наречии *балками,* я остановился, чтоб напоить лошадь; в это время показалась на дороге шумная и блестящая кавалькада: дамы в черных и голубых амазонках, кавалеры в костюмах, составляющих смесь *черкесского с нижегородским;* впереди ехал Грушницкий с княжною Мери.

Дамы на водах еще верят нападениям черкесов среди белого дня; вероятно, поэтому Грушницкий

---

[1] на пикник (*франц.*).

сверх солдатской шинели повесил шашку и пару пистолетов: он был довольно смешон в этом геройском облачении. Высокий куст закрывал меня от них, но сквозь листья его я мог видеть все и отгадать по выражениям их лиц, что разговор был сентиментальный. Наконец, они приблизились к спуску; Грушницкий взял за повод лошадь княжны, и тогда я услышал конец их разговора:

— И вы целую жизнь хотите остаться на Кавказе? — говорила княжна.

— Что для меня Россия? — отвечал ее кавалер, — страна, где тысячи людей, потому что они богаче меня, будут смотреть на меня с презрением, тогда как здесь — здесь эта толстая шинель не помешала моему знакомству с вами...

— Напротив... — сказала княжна, покраснев.

Лицо Грушницкого изобразило удовольствие. Он продолжал:

— Здесь моя жизнь протечет шумно, незаметно и быстро, под пулями дикарей, и если бы бог мне каждый год посылал один светлый, женский взгляд, один, подобный тому...

В это время они поровнялись со мной; я ударил плетью по лошади и выехал из-за куста...

— Mon dieu, un circassien!.. [1] — вскрикнула княжна в ужасе.

Чтоб ее совершенно разуверить, я отвечал по-французски, слегка наклонясь:

— Ne craignez rien, madame, — je ne suis pas plus dangereux que votre cavalier [2].

Она смутилась, — но отчего? от своей ошибки или оттого, что мой ответ ей показался дерзким? Я желал бы, чтоб последнее мое предположение было справедливо. Грушницкий бросил на меня недовольный взгляд.

Поздно вечером, то есть часов в одиннадцать, я пошел гулять по липовой аллее бульвара. Город спал, только в некоторых окнах мелькали огни. С трех сторон

---

[1] Боже мой, черкес!.. (*франц.*)

[2] Не бойтесь, сударыня, — я не более опасен, чем ваш кавалер (*франц.*)

чернели гребни утесов, отрасли Машука, на вершине которого лежало зловещее облачко; месяц подымался на востоке; вдали серебряной бахромой сверкали снеговые горы. Оклики часовых перемежались с шумом горячих ключей, спущенных на ночь. Порою звучный топот коня раздавался по улице, сопровождаемый скрипом нагайской арбы и заунывным татарским припевом. Я сел на скамью и задумался... Я чувствовал необходимость излить свои мысли в дружеском разговоре... но с кем?.. «Что делает теперь Вера?» — думал я... Я бы дорого дал, чтоб в эту минуту пожать ее руку.

Вдруг слышу быстрые и неровные шаги... Верно, Грушницкий... Так и есть!

— Откуда?

— От княгини Лиговской, — сказал он очень важно. — Как Мери поет!..

— Знаешь ли что? — сказал я ему, — я пари держу, что она не знает, что ты юнкер; она думает, что ты разжалованный...

— Может быть! Какое мне дело!.. — сказал он рассеянно.

— Нет, я только так это говорю...

— А знаешь ли, что ты нынче ее ужасно рассердил? Она нашла, что это неслыханная дерзость; я насилу мог ее уверить, что ты так хорошо воспитан и так хорошо знаешь свет, что не мог иметь намерение ее оскорбить; она говорит, что у тебя наглый взгляд, что ты, верно, о себе самого высокого мнения.

— Она не ошибается... А ты не хочешь ли за нее вступиться?

— Мне жаль, что я не имею еще этого права...

«О-го! — подумал я, — у него, видно, есть уже надежды...»

— Впрочем, для тебя же хуже, — продолжал Грушницкий, — теперь тебе трудно познакомиться с ними, — а жаль! это один из самых приятных домов, какие я только знаю...

Я внутренно улыбнулся.

— Самый приятный дом для меня теперь мой, — сказал я, зевая, и встал, чтоб идти.

— Однако признайся, ты раскаиваешься?..

— Какой вздор! если я захочу, то завтра же буду вечером у княгини...

— Посмотрим...

— Даже, чтоб тебе сделать удовольствие, стану волочиться за княжной...

— Да, если она захочет говорить с тобой...

— Я подожду только той минуты, когда твой разговор ей наскучит... Прощай!..

— А я пойду шататься, — я ни за что теперь не засну... Послушай, пойдем лучше в ресторацию, там игра... мне нужны нынче сильные ощущения..

— Желаю тебе проиграться...

Я пошел домой.

21-го мая.

Прошла почти неделя, а я еще не познакомился с Лиговскими. Жду удобного случая. Грушницкий, как тень, следует за княжной везде; их разговоры бесконечны: когда же он ей наскучит?.. Мать не обращает на это внимания, потому что он *не жених*. Вот логика матерей! Я подметил два, три нежные взгляда, — надо этому положить конец.

Вчера у колодца в первый раз явилась Вера... Она с тех пор, как мы встретились в гроте, не выходила из дома. Мы в одно время опустили стаканы, и, наклонясь, она мне сказала шепотом:

— Ты не хочешь познакомиться с Лиговскими?.. Мы только там можем видеться...

Упрек!.. скучно! Но я его заслужил...

Кстати: завтра бал по подписке в зале ресторации, и я буду танцевать с княжной мазурку.

22-го мая.

Зала ресторации превратилась в залу благородного собрания. В девять часов все съехались. Княгиня с дочерью явилась из последних; многие дамы посмотрели на нее с завистию и недоброжелательством, потому что княжна Мери одевается со вкусом. Те, которые почитают себя здешними аристократками, утаив

зависть, примкнулись к ней. Как быть? Где есть общество женщин, там сейчас явится высший и низший круг. Под окном, в толпе народа, стоял Грушницкий, прижав лицо к стеклу и не спуская с глаз своей богини; она, проходя мимо, едва приметно кивнула ему головой. Он просиял, как солнце... Танцы начались польским; потом заиграли вальс. Шпоры зазвенели, фалды поднялись и закружились.

Я стоял сзади одной толстой дамы, осененной розовыми перьями; пышность ее платья напоминала времена фижм, а пестрота ее негладкой кожи — счастливую эпоху мушек из черной тафты. Самая большая бородавка на ее шее прикрыта была фермуаром. Она говорила своему кавалеру, драгунскому капитану:

— Эта княжна Лиговская пренесносная девчонка! Вообразите, толкнула меня и не извинилась, да еще обернулась и посмотрела на меня в лорнет... C'est impayable!.. [1] И чем она гордится? Уж ее надо бы проучить...

— За этим дело не станет! — отвечал услужливый капитан и отправился в другую комнату.

Я тотчас подошел к княжне, приглашая ее вальсировать, пользуясь свободой здешних обычаев, позволяющих танцевать с незнакомыми дамами.

Она едва могла принудить себя не улыбнуться и скрыть свое торжество; ей удалось, однако, довольно скоро принять совершенно равнодушный и даже строгий вид. Она небрежно опустила руку на мое плечо, наклонила слегка головку набок, и мы пустились. Я не знаю талии более сладострастной и гибкой! Ее свежее дыхание касалось моего лица; иногда локон, отделившийся в вихре вальса от своих товарищей, скользил по горящей щеке моей... Я сделал три тура. (Она вальсирует удивительно хорошо.) Она запыхалась, глаза ее помутились, полураскрытые губки едва могли прошептать необходимое: «Merci, monsieur» [2].

После нескольких минут молчания я сказал ей, приняв самый покорный вид:

---

[1] Это презабавно!.. (*франц.*)

[2] Благодарю вас, сударь (*франц.*).

— Я слышал, княжна, что, будучи вам вовсе незнаком, я имел уже несчастие заслужить вашу немилость... что вы меня нашли дерзким... неужели это правда?

— И вам бы хотелось теперь меня утвердить в этом мнении? — отвечала она с иронической гримаской, которая, впрочем, очень идет к ее подвижной физиономии.

— Если я имел дерзость вас чем-нибудь оскорбить, то позвольте мне иметь еще бóльшую дерзость просить у вас прощения... И, право, я бы очень желал доказать вам, что вы насчет меня ошибались...

— Вам это будет довольно трудно...

— Отчего же?..

— Оттого, что вы у нас не бываете, а эти балы, вероятно, не часто будут повторяться.

«Это значит, — подумал я, — что их двери для меня навеки закрыты».

— Знаете, княжна, — сказал я с некоторой досадой, — никогда не должно отвергать кающегося преступника: с отчаяния он может сделаться еще вдвое преступнее... и тогда...

Хохот и шушуканье нас окружающих заставили меня обернуться и прервать мою фразу. В нескольких шагах от меня стояла группа мужчин, и в их числе драгунский капитан, изъявивший враждебные намерения против милой княжны; он особенно был чем-то очень доволен, потирал руки, хохотал и перемигивался с товарищами. Вдруг из среды их отделился господин во фраке с длинными усами и красной рожей и направил неверные шаги свои прямо к княжне: он был пьян. Остановясь против смутившейся княжны и заложив руки за спину, он уставил на нее мутно-серые глаза и произнес хриплым дишкантом:

— Пермете...[1] ну, да что тут!.. просто ангажирую вас на мазурку...

— Что вам угодно? — произнесла она дрожащим голосом, бросая кругом умоляющий взгляд. Увы! ее мать была далеко, и возле никого из знакомых ей кавалеров не было; один адъютант, кажется, все это

---

[1] Позвольте... (от *франц.* — permetter).

видел, да спрятался за толпой, чтоб не быть замешану в историю.

— Что же? — сказал пьяный господин, мигнув драгунскому капитану, который ободрял его знаками, — разве вам не угодно?.. Я таки опять имею честь вас ангажировать pour mazure...[1] Вы, может, думаете, что я пьян? Это ничего!.. Гораздо свободнее, могу вас уверить...

Я видел, что она готова упасть в обморок от страха и негодования.

Я подошел к пьяному господину, взял его довольно крепко за руку и, посмотрев ему пристально в глаза, попросил удалиться, — потому, прибавил я, что княжна давно уж обещалась танцевать мазурку со мною.

— Ну, нечего делать!.. в другой раз! — сказал он, засмеявшись, и удалился к своим пристыженным товарищам, которые тотчас увели его в другую комнату.

Я был вознагражден глубоким, чудесным взглядом.

Княжна подошла к своей матери и рассказала ей все; та отыскала меня в толпе и благодарила. Она объявила мне, что знала мою мать и была дружна с полдюжиной моих тетушек.

— Я не знаю, как случилось, что мы до сих пор с вами незнакомы, — прибавила она, — но признайтесь, вы этому одни виною: вы дичитесь всех так, что ни на что не похоже. Я надеюсь, что воздух моей гостиной разгонит ваш сплин... Не правда ли?

Я сказал ей одну из тех фраз, которые у всякого должны быть заготовлены на подобный случай.

Кадрили тянулись ужасно долго.

Наконец, с хор загремела мазурка; мы с княжной уселись.

Я не намекал ни разу ни о пьяном господине, ни о прежнем моем поведении, ни о Грушницком. Впечатление, произведенное на нее неприятною сценою, мало-помалу рассеялось; личико ее расцвело; она шутила очень мило; ее разговор был остер, без притязания на остроту, жив и свободен; ее замечания

---

[1] на мазурку... (*франц.*)

иногда глубоки... Я дал ей почувствовать очень запутанной фразой, что она мне давно нравится. Она наклонила головку и слегка покраснела.

— Вы странный человек! — сказала она потом, подняв на меня свои бархатные глаза и принужденно засмеявшись.

— Я не хотел с вами знакомиться, — продолжал я, — потому что вас окружает слишком густая толпа поклонников, и я боялся в ней исчезнуть совершенно.

— Вы напрасно боялись! Они все прескучные...

— Все! Неужели все?

Она посмотрела на меня пристально, стараясь будто припомнить что-то, потом опять слегка покраснела и, наконец, произнесла решительно: *все!*

— Даже мой друг Грушницкий?

— А он ваш друг? — сказала она, показывая некоторое сомнение.

— Да.

— Он, конечно, не входит в разряд скучных...

— Но в разряд несчастных, — сказал я, смеясь.

— Конечно! А вам смешно? Я б желала, чтоб вы были на его месте...

— Что ж? я был сам некогда юнкером, и, право, это самое лучшее время моей жизни!

— А разве он юнкер?.. — сказала она быстро и потом прибавила: — А я думала...

— Что вы думали?..

— Ничего!.. Кто эта дама?

Тут разговор переменил направление и к этому уж более не возвращался.

Вот мазурка кончилась, и мы расстались — до свидания. Дамы разъехались... Я пошел ужинать и встретил Вернера.

— А-га! — сказал он, — так-то вы! А еще хотели не иначе знакомиться с княжной, как спасши ее от верной смерти.

— Я сделал лучше, — отвечал я ему, — спас ее от обморока на бале!..

— Как это? Расскажите!..

— Нет, отгадайте, — о вы, отгадывающий все на свете!

23-го мая.

Около семи часов вечера я гулял на бульваре. Грушницкий, увидев меня издали, подошел ко мне: какой-то смешной восторг блистал в его глазах. Он крепко пожал мне руку и сказал трагическим голосом:

— Благодарю тебя, Печорин... Ты понимаешь меня?..

— Нет; но во всяком случае не стоит благодарности, — отвечал я, не имея точно на совести никакого благодеяния.

— Как? А вчера? ты разве забыл?.. Мери мне все рассказала...

— А что? разве у вас уж нынче все общее? и благодарность?..

— Послушай, — сказал Грушницкий очень важно, — пожалуйста, не подшучивай над моей любовью, если хочешь остаться моим приятелем... Видишь: я ее люблю до безумия... и я думаю, я надеюсь, она также меня любит... У меня есть до тебя просьба: ты будешь нынче у них вечером; обещай мне замечать все: я знаю, ты опытен в этих вещах, ты лучше меня знаешь женщин... Женщины! женщины! кто их поймет? Их улыбки противоречат их взорам, их слова обещают и манят, а звук их голоса отталкивает... То они в минуту постигают и угадывают самую потаенную нашу мысль, то не понимают самых ясных намеков... Вот хоть княжна: вчера ее глаза пылали страстью, останавливаясь на мне, нынче они тусклы и холодны...

— Это, может быть, следствие действия вод, — отвечал я.

— Ты во всем видишь худую сторону... матерьялист! — прибавил он презрительно. — Впрочем, переменим материю, — и, довольный плохим каламбуром, он развеселился.

В девятом часу мы вместе пошли к княгине.

Проходя мимо окон Веры, я видел ее у окна. Мы кинули друг другу беглый взгляд. Она вскоре после нас вошла в гостиную Лиговских. Княгиня меня ей представила как своей родственнице. Пили чай; гостей было много; разговор был общий. Я старался

понравиться княгине, шутил, заставлял ее несколько раз смеяться от души; княжне также не раз хотелось похохотать, но она удерживалась, чтоб не выйти из принятой роли: она находит, что томность к ней идет, — и, может быть, не ошибается. Грушницкий, кажется, очень рад, что моя веселость ее не заражает.

После чая все пошли в залу.

— Довольна ль ты моим послушанием, Вера? — сказал я, проходя мимо ее.

Она мне кинула взгляд, исполненный любви и благодарности. Я привык к этим взглядам; но некогда они составляли мое блаженство. Княгиня усадила дочь за фортепьяно; все просили ее спеть что-нибудь, — я молчал и, пользуясь суматохой, отошел к окну с Верой, которая мне хотела сказать что-то очень важное для нас обоих... Вышло — вздор...

Между тем княжне мое равнодушие было досадно, как я мог догадаться по одному сердитому, блестящему взгляду... О, я удивительно понимаю этот разговор немой, но выразительный, краткий, но сильный!..

Она запела: ее голос недурен, но поет она плохо... впрочем, я не слушал. Зато Грушницкий, облокотясь на рояль против нее, пожирал ее глазами и поминутно говорил вполголоса: «Charmant! délicieux!» [1]

— Послушай, — говорила мне Вера, — я не хочу, чтоб ты знакомился с моим мужем, но ты должен непременно понравиться княгине; тебе это легко: ты можешь все, что захочешь. Мы здесь только будем видеться...

— Только?..

Она покраснела и продолжала:

— Ты знаешь, что я твоя раба; я никогда не умела тебе противиться... и я буду за это наказана: ты меня разлюбишь! По крайней мере я хочу сберечь свою репутацию... не для себя: ты это знаешь очень хорошо!.. О, я прошу тебя: не мучь меня по-прежнему пустыми сомненьями и притворной холодностью: я, может быть, скоро умру, я чувствую, что слабею со дня на день...

---

[1] Очаровательно! прелестно! (*франц.*)

и, несмотря на это, я не могу думать о будущей жизни, я думаю только о тебе... Вы, мужчины, не понимаете наслаждений взора, пожатия руки... а я, клянусь тебе, я, прислушиваясь к твоему голосу, чувствую такое глубокое, странное блаженство, что самые жаркие поцелуи не могут заменить его.

Между тем княжна Мери перестала петь. Ропот похвал раздался вокруг нее; я подошел к ней после всех и сказал ей что-то насчет ее голоса довольно небрежно.

Она сделала гримаску, выдвинув нижнюю губу, и присела очень насмешливо.

— Мне это тем более лестно, — сказала она, — что вы меня вовсе не слушали; но вы, может быть, не любите музыки?..

— Напротив... после обеда особенно.

— Грушницкий прав, говоря, что у вас самые прозаические вкусы... и я вижу, что вы любите музыку в гастрономическом отношении...

— Вы ошибаетесь опять: я вовсе не гастроном: у меня прескверный желудок. Но музыка после обеда усыпляет, а спать после обеда здорово: следовательно, я люблю музыку в медицинском отношении. Вечером же она, напротив, слишком раздражает мои нервы: мне делается или слишком грустно, или слишком весело. То и другое утомительно, когда нет положительной причины грустить или радоваться, и притом грусть в обществе смешна, а слишком большая веселость неприлична...

Она не дослушала, отошла прочь, села возле Грушницкого, и между ними начался какой-то сентиментальный разговор: кажется, княжна отвечала на его мудрые фразы довольно рассеянно и неудачно, хотя старалась показать, что слушает его со вниманием, потому что он иногда смотрел на нее с удивлением, стараясь угадать причину внутреннего волнения, изображавшегося иногда в ее беспокойном взгляде...

Но я вас отгадал, милая княжна, берегитесь! Вы хотите мне отплатить тою же монетою, кольнуть мое самолюбие, — вам не удастся! и если вы мне объявите войну, то я буду беспощаден.

В продолжение вечера я несколько раз нарочно старался вмешаться в их разговор, но она довольно сухо встречала мои замечания, и я с притворною досадой, наконец, удалился. Княжна торжествовала; Грушницкий тоже. Торжествуйте, друзья мои, торопитесь... вам недолго торжествовать!.. Как быть? у меня есть предчувствие... Знакомясь с женщиной, я всегда безошибочно отгадывал, будет она меня любить или нет...

Остальную часть вечера я провел возле Веры и до́сыта наговорился о старине... За что она меня так любит, право не знаю! Тем более что это одна женщина, которая меня поняла совершенно, со всеми моими мелкими слабостями, дурными страстями... Неужели зло так привлекательно?..

Мы вышли вместе с Грушницким; на улице он взял меня под руку и после долгого молчания сказал:

— Ну, что?

«Ты глуп», — хотел я ему ответить, но удержался и только пожал плечами.

29-го мая.

Все эти дни я ни разу не отступил от своей системы. Княжне начинает нравиться мой разговор; я рассказал ей некоторые из странных случаев моей жизни, и она начинает видеть во мне человека необыкновенного. Я смеюсь над всем на свете, особенно над чувствами: это начинает ее пугать. Она при мне не смеет пускаться с Грушницким в сентиментальные прения и уже несколько раз отвечала на его выходки насмешливой улыбкой, но я всякий раз, как Грушницкий подходит к ней, принимаю смиренный вид и оставляю их вдвоем; в первый раз была она этому рада или старалась показать; во второй — рассердилась на меня; в третий — на Грушницкого.

— У вас очень мало самолюбия! — сказала она мне вчера. — Отчего вы думаете, что мне веселее с Грушницким?

Я отвечал, что жертвую счастию приятеля своим удовольствием...

— И моим, — прибавила она.

Я пристально посмотрел на нее и принял серьезный вид. Потом целый день не говорил с ней ни слова... Вечером она была задумчива, нынче поутру у колодца еще задумчивее. Когда я подошел к ней, она рассеянно слушала Грушницкого, который, кажется, восхищался природой, но только что завидела меня, она стала хохотать (очень некстати), показывая, будто меня не примечает. Я отошел подальше и украдкой стал наблюдать за ней: она отвернулась от своего собеседника и зевнула два раза. Решительно, Грушницкий ей надоел. Еще два дня не буду с ней говорить.

3-го июня.

Я часто себя спрашиваю, зачем я так упорно добиваюсь любви молоденькой девочки, которую обольстить я не хочу и на которой никогда не женюсь? К чему это женское кокетство? Вера меня любит больше, чем княжна Мери будет любить когда-нибудь; если б она мне казалась непобедимой красавицей, то, может быть, я бы завлекся трудностью предприятия...

Но ничуть не бывало! Следовательно, это не та беспокойная потребность любви, которая нас мучит в первые годы молодости, бросает нас от одной женщины к другой, пока мы найдем такую, которая нас терпеть не может: тут начинается наше постоянство — истинная бесконечная страсть, которую математически можно выразить линией, падающей из точки в пространство; секрет этой бесконечности — только в невозможности достигнуть цели, то есть конца.

Из чего же я хлопочу? Из зависти к Грушницкому? Бедняжка! он вовсе ее не заслуживает. Или это следствие того скверного, но непобедимого чувства, которое заставляет нас уничтожать сладкие заблуждения ближнего, чтоб иметь мелкое удовольствие сказать ему, когда он в отчаянии будет спрашивать чему он должен верить: «Мой друг, со мною было то же

самое, и ты видишь, однако, я обедаю, ужинаю и сплю преспокойно и, надеюсь, сумею умереть без крика и слез!»

А ведь есть необъятное наслаждение в обладании молодой, едва распустившейся души! Она как цветок, которого лучший аромат испаряется навстречу первому лучу солнца; его надо сорвать в эту минуту и, подышав им досыта, бросить на дороге: авось кто-нибудь поднимет! Я чувствую в себе эту ненасытную жадность, поглощающую все, что встречается на пути; я смотрю на страдания и радости других только в отношении к себе, как на пищу, поддерживающую мои душевные силы. Сам я больше не способен безумствовать под влиянием страсти; честолюбие у меня подавлено обстоятельствами, но оно проявилось в другом виде, ибо честолюбие есть не что иное, как жажда власти, а первое мое удовольствие — подчинять моей воле все, что меня окружает; возбуждать к себе чувство любви, преданности и страха — не есть ли первый признак и величайшее торжество власти? Быть для кого-нибудь причиною страданий и радостей, не имея на то никакого положительного права, — не самая ли это сладкая пища нашей гордости? А что такое счастие? Насыщенная гордость. Если б я почитал себя лучше, могущественнее всех на свете, я был бы счастлив; если б все меня любили, я в себе нашел бы бесконечные источники любви. Зло порождает зло; первое страдание дает понятие о удовольствии мучить другого; идея зла не может войти в голову человека без того, чтоб он не захотел приложить ее к действительности: идеи — создания органические, сказал кто-то: их рождение дает уже им форму, и эта форма есть действие; тот, в чьей голове родилось больше идей, тот больше других действует; от этого гений, прикованный к чиновническому столу, должен умереть или сойти с ума, точно так же, как человек с могучим телосложением, при сидячей жизни и скромном поведении, умирает от апоплексического удара.

Страсти не что иное, как идеи при первом своем развитии: они принадлежность юности сердца, и глупец тот, кто думает целую жизнь ими волноваться:

многие спокойные реки начинаются шумными водопадами, а ни одна не скачет и не пенится до самого моря. Но это спокойствие часто признак великой, хотя скрытой силы; полнота и глубина чувств и мыслей не допускает бешеных порывов: душа, страдая и наслаждаясь, дает во всем себе строгий отчет и убеждается в том, что так должно; она знает, что без гроз постоянный зной солнца ее иссушит; она проникается своей собственной жизнью, — лелеет и наказывает себя, как любимого ребенка. Только в этом высшем состоянии самопознания человек может оценить правосудие божие.

Перечитывая эту страницу, я замечаю, что далеко отвлекся от своего предмета... Но что за нужда?.. Ведь этот журнал пишу я для себя, и, следственно, все, что я в него ни брошу, будет со временем для меня драгоценным воспоминанием.

. . . .

Пришел Грушницкий и бросился мне на шею, — он произведен в офицеры. Мы выпили шампанского. Доктор Вернер вошел вслед за ним.

— Я вас не поздравляю, — сказал он Грушницкому.

— Отчего?

— Оттого, что солдатская шинель к вам очень идет, и признайтесь, что армейский пехотный мундир, сшитый здесь, на водах, не придаст вам ничего интересного... Видите ли, вы до сих пор были исключением, а теперь подойдете под общее правило.

— Толкуйте, толкуйте, доктор! вы мне не помешаете радоваться. Он не знает, — прибавил Грушницкий мне на ухо, — сколько надежд придали мне эти эполеты... О эполеты, эполеты! ваши звездочки, путеводительные звездочки... Нет! я теперь совершенно счастлив.

— Ты идешь с нами гулять к провалу? — спросил я его.

— Я? ни за что не покажусь княжне, пока не готов будет мундир.

— Прикажешь ей объявить о твоей радости?..

— Нет, пожалуйста, не говори... Я хочу ее удивить...

— Скажи мне, однако, как твои дела с нею?

Он смутился и задумался: ему хотелось похвастаться, солгать — и было совестно, а вместе с этим было стыдно признаться в истине.

— Как ты думаешь, любит ли она тебя?

— Любит ли? Помилуй, Печорин, какие у тебя понятия!.. как можно так скоро?.. Да если даже она и любит, то порядочная женщина этого не скажет...

— Хорошо! И, вероятно, по-твоему, порядочный человек должен тоже молчать о своей страсти?..

— Эх, братец! на все есть манера; многое не говорится, а отгадывается...

— Это правда... Только любовь, которую мы читаем в глазах, ни к чему женщину не обязывает, тогда как слова... Берегись, Грушницкий, она тебя надувает...

— Она?.. — отвечал он, подняв глаза к небу и самодовольно улыбнувшись, — мне жаль тебя, Печорин!..

Он ушел.

Вечером многочисленное общество отправилось пешком к провалу.

По мнению здешних ученых, этот провал не что иное, как угасший кратер; он находится на отлогости Машука, в версте от города. К нему ведет узкая тропинка между кустарников и скал; взбираясь на гору, я подал руку княжне, и она ее не покидала в продолжение целой прогулки.

Разговор наш начался злословием: я стал перебирать присутствующих и отсутствующих наших знакомых, сначала выказывал смешные, а после дурные их стороны. Желчь моя взволновалась. Я начал шутя — и окончил искренней злостью. Сперва это ее забавляло, а потом испугало.

— Вы опасный человек! — сказала она мне, — я бы лучше желала попасться в лесу под нож убийцы, чем вам на язычок... Я вас прошу не шутя: когда вам вздумается обо мне говорить дурно, возьмите лучше нож и зарежьте меня, — я думаю, это вам не будет очень трудно.

— Разве я похож на убийцу?..

— Вы хуже...

Я задумался на минуту и потом сказал, приняв глубоко тронутый вид:

— Да, такова была моя участь с самого детства! Все читали на моем лице признаки дурных свойств, которых не было; но их предполагали — и они родились. Я был скромен — меня обвиняли в лукавстве: я стал скрытен. Я глубоко чувствовал добро и зло; никто меня не ласкал, все оскорбляли: я стал злопамятен; я был угрюм, — другие дети веселы и болтливы; я чувствовал себя выше их, — меня ставили ниже. Я сделался завистлив. Я был готов любить весь мир, — меня никто не понял: и я выучился ненавидеть. Моя бесцветная молодость протекла в борьбе с собой и светом; лучшие мои чувства, боясь насмешки, я хоронил в глубине сердца: они там и умерли. Я говорил правду — мне не верили: я начал обманывать; узнав хорошо свет и пружины общества, я стал искусен в науке жизни и видел, как другие без искусства счастливы, пользуясь даром теми выгодами, которых я так неутомимо добивался. И тогда в груди моей родилось отчаяние — не то отчаяние, которое лечат дулом пистолета, но холодное, бессильное отчаяние, прикрытое любезностью и добродушной улыбкой. Я сделался нравственным калекой: одна половина души моей не существовала, она высохла, испарилась, умерла, я ее отрезал и бросил, — тогда как другая шевелилась и жила к услугам каждого, и этого никто не замегил, потому что никто не знал о существовании погибшей ее половины; но вы теперь во мне разбудили воспоминание о ней, и я вам прочел ее эпитафию. Многим все вообще эпитафии кажутся смешными, но мне нет, особенно когда вспомню о том, что под ними покоится. Впрочем, я не прошу вас разделять мое мнение: если моя выходка вам кажется смешна — пожалуйста, смейтесь: предупреждаю вас, что это меня не огорчит нимало.

В эту минуту я встретил ее глаза: в них бегали слезы; рука ее, опираясь на мою, дрожала; щеки пылали; ей было жаль меня! Сострадание — чувство, которому покоряются так легко все женщины, впустило свои когти в ее неопытное сердце. Во все время про-

гулки она была рассеянна, ни с кем не кокетничала, — а это великий признак!

Мы пришли к провалу; дамы оставили своих кавалеров, но она не покидала руки моей. Остроты здешних денди ее не смешили; крутизна обрыва, у которого она стояла, ее не пугала, тогда как другие барышни пищали и закрывали глаза.

На возвратном пути я не возобновлял нашего печального разговора; но на пустые мои вопросы и шутки она отвечала коротко и рассеянно.

— Любили ли вы? — спросил я ее, наконец.

Она посмотрела на меня пристально, покачала головой — и опять впала в задумчивость: явно было, что ей хотелось что-то сказать, но она не знала, с чего начать; ее грудь волновалась... Как быть! кисейный рукав слабая защита, и электрическая искра пробежала из моей руки в ее руку; все почти страсти начинаются так, и мы часто себя очень обманываем, думая, что нас женщина любит за наши физические или нравственные достоинства; конечно, они приготовляют, располагают ее сердце к принятию священного огня, а все-таки первое прикосновение решает дело.

— Не правда ли, я была очень любезна сегодня? — сказала мне княжна с принужденной улыбкой, когда мы возвратились с гулянья.

Мы расстались.

Она недовольна собой; она себя обвиняет в холодности... О, это первое, главное торжество! Завтра она захочет вознаградить меня. Я все это уж знаю наизусть — вот что скучно!

4-го июня.

Нынче я видел Веру. Она замучила меня своею ревностью. Княжна вздумала, кажется, ей поверять свои сердечные тайны: надо признаться, удачный выбор!

— Я отгадываю, к чему все это клонится, — говорила мне Вера, — лучше скажи мне просто теперь, что ты ее любишь.

— Но если я ее не люблю?

— То зачем же ее преследовать, тревожить, волновать ее воображение?.. О, я тебя хорошо знаю! Послушай, если ты хочешь, чтоб я тебе верила, то приезжай через неделю в Кисловодск; послезавтра мы переезжаем туда. Княгиня остается здесь дольше. Найми квартиру рядом; мы будем жить в большом доме близ источника, в мезонине; внизу княгиня Лиговская, а рядом есть дом того же хозяина, который еще не занят... Приедешь?..

Я обещал — и тот же день послал занять эту квартиру.

Грушницкий пришел ко мне в шесть часов вечера и объявил, что завтра будет готов его мундир, как раз к балу.

— Наконец, я буду с нею танцевать целый вечер... Вот наговорюсь! — прибавил он.

— Когда же бал?

— Да завтра! Разве не знаешь? Большой праздник, и здешнее начальство взялось его устроить...

— Пойдем на бульвар...

— Ни за что, в этой гадкой шинели...

— Как, ты ее разлюбил?..

Я ушел один и, встретив княжну Мери, позвал ее на мазурку. Она казалась удивлена и обрадована.

— Я думала, что вы танцуете только по необходимости, как прошлый раз, — сказала она, очень мило улыбаясь...

Она, кажется, вовсе не замечает отсутствия Грушницкого.

— Вы будете завтра приятно удивлены, — сказал я ей.

— Чем?..

— Это секрет... на бале вы сами догадаетесь.

Я окончил вечер у княгини; гостей не было, кроме Веры и одного презабавного старичка. Я был в духе, импровизировал разные необыкновенные истории; княжна сидела против меня и слушала мой вздор с таким глубоким, напряженным, даже нежным вниманием, что мне стало совестно. Куда девалась ее живость, ее кокетство, ее капризы, ее дерзкая мина, презрительная улыбка, рассеянный взгляд?..

Вера все это заметила: на ее болезненном лице изображалась глубокая грусть; она сидела в тени у окна, погружась в широкие кресла... Мне стало жаль ее...

Тогда я рассказал всю драматическую историю нашего знакомства с нею, нашей любви, — разумеется, прикрыв все это вымышленными именами.

Я так живо изобразил мою нежность, мои беспокойства, восторги; я в таком выгодном свете выставил ее поступки, характер, что она поневоле должна была простить мне мое кокетство с княжной.

Она встала, подсела к нам, оживилась... и мы только в два часа ночи вспомнили, что доктора велят ложиться спать в одиннадцать.

5-го июня.

За полчаса до бала явился ко мне Грушницкий в полном сиянии армейского пехотного мундира. К третьей пуговице пристегнута была бронзовая цепочка, на которой висел двойной лорнет; эполеты неимоверной величины были загнуты кверху в виде крылышек амура; сапоги его скрипели; в левой руке держал он коричневые лайковые перчатки и фуражку, а правою взбивал ежеминутно в мелкие кудри завитой хохол. Самодовольствие и вместе некоторая неуверенность изображались на его лице; его праздничная наружность, его гордая походка заставили бы меня расхохотаться, если б это было согласно с моими намерениями.

Он бросил фуражку с перчатками на стол и начал обтягивать фалды и поправляться перед зеркалом; черный огромный платок, навернутый на высочайший подгалстушник, которого щетина поддерживала его подбородок, высовывался на полвершка из-за воротника; ему показалось мало: он вытащил его кверху до ушей; от этой трудной работы, — ибо воротник мундира был очень узок и беспокоен, — лицо его налилось кровью.

— Ты, говорят, эти дни ужасно волочился за моей княжной? — сказал он довольно небрежно и не глядя на меня.

— Где нам, дуракам, чай пить! — отвечал я ему, повторяя любимую поговорку одного из самых ловких повес прошлого времени, воспетого некогда Пушкиным.

— Скажи-ка, хорошо на мне сидит мундир?.. Ох, проклятый жид!.. как под мышками режет!.. Нет ли у тебя духов?

— Помилуй, чего тебе еще? от тебя и так уж несет розовой помадой...

— Ничего. Дай-ка сюда...

Он налил себе полсклянки за галстук, в носовой платок, на рукава.

— Ты будешь танцевать? — спросил он.

— Не думаю.

— Я боюсь, что мне с княжной придется начинать мазурку, — я не знаю почти ни одной фигуры...

— А ты звал ее на мазурку?

— Нет еще...

— Смотри, чтоб тебя не предупредили...

— В самом деле? — сказал он, ударив себя по лбу. — Прощай... пойду дожидаться ее у подъезда. — Он схватил фуражку и побежал.

Через полчаса и я отправился. На улице было темно и пусто; вокруг собрания или трактира, как угодно, теснился народ; окна его светились; звуки полковой музыки доносил ко мне вечерний ветер. Я шел медленно; мне было грустно... Неужели, думал я, мое единственное назначение на земле — разрушать чужие надежды? С тех пор как я живу и действую, судьба как-то всегда приводила меня к развязке чужих драм, как будто без меня никто не мог бы ни умереть, ни прийти в отчаяние! Я был необходимое лицо пятого акта; невольно я разыгрывал жалкую роль палача или предателя. Какую цель имела на это судьба?.. Уж не назначен ли я ею в сочинители мещанских трагедий и семейных романов — или в сотрудники поставщику повестей, например, для «Библиотеки для чтения»?.. Почему знать?.. Мало ли людей, начиная жизнь, думают кончить ее, как Александр Великий или лорд Байрон, а между тем целый век остаются титулярными советниками?..

Войдя в залу, я спрятался в толпе мужчин и начал делать свои наблюдения. Грушницкий стоял возле княжны и что-то говорил с большим жаром; она его рассеянно слушала, смотрела по сторонам, приложив веер к губкам; на лице ее изображалось нетерпение, глаза ее искали кругом кого-то; я тихонько подошел сзади, чтоб подслушать их разговор.

— Вы меня мучите, княжна! — говорил Грушницкий, — вы ужасно переменились с тех пор, как я вас не видал...

— Вы также переменились, — отвечала она, бросив на него быстрый взгляд, в котором он не умел разобрать тайной насмешки.

— Я? я переменился?.. О, никогда! Вы знаете, что это невозможно! Кто видел вас однажды, тот навеки унесет с собою ваш божественный образ.

— Перестаньте...

— Отчего же вы теперь не хотите слушать того, чему еще недавно, и так часто, внимали благосклонно?..

— Потому что я не люблю повторений, — отвечала она, смеясь...

— О, я горько ошибся!.. Я думал, безумный, что по крайней мере эти эполеты дадут мне право надеяться... Нет, лучше бы мне век остаться в этой презренной солдатской шинели, которой, может быть, я был обязан вашим вниманием...

— В самом деле, вам шинель гораздо более к лицу...

В это время я подошел и поклонился княжне; она немножко покраснела и быстро проговорила:

— Не правда ли, мсье Печорин, что серая шинель гораздо больше идет к мсье Грушницкому?..

— Я с вами не согласен, — отвечал я, — в мундире он еще моложавее.

Грушницкий не вынес этого удара: как все мальчики, он имеет претензию быть стариком; он думает, что на его лице глубокие следы страстей заменяют отпечаток лет. Он на меня бросил бешеный взгляд, топнул ногою и отошел прочь.

— А признайтесь, — сказал я княжне, — что хотя он всегда был очень смешон, но еще недавно он вам казался интересен... в серой шинели?..

Она потупила глаза и не отвечала.

Грушницкий целый вечер преследовал княжну, танцевал или с нею, или vis-à-vis; он пожирал ее глазами, вздыхал и надоедал ей мольбами и упреками. После третьей кадрили она его уж ненавидела.

— Я этого не ожидал от тебя, — сказал он, подойдя ко мне и взяв меня за руку.

— Чего?

— Ты с нею танцуешь мазурку? — спросил он торжественным голосом. — Она мне призналась...

— Ну, так что ж? А разве это секрет?

— Разумеется... Я должен был этого ожидать от девчонки... от кокетки... Уж я отомщу!

— Пеняй на свою шинель или на свои эполеты, а зачем же обвинять ее? Чем она виновата, что ты ей больше не нравишься?..

— Зачем же подавать надежды?

— Зачем же ты надеялся? Желать и добиваться чего-нибудь — понимаю, а кто ж надеется?

— Ты выиграл пари — только не совсем, — сказал он, злобно улыбаясь.

Мазурка началась. Грушницкий выбирал одну только княжну, другие кавалеры поминутно ее выбирали: это явно был заговор против меня; тем лучше: ей хочется говорить со мною, ей мешают, — ей захочется вдвое более.

Я раза два пожал ее руку; во второй раз она ее выдернула, не говоря ни слова.

— Я дурно буду спать эту ночь, — сказала она мне, когда мазурка кончилась.

— Этому виноват Грушницкий.

— О нет! — И лицо ее стало так задумчиво, так грустно, что я дал себе слово в этот вечер непременно поцеловать ее руку.

Стали разъезжаться. Сажая княжну в карету, я быстро прижал ее маленькую ручку к губам своим. Было темно, и никто не мог этого видеть.

Я возвратился в залу очень доволен собою.

За большим столом ужинала молодежь, и между ими Грушницкий. Когда я вошел, все замолчали: видно, говорили обо мне. Многие с прошедшего бала на меня дуются, особенно драгунский капитан, а теперь, кажется, решительно составляется против меня враждебная шайка под командой Грушницкого. У него такой гордый и храбрый вид...

Очень рад; я люблю врагов, хотя не по-христиански. Они меня забавляют, волнуют мне кровь. Быть всегда на страже, ловить каждый взгляд, значение каждого слова, угадывать намерения, разрушать заговоры, притворяться обманутым, и вдруг одним толчком опрокинуть все огромное и многотрудное здание из хитростей и замыслов, — вот что я называю жизнью.

В продолжение ужина Грушницкий шептался и перемигивался с драгунским капитаном.

6-го июня.

Нынче поутру Вера уехала с мужем в Кисловодск. Я встретил их карету, когда шел к княгине Лиговской. Она мне кивнула головой: во взгляде ее был упрек.

Кто ж виноват? зачем она не хочет дать мне случай видеться с нею наедине? Любовь, как огонь, — без пищи гаснет. Авось ревность сделает то, чего не могли мои просьбы.

Я сидел у княгини битый час. Мери не вышла, — больна. Вечером на бульваре ее не было. Вновь составившаяся шайка, вооруженная лорнетами, приняла в самом деле грозный вид. Я рад, что княжна больна: они сделали бы ей какую-нибудь дерзость. У Грушницкого растрепанная прическа и отчаянный вид; он, кажется, в самом деле огорчен, особенно самолюбие его оскорблено; но ведь есть же люди, в которых даже отчаяние забавно!..

Возвратясь домой, я заметил, что мне чего-то недостает. *Я не видал ее! Она больна!* Уж не влюбился ли я в самом деле?.. Какой вздор!

7-го июня.

В одиннадцать часов утра, — час, в который княгиня Лиговская обыкновенно потеет в Ермоловской ванне, — я шел мимо ее дома. Княжна сидела задумчиво у окна; увидев меня, вскочила.

Я вошел в переднюю; людей никого не было, и я без доклада, пользуясь свободой здешних нравов, пробрался в гостиную.

Тусклая бледность покрывала милое лицо княжны. Она стояла у фортепьяно, опершись одной рукой на спинку кресел: эта рука чуть-чуть дрожала; я тихо подошел к ней и сказал:

— Вы на меня сердитесь?..

Она подняла на меня томный, глубокий взор и покачала головой; ее губы хотели проговорить что-то — и не могли; глаза наполнились слезами; она опустилась в кресла и закрыла лицо руками.

— Что с вами? — сказал я, взяв ее руку.

— Вы меня не уважаете!.. О! оставьте меня!..

Я сделал несколько шагов... Она выпрямилась в креслах, глаза ее засверкали...

Я остановился, взявшись за ручку двери, и сказал:

— Простите меня, княжна! Я поступил как безумец... этого в другой раз не случится: я приму свои меры... Зачем вам знать то, что происходило до сих пор в душе моей? Вы этого никогда не узнаете, и тем лучше для вас. Прощайте.

Уходя, мне кажется, я слышал, что она плакала.

Я до вечера бродил пешком по окрестностям Машука, утомился ужасно и, пришедши домой, бросился на постель в совершенном изнеможении.

Ко мне зашел Вернер.

— Правда ли, — спросил он, — что вы женитесь на княжне Лиговской?

— А что?

— Весь город говорит; все мои больные заняты этой важной новостью, а уж эти больные такой народ: все знают!

«Это штуки Грушницкого!» — подумал я.



Рисунок Лермонтова

Рисунок Лермонтова

— Чтоб вам доказать, доктор, ложность этих слухов, объявляю вам по секрету, что завтра я переезжаю в Кисловодск...

— И княжна также?..

— Нет, она остается еще на неделю здесь...

— Так вы не женитесь?..

— Доктор, доктор! посмотрите на меня: неужели я похож на жениха или на что-нибудь подобное?

— Я этого не говорю... Но вы знаете, есть случаи... — прибавил он, хитро улыбаясь, — в которых благородный человек обязан жениться, и есть маменьки, которые по крайней мере не предупреждают этих случаев... Итак, я вам советую, как приятель, быть осторожнее. Здесь, на водах, преопасный воздух: сколько я видел прекрасных молодых людей, достойных лучшей участи и уезжавших отсюда прямо под венец... Даже, поверите ли, меня хотели женить! Именно одна уездная маменька, у которой дочь была очень бледна. Я имел несчастие сказать ей, что цвет лица возвратится после свадьбы; тогда она со слезами благодарности предложила мне руку своей дочери и все свое состояние — пятьдесят душ, кажется. Но я отвечал, что я к этому не способен...

Вернер ушел в полной уверенности, что он меня предостерег.

Из слов его я заметил, что про меня и княжну уж распущены в городе разные дурные слухи: это Грушницкому даром не пройдет!

10-го июня.

Вот уж три дня, как я в Кисловодске. Каждый день вижу Веру у колодца и на гулянье. Утром, просыпаясь, сажусь у окна и навожу лорнет на ее балкон; она давно уж одета и ждет условленного знака; мы встречаемся, будто нечаянно, в саду, который от наших домов спускается к колодцу. Живительный горный воздух возвратил ей цвет лица и силы. Недаром Нарзан называется богатырским ключом. Здешние жители утверждают, что воздух Кисловодска располагает к любви, что здесь бывают развязки всех романов,

которые когда-либо начинались у подошвы Машука. И в самом деле, здесь все дышит уединением; здесь все таинственно — и густые сени липовых аллей, склоняющихся над потоком, который с шумом и пеною, падая с плиты на плиту, прорезывает себе путь между зеленеющими горами, и ущелья, полные мглою и молчанием, которых ветви разбегаются отсюда во все стороны, и свежесть ароматического воздуха, отягощенного испарениями высоких южных трав и белой акации, и постоянный, сладостно-усыпительный шум студеных ручьев, которые, встретясь в конце долины, бегут дружно взапуски и, наконец, кидаются в Подкумок. С этой стороны ущелье шире и превращается в зеленую лощину; по ней вьется пыльная дорога. Всякий раз, как я на нее взгляну, мне все кажется, что едет карета, а из окна кареты выглядывает розовое личико. Уж много карет проехало по этой дороге,— а той все нет. Слободка, которая за крепостью, населилась; в ресторации, построенной на холме, в нескольких шагах от моей квартиры, начинают мелькать вечером огни сквозь двойной ряд тополей; шум и звон стаканов раздаются до поздней ночи.

Нигде так много не пьют кахетинского вина и минеральной воды, как здесь.

Но смешивать два эти ремесла
Есть тьма охотников — я не из их числа.

Грушницкий с своей шайкой бушует каждый день в трактире и со мной почти не кланяется.

Он только вчера приехал, а успел уже поссориться с тремя стариками, которые хотели прежде его сесть в ванну: решительно — несчастия развивают в нем воинственный дух.

11-го июня.

Наконец, они приехали. Я сидел у окна, когда услышал стук их кареты: у меня сердце вздрогнуло... Что же это такое? Неужто я влюблен?.. Я так глупо создан, что этого можно от меня ожидать.

Я у них обедал. Княгиня на меня смотрит очень нежно и не отходит от дочери... плохо! Зато Вера

ревнует меня к княжне: добился же я этого благополучия! Чего женщина не сделает, чтоб огорчить соперницу? Я помню, одна меня полюбила за то, что я любил другую. Нет ничего парадоксальнее женского ума: женщин трудно убедить в чем-нибудь, надо их довести до того, чтоб они убедили себя сами; порядок доказательств, которыми они уничтожают свои предубеждения, очень оригинален; чтоб выучиться их диалектике, надо опрокинуть в уме своем все школьные правила логики. Например, способ обыкновенный:

Этот человек любит меня; но я замужем: следовательно, не должна его любить.

Способ женский:

Я не должна его любить, ибо я замужем; но он меня любит, — следовательно...

Тут несколько точек, ибо рассудок уж ничего не говорит, а говорят большею частью: язык, глаза и вслед за ними сердце, если оное имеется.

Что̀, если когда-нибудь эти записки попадутся на глаза женщине? «Клевета!» — закричит она с негодованием.

С тех пор как поэты пишут и женщины их читают (за что им глубочайшая благодарность), их столько раз называли ангелами, что они в самом деле, в простоте душевной, поверили этому комплименту, забывая, что те же поэты за деньги величали Нерона полубогом...

Не кстати было бы мне говорить о них с такою злостью, — мне, который, кроме их, на свете ничего не любит, — мне, который всегда готов был им жертвовать спокойствием, честолюбием, жизнию... Но ведь я не в припадке досады и оскорбленного самолюбия стараюсь сдернуть с них то волшебное покрывало, сквозь которое лишь привычный взор проникает. Нет, все, что я говорю о них, есть только следствие

> Ума холодных наблюдений
> И сердца горестных замет.

Женщины должны бы желать, чтоб все мужчины их так же хорошо знали, как я, потому что я люблю

их во сто раз больше с тех пор, как их не боюсь и постиг их мелкие слабости.

Кстати: Вернер намедни сравнил женщин с заколдованным лесом, о котором рассказывает Тасс в своем «Освобожденном Иерусалиме». «Только приступи, — говорил он, — на тебя полетят со всех сторон такие страхи, что боже упаси: долг, гордость, приличие, общее мнение, насмешка, презрение... Надо только не смотреть, а идти прямо, — мало-помалу чудовища исчезают, и открывается пред тобой тихая и светлая поляна, среди которой цветет зеленый мирт. Зато беда, если на первых шагах сердце дрогнет и обернешься назад!»

12-го июня.

Сегодняшний вечер был обилен происшествиями. Верстах в трех от Кисловодска, в ущелье, где протекает Подкумок, есть скала, называемая *Кольцом;* это — ворота, образованные природой; они подымаются на высоком холме, и заходящее солнце сквозь них бросает на мир свой последний, пламенный взгляд. Многочисленная кавалькада отправилась туда посмотреть на закат солнца сквозь каменное окошко. Никто из нас, по правде сказать, не думал о солнце. Я ехал возле княжны; возвращаясь домой, надо было переезжать Подкумок вброд. Горные речки, самые мелкие, опасны, особенно тем, что дно их — совершенный калейдоскоп: каждый день от напора волн оно изменяется; где был вчера камень, там нынче яма. Я взял под уздцы лошадь княжны и свел ее в воду, которая не была выше колен; мы тихонько стали подвигаться наискось против течения. Известно, что, переезжая быстрые речки, не должно смотреть на воду, ибо тотчас голова закружится. Я забыл об этом предварить княжну Мери.

Мы были уже на средине, в самой быстрине, когда она вдруг на седле покачнулась. «Мне дурно!» — проговорила она слабым голосом... Я быстро наклонился к ней, обвил рукою ее гибкую талию. «Смотрите на-

верх! — шепнул я ей, — это ничего, только не бойтесь; я с вами».

Ей стало лучше; она хотела освободиться от моей руки, но я еще крепче обвил ее нежный, мягкий стан; моя щека почти касалась ее щеки; от нее веяло пламенем.

— Что вы со мною делаете?.. Боже мой!..

Я не обращал внимания на ее трепет и смущение, и губы мои коснулись ее нежной щечки, она вздрогнула, но ничего не сказала; мы ехали сзади: никто не видал. Когда мы выбрались на берег, то все пустились рысью. Княжна удержала свою лошадь; я остался возле нее; видно было, что ее беспокоило мое молчание, но я поклялся не говорить ни слова — из любопытства. Мне хотелось видеть, как она выпутается из этого затруднительного положения.

— Или вы меня презираете, или очень любите! — сказала она, наконец, голосом, в котором были слезы. — Может быть, вы хотите посмеяться надо мной, возмутить мою душу и потом оставить... Это было бы так подло, так низко, что одно предположение... О нет! не правда ли, — прибавила она голосом нежной доверенности, — не правда ли, во мне нет ничего такого, что бы исключало уважение? Ваш дерзкий поступок... я должна, я должна вам его простить, потому что позволила... Отвечайте, говорите же, я хочу слышать ваш голос!.. — В последних словах было такое женское нетерпение, что я невольно улыбнулся; к счастию, начинало смеркаться... Я ничего не отвечал.

— Вы молчите? — продолжала она, — вы, может быть, хотите, чтоб я первая вам сказала, что я вас люблю?..

Я молчал...

— Хотите ли этого? — продолжала она, быстро обратясь ко мне... В решительности ее взора и голоса было что-то страшное...

— Зачем? — отвечал я, пожав плечами.

Она ударила хлыстом свою лошадь и пустилась во весь дух по узкой, опасной дороге; это произошло так скоро, что я едва мог ее догнать, и то, когда уж она присоединилась к остальному обществу. До самого

дома она говорила и смеялась поминутно. В ее движениях было что-то лихорадочное; на меня не взглянула ни разу. Все заметили эту необыкновенную веселость. И княгиня внутренно радовалась, глядя на свою дочку; а у дочки просто нервический припадок: она проведет ночь без сна и будет плакать. Эта мысль мне доставляет необъятное наслаждение: есть минуты, когда я понимаю Вампира... А еще слыву добрым малым и добиваюсь этого названия!

Слезши с лошадей, дамы вошли к княгине; я был взволнован и поскакал в горы развеять мысли, толпившиеся в голове моей. Росистый вечер дышал упоительной прохладой. Луна подымалась из-за темных вершин. Каждый шаг моей некованой лошади глухо раздавался в молчании ущелий; у водопада я напоил коня, жадно вдохнул в себя раза два свежий воздух южной ночи и пустился в обратный путь. Я ехал через слободку. Огни начинали угасать в окнах; часовые на валу крепости и казаки на окрестных пикетах протяжно перекликались...

В одном из домов слободки, построенном на краю оврага, заметил я чрезвычайное освещение; по временам раздавался нестройный говор и крики, изобличавшие военную пирушку. Я слез и подкрался к окну; неплотно притворенный ставень позволил мне видеть пирующих и расслушать их слова. Говорили обо мне.

Драгунский капитан, разгоряченный вином, ударил по столу кулаком, требуя внимания.

— Господа! — сказал он, — это ни на что не похоже. Печорина надо проучить! Эти петербургские слётки всегда зазнаются, пока их не ударишь по носу! Он думает, что он только один и жил в свете, оттого что носит всегда чистые перчатки и вычищенные сапоги.

— И что за надменная улыбка! А я уверен между тем, что он трус, — да, трус!

— Я думаю то же, — сказал Грушницкий. — Он любит отшучиваться. Я раз ему таких вещей наговорил, что другой бы меня изрубил на месте, а Печорин все обратил в смешную сторону. Я, разумеется, его не вызвал, потому что это было его дело; да не хотел и связываться...

— Грушницкий на него зол за то, что он отбил у него княжну, — сказал кто-то.

— Вот еще что вздумали! Я, правда, немножко волочился за княжной, да и тотчас отстал, потому что не хочу жениться, а компрометировать девушку не в моих правилах.

— Да я вас уверяю, что он первейший трус, то есть Печорин, а не Грушницкий, — а Грушницкий молодец, и притом он мой истинный друг! — сказал опять драгунский капитан. — Господа! никто здесь его не защищает? Никто? тем лучше! Хотите испытать его храбрость? Это вас позабавит...

— Хотим; только как?

— А вот слушайте: Грушницкий на него особенно сердит — ему первая роль! Он придерется к какой-нибудь глупости и вызовет Печорина на дуэль... Погодите; вот в этом-то и штука... Вызовет на дуэль: хорошо! Все это — вызов, приготовления, условия — будет как можно торжественнее и ужаснее, — я за это берусь; я буду твоим секундантом, мой бедный друг! Хорошо! Только вот где закорючка: в пистолеты мы не положим пуль. Уж я вам отвечаю, что Печорин струсит, — на шести шагах их поставлю, черт возьми! Согласны ли, господа?

— Славно придумано! согласны! почему же нет? — раздалось со всех сторон.

— А ты, Грушницкий?

Я с трепетом ждал ответа Грушницкого; холодная злость овладела мною при мысли, что если б не случай, то я мог бы сделаться посмешищем этих дураков. Если б Грушницкий не согласился, я бросился б ему на шею. Но после некоторого молчания он встал с своего места, протянул руку капитану и сказал очень важно: «Хорошо, я согласен».

Трудно описать восторг всей честной компании.

Я вернулся домой, волнуемый двумя различными чувствами. Первое было грусть. «За что они все меня ненавидят? — думал я. — За что? Обидел ли я кого-нибудь? Нет. Неужели я принадлежу к числу тех людей, которых один вид уже порождает недоброжелательство?» И я чувствовал, что ядовитая злость мало-

номалу наполняла мою душу. «Берегитесь, господин Грушницкий! — говорил я, прохаживаясь взад и вперед по комнате. — Со мной этак не шутят. Вы дорого можете заплатить за одобрение ваших глупых товарищей. Я вам не игрушка!..»

Я не спал всю ночь. К утру я был желт, как померанец.

Поутру я встретил княжну у колодца.

— Вы больны? — сказала она, пристально посмотрев на меня.

— Я не спал ночь.

— И я также... я вас обвиняла... может быть, напрасно? Но объяснитесь, я могу вам простить все...

— Все ли?..

— Все... только говорите правду... только скорее... Видите ли, я много думала, стараясь объяснить, оправдать ваше поведение; может быть, вы боитесь препятствий со стороны моих родных... это ничего; когда они узнают... (ее голос задрожал) я их упрошу. Или ваше собственное положение... но знайте, что я всем могу пожертвовать для того, которого люблю... О, отвечайте скорее, сжальтесь... Вы меня не презираете, не правда ли?

Она схватила меня за руку.

Княгиня шла впереди нас с мужем Веры и ничего не видала; но нас могли видеть гуляющие больные, самые любопытные сплетники из всех любопытных, и я быстро освободил свою руку от ее страстного пожатия.

— Я вам скажу всю истину, — отвечал я княжне, — не буду оправдываться, ни объяснять своих поступков; я вас не люблю.

Ее губы слегка побледнели...

— Оставьте меня, — сказала она едва внятно.

Я пожал плечами, повернулся и ушел.

14-го июня.

Я иногда себя презираю... не оттого ли я презираю и других?.. Я стал не способен к благородным порывам, я боюсь показаться смешным самому себе. Дру-

гой бы на моем месте предложил княжне son coeur et sa fortune;[1] но над мною слово *жениться* имеет какую-то волшебную власть: как бы страстно я ни любил женщину, если она мне даст только почувствовать, что я должен на ней жениться, — прости любовь! мое сердце превращается в камень, и ничто его не разогреет снова. Я готов на все жертвы, кроме этой; двадцать раз жизнь свою, даже честь поставлю на карту... но свободы моей не продам. Отчего я так дорожу ею? что мне в ней?.. куда я себя готовлю? чего я жду от будущего?.. Право, ровно ничего. Это какой-то врожденный страх, неизъяснимое предчувствие... Ведь есть люди, которые безотчетно боятся пауков, тараканов, мышей... Признаться ли?.. Когда я был еще ребенком, одна старуха гадала про меня моей матери; она предсказала мне *смерть от злой жены*; это меня тогда глубоко поразило; в душе моей родилось непреодолимое отвращение к женитьбе... Между тем что-то мне говорит, что ее предсказание сбудется; по крайней мере буду стараться, чтоб оно сбылось как можно позже.

15-го июня.

Вчера приехал сюда фокусник *Апфельбаум*. На дверях ресторации явилась длинная афишка, извещающая почтеннейшую публику о том, что вышеименованный удивительный фокусник, акробат, химик и оптик будет иметь честь дать великолепное представление сегодняшнего числа в восемь часов вечера, в зале благородного собрания (иначе — в ресторации); билеты по два рубля с полтиной.

Все собираются идти смотреть удивительного фокусника; даже княгиня Лиговская, несмотря на то, что дочь ее больна, взяла для себя билет.

Нынче после обеда я шел мимо окон Веры; она сидела на балконе одна; к ногам моим упала записка:

«Сегодня в десятом часу вечера приходи ко мне по большой лестнице; муж мой уехал в Пятигорск

---

[1] руку и сердце (*франц.*).

и завтра утром только вернется. Моих людей и горничных не будет в доме: я им всем раздала билеты, также и людям княгини. Я жду тебя; приходи непременно».

«А-га! — подумал я, — наконец-таки вышло помоему».

В восемь часов пошел я смотреть фокусника. Публика собралась в исходе девятого; представление началось. В задних рядах стульев узнал я лакеев и горничных Веры и княгини. Все были тут наперечет. Грушницкий сидел в первом ряду с лорнетом. Фокусник обращался к нему всякий раз, как ему нужен был носовой платок, часы, кольцо и прочее.

Грушницкий мне не кланяется уж несколько времени, а нынче раза два посмотрел на меня довольно дерзко. Все это ему припомнится, когда нам придется расплачиваться.

В исходе десятого я встал и вышел.

На дворе было темно, хоть глаз выколи. Тяжелые, холодные тучи лежали на вершинах окрестных гор: лишь изредка умирающий ветер шумел вершинами тополей, окружающих ресторацию; у окон ее толпился народ. Я спустился с горы и, повернув в ворота, прибавил шагу. Вдруг мне показалось, что кто-то идет за мною. Я остановился и осмотрелся. В темноте ничего нельзя было разобрать; однако я из осторожности обошел, будто гуляя, вокруг дома. Проходя мимо окон княжны, я услышал снова шаги за собою; человек, завернутый в шинель, пробежал мимо меня. Это меня встревожило; однако я прокрался к крыльцу и поспешно взбежал на темную лестницу. Дверь отворилась; маленькая ручка схватила мою руку...

— Никто тебя не видал? — сказала шепотом Вера, прижавшись ко мне.

— Никто!

— Теперь ты веришь ли, что я тебя люблю? О, я долго колебалась, долго мучилась... но ты из меня делаешь все что хочешь.

Ее сердце сильно билось, руки были холодны как лед. Начались упреки, ревности, жалобы, — она тре-

бовала от меня, чтоб я ей во всем признался, говоря, что она с покорностью перенесет мою измену, потому что хочет единственно моего счастия. Я этому не совсем верил, но успокоил ее клятвами, обещаниями и прочее.

— Так ты не женишься на Мери? не любишь ее?.. А она думает... знаешь ли, она влюблена в тебя до безумия, бедняжка!..

. . . .

. . . .

Около двух часов пополуночи я отворил окно и, связав две шали, спустился с верхнего балкона на нижний, придерживаясь за колонну. У княжны еще горел огонь. Что-то меня толкнуло к этому окну. Занавес был не совсем задернут, и я мог бросить любопытный взгляд во внутренность комнаты. Мери сидела на своей постели, скрестив на коленях руки; ее густые волосы были собраны под ночным чепчиком, обшитым кружевами; большой пунцовый платок покрывал ее белые плечики, и маленькая ножка пряталась в пестрых персидских туфлях. Она сидела неподвижно, опустив голову на грудь; пред нею на столике была раскрыта книга, но глаза ее, неподвижные и полные неизъяснимой грусти, казалось, в сотый раз пробегали одну и ту же страницу, тогда как мысли ее были далеко...

В эту минуту кто-то шевельнулся за кустом. Я спрыгнул с балкона на дерн. Невидимая рука схватила меня за плечо.

— Ага! — сказал грубый голос, — попался!.. будешь у меня к княжнам ходить ночью!..

— Держи его крепче! — закричал другой, выскочивший из-за угла.

Это были Грушницкий и драгунский капитан.

Я ударил последнего по голове кулаком, сшиб его с ног и бросился в кусты. Все тропинки сада, покрывавшего отлогость против наших домов, были мне известны.

— Воры! караул!.. — кричали они; раздался ружейный выстрел; дымящийся пыж упал почти к моим ногам.

Через минуту я был уже в своей комнате, разделся и лег. Едва мой лакей запер дверь на замок, как ко мне начали стучаться Грушницкий и капитан.

— Печорин! вы спите? здесь вы?.. — закричал капитан.

— Сплю, — отвечал я сердито.

— Вставайте! воры... черкесы.

— У меня насморк, — отвечал я, — боюсь простудиться.

Они ушли. Напрасно я им откликнулся: они б еще с час проискали меня в саду. Тревога между тем сделалась ужасная. Из крепости прискакал казак. Все зашевелилось; стали искать черкесов во всех кустах — и, разумеется, ничего не нашли. Но многие, вероятно, остались в твердом убеждении, что если б гарнизон показал более храбрости и поспешности, то по крайней мере десятка два хищников остались бы на месте.

16-го июня.

Нынче поутру у колодца только и было толков, что о ночном нападении черкесов. Выпивши положенное число стаканов нарзана, пройдясь раз десять по длинной липовой аллее, я встретил мужа Веры, который только что приехал из Пятигорска. Он взял меня под руку, и мы пошли в ресторацию завтракать; он ужасно беспокоился о жене. «Как она перепугалась нынче ночью! — говорил он, — ведь надобно ж, чтоб это случилось именно тогда, как я в отсутствии». Мы уселись завтракать возле двери, ведущей в угловую комнату, где находилось человек десять молодежи, в числе которой был и Грушницкий. Судьба вторично доставила мне случай подслушать разговор, который должен был решить его участь. Он меня не видал, и, следственно, я не мог подозревать умысла; но это только увеличивало его вину в моих глазах.

— Да неужели в самом деле это были черкесы? — сказал кто-то, — видел ли их кто-нибудь?

— Я вам расскажу всю истину, — отвечал Грушницкий, — только, пожалуйста, не выдавайте меня; вот

как это было: вчера один человек, которого я вам не назову, приходит ко мне и рассказывает, что видел в десятом часу вечера, как кто-то прокрался в дом к Лиговским. Надо вам заметить, что княгиня была здесь, а княжна дома. Вот мы с ним и отправились под окна, чтоб подстеречь счастливца.

Признаюсь, я испугался, хотя мой собеседник очень был занят своим завтраком: он мог услышать вещи для себя довольно неприятные, если б неравно Грушницкий отгадал истину; но, ослепленный ревностью, он и не подозревал ее.

— Вот видите ли, — продолжал Грушницкий, — мы и отправились, взявши с собой ружье, заряженное холостым патроном, только так, чтоб попугать. До двух часов ждали в саду. Наконец — уж бог знает откуда он явился, только не из окна, потому что оно не отворялось, а должно быть, он вышел в стеклянную дверь, что за колонной, — наконец, говорю я, видим мы, сходит кто-то с балкона... Какова княжна? а? Ну, уж признаюсь, московские барышни! После этого чему же можно верить? Мы хотели его схватить, только он вырвался и, как заяц, бросился в кусты; тут я по нем выстрелил.

Вокруг Грушницкого раздался ропот недоверчивости.

— Вы не верите? — продолжал он, — даю вам честное, благородное слово, что все это сущая правда, и в доказательство я вам, пожалуй, назову этого господина.

— Скажи, скажи, кто ж он! — раздалось со всех сторон.

— Печорин, — отвечал Грушницкий.

В эту минуту он поднял глаза — я стоял в дверях против него; он ужасно покраснел. Я подошел к нему и сказал медленно и внятно:

— Мне очень жаль, что я вошел после того, как вы уж дали честное слово в подтверждение самой отвратительной клеветы. Мое присутствие избавило бы вас от лишней подлости.

Грушницкий вскочил с своего места и хотел разгорячиться.

— Прошу вас, — продолжал я тем же тоном, — прошу вас сейчас же отказаться от ваших слов; вы очень хорошо знаете, что это выдумка. Я не думаю, чтоб равнодушие женщины к вашим блестящим достоинствам заслуживало такое ужасное мщение. Подумайте хорошенько: поддерживая ваше мнение, вы теряете право на имя благородного человека и рискуете жизнью.

Грушницкий стоял передо мною, опустив глаза, в сильном волнении. Но борьба совести с самолюбием была непродолжительна. Драгунский капитан, сидевший возле него, толкнул его локтем; он вздрогнул и быстро отвечал мне, не поднимая глаз:

— Милостивый государь, когда я что говорю, так я это думаю и готов повторить... Я не боюсь ваших угроз и готов на все.

— Последнее вы уж доказали, — отвечал я ему холодно и, взяв под руку драгунского капитана, вышел из комнаты.

— Что вам угодно? — спросил капитан.

— Вы приятель Грушницкого — и, вероятно, будете его секундантом?

Капитан поклонился очень важно.

— Вы отгадали, — отвечал он, — я даже обязан быть его секундантом, потому что обида, нанесенная ему, относится и ко мне: я был с ним вчера ночью, — прибавил он, выпрямляя свой сутуловатый стан.

— А! так это вас ударил я так неловко по голове?..

Он пожелтел, посинел; скрытая злоба изобразилась на лице его.

— Я буду иметь честь прислать к вам нынче моего секунданта, — прибавил я, раскланявшись очень вежливо и показывая вид, будто не обращаю внимания на его бешенство.

На крыльце ресторации я встретил мужа Веры. Кажется, он меня дожидался.

Он схватил мою руку с чувством, похожим на восторг.

— Благородный молодой человек! — сказал он, с слезами на глазах. — Я все слышал. Какой мерзавец! неблагодарный!.. Принимай их после этого в поря-

дочный дом! Слава богу, у меня нет дочерей! Но вас наградит та, для которой вы рискуете жизнью. Будьте уверены в моей скромности до поры до времени, — продолжал он. — Я сам был молод и служил в военной службе: знаю, что в эти дела не должно вмешиваться. Прощайте.

Бедняжка! радуется, что у него нет дочерей...

Я пошел прямо к Вернеру, застал его дома и рассказал ему все — отношения мои к Вере и княжне и разговор, подслушанный мною, из которого я узнал намерение этих господ подурачить меня, заставив стреляться хо́лостыми зарядами. Но теперь дело выходило из границ шутки: они, вероятно, не ожидали такой развязки.

Доктор согласился быть моим секундантом; я дал ему несколько наставлений насчет условий поединка; он должен был настоять на том, чтобы дело обошлось как можно секретнее, потому что хотя я когда угодно готов подвергать себя смерти, но нимало не расположен испортить навсегда свою будущность в здешнем мире.

После этого я пошел домой. Через час доктор вернулся из своей экспедиции.

— Против вас точно есть заговор, — сказал он. — Я нашел у Грушницкого драгунского капитана и еще одного господина, которого фамилии не помню. Я на минуту остановился в передней, чтоб снять галоши. У них был ужасный шум и спор... «Ни за что не соглашусь! — говорил Грушницкий, — он меня оскорбил публично; тогда было совсем другое...» — «Какое тебе дело? — отвечал капитан, — я все беру на себя. Я был секундантом на пяти дуэлях и уж знаю, как это устроить. Я все придумал. Пожалуйста, только мне не мешай. Постращать не худо. А зачем подвергать себя опасности, если можно избавиться?...» В эту минуту я вошел. Они вдруг замолчали. Переговоры наши продолжались довольно долго; наконец, мы решили дело вот как: верстах в пяти отсюда есть глухое ущелье; они туда поедут завтра в четыре часа утра, а мы выедем полчаса после них; стреляться будете на шести шагах — этого требовал сам Грушницкий.

Убитого — на счет черкесов. Теперь вот какие у меня подозрения: они, то есть секунданты, должно быть, несколько переменили свой прежний план и хотят зарядить пулею один пистолет Грушницкого. Это немножко похоже на убийство, но в военное время, и особенно в азиатской войне, хитрости позволяются; только Грушницкий, кажется, поблагороднее своих товарищей. Как вы думаете? должны ли мы показать им, что догадались?

— Ни за что на свете, доктор! будьте спокойны; я им не поддамся.

— Что же вы хотите делать?

— Это моя тайна.

— Смотрите не попадитесь... ведь на шести шагах!

— Доктор, я вас жду завтра в четыре часа; лошади будут готовы... Прощайте.

Я до вечера просидел дома, запершись в своей комнате. Приходил лакей звать меня к княгине, — я велел сказать, что болен.

. . . .

Два часа ночи... не спится... А надо бы заснуть, чтоб завтра рука не дрожала. Впрочем, на шести шагах промахнуться трудно. А! господин Грушницкий! ваша мистификация вам не удастся... мы поменяемся ролями: теперь мне придется отыскивать на вашем бледном лице признаки тайного страха. Зачем вы сами назначили эти роковые шесть шагов? Вы думаете, что я вам без спора подставлю свой лоб... но мы бросим жребий!.. и тогда... тогда... что, если его счастье перетянет? если моя звезда, наконец, мне изменит?.. И немудрено: она так долго служила верно моим прихотям; на небесах не более постоянства, чем на земле.

Что ж? умереть так умереть! потеря для мира небольшая; да и мне самому порядочно уж скучно. Я — как человек, зевающий на бале, который не едет спать только потому, что еще нет его кареты. Но карета готова... прощайте!..

Пробегаю в памяти все мое прошедшее и спрашиваю себя невольно: зачем я жил? для какой цели я родился?.. А, верно, она существовала, и, верно, было мне назначение высокое, потому что я чувствую

в душе моей силы необъятные... Но я не угадал этого назначения, я увлекся приманками страстей пустых и неблагодарных; из горнила их я вышел тверд и холоден как железо, но утратил навеки пыл благородных стремлений — лучший цвет жизни. И с той поры сколько раз уже я играл роль топора в руках судьбы! Как орудие казни, я упадал на голову обреченных жертв, часто без злобы, всегда без сожаления... Моя любовь никому не принесла счастья, потому что я ничем не жертвовал для тех, кого любил: я любил для себя, для собственного удовольствия; я только удовлетворял странную потребность сердца, с жадностью поглощая их чувства, их нежность, их радости и страданья — и никогда не мог насытиться. Так, томимый голодом в изнеможении засыпает и видит пред собою роскошные кушанья и шипучие вина; он пожирает с восторгом воздушные дары воображения, и ему кажется легче; но только проснулся — мечта исчезает... остается удвоенный голод и отчаяние!

И, может быть, я завтра умру!.. и не останется на земле ни одного существа, которое бы поняло меня совершенно. Одни почитают меня хуже, другие лучше, чем я в самом деле... Одни скажут: он был добрый малый, другие — мерзавец. И то и другое будет ложно. После этого стоит ли труда жить? а все живешь — из любопытства: ожидаешь чего-то нового... Смешно и досадно!

Вот уже полтора месяца, как я в крепости N; Максим Максимыч ушел на охоту... я один; сижу у окна; серые тучи закрыли горы до подошвы; солнце сквозь туман кажется желтым пятном. Холодно; ветер свищет и колеблет ставни... Скучно! Стану продолжать свой журнал, прерванный столькими странными событиями.

Перечитываю последнюю страницу: смешно! Я думал умереть; это было невозможно: я еще не осушил чаши страданий и теперь чувствую, что мне еще долго жить.

Как все прошедшее ясно и резко отлилось в моей памяти! Ни одной черты, ни одного оттенка не стерло время!

Я помню, что в продолжение ночи, предшествовавшей поединку, я не спал ни минуты. Писать я не мог долго: тайное беспокойство мною овладело. С час я ходил по комнате; потом сел и открыл роман Вальтера Скотта, лежавший у меня на столе: то были «Шотландские пуритане»; я читал сначала с усилием, потом забылся, увлеченный волшебным вымыслом... Неужели шотландскому барду на том свете не платят за каждую отрадную минуту, которую дарит его книга?..

Наконец, рассвело. Нервы мои успокоились. Я посмотрелся в зеркало; тусклая бледность покрывала лицо мое, хранившее следы мучительной бессонницы; но глаза, хотя окруженные коричневою тенью, блистали гордо и неумолимо. Я остался доволен собою.

Велев седлать лошадей, я оделся и сбежал к купальне. Погружаясь в холодный кипяток нарзана, я чувствовал, как телесные и душевные силы мои возвращались. Я вышел из ванны свеж и бодр, как будто собирался на бал. После этого говорите, что душа не зависит от тела!..

Возвратясь, я нашел у себя доктора. На нем были серые рейтузы, архалук и черкесская шапка. Я расхохотался, увидев эту маленькую фигурку под огромной косматой шапкой: у него лицо вовсе не воинственное, а в этот раз оно было еще длиннее обыкновенного.

— Отчего вы так печальны, доктор? — сказал я ему. — Разве вы сто раз не провожали людей на тот свет с величайшим равнодушием? Вообразите, что у меня желчная горячка; я могу выздороветь, могу и умереть; то и другое в порядке вещей; старайтесь смотреть на меня, как на пациента, одержимого болезнью, вам еще неизвестной, — и тогда ваше любопытство возбудится до высшей степени; вы можете надо мною сделать теперь несколько важных физиологических наблюдений... Ожидание насильственной смерти не есть ли уже настоящая болезнь?

Эта мысль поразила доктора, и он развеселился.

Мы сели верхом; Вернер уцепился за поводья обеими руками, и мы пустились, — мигом проскакали мимо крепости через слободку и въехали в ущелье, по которому вилась дорога, полузаросшая высокой травой и ежеминутно пересекаемая шумным ручьем, через который нужно было переправляться вброд, к великому отчаянию доктора, потому что лошадь его каждый раз в воде останавливалась.

Я не помню утра более голубого и свежего! Солнце едва выказалось из-за зеленых вершин, и слияние первой теплоты его лучей с умирающей прохладой ночи наводило на все чувства какое-то сладкое томление; в ущелье не проникал еще радостный луч молодого дня; он золотил только верхи утесов, висящих с обеих сторон над нами; густолиственные кусты, растущие в их глубоких трещинах, при малейшем дыхании ветра осыпали нас серебряным дождем. Я помню — в этот раз, больше чем когда-нибудь прежде, я любил природу. Как любопытно всматривался я в каждую росинку, трепещущую на широком листке виноградном и отражавшую миллионы радужных лучей! как жадно взор мой старался проникнуть в дымную даль! Там путь все становился уже, утесы синее и страшнее, и, наконец, они, казалось, сходились непроницаемой стеной. Мы ехали молча.

— Написали ли вы свое завещание? — вдруг спросил Вернер.

— Нет.

— А если будете убиты?..

— Наследники отыщутся сами.

— Неужели у вас нет друзей, которым бы вы хотели послать свое последнее прости?..

Я покачал головой.

— Неужели нет на свете женщины, которой вы хотели бы оставить что-нибудь на память?..

— Хотите ли, доктор, — отвечал я ему, — чтоб я раскрыл вам мою душу?.. Видите ли, я выжил из тех лет, когда умирают, произнося имя своей любезной и завещая другу клочок напомаженных или ненапомаженных волос. Думая о близкой и возможной смерти,

я думаю об одном себе: иные не делают и этого. Друзья, которые завтра меня забудут или, хуже, взведут на мой счет бог знает какие небылицы; женщины, которые, обнимая другого, будут смеяться надо мною, чтоб не возбудить в нем ревности к усопшему, — бог с ними! Из жизненной бури я вынес только несколько идей — и ни одного чувства. Я давно уж живу не сердцем, а головою. Я взвешиваю, разбираю свои собственные страсти и поступки с строгим любопытством, но без участия. Во мне два человека: один живет в полном смысле этого слова, другой мыслит и судит его; первый, быть может, через час простится с вами и миром навеки, а второй... второй?.. Посмотрите, доктор: видите ли вы на скале направо чернеются три фигуры? Это, кажется, наши противники?..

Мы пустились рысью.

У подошвы скалы в кустах были привязаны три лошади; мы своих привязали тут же, а сами по узкой тропинке взобрались на площадку, где ожидал нас Грушницкий с драгунским капитаном и другим своим секундантом, которого звали Иваном Игнатьевичем; фамилии его я никогда не слыхал.

— Мы давно уж вас ожидаем, — сказал драгунский капитан с иронической улыбкой.

Я вынул часы и показал ему.

Он извинился, говоря, что его часы уходят.

Несколько минут продолжалось затруднительное молчание; наконец, доктор прервал его, обратясь к Грушницкому.

— Мне кажется, — сказал он, — что, показав оба готовность драться и заплатив этим долг условиям чести, вы бы могли, господа, объясниться и кончить это дело полюбовно.

— Я готов, — сказал я.

Капитан мигнул Грушницкому, и этот, думая, что я трушу, принял гордый вид, хотя до сей минуты тусклая бледность покрывала его щеки. С тех пор как мы приехали, он в первый раз поднял на меня глаза; но во взгляде его было какое-то беспокойство, изобличавшее внутреннюю борьбу.

— Объясните ваши условия, — сказал он, — и все, что я могу для вас сделать, то будьте уверены...

— Вот мои условия: вы нынче же публично откажетесь от своей клеветы и будете просить у меня извинения...

— Милостивый государь, я удивляюсь, как вы смеете мне предлагать такие вещи?..

— Что ж я вам мог предложить, кроме этого?..

— Мы будем стреляться.

Я пожал плечами.

— Пожалуй; только подумайте, что один из нас непременно будет убит.

— Я желаю, чтобы это были вы...

— А я так уверен в противном...

Он смутился, покраснел, потом принужденно захохотал.

Капитан взял его под руку и отвел в сторону; они долго шептались. Я приехал в довольно миролюбивом расположении духа, но все это начинало меня бесить.

Ко мне подошел доктор.

— Послушайте, — сказал он с явным беспокойством, — вы, верно, забыли про их заговор?.. Я не умею зарядить пистолета, но в этом случае... Вы странный человек! Скажите им, что вы знаете их намерение, и они не посмеют... Что за охота! подстрелят вас как птицу...

— Пожалуйста, не беспокойтесь, доктор, и погодите... Я все так устрою, что на их стороне не будет никакой выгоды. Дайте им пошептаться...

— Господа, это становится скучно! —сказал я им громко, — драться так драться; вы имели время вчера наговориться...

— Мы готовы, — отвечал капитан. — Становитесь, господа!.. Доктор, извольте отмерить шесть шагов...

— Становитесь! — повторил Иван Игнатьич пискливым голосом.

— Позвольте! — сказал я, — еще одно условие; так как мы будем драться насмерть, то мы обязаны сделать все возможное, чтоб это осталось тайною и чтоб секунданты наши не были в ответственности. Согласны ли вы?..

— Совершенно согласны.

— Итак, вот что я придумал. Видите ли на вершине этой отвесной скалы, направо, узенькую площадку? оттуда до низу будет сажен тридцать, если не больше; внизу острые камни. Каждый из нас станет на самом краю площадки; таким образом даже легкая рана будет смертельна: это должно быть согласно с вашим желанием, потому что вы сами назначили шесть шагов. Тот, кто будет ранен, полетит непременно вниз и разобьется вдребезги; пулю доктор вынет, и тогда можно будет очень легко объяснить эту скоропостижную смерть неудачным прыжком. Мы бросим жребий, кому первому стрелять. Объявляю вам в заключение, что иначе я не буду драться.

— Пожалуй! — сказал капитан, посмотрев выразительно на Грушницкого, который кивнул головой в знак согласия. Лицо его ежеминутно менялось. Я его поставил в затруднительное положение. Стреляясь при обыкновенных условиях, он мог целить мне в ногу, легко меня ранить и удовлетворить таким образом свою месть, не отягощая слишком своей совести; но теперь он должен был выстрелить на воздух, или сделаться убийцей, или, наконец, оставить свой подлый замысел и подвергнуться одинаковой со мною опасности. В эту минуту я не желал бы быть на его месте. Он отвел капитана в сторону и стал говорить ему что-то с большим жаром; я видел, как посиневшие губы его дрожали; но капитан от него отвернулся с презрительной улыбкой. «Ты дурак! — сказал он Грушницкому довольно громко, — ничего не понимаешь! Отправимтесь же, господа!»

Узкая тропинка вела между кустами на крутизну; обломки скал составляли шаткие ступени этой природной лестницы; цепляясь за кусты, мы стали карабкаться. Грушницкий шел впереди, за ним его секунданты, а потом мы с доктором.

— Я вам удивляюсь, — сказал доктор, пожав мне крепко руку. — Дайте пощупать пульс!.. О-го! лихорадочный!.. но на лице ничего не заметно... только глаза у вас блестят ярче обыкновенного.

Вдруг мелкие камни с шумом покатились нам под ноги. Что это? Грушницкий споткнулся; ветка, за которую он уцепился, изломилась, и он скатился бы вниз на спине, если б его секунданты не поддержали.

— Берегитесь! — закричал я ему, — не падайте заранее; это дурная примета. Вспомните Юлия Цезаря!

Вот мы взобрались на вершину выдавшейся скалы; площадка была покрыта мелким песком, будто нарочно для поединка. Кругом, теряясь в золотом тумане утра, теснились вершины гор, как бесчисленное стадо, и Эльборус на юге вставал белою громадой, замыкая цепь льдистых вершин, между которых уж бродили волокнистые облака, набежавшие с востока. Я подошел к краю площадки и посмотрел вниз, голова чуть-чуть у меня не закружилась; там внизу казалось темно и холодно, как в гробе; мшистые зубцы скал, сброшенных грозою и временем, ожидали своей добычи.

Площадка, на которой мы должны были драться, изображала почти правильный треугольник. От выдавшегося угла отмерили шесть шагов и решили, что тот, кому придется первому встретить неприятельский огонь, станет на самом углу спиною к пропасти; если он не будет убит, то противники поменяются местами.

Я решился предоставить все выгоды Грушницкому; я хотел испытать его; в душе его могла проснуться искра великодушия, и тогда все устроилось бы к лучшему; но самолюбие и слабость характера должны были торжествовать... Я хотел дать себе полное право не щадить его, если бы судьба меня помиловала. Кто не заключал таких условий с своею совестью?

— Бросьте жребий, доктор! — сказал капитан.

Доктор вынул из кармана серебряную монету и поднял ее кверху.

— Решетка! — закричал Грушницкий поспешно, как человек, которого вдруг разбудил дружеский толчок.

— Орел! — сказал я.

Монета взвилась и упала звеня; все бросились к ней.

— Вы счастливы, — сказал я Грушницкому, — вам стрелять первому! Но помните, что если вы меня не убьете, то я не промахнусь — даю вам честное слово.

Он покраснел; ему было стыдно убить человека безоружного; я глядел на него пристально; с минуту мне казалось, что он бросится к ногам моим, умоляя о прощении; но как признаться в таком подлом умысле?.. Ему оставалось одно средство — выстрелить на воздух; я был уверен, что он выстрелит на воздух! Одно могло этому помешать: мысль, что я потребую вторичного поединка.

— Пора! — шепнул мне доктор, дергая за рукав, — если вы теперь не скажете, что мы знаем их намерения, то все пропало. Посмотрите, он уж заряжает... если вы ничего не скажете, то я сам...

— Ни за что на свете, доктор! — отвечал я, удерживая его за руку, — вы все испортите; вы мне дали слово не мешать... Какое вам дело? Может быть, я хочу быть убит...

Он посмотрел на меня с удивлением.

— О! это другое!.. только на меня на том свете не жалуйтесь...

Капитан между тем зарядил свои пистолеты, подал один Грушницкому, с улыбкою шепнув ему что-то; другой мне.

Я стал на углу площадки, крепко упершись левой ногою в камень и наклонясь немного наперед, чтобы в случае легкой раны не опрокинуться назад.

Грушницкий стал против меня и по данному знаку начал поднимать пистолет. Колени его дрожали. Он целил мне прямо в лоб...

Неизъяснимое бешенство закипело в груди моей.

Вдруг он опустил дуло пистолета и, побледнев как полотно, повернулся к своему секунданту.

— Не могу, — сказал он глухим голосом.

— Трус! — отвечал капитан.

Выстрел раздался. Пуля оцарапала мне колено. Я невольно сделал несколько шагов вперед, чтоб поскорей удалиться от края.

— Ну, брат Грушницкий, жаль, что промахнулся! — сказал капитан, — теперь твоя очередь, становись! Обними меня прежде: мы уж не увидимся! — Они обнялись; капитан едва мог удержаться от смеха, — не бойся, — прибавил он, хитро взглянув на Грушницкого, — все вздор на свете!.. Натура — дура, судьба — индейка, а жизнь — копейка!

После этой трагической фразы, сказанной с приличною важностью, он отошел на свое место; Иван Игнатьич со слезами обнял также Грушницкого, и вот он остался один против меня. Я до сих пор стараюсь объяснить себе, какого рода чувство кипело тогда в груди моей: то было и досада оскорбленного самолюбия, и презрение, и злоба, рождавшаяся при мысли, что этот человек, теперь с такою уверенностью, с такой спокойной дерзостью на меня глядящий, две минуты тому назад, не подвергая себя никакой опасности, хотел меня убить как собаку, ибо раненный в ногу немного сильнее, я бы непременно свалился с утеса.

Я несколько минут смотрел ему пристально в лицо, стараясь заметить хоть легкий след раскаяния. Но мне показалось, что он удерживал улыбку.

— Я вам советую перед смертью помолиться богу, — сказал я ему тогда.

— Не заботьтесь о моей душе больше, чем о своей собственной. Об одном вас прошу: стреляйте скорее.

— И вы не отказываетесь от своей клеветы? не просите у меня прощения?.. Подумайте хорошенько: не говорит ли вам чего-нибудь совесть?

— Господин Печорин! — закричал драгунский капитан, — вы здесь не для того, чтоб исповедовать, позвольте вам заметить... Кончимте скорее; неравно кто-нибудь проедет по ущелью — и нас увидят.

— Хорошо. Доктор, подойдите ко мне.

Доктор подошел. Бедный доктор! он был бледнее, чем Грушницкий десять минут тому назад.

Следующие слова я произнес нарочно с расстановкой, громко и внятно, как произносят смертный приговор:

— Доктор, эти господа, вероятно второпях, забыли положить пулю в мой пистолет: прошу вас зарядить его снова, — и хорошенько!

— Не может быть! — кричал капитан, — не может быть! я зарядил оба пистолета; разве что из вашего пуля выкатилась... Это не моя вина! А вы не имеете права переряжать... никакого права... это совершенно против правил; я не позволю...

— Хорошо! — сказал я капитану, — если так, то мы будем с вами стреляться на тех же условиях...

Он замялся.

Грушницкий стоял, опустив голову на грудь, смущенный и мрачный.

— Оставь их! — сказал он, наконец, капитану, который хотел вырвать пистолет мой из рук доктора... — Ведь ты сам знаешь, что они правы.

Напрасно капитан делал ему разные знаки, — Грушницкий не хотел и смотреть.

Между тем доктор зарядил пистолет и подал мне.

Увидев это, капитан плюнул и топнул ногой.

— Дурак же ты, братец, — сказал он, — пошлый дурак!.. Уж положился на меня, так слушайся во всем... Поделом же тебе! околевай себе как муха... — Он отвернулся и, отходя, пробормотал: — А все-таки это совершенно противу правил.

— Грушницкий! — сказал я, — еще есть время; откажись от своей клеветы, и я тебе прощу все. Тебе не удалось меня подурачить, и мое самолюбие удовлетворено; вспомни — мы были когда-то друзьями...

Лицо у него вспыхнуло, глаза засверкали.

— Стреляйте! — отвечал он, — я себя презираю, а вас ненавижу. Если вы меня не убьете, я вас зарежу ночью из-за угла. Нам на земле вдвоем нет места...

Я выстрелил...

Когда дым рассеялся, Грушницкого на площадке не было. Только прах легким столбом еще вился на краю обрыва.

Все в один голос вскрикнули.

— Finita la comedia! [1] — сказал я доктору.

---

[1] Комедия окончена! (*итал.*)

Он не отвечал и с ужасом отвернулся.

Я пожал плечами и раскланялся с секундантами Грушницкого.

Спускаясь по тропинке вниз, я заметил между расселинами скал окровавленный труп Грушницкого. Я невольно закрыл глаза...

Отвязав лошадь, я шагом пустился домой. У меня на сердце был камень. Солнце казалось мне тускло, лучи его меня не грели.

Не доезжая слободки, я повернул направо по ущелью. Вид человека был бы мне тягостен: я хотел быть один. Бросив поводья, опустив голову на грудь, я ехал долго, наконец очутился в месте, мне вовсе не знакомом; я повернул коня назад и стал отыскивать дорогу; уж солнце садилось, когда я подъехал к Кисловодску, измученный на измученной лошади.

Лакей мой сказал мне, что заходил Вернер, и подал мне две записки: одну от него, другую... от Веры.

Я распечатал первую, она была следующего содержания:

«Все устроено как можно лучше: тело привезено обезображенное, пуля из груди вынута. Все уверены, что причиною его смерти несчастный случай; только комендант, которому, вероятно, известна ваша ссора, покачал головой, но ничего не сказал. Доказательств против вас нет никаких, и вы можете спать спокойно... если можете... Прощайте...»

Я долго не решался открыть вторую записку... Что могла она мне писать?.. Тяжелое предчувствие волновало мою душу.

Вот оно, это письмо, которого каждое слово неизгладимо врезалось в моей памяти:

«Я пишу к тебе в полной уверенности, что мы никогда более не увидимся. Несколько лет тому назад, расставаясь с тобою, я думала то же самое; но небу было угодно испытать меня вторично; я не вынесла этого испытания, мое слабое сердце покорилось снова знакомому голосу... ты не будешь презирать меня за это, не правда ли? Это письмо будет вместе прощаньем и исповедью: я обязана сказать тебе все, что накопилось на моем сердце с тех пор, как оно

тебя любит. Я не стану обвинять тебя — ты поступил со мною, как поступил бы всякий другой мужчина: ты любил меня как собственность, как источник радостей, тревог и печалей, сменявшихся взаимно, без которых жизнь скучна и однообразна. Я это поняла сначала... Но ты был несчастлив, и я пожертвовала собою, надеясь, что когда-нибудь ты оценишь мою жертву, что когда-нибудь ты поймешь мою глубокую нежность, не зависящую ни от каких условий. Прошло с тех пор много времени: я проникла во все тайны души твоей... и убедилась, что то́ была надежда напрасная. Горько мне было! Но моя любовь срослась с душой моей: она потемнела, но не угасла.

Мы расстаемся навеки; однако ты можешь быть уверен, что я никогда не буду любить другого: моя душа истощила на тебя все свои сокровища, свои слезы и надежды. Любившая раз тебя не может смотреть без некоторого презрения на прочих мужчин, не потому, чтоб ты был лучше их, о нет! но в твоей природе есть что-то особенное, тебе одному свойственное, что-то гордое и таинственное; в твоем голосе, что бы ты ни говорил, есть власть непобедимая; никто не умеет так постоянно хотеть быть любимым; ни в ком зло не бывает так привлекательно; ничей взор не обещает столько блаженства; никто не умеет лучше пользоваться своими преимуществами и никто не может быть так истинно несчастлив, как ты, потому что никто столько не старается уверить себя в противном.

Теперь я должна тебе объяснить причину моего поспешного отъезда; она тебе покажется маловажна, потому что касается до одной меня.

Нынче поутру мой муж вошел ко мне и рассказал про твою ссору с Грушницким. Видно, я очень переменилась в лице, потому что он долго и пристально смотрел мне в глаза; я едва не упала без памяти при мысли, что ты нынче должен драться и что я этому причиной; мне казалось, что я сойду с ума... Но теперь, когда я могу рассуждать, я уверена, что ты останешься жив: невозможно, чтоб ты умер без меня, невозможно! Мой муж долго ходил по комнате; я не

знаю, что он мне говорил, не помню, что я ему отвечала... верно, я ему сказала, что я тебя люблю... Помню только, что под конец нашего разговора он оскорбил меня ужасным словом и вышел. Я слышала, как он велел закладывать карету... Вот уж три часа, как я сижу у окна и жду твоего возврата... Но ты жив, ты не можешь умереть!.. Карета почти готова... Прощай, прощай... Я погибла, — но что за нужда?.. Если б я могла быть уверена, что ты всегда меня будешь помнить, — не говорю уж любить, — нет, только помнить... Прощай; идут... я должна спрятать письмо...

Не правда ли, ты не любишь Мери? ты не женишься на ней? Послушай, ты должен мне принести эту жертву: я для тебя потеряла все на свете...»

Я как безумный выскочил на крыльцо, прыгнул на своего Черкеса, которого водили по двору, и пустился во весь дух, по дороге в Пятигорск. Я беспощадно погонял измученного коня, который, храпя и весь в пене, мчал меня по каменистой дороге.

Солнце уже спряталось в черной туче, отдыхавшей на хребте западных гор; в ущелье стало темно и сыро. Подкумок, пробираясь по камням, ревел глухо и однообразно. Я скакал, задыхаясь от нетерпенья. Мысль не застать ее в Пятигорске молотком ударяла мне в сердце. Одну минуту, еще одну минуту видеть ее, проститься, пожать ее руку... Я молился, проклинал, плакал, смеялся... нет, ничто не выразит моего беспокойства, отчаяния!.. При возможности потерять ее навеки Вера стала для меня дороже всего на свете — дороже жизни, чести, счастья! Бог знает какие странные, какие бешеные замыслы роились в голове моей... И между тем я все скакал, погоняя беспощадно. И вот, я стал замечать, что конь мой тяжелее дышит; он раза два уж споткнулся на ровном месте... Оставалось пять верст до Ессентуков — казачьей станицы, где я мог пересесть на другую лошадь.

Все было бы спасено, если б у моего коня достало сил еще на десять минут. Но вдруг, поднимаясь из небольшого оврага, при выезде из гор, на крутом повороте, он грянулся о землю. Я проворно соскочил,

хочу поднять его, дергаю за повод — напрасно: едва слышный стон вырвался сквозь стиснутые его зубы; чрез несколько минут он издох; я остался в степи один, потеряв последнюю надежду; попробовал идти пешком — ноги мои подкосились; изнуренный тревогами дня и бессонницей, я упал на мокрую траву и как ребенок заплакал.

И долго я лежал неподвижно и плакал горько, не стараясь удерживать слез и рыданий; я думал, грудь моя разорвется; вся моя твердость, все мое хладнокровие исчезли как дым; душа обессилела, рассудок замолк, и если б в эту минуту кто-нибудь меня увидел, он бы с презрением отвернулся.

Когда ночная роса и горный ветер освежили мою горящую голову и мысли пришли в обычный порядок, то я понял, что гнаться за погибшим счастием бесполезно и безрассудно. Чего мне еще надобно? — ее видеть? — зачем? не все ли кончено между нами? Один горький прощальный поцелуй не обогатит моих воспоминаний, а после него нам только труднее будет расставаться.

Мне, однако, приятно, что я могу плакать! Впрочем, может быть, этому причиной расстроенные нервы, ночь, проведенная без сна, две минуты против дула пистолета и пустой желудок.

Все к лучшему! это новое страдание, говоря военным слогом, сделало во мне счастливую диверсию. Плакать здорово, и потом, вероятно, если б я не проехался верхом и не был принужден на обратном пути пройти пятнадцать верст, то и эту ночь сон не сомкнул бы глаз моих.

Я возвратился в Кисловодск в пять часов утра, бросился на постель и заснул сном Наполеона после Ватерлоо.

Когда я проснулся, на дворе уж было темно. Я сел у отворенного окна, расстегнул архалук, — и горный ветер освежил грудь мою, еще не успокоенную тяжелым сном усталости. Вдали за рекою, сквозь верхи густых лип, ее осеняющих, мелькали огни в строеньях крепости и слободки. На дворе у нас все было тихо, в доме княгини было темно.

Вошел доктор: лоб у него был нахмурен; он против обыкновения не протянул мне руки.

— Откуда вы, доктор?

— От княгини Лиговской; дочь ее больна — расслабление нервов... Да не в этом дело, а вот что: начальство догадывается, и хотя ничего нельзя доказать положительно, однако я вам советую быть осторожнее. Княгиня мне говорила нынче, что она знает, что вы стрелялись за ее дочь. Ей все этот старичок рассказал... как бишь его? Он был свидетелем вашей стычки с Грушницким в ресторации. Я пришел вас предупредить. Прощайте. Может быть, мы больше не увидимся: вас ушлют куда-нибудь.

Он на пороге остановился: ему хотелось пожать мне руку... и если б я показал ему малейшее на это желание, то он бросился бы мне на шею; но я остался холоден, как камень, — и он вышел.

Вот люди! все они таковы: знают заранее все дурные стороны поступка, помогают, советуют, даже одобряют его, видя невозможность другого средства, а потом умывают руки и отворачиваются с негодованием от того, кто имел смелость взять на себя всю тягость ответственности. Все они таковы, даже самые добрые, самые умные!..

На другой день утром, получив приказание от высшего начальства отправиться в крепость N., я зашел к княгине проститься.

Она была удивлена, когда на вопрос ее: имею ли я ей сказать что-нибудь особенно важное? — я отвечал, что желаю ей быть счастливой и прочее.

— А мне нужно с вами поговорить очень серьезно.

Я сел молча.

Явно было, что она не знала, с чего начать; лицо ее побагровело, пухлые ее пальцы стучали по столу; наконец, она начала так, прерывистым голосом:

— Послушайте, мсье Печорин; я думаю, что вы благородный человек.

Я поклонился.

— Я даже в этом уверена, — продолжала она, — хотя ваше поведение несколько сомнительно; но у вас могут быть причины, которых я не знаю, и их-то вы

должны теперь мне поверить. Вы защитили дочь мою от клеветы, стрелялись за нее, — следственно, рисковали жизнью... Не отвечайте, я знаю, что вы в этом не признаетесь, потому что Грушницкий убит (она перекрестилась). Бог ему простит — и, надеюсь, вам также!.. Это до меня не касается, я не смею осуждать вас, потому что дочь моя хотя невинно, но была этому причиной. Она мне все сказала... я думаю, все: вы изъяснялись ей в любви... она вам призналась в своей (тут княгиня тяжело вздохнула). Но она больна, и я уверена, что это не простая болезнь! Печаль тайная ее убивает; она не признается, но я уверена, что вы этому причиной... Послушайте: вы, может быть, думаете, что я ищу чинов, огромного богатства, — разуверьтесь: я хочу только счастья дочери. Ваше теперешнее положение незавидно, но оно может поправиться: вы имеете состояние; вас любит дочь моя, она воспитана так, что составит счастие мужа. Я богата, она у меня одна... Говорите, что вас удерживает?.. Видите, я не должна бы была вам всего этого говорить, но я полагаюсь на ваше сердце, на вашу честь; вспомните, у меня одна дочь... одна...

Она заплакала.

— Княгиня, — сказал я, — мне невозможно отвечать вам; позвольте мне поговорить с вашей дочерью наедине...

— Никогда! — воскликнула она, встав со стула в сильном волнении.

— Как хотите, — отвечал я, приготовляясь уйти.

Она задумалась, сделала мне знак рукою, чтоб я подождал, и вышла.

Прошло минут пять; сердце мое сильно билось, но мысли были спокойны, голова холодна; как я ни искал в груди моей хоть искры любви к милой Мери, но старания мои были напрасны.

Вот дверь отворилась, и вошла она. Боже! как переменилась с тех пор, как я не видал ее, — а давно ли?

Дойдя до середины комнаты, она пошатнулась; я вскочил, подал ей руку и довел ее до кресел.

Я стоял против нее. Мы долго молчали; ее большие глаза, исполненные неизъяснимой грусти, казалось, искали в моих что-нибудь похожее на надежду; ее бледные губы напрасно старались улыбнуться; ее нежные руки, сложенные на коленях, были так худы и прозрачны, что мне стало жаль ее.

— Княжна, — сказал я, — вы знаете, что я над вами смеялся?.. Вы должны презирать меня.

На ее щеках показался болезненный румянец.

Я продолжал:

— Следственно, вы меня любить не можете...

Она отвернулась, облокотилась на стол, закрыла глаза рукою, и мне показалось, что в них блеснули слезы.

— Боже мой! — произнесла она едва внятно.

Это становилось невыносимо: еще минута, и я бы упал к ногам ее.

— Итак, вы сами видите, — сказал я сколько мог твердым голосом и с принужденной усмешкою, — вы сами видите, что я не могу на вас жениться. Если б вы даже этого теперь хотели, то скоро бы раскаялись. Мой разговор с вашей матушкой принудил меня объясниться с вами так откровенно и так грубо; я надеюсь, что она в заблуждении: вам легко ее разуверить. Вы видите, я играю в ваших глазах самую жалкую и гадкую роль, и даже в этом признаюсь; вот все, что я могу для вас сделать. Какое бы вы дурное мнение обо мне ни имели, я ему покоряюсь... Видите ли, я перед вами низок... Не правда ли, если даже вы меня и любили, то с этой минуты презираете?..

Она обернулась ко мне бледная, как мрамор, только глаза ее чудесно сверкали.

— Я вас ненавижу... — сказала она.

Я поблагодарил, поклонился почтительно и вышел.

Через час курьерская тройка мчала меня из Кисловодска. За несколько верст от Ессентуков я узнал близ дороги труп моего лихого коня; седло было снято — вероятно, проезжим казаком, — и вместо седла на спине его сидели два ворона. Я вздохнул и отвернулся...

И теперь, здесь, в этой скучной крепости, я часто, пробегая мыслию прошедшее, спрашиваю себя: отчего я не хотел ступить на этот путь, открытый мне судьбою, где меня ожидали тихие радости и спокойствие душевное?.. Нет, я бы не ужился с этой долею! Я, как матрос, рожденный и выросший на палубе разбойничьего брига: его душа сжилась с бурями и битвами, и, выброшенный на берег, он скучает и томится, как ни мани его тенистая роща, как ни свети ему мирное солнце; он ходит себе целый день по прибрежному песку, прислушивается к однообразному ропоту набегающих волн и всматривается в туманную даль: не мелькнет ли там на бледной черте, отделяющей синюю пучину от серых тучек, желанный парус, сначала подобный крылу морской чайки, но мало-помалу отделяющийся от пены валунов и ровным бегом приближающийся к пустынной пристани...

III

ФАТАЛИСТ

Мне как-то раз случилось прожить две недели в казачьей станице на левом фланге; тут же стоял батальон пехоты; офицеры собирались друг у друга поочередно, по вечерам играли в карты.

Однажды, наскучив бостоном и бросив карты под стол, мы засиделись у майора С*** очень долго; разговор, против обыкновения, был занимателен. Рассуждали о том, что мусульманское поверье, будто судьба человека написана на небесах, находит и между нами, христианами, многих поклонников; каждый рассказывал разные необыкновенные случаи pro [1] или contra [2].

— Все это, господа, ничего не доказывает, — сказал старый майор, — ведь никто из вас не был свидетелем тех странных случаев, которыми вы подтверждаете свои мнения?

---

[1] за (*лат.*).
[2] против (*лат.*).

— Конечно, никто, — сказали многие, — но мы слышали от верных людей...

— Все это вздор! — сказал кто-то, — где эти верные люди, видевшие список, на котором назначен час нашей смерти?.. И если точно есть предопределение, то зачем же нам дана воля, рассудок? почему мы должны давать отчет в наших поступках?

В это время один офицер, сидевший в углу комнаты, встал и, медленно подойдя к столу, окинул всех спокойным и торжественным взглядом. Он был родом серб, как видно было из его имени.

Наружность поручика Вулича отвечала вполне его характеру. Высокий рост и смуглый цвет лица, черные волосы, черные проницательные глаза, большой, но правильный нос, принадлежность его нации, печальная и холодная улыбка, вечно блуждавшая на губах его, — все это будто согласовалось для того, чтобы придать ему вид существа особенного, не способного делиться мыслями и страстями с теми, которых судьба дала ему в товарищи.

Он был храбр, говорил мало, но резко; никому не поверял своих душевных и семейных тайн; вина почти вовсе не пил, за молодыми казачками, — которых прелесть трудно постигнуть, не видав их, — он никогда не волочился. Говорили, однако, что жена полковника была неравнодушна к его выразительным глазам; но он не шутя сердился, когда об этом намекали.

Была только одна страсть, которой он не таил, — страсть к игре. За зеленым столом он забывал все и обыкновенно проигрывал; но постоянные неудачи только раздражали его упрямство. Рассказывали, что раз, во время экспедиции, ночью, он на подушке метал банк, ему ужасно везло. Вдруг раздались выстрелы, ударили тревогу, все вскочили и бросились к оружию. «Поставь ва-банк!» — кричал Вулич, не подымаясь, одному из самых горячих понтеров. «Идет семерка», — отвечал тот, убегая. Несмотря на всеобщую суматоху, Вулич докинул талью; карта была дана.

Когда он явился в цепь, там была уж сильная перестрелка. Вулич не заботился ни о пулях, ни о

шашках чеченских: он отыскивал своего счастливого понтера.

— Семерка дана! — закричал он, увидев его, наконец, в цепи застрельщиков, которые начинали вытеснять из леса неприятеля, и, подойдя ближе, он вынул свой кошелек и бумажник и отдал их счастливцу, несмотря на возражения о неуместности платежа. Исполнив этот неприятный долг, он бросился вперед, увлек за собою солдат и до самого конца дела прехладнокровно перестреливался с чеченцами.

Когда поручик Вулич подошел к столу, то все замолчали, ожидая от него какой-нибудь оригинальной выходки.

— Господа! — сказал он (голос его был спокоен, хотя тоном ниже обыкновенного), — господа! к чему пустые споры? Вы хотите доказательств: я вам предлагаю испробовать на себе, может ли человек своевольно располагать своею жизнью, или каждому из нас заранее назначена роковая минута... Кому угодно?

— Не мне, не мне! — раздалось со всех сторон, — вот чудак! придет же в голову!..

— Предлагаю пари, — сказал я шутя.

— Какое?

— Утверждаю, что нет предопределения, — сказал я, высыпая на стол десятка два червонцев — все, что было у меня в кармане.

— Держу, — отвечал Вулич глухим голосом. — Майор, вы будете судьею; вот пятнадцать червонцев: остальные пять вы мне должны, и сделаете мне дружбу, прибавить их к этим.

— Хорошо, — сказал майор, — только не понимаю, право, в чем дело, и как вы решите спор?..

Вулич молча вышел в спальню майора; мы за ним последовали. Он подошел к стене, на которой висело оружие, и наудачу снял с гвоздя один из разнокалиберных пистолетов. Мы еще его не понимали; но когда он взвел курок и насыпал на полку пороха, то многие, невольно вскрикнув, схватили его за руки.

— Что ты хочешь делать? Послушай, это сумасшествие! — закричали ему.

— Господа! — сказал он медленно, освобождая свои руки, — кому угодно заплатить за меня двадцать червонцев?

Все замолчали и отошли.

Вулич вышел в другую комнату и сел у стола; все последовали за ним. Он зна́ком пригласил нас сесть кругом. Молча повиновались ему: в эту минуту он приобрел над нами какую-то таинственную власть. Я пристально посмотрел ему в глаза; но он спокойным и неподвижным взором встретил мой испытующий взгляд, и бледные губы его улыбнулись; но, несмотря на его хладнокровие, мне казалось, я читал печать смерти на бледном лице его. Я замечал, и многие старые воины подтверждали мое замечание, что часто на лице человека, который должен умереть через несколько часов, есть какой-то странный отпечаток неизбежной судьбы, так что привычным глазам трудно ошибиться.

— Вы нынче умрете! — сказал я ему. Он быстро ко мне обернулся, но отвечал медленно и спокойно:

— Может быть, да, может быть, нет...

Потом, обратясь к майору, спросил: заряжен ли пистолет? Майор в замешательстве не помнил хорошенько.

— Да полно, Вулич! — закричал кто-то, — уж, верно, заряжен, коли в головах висел; что за охота шутить!..

— Глупая шутка! — подхватил другой.

— Держу пятьдесят рублей против пяти, что пистолет не заряжен! — закричал третий.

Составилось новое пари.

Мне надоела эта длинная церемония.

— Послушайте,—сказал я, — или застрелитесь, или повесьте пистолет на прежнее место, и пойдемте спать.

— Разумеется, — воскликнули многие, — пойдемте спать.

— Господа, я вас прошу не трогаться с места! — сказал Вулич, приставив дуло пистолета ко лбу. Все будто окаменели.

— Господин Печорин, — прибавил он, — возьмите карту и бросьте вверх.

Я взял со стола, как теперь помню, червонного туза и бросил кверху: дыхание у всех остановилось; все глаза, выражая страх и какое-то неопределенное любопытство, бегали от пистолета к роковому тузу, который, трепеща на воздухе, опускался медленно; в ту минуту, как он коснулся стола, Вулич спустил курок... осечка!

— Слава богу! — вскрикнули многие, — не заряжен...

— Посмотрим, однако ж, — сказал Вулич. Он взвел опять курок, прицелился в фуражку, висевшую над окном; выстрел раздался — дым наполнил комнату; когда он рассеялся, сняли фуражку: она была пробита в самой середине, и пуля глубоко засела в стене.

Минуты три никто не мог слова вымолвить; Вулич преспокойно пересыпал в свой кошелек мои червонцы.

Пошли толки о том, отчего пистолет в первый раз не выстрелил; иные утверждали, что, вероятно, полка была засорена, другие говорили шепотом, что прежде порох был сырой и что после Вулич присыпал свежего; но я утверждал, что последнее предположение несправедливо, потому что я во все время не спускал глаз с пистолета.

— Вы счастливы в игре! — сказал я Вуличу...

— В первый раз отроду, — отвечал он, самодовольно улыбаясь, — это лучше банка и штосса.

— Зато немножко опаснее.

— А что? вы начали верить предопределению?

— Верю; только не понимаю теперь, отчего мне казалось, будто вы непременно должны нынче умереть...

Этот же человек, который так недавно метил себе преспокойно в лоб, теперь вдруг вспыхнул и смутился.

— Однако ж довольно! — сказал он, вставая, — пари наше кончилось, и теперь ваши замечания, мне кажется, неуместны... — Он взял шапку и ушел. Это мне показалось странным — и недаром.

Скоро все разошлись по домам, различно толкуя о причудах Вулича и, вероятно, в один голос называя меня эгоистом, потому что я держал пари против че-

ловека, который хотел застрелиться; как будто он без меня не мог найти удобного случая!..

Я возвращался домой пустыми переулками станицы; месяц, полный и красный, как зарево пожара, начал показываться из-за зубчатого горизонта домов; звезды спокойно сияли на темно-голубом своде, и мне стало смешно, когда я вспомнил, что были некогда люди премудрые, думавшие, что светила небесные принимают участие в наших ничтожных спорах за клочок земли или за какие-нибудь вымышленные права. И что ж? эти лампады, зажженные, по их мнению, только для того, чтоб освещать их битвы и торжества, горят с прежним блеском, а их страсти и надежды давно угасли вместе с ними, как огонек, зажженный на краю леса беспечным странником! Но зато какую силу воли придавала им уверенность, что целое небо с своими бесчисленными жителями, на них смотрит с участием, хотя немым, но неизменным!.. А мы, их жалкие потомки, скитающиеся по земле без убеждений и гордости, без наслаждения и страха, кроме той невольной боязни, сжимающей сердце при мысли о неизбежном конце, мы не способны более к великим жертвам ни для блага человечества, ни даже для собственного нашего счастия, потому что знаем его невозможность и равнодушно переходим от сомнения к сомнению, как наши предки бросались от одного заблуждения к другому, не имея, как они, ни надежды, ни даже того неопределенного, хотя и сильного наслаждения, которое встречает душа во всякой борьбе с людьми или с судьбою...

И много других подобных дум проходило в уме моем; я их не удерживал, потому что не люблю останавливаться на какой-нибудь отвлеченной мысли; и к чему это ведет?.. В первой молодости моей я был мечтателем; я любил ласкать попеременно то мрачные, то радужные образы, которые рисовало мне беспокойное и жадное воображение. Но что от этого мне осталось? одна усталость, как после ночной битвы с привидением, и смутное воспоминание, исполненное сожалений. В этой напрасной борьбе я истощил и жар души и постоянство воли, необходимое для

действительной жизни; я вступил в эту жизнь, пережив ее уже мысленно, и мне стало скучно и гадко, как тому, кто читает дурное подражание давно ему известной книге.

Происшествие этого вечера произвело на меня довольно глубокое впечатление и раздражило мои нервы. Не знаю наверное, верю ли я теперь предопределению, или нет, но в этот вечер я ему твердо верил: доказательство было разительно, и я, несмотря на то, что посмеялся над нашими предками и их услужливой астрологией, попал невольно в их колею; но я остановил себя вовремя на этом опасном пути и, имея правило ничего не отвергать решительно и ничему не вверяться слепо, отбросил метафизику в сторону и стал смотреть под ноги. Такая предосторожность была очень кстати: я чуть-чуть не упал, наткнувшись на что-то толстое и мягкое, но, по-видимому, неживое. Наклоняюсь — месяц уж светил прямо на дорогу — и что же? передо мною лежала свинья, разрубленная пополам шашкой... Едва я успел ее рассмотреть, как услышал шум шагов: два казака бежали из переулка; один подошел ко мне и спросил: не видал ли я пьяного казака, который гнался за свиньей. Я объявил им, что не встречал казака, и указал на несчастную жертву его неистовой храбрости.

— Экой разбойник! — сказал второй казак, — как напьется чихиря, так и пошел крошить все, что ни попало. Пойдем за ним, Еремеич, надо его связать, а то...

Они удалились, а я продолжал свой путь с большей осторожностью и, наконец, счастливо добрался до своей квартиры.

Я жил у одного старого урядника, которого любил за добрый его нрав, а особенно за хорошенькую дочку Настю.

Она, по обыкновению, дожидалась меня у калитки, завернувшись в шубку; луна освещала ее милые губки, посиневшие от ночного холода. Узнав меня, она улыбнулась, но мне было не до нее. «Прощай, Настя», — сказал я, проходя мимо. Она хотела что-то отвечать, но только вздохнула.

Я затворил за собою дверь моей комнаты, засветил свечу и бросился на постель; только сон на этот раз заставил себя ждать более обыкновенного. Уж восток начинал бледнеть, когда я заснул, но — видно, было написано на небесах, что в эту ночь я не высплюсь. В четыре часа утра два кулака застучали ко мне в окно. Я вскочил: что такое?.. «Вставай, одевайся!» — кричало мне несколько голосов. Я наскоро оделся и вышел. «Знаешь, что случилось?» — сказали мне в один голос три офицера, пришедшие за мною; они были бледны как смерть.

— Что?

— Вулич убит.

Я остолбенел.

— Да, убит! — продолжали они, — пойдем скорее.

— Да куда же?

— Дорогой узнаешь.

Мы пошли. Они рассказали мне все, что случилось, с примесью разных замечаний насчет странного предопределения, которое спасло его от неминуемой смерти за полчаса до смерти. Вулич шел один по темной улице; на него наскочил пьяный казак, изрубивший свинью, и, может быть, прошел бы мимо, не заметив его, если б Вулич, вдруг остановясь, не сказал: «Кого ты, братец, ищешь?» — *«Тебя!»* — отвечал казак, ударив его шашкой, и разрубил его от плеча почти до сердца... Два казака, встретившие меня и следившие за убийцей, подоспели, подняли раненого, но он был уже при последнем издыхании и сказал только два слова: «Он прав!» Я один понимал темное значение этих слов: они относились ко мне; я предсказал невольно бедному его судьбу; мой инстинкт не обманул меня: я точно прочел на его изменившемся лице печать близкой кончины.

Убийца заперся в пустой хате, на конце станицы: мы шли туда. Множество женщин бежало с плачем в ту же сторону; по временам опоздавший казак выскакивал на улицу, второпях пристегивая кинжал, и бегом опережал нас. Суматоха была страшная.

Вот, наконец, мы пришли; смотрим: вокруг хаты, которой двери и ставни заперты изнутри, стоит толпа.

Офицеры и казаки толкуют горячо между собою; женщины воют, приговаривая и причитывая. Среди их бросилось мне в глаза значительное лицо старухи, выражавшее безумное отчаяние. Она сидела на толстом бревне, облокотясь на свои колени и поддерживая голову руками: то была мать убийцы. Ее губы по временам шевелились: молитву они шептали или проклятие?

Между тем надо было на что-нибудь решиться и схватить преступника. Никто, однако, не отваживался броситься первый.

Я подошел к окну и посмотрел в щель ставня: бледный, он лежал на полу, держа в правой руке пистолет; окровавленная шашка лежала возле него. Выразительные глаза его страшно вращались кругом; порою он вздрагивал и хватал себя за голову, как будто неясно припоминая вчерашнее. Я не прочел большой решимости в этом беспокойном взгляде и сказал майору, что напрасно он не велит выломать дверь и броситься туда казакам, потому что лучше это сделать теперь, нежели после, когда он совсем опомнится.

В это время старый есаул подошел к двери и назвал его по имени; тот откликнулся.

— Согрешил, брат Ефимыч, — сказал есаул, —так уж нечего делать, покорись!

— Не покорюсь! — отвечал казак.

— Побойся бога! Ведь ты не чеченец окаянный, а честный христианин. Ну, уж коли грех твой тебя попутал, нечего делать: своей судьбы не минуешь!

— Не покорюсь! — закричал казак грозно, и слышно было, как щелкнул взведенный курок.

— Эй, тетка! — сказал есаул старухе, — поговори сыну, авось тебя послушает... Ведь это только бога гневить. Да посмотри, вот и господа уж два часа дожидаются.

Старуха посмотрела на него пристально и покачала головой.

— Василий Петрович, — сказал есаул, подойдя к майору, — он не сдастся — я его знаю; а если дверь разломать, то много наших перебьет. Не прикажете

ли лучше его пристрелить? в ставне щель широкая.

В эту минуту у меня в голове промелькнула странная мысль: подобно Вуличу, я вздумал испытать судьбу.

— Погодите, — сказал я майору, — я его возьму живого.

Велев есаулу завести с ним разговор и поставив у дверей трех казаков, готовых ее выбить и броситься мне на помощь при данном знаке, я обошел хату и приблизился к роковому окну: сердце мое сильно билось.

— Ах ты окаянный! — кричал есаул, — что ты, над нами смеешься, что ли? али думаешь, что мы с тобой не совладаем? — Он стал стучать в дверь изо всей силы; я, приложив глаз к щели, следил за движениями казака, не ожидавшего с этой стороны нападения, — и вдруг оторвал ставень и бросился в окно головой вниз. Выстрел раздался у меня над самым ухом, пуля сорвала эполет. Но дым, наполнивший комнату, помешал моему противнику найти шашку, лежавшую возле него. Я схватил его за руки, казаки ворвались, и не прошло трех минут, как преступник был уже связан и отведен под конвоем. Народ разошелся, офицеры меня поздравляли — и точно, было с чем.

После всего этого как бы, кажется, не сделаться фаталистом? Но кто знает наверное, убежден ли он в чем, или нет?.. И как часто мы принимаем за убеждение обман чувств или промах рассудка!.. Я люблю сомневаться во всем: это расположение ума не мешает решительности характера; напротив, что до меня касается, то я всегда смелее иду вперед, когда не знаю, что меня ожидает. Ведь хуже смерти ничего не случится — а смерти не минуешь!

Возвратясь в крепость, я рассказал Максиму Максимычу все, что случилось со мною и чему был я свидетель, и пожелал узнать его мнение насчет предопределения. Он сначала не понимал этого слова, но я объяснил его как мог, и тогда он сказал, значительно покачав головою:

— Да-с, конечно-с! Это штука довольно мудреная!.. Впрочем, эти азиатские курки часто осекаются, если дурно смазаны или недовольно крепко прижмешь пальцем. Признаюсь, не люблю я также винтовок черкесских; они как-то нашему брату неприличны: приклад маленький — того и гляди нос обожжет... Зато уж шашки у них — просто мое почтение!

Потом он примолвил, несколько подумав:

— Да, жаль беднягу... Черт же его дернул ночью с пьяным разговаривать!.. Впрочем, видно, уж так у него на роду было написано!..

Больше я от него ничего не мог добиться: он вообще не любит метафизических прений.

Конец

КАВКАЗЕЦ

Во-первых, что такое именно кавказец и какие бывают кавказцы?

Кавказец есть существо полурусское, полуазиатское; наклонность к обычаям восточным берет над ним перевес, но он стыдится ее при посторонних, то есть при заезжих из России. Ему большею частью от тридцати до сорока пяти лет; лицо у него загорелое и немного рябоватое; если он не штабс-капитан, то уж верно майор. Настоящих кавказцев вы находите на Линии; за горами, в Грузии, они имеют другой оттенок; статские кавказцы редки: они большею частию неловкое подражание, и если вы между ними встретите *настоящего,* то разве только между полковых медиков.

Настоящий кавказец человек удивительный, достойный всякого уважения и участия. До восемнадцати лет он воспитывался в кадетском корпусе и вышел оттуда отличным офицером; он потихоньку в классах читал «Кавказского пленника» и воспламенился страстью к Кавказу. Он с десятью товарищами был отправлен туда на казенный счет с большими надеждами и маленьким чемоданом. Он еще в Петербурге сшил себе ахалук, достал мохнатую шапку и черкесскую плеть на ямщика. Приехав в Ставрополь, он дорого заплатил за дрянной кинжал и первые дни, пока не надоело, не снимал его ни днем, ни ночью. Наконец,

он явился в свой полк, который расположен на зиму в какой-нибудь станице, тут влюбился, как следует, в казачку, пока, до экспедиции; все прекрасно! сколько поэзии! Вот пошли в экспедицию; наш юноша кидался всюду, где только провизжала одна пуля. Он думает поймать руками десятка два горцев, ему снятся страшные битвы, реки крови и генеральские эполеты. Он во сне совершает рыцарские подвиги — мечта, вздор, неприятеля не видать, схватки редки, и, к его великой печали, горцы не выдерживают штыков, в плен не сдаются, тела свои уносят. Между тем жары изнурительны летом, а осенью слякоть и холода. Скучно! промелькнуло пять, шесть лет: все одно и то же. Он приобретает опытность, становится холодно-храбр и смеется над новичками, которые подставляют лоб без нужды.

Между тем хотя грудь его увешана крестами, а чины нейдут. Он стал мрачен и молчалив; сидит себе да покуривает из маленькой трубочки; он также на свободе читает Марлинского и говорит, что очень хорошо; в экспедицию он больше не напрашивается: старая рана болит! Казачки его не прельщают, он одно время мечтал о пленной черкешенке, но теперь забыл и эту почти несбыточную мечту. Зато у него явилась новая страсть, и тут-то он делается настоящим кавказцем.

Эта страсть родилась вот каким образом: последнее время он подружился с одним мирным черкесом, стал ездить к нему в аул. Чуждый утонченностей светской и городской жизни, он полюбил жизнь простую и дикую; не зная истории России и европейской политики, он пристрастился к поэтическим преданиям народа воинственного. Он понял вполне нравы и обычаи горцев, узнал по именам их богатырей, запомнил родословные главных семейств. Знает, какой князь надежный и какой плут; кто с кем в дружбе и между кем и кем есть кровь. Он легонько маракует по-татарски; у него завелась шашка, настоящая *гурда,* кинжал — старый *базалай,* пистолет закубанской отделки, отличная крымская винтовка, которую он сам смазывает, лошадь — чистый *шаллох* и весь костюм черкесский, который на-

девается только в важных случаях и сшит ему в подарок какой-нибудь дикой княгиней. Страсть его ко всему черкесскому доходит до невероятия. Он готов целый день толковать с грязным узденем о дрянной лошади и ржавой винтовке и очень любит посвящать других в таинства азиатских обычаев. С ним бывали разные казусы предивные, только послушайте. Когда новичок покупает оружие или лошадь у его приятеля узденя, он только исподтишка улыбается. О горцах он вот как отзывается: «Хороший народ, только уж такие азиаты! Чеченцы, правда, дрянь, зато уж кабардинцы просто молодцы; ну есть и между шапсугами народ изрядный, только всё с кабардинцами им не равняться, ни одеться так не сумеют, ни верхом проехать... хотя и чисто живут, очень чисто!»

Надо иметь предубеждение кавказца, чтобы отыскать что-нибудь чистое в черкесской сакле.

Опыт долгих походов не научил его изобретательности, свойственной вообще армейским офицерам; он франтит своей беспечностью и привычкой переносить неудобства военной жизни, он возит с собой только чайник, и редко на его бивачном огне варятся щи. Он равно в жар и в холод носит под сюртуком ахалук на вате и на голове баранью шапку; у него сильное предубежденье против шинели в пользу бурки; бурка его тога, он в нее драпируется; дождь льет за воротник, ветер ее раздувает — ничего! бурка, прославленная Пушкиным, Марлинским и портретом Ермолова, не сходит с его плеча, он спит на ней и покрывает ею лошадь; он пускается на разные хитрости и пронырства, чтобы достать настоящую андийскую бурку, особенно белую с черной каймой внизу, и тогда уже смотрит на других с некоторым презрением. По его словам, его лошадь скачет удивительно — вдаль поэтому-то он с вами не захочет скакаться только на пятнадцать верст. Хотя ему порой служба очень тяжела, но он поставил себе за правило хвалить кавказскую жизнь; он говорит кому угодно, что на Кавказе служба очень приятна.

Но годы бегут, кавказцу уже сорок лет, ему хочется домой, и если он не ранен, то поступает иногда

таким образом: во время перестрелки кладет голову за камень, а ноги выставляет *на пенсион*; это выражение там освящено обычаем. Благодетельная пуля попадает в ногу, и он счастлив. Отставка с пенсионом выходит, он покупает тележку, запрягает в нее пару верховых кляч и помаленьку пробирается на родину, однако останавливается всегда на почтовых станциях, чтоб поболтать с проезжающими. Встретив его, вы тотчас отгадаете, что он *настоящий*, даже в Воронежской губернии он не снимает кинжала или шашки, как они его ни беспокоят. Станционный смотритель слушает его с уважением, и только тут отставной герой позволяет себе прихвастнуть, выдумать небылицу; на Кавказе он скромен — но ведь кто ж ему в России докажет, что лошадь не может проскакать одним духом двести верст и что никакое ружье не возьмет на четыреста сажен в цель? Но увы, большею частию он слагает свои косточки в земле басурманской. Он женится редко, а если судьба и обременит его супругой, то он старается перейти в гарнизон и кончает дни свои в какой-нибудь крепости, где жена предохраняет его от гибельной для русского человека привычки.

Теперь еще два слова о других кавказцах, *ненастоящих*. Грузинский кавказец отличается тем от настоящего, что очень любит кахетинское и широкие шелковые шаровары. Статский кавказец редко облачается в азиатский костюм; он кавказец более душою, чем телом: занимается археологическими открытиями, толкует о пользе торговли с горцами, о средствах к их покорению и образованию. Послужив там несколько лет, он обыкновенно возвращается в Россию с чином и красным носом.

ПРОИЗВЕДЕНИЯ
1833—1841 гг.

⟨ВАДИМ⟩

Часть I

ГЛАВА I

День угасал; лиловые облака, протягиваясь по западу, едва пропускали красные лучи, которые отражались на черепицах башен и ярких главах монастыря. Звонили к вечерне; монахи и служки ходили взад и вперед по каменным плитам, ведущим от кельи архимандрита в храм; длинные, черные мантии с шорохом обметали пыль вслед за ними: и они толкали богомольцев с таким важным видом, как будто бы это была их главная должность. Под дымной пеленою ладана трепещущий огонь свечей казался тусклым и красным; богомольцы теснились вокруг сырых столбов, и глухой, торжественный шорох толпы, повторяемый сводами, показывал, что служба еще не началась.

У ворот монастырских была другая картина. Несколько нищих и увечных ожидали милости богомольцев; они спорили, бранились, делили медные деньги, которые звенели в больших посконных мешках; это были люди, отвергнутые природой и обществом (только в этом случае общество согласно бывает с природой); это были люди, погибшие от

недостатка или излишества надежд, олицетворенные упреки провидению; создания, лишенные права требовать сожаления, потому что они не имели ни одной добродетели, и не имеющие ни одной добродетели, потому что никогда не встречали сожаления.

Их одежды были изображения их душ: черные, изорванные. Лучи заката останавливались на головах, плечах и согнутых костистых коленах; углубления в лицах казались чернее обыкновенного; у каждого на челе было написано вечными буквами *нищета!* — хотя бы малейший знак, малейший остаток гордости отделился в глазах или в улыбке!

В толпе нищих был один — он не вмешивался в разговор их и неподвижно смотрел на расписанные святые врата; он был горбат и кривоног; но члены его казались крепкими и привыкшими к трудам этого позорного состояния; лицо его было длинно, смугло; прямой нос, курчавые волосы; широкий лоб его был желт как лоб ученого, мрачен как облако, покрывающее солнце в день бури; синяя жила пересекала его неправильные морщины; губы, тонкие, бледные, были растягиваемы и сжимаемы каким-то судорожным движением, и в глазах блистала целая будущность; его товарищи не знали, кто он таков; но сила души обнаруживается везде: они боялись его голоса и взгляда; они уважали в нем какой-то величайший порок, а не безграничное несчастие, демона — но не человека: он был безобразен, отвратителен, но не это пугало их; в его глазах было столько огня и ума, столько неземного, что они, не смея верить их выражению, уважали в незнакомце чудесного обманщика. Ему казалось не больше двадцати восьми лет; на лице его постоянно отражалась насмешка, горькая, бесконечная; волшебный круг, заключавший вселенную; его душа еще не жила по-настоящему, но собирала все свои силы, чтобы переполнить жизнь и прежде времени вырваться в вечность; нищий стоял сложа руки и рассматривал дьявола, изображенного поблекшими красками на святых вратах, и внутренно сожалел об нем; он думал: «Если б я был черт, то не мучил бы людей, а презирал бы их; сто́ят ли они, чтоб их

соблазнял изгнанник рая, соперник бога!.. другое дело человек; чтоб кончить презрением, он должен начать с ненависти!»

И глаза его блистали под беспокойными бровями, и худые щеки покрывались красными пятнами, все было согласно в чертах нищего: одна страсть владела его сердцем или лучше — он владел одною страстью, но зато совершенно!

— Христа ради, барин, — погорелым, калекам, слепому... Христа ради копеечку! — раздался крик его товарищей; он вздрогнул, обернулся — и в этот миг решилась его участь. Что же увидал он? — русского дворянина, Бориса Петровича Палицына. Не больше.

ГЛАВА II

Представьте себе мужчину лет пятидесяти, высокого, еще здорового, но с седыми волосами и потухшим взором, одетого в синее полукафтанье с анненским крестом в петлице; ноги его, запрятанные в огромные сапоги, производили неприятный звук, ступая на пыльные камни; он шел, с важностью размахивая руками, и наморщивал высокий лоб всякий раз, как докучливые нищие обступали его; двое слуг следовали за ним с подобострастием. Палицын положил серебряный рубль в кружку монастырскую и, оттолкнув нищих, воскликнул:

— Прочь, вы! — лентяи. Экие молодцы — а просят Христа ради; что вы не работаете?—дай бог, чтоб пришло время, когда этих бродяг без стыда будут морить с голоду. Вот вам рубль на всю братию. Только чур не перекусайтесь за него.

Между тем горбатый нищий молча приблизился и устремил яркие черные глаза на великодушного господина; этот взор был остановившаяся молния, и человек, подверженный его таинственному влиянию, должен был содрогнуться и не мог отвечать ему тем же, как будто свинцовая печать тяготела на его веках; если магнетизм существует, то взгляд нищего был сильнейший магнетизм.

Когда старый господин удалился от толпы, он поспешил догнать его.

Палицын обернулся.

— Что тебе надобно?

— Очень мало! — я хочу работы...

С язвительной усмешкой посмотрел старик на нищего, на его горб и безобразные ноги... но бедняк нимало не смутился и остался хладнокровен, как Сократ, когда жена вылила кувшин воды на его голову, — но это не было хладнокровие мудреца — нищий был скорее похож на дуэлиста, который уверен в меткости руки своей.

— Если ты, барин, думаешь, что я не могу перенесть труда, то я тебя успокою на этот счет. — Он поднял большой камень и начал им играть как мячиком; Палицын изумился.

— Хочешь ли быть моим слугою?

Нищий в одну минуту принял вид смирения и с жаром поцеловал руку своего нового покровителя... из вольного он согласился быть рабом — ужели даром? — и какая странная мысль принять имя раба за два месяца до Пугачева.

— Клянусь головою отца моего, что исполню свою обязанность! — воскликнул нищий, и адская радость вспыхнула на бледном лице.

— Твое имя?

— Вадим!

— Прелестное имя для такого урода!

Слуги подхватили шутку барина и захохотали; нищий взглянул на них с презрением, и неуместная веселость утихла; подлые души завидуют всему, даже обидам, которые показывают некоторое внимание со стороны их начальника.

— Следуй за мной!.. — сказал Палицын, и все оставили монастырь. Часто Вадим оборачивался! на полусветлом небосклоне рисовались зубчатые стены, башни и церковь, плоскими черными городами, без всяких оттенок; но в этом зрелище было что<-то> величественное, заставляющее душу погружаться в себя, и думать о вечности, и думать о величии земном и небесном, и тогда рождаются мысли мрачные и чудесные,

как одинокий монастырь, неподвижный памятник слабости некоторых людей, которые не понимали, что где скрывается добродетель, там может скрываться и преступление.

ГЛАВА III

Поздно, поздно вечером приехал Борис Петрович домой; собаки встретили его громким лаем, и только по светящимся окнам можно было узнать строение; ветер, шумя, качал ветелки, насаженные вокруг господского двора, и когда топот конский раздался, то слуги вышли с фонарями навстречу, улыбаясь и внутренно проклиная барина, для которого они покинули свои теплые постели, а может быть, что-нибудь получше. Палицын взошел в дом; в зале было темно; оконницы дрожали от ветра и сильного дождя; в гостиной стояла свеча; эта комната была совершенно отделана во вкусе 18-го века: разноцветные обои, три круглые стола; перед каждым небольшое канапе; глухая стена, находящаяся между двумя высокими печьми, на которых стояли безобразные статуйки, была вся измалевана; на ней изображался завядшими красками торжественный въезд Петра I в Москву после Полтавы: эту картину можно бы назвать рисованной программой.

Перед ореховым гладким столом сидела толстая женщина, зевая по сторонам, добрая женщина!.. жиреть, зевать, бранить служанок, приказчика, старосту, мужа, когда он в духе... какая завидная жизнь! и все это продолжается сорок лет, и продолжится еще столько же... и будут оплакивать ее кончину... и будут помнить ее, и хвалить ее ангельский нрав, и жалеть... чудо что за жизнь! особливо как сравнишь с нею наши бури, поглощающие целые годы, и что еще ужаснее — обрывающие чувства человека, как листы с дерева, одно за другим.

На скамейке, у ног <Натальи> Сергевны (так я назову жену Палицына), сидела молодая девушка, ее воспитанница. Это был ангел, изгнанный из рая за то, что слишком сожалел о человечестве. Сальная свеча, горящая на столе, озаряла ее невинный открытый лоб и одну щеку, на которой, пристально вглядываясь,

можно было бы различить мелкий золотой пушок; остальная часть лица ее была покрыта густой тенью; и только когда она поднимала большие глаза свои, то иногда две искры света отделялись в темноте; это лицо было одно из тех, какие мы видим во сне редко, а наяву почти никогда. Ее грудь тихо колебалась, порой она нагибала голову, всматриваясь в свою работу, и длинные космы волос вырывались из-за ушей и падали на глаза; тогда выходила на свет белая рука с продолговатыми пальцами; одна такая рука могла бы быть целою картиной!

Борис Петрович взошел; обе встали.

— Я привез нового холопа, — сказал он. — Клад! нищий, который захотел работать! — он не должен быть слишком боек — это видно по лицу, — но зато будет послушен!.. вот ты увидишь сама, — эй! Вадимка! живо.

Взошел безобразный нищий. Госпожа осмотрела его без внимания, как краденый товар...

— Какой урод! — воскликнула она. Но Вадим не слыхал — его душа была в глазах.

Долго супруг разговаривал с супругой о жатве, льне и хозяйственных делах; и вовсе забыли о нищем; он целый битый час простоял в дверях; куда смотрел он? что думал? — он открыл новую струну в душе своей и новую цель своему существованию. Целый час он простоял; никто не заметил; <Наталья> Сергевна ушла в свою комнату, и тогда Палицын подошел к ее воспитаннице.

— Как тебе нравится мой новый холоп?

— Урод! — отвечала Ольга, и вдруг ей послышалось что-то похожее на скрежет зубов. — Охота привозить таких пугал, — продолжала она, — нам, бедным пленным птичкам, и без них худо!..

— Оттого худо, что ты не хочешь согласиться, — возразил Борис Петрович и намеревался ее обнять.

Ольга покраснела и оттолкнула его руку; это движение было слишком благородно для женщины обыкновенной.

— *Плутовка! если бы ты знала, как ты прекрасна:* разве у стариков нет сердца, разве нет в нем уголка,

где кровь кипит и клокочет? а было бы тебе хорошо! если бы — выслушай... у меня есть золотые серьги с крупным жемчугом, персидские платки, у меня есть деньги, деньги, деньги...

— У вас нет стыда! — отвечала Ольга; Палицын посмотрел на нее — и вспыхнул; но, услыхав шорох в другой комнате, погрозившись, ушел.

— Боже!.. — это восклицание невольно вырвалось из ее груди; это была молитва и упрек.

Безобразный нищий все еще стоял в дверях, сложа руки, нем и недвижим — на его ресницах блеснула слеза: может быть, первая слеза — и слеза отчаяния!... Такие слезы истощают душу, отнимают несколько лет жизни, могут потопить в одну минуту миллион сладких надежд! они для одного человека — что был Наполеон для вселенной: в десять лет он подвинул нас целым веком вперед.

— Знаешь ли ты своих родителей, Ольга? — сказал Вадим.

— Странный вопрос! — отвечала она.

— Знаешь ли ты их? — повторил он таким голосом, который заставил ее содрогнуться; она посмотрела ему пристально в глаза, как будто припоминая нечто давно, давно прошедшее.

— Я сирота; мой отец меня оставил, когда я была ребенком, и отправился бог знает куда — верно, очень далеко, потому что он не возвращался. Чело Вадима омрачилось, и горькая язвительная улыбка придала чертам его, слабо озаренным догорающей свечой, что-то демонское.

— Хочешь ли знать куда?

— Хочу!.. — и влажные глаза ее ярко заблистали.

— Подумай, я для тебя человек чужой — может быть, я шучу, насмехаюсь!.. подумай: есть тайны, на дне которых яд, тайны, которые неразрывно связывают две участи; есть люди, заражающие своим дыханием счастье других; все, что их любит и ненавидит, обречено погибели... берегись того и другого — узнав мою тайну, ты отдашь судьбу свою в руки опасного человека: он не сумеет лелеять цветок этот, он изомнет его...

— Хочу знать непременно... — воскликнула неопытная девушка.

Она посмотрела вокруг — нищего уже не было в комнате.

ГЛАВА IV

Прошло двое суток — Вадим еще не объявлял своей тайны... Ужели он только хотел подстрекнуть женское любопытство? если так, то он вполне достиг своей цели. Под разными предлогами, пренебрегая гнев госпожи своей, Ольга отлучалась от скучной работы и старалась встретить где-нибудь в отдаленной пустой комнате Вадима; и странно! она почти всегда находила его там, где думала найти, — и тогда просьбы, ласки, все хитрости были употребляемы, чтобы выманить желанную тайну, — однако он был непреклонен: умел отвести разговор на другой предмет, занимал ее разными рассказами — но тайны не было; она дивилась его уму, его бурному нраву, начинала проникать в его сумрачную душу и заметила, что этот человек рожден не для рабства, — и это заставило ее иметь к нему доверенность; немудрено: власть разлучает гордые души, а неволя соединяет их.

Однажды она взяла его за руку.

— Не правда ли, я очень безобразен! — воскликнул Вадим. Она пустила его руку. — Да, — продолжал он. — Я это знаю сам. Небо не хотело, чтоб меня кто-нибудь любил на свете, потому что оно создало меня для ненависти; завтра ты все узнаешь: на что мне беречь тебя? О, если б... не укоряй за долгое молчанье. Быть может, настанет время и ты подумаешь: зачем этот человек не родился немым, слепым и глухим, если он мог родиться кривобоким и горбатым?..

Поведение Вадима с прочими слугами было непонятно, потому что его цели никто не знал; я объясню его сколько можно следующим разговором; на крыльце дома сидело двое слуг, один старый, другой лет двадцати; вот слова их:

— Заметь, Федька, что кто из грязи вышел, тот лезет в золото! — как этот Вадимка загордился — эдакой урод — мне никогда никакого уважения не делает — когда сам приказчик меня всегда отличает, — да и к барину как умеет он подольститься: словно щенок! Экой век стал нехристиянской.

— Не скажу, дядя Ипат!.. он всегда со мной ласков — парень лихой; с ним держи ухо востро; тотчас на удочку подцепит — вот, например, вчера...

— Что вчера?

— Я тебе расскажу эту штуку, дядя... слушай... вчера барин разгневался на Олешку Шушерина и приказал ему влепить двадцать пять палок; повели Олешку на конюшню — сам приказчик и стал его бить; двадцать пять раз ударил, да и говорит: «Это за барина — а вот за меня», — и занес руку; Вадим все это время стоял поодаль, в углу: брови его сходились и расходились. В один миг он подскочил к приказчику и сшиб его на землю одним ударом. На губах его клубилась пена от бешенства, он хотел что-то вымолвить — и не мог.

— Жаль! — возразил старик, — не доживет этот человек до седых волос. — Он жалел от души, как мог, как обыкновенно жалеют старики о юношах, умирающих преждевременно, во цвете жизни, которых смерть забирает вместо их, как буря чаще ломает тонкие высокие дерева и щадит пни столетние.

Зачем Вадим старался приобрести любовь и доверенность молодых слуг? — на это отвечаю: происшествия, мною описываемые, случились за два месяца до бунта пугачевского.

Умы предчувствовали переворот и волновались: каждая старинная и новая жестокость господина была записана его рабами в книгу мщения, и только кровь <его> могла смыть эти постыдные летописи. Люди, когда страдают, обыкновенно покорны; но если раз им удалось сбросить ношу свою, то ягненок превращается в тигра; притесненный делается притеснителем и платит сторицею — и тогда горе побежденным!..

Русский народ, этот сторукий исполин, скорее перенесет жестокость и надменность своего повели-

теля, чем слабость его; он желает быть наказываем — но справедливо, он согласен служить — но хочет гордиться своим рабством, хочет поднимать голову, чтоб смотреть на своего господина, и простит в нем скорее излишество пороков, чем недостаток добродетелей! В 18 столетии дворянство, потеряв уже прежнюю неограниченную власть свою и способы ее поддерживать, — не умело переменить поведения: вот одна из тайных причин, породивших пугачевский год!

[ГЛАВА V]

Но обратимся к нашему рассказу.

Дом Бориса Петровича стоял на берегу Суры, на высокой горе, кончающейся к реке обрывом глинистого цвета; кругом двора и вдоль по берегу построены избы дымные, черные, наклоненные, вытягивающиеся в две линии по краям дороги, как нищие, кланяющиеся прохожим; по ту сторону реки видны в отдалении березовые рощи и еще далее лесистые холмы с чернеющимися елями, налево низкий берег, усыпанный кустарником, тянется гладкою покатостью — и далеко, далеко синеют холмы, как волны. Вечернее солнце порою играло на тесовой крыше и в стеклах золотыми переливами, раскрашенные резные ставни, колеблемые ветром, стучали и скрып <ели>, качаясь на ржавых петлях. Вокруг старинного дома обходит деревянная резной работы голодарейка, служащая вместо балкона; здесь, сидя за работой, Ольга часто забывала свое шитье и наблюдала синие странствующие воды и барки с белыми парусами и разноцветными флюгерями. Там люди вольны, счастливы! каждый день видят новый берег — и новые надежды! Песни крестьян, идущих с сенокоса, отдаленный колокольчик часто развлекали ее внимание — кто едет, купец? барин? почта? — но на что ей!.. не все ли равно... и все-таки не худо бы узнать.

Какая занимательная, полная жизнь, не правда ли?

Теперь она попала из одной крайности в другую: теперь, завернувшись в черную бархатную шубейку,

обшитую заячьим мехом, она, трепеща, отворяет дверь на голодарейку. Чего тебе бояться, неопытная девушка: Борис Петрович уехал в город, его жена в монастырь, слушать поучения монахов и новости из уст богомолок, не менее ею уважаемых.

Кто идет ей навстречу. Это Вадим. Она вздрогнула; она побледнела, потому что настала роковая минута.

— Что с тобою, — сказал он.

— Ничего...

— А! понимаю! — он закусил губы, — ты меня испугалась...

— Зачем мне бояться тебя, — отвечала гордо Ольга.

— Тем лучше! — продолжал он, — ...это уже много значит — так я тебе не страшен! не отвратителен... о мой создатель! вот великое блаженство! право, мне кажется это первое... — он остановился...

— Послушай, что, если душа моя хуже моей наружности? но разве я виноват... я ничего не просил у людей, кроме хлеба, — они прибавили к нему презрение и насмешки... я имел небо, землю и себя, я был богат всеми чувствами... видел солнце и был доволен... но постепенно все исчезло: одна мысль, одно открытие, одна капля яда — берегись этой мысли, Ольга...

— Для чего мы здесь, — спросила она с нетерпением.

— Я здесь для того, чтобы тебя видеть.

— А я совсем не для того...

— Опять, опять! — воскликнул Вадим. — Послушай, если хочешь чего-нибудь добиться от меня, то не намекай о моем безобразии: я завистлив, я зол, я все, что ты хочешь... но пощади меня. — Он закрыл лицо обеими руками. Ей стало жалко: этот человек, одаренный величайшим самолюбием, просил у нее, слабой девушки, у нее, еще более чем он, беззащитной, сожаления — или нет... меньше... он просил, чтоб она его не оскорбляла.

Такие речи иногда трогают женское сердце.

Она прервала неприятное молчание:

— Ты говорил, Вадим, что знаешь, где мой отец?..

Он задумался:

— Обещай никогда не укорять меня за то, что я тебе открыл свою тайну.

— Никогда.

— Слушай же: твой отец был дворянин — богат — счастлив — и, подобно многим, кончил жизнь на соломе... ты вздрогнула.. но это еще ничего!..

— О, если это ничего — то не продолжай.

— Нет, слушай: у него был добрый сосед, его друг и приятель, занимавший первое место за столом его, товарищ на охоте, ласкавший детей его, — сосед искренний, простосердечный, который всегда стоял с ним рядом в церкви, снабжал его деньгами в случае нужды, ручался за него своею головою — что ж... разве этого не довольно для погибели человека? — погоди... не бледней... дай руку: огонь, текущий в моих жилах, перельется в тебя... слушай далее: однажды на охоте собака отца твоего обскакала собаку его друга; он посмеялся над ним: с этой минуты началась непримиримая вражда — пять лет спустя твой отец уж не смеялся. Горе тому, кто наказал смех этот слезами! Друг твоего отца отрыл старинную тяжбу о землях, и выиграл ее, и отнял у него все имение; я видел отца твоего перед кончиной; его седая голова, неподвижная, сухая, подобная белому камню, остановила на мне пронзительный взор, где горела последняя искра жизни и ненависти... и мне она осталась в наследство; а его проклятие живо, живо и каждый год пускает новые отрасли, и каждый год все более окружает своею тенью семейство злодея... я не знаю, каким образом все это сделалось... но кто, ты думаешь, кто этот нежный друг? — как, небо!.. в продолжение семнадцати лет ни один язык не шепнул ей: этот хлеб куплен ценою крови — твоей — его крови! — и без меня, существа бедного, у которого вместо души есть одно только ненасытимое чувство мщения, без уродливого нищего, это невинное сердце билось бы для него одною благодарностью.

— Вадим, что сказал ты?

— Благодарность! — продолжал он с горьким сме-



Рисунки Лермонтова на обложке рукописи «Вадима»

Перо



Рисунки Лермонтова

хом. — Благодарность! Слово, изобретенное для того, чтоб обманывать честных людей!.. слово, превращенное в чувство! — о премудрость небесная!.. как легко тебе из ничего сделать святейшее чувство!.. нет, лучше издохнуть с голода и жажды в какой-нибудь пустыне, чем быть орудием безумца и лизать руку, кидающую мне остатки пира... о, благодарность!

И он ходил взад и вперед скорыми шагами, сжав крестом руки, — и, казалось, забыл, что не сказал имени коварного злодея... и, казалось, не замечал в лице несчастной девушки страх неизвестности и ожидания... он был весь погребен сам в себе, в могиле, откуда также никто не выходит... в живой могиле, где также есть червь, грызущий вечно и вечно ненасытный.

Безобразные черты Вадима чудесно оживились, гений блистал на челе его, — и глаза если б остановились в эту минуту на человеке, то произвели бы действие глаз василиска: но они были обращены вверх!..

— Я отгадала! — воскликнула молодая девушка, подойдя с твердостию к Вадиму... — я поняла тебя!.. это Борис Петрович...

Она в самом деле отгадала: великие души имеют особенное преимущество понимать друг друга; они читают в сердце подобных себе, как в книге, им давно знакомой; у них есть приметы, им одним известные и темные для толпы; одно слово в устах их иногда целая повесть, целая страсть со всеми ее оттенками.

Палицын был тот самый ложный друг, погубивший отца юной Ольги и взявший к себе дочь, ребенка трех лет, чтобы принудить к молчанию некоторых дворян, осуждавших его поступок; он воспитал ее как рабу, а хвалился своею благотворительностию; десять лет тому назад он играл ее кудрями, забавлялся ее ребячествами и теперь в мыслях готовил ее для постыдных удовольствий. Это было также мщение в своем роде... кто бы подумал!.. столько страданий за то, что одна собака обогнала другую... как ничтожны люди! как верить общему мнению! Палицын

слыл честнейшим человеком во всем околотке — и точно! он погубил только одно семейство.

Я сказал, что великие души понимают друг друга, потому-то Вадим смотрел на нее без удивления, но с тайным восторгом.

Она схватила его за руку и повлекла в комнату, где хрустальная лампада горела перед образами, и луч ее сливался с лучом заходящего солнца на золотых окладах, усыпанных жемчугом и каменьями; перед иконой богоматери упала Ольга на колени, спина и плечи ее отделяемы были бледнеющим светом зари от темных стен, а красноватый блеск дрожащей лампады озарял ее лицо вдохновенное, прекрасное, слишком прекрасное для чувств, которые бунтовали в груди ее; Вадим не сводил глаз с этого неземного существа, как будто был счастлив.

Ольга сорвала с шеи богатое ожерелье и бросила его на землю.

— Так уничтожаю последний остаток признательности... Боже! боже! я невиновна... ты, ты сам дал мне вольную душу, а он хотел сделать меня рабой, своей рабой!.. невозможно! невозможно женщине любить за такое благодеяние... терпеть, страдать я согласна... но не требуй более; боже! если б ты теперь мне приказал почитать его своим благодетелем — я и тебя перестала бы любить!.. моя жизнь, моя судьба принадлежат тебе, создатель, и кому ты хочешь — но сердце в моей власти!..

Слезы покатились из глаз ее, она склонила голову, рука ее дрожала в руке Вадима...

— Я твой брат! — воскликнул он вне себя.

Она обернулась, встала... как будто не поняла... как будто ужаснулась... Руки ее опустились, как руки умершей, и сомкнутые уста удерживали дыхание.

— Я твой брат! — повторил он дрожащим, страшным голосом.

Она молчала.

Вадим взглянул на нее в последний раз, схватил себя за голову и вышел; и, выходя, остановился у двери... и в продолжение одной минуты он думал

раздробить свою голову об косяк... но эта безумная мысль скоро пролетела... он вышел.

— Брат! — сказала Ольга, смотря ему вослед. — Брат!

И без сил она упала на стул.

ГЛАВА VI

Борис Петрович был чрезвычайно доволен своим горбачом (так в доме называли Вадима). Горбач везде почти следовал за ним, на охоту, в поле, на пашню, — исполнял его малейшие желания, предугадывал их. Одним словом, делал все, чем мог приобрести доверенность, — и если ему удавалось, то неизъяснимая радость процветала на этом суровом лице, которое выражало все чувства, все, кроме одного, любимого сокровища, хранимого на черный день. Если Борис Петрович хотел наказать кого-нибудь из слуг, то Вадим намекал ему всегда, что есть наказания, которые жесточе, и что вина гораздо больше, нежели Палицын воображал; а когда недосказанный совет его был исполнен, то хитрый советник старался возбудить неудовольствие дворни, взглядом, движеньями помогал им осуждать господина; но никогда ничего не говорил такого, что бы могло быть пересказано ко вреду его — к неудовольствию рабов или помещика. Он был враждебный Гений этого дома...

Однажды, не знаю зачем, Палицын велел его позвать; искали горбача — не нашли. Так это и осталось.

День был жаркий, серебряные облака тяжелели ежечасно; и синие, покрытые туманом, уже показывались на дальнем небосклоне; на берегу реки была развалившаяся баня, врытая в гору и обсаженная высокими кустами кудрявой рябины; около нее валялись груды кирпичей, между коими вырастала высокая трава и желтые цветы на длинных стебельках. Тут сидел Вадим; один, облокотясь на свои колена и поддерживая голову обеими руками; он размышлял; тени рябиновых листьев рисовались на лице его

непостоянными арабесками и придавали ему вид таинственный; золотой луч солнца, скользнув мимо соломенной крыши, упадал на его коленку, и Вадим, казалось, любовался воздушной пляской пылинок, которые кружились и подымались к солнцу.

Вчера он открылся Ольге; наконец, он нашел ее, он встретился с сестрой, которую оставил в колыбели; наконец... о! чудна природа; далеко ли от брата до сестры? — а какое различие!.. эти ангельские черты, эта демонская наружность... Впрочем, разве ангел и демон произошли не от одного начала?..

Однако Вадим заметил в ней семейственную гордость, сходство с его душой, которое обещало ему много... обещало со временем и любовь ее... эта надежда была для него нечто новое; он хотел ею завладеть, он боялся расстаться с нею на одно мгновение... и вот зачем он удалился в уединенное место, где плеск волны не мог развлечь думы его; он не знал, что есть цветы, которые чем более за ними ухаживают, тем менее отвечают стараниям садовника; он не знал, что, слишком привязавшись к мечте, мы теряем существенность; а в его существенности было одно мщение.

Постепенно мысли его становились туманнее; и он полусонный лег на траву — и нечаянно взор его упал на лиловый колокольчик, над которым вились две бабочки: одна серая с черными крапинками, другая испещренная всеми красками радуги; как будто воздушный цветок или рубин с изумрудными крыльями, отделанный в золото и оживленный какою-нибудь волшебницей; оба мотылька старались сесть на лиловый колокольчик и мешали друг другу, и когда один был близко, то ветер относил его прочь; наконец, разноцветный мотылек остался победителем; уселся и спрятался в лепестках; напрасно другой кружился над ним... он был принужден удалиться. У Вадима был прутик в руке; он ударил по цвету и убил счастливое насекомое... и с каким-то восторгом наблюдал его последний трепет!..

И бог знает отчего в эту минуту он вспомнил свою молодость, и отца, и дом родной, и высокие качели,

и пруд, обсаженный ветлами... все, все... и отец его представился его воображению таков, каким он возвратился из Москвы, потеряв свое дело... и принужденный продать все, что у него осталось, дабы заплатить стряпчим и суду. И потом он видел его лежащего на жесткой постели в доме бедного соседа... казалось, слышал его тяжелое дыхание и слова: отомсти, сын мой, извергу... чтоб никто из его семьи не порадовался краденым куском... и вспомнил Вадим его похороны: необитый гроб, поставленный на телеге, качался при каждом толчке; он с образом шел вперед... дьячок и священник сзади; они пели дрожащим голосом... и прохожие снимали шляпы... вот стали опускать в могилу, канат заскрыпел, пыль взвилась...

Кровь кинулась Вадиму в голову, он шепотом повторил роковую клятву и обдумывал исполнение; он готов был ждать... он готов был все выносить... но сестра! если... о! тогда и она поможет ему... и без трепета он принял эту мысль; он решился завлечь ее в свои замыслы, сделать ее орудием... решился погубить невинное сердце, которое больше чувствовало, нежели понимало... странно! он любил ее; или не почитал ли он ненависть добродетелью?..

Вдруг над ним раздался свист арапника, и он почувствовал сильную боль во всей руке своей; как тигр вскочил Вадим... перед ним стоял Борис Петрович и осыпал его ругательствами.

Кланяясь, слушал он и с покорным видом последовал за Палицыным в дом, где слуги встретили его с насмешливыми улыбками, которые говорили: пришел и твой черед.

С этих пор Вадим ни разу не забывал своей должности.

ГЛАВА VII

Под вечер приехали гости к Палицыну; Наталья Сергевна разрядилась в фижмы и парчовое платье, ра̀спудрилась и разрумянилась; стол в гостиной уставили вареньями, ягодами сушеными и свежими; Геннадий Василич Горинкин, богатый сосед, сидел

на почетном месте, и хозяйка поминутно подносила ему тарелки с сластями; он брал из каждой понемножку и важно обтирал себе губы; он был высокого росту, белокур и вообще довольно ловок для деревенского жителя того века; и это потому, быть может, что служил в лейб-кампанцах; двадцати пяти лет вышед в отставку, он женился и нажил себе двух дочерей и одного сына; Борис Петрович занимал его разговорами о хозяйстве, о Москве и проч., бранил новое, хвалил старое, как все старики, ибо вообще если человек сам стал хуже, то все ему хуже кажется; поздно вечером, истощив разговор, они не знали, что начать; зевали в руку, вертелись на местах, смотрели по сторонам; но заботливый хозяин тотчас нашелся.

— Малой! Египетского, — закричал он, в восторге от своей мысли; принесли две фляги и две большие серебряные кружки; начали пить, потом спорить, хохотать и целоваться; щеки их разгорелись, и воображение, охлажденное годами, закипело.

— Потешить ли тебя, сосед любезный! — воскликнул Палицын.

— А что?

— Да уж то, что твоей милости и в голову не придет; любишь ли ты пляску?.. а у меня есть девочка — чудо... а как пляшет!.. жжет, а не пляшет!.. я не монах, и ты не монах, Васильич...

— Избави Христос...

— И точно так!..

— Ну что же?

— Да уж то!.. мать моя, женушка, Наталья Сергевна, вели Оленьке принарядиться в шелковый святошный сарафан да выйти поплясать; а других пришли петь, да песельников-то нам побольше, знаешь, чтоб лихо... — он захохотал, сам, верно, не зная чему, и начал потирать руки, заране наслаждаясь успехом своей выдумки; этот человек, обыкновенно довольно угрюмый, теперь был совершенный ребенок.

Наталья Сергевна приказала сбираться песельникам, а сама вышла искать Ольгу.

Где была Ольга?

В темном углу своей комнаты она лежала на сундуке, положив под голову свернутую шубу; она не спала; она еще не опомнилась от вчерашнего вечера, укоряла себя за то, что слишком неласково обошлась с своим братом... но Вадим так ужаснул ее в тот миг! Она думала целый день идти к нему, сказать, что она точно достойна быть его сестрой и не обвиняет за излишнюю ненависть, что оправдывает его поступок и удивляется чудесной смелости его.

Со свечой в руке взошла Наталья Сергевна в маленькую комнату, где лежала Ольга; стены озарились, увешанные платьями и шубами, и тень от толстой госпожи упала на столик, покрытый пестрым платком; в этой комнате протекала половина жизни молодой девушки, прекрасной, пылкой... здесь ей снились часто молодые мужчины, стройные, ласковые, снились большие города с каменными домами и златоглавыми церквями; здесь, когда зимой шумела метелица и снег белыми клоками упадал на тусклое окно и собирался перед ним в высокий сугроб, она любила смотреть, завернутая в теплую шубейку, на белые степи, серое небо и ветлы, обвешанные инеем и колеблемые взад и вперед; и тайные, неизъяснимые желания, какие бывают у девушки в семнадцать лет, волновали кровь ее; и досада заставляла плакать, вырывала иголку из рук.

— Вставай, Ольга! — закричала Наталья Сергевна, сердито толкнув ее.

Ольга вскочила и зажмурилась, встретив свечу прямо перед глазами.

— Что спала, ленивая...

— У меня голова болит!

— Вздор! девчонка молодая... и смеет голова болеть! просто лень, уж так бы и говорила... а то еще лжет... отвечай: спала, лентяйка?

— Я никогда не лгу.

— Как! еще смеет отвечать, когда я говорю! спорить! ах грубиянка; да не я ли тебя выкормила и воспитала, да не я ли тебя от нищего отца-негодяя взяла на свои руки... неблагодарная! — нет! этот народ

никогда не чувствует благодеяний! как волка ни корми, а все в лес глядит... да не смей строить рож, когда я браню тебя!.. стой прямо и не морщись, — ты забываешь, кто я?..

Ольга хотела что-то сказать, но удержалась; презрение изобразилось на лице ее; мрачный пламень, пробужденный в глазах, потерялся в опущенных ресницах; она стояла, опустив руки, с колеблющеюся грудью и обнаженными плечами, и неподвижно внимала обидным изречениям, которые рассердили, испугали бы другую.

— Поди надень шелковый сарафан и выходи плясать... чтоб голова не болела... слышишь... скорей же!.. да не больно финти перед Борисом Петровичем!.. а не то я тебе дам знать!.. ведь вы все ради заманить барскую милость... берегись...

Ольга молчала — но вся вспыхнула... и если б Наталья Сергевна не удалилась, то она не вытерпела бы далее; слезы хотели брызнуть из глаз ее, но женщина иногда умеет остановить слезы... Как! ее подозревают, упрекают? — и в чем! — о! где ее брат! пускай придет он и выслушает ее клятву помогать ему во всем, что дышит местию и разрушением; пускай посвятит он ее в это грозное таинство, — она готова!..

Теперь она будет уметь отвечать Вадиму, теперь глаза ее вынесут его испытывающие взгляды, теперь горькая улыбка не уничтожит ее твердости; эта улыбка имела в себе что-то неземное; она вырывала из души каждое благочестивое помышление, каждое желание, где таилась искра добра, искра любви к человечеству; встретив ее, невозможно было устоять в своем намеренье, какое бы оно ни было; в ней было больше зла, чем люди понимать способны.

Ольгу ждут в гостиной, Борис Петрович сердится; его гость поминутно наливает себе в кружку и затягивает плясовую песню... наконец, она взошла: в малиновом сарафане, с богатой повязкой; ее темная коса упадала между плечьми до половины спины; круглота, белизна ее шеи были удивительны; и маленькая ножка, показываясь по временам, обещала тайные

совершенства, которых ищут молодые люди, глядя на женщину как на орудие своих удовольствий; впрочем, маленькая ножка имеет еще другое значение, которое я бы открыл вам, если б не боялся слишком удалиться от своего рассказа.

Она взошла... и встретила пьяные глаза, дерзко разбирающие ее прелести; но она не смутилась; не покраснела; тусклая бледность ее лица изобличала совершенное отсутствие беспокойства, совершенную преданность судьбе; в этот миг она жила половиною своей жизни; она походила на испорченный орган, который не играет ни начало, ни конец прекрасной песни.

Хор затянул плясовую.

— Начинай же, Оленька! — закричал Палицын, — не стыдись!..

Она вздрогнула; ей пришло на мысль, что она будет плясать перед убийцею отца своего; эта мысль как молния ворвалась в ее душу и озарила там следы минувшего; и все обиды, все несправедливости, унижения рабства, одним словом — жизнь ее встала перед ней, как остов из гроба своего; и она почувствовала его упрек...

Если б можно было изобразить страдание этого нежного существа, то трудно бы вы поверили, что она не лишилась рассудка!.. потому что ее ресницы были сухи и сжатые дрожащие губы не пропустили ни одного вздоха. «Что же! красотка моя, начинай!.. небось — ты так хороша сегодня!..» — кричали оба помещика; что за лестное поощрение! не правда ли.

Ольга окинула взором всю комнату, надеясь уловить хотя одно сожаление... неуместная надежда; подлая покорность, глупая улыбка встретили ее со всех сторон — рабы не сожалели об ней, — они завидовали! «Пускай завидуют, — подумала Ольга, — это будет им наказание».

Она начала плясать.

Движения Ольги были плавны, небрежны; даже можно было заметить в них некоторую принужденность, ей несвойственную, но скоро она забылась; и тогда душевная буря вылилась наружу; как поэт,

в минуту вдохновенного страданья бросая божественные стихи на бумагу, не чувствует, не помнит их, так и она не знала, что делала, не заботилась о приличии своих движений, и потому-то они обворожили всех зрителей; это было не искусство — но страсть.

И вдруг она остановилась, опомнилась, опустила пылающие глаза, голова ее кружилась; все предметы прыгали перед нею, громкие напевы слились для нее в один звук, нестройный, но решительный, в один звук воспоминания...

Она посмотрела вокруг, ужаснулась, махнула рукой и выбежала.

Борис Петрович встал и, качаясь на ногах, последовал за нею; раскаленные щеки его обнаруживали преступное желание, и с дрожащих губ срывались несвязные слова, но слишком ясные для окружающих.

Дверь в комнату Ольги была затворена; он дернул, и крючок расскочился; она стояла на коленах, закрыв лицо руками и положив голову на кровать; она не слыхала, как он взошел, потому что произнесла следующие слова: «Отец мой! не вини меня...»

— Теперь ты не вывернешься! — воскликнул, захохотавши, Борис Петрович, — я человек добрый — и ты человек добрый; следовательно...

Она вскочила и, устремив на него мутный взор, казалось, не понимала этих слов; он взял ее за руку; она хотела вырваться — не могла; сев на постель, он притянул ее <к> себе и начал целовать в шею и грудь; у нее не было сил защищаться; отвернув лицо, она предавалась его буйным ласкам, и еще несколько минут — она бы погибла.

Но вдруг раздался шум и вбежала хозяйка; между достойными супругами начался крик, спор... однако Наталье Сергевне благодаря винным парам удалось вывести мужа; долго еще слышен был хриплый бас его и пронзительный дишкант Натальи Сергевны; наконец, все утихло — и Ольга тогда только уверилась, что все ее оставили.

Она слышала, как стучало ее испуганное сердце, и чувствовала странную боль в шее; бедная девушка! немного повыше круглого плеча ее виднелось красное

пятно, оставленное губами пьяного старика... Сколько прелестей было измято его могильными руками! сколько ненависти родилось от его поцелуев!.. встал месяц; скользя вдоль стены, его луч пробрался в тесную комнату, и крестообразные рамы окна отделились на бледном полу... и этот луч упал на лицо Ольги — но ничего не прибавил к ее бледности, и красное пятно не могло утонуть в его сиянье... в это время на стенных часах в приемной пробило одиннадцать.

ГЛАВА VIII

Где скрывался Вадим весь этот вечер? — на темном чердаке, простертый на соломе, лицом кверху, сложив руки, он уносился мыслию в вечность, — ему снилось наяву давно желанное блаженство: свобода; он был дух, отчужденный от всего живущего, дух всемогущий, не желающий, не сожалеющий ни об чем, завладевший прошедшим и будущим, которое представлялось ему пестрой картиной, где он находил много смешного и ничего жалкого. Его душа расширялась, хотела бы вырваться, обнять всю природу и потом сокрушить ее, — если это было желание безумца, то по крайней мере великого безумца; что такое величайшее добро и зло? — два конца незримой цепи, которые сходятся, удаляясь друг от друга.

Чудные звуки разрушили мечтания Вадима: то были отрывистые звуки плясовой песни, смешанные с порывами северного ветра; Вадим привстал; луна ударяла прямо в слуховое окно, и свет ее, захватывая несколько измятых соломинок, упадал на противную стену, так что Вадим легко мог рассмотреть на ней все скважины, каждый клочок моха, высунувшийся между брусьями; долго он не сводил глаз с этой стены, долго внимал звукам отдаленной песни... наконец, они умолкли, облако набежало на полный месяц... Вадим упал на постель свою; и безотчетное страдание овладело им; он ломал руки, вздыхал, скрежетал зубами... неизвестный огонь бежал по его жилам, череп готов был треснуть... о! давно ли ему было довольно одной ненависти!..

Маленькая дверь скрыпнула и отворилась; ему послышался легкий шум шагов.

— Брат! — сказал кто-то очень тихо.

Вадим затрепетал. Между тем облако пробежало, и луна озарила одно плечо и половину лица Ольги; она стояла близ него на коленах.

— Все понимаю, — воскликнул он, прочитавши в ее взоре ужасное беспокойство.

— Точно? — отвечала Ольга изменившимся голосом, — точно? Я пришла тебя обрадовать, друг мой!..

«Друг мой!» — впервые существо земное так называло Вадима; он не мог разом обнять все это блаженство; как безумный схватил он себя за голову, чтобы увериться в том, что это не обман сновидения; улыбка остановилась на устах его — и душа его, обогащенная целым чувством, сделалась подобна временщику, который, получив миллион и не умея употребить его, прячет в железный сундук и стережет свое сокровище до конца жизни.

Эти два слова так сильно врезались в его душу, что несколько дней спустя, когда он говорил с самим собою, то не мог удержаться, чтоб не сказать: «Друг мой...»

Если мне скажут, что нельзя любить сестру так пылко, вот мой ответ: любовь — везде любовь, то есть самозабвение, сумасшествие, назовите как вам угодно; и человек, который ненавидит все и любит единое существо в мире, кто бы оно ни было, мать, сестра или дочь, его любовь сильней всех ваших произвольных страстей. Его любовь сама по себе в крови чужда всякого тщеславия... но если к ней примешается воображение, то горе несчастному! — по какой-то чудной противуположности, самое святое чувство ведет тогда к величайшим злодействам; это чувство, наконец, делается так велико, что сердце человека уместить в себе его не может и должно погибнуть, разорваться или одним ударом сокрушить кумир свой; но часто самолюбие берет перевес, и божество падает перед смертным.

— Брат! слушай, — продолжала Ольга, — я все обдумала и решилась сделать первый шаг на пути, по которому ни тебе, ни мне не возвратиться. Все

равно... они все ведут к смерти; но я не позволю низкому, бездушному человеку почитать меня за свою игрушку... ты или я сама должна это сделать; сегодня я перенесла обиду, за которую хочу, должна отомстить... брат! не отвергай моей клятвы... если ты ее отвергнешь, то берегись... я сказала, что не перенесу этого... ты будешь добр для меня; ты примешь мою ненависть, как дитя мое; станешь лелеять его, пока оно вырастет и созреет и смоет мой позор страданьями и кровью... да, позор... он, убийца, обнимал, целовал меня... хотел... не правда ли, ты готовишь ему ужасную казнь?..

Вадим дико захохотал и, стараясь умолкнуть, укусил нижнюю губу свою так крепко, что кровь потекла; он похож был в это мгновенье на вампира, глядящего на издыхающую жертву.

— Клянусь этим богом, который создал нас несчастными, клянусь его святыми таинствами, его крестом спасительным — во всем, во всем тебе повиноваться, — я знаю, Вадим, твой удар не будет слаб и неверен, если я сделаюсь орудием руки твоей! о! ты великий человек!

— Да — теперь, потому что ты меня любишь!..

Она ничего не отвечала.

— Успокойся, опомнись, — сказал Вадим... — ты меня еще не знаешь, но я тебе открою мои мысли, разверну все мое существование, и ты его поймешь. Перед тобой я могу обнажить странную душу мою: ты не слабый челнок, не способный переплыть это море; волны и бури его тебя не испугают; ты рождена посреди этой стихии; ты не утонешь в ее бесконечности!..

Помню, как после смерти отца я покидал тебя, ребенка в колыбели, тебя, не знавшую ни добра, ни зла, ни заботы — а в моей груди уже бродила страсть пагубная, неусыпная; ты протянула ко мне свои ручонки, улыбалась... будто просила о защите... а я не имел своего куска хлеба.

Меня взяли в монастырь — из сострадания — кормили, потому что я был не собака и нельзя было меня утопить; в стенах обители я провел мои лучшие годы; в душных стенах, оглушаемый звоном колоколов, пеньем людей, одетых в черное платье и потому ду-

мающих быть ближе к небесам, притесняемый за то, что я обижен природой... что я безобразен. Они заставляли меня благодарить бога за мое безобразие, будто бы он хотел этим средством удалить меня от шумного мира, от грехов... Молиться!.. у меня в сердце были одни проклятия! часто вечером, когда розовые лучи заходящего солнца играли на главах церкви и медных колоколах, я выходил из святых врат и с холма, где стояла развалившаяся часовня, любовался на тюрьму свою; она издали была прекрасна! Облака призывали мое воображение к себе на воздушные крылья, но насмешливый голос шептал мне: ты способен обнять своею мыслию все сотворенное; ты мог бы силою души разрушить естественный порядок и восстановить новый, для того-то я тебя не выпущу отсюда; довольно тебе знать, что ты можешь это сделать!..

Никто в монастыре не искал моей дружбы, моего сообщества; я был один, всегда один; когда я плакал — смеялись, потому что люди не могут сожалеть о том, что хуже или лучше их; все монахи, которых я знал, были обыкновенные, полудобрые существа, глупые от рожденья или от старости, не способные ни к чему, кроме соблюдения постов... Я желал возненавидеть человечество — и поневоле стал презирать его; душа ссыхалась; ей нужна была свобода, степь, открытое небо... ужасно сидеть в белой клетке из кирпичей и судить о зиме и весне по узкой тропинке, ведущей из келий в церковь; не видать ясное солнце иначе как сквозь длинное решетчатое окно и не сметь говорить о том, чего нет в такой-то книге...

Можно прийти в отчаянье!

Однажды, Ольга, я заметил безногого нищего, который, не вмешиваясь в споры товарищей, сидел на земле у святых ворот и только постукивал камнем о камень, и когда вылетала искра, то чудная радость покрывала незначащее его лицо. Я подошел к нему и сказал:

— Ты очень благоразумен, любезный, тем, что не мешаешься в их ссору.

— Я без ног, — отвечал он с недовольным видом; это меня поразило: я ошибся! — однако продолжал свои вопросы·

— Что был ты прежде, купец или крестьянин?

— Нищий! — отвечал он, — рожден нищим и умру нищим; только разница в том, что я рожден с ногами, а умру безногий!

— Отчего же?

— Отчего! — тут он призадумался; потом продолжал равнодушно: — Я был проводником одного слепого; нас было много; когда слепой умер, то я стал лишним. Мне переломали руки и ноги, чтоб я не даром кормился и был полезен; теперь меня возят на тележке — и дают деньги.

— Знал ли ты своих родителей? — спросил я поспешно.

— Как же!

— А кто были они?

— Нищие! — тут он улыбнулся; не знаю, что было в его улыбке, насмешка над судьбой или надо мною, потому что я слушал его с видом полной доверенности.

«Итак, есть состояние, в котором безобразие не порок», — подумал я. На другой день бежал из монастыря и сделался нищим.

Вадим остановился.

— Понимаю тебя! — воскликнула Ольга и пожала ему руку.

— Я это знал!.. разве ты не сестра мне? — возразил Вадим.

— Послушай, верно само небо хочет, чтобы мы отомстили за бедного отца; как оно согласило все обстоятельства, как оно привело тебя к цели...

— Небо или ад... а может быть, и не они; твердое намерение человека повелевает природе и случаю; хотя с тех пор, как я сделался нищим, какой-то бешеный демон поселился в меня, но он не имел влияния на поступки мои; он только терзал меня; воскрешал умершие надежды, жажду любви, он странствовал со мною рядом по берегу мрачной пропасти, показывая мне целый рай в отдалении; но чтоб достигнуть рая, надобно было перешагнуть через бездну. Я не решился; кому завещать свое мщение? кому его уступить?

Долго я бродил без крова и пристанища, преданный зимним метелям, как южная птица, отставшая от подруг своих, долго жить — было целью моей жизни.

Но судьба мне послала человека, который случайно открыл мне, что ты воспитываешься у Палицына, что он богат, доволен, счастлив — это меня взорвало!.. я не хотел, чтоб он был счастлив, — и не будет отныне; в этот дом я принес с собою моего демона; его дыхание чума для счастливцев, чума... сестра, ты мне простишь... о! я преступник... вижу, и тобой завладел этот злой дух и в тебе поселилась эта болезнь, которая портит жизнь и поддерживает ее. Ты, земной ангел, без меня не потеряла бы свою беспечность... теперь все кончено... от моего прикосновения увяли твои надежды... махни рукой твоему спокойствию... цветы не растут посреди бунтующего моря; где есть демон, там нет бога...

— Как! — воскликнула Ольга, — неужели ты раскаиваешься!.. правда, я женщина — но разве всякая женщина променяет печали и беспокойства на блистательный позор... блистательный! о! быть любовницей старика, злодея моего семейства... ты желал этого, Вадим, не правда ли?

— Нет — я тогда убил бы тебя...

— А теперь кто мешает?

— Теперь? теперь... — он опустил глаза в землю и замолк; глубокое страданье было видно в следующих словах, — теперь, убить тебя! теперь, когда у меня есть слезы, когда я могу плакать на твоих коленах... плакать! о! это величайшее наслаждение для того, чей смех мучительнее всякой пытки!.. нет, я еще не так дурен, как ты полагаешь; человек, для которого видеть тебя есть блаженство, не может быть совершенным злодеем.

— Меня убить — значит сделаться моим благодетелем, — отвечала Ольга, улыбаясь после нескольких минут глубокого молчания.

— А кто скажет: он хорошо поступил, когда мое имя сделается на земле проклятием?

— Я удивляюсь тебе, друг мой!..

— Не хочу! люби меня..

Она закрыла лицо обеими руками.

ГЛАВА IX

Кто из вас бывал на берегах светлой <Суры>? кто из вас смотрелся в ее волны, бедные воспоминаньями, богатые природным, собственным блеском! — читатель! не они ли были свидетелями твоего счастия или кровавой гибели твоих прадедов!.. но нет!.. волна, окропленная слезами твоего восторга или их кровью, теперь далеко в море, странствует без цели и надежды или в минуту гнева расшиблась об утес гранитный! Она потеряла дорогой следы страстей человеческих, она смеется над переменами столетий, протекающих над нею безвредно, как женщина над пустыми вздохами глупых любовников; она не боится ни ада, ни рая, вольна жить и умереть, когда ей угодно; сделавшись могилой какого-нибудь несчастного сердца, она не теряет своей прелести, живого, беспокойного своего нрава; и в ее погребальном ропоте больше утешений, нежели жалости. Если можно завидовать чему-нибудь, то это синим, холодным волнам, подвластным одному закону природы, который для нас не годится с тех пор, как мы выдумали свои законы.

Вадим стоял под густою липой, и упоительный запах разливался вокруг его головы, и чувства, окаменевшие от сильного напряжения души, растаяли постепенно, и, отвергнутый людьми, был готов кинуться в объятия природы; она одна могла бы утолить его пламенную жажду и, дав ему другую душу или новую наружность, поправить свою жестокую ошибку. Вадим с непонятным спокойствием рассматривал речные травы и густой хмель, который яркими, зелеными кудрями висел с глинистого берега. Вдали одетые туманом курганы, может быть могилы татарских наездников, подымались, выходили из полосатой пашни; еловые, березовые рощи казались опрокинутыми в воде; и мрачный цвет первых приятно отделялся желтоватой зеленью и белыми корнями последних; летнее солнце с улыбкой золотило эту простую картину.

В шуме родной реки есть что-то схожее с колыбельной песнью, с рассказами старой няни; Вадим это чувствовал, и память его невольно переселилась в прошед-

шее, как в дом, который некогда был нашим и где теперь мы должны пировать под именем гостя; на дне этого удовольствия шевелится неизъяснимая грусть, как ядовитый крокодил в глубине чистого, прозрачного американского колодца.

Вдруг раздался в отдалении звон дорожного колокольчика, приносимый ветром... Вадим вздрогнул, не зная сам тому причины; он обернулся в ту сторону, где деревянный мост показывался между кустов и где дорога, желтея, терялась за холмами; там серая пыль клубилась вслед за простою кибиткой... «Не к нам ли? — подумал Вадим. — Но этого не может быть! кому?» — его тревожил колокольчик, и непонятное предчувствие как свинец упало на его душу. Он побрел вдоль по реке и старался рассеяться... но не мог: проклятый колокольчик его преследовал...

Что делалось в барском доме? Там также слышали колокольчик, но этот милый звук не произвел никакого неприятного влияния; Наталья Сергевна подбежала к окну, а Борис Петрович, который не говорил с женой со вчерашнего вечера, кинулся к другому. Они ждали сына в отпуск — верно, это он!..

В тот век почты были очень дурны или, лучше сказать, они не существовали совсем; родные посылали ходока к детям, посвященным царской службе... но часто они не возвращались, пользуясь свободой; таким образом однажды мать сосватала невесту для сына, давно убитого на войне. Долго ждала красавица своего суженого; наконец, вышла замуж за другого; на первую ночь свадьбы явился призрак первого жениха и лег с новобрачными в постель; «она моя», — говорил он, и слова его были ветер, гуляющий в пустом черепе; он прижал невесту к груди своей, где на месте сердца у него была кровавая рана; призвали попа со крестом и святой водою, и выгнали опоздавшего гостя; и, выходя, он заплакал, но вместо слез песок посыпался из открытых глаз его. Ровно через сорок дней невеста умерла чахоткою, а супруга ее нигде не могли сыскать.

Таково предание народное; обратимся к повести нашей. Борис Петрович и жена его три года не полу-

чали известия от своего Юриньки!.. Месяц тому назад он с богомольцем, которого встретил на дороге, прислал письмо, извещая о скором прибытии... это он!..

Колокольчик звенел все громче и громче... вот близко, топот, крик ямщика, шум колес... кибитка въехала в ворота... вся дворня столпилась... это он... в военном мундире... выскочил — и кинулся на шею матери... отец стоял поодаль и плакал... это был их единственный сын!

Впрочем, такие вещи не описываются...

Вечером Вадим возвратился в дом... увидал кибитку, поймал некоторые отрывистые речи... и догадался; с досадой смотрел он на веселую толпу и думал о будущем, рассчитывал дни, сквозь зубы бормотал какие-то упреки... и потом, обратившись к дому... сказал:

— Так точно! слух этот не лжив... через несколько недель здесь будет кровь, и больше; почему они не заплотят за долголетнее веселье одним днем страдания, когда другие, после бесчисленных мук, не получают ни одной минуты счастья!.. для чего *они* любимцы неба, а не я! — о создатель, если б ты меня любил — как сына, нет — как приемыша... половина моей благодарности перевесила бы все их молитвы... но ты меня проклял в час рождения... и я прокляну твое владычество в час моей кончины...

Неподвижен стоял Вадим возле рогожной кибитки; толпа пестрела кругом; старухи, дети, все теснилось, кричало, смеялось.

— Куда какой красавчик молодой наш барин! — воскликнул кто-то... Вадим покраснел... и с этой минуты имя Юрия Палицына стало ему ненавистным...

Что делать! он не мог вырваться из демонской своей стихии.

ГЛАВА X

Смерклось; подали свеч; поставили на стол разные закуски и медный самовар; Борис Петрович был в восхищении, жена его не знала, как угостить милого приезжего; дверь в гостиную, до половины раствореn-

ная, пропускала яркую полосу света в соседнюю комнату, где по стенам чернели высокие шкафы, наполненные домашней посудой: в этой комнате, у дверей, на цыпочках стояла Ольга и смотрела на Юрия, — и больше нежели пустое любопытство понудило ее к этому — Юрий был так хорош!.. — именно таковые лица нравятся женщинам: что-то доброе и вместе буйное, пылкость без упрямства, веселость без насмешки; он не был напудрен по обычаю того века; длинные русые волосы вились вокруг шеи; и голубые глаза не отражали свет, но, казалось, изливали его на все, что им встречалось.

Он говорил о столице, о великой Екатерине, которую народ называл матушкой и которая каждому гвардейскому солдату дозволяла целовать свою руку... он говорил об ней, и щеки его горели, и голос его возвышался невольно. Потом он рассказывал о городских весельствах, о красавицах, разряженных в дымные кружева и волнистые, бархатные платья...

Ольга слушала, и что-то похожее на зависть встревожило ее. «Если б обо мне так говорили, если б и на мне блистали кружева и дорогие камни... о, я была бы счастливей!..» — всякой восемнадцатилетней девушке на ее месте эти мысли пришли бы в голову. Наряды необходимы счастью женщины, как цветы весне.

И Ольга боялась, чтоб он не обернулся к дверям и не заметил ее любопытства; маленькая гордость дышала в этом опасении...

Однако ж как уйти?.. Юрий говорит так приятно. В звуках его голоса так ясно выражались благородные чувства, что если б даже невозможно было разобрать слов его, то — ей казалось... она поняла бы смысл разговора!..

Нельзя сомневаться, что есть люди, имеющие этот дар, но им воспользоваться может только существо избранное, существо, которого душа создана по образцу их души, которого судьба должна зависеть от их судьбы... и тогда эти два созданья, уже знакомые прежде рождения своего, читают свою участь в голосе друг друга, в глазах, в улыбке... и не могут обмануться... и горе им, если они не вполне доверяются

этому святому таинственному влечению... оно существует, должно существовать вопреки всем умствованиям людей ничтожных, иначе душа брошена в наше тело для того только, чтоб оно питалось и двигалось, — что такое были бы все цели, все труды человечества, без любви? И разве нет иногда этого всемогущего сочувствия между народом и царем? Возьмите Наполеона и его войско! долго ли они прожили друг без друга?

О, как Ольга была прекрасна в эту первую минуту самопознания, сколько жизни, невинной, обещающей жизни было в стесненном дыханье этой полной груди, где билось сердце, обещанное мукам и созданное для райского блаженства!..

Надобно было камню упасть в гладкий источник.

Она обернулась...

Полоса яркого света, прокрадываясь в эту комнату, упадала на губы, скривленные ужасной, оскорбительной улыбкой, — все кругом покрывала темнота, но этого было ей довольно, чтобы тотчас узнать брата... на синих его губах сосредоточилась вся жизнь Вадима, и, как нарочно, они одни были освещены...

Он приблизился: от него веяло холодом.

— Поздравляю, Ольга...

— С чем?

— Не правда ли... как хорош собою молодой твой господин!..

— И твой! — обидевшись, возразила Ольга.

— Нимало... я добровольно стал слугою... я не обязан им сохранением жизни, воспитанием... но ты!.. о, посмотри на него, что за ловкость, что за румянец...

Она вздохнула.

— И эта прекрасная голова упадет под рукою казни... — продолжал шепотом Вадим, — эти мягкие, шелковые кудри, напитанные кровью, разовьются... ты помнишь клятву... не слишком ли ты поторопилась... о мой отец! мой отец!.. скоро настанет минута, когда беспокойный дух твой, плавая над их телами, благословит детей твоих, — скоро, скоро...

— Скоро!..

— Я вижу твое восхищение! — холодно возразил ей брат, — скоро! мы довольно ждали... но зато не напрасно!.. Бог потрясает целый народ для нашего мщения; я тебе расскажу... слушай и благодари: на Дону родился дерзкий безумец, который выдает себя за государя... народ, радуясь тому, что их государь носит бороду, говорит как мужик, обратился к нему... дворяне гибнут, надобно же игрушку для народа... без этого и праздник не праздник!.. вино без крови для них стало слабо. Ты дрожишь от радости, Ольга...

Она молча поникла головою и удалилась. У нее в сердце уж не было мщения; теперь, теперь вполне постигла она весь ужас обещанья своего; хотела молиться... ни одна молитва не предстала ей ангеломутешителем: каждая сделалась укоризною, звуком напрасного раскаянья... «Какой красавец сын моего злодея», — думала Ольга; и эта простая мысль всю ночь являлась ей с разных сторон, под разными видами; она не могла прогнать других, только покрыла их полусветлой пеленою, — но пропасть, одетая утренним туманом, хотя не так черна, зато кажется вдвое обширнее бедному путнику.

Между тем Вадим остался у дверей гостиной, устремляя тусклый взор на семейственную картину, оживленную радостью свидания... и в его душе была радость, но это был огонь пожара возле тихого луча месяца.

Долго стоял он тут и любовался красотою молодого Палицына — и так забылся, что не слыхал, как Борис Петрович в первый раз закричал: «Эй, малой... Вадимка!» Опомнясь, он взошел; с сожалением посмотрел на него Юрий, но Вадим не смел поднять на него глаз, боясь, чтобы в них не изобразились слишком явно его чувства...

— Как тебе нравится мой горбач!.. — сказал Борис Петрович, — преуморительный...

— Каждый человек, батюшка, — отвечал Юрий, — имеет недостатки... он не виноват, что изувечен природой!.. Если ты будешь хорошо мне служить, — продолжал он, обратясь к мрачному Вадиму, — то будь уверен в моей милости!.. теперь ступай...

— Пошел вон, — воскликнул отец, потому что Вадим не трогался с места: он был смущен добротою юноши, благосклонным выражением лица его; и зависть возвратилась в его душу только тогда, как он подошел к дверям, но возвратилась, усиленная мгновенным отсутствием.

Перешагнув через порог, он заметил на стене свою безобразную тень; мучительное чувство... как бешеный он выбежал из дома и пустился в поле; поутру явился он на дворе, таща за собою огромного волка... блуждая по лесам, он убил этого зверя длинным ножом, который неотлучно хранился у него за пазухой... вся дворня окружила Вадима, даже господа вышли подивиться его отважности... Наконец, и он насладился минутой торжества!

— Ты будешь моим стремянным! — сказал Борис Петрович.

ГЛАВА XI

Борис Петрович отправился в отъезжее поле с новым своим стремянным и большою свитою, состоящей из собак и слуг низшего разряда. Даже в старости Палицын любил охоту страстно и спешил, когда только мог, углубляться в непроходимые леса, жилища медведей, которые были его главными врагами.

Что делать Юрию? — в деревне, в глуши? — следовать ли за отцом! — нет, он не находит удовольствия в войне с животными; он остался дома, бродит по комнатам, ищет рассеянья, обрывает клочки раскрашенных обоев; чудные занятия для души и тела; но что-то мелькнуло за углом... женское платье; он идет в ту сторону и вступает в небольшую комнату, освещенную полуденным солнцем; ее воздух имел в себе что-то особенное, роскошное; он, казалось, был оживлен присутствием юной пламенной девушки.

Кто часто бывал в комнате женщины, им любимой, тот, верно, поймет меня... он испытал влияние этого очарованного воздуха, который породнился с божеством его, который каждую ночь принимает в себя дыхание свежей девственной груди, — этот уголок,

украшенный одной постелью, не променял бы он за весь рай Магомета...

— А, это ты, Ольга! — сказал, засмеявшись, молодой Палицын. — Вообрази, я думал, что гонюсь за тенью, — и как обманут!..

— Вас огорчает эта ошибка? о, если так, я могу вас утешить, стану с вами говорить как тень, то есть очень мало... и потом...

— Ради бога, не мало, любезная Ольга! — я готов тебя слушать целый день; не можешь вообразить, какая тоска завладела мной; брожу везде... не с кем слова молвить... матушка хозяйничает... ради неба, говори, говори мне... брани меня... только не избегай!..

— Как скоро вы забыли московских красавиц; думайте об них, это вас займет.

— Думать об них — и говорить с тобою? Ольга, это нейдет вместе!..

— А что я могу сказать вам, степная, простая девушка? что я видела, что слышала? — я не хочу быть вашим лекарством от скуки; всякое лекарство, со всей своей пользой, очень неприятно.

— Ты не в духе сегодня, — воскликнул Юрий, взяв ее за руку и принудив сесть. — Ты сердишься на меня или на матушку... если тебя кто-нибудь обидел, скажи мне; клянусь честию, этому человеку худо будет...

— Не надо мне вашей защиты, вашего мщения... оставьте мою руку!.. вы хотите забавляться? призовите других, более покорных, чем я, более способных настроивать свое сердце и лицо по вашему приказу... мне грустно, скучно... да сверх того я не раба ваша... и так...

— Ольга, послушай, если хочешь упрекать... о! прости мне; разве мое поведение обнаружило такие мысли? разве я поступал с Ольгой как с рабой? — ты бедна, сирота, но умна, прекрасна; в моих словах нет лести; они идут прямо от души; чуждые лукавства, мои мысли открыты перед тобою; ты себе же повредишь, если захочешь убегать моего разговора, моего присутствия; тогда-то я тебя не оставлю в по-

кое; сжалься... я здесь один среди получеловеков, и вдруг в пустыне явился мне ангел и хочет, чтоб я к нему не приближался, не смотрел на него, не внимал ему? — боже мой! — в минуту огненной жажды видеть перед собою благотворную влагу, которая, приближаясь к губам, засыхает.

— Прекрасны ваши слова, Юрий Борисович, я не спорю, все это очень ново для меня... со всем тем я прошу вас оставить девушку, несчастную с самой колыбели и потому нимало не расположенную забавлять вас... поверьте слову: гибель вокруг меня...

— Сто раз готов я погибнуть у ног твоих!..

— Вы меня не поняли... я кажусь вам странною теперь, — быть может... но...

— Ты мила по-своему...

— Что за похвалы!.. — с насмешливым видом воскликнула Ольга.

— Не сердись!.. — возразил Юрий; и улыбаясь, он склонился к ней; потом взял в руки ее длинную темную косу, упадавшую на левое плечо, и прижал ее к губам своим; холод пробежал по его членам, как от прикосновения могучего талисмана; он взглянул на нее пристально, и на этот раз удивительная решимость блистала в его взоре; она не смутилась — но испугалась.

— Перестаньте, — сказала Ольга с важностью, — мне надо быть одной.

Напрасно он старался угадать в глазах ее намеренье кокетки — помучить; ему не удалось!..

— Ты довольна будешь мною! — сказал он, медленно выходя из комнаты.

Такие разговоры, занимательные только для них, повторялись довольно часто — и содержание и заключение почти всегда было одно и то же; и если б они читали эти разговоры в каком-нибудь романе 19-го века, то заснули бы от скуки, но в блаженном 18 и в год, описывамый мною, каждая жизнь была роман; теперь жизнь молодых людей более мысль, чем действие; героев нет, а наблюдателей чересчур много, и они похожи на сладострастного старика, который, вспоминая прежние шалости и присутствуя на буйных

пирах, хочет пробудить погаснувшие силы. Этот галванизм кидает величайший стыд на человечество; оно приблизилось к кончине своей; пускай... но зачем прикрывать седины детскими гремушками? зачем привскакивать на смертном одре, чтобы упасть и скончаться <на> полу?

Но возвратимся к нашей повести и поторопимся окончить главу.

Ольга старанием утаить свою любовь еще больше ее обнаруживала; Юрий был опытен, часто любил, чаще был любим и, выучен привычкой, читал в ее глазах больше, чем она осмеливалась читать в собственной душе. Она думала об *нем* и боялась думать о любви своей; ужас обнимал ее сердце, когда она осмеливалась вопрошать его, потому что прошедшее и будущее тогда являлись встревоженному воображению Ольги; таков был ужас Макбета, когда, готовый сесть на королевский престол, при шумных звуках пира, он увидал на нем окровавленную тень Банкуо... но этот ужас не уменьшил его честолюбия, которое превратилось в болезненный бред; то же самое случилось с любовью Ольги.

Юрий не мог любить так нежно, как она; он все перечувствовал, и прелесть новизны не украшала его страсти; но в книге судьбы его было написано, что волшебная цепь скует до гроба его существование с участью этой женщины.

Когда он не был с нею вместе, то скука и спокойствие не оставляли его; но приближаясь к ней, он вступал в очарованный круг, где не узнавал себя, и благословлял свой плен, и верил, что никогда не любил сильней теперешнего, что до сих пор не понимал определения красоты; пожалейте об нем.

ГЛАВА XII

Таинственные ответы Ольги, иногда ее притворная холодность все более и более воспламеняли Юрия; он приписывал такое поведение то гордости, то лукавству; но чаще, по недоверчивости, свойственной всем почти

любовникам, сомневался в ее любви... однажды после долгой душевной борьбы он решился вытребовать у нее полного признанья... или получить совершенный отказ!

«Какое ребячество!» — скажете вы; но в том-то и прелесть любви; она превращает нас в детей, дарит золотые сны как игрушки; и разбивать эти игрушки в минуту досады доставляет немало удовольствия; особливо когда мы надеемся получить другие.

С мрачным лицом он взошел в комнату Ольги; молча сел возле нее и взял ее за руку. Она не противилась; не отвела глаз от шитья своего, не покраснела... не вздрогнула; она все обдумала, все... и не нашла спасения; она безропотно предалась своей участи, задернула будущее черным покрывалом и решилась любить... потому что не могла решиться на другое.

— Ольга! — сказал Юрий неверным голосом, — я люблю тебя.

— Знаю, — отвечала она.

— Знаю! знаю! только-то! и я больше от тебя не услышу!

— Чего же вам больше!.. я слушаю, молчу...

— О, разумеется, этого слишком много! — я не достоин даже приблизиться к тебе... я бы должен был любоваться тобою, как солнцем и звездами; ты прекрасна! кто спорит, но разве это дает право не иметь сердца?

— Я у бога ни того, ни другого не просила... если мое обращение вам не нравится, то оставьте меня; мы дурно сделали, что узнали друг друга; но все на свете может поправиться...

— Как легко, сделав человека несчастным, сказать ему: будь счастлив! — все на свете может поправиться!.. Ольга, слушай, в последний раз говорю тебе: я люблю больше, чем ты можешь вообразить; это огонь... огонь... о, пойми меня... у меня нет слов... я люблю тебя! если ты не понимаешь этого, то все остальное напрасно... отвечай: чего ты от меня требуешь? каких жертв?..

— Забыть меня! — воскликнула Ольга с удивительною твердостию.

— Нет! никогда... я совершу невозможное, чтоб обладать тобою, но забыть... нет власти...

Он замолчал; ходил взад и вперед по комнате, потом остановился у окна, закрыл лицо руками. Так прошло несколько минут. Наконец, он обернулся и сказал:

— Я ошибался, признаюсь в том откровенно, — я ошибался... ах! это была минута — но райская минута, это был сон — но сон божественный; теперь, теперь все прошло... уничтожаю навеки все ложные надежды, уничтожаю одним дуновением все картины воображения моего; прочь от меня вера в любовь и счастье; Ольга, прощай — ты меня обманывала, — обман, всегда обман; не все ли равно, глаза или язык? чего желала ты? не знаю... может быть... о, возьми мое презрение себе в наследство... я умер для тебя.

И он сделал шаг, чтобы выйти, кидая на нее взор, свинцовый, отчаянный взор, один из тех, перед которыми, кажется, стены должны бы были рушиться; горькое негодованье дышало в последних словах Юрия; она не могла вынести долее, вскочила и, рыдая, упала к е<го> ногам. В восторге поднял он ее, прижал к груди своей и долго не мог выговорить двух слов; против его сердца билось другое, нежное, молодое, любящее со всем усердием первой любви. Они сели, смотрели в глаза друг другу, не плакали, не улыбались, не говорили, — это был хаос всех чувств земных и небесных, вихорь, упоение неопределенное, какое не всякий испытал и никто изъяснить не может. Неконченные речи в беспорядке отрывались от их трепещущих губ, и каждое слово стоило поэмы... — само по себе незначащее, но одушевленное звуком голоса, невольным телодвижением — каждое слово было целое блаженство!

— Я любим, любим, любим, — говорил Юрий... — я буду повторять это слово так громко, так часто, что ангелы услышат — и позавидуют...

— Пускай же ангелы — только не люди!..

— Отчего же, мой ангел!..

— Тогда, может быть, они тебя отнимут у бедной Ольги...

— Ты прекрасна! что за пустой страх?.. ты моя — моя...

— Не раба! надеюсь!

— Больше, сокровище!

— О мой милый... целуй, целуй меня... я не хочу быть сокровищем скупого... пускай мне угрожают адские муки... надобно же заплатить судьбе... я счастлива! не правда ли?

— Ты счастлива! позволь мне обнять тебя — крепче, крепче...

— Почему же нет! отдав тебе душу, могу ли отказать в чем-нибудь.

— Эти волосы... прочь их! вот так... чтоб твой поцелуй и мой слились в один...

— Боже, боже... теперь умереть... о! зачем не теперь?

ГЛАВА XIII

— Друг мой, Ольга, есть бог на небесах, — есть на земле счастье...

— Дай бог тебе счастье, если ты веришь им обоим! — отвечала она, и рука ее играла густыми кудрями беспечного юноши; их лодка скользила неприметно вдоль по реке, оставляя белый змеистый след за собою между темными волнами; весла, будто крылья черной птицы, махали по обеим сторонам их лодки; они оба сидели рядом, и по веслу было в руке каждого; студеная влага с легким шумом всплескивала, порою озаряясь фосфорическим блеском, и потом уступала, оставляя быстрые круги, которые постепенно исчезали в темноте; на западе была еще красная черта, граница дня и ночи; зарница, как алмаз, отделялась на синем своде, и свежая роса уж падала на опустелый берег <Суры>; мирные плаватели, посреди усыпленной природы, не думая о будущем, шутили меж собою; иногда Юрий каким-нибудь движением заставлял колебаться лодку, чтоб рассердить, испугать свою подругу, но она умела отомстить за это невинное коварство, неприметно гребла в противную сторону, так что все его усилия делались тщетны, и челнок останавли-

вался, вертелся... смех, ласки, детские опасения, все так отзывалось чистотой души, что если б демон захотел искушать их, то не выбрал бы эту минуту; Ольга не считала свою любовь преступлением; она знала, хотя всячески старалась усыпить эту мысль, знала, что близок ужасный, кровавый день... и... небо должно было заплатить ей за будущее — в настоящем; она имела сильную душу, которая не заботилась о неизбежном и по крайней мере хотела жить — пока жизнь светла; как она благодарила судьбу за то, что брат ее был далеко; один взор этого непонятного, грозного существа оледенил бы все ее блаженство; где взял он эту власть?..

— Будет ли конец нашей любви! — сказал Юрий, перестав грести и положив к ней на плечо голову, — нет, нет!.. она продолжится в вечность, она переживет нашу земную жизнь, и если б наши души не были бессмертны, то она сделала бы их бессмертными; клянусь тебе, ты одна заменишь мне все другие воспоминанья — дай руку... эта милая рука; она так бела, что светит в темноте... смотри, береги же мой перстень, Ольга! ты не слушаешь? не веришь моим клятвам?

Вместо ответа она запела вполголоса следующую песню:

Воет ветер,
Светит месяц:
Девушка плачет —
Милый в чужбину скачет;
Ни дева, ни ветер
Не замолкнут:
Месяц погаснет,
Милый изменит!

— Прочь эту песню, — воскликнул Юрий, — кто тебя ее выучил.

— Никто, сама.

— Не верю. Разве ты во мне сомневаешься!..

— Нет; однако ты слишком обещаешь — мы скоро расстанемся... а там... там...

— О, если только это пугает тебя, то знай... я скоро не поеду... я пробуду здесь еще три месяца...

— Три месяца! боже! — она содрогнулась; ее сердце облилось холодом.

— А потом, — сказал Юрий, стараясь ее утешить и не понимая значения этого «боже», — потом съезжу в полк, возьму отставку и возвращусь опять к тебе... тогда ты будешь моею, вопреки всем ничтожным предрассудкам. Если даже мой отец захочет разлучить нас, если... о нет! — он дал мне жизнь, а ты меня даришь миллионом жизней в каждой улыбке...

— Три месяца, три месяца — и несколько дней, — повторяла, не слушая, Ольга... ее ум остановился на этой пагубной, неизменной мысли.

Они причалили к берегу... уж было очень темно; деревенская церковь с своей странной колокольней рисовалась на полусветлом небосклоне запада, подобно тени великана; и попеременно озаряемые окна дома одни были видны сквозь редкий ветельник.

Они шли под руку, молча, вдоль по узкой тропинке, и, поровнявшись с разрушенной баней, вдруг услышали грубые голоса. «Посмотрим, что такое», — шепнул Юрий. Она машинально остановилась.

— Да скоро ли? — спросил первый голос.

— На днях; уж в округе начинается кутерьма. Да будет ли у вас готово? — сказал другой.

— Все будет — уж это наше дело... одни только не смеем; и до вашего прихода будем молчать... воля твоя.

— Ну, пожалуй.

— Да правда ли, что будут соль и хлеб давать даром?..

— Не ведаю — только будет больно хорошо... а вино будет даром, из барских погребов.., — тут несколько слов Юрий не расслушал.

— Да Вадим был у нас, — сказал первый голос.

При этом имени Ольга с необыкновенной силой увлекла за собою Палицына.

— Куда ты? — сказал он с удивлением, — что с тобою?..

— Скорей! скорей! — больше она не могла выговорить.

«Это должны быть воры!» — подумал Юрий и перестал дивиться ее испугу.

Пришедши домой, Ольга удалилась немедленно в свою комнату и заперлась.

Наталья Сергевна встретила сына и с улыбкой намекнула о его ночной прогулке; что за радость этой доброй женщине; теперь муж ее, верно, не решится погрешить против сына и жены в одно время. «Впрочем, — думала она, — молодым людям простительно шалить; а как седому старику таким вещам прийти в голову — знает царь небесный!..»

— Мы поедем завтра в монастырь, Юрьюшка, — сказала она вошедшему сыну, — Борис Петрович еще долго пропорскает... куда я рада, что ты не в него!..

И точно; предпочитая своей Наталье Сергевне медведей и собак, почтенный помещик не слишком льстил ее самолюбию, хотя у женщин 18 столетия оно не было так взыскательно, как у наших столичных красавиц.

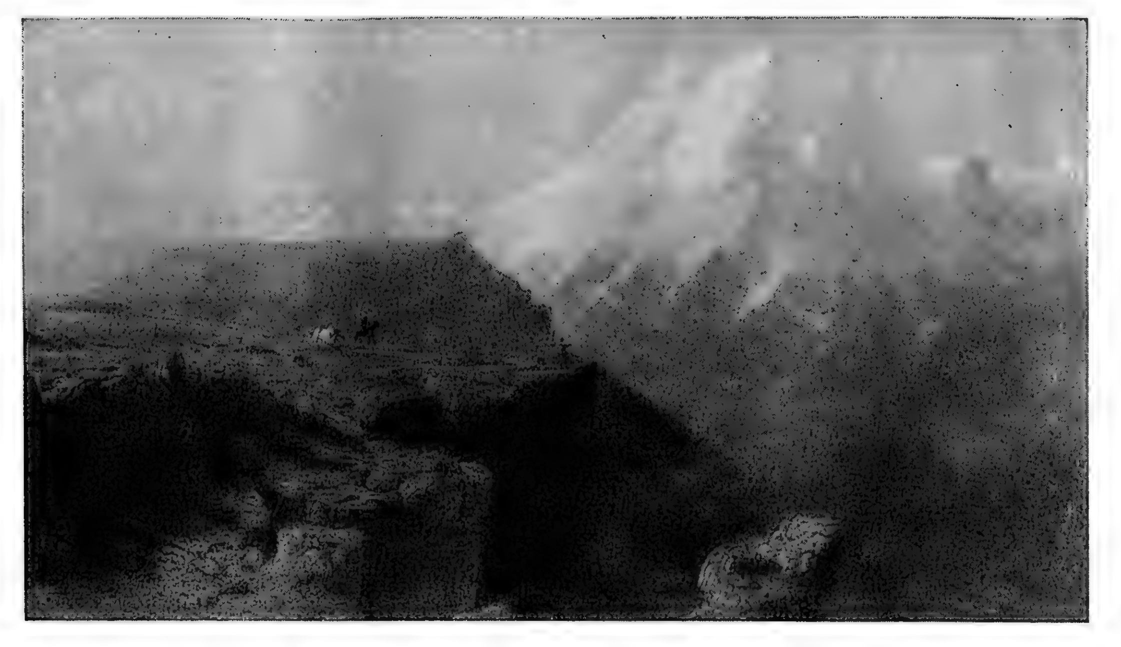
Но век иной, иные нравы!

ГЛАВА XIV

В восьми верстах от деревни Палицына, у глубокого оврага, размытого дождями, окруженная лесом, была деревушка, бедная и мирная; построенная на холме, она господствовала, так сказать, над окрестностями; ее серый дым был виден издалека, и солнце утра золотило ее соломенные крыши, прежде нежели верхи многих лип и дубов. Здесь отдыхал в полдень Борис Петрович с толпою собак, лошадей и слуг; травля была неудачная, две лисы ушли от борзых и один волк отбился; в тороках у стремянного висело только два зайца... и три гончие собаки еще не возвращались из лесу на звук рогов и протяжный крик ловчего, который, лишив себя обеда из усердия, трусил по островам с тщетными надеждами, — Борис Петрович с горя побил двух охотников, выпил полграфина водки и лег спать в избе; на дворе все было живо и беспокойно; собаки, разделенные по сворам, лакали в длинных корытах, лошади валялись на соломе, а бедные всадники поминутно находились принужденными оставлять котел с кашей, чтоб нагайками подымать их. День был ясен и свеж;

Рисунок Лермонтова

Итальянский карандаш



Эльбрус

С картины Лермонтова

северный ветер гнал отрывистые тучки по голубым сводам неба, и вершины лесов шумели, подобно водопаду, качаясь взад и вперед.

Между тем слуги, расположась под навесом, шепотом сообщали друг другу разные известия о самозванце, о близких бунтах, о казни многих дворян — и тайно или явно почти каждый радовался... Это были люди, привыкшие жить в поле, гоняться за зверьми и неспособные к мирным чувствам, к сожалению и большой приверженности; вино, буйство, охота — их единственные занятия, не могли внушить им много набожных мыслей; и если между ними и был один верный, честный слуга, то из осторожности молчал или удалялся. Однажды дошли как-то эти слухи до Бориса Петровича. «Вздор, — сказал он, — как это может быть?..» Такая беспечность погубила многих наших прадедов; они не могли вообразить, что народ осмелится требовать их крови: так они привыкли к русскому послушанию и верности!

— Ты помнишь, недавно, когда барин тебя посылал на три дни в город, — здесь нам рассказывали, что какой-то удалец, которого казаки величают Красной шапкой, все ставит вверх дном, что он кум сатане и сват дьяволу, ха-ха-ха! что будто сам батюшка хотел с ним посоветаться! Видно, хват, — так говорил Вадиму старый ловчий по прозванию Атуев, закручивая длинные рыжие усы.

— Я его знаю, — отвечал Вадим с улыбкой, — и вы его скоро увидите! — В этих словах было столько уверенности, столько убедительной твердости, что поневоле старый ловчий вздрогнул. «Ты черт или Гуммель», — сказал Фильд, когда в первый раз услыхал этого славного артиста; Атуев не сказал, но подумал почти то же самое.

— Когда? — воскликнули многие; и между тем глаза их недоверчиво устремлены были на горбача, который, с минуту помолчав, встал, оседлал свою лошадь, надел рог и выехал со двора.

Удивленная толпа смотрела ему вслед, и по частому топоту они догадались, что Вадим пустился вскачь.

Куда? зачем? — если б рассказывать все их мнения, то мне был бы нужен талант Вальтера Скотта и терпение его читателей.

Густым лесом ехал Вадим; направо и налево расстилались кусты ореховые и кленовые, меж ними возвышались иногда высокие полусухие дубы, с змеистыми сучьями, странные, темные — и в отдалении синели холмы, усыпанные сверху донизу лесом, пересекаемые оврагами, где покрытые мохом болота обманчивой, яркой зеленью манили неосторожного путника. Вадим ехал скоро, и глубокая, единственная дума, подобно коршуну Прометея, пробуждала и терзала его сердце; вдруг звучная, вольная песня привлекла его внимание; он остановился, прислушался... песня была дика и годилась для шума листьев и ветра пустыни; вот она:

Моя мать родная
Кручинушка злая;
Мой отец родной
Назывался судьбой;
Мои братья, хоть люди,
Не хотят к этой груди
   Прижаться,
Им стыдно со мною,
С бедным сиротою,
   Обняться.

Но мне богом дана
Молодая жена,
Вольность-волюшка,
Воля милая,
Несравненная,
Неизменная;

С ней нашлись другие у меня
Мать, отец и семья;
А моя мать — степь широкая,
А мой отец — небо далекое,
А братья мои в лесах
Березы да сосны;

Скачу ли я на коне,
Степь отвечает мне,
Брожу ли поздней порой,
Небо светит луной;
Мои братья в жаркий день,
Призывая под тень,

Машут издали руками,
Кивают мне головами,
А вольность мне гнездо свила,
Как мир, необъятное!

Так пел казак, шагом выезжая на гору по узкой дороге, беззаботно бросив повода и сложа руки. Конь привычный не требовал понуждения; и молодой казак на свободе предавался мечтам своим. Его голос был чист и полон, его сердце казалось таким же.

Не песня, но вид казака сильно подействовал на Вадима; он ударил себя в лоб рукой, как обыкновенно делают, когда является неожиданная мысль.

— Стой, — сказал он, устремив мрачный взор на подъехавшего казака; не знаю, что больше подействовало на последнего, голос или взор? но казак остановился и хотел ухватиться за саблю.

— Не нужно! — продолжал Вадим, — поезжай скажи Белбородке, что послезавтра я его жду к себе в гости; нынешнюю[ю] весну Палицын поставил на дворе новые качели... к двум веревкам не долго прибавить третью... итак, послезавтра... скажи, что Красная шапка ему кланяется. Ступай.

При имени Красной шапки казак почтительно съехал с дороги и дал место Вадиму, который гордо и вместе ласково кивнул головой, ударил нагайкой лошадь... и ускакал.

Надобно иметь слишком великую или слишком ничтожную мелкую душу, чтоб так играть жизнью и смертию!.. одним словом Вадим убил семейство! и что же он такое? — вчера нищий, сегодня раб, а завтра бунтовщик незаметный в пьяной, окровавленной толпе! Не сам ли он создал свое могущество? какая слава, если б он избрал другое поприще, если б то, что сделал для своей личной мести, если б это терпение, геройское терпение, эту скорость мысли, эту решительность обратил в пользу какого-нибудь народа, угнетенного чуждым завоевателем... какая слава! если б, например, он родился в Греции, когда турки угнетали потомков Леонида... а теперь?.. имея в виду одну цель — смерть трех человек, из коих один только виновен, теперь он со всем своим гением должен потонуть в пучине неизвестности...

ужели он родился только для их казни!.. разобрав эти мысли, он так мал сделался в собственных глазах, что готов был бы в один миг уничтожить плоды многих лет; и презрение к самому себе, горькое презрение обвилось как змея вокруг его сердца и вокруг вселенной, потому что для Вадима все заключалось в его сердце!

Теряясь в таких мыслях, он сбился с дороги и (был ли то случай) неприметно подъехал к тому самому монастырю, где в первый раз, прикрытый нищенским рубищем, пламенный обожатель собственной страсти, он предложил свои услуги Борису Петровичу... о, тот вечер неизгладимо остался в его памяти, со всеми своими красками земными и небесными, как пестрый мотылек, утонувший в янтаре. И теперь опять он здесь, теперь, когда, видя близкий конец своего ужасного предприятия, он едва может перенесть тягость одной насмешки самолюбия. Спрашиваю: случай ли привел его сюда!..

Звонили ко всенощной, и протяжный дрожащий вой колокола раздавался в окрестности; солнце было низко, и одна половина стены ярко озарялась розовым блеском заката; народ из соседних деревень, в нарядных одеждах, толпился у святых врат, и Вадим издали узнал длинные дроги Палицына, покрытые узорчатым ковром; кто же здесь? верно, Наталья Сергевна; он привязал свою лошадь к толстой березе и пошел в монастырь; сердце его билось болезненным ожиданием, но скоро перестало — один любопытный взгляд толпы, одно насмешливое слово! и человек делается снова демон!..

Тихо Вадим приближался к церкви; сквозь длинные окна сияли многочисленные свечи, и на тусклых стеклах мелькали колеблющиеся тени богомольцев; но на дворе монастырском все было тихо; в тени, окруженные высокою полынью и рябиновыми кустами, белели памятники усопших с надписями и крестами; свежая роса упадала на них, и вечерние мошки жужжали кругом; у колодца стоял павлин, распуша радужный хвост, неподвижен, как новый памятник; не знаю, с какою целью, но эта птица находится почти во всех монастырях!

По обеим сторонам крыльца церковного сидели нищие, прежние его товарищи... они его не узнали или

не смели узнать... но Вадим почувствовал неизъяснимое сострадание к этим существам, которые, подобно червям, ползают у ног богатства, которые, без родных и отечества, кажется, созданы только для того, чтобы упражнять в чувствительности проходящих!.. но люди ко всему привыкают, и если подумаешь, то ужаснешься; как знать? может быть, чувства святейшие одна привычка, и если б зло было так же редко, как добро, а последнее — наоборот, то наши преступления считались бы величайшими подвигами добродетели человеческой!

Вадим, сказал я, почувствовал сострадание к нищим и остановился, чтобы дать им что-нибудь; вынув несколько грошей, он каждому бросал по одному; они благодарили нараспев, давно затверженными словами и даже не подняв глаз, чтобы рассмотреть подателя милостыни... это равнодушие напомнило Вадиму, где он и с кем; он хотел идти далее, но костистая рука вдруг остановила его за плечо; «Постой, постой, кормилец!» — пропищал хриплый женский голос сзади его, и рука нищенки все крепче сжимала свою добычу; он обернулся — и отвратительное зрелище представилось его глазам: старушка, низенькая, сухая, с большим брюхом, так сказать, повисла на нем; ее засученные рукава обнажали две руки, похожие на грабли, и полусиний сарафан, составленный из тысячи гадких лохмотьев, висел криво и косо на этом подвижном скелете; выражение ее лица поражало ум какой-то неизъяснимой низостью, какой-то гнилостью, свойственной мертвецам, долго стоявшим на воздухе; вздернутый нос, огромный рот, из которого вырывался голос резкий и странный, еще ничего не значили в сравнении с глазами нищенки! вообразите два серые кружка, прыгающие в узких щелях, обведенных красными каймами; ни ресниц, ни бровей!.. и при всем этом взгляд, тяготеющий на поверхности души; производящий во всех чувствах болезненное сжимание!.. Вадим не был суевер, но волосы у него встали дыбом. Он в один миг прочел в ее чертах целую повесть разврата и преступлений, но не встретил ничего похожего на раскаянье; не мудрено, если

он отгадал правду: есть существа, которые на высшей степени несчастия так умеют обрубить, обточить свою бедственную душу, что она теряет все способности, кроме первой и последней: жить!

— Ты позабыл меня, дорогой, позабыл — дай копеечку, — не для бога, для черта... дай копеечку... али позабыл меня! не гордись, что ты холоп барской... чай, недавно валялся вместе...

Вадим вырвался из ее рук.

— Проклят! проклят, проклят! — кричала в бешенстве старуха, — чтобы тебе сгнить живому, чтобы черви твой язык подточили, чтоб вороны глаза проклевали, чтоб тебе ходить спотыкаться, пить захлебнуться... горбатый, урод, холоп... проклят, проклят!..

И снова она уцепилась за полу Вадима; он обернулся и с досады так сильно толкнул ее в грудь, что она упала навзничь на каменное крыльцо; голова ее стукнула, как что-то пустое, и ноги протянулись; она ни слова не сказала больше, по крайней мере Вадим не слыхал, потому что он поспешно взошел в церковь, где толпа слушала с благоговением всенощную, — эти самые люди готовились проливать кровь завтра, нынче! и они, крестясь и кланяясь в землю, поталкивали друг друга, если замечали возле себя дворянина, и готовы были растерзать его на месте; но еще не смели; еще ни один казак не привозил кровавых приказаний в окружные деревни.

Вадим продрался сквозь толпу до самого клироса и, став на амвон, окинул взором всю церковь. Прямой, высокий вызолоченный иконостас был уставлен образами в пять рядов, и огромные паникадила, висящие среди церкви, бросали сквозь дым ладана таинственные лучи на блестящую резьбу и усыпанные жемчугом оклады; задняя часть храма была в глубокой темноте; одна лампада, как запоздалая звезда, не могла рассеять вокруг тяготеющие тени; у стены едва можно было различить бледное лицо старого схимника, лицо, которое вы приняли бы за восковое, если б голова порою не наклонялась и не шевелились губы; черная мантия и клобук увеличивали его бледность, и руки, сложенные на груди

крестом, подобились тем двум костям, которые обыкновенно рисуются под Адамовой головой.

Поближе, между столбами и против царских дверей пестрела толпа. Перед Вадимом было волнующееся море голов, и он с возвышения свободно мог рассматривать каждую; тут мелькали уродливые лица, как странные китайские тени, которые поражали слиянием скотского с человеческим, уродливые черты, которых отвратительность определить невозможно было, но при взгляде на них рождались горькие мысли; тут являлись старые головы, исчерченные морщинами, красные, хранящие столько смешанных следов страстей унизительных и благородных, что сообразить их было бы трудней, чем исчислить; и между ними кое-где сиял молодой взор, и показывались щеки, полные, раскрашенные здоровьем, как цветы между серыми камнями.

Имея эту картину пред глазами, вы без труда могли бы разобрать каждую часть ее; но целое произвело бы на вас впечатление смутное, неизъяснимое; и после, вспоминая, вы не сумели бы ясно представить себе ни одного из тех образов, которые поразили ваше воображение, подали вам какую-нибудь новую мысль и, оставив ее, сами потонули в тумане.

Вадим для рассеянья старался угадывать внутреннее состояние каждого богомольца по его наружности, но ему не удалось; он потерял принятый порядок, и скоро все слилось перед его глазами в пестрое собранье лохмотьев, в кучу носов, глаз, бород; и озаренные общим светом, они, казалось, принадлежали одному, живому, вечно движущемуся существу; одним словом, это была толпа: нечто смешное и вместе жалкое!

Бродячий взгляд Вадима искал где-нибудь остановиться, но картина была слишком разнообразна, и к тому же все мысли его, сосредоточенные на один предмет, не отражали впечатлений внешних; одно мучительно-сладкое чувство ненависти, достигнув высшей своей степени, загородило весь мир, и душа поневоле смотрела сквозь этот черный занавес.

Направо, между царскими и боковыми дверьми, был нерукотворенный образ спасителя удивительной величины; позолоченный оклад, искусно выделанный, сиял как жар, и множество свечей, расставленных на висящем паникадиле, кидали красноватые лучи на возвышающиеся части мелкой резьбы или на круглые складки одежды; перед самым образом стояла железная кружка, — это была милость у ног спасителя, — и над ней внизу образа было написано крупными, выпуклыми буквами: «Приидите ко мне вси труждающиеся, и аз успокою вы!»

Многие приближались к образу и, приложившись, после земляного поклона кидали в кружку медные деньги, которые, упадая, отдавали глухой звук.

Раз госпожа и крестьянка с грудным младенцем на руках подошли вместе; но первая с надменным видом оттолкнула последнюю, и ушибленный ребенок громко закричал; «Не мудрено, что завтра, — подумал Вадим, — эта богатая женщина будет издыхать на виселице, тогда как бедная, хлопая в ладоши, станет указывать на нее детям своим». И отвернувшись, он хотел идти прочь.

Но третья женщина приблизилась к святой иконе, — и — он знал эту женщину!..

Ее кровь — была его кровь, ее жизнь — была ему в тысячу раз дороже собственной жизни, но ее счастье — не было его счастьем, потому что она любила другого, прекрасного юношу, а он, безобразный, хромой, горбатый, не умел заслужить даже братской нежности, он, который любил ее одну в целом божьем мире, ее одну, который за первое непритворное, искреннее «люблю» — с восторгом бросил бы к ее ногам все, что имел, свое сокровище, свой кумир — свою ненависть!.. Теперь было поздно.

Он знал, твердо был уверен, что ее сердце отдано... и навеки. Итак, она для него погибла... и со всем тем, чем более страдал, тем меньше мог расстаться с своей любовью... потому что эта любовь была последняя божественная часть его души, и, угасив ее, он не мог бы остаться человеком.

Не заметив брата, Ольга тихо стала перед образом, бледна и прекрасна; она была одета в черную бархатную шубейку, как в тот роковой вечер, когда Вадим ей открыл свою тайну; большие глаза ее были устремлены на лик спасителя, это была ее единственная молитва, и если б бог был человек, то подобные глаза никогда не молились бы напрасно.

Перекрестясь, она приложилась; яркая риза на минуту потускнела от девственного дыханья.

И когда Ольга вторично подняла взор, то в нем заметна была перемена, довольно странная; удивительный блеск заменил прежнюю томность; это были слезы... одна из них не удержалась на густой реснице, блеснула, как алмаз, и упала.

Конечно, новая надежда вытеснила из ее сердца эти слезы, и Ольга обернулась, чтоб удалиться... и перед ней стоял Вадим; его огненный взгляд в одну минуту высушил слезы, каждая жила ее сердца вздрогнула, дыханье остановилось.

Горе, горе ему! она пришла сюда с верою в душе, а возвратилась с отчаяньем; (все это время дьячок читал козлиным голосом послание апостола Павла, и кругом, ничего не заметив, толпа зевала в немом бездействии... что такое две страсти в целом море равнодушия?)

С горькой, горькой улыбкой Вадим вторично прочел под образом спасителя известный стих: «Приидите ко мне вси труждающиеся, и аз успокою вы!» Что делать! — он верил в бога — но также и в дьявола!

И выходя из храма, он еще раз взглянул на сестру; возле нее стоял Юрий, небрежно чертя на песке разные узоры своей шпагой; и она, прислонясь к стене, не сводила с него очей, исполненных неизъяснимой муки... можно было подумать, что через минуту ей суждено с ним расстаться навсегда.

Но разве несколько дней не короче минуты, когда смерть зовет и любовь потеряла надежду.

— Итак, она точно его любит! — шептал Вадим, неподвижно остановясь в дверях. Одна его рука была за пазухой, а ногти его по какому-то судорожному движению так глубоко врезались в тело, что когда он

вынул руку, то пальцы были в крови... он как безумный посмотрел на них, молча стряхнул кровавые капли на землю и вышел.

На крыльце шумела куча нищих и богомольцев; они составляли кружок, и посреди их на холодных каменных плитах лежала, протянувшись, мертвая старуха.

— Какой-то проходящий толкнул ее... мы думали, что он шутит... она упала, да и окочурилась... черт ее знал! вольно ж было не закричать! — так говорил один нищий; другие повторяли его слова с шумом, оправдываясь в том, что не подали ей помощь, и плачевным голосом защищали свою невинность.

Вадим слышал... но не вспомнил, что *он* толкнул старуху.

— Итак, она его любит! — бормотал он сквозь зубы, садясь на нетерпеливого коня, — итак, она его любит!

Вадим имел несчастную душу, над которой иногда единая мысль могла приобрести неограниченную власть. Он должен бы был родиться всемогущим или вовсе не родиться.

ГЛАВА XV

Между тем перед вратами монастырскими собиралась буйная толпа народа; кое-где показывались казацкие шапки, блистали копья и ружья; часто от общего ропота отделялись грозные речи, дышащие мятежом и убийством, часто раздавались отрывистые песни и пьяный хохот, которые не предвещали ничего доброго, потому что веселость толпы в такую минуту — поцелуй Июды! Что-то ужасное созревало под этой веселостию, подстрекаемой своеволием, возбужденной новыми пришельцами, уже привыкшими к кровавым зрелищам и грабежу свободному...

И все это происходило в виду церкви, где еще блистали свечи и раздавалось молитвенное пение.

Скоро и в церкви пробежал зловещий шепот; понемногу мужики стали из нее выбираться, одни от нетерпения, другие из любопытства, а иные — так, по-

тому что сосед сказал: пойдем, потому что... как не посмотреть, что там делается?

Народ, столпившийся перед монастырем, был из ближней деревни, лежащей под горой; беспрестанно приходили новые помощники, беспрестанно частные возгласы сливались более и более в один общий гул, в один продолжительный, величественный рев, подобный беспрерывному грому в душную летнюю ночь... картина была ужасная, отвратительная... но взор хладнокровного наблюдателя мог бы ею насытиться вполне; тут он понял бы, что такое народ; камень, висящий на полугоре, который может быть сдвинут усилием ребенка, но, несмотря на то, сокрушает все, что ни встретит в своем безотчетном стремлении... тут он увидал бы, как мелкие самолюбивые страсти получают вес и силу оттого, что становятся общими; как народ, невежественный и не чувствующий себя, хочет увериться в истине своей минутной, поддельной власти, угрожая всему, что прежде он уважал или чего боялся, подобно ребенку, который говорит неблагопристойности, желая доказать этим, что он взрослый мужчина!

Вокруг яркого огня, разведенного прямо против ворот монастырских, больше всех кричали и коверкались нищие. Их радость была исступление; озаренные трепетным, багровым отблеском огня, они составляли первый план картины; за ними все было мрачнее и неопределительнее, люди двигались, как резкие, грубые тени; казалось, неизвестный живописец назначил этим нищим, этим отвратительным лохмотьям приличное место; казалось, он выставил их на свет как главную мысль, главную черту характера своей картины...

Они были душа этого огромного тела, потому что нищета — душа порока и преступлений; теперь настал час их торжества; теперь они могли в свою очередь насмеяться над богатством, теперь они превратили свои лохмотья в царские одежды и кровью смывали с них пятна грязи; это был пурпур в своем роде; чем менее они надеялись повелевать, тем ужаснее было их царствование; надобно же вознаградить целую жизнь страданий хотя одной минутой торжества; нанести хотя

один удар тому, чье каждое слово было — обида, один — но смертельный.

Когда служба в монастыре отошла и приезжие богомольцы, толкаясь, кучею повалили на крыльцо, то шум на время замолк, и потом вдруг пробежал зловещий ропот по толпе мятежной, как ропот листьев, пробужденных внезапным вихрем. И неизвестная рука, неизвестный голос подал знак, не условный, но понятный всем, но для всех повелительный; это был бедный ребенок одиннадцати лет не более, который, заграждая путь какой-то толстой барыне, получил от нее удар в затылок и, громко заплакав, упал на землю... этого было довольно: толпа зашевелилась, зажужжала, двинулась, как будто она до сих пор ожидала только эту причину, этот незначащий предлог, чтобы наложить руки на свои жертвы, чтоб совершенно обнаружить свою ненависть! Народ, еще неопытный в таких волнениях, похож на актера, который, являясь впервые на сцену, так смущен новостию своего положения, что забывает начало роли, как бы твердо ее ни знал он; надобно непременно, чтоб суфлер, этот услужливый Протей, подсказал ему первое слово, и тогда можно надеяться, что он не запнется на дороге.

Между тем Юрий и Ольга, которые вышли из монастыря несколько прежде Натальи Сергевны, не захотев ее дожидаться у экипажа и желая воспользоваться душистой прохладой вечера, шли рука об руку по пыльной дороге; чувствуя теплоту девственного тела так близко от своего сердца, внимая шороху платья, Юрий невольно забылся, он обвил круглый стан Ольги одной рукою и другой отодвинул большой бумажный платок, покрывавший ее голову и плечи, напечатлел жаркий поцелуй на ее круглой шее; она запылала, крепче прижалась к нему и ускорила шаги, не говоря ни слова... в это время они находились на перекрестке двух дорог, возле большой засохшей от старости ветлы, коей черные сучья резко рисовались на полусветлом небосклоне, еще хранящем последний отблеск запада.

Вдруг Ольга остановилась; странные звуки, подобные крикам отчаяния и воплю бешенства, поразили слух ее: они постепенно возрастали.

— Что-то ужасное происходит у монастыря, — воскликнула Ольга, — моя душа предчувствует... О Юрий! Юрий!.. если б ты знал, мы гибнем... ты заметил ли зловещий шепот народа при выходе из церкви и заметил ли эти дикие лица нищих, которые радовались и веселились... о, это дурной знак: святые плачут, когда демоны смеются.

Юрий, мрачный, в нерешимости, бежать ли ему на помощь к матери, или остаться здесь, стоял, вперив глаза на монастырь, коего нижние части были ярко освещены огнями; вдруг глаза его сверкнули; он кинулся к дереву; в одну минуту вскарабкался до половины и вскоре с помощью толстых сучьев взобрался почти на самый верх.

— Что видишь ты? — спросила трепетная Ольга.

Он не отвечал; была минута, в которую он так сильно вздрогнул, что Ольга вскрикнула, думая, что он сорвется; но рука Юрия как бы машинально впилась в бесчувственное дерево; наконец, он слез, молча сел на траву близ дороги и закрыл лицо руками.

— Что видел ты? — говорила девушка, — отчего твои руки так холодны и лицо так влажно?..

— Это роса, — отвечал Юрий, отирая хладный пот с чела и вставая с земли. — Все кончено... напрасно — я бессилен против этой толпы. Она погибла — о провидение, — что мне делать, что мне делать, отвечай мне, творец всемогущий! — воскликнул он, ломая руки и скрежеща зубами.

Ночь делалась темнее и темнее; и Ольга, ухватясь за своего друга, с ужасом кидала взоры на дальний монастырь, внимая гулу и воплям, разносимым по полю возрастающим ветром; вдруг шум колес и топот лошадиный послышались по дороге; они постепенно приближались, и вскоре подъехал к нашим странникам мужик в пустой телеге; он ехал рысью, правил стоя и пел какую-то нескладную песню. Поровнявшись с Юрием, он приостановил свою буланую лошадь.

— Что, боярин, — сказал он насмешливо, поглаживая рыжую бороду, — аль там не пирогами кормят; что ты больно поторопился домой-то... да еще пешечком, сем-ка довезу!..

Юрий, не отвечая ни слова, схватил лошадь под уздцы.

— Что ты, что ты, боярин! — закричал грубо мужик, — уж не впрямь ли хочешь со мною съездить!.. эк всполошился! — продолжал он, ударив лошадь кнутом и присвистнув; добрый конь рванулся... но Юрий, коего силы удвоило отчаяние, так крепко вцепился в узду, что лошадь принуждена была кинуться в сторону; между тем колесо телеги сильно ударилось о камень, и она едва не опрокинулась; мужик, потерявший равновесие, упал, но не выпустил вожжи; он уж занес ногу, чтоб опять вскочить в телегу, когда неожиданный удар по голове поверг его на землю и сильная рука вырвала вожжи... «Разбой!» — заревел мужик, опомнившись и стараясь приподняться; но Юрий уже успел схватить Ольгу, посадить ее в телегу, повернуть лошадь и ударить ее изо всей мочи; она кинулась со всех ног; мужик еще раз успел хриплым голосом закричать: «Разбой!» Колесо переехало ему через грудь, и он замолк, вероятно навеки.

Ужасна была эта ночь, — толпа шумела почти до рассвета, и кровавые потешные огни встретили первый луч восходящего светила; множество нищих, обезображенных кровью, вином и грязью, валялось на поляне, иные из них уж собирались кучками и расходились; в многих местах опаленная трава и черный пепел показывали место угасшего костра; на некоторых деревьях висели трупы... два или три, не более... Один из них по всем приметам был некогда женщиной, но, обезображенный, он едва походил на бренные остатки человека; и даже ближайшие родственники не могли бы в нем узнать добрую <Наталью> Сергевну.

ГЛАВА XVI

Я попрошу своего или своих любезных читателей перенестись воображением в ту малую лесную деревеньку, где Борис Петрович со своей охотой основал главную свою квартиру, находя ее центром своих операционных пунктов; накануне травля была удачная;

поздно наш старый охотник возвратился на ночлег, досадуя на то, что его стремянный, Вадим, уехав бог знает зачем, не возвратился. В избе, где он ночевал, была одна хозяйка, вдова, солдатка лет тридцати, довольно белая, здоровая, большая, русая, черноглазая, полногрудая, опрятная, — и потому вы легко отгадаете, что старый наш прелюбодей, несмотря на серебристую оттенку волос своих и на рождающиеся признаки будущей подагры, не смотрел на нее философическим взглядом, а старался всячески выиграть ее благосклонность, что и удалось ему довольно скоро и без больших убытков и хлопот. Уж давно лучина была погашена; уж петух, хлопая крыльями, сбирался в первый раз пропеть свою сиповатую арию; уж кони, сытые по горло, изредка только жевали остатки хрупкого овса, и в избе на полатях, рядом с полногрудой хозяйкою, Борис Петрович храпел непомилованно; вероятно, утомленный трудами дня, и (вероятнее) упоенный сладкой водочкой и поцелуями полногрудой хозяйки, и успокоенный чистой и непорочной совестью, он еще долго бы продолжал храпеть и переворачиваться со стороны на сторону, если б вдруг среди глубокой тишины сильная, неведомая рука не ударила три раза в ворота так, что они затрещали. Собаки жалобно залаяли, и хозяйка, вздрогнув, проснулась, перекрестилась и, протирая кулаками опухшие глаза и разбирая растрепанные волосы, молвила: «Господи, боже мой! да кто это там!.. наше место свято!.. да что это как стучат». Она слезла и подошла к окну; отворила его: ночной ветер пахнул ей на открытую потную грудь, и она, с досадой высунув голову на улицу, повторила свои вопросы; в самом деле, буланая лошадь в хомуте и шлее стояла у ворот и возле нее человек, незнакомый ей, но с виду не старый и не крестьянин.

— Отопри проворнее!.. — закричал он громовым голосом.

— Экой скорый! — пробормотала солдатка, захлопнув окно, — подождешь, не замерзнешь!.. не спится, видно, тебе, так бродишь по лесу, как леший проклятый... — Она надела шубу, вышла, разбудила работника, и тот, наконец, отпер скрипучую калитку, браня

приезжего; но сей последний едва лишь ворвался на двор и узнал от работника, что Борис Петрович тут, как опрометью бросился в избу.

— Батюшка! — сказал Юрий, которого вы, вероятно, узнали, приметно изменившимся голосом и в потемках ощупывая предметы, — проснитесь! где вы!.. проснитесь!.. дело идет о жизни и смерти!.. Послушай, — продолжал он шепотом, обратясь к полусонной хозяйке и внезапно схватив ее за горло, — где мой отец? что вы с ним сделали?..

— Помилуй, барин, что ты, рехнулся, што ли... я закричу... да пусти, пусти меня, окаянный... да разве не слышишь, как он на полатях-то храпит... — И задыхаясь, она старалась вырваться из рук Юрия...

— Что за шум! кто там развозился! Петрушка, Терешка, Фотька!.. ей вы... — закричал Борис Петрович, пробужденный шумом и холодным ветром, который рвался в полурастворенные двери, свистя и завывая, подобно лютому зверю.

— Батюшка! — говорил Юрий, пустив обрадованную женщину, — сойдите скорее... жизнь и смерть, говорю я вам!.. сойдите, ради неба или ада...

— Да что ты за человек, — бормотал Борис Петрович, сползая с печи...

— Я! ваш сын... Юрий...

— Юрий... что это значит... объясни... зачем ты здесь... и в это время!..

Он в испуге схватил сына за руки и смотрел ему в глаза, стараясь убедиться, что это он, что это не лукавый призрак.

— Батюшка! мы погибли!.. народ бунтует! да! и у нас... я видел, когда проскакал, на улице села и вокруг церкви толпились кучи народа... и некоторые восклицания, долетевшие до меня, показывают, что они ждут если не самого Пугачева... то казаков его... спасайтесь!..

— А <Наталья> Сергевна!... а вещи мои...

— Матушка... не говорите об ней...

— Она...

— Спасайтесь! — сказал мрачно Юрий, крепко обняв отца своего; горячая слеза брызнула из глаз

юноши и упала, как искра, на щеку старика и обожгла ее...

— О!.. — завопил он. — Кто б мог подумать! поверить!.. кто ожидал, что эта туча доберется и до нас, грешных! о господи! господи!.. куда мне деваться!.. все против нас... бог и люди... и кто мог отгадать, что этот Пугачев будет губить кого же? — русское дворянство! — простой казак!.. боже мой! святые отцы!

— Нет ли у вас с собою кого-нибудь, на чью верность вы можете надеяться! — сказал быстро Юрий.

— Нет! нет! никого нет!..

— Фотька Атуев?..

— Я его сегодня прибил до полусмерти, каналью!

— Терешка!..

— Он давно желал бы мне нож в бок за жену свою... разбойники, антихристы!.. о, спаси меня! сын мой...

— Мы погибли! — молвил Юрий, сложив руки и подняв глаза к небу. — Один бог может сохранить нас!.. молитесь ему, если можете...

Борис Петрович упал на колена; и слезы рекой полились из глаз его; малодушный старик! он ожидал, что целый хор ангелов спустится к нему на луче месяца и унесет его на серебряных крыльях за тридевять земель.

Но не ангел, а бедная солдатка с состраданием подошла к нему и молвила: «Я спасу тебя».

В важные эпохи жизни иногда в самом обыкновенном человеке разгорается искра геройства, неизвестно доселе тлевшая в груди его, и тогда он свершает дела, о коих до сего ему не случалось и грезить, которым даже после он сам едва верует. Есть простая пословица: «Москва сгорела от копеешной свечки!»

Между тем хозяйка молча подала знак рукою, чтоб они оба за нею следовали, и вышла; на цыпочках они миновали темные сени, где спал стремянный Палицына, и осторожно спустились на двор по четырем скрыпучим и скользким ступеням; на дворе все было тихо: собаки на сворах лежали под навесом, и изредка

лишь фыркали сытые кони или охотник произносил во сне бессвязные слова, поворачиваясь на соломе под теплым полушубком. Когда они миновали анбар и подошли к задним воротам, соединявшим двор с обширным огородом, усеянным капустой, коноплями, редькой и подсолнечниками и оканчивающимся тесным гумном, где только две клади, как будки, стоя по углам, казалось, сторожили высокий и пустой овин, возвышающийся посередине, то раздался чей-то голос, вероятно одного из пробудившихся псарей.

— Кто там? — спросил он.

— Разве не видишь, что хозяева, — отвечала солдатка; заметив, что псарь приближался к ней переваливаясь, как бы стараясь поддержать свою голову в равновесии с прочими частями тела, она указала своим спутникам большой куст репейника, за который они тотчас кинулись, и хладнокровно остановилась у ворот.

— А разве красавицам пристало гулять по ночам? — сказал, почесывая бока, пьяный псарь и тяжелой своей лапой с громким смехом ударил ее по плечу!..

— И, батюшка! что я за красавица! с нашей работки-то не больно разжиреешь!..

— Уж не ломайся, знаем мы!.. экая гладкая! у барина, видно, губа не дура... эк ты прижила себе старого черта!.. да небось! несдобровать ему, высчитаем мы ему наши слезки... дай срок! батюшка Пугачев ему рыло-то обтешет... пусть себе не верит... а ты, моя молодка... за это поцелуй меня.

Он хотел обнять ее, но она увернулась, и наш проворный рыцарь спьяну наткнулся на оглоблю телеги... спотыкнулся, упал, проворчал несколько ругательств, и заснул он или нет — не знаю, по крайней мере не поднялся на ноги и остался в сладком самозабвении.

Легко вообразить, с каким нетерпением отец и сын ожидали конца этой неприятной сцены... наконец, они вышли в огород и удвоили шаги. Сильно бились сердца их, стесненные непонятным предчувствием; они шли, удерживая дыхание, скользя по росистой траве, продираясь между коноплей и вязких гряд, зацепляя

поминутно ногами или за кирпич, или за хворост; вороньи пугалы казались им людьми, и каждый раз, когда полевая крыса кидалась из-под ног их, они вздрагивали, Борис Петрович хватался за рукоятку охотничьего ножа, а Юрий за шпагу... но, к счастию, все их страхи были напрасны, и они благополучно приближились к темному овину; хозяйка вошла туда, за нею Борис Петрович и Юрий; она подвела их к одному темному углу, где находилось два сусека, один из них с хлебом, а другой до половины наваленный соломой.

— Полезай сюда, барин, — сказала солдатка, указывая на второй, — да заройся хорошенько с головой в солому, и кто бы ни приходил, что бы тут ни делали... не вылезай без меня; а я, коли жива буду, тебя не выдам; что б ни было, а этого греха не возьму на свою душу!..

Когда Борис Петрович влез, то Юрий, вместо того чтоб следовать его примеру, взглянул на небо и сказал твердым голосом:

— Прощайте, батюшка, будьте живы... ваше благословение! может быть, мы больше не увидимся. — Он повернулся и быстро пустился назад по той же дороге; взойдя на двор, он, не будучи никем замечен, отвязал лучшую лошадь, вскочил на нее и пустился снова через огород, проскакал гумно, махнул рукою удивленной хозяйке, которая еще стояла у дверей овина, и, перескочив через ветхий, обвалившийся забор, скрылся в поле, как молния; несколько минут можно было различить мерный топот скачущего коня... он постепенно становился тише и тише и, наконец, совершенно слился с шепотом листьев дубравы.

«Куда этот верченый пустился! — подумала удивленная хозяйка, — видно, голова крепка на плечах, а то кто бы ему велел таскаться, — ну, не дай бог, наткнется на казаков — и поминай как звали буйнова мо́лодца, — ох! ох! ох! больно меня раздумье берет!.. спрятала-то я старого, спрятала, а как станут меня бить да мучить... ну, уж коли на то пошла, так берегись, баба!.. не давши слова — держись, а давши — крепись... только бы он сам не оплошал!»

ГЛАВА XVII

В эту же ночь, богатую событиями, Вадим, выехав из монастыря, пустился блуждать по лесу, но конь, устав продираться сквозь колючий кустарник, сам вывез его на дорогу в село Палицына.

Задумавшись ехал мрачный горбач, сложа руки на груди и повеся голову; его охотничья плеть моталась на передней луке казацкого седла, и добрый степной конь его, горячий, щекотливый от природы, понемногу стал прибавлять ходу, сбился на рысь, потом, чувствуя, что повода висят покойно на его мохнатой шее, зафыркал, прыгнул и ударился скакать... Вадим опомнился, схватил поводья и так сильно осадил коня, что тот сразу присел на хвост, замотал головою, сделал еще два скачка вбок и остановился: теплый пар поднялся от хребта его, и пена, стекая по стальным удилам, клоками падала на землю.

— Куда торопишься? чему обрадовался, лихой товарищ? — сказал Вадим... — но тебя ждет покой и теплое стойло; ты не любишь, ты не понимаешь ненависти; ты не получил от благих небес этой чудной способности: находить блаженство в самых диких страданиях... о, если б я мог вырвать из души своей эту страсть, вырвать с корнем, вот так! — и он, наклонясь, вырвал из земли высокий стебель полыни. — Но нет! — продолжал он... — одной капли яда довольно, чтоб отравить чашу, полную чистейшей влаги, и надо ее выплеснуть всю, чтобы вылить яд... — Он продолжал свой путь, но не шагом; неведомая сила влечет его; неутомимый конь летит, рассекает упорный воздух; волосы Вадима развеваются, два раза шапка чуть-чуть не слетела с головы; он придерживает ее рукою... и только изредка поталкивает ногами скакуна своего; вот уж и село... церковь... кругом огни... мужики толпятся на улице в праздничных кафтанах... кричат, поют песни... то вдруг замолкнут, то вдруг сильней и громче пробежит говор по пьяной толпе... Вадим привязывает коня к забору и неприметно вмешивается в толпу... Эти огни, эти песни — все дышало тогда какой-то насильственной веселостью, принимало вид языческого

празднества, и даже в песнях часто повторяемые имена «диди» и «ладо» могли бы ввести в это заблуждение неопытного чужестранца.

— Ну! Вадимка! — сказал один толстый мужик с редкой бородою и огромной лысиной... — как слышно! скоро ли наш батюшка-то пожалует.

— Завтра — в обед, — отвечал Вадим, стараясь отделаться.

— Ой ли? — подхватил другой, — так, стало быть, не нонче, а завтра... так.. так!.. а что, как слышно?.. чай, много с ним рати военной... чай, казаков-то видимо-невидимо... а что, у него серебряный кафтан-то?

— Ах ты дурак, дурак, забубенная башка... — сказал третий, покачивая головой, — эко диво серебряный... чай, не только кафтан, да и сапоги-то золотые...

— Да кто ему подносить станет хлеб с солью? — чай, всё старики...

— Вестимо... Послушай, брат Вадим, — продолжал четвертый, огромный детина, черномазый, с налитыми кровью глазами, — где наш барин-то!.. не удрал бы он... а жаль бы было упустить... уж я бы его попотчевал... он и в могилу бы у меня с оскоминою лег...

«Нет, нет! — подумал Вадим, удаляясь от них, — это моя жертва... никто не наложит руки на него, кроме меня. Никто не услышит последнего его вопля, никто не напечатлеет в своей памяти последнего его взгляда, последнего судорожного движения, кроме меня... Он мой — я купил его у небес и ада; я заплатил за него кровавыми слезами; ужасными днями, в течение коих мысленно я пожирал все возможные чувства, чтоб под конец у меня в груди не осталось ни одного, кроме злобы и мщения... о! я не таков, чтобы равнодушно выпустить из рук свою добычу и уступить ее вам... подлые рабы!..»

Он быстрыми шагами спустился в овраг, где протекал небольшой гремучий ручей, который, прыгая через камни и пробираясь между сухими вербами, с журчанием терялся в густых камышах и безмолвно сливался с <Сурою>. Тут все было тихо и пусто; на противной стороне возвышался позади небольшого сада господский дом с многочисленными службами... он был

темен... ни в одном окне не мелькала свечка, как будто все его жители отправились в дальную дорогу... Вадим перебрался по доскам через ручей и подошел к ветхой бане, находящейся на полугоре и окруженной густыми рябиновыми кустами... ему показалось, что он заметил слабый свет сквозь замок двери; он остановился и на цыпочках подкрался к окну, плотно закрытому ставнем...

В бане слышались невнятные голоса, и Вадим припав под окном в густую траву, начал прилежно вслушиваться: его сердце, закаленное противу всех земных несчастий, в эту минуту сильно забилось, как орел в железной клетке при виде кровавой пищи... Вадим удивился, как удивился бы другой, если б среди зимней ночи ударил гром... он крепко прижал руку к груди своей и прошептал: «Спи, безумное! спи... твоя пора прошла или еще не настала! но к чему теперь! разве есть близко тебя существо, которое ты ненавидишь?.. говори?..» — и он, задержав дыхание, снова приложил ухо к окну — и услышал:

1 голос. Прощай, мой друг... навсегда...

2 голос. Мне тебя покинуть? Нет, если б на этом пороге было написано судьбою: *смерть* — то я перескочил бы... обнял тебя... и умер...

1 голос. Но я в безопасности!.. я существо ничтожное; я останусь незамечена среди общего волнения...

2 голос. Нет, невозможно... долг зовет меня к отцу... я спасу его и вернусь... мир без тебя? что такое!.. храм без божества... зачем мне бежать от опасности... разве провидение не настигнет меня везде, если я должен погибнуть!..

1 голос. Жестокий! так ты не хочешь... послушай! ради бога... беги...

2 голос. Нет!.. прощай... через несколько часов я снова буду с тобою.

Голоса замолкли, и слышно было, как дверь бани скрыпнула, отворяясь, и как опять захлопнулась, и Вадим видел, как кто-то, подобно призраку, мелькнул в овраге, потом на горе, перескочил через плетень, перерезывающий овраг, и скрылся в ночном тумане...

Вадим встал, подошел к двери и твердою рукою толкнул ее; защелка внутри сорвалась, и роковая дверь со скрыпом распахнулась... кто-то вскрикнул... и все замолкло снова... Вадим взошел, торжественно запер за собою дверь и остановился... на полу стоял фонарь... и возле него сидела, приклонив бледную голову к дубовой скамье... Ольга!..

Убийственная мысль как молния озарила ум бедного горбача; он отгадал в одно мгновение, кто был этот второй голос, о ком так нежно заботилась сестра его, как будто в нем одном были все надежды, вся любовь ее сердца...

Неподвижна сидела Ольга, на лице ее была печать безмолвного отчаяния, и глаза изливали какой-то однообразный, холодный луч, и сжатые губки казались растянуты постоянной улыбкой, но в этой улыбке дышал упрек провидению... Фонарь стоял у ног ее, и догорающий пламень огарка сквозь зеленые стеклы слабо озарял нижние части лица бедной девушки; ее грудь была прикрыта черной душегрейкой, которая по временам приподымалась, и длинная полуразвитая коса упадала на правое плечо ее.

Вадим стоял перед ней, как Мефистофель перед погибшею Маргаритой, с язвительным выражением очей, как раскаяние перед душою грешника; сложа руки, он ожидал, чтоб она к нему обернулась, но она осталась в прежнем положении, хотя молвила прерывающимся голосом:

— Чего ты от меня еще хочешь...

— Еще? а что же я прежде от тебя требовал? каких жертв?.. говори, Ольга? разве я силою заставил тебя произнести клятву... ты помнишь!.. разве я виноват, что роковая минута настала прежде, чем находишь это удобным?..

— О... ты хищный зверь, а не человек!..

— Ольга... твой отец был мой отец!

— Не верю, не могу верить... чтобы он, в жилище святых, желал погибели этого семейства, желал сделать нас преступными... нет! ты не брат мой!.. прочь — я ненавижу... презираю тебя...

— Ненавидишь: так... а презирать не можешь...

— Презираю...

— Ты боишься меня... — он дико засмеялся и подошел ближе.

— Вадим... ради отца нашего... удались... от тебя веет смертным холодом...

— Нет, Ольга... я останусь здесь целую ночь...

— Боже! — прошептала, вздрогнув, несчастная девушка, сердце сжалось... и смутное подозрение пробудилось в нем; она встала; ноги ее подгибались... она хотела сделать шаг и упала на колени...

— Послушай! — сказал Вадим, приподняв сестру; посадив ее на лавку, он взял ее влажную руку и, стараясь смягчить голос, продолжал: — Послушай! было время, когда я думал твоей любовью освятить мою душу... были минуты, когда, глядя на тебя, на твои небесные очи, я хотел разом разрушить свой ужасный замысел, когда я надеялся забыть на груди твоей все прошедшее как волшебную сказку... Но ты не захотела, ты обманула меня — тебя пленил прекрасный юноша... и безобразный горбач остался один... один... как черная тучка, забытая на ясном небе, на которую ни люди, ни солнце не хотят и взглянуть... да, ты этого не можешь понять... ты прекрасна, ты ангел, тебя не любить — невозможно... я это знаю... о, да посмотри на меня; неужели для меня нет ни одного взгляда, ни одной улыбки... все ему! все ему!.. да знаешь ли, что он должен быть доволен и десятою долею твоей нежности, что он не отдаст, как я, за одно твое слово всю свою будущность... о, да это невозможно тебе постигнуть... если б я знал, что на моем сердце написано, как я тебя люблю, то я вырвал бы его сию минуту из груди и бросил бы к тебе на колена... о, одно слово, Ольга, чтоб я не проклял тебя... умирая...

— Проклинай! — ответствовала она холодно.

Вадим, неподвижный, подобный одному из тех безобразных кумиров, кои доныне иногда в степи заволжской на холме поражают нас удивлением, стоял перед ней, ломая себе руки, и глаза его, полузакрытые густыми бровями, выражали непобедимое страдание... все было тихо, лишь ветер, по временам пробегая по

крыше бани, взрывал гнилую солому и гудел в пустой трубе... Вадим продолжал:

— Еще несколько слов, Ольга... и я тебя оставлю. Это мое последнее усилие... если ты теперь не сжалишься, то знай — между нами нет более никаких связей родства... я освобождаю тебя от всех клятв, мне не нужно женской помощи; я безумец был, когда хотел поверить слабой девушке бич небесного правосудия... но довольно! довольно. Послушай: если б бедная собака, иссохшая, полуживая от голода и жажды, с визгом приползла к ногам твоим, а у тебя бы был кусок хлеба, один кусок хлеба... отвечай, что бы ты сделала?..

— Сердце не кусок хлеба, оно не в моей власти...

— А! не в твоей власти!.. А! но разве я это у тебя спрашивал?..

— Ты хотел ответа... я отвечала.

— В тебе нет жалости!

— А в тебе есть жалость?

— Так ты его очень, очень любишь?

— Больше всего на свете...

— А!.. больше всего на свете... Но это напрасно!..

— Да, я его люблю — люблю, и никакая власть не разлучит нас.

— Ошибаешься, — воскликнул с горьким хохотом горбач... — он непременно должен умереть... и очень скоро!

— Я умру вместе с ним...

— О нет! ты не умрешь... не надейся!..

— Я надеюсь на бога... он возьмет нас вместе к себе или спасет его, несмотря на всю твою злобу...

— Не говори мне про бога!.. он меня не знает; он не захочет у меня вырвать обреченную жертву — ему все равно... и не думаешь ли ты смягчить его слезами и просьбами?.. Ха, ха, ха!.. Ольга, Ольга, — прощай, я иду от тебя... но помни последние слова мои: они сто́ят всех пророчеств... я говорю тебе: он погибнет, ты к мертвому праху прилепила сердце твое... его имя вычеркнуто уже этой рукою из списка живущих... да! — продолжал он, после минутного молчания, — и

если хочешь, я в доказательство принесу тебе его голову...

Он отвернулся, хотел, по-видимому, что-то прибавить, но голос замер на посиневших губах его, он закрыл лицо руками и выбежал... быть может, желая утаить смущение или невольные слезы или стремясь с сильнейшим порывом бешенства исполнить немедленно свое ужасное обещание...

Ольга осталась почти без чувств, в забытьи. Она едва видела, как брат ее скрылся, едва слышала удар захлопнувшейся двери...

ГЛАВА XVIII

До сих пор в густых лесах Нижегородской, Симбирской, Пензенской и Саратовской губернии, некогда непроходимых, кроме для медведей, волков и самых бесстрашных их гонителей, любопытный может видеть пещеры, подземные ходы, изрытые нашими предками, кои в них искали некогда убежище от набегов татар, крымцев и впоследствии от киргизов и башкир, угрожавших мирным деревням даже в царствование императрицы Елизаветы Петровны; последний набег был в 1769 году; но тогда, встретив уже войска около сих мест, башкиры принуждены были удалиться, не дойдя несколько верст до Саратова и не причинив значительного вреда. Случалось даже, что целые деревни были уведены в плен и рассеяны. Во времена, нами описываемые, эти пещеры не были еще, как теперь, завалены сухими листьями и хворостом; и одна из них находилась не в большом расстоянии от деревни Палицына. Народ дал ей прозвание Чертова логовища, и суеверные предания населили ее страшными кикиморами и рогатыми лешими.

Чтобы из села Палицына кратчайшим путем достигнуть этой уединенной пещеры, должно бы было переплыть реку и версты две идти болотистой долиной, усеянной кочками, ветловыми кустами и покрытой высоким камышом; только некоторые из окрестных жителей умели по разным приметам пробираться чрез это

опасное место, где коварная зелень мхов обманывает неопытного путника и высокий тростник скрывает ямы и тину; болото оканчивается холмом, через который прежде вела тропинка и, спустясь с него, поворачивала по косогору в густой и мрачный лес; на опушке столетние липы, как стражи, казалось, простирали огромные ветви, чтоб заслонить дорогу; казалось, на узорах их сморщенной коры был написан адскими буквами этот известный стих Данта: «*Lasciate ogni speranza voi ch'entrate!*»[1] Тут тропинка снова постепенно ползла на отлогую длинную гору, извиваясь между дерев как змея, исчезая по временам под сухими хрупкими листьями и хворостом. Наконец, лес начинал редеть, сквозь забор темных дерев начинало проглядывать голубое небо, и вдруг открывалась круглая луговина, обведенная лесом как волшебным очерком, блистающая светлою зеленью и пестрыми высокими цветами, как островок среди угрюмого моря — на ней во время осени всегда являлся высокий стог сена, воздвигнутый трудолюбием какого-нибудь бедного мужика; грозно-молчаливо смотрели на нее друг из-за друга ели и березы, будто завидуя ее свежести, будто намереваясь толпой подвинуться вперед и злобно растоптать ее бархатную мураву. От сей луговины еще три версты до Чертова логовища, но тропинки уже нет нигде... и должно идти все на восток, стараясь как можно менее отклоняться от сего направления. Лес не так высок, но колючие кусты, хмель и другие растения переплетают неразрывною сеткою корни дерев, так что за три сажени нельзя почти различить стоящего человека; иногда встречаются глубокие ямы, гнезда бурею вырванных дерев, коих гнилые колоды, обросшие зеленью и плющом, с своими обнаженными сучьями, как крепостные рогатки, преграждают путь; под ними, выкопав себе широкое логовище, лежит зимой косматый медведь и сосет неистощимую лапу; дремучие ели как черный полог наклоняются над ним и убаюкивают его своим непонятным шепотом. Пройдя таким образом немного

---

[1] Оставь надежду всякий сюда входящий! (*итал.*)

более двух верст, слышится что-то похожее на шум падающих вод, хотя человек, не привыкший к степной жизни, воспитанный на булеварах, не различил бы этот дальний ропот от говора листьев; тогда, кинув глаза в ту сторону, откуда ветер принес сии новые звуки, можно заметить крутой и глубокий овраг; его берег обсажен наклонившимися березами, коих белые нагие корни, обмытые дождями весенними, висят над бездной длинными хвостами; глинистый скат оврага покрыт камнями и обвалившимися глыбами земли, увлекшими за собою различные кусты, которые беспечно принялись на новой почве; на дне оврага, если подойти к самому краю и наклониться, придерживаясь за надежные дерева, можно различить небольшой родник, но чрезвычайно быстро катящийся, покрывающийся по временам пеною, которая, белее пуха лебяжьего, останавливается клубами у берегов, держится несколько минут и, вновь увлечена стремлением, исчезает в камнях и рассыпается об них радужными брызгами. На самом краю сего оврага снова начинается едва приметная дорожка, будто выходящая из земли; она ведет между кустов вдоль по берегу рытвины и наконец, сделав еще несколько извилин, исчезает в глубокой яме, как уж в своей норе; но тут открывается маленькая поляна, уставленная несколькими высокими дубами; посередине возвышаются три кургана, образующие правильный треугольник; покрытые дерном и сухими листьями, они похожи с первого взгляда на могилы каких-нибудь древних татарских князей или наездников, но, взойдя в середину между них, мнение наблюдателя переменяется при виде отверстий, ведущих под каждый курган, который служит как бы сводом для темной подземной галереи; отверстия так малы, что едва на коленах может вползти человек, но когда сделаешь так несколько шагов, то пещера начинает расширяться все более и более, и, наконец, три человека могут идти рядом без труда, не задевая почти локтем до стены; все три хода ведут, по-видимому, в разные стороны, сначала довольно круто спускаясь вниз, потом по горизонтальной линии, но галерея, обращенная к оврагу, имеет особенное

устройство: несколько сажен она идет отлогим скатом, потом вдруг поворачивает направо, и горе любопытному, который неосторожно пустится по этому новому направлению; она оканчивается обрывом или, лучше сказать, поворачивает вертикально вниз: должно надеяться на твердость ног своих, чтоб спрыгнуть туда; как ни говори — две сажени не шутка; но тут оканчиваются все искусственные препятствия; она идет назад, параллельно верхней своей части и в одной с нею вертикальной плоскости, потом склоняется налево и впадает в широкую круглую залу, куда также примыкают две другие; эта зала устлана камнями, имеет в стенах своих четыре впадины в виде нишей (niches); посередине один четвероугольный столб поддерживает глиняный свод ее, довольно искусно образованный; возле столба заметна яма, быть может служившая некогда вместо печи несчастным изгнанникам, которых судьба заставляла скрываться в сих подземных переходах; среди глубокого безмолвия этой залы слышно иногда журчание воды: то светлый, холодный, но маленький ключ, который, выходя из отверстия, сделанного, вероятно с намерением, в стене, пробирается вдоль по ней и наконец, скрываясь в другом отверстии, обложенном камнями, исчезает; немолчный ропот беспокойных струй оживляет это мрачное жилище ночи, как песни узника оживляют безмолвие темницы; все эти признаки доказывают, что наши предки могли бы и намеревались выдержать здесь продолжительную осаду. Впрочем, камни и земля — все поросло мохом, при свете фонаря можно различить в стене норы земляных крыс и других скромных зверков, любителей мрака и неизвестности; инде свод начал обсыпаться, и от прежней правильности и симметрии почти не осталось никаких следов.

Борис Петрович знал это место, ибо раза два из любопытства, будучи на охоте, он подъезжал к нему, хотя ни разу не осмелился проникнуть в внутренность мрачных переходов; когда он опомнился от страха, то Чертово логовище, несмотря на это адское прозвание, представилось его мысли как единственное безопасное убежище... ибо остаться здесь,

в старом овине, так близко от спящих палачей своих, было бы безрассудно... но как туда пробраться?

Я должен вам признаться, милые слушатели, что Борис Петрович боялся смерти!.. чувство, равно свойственное человеку и собаке, вообще всем животным... но дело в том, что смерть Борису Петровичу казалась ужаснее, чем она кажется другим животным, ибо в эти минуты тревожная душа его, обнимая все минувшее, была подобна преступнику, осужденному испанской инквизицией упасть в колючие объятия мадонны долорозы (madona dolorosa), этого искаженного, богохульного, страшного изображения святейшей святыни... О! я вам отвечаю, что Борис Петрович больше испугался, чем неопытный должник, который в первый раз, обшаривая пустые карманы, слышит за дверьми шаги и кашель чахоточного кредитора; бог знает что прочел Палицын на замаранных листках своей совести, бог знает какие образы теснились в его воспоминаниях, — слово смерть, одно это слово, так ужаснуло его, что от одной этой кровавой мысли он раза три едва не обеспамятел, но его спасло именно отдаление всякой помощи: упав в обморок, он также боялся умереть. Смерть! смерть со всех сторон являлась мутным его очам, то грозная, высокая с распростертыми руками, как виселица, то неожиданная, внезапная, как измена, как удар грома небесного... она была снаружи, внутри его, везде, везде... она дробилась вдруг на тысячу разных видов, она насмешливо прыгала по влажным его членам, подымала его седые волосы, стучала его зубами друг об друга... наконец, Борис Петрович хотел прогнать эту нестерпимую мысль... и чем же? молитвой!.. но напрасно!.. уста его шептали затверженные слова, но на каждое из них у души один был отзыв, один ответ: смерть!.. Он старался придумать способ к бегству, средство, какое бы оно ни было... самое отчаянное казалось ему лучшим; так прошел час, прошел другой... эти два удара молотка времени сильно отозвались в его сердце; каждый свист неугомонного ветра заставлял его вздрогнуть, малейший шорох в соломе, произведенный торопливостию большой крысы или другого столь же мирного животного, казался ему

топотом злодеев... он страдал, жестоко страдал! И то сказать: каждому свой черед; счастие — женщина: коли полюбит вдруг сначала, так разлюбит под конец; Борис Петрович также иногда вспоминал о своей толстой подруге... и волос его вставал дыбом: он понял молчание сына при ее имени, он объяснил себе его трепет... в его памяти пробегали картины прежнего счастья, не омраченного раскаянием и страхом, они пролетали, как легкое дуновение, как листы, сорванные вихрем с березы, мелькая мимо нас, обманывают взор золотым и багряным блеском и упадают... очарованы их волшебными красками, увлечены невероятною мечтой, мы поднимаем их, рассматриваем... и не находим ни красок, ни блеска: это простые, гнилые, мертвые листы!..

Между тем дело подходило к рассвету, и Палицын более и более утверждался в своем намерении: спрятаться в мрачную пещеру, описанную нами; но кто ему будет носить пищу?.. где друзья? слуги? где рабы, низкие, послушные мановению руки, движению бровей? — никого! решительно никого!.. он плакал от бешенства!.. К тому же: кто его туда проводит? как выйдет он из этого душного овина, покуда его охотники не удалились?.. и не будет ли уже поздно, когда они удалятся...

На рассвете ему послышался лай, топот конский, крик, брань и по временам призывный звон рогов; это продолжалось с полчаса; наконец, все умолкло; прошло еще полчаса; вдруг он слышит над собою женский голос:

— Барин! барин!.. вставай... да отвечай же? не спишь ли ты?..

Вы можете вообразить, что он не спал, но молчание его происходило оттого, что сначала он не узнал этот голос, а потом хотя узнал, но оледенелый язык его не повиновался; он тихо приподнялся на ноги, как воскресший Лазарь из гроба, и вылез из сусека.

— Это ты, хозяйка! — пролепетал он невнятно.

— Я, я! да не бось... они все уехали; поискали тебя немножко, да и махнули рукой: туда-ста ему и дорога... говорят...

— Хозяйка! — прервал Палицын, — уж светает; послушай: я придумал, куда мне спрятаться... ты знаешь... отсюда недалеко есть место... говорят, недоброе... да это все равно; ты знаешь Чертово логовище!..

Хозяйка в ужасе три раза перекрестилась и посмотрела пристально на Палицына.

— Ох! кормилец!.. беда! сатанинское это гнездо...

— Нет другого! — возразил он в отчаянии.

— Оно бы есть! да больно близко твоей деревни... и то правда, барин, ты хорошо придумал... что начала, то кончу; уж мне грех тебя оставить; вот тебе мужицкое платье: скинь-ка свой балахон... а я тебе дам сына в проводники... он малый глупенек, да зато не болтлив и уж против материнского слова не пойдет...

Покуда Борис Петрович переодевался в смурый кафтан и обвязывал запачканные онучи вокруг ног своих, солдатка подошла к дверям овина, махнула рукой, явился малый лет семнадцати, глупой наружности, с рыжими волосами, но складом и ростом богатырь... он шел за матерью, которая шептала ему что-то на ухо; почесывая затылок и кивая головой, он зевал беспощадно и только по временам отвечал: «Хорошо, мачка». Когда они приблизились к Палицыну, то он уж был готов. «С богом!» — прошептала им вслед хозяйка... они вышли в поле чрез задние ворота; Борис Петрович боялся говорить, Петруха не умел и не любил; это случайное сходство было очень кстати.

Оставим их на узкой лесной тропинке, пробирающихся к грозному Чертову логовищу, обоих дрожащих как лист: один — опасаясь погони, другой — боясь духов и привидений... оставим их и посмотрим, куда девался Юрий, покинув своего чадолюбивого родителя.

ГЛАВА XIX

Юрий, выскакав на дорогу, ведущую в село Палицыно, приостановил усталую лошадь и поехал рысью; тысячу предприятий и еще более опасений теснилось в уме его; но спасти Ольгу или по крайней мере погибнуть возле нее было первым чувством.

господствующею мыслию его; любовь, сначала очень обыкновенная, даже не заслуживавшая имя страсти, от нечаянного стечения обстоятельств возросла в его груди до необычайности; как в тени огромного дуба прячутся все окружающие его скромные кустарники, так все другие чувства склонялись перед этой новой властью, исчезали в его потоке.

По гладкой, но узкой дороге ехал Юрий, его шпага, ударяясь об бока лошади, неприметно возбуждала ее благородное рвение... По обеим сторонам дороги начинали желтеть молодые нивы; как молодой народ, они волновались от легчайшего дуновения ветра; далее за ними тянулися налево холмы, покрытые кудрявым кустарником, а направо возвышался густой, старый, непроницаемый лес: казалось, мрак черными своими очами выглядывал из-под каждой ветви; казалось, возле каждого дерева стоял рогатый, кривоногий леший... все молчало кругом; иногда долетал до путника нашего жалобный вой волков, иногда отвратительный крик филина, этого ночного сторожа, этого члена лесной полиции, который, засев в свою будку, гнилое дупло, окликает прохожих лучше всякого часового... Но вдруг Юрий услышал другие звуки; это был конский топот, который неимоверно быстро приближался; Юрий хотел было своротить с дороги, следуя какому-то инстинкту... но гордость превозмогла; он остановился, вынул из кармана небольшой пистолет, взятый им из дому на всякий случай, осмотрел кремень, взвел курок и приготовился к храброму отпору; скоро он заметил за собою, но еще очень далеко, белеющую пыль, и, наконец, показался всадник, который мчался к нему во все лопатки.

Подскакав на расстояние пятидесяти шагов, незнакомец начал удерживать ретивого коня.

— Стой! — закричал Юрий, — не приближайся!.. или я размозжу тебе голову. Кто ты таков?

— Или ты не узнал меня, барин, — отвечал хриплый голос. — Неужели ты хочешь убить верного своего раба?

— Как, это ты, Федосей? — воскликнул удивленный юноша, приближаясь к нему и стараясь различить

его черты; — но зачем ты здесь? — продолжал он строго... — мне не нужно спутников... я знаю свою дорогу... разве я звал тебя?.. говори...

— Эх, барин! барин!.. ты грешишь! я видел, как ты приезжал... и тотчас сел на лошадь и поскакал за тобой следом, чтоб совесть меня после не укоряла... я все знаю, батюшка! времена тяжкие... да уж Федосей тебя не оставит; где ты, там и я сложу свою головушку; бог велел мне служить тебе, барин; он меня спросит на том свете: служил ли ты верой и правдой господам своим... а кабы я тебя оставил, что бы мне пришлось отвечать... Много нынче злодеев, дурной стал народ, да я не из них, Юрий Борисович... прикажи только, отец родной, и в воду и в огонь кинусь для тебя... уж таково дело холопское; ты меня поил и кормил до сей поры, теперь пришла моя очередь... сгибну, а господ не выдам.

Юрий был растроган; он ударил его по плечу и сказал:

— Если ты говоришь правду, Федосей, то бог наградит тебя и семью твою... но ты знаешь, что я теперь не имею этой власти...

— Да куда ты едешь, барин... один-одинехонек...

— Федосей, я исполнил долг свой, известил отца об опасности, помог ему скрыться... и еду... — Юрий призадумался и наконец, отворотясь, молвил отрывисто: — Я хочу видеться с Ольгой...

«Вот что! — подумал Федосей, поглаживая усы. — Время думать об девках, когда петля на шее!» — Эй, барин! — молвил он, осмелившись, — брось ее!.. что теперь за свиданья... опасно показаться в селе... пожалуй, на грех мастера нет... ох! кабы ты знал, что болтает народ.

— Я хочу ее видеть... возьму ее с собой... и только тогда буду заботиться об опасности... я хочу, я должен ее видеть...

— Плохо! — пробормотал Федосей...

Молча они ехали рядом несколько времени, ни тот, ни другой не умея или не желая возобновить разговора... В такие часы, когда решается судьба наша, мы не тратим лишних слов, потому что дорожим каждым

мгновением, потому что все земные страсти кипят в уме, и одного взгляда довольно, чтоб заставить понять себя...

— Барин, — воскликнул вдруг Федосей... — посмотри-ка... кажись, наши гумна виднеются... так... так. Остановись-ка, барин... послушай, мне пришло на мысль вот что: ты мне скажи только, где найти Ольгу — я пойду и приведу ее... а ты подожди меня здесь, у забора, с лошадьми... сделай милость, барин... не кидайся ты в петлю добровольно — береженого бог бережет... а ведь ей нечего бояться, она не дворянка...

Это предложение поразило Юрия, он почувствовал некоторый стыд. «Как! — думал он, — и я для нее побоюсь пожертвовать этой глупой жизнью...» — но скоро, с помощию некоторых услужливых софизмов, он успокоил свою гордость, победил стыд неуместный и, увы! — согласился, слез с коня и махнул рукою Федосею на прощанье.

Я желал бы представить Юрия истинным героем, но что же мне делать, если он был таков же, как вы и я... против правды слов нет; я уж прежде сказал, что только в глазах Ольги он почерпал неистовый пламень, бурные желания, гордую волю, что вне этого волшебного круга он был человек, как и другой, — просто добрый, умный юноша. Что делать?

Когда Федосей исчез за плетнем, окружавшим гумно, то Юрий привязал к сухой ветле усталых коней и прилег на сырую землю; напрасно он думал, что хладный ветер и влажность высокой травы, проникнув в его жилы, охладит кровь, успокоит волнующуюся грудь... все призраки, все невероятности, порождаемые сомнением ожидания, кружились вокруг него в несвязной пляске и невольно завлекали воображение все далее и далее, как иногда блудящий огонек, обманчивый фонарь какого-нибудь зловредного гения, заводит путника к самому краю пропасти...

Юрий, чтоб оторвать свою мысль от грозных картин будущего, обратил ее на прошедшее — так врачи в отчаянных случаях употребляют отчаянные средства — но всегда ли они удаются?

И перед ним начал развиваться длинный свиток воспоминаний, и он в изумлении подумал: ужели их так много? отчего только теперь они все вдруг, как на праздник, являются ко мне?.. и он начал перебирать их одно по одному, как девушка иногда, гадая, перебирает листки цветка, и в каждом он находил или упрек, или сожаление, и он мог по особенному преимуществу, дающемуся почти всем в минуты сильного беспокойства и страдания, исчислить все чувства, разбросанные, растерянные им на дороге жизни: но, увы! эти чувства не принесли плода; одни, как семена притчи, были поклеваны хищными птицами, другие потоптаны странниками, иные упали на камень и сгнили от дождей бесполезно.

Он сначала мысленно видел себя еще ребенком, белокурым, кудрявым, резвым, шаловливым мальчиком, любимцем-баловнем родителей, грозой слуг и особенно служанок; он видел себя невинным воспитанником природы, играющим на коленях няни, трепещущим при слове: бука, — он невольно улыбался, думая о том, как недавно прошли эти годы и как невозвратно они погибли...

Но вот настал возраст первых страстей, первых желаний... его отдают воспитываться к старой и богатой бабке. Анютка, простая дворовая девочка, привлекла его внимание; о, сколько ласк, сколько слов, взглядов, вздохов, обещаний — какие детские надежды, какие детские опасения! Как смешны и страшны, как беспечны и как таинственны были эти первые свидания в темном коридоре, в темной беседке, обсаженной густолиственной рябиной, в березовой роще у грязного ручья, в соломенном шалаше полесовщика!.. о, как сладки были эти первые, сначала непорочные, чистые и под конец преступные поцелуи; как разгорались глаза Анюты, как трепетали ее едва образовавшиеся перси, когда горячая рука Юрия смело обхватывала неперетянутый стан ее, едва прикрытый посконным клетчатым платьем, когда уста его впивались в ее грудь, опаленную солнечным зноем.

Но ему говорят, что пора служить... он спрашивает, зачем! — ему грозно отвечают, что пятнадцати лет его

отец был сержантом гвардии, что ему уже шестнадцать. Итак... итак... заложили бричку, посадили с ним дядьку, дали двадцать рублей на дорогу и большое письмо к какому-то правнучатному дядюшке... ударил бич, колокольчик зазвенел... прости воля, и рощи, и поля, прости счастие, прости Анюта!.. садясь в бричку, Юрий встретил ее глаза неподвижные, полные слезами; она из-за дверей долго на него смотрела... он не мог решиться подойти, поцеловать в последний раз ее бледные щечки, он как вихорь промчался мимо нее, вырвал свою руку из холодных рук Анюты, которая мечтала хоть на минуту остановить его... «О! какой зверской холодности она приписала мой поступок, как смело она может теперь презирать меня!» — думал он тогда... Но что же! он ее увидел шесть лет спустя... увы! она сделалась дюжей толстой бабою, он видел, как она колотила слюнявых ребят, мела избу, бранила пьяного мужа самыми отвратительными речами... очарование разлетелось, как дым; настоящее отравило прелесть минувшего; с этих пор он не мог вообразить Анюту иначе, как рядом с этой отвратительной женщиной, он должен был изгладить из своей памяти как умершую эту живую, черноглазую, чернобровую девочку... и принес эту жертву своему самолюбию, почти безо всякого сожаления.

Между тем заботы службы, новые лица, новые мысли победили в сердце Юрия первую любовь, изгладили в его сердце первое впечатление... слава! вот его кумир! — война! вот его наслаждение... поход! в Турцию... о, как он упитает кровью неверных свою острую шпагу, как гордо он станет попирать разрубленные низверженные чалмы поклонников корана!.. как счастлив он будет, когда сам Суворов ударит его по плечу и молвит: «Молодец! хват... лучше меня! помилуй бог!» О, Суворов, верно, ему скажет что-нибудь в этом роде, когда он первый взлетит, сквозь огонь и град пуль турецких, на окровавленный вал и, колеблясь, истекая кровью от глубокой, хотя бездельной раны, водрузит в чуждую землю первое знамя с двуглавым орлом! — о, какие поздравления, какие объятия после битвы...

Но войска перешли через границу русскую, пылают села неверных на берегу Дуная, который, подмывая берега свои, широкой зеленой волной катится через дикие поляны... О, как жадно вдыхал Юрий этот теплый ароматный воздух, как страстно он кидался в шумную стычку, с каким наслаждением погружал свою шпагу во внутренность безобразного турка, который, выворотив глаза, с судорожным движением кусал и грыз холодное железо!.. Но кто эта пленница, которую так бережливо скрывает он в шатре своем от взоров товарищей, любопытных и нескромных? кто она!.. О, это тайна! тайна, которую знает лишь он да бог, если богу есть какое-нибудь дело до сердца человеческого!..

Он нашел ее полуживую, под пылающими угольями разрушенной хижины; неизъяснимая жалость зашевелилась в глубине души его, и он поднял Зару, и с этих пор она жила в его палатке, незрима и прекрасна как ангел; в ее чертах все дышало небесной гармонией, ее движения говорили, ее глаза ослепляли волшебным блеском, ее беленькая ножка, исчерченная лиловыми жилками, была восхитительна как фарфоровая игрушка, ее смугловатая твердая грудь воздымалась от малейшего вздоха... страсть блистала во всем: в слезах, в улыбке, в самой неподвижности — судя по ее наружности, она не могла быть существом обыкновенным; она была или божество, или демон, ее душа была или чиста и ясна, как веселый луч солнца, отраженный слезою умиления, или черна, как эти очи, как эти волосы, рассыпающиеся, подобно водопаду, по круглым бархатным плечам... так думал Юрий и предался прекрасной мусульманке, предался и телом и душою, не удостоив будущего ни единым вопросом.

Прошли две недели... и он еще не был утомлен сладострастием, не был пресыщен поцелуями... о друзья мои, это не шутка: две недели!..

Однажды... как живо теперь в его памяти представляется эта грозная ночь!.. Юрий спал на мягком ковре в своей палатке; походная лампада догорала в углу, и по временам неверный блеск пробегал по полосатым стенам шатра, освещая серебряную отделку пистолетов и сабель, отбитых у врага и живо-

писно развешанных над ложем юноши; Юрий спал... но вдруг, как ужаленный скорпионом, пробудился: на него были устремлены два черные глаза и светлый кинжал!.. ад и проклятие!.. еще вчера он ненасытно лобзал эти очи, еще вчера за эту маленькую ручку он бы отдал все свое имущество!.. в одно мгновение вырвал он у Зары смертоносное орудие и кинул далеко от себя, но турчанка не испугалась, не смутилась... она тихо отошла, сложила руки, склонила голову на грудь, готовая принять заслуженную казнь, готовая слушать безмолвно все упреки, все обиды... о, в ней точно кипела южная кровь!..

— Неблагодарная, змея! — воскликнул Юрий, — говори, разве смертью плотят у вас за жизнь? разве на все мои ласки ты не знала другого ответа, как удар кинжала?.. боже, создатель! такая наружность и такая душа! о, если все твои ангелы похожи на нее, то какая разница между адом и раем?.. нет! Зара, нет! это не может быть... отвечай смело: я обманулся, это сон! я болен, я безумец... говори: чего ты хочешь?

— Я хочу свободы! — отвечала Зара.

— Свободы!.. а! я тебе наскучил... ты вспомнила о своих минаретах, о своей хижине, но они сгорели... с той поры моя палатка сделалась твоей отчизной... но ты хочешь свободы... ступай, Зара... божий мир велик. Найди себе дом, друзей... ты видишь: и без моей смерти можно получить свободу...

Молча Зара вышла; он долго следовал за нею взором и мечтою; луна озаряла ее длинное покрывало, которое, как белый туман, обвивалось вокруг ее гибкого стана; она, как призрак, неслышно скользила по траве... вот скрылась вдали за палаткой, вот мелькнула и снова скрылась... прощай, Зара! прощай, роза Гулистана! прощай навеки!

На другой день рано утром, бледный, с мутным взором, беспокойный, как хищный зверь, рыскал Юрий по лагерю... все было спокойно, солнце только что начинало разгораться и проникать одежду... вдруг в одном шатре Юрий слышит ропот поцелуев, вздохи, стон любви, смех и снова поцелуи; он прислушивается — он видит щель в разорванном полотне, непреодолимая

сила приковала его к этой щели... его взоры погружаются во внутренность подозрительного шатра... боже правый! он узнает свою Зару в объятиях артиллерийского поручика!

Он не был мстителен; не злоба, но глубокая печаль проникла в его душу... он много, много плакал, хотел умереть — и не умер, решился забыть Зару... и, друзья мои! — забыл ее!..

Наконец, кончилась война, знамена русские, пошумев над берегами Дуная, свернулись; возвратясь на родину, Юрий решился мстить изменой всем женщинам вместо одной — чрезвычайно покойная и умная выдумка!.. Не одна тридцатилетняя вдова рыдала у ног его, не одна богатая барыня сыпала золотом, чтоб получить одну его улыбку... в столице, на пышных праздниках, Юрий с злобною радостью старался ссорить своих красавиц, и потом, когда он замечал, что одна из них начинала изнемогать под бременем насмешек, он подходил, склонялся к ней с этой небрежной ловкостью самодовольного юноши, говорил, улыбался... и все ее соперницы бледнели... о, как Юрий забавлялся сею тайной, но убийственной войною! но что ему осталось от всего этого? — воспоминания? — да, но какие? горькие, обманчивые подобно плодам, растущим на берегах Мертвого моря, которые, блистая румяной корою, таят под нею пепел, сухой горячий пепел! и ныне сердце Юрия всякий раз при мысли об Ольге, как трескучий факел, окропленный водою, с усилием и болью разгоралось; неровно, порывисто оно билось в груди его, как ягненок под ножом жертвоприносителя. Он смутно чувствовал, что это его последняя страсть, узел, который судьба, не умея расплесть, перерубит, подобно Александру.

ГЛАВА XX

Федосей, не быв никем замечен, пробрался через гумна и, наконец, спустился в знакомый нам овражек, перелез через плетень и приблизился к бане; но что же? в эту решительную минуту внезапный туман покрыл его мысли, казалось, незримая рука отталкивала

его от низенькой двери, и вместе с этим он не имел силы удалиться, как боязливая птица, очарованная магнетическим взором змеи! С минуту он оставался неподвижим, но вдруг опомнился толкнул дверь — и взошел... Но, переступая через порог, он оглянулся — и ему показалось, что черная тень мелькнула за рябиновым кустом; он не успел различить ее формы; но тайное предчувствие говорило ему, что или злой дух, или злой человек. Когда Федосей, пройдя через сени, вступил в баню, то остановился, пораженный смутным сожалением; его дикое и грубое сердце сжалось при виде таких прелестей и такого страдания: на полу сидела, или лучше сказать лежала, Ольга, преклонив голову на нижнюю ступень полка̀ и поддерживая ее правою рукою; ее небесные очи, полузакрытые длинными шелковыми ресницами, были неподвижны, как очи мертвой, полны этой мрачной и таинственной поэзии, которую так нестройно, так обильно изливают взоры безумных; можно было тотчас заметить, что с давних пор ни одна алмазная слеза не прокатилась под этими атласными веками, окруженными легкой коричневатой тенью: все ее слезы превратились в яд, который неумолимо грыз ее сердце; ржавчина грызет железо — а сердце восемнадцатилетней девушки так мягко, так нежно, так чисто, что каждое дыхание досады туманит его как стекло, каждое прикосновение судьбы оставляет на нем глубокие следы, как бедный пешеход оставляет свой след на золотистом дне ручья; ручей — это надежда; покуда она светла и жива, то в несколько мгновений следы изглажены; но если однажды надежда испарилась, вода утекла... то кому нужда до этих ничтожных следов, до этих незримых ран, покрытых одеждою приличий.

Холодна, равнодушна лежала Ольга на сыром полу и даже не пошевелилась, не приподняла взоров, когда взошел Федосей; фонарь с умирающей своей свечою стоял на лавке, и дрожащий луч, прорываясь сквозь грязные зеленые стекла, увеличивал бледность ее лица; бледные губы казались зеленоватыми; полураспущенная коса бросала зеленоватую тень на круглое, гладкое плечо, которое, освободясь из плена,

призывало поцелуй; душегрейка, смятая под нею, не прикрывала более высокой, роскошной груди; два мягкие шара, белые и хладные как снег, почти совсем обнаженные, не волновались, как прежде: взор мужчины беспрепятственно покоился на них, и ни малейшая краска не пробегала ни по шее, ни по ланитам: женщина, только потеряв надежду, может потерять стыд, это непонятное, врожденное чувство, это невольное сознание женщины в неприкосновенности, в святости своих тайных прелестей.

Спрятав ноги под длинное платье, лежала Ольга, и в недоумении перед нею стоял уполномоченный посланник Юрия; наконец, он нетерпеливо дернул ее за рукав:

— Вставай, вставай — время дорого!..

— Ты опять здесь! — простонала она, не приподнимая головы!..

— Какой черт! опять... да ты меня не узнала, што ли! вставай, время дорого!.. Юрий Борисыч ждет за гумнами... неравно без меня что с <ним> случится...

— О, не называй его! ты хочешь меня обмануть... это какая-нибудь адская западня... о Вадим! дай мне по крайней мере умереть в покое... тебе судьба за меня отплотит!

— Что ты, матушка, бредишь? помилуй! какой тут Вадим? — я Федосей — чай, меня не забыла... да вставай... барин остался один... а время опасное...

Как пробужденная от сна, вскочила Ольга, не веруя глазам своим; с минуту пристально вглядывалась в лицо седого ловчего и, наконец, воскликнула с внезапным восторгом:

— Так он меня не забыл? так он меня любит? любит! он хочет бежать со мною, далеко, далеко... — и она прыгала, и едва не целовала шершавые руки охотника, и смеялась, и плакала... — Нет, — продолжала она, немного успокоившись, — нет! бог не потерпит, чтоб люди нас разлучили, нет, он мой, мой на земле и в могиле, везде мой, я купила его слезами кровавыми, мольбами, тоскою, — он создан для меня, — нет, он не мог забыть свои клятвы, свои ласки...

— Я этого ничего не знаю, — прервал хладнокровно Федосей, — уж вы там с барином согласитесь, как хотите, купить или не купить, а я знаю только то, что нам пора... если уж не поздно!..

— Но куда, как?

— Уж это мое дело!.. провал побери! разве не веришь?

— Федосей, если ты обманываешь!

— Оборони боже! что я за бусурман; да скорее! Юрий Борисович ждет нас за гумнами, на дороге, чай, глазыньки проглядел!..

— Я готова.

Федосей, подав ей знак молчать, приблизился к двери, отворил ее до половины и высунул голову с намерением осмотреть, все ли кругом пусто и тихо; довольный своим обзором, он, покашляв, проворчал что-то про себя и уж готовился совершенно расхлопнуть дверь, как вдруг он охнул, схватил рукой за шею, вытянулся и в судорогах упал на землю; что-то мокрое брызнуло на руки и на грудь Ольги. Она затряслась всем телом, хотела кричать — не могла... Перед нею Федосей плавал в крови своей, грыз землю и скреб ее ногтями; а над ним с топором в руке на самом пороге стоял некто еще ужаснее, чем умирающий: он стоял неподвижно, смотрел на Ольгу глазами коршуна и указывал пальцем на окровавленную землю; он торжествовал, как Геркулес, победивший змея: улыбка, ядовито-сладкая улыбка набегала на его красные губы: в ней дышала то гордость, то презрение, то сожаленье — да, сожаленье палача, который не из собственной воли, но по повелению высшей власти наносит смертный удар.

— Ты видишь! — сказал, наконец, Вадим с глухим смехом, — я сдержал свое обещание!.. Это он! не бойся взглянуть на искаженные черты некогда молодого светлого лица; это он! тот самый, чья голова покоилась на груди твоей, кто на губах твоих замирал в упоении, кто за один твой нежный взгляд оставил долг, отца и мать, для кого и ты бы их покинула, если б имела... это он! бедный, глупый юноша! который так гордился своим дворянским происхождением,

который с таким самодовольствием носил свой зеленый раззолоченный мундир, который, окруженный лестию, сыпал деньги своим льстецам, не требуя даже благодарности, которому стоило только мигнуть, чтоб женщина кинулась в его объятия, — да! что же он теперь!.. окровавленный прах! бездушный чурбан, не чувствующий даже обиды... — и Вадим толкнул ногою охладевший труп и продолжал: — Как отвратителен теперь он должен быть... посмотри, Ольга! я не хочу смягчать душу этим зрелищем; посмотри, как хороши его закатившиеся белые глаза... Творец небесный! и кто же все это сделал? кто превратил прекрасное создание бога в глыбу грязи?.. кто напитал эти кудри багряным напитком? кто разбрызгал по стене этот белый, чистый мозг... кто? я, я! — ха, ха, ха! ха! презренный нищий, бессильный раб, безобразный горбач!.. да, да! — неужели это так удивительно?.. Я говорил тебе, Ольга: не люби его!.. ты не послушалась, ты, как обыкновенная женщина, прельстилась на золото, красоту и пышные обещания... ты мне не поверила: он обещал тебе счастие — мечту, а я обещал месть — и верную месть; ты выбрала первое; ты смела помыслить, что люди могут противиться судьбе; будто бы я уж так давно отвергнут богом, что он захочет мне отказать в первом, последнем, единственном удовольствии!.. Я твой брат, Ольга, брат! господин, повелитель, царь твой. Нас только двое на свете из всего семейства; мой путь должен быть твоим; напрасно ты мечтала разорвать слабой рукой то, что связала природа: где бушует моя ненависть, там не цвесть любви твоей... — Он на минуту замолк, его волосы стояли дыбом, глаза разгорались как уголья, и рука, простертая к Ольге, дрожала на воздухе; он поставил ногу на грудь мертвецу так крепко, что слышно было, как захрустели кости, и, приняв торжественный вид жреца, произнес: — Свершилось первое мое желание! он пал; вот он — убийца моих надежд, вот он — губитель моего первого блаженства; ненавижу тебя и в могиле, и берегись, если мы когда-нибудь встретимся на том свете! а ты, Ольга,— *ты ступай куда хочешь; между нами все счеты кон-*

чены; я тебе заплатил, — живи, умри — мне все равно. Прощай, сестра, — прощай и ты, бедный юноша!

И Вадим, пожав плечами, приподнял голову мертвого за волосы, обернул ее к фонарю — взглянул на позеленевшее лицо — вздрогнул — взглянул еще ближе и пристальней — вдруг закричал — и отскочил как бешеный; голова, выпущенная из рук, ударилась о землю, как камень; это было мгновение — но в сем мгновении заключалась целая ужасная драма. Вадим, обманутый в последней надежде, потерялся; он не мог держаться на ногах, бледный, страшный, он присел на скамью — и как вы думаете, что он делал? — плакал!.. — да, плакал, как ребенок, горькими слезами!

Он сидел и рыдал, не обращая внимания ни на сестру, ни на мертвого: бог один знает, что тогда происходило в груди горбача, потому что, закрыв лицо руками, он не произнес ни одного слова более... он, казалось, понял, что теперь боролся уже не с людьми, но с провидением, и смутно предчувствовал, что если даже останется победителем, то слишком дорого купит победу; но непоколебимая железная воля составляла все существо его, она не знала ни преград, ни остановок, стремясь к своей цели. Так неугомонная волна день и ночь без устали хлещет и лижет гранитный берег: то старается вспрыгнуть на него, то снизу подмыть и опрокинуть; долго она трудится напрасно, каждый раз отброшена в дальнее море... но ничто ее не может успокоить: и вот проходят годы, и подмытая скала срывается с берега и с гулом погружается в бездну, и радостные волны пляшут и шумят над ее могилой.

И в самом деле, что может противустоять твердой воле человека? воля заключает в себе всю душу; хотеть — значит ненавидеть, любить, сожалеть, радоваться, — жить, одним словом; воля есть нравственная сила каждого существа, свободное стремление к созданию или разрушению чего-нибудь, отпечаток божества, творческая власть, которая из ничего созидает чудеса... о, если б волю можно было разложить

на цифры и выразить в углах и градусах, как всемогущи и всезнающи были бы мы!..

Не знаю, сколько часов сидел в забытьи Вадим, но когда он поднял голову, то не нашел возле себя сестры; свежий ветер утра, прорываясь в дверь, шевелил платьем убитого, и по временам казалось, что он потрясал головой, так высоко взвевались рыжие волосы на челе его, увлажненном густой, полузапекшейся кровью. Вадим холодно взглянул на Федосея, покачал головой с сожалением, перешагнул через протянутые ноги и пошел скорыми шагами вдоль по оврагу. Восток белел приметно, и розовый блеск змеей обрисовывал нижние части большого серого облака, который, имея вид коршуна с растянутыми крылами, держащего змею в когтях своих, покрывал всю восточную часть небосклона; фантастически отделялись предметы на дальнем небосклоне, и высокие сосны и березы окрестных лесов чернели, как часовые на рубеже земли; природа была тиха и торжественна, и холмы начинали озаряться сквозь белый туман, как иногда озаряется лицо невесты сквозь брачное покрывало, все было свято и чисто — а в груди Вадима какая буря!

ГЛАВА XXI

Было около двух часов пополудни; солнце медленно катилось по жарким небесам, и гибкие верхи дерев едва колебались, перешептываясь друг с другом; в густом лесу изредка попевали странствующие птицы, изредка вещая кукушка повторяла свой унылый напев, мерный, как бой часов в сырой готической зале. На мураве, под огромным дубом, окруженные часто сплетенным кустарником, сидели два человека: мужчина и женщина; их руки были исцарапаны колючими ветвями, и платья изорваны в долгом странствии сквозь чащу; усталость и печаль изображались на их лицах, молодых, прекрасных.

Молодая женщина, скинув обувь, измокшую от росы, обтирала концом большого платка розовую, маленькую ножку, едва разрисованную лиловыми тон-

кими жилками, украшенную нежными прозрачными ноготками, — она по временам поднимала голову, отряхнув волосы, ниспадающие на лицо, и улыбалась своему спутнику, который, облокотясь на руку, кидал рассеянные взгляды то на нее, то на небо, то в чащу леса; по временам он наморщивал брови, когда мрачная мысль прокрадывалась в уме его, по временам неожиданная влажность покрывала его голубые глаза, и если в это время они встречали радужную улыбку подруги, то быстро опускались, как будто бы пораженные ярким лучом солнца.

— Ты задумчив! — сказала она. — Но отчего? — опасность прошла; я с тобою... ничто не противится нашей любви... Небо ясно, бог милостив... зачем грустить, Юрий!.. это правда, мы скитаемся в лесу, как дикие звери, но зато, как они, свободны. Пустыня будет нашим отечеством, Юрий, а лесные птицы нашими наставниками: посмотри, как они счастливы в своих открытых, тесных гнездах...

— Да, — отвечал Юрий... — счастливы!.. и я возле тебя счастлив!.. но твои шутки иногда для меня мучительны!..

— Разве лучше, если я буду плакать!..

— Ольга, ты мой ангел-утешитель!.. о, если б ты знала, какие грозные предчувствия теснятся в душе моей!.. и как было не отгадать, что это случится, когда самые ужасные слухи так нагло разливались в народе?.. Отчего они тогда казались нам невероятны?.. а теперь! — русские дворяне гибнут и скрываются в лесах от простого казака, подлого самозванца, и толпы кровожадных разбойников!.. все, которые доселе готовы были целовать наши подошвы, теперь поднялись на нас... о змеи! змеи! если б я знал, я бы раздавил вас... и вдруг, в одну ночь все погибло... мать... отец... имущество, родная кровля... все отнято... здесь ждет голод, холод, жизнь нищего — а там виселица, пытки, позор... боже! что мы сделали? — о, казни меня сам, но зачем поручить орудье казни этой грязной подлой толпе рабов?..

— Юрий, успокойся... видишь, я равнодушно смотрю на потерю всего, кроме твоей нежности... я видела

кровь, видела ужасные вещи, слышала слова, которых бы ангелы испугались... но на груди твоей все забыто; когда мы переплывали реку на коне и ты держал меня в своих объятиях так крепко, так страстно, я не позавидовала бы ни царице, ни райскому херувиму... я не чувствовала усталости, следуя за тобой сквозь колючий кустарник, перелезая поминутно через опрокинутые рогатые пни... это правда, у меня нет ни отца, ни матери... — При сих словах, произнесенных без умысла, она побледнела и замолкла, как будто сама испугалась их... Юрий обхватил ее мягкий стан, приклонил к себе и поцеловал ее в шею: девственные груди облились румянцем и заволновались, стараясь вырваться из-под упрямой одежды... о, сколько сладострастия дышало в ее полураскрытых пурпуровых устах! он жадно прилепился к ним, лихорадочная дрожь пробежала по его телу, томный вздох вырвался из груди...

— Ты права! — говорил он, — чего мне желать теперь? пускай придут убийцы... я был счастлив!.. чего же более для меня? — я видал смерть близко на ратном поле и не боялся... и теперь не испугаюсь: я мужчина, я тверд душой и телом и до конца не потеряю надежды спастись вместе с тобою... но если надобно умереть, я умру, не вздрогнув, не простонав... клянусь, никто под небесами не скажет, что твой друг склонил колена перед низкими палачами!..

В таких разговорах пролетел час: они встали и пошли на восток, углубляясь в лес более и более... вот подошли к оврагу, и Юрий заметил изломанные ветви и следы человека на сухих и гнилых листах, коими усеяна была земля.

— Пойдем по этому следу, Ольга, — сказал он, подумав немного, — он приведет нас куда-нибудь; быть может, к месту спасения. Чего бояться! пойдем... умереть с голоду хуже, а если бог сохранил нас доселе, то это значит, что он хочет быть нашим спасителем и далее... перекрестись, и пойдем.

Несколько времени они шли, прилежно разбирая следы, местами засыпанные свежими листьями и забросанные сухим валежником; наконец, после долгих и

утомительных разысканий, они выбрались на небольшую поляну, на которой между несколькими деревами возвышались три нам уже знакомые кургана...

— Что это значит, — воскликнул Юрий, заметив чернеющиеся выходы пещер.

— Постой, постой, Юрий... так точно... благодари провидение — мы спасены...

— Но что такое? я не понимаю тебя!

— Я слышала много рассказов про эти пещеры, Юрий. Под этими курганами таятся глубокие подземные ходы, куда только самые смелые охотники прокрадывались... но нам чего бояться!.. это место безопаснее самого крепкого терема.

— В самом деле, — отвечал Юрий, осматривая место, — если все эти рассказы справедливы, то мы спасены; остается только знать, не прячется ли в них дикий медведь... или другой негостеприимный пустынник.

Подойдя к одному из отверстий Чертова логовища, Юрию показалось, что слышит запах дыма, он всунул туда голову; точно! но что это значит? уж не занята ли их квартира? Он сообщил свое замечание Ольге: она испугалась, схватила его за руку и, как будто в этой пещере скрывалось грозное чудовище, с трепетом воскликнула:

— Пойдем отсюда — пойдем... не медли ни минуты...

— Идти... но куда же? — ты забыла, что у нас, кроме синего неба и темного леса, нет ни кровли, ни пристанища... и чего бояться... это явно, что в пещере есть жители... кто они таковы?.. что нам за дело... если они разбойники, то им нечего с нас взять, если изгнанники, подобно нам, то еще менее причин к боязни... К тому же в теперешние времена злодеи и убийцы не боятся смотреть на красное солнце, не стыдятся показывать свои лица в народе...

— Но я боюсь, Юрий, твои убеждения ничтожны, я боюсь, — и она, как пугливое дитя, уцепилась за его руку и, устремив на него умоляющий взгляд, то улыбалась, то готова была заплакать.

— Ты ребенок! стыдись...

— Я не знаю ни стыда, ничего... ради любви моей, не ходи в пещеру — пойдем далее... это западня... как там темно, как страшно...

— Послушай... если мы пойдем далее, то, не зная окрестностей, забредем бог знает куда и попадемся в руки казаков; тогда я неизбежно погиб — разве ты хочешь моей смерти!..

— Юрий... и ты смеешь делать такие вопросы!..

— Итак, пусти меня... или лучше пойдем вместе в это подземелье, и пусть будет, что суждено!..

С сими словами, вынув шпагу, он на коленах вполз в одно из отверстий, держа перед собою смертоносное оружие, и, ощупью подвигаясь вперед, дошел до того места, где можно было идти прямо; сырой воздух могилы проник в его члены, отдаленный ропот начал поражать его слух, постепенно увеличиваясь; порою дым валил ему навстречу, и вскоре перед собою, хотя в отдалении, он различил слабый свет огня, который то вспыхивал, то замирал. Сердце его забилось ожиданием; он начал подвигаться тише, стараясь произвесть как можно менее шуму и готовясь к отчаянному сопротивлению в случае неожиданного нападения хозяев этого мрачного жилища; даже если бы то были существа бесплотные, духи зла и обмана!..

Когда Юрий взошел в круглую залу, неровно освещенную трескучим огоньком, разложенным у подошвы четвероугольного столба, то сначала он ничего не мог различить; пожирая несколько сухих смолистых ветвей, огонь ярко вспыхивал, бросая красные искры вокруг себя; и дым слоями расстилался по всему подземелью; Юрий остановился на минуту, чтоб хорошенько осмотреться, и когда глаза его привыкли немного к этой смрадной и туманной атмосфере, то он заметил в одной из впадин стены что-то похожее на лицо человека, который, прижавшись к земле, казалось, не обращал на него внимания; Юрий решился подойти поближе и, приготовившись к защите, закричал громовым голосом:

— Кто здесь?.. вставай! что ты за человек?.. друг или недруг!.. отвечай сию минуту или будет худо!..

Неизвестный приподнялся, вздрогнул, потер глаза и, схватив огромную дубину, лежавшую у ног его, размахнулся, не отвечая ни слова; окруженный дымом, который, как известно, имеет свойство увеличивать предметы, и озаренный неровным светом огня, житель пещеры казался, вероятно, несравненно страшнее и огромнее, нежели был в самом деле.

Юрий, видя неравенство борьбы и не надеясь отразить удар дубины тонкой стальною шпагой, отскочил проворно назад. Дубина упала на огонь: красные уголья и дымные головешки с треском полетели во все стороны.

— Остановись, — сказал Юрий, — или я тебя проножу насквозь.

Незнакомец, как будто пораженный его голосом, остановился, начал всматриваться и произнес довольно невнятно:

— Кто ты?

В эту минуту яркий луч догорающего огня озарил лицо Юрия; незнакомец, не дождавшись ответа, кинулся к нему и заревел хриплым голосом:

— Сын мой, сын мой!..

Они упали друг другу в объятия; они плакали от радости и от горя; и волчица прыгает и воет и мотает пушистым хвостом, когда найдет потерянного волчонка; а Борис Петрович был человек, как вам это известно, то есть животное, которое ничем не хуже волка; по крайней мере так утверждают натуралисты и философы... а эти господа знают природу человека столь же твердо, как мы, грешные, наши утренние и вечерние молитвы; сравнение черезвычайно справедливое!..

Между тем отец и сын со слезами обнимали, целовали друг друга и не замечали, что недалеко от них стояло существо, им совершенно чуждое, существо забытое, но прекрасное, нежное — женщина с огненной душой, с душой чистой и светлой, как алмаз; не замечали они, что каждая их ласка или слеза были для нее убийственней, чем яд и кинжал; она также плакала, но одна — одна — как плачет изгнанный херувим, взирая на блаженство своих братьев сквозь решетку райской двери.

Когда Борис Петрович рассказал сыну, каким образом с помощью бедной и гостеприимной солдатки он был отведен в это уединенное убежище, то прибавил:

— Я решился здесь оставаться, пока все не утихнет, войска разобьют бунтовщиков в пух и в прах, это необходимо... но что можем мы сделать вдвоем, без оружия, без друзей... окруженные рабами, которые рады отдать все, чтоб посмотреть, как труп их прежнего господина мотается на виселице... ад и проклятие! кто бы ожидал!..

— Помилуйте, батюшка! невозможно, что до вас не доходили слухи, разлитые так изобильно в нашем глупом народе!

— Слухи! слухи! а кто им верил? напасть божия на нас, грешных, да и только!.. Живи теперь, как красный зверь в зимней берлоге, и не смей носа высунуть... сиди, не пей, не ешь, пока чужой мальчишка, очень ненадежный, не принесет тебе куска хлеба... вот он сказал, что будет сегодня поутру, а все нет, как нет!.. чай, солнце уж закатилось, Юрий?.. а Юрий?

Юрий не слыхал, не слушал; он держал белую руку Ольги в руках своих, поцелуями осушал слезы, висящие на ее ресницах... но напрасно он старался ее успокоить, обнадежить; она отвернулась от него, не отвечала, не шевелилась; как восковая кукла, неподвижно прислонившись к стене, она старалась вдохнуть в себя ее холодную влажность; отчего это с нею сделалось?.. как объяснить сердце молодой девушки: миллион чувствований теснится, кипит в ее душе; и нередко лицо и глаза отражают их, как зеркало отражает буквы письма — наоборот!

— Здравствуй, Оленька, — сказал Борис Петрович, подойдя к ним... — Ты в пору зачванилась, не поклонилась мне, не поздоровалась... правда, я теперь, как ты сама, без крова, без имущества.

— Разве я тогда была с вами ласковее, — отвечала она отрывисто.

— А разве нет? — ох! много воды утекло с тех пор, как мы с тобой в последний раз поцеловались... ты

переменилась, побледнела... а все еще красавица, хоть куда!

Он слегка ударил ее по плечу и хотел взять за подбородок, но Юрий, покраснев, схватил его за руку... опомнясь в ту же минуту, он тихо отвел руку отца и, отойдя с ним немного в сторону, сказал глухим, но внятным голосом:

— Если хотите быть моим отцом, иметь во мне покорного сына, то вообразите себе, что эта девушка такая неприкосновенная святыня, на которой самое ваше дыхание оставит вечные пятна. Вы меня поняли... простите меня: моя кровь кипит при одной мысли — я не меряю слова на аршин приличий... вы согласились на мое предложение; в противном случае... все, все забыто! уважение имеет границы, а любовь — никаких!

ГЛАВА XXII

Что же делал Вадим? О, Вадим не любил праздности! С восходом солнца он отправился искать сестру на барском дворе, в деревне, в саду — везде, где только мог предположить, что она проходила или пряталась, — неудача за неудачей!.. Досадуя на себя, он задумчиво пошел по дороге, ведущей в лес мимо крестьянских гумен; поровнявшись с ними и случайно подняв глаза, он видит буланую лошадь, в шлее и хомуте, привязанную к забору; он приближается... и замечает, что трава измята у подошвы забора! и вдруг взор его упал на что-то пестрое, похожее на кушак, повисший между цепких репейников... точно! это кушак!.. точно! он узнал, узнал! это цветной шелковый кушак его Ольги! какой внезапный луч истины озарил ум печального горбача! она бежала: это ясно — но с кем?— с кем!.. разве нужно спрашивать... о, при одной мысли об нем, при одном имени Юрия вся кровь Вадима превращается в желчь! «Нечего делать! — думал горбач, скрежеща зубами, — тебе удалось меня поддеть, ты из рук моих вырвал добычу, ты посмеялся над уродливым нищим, дерзкий безумец, — но будет и на

нашей улице... праздник!..» Он вскочил на лошадь и ударами принудил измученного коня скакать по дороге в селение... в его голове уже развились новые планы, новые замыслы гибели и разрушения.

На широкой и единственной улице деревни толпился народ в праздничных кафтанах, с буйными криками веселья и злобы, вокруг тридцати казаков, которые, держа коней в поводу, гордо принимали подарки мужиков и тянули ковшами густую брагу, передавая друг другу ведро, в которое староста по временам подливал хмельного напитка. Девки и молодки в красных и синих кумачных сарафанах, по четыре и более, держа друг друга за руки, ходили взад и вперед по улице, ухмыляясь и запевая веселые песни; а молодые парни, следуя за ними, перешептывались и порою громко отпускали лихие шутки насчет дородности и румянца красавиц. Вино и брага приметно распоряжали их словами и мыслями; они приметно позволяли себе больше вольностей, чем обыкновенно, и женщины были приметно снисходительней; но оставим буйную молодежь и послушаем, об чем говорили воинственные пришельцы с седобородыми старшинами? — отгадать не трудно!.. они требовали выдачи господ; а крестьяне утверждали и клялись, что господа скрылись, бежали; увы! к несчастию, казаки были об них слишком хорошего мнения! они не хотели даже слышать этого, и урядник уже поднимал свою толстую плеть над головою старосты, и его товарищи уже произносили слово пытка; между тем некоторые из них отправились на барский двор и вскоре возвратились, таща приказчика на аркане.

Урядник, по прозванию Орленко, мужчина в полном значении сего слова, высокий, крепкий сложением, усастый, с черною бородкой и румяными щеками, кинул презрительный взгляд на бледного приказчика, который, произнося несвязные слова и возгласы, стоял перед ним на коленах, с руками, связанными на спине; конец веревки был в руке одного маленького рябого казака, который, злобно улыбаясь, поминутно ее подергивал.

— Что это за птица, Грицко́! — сказал урядник ма-

ленькому казаку, — что это за кликуша?.. отчего ревет, как вол?.. уж не он ли здешний господин?..

— А бис его знает! — отвечал Грицко. — Говорит, шчо приказчик... ведь от этих москалей без плетки толку не добьешься... я его нашел под лавкой в кухне и насилу выкурил оттуда головешкой!..

Улыбка показалась на устах урядника, когда он заметил опаленные волосы и брови несчастного пленника, который, не спуская с него глаз и перестав кричать, казалось, старался на лице казака прочесть свой приговор.

— Так ты приказчик? — спросил Орленко, обратясь к нему грозно.

Несчастный задрожал, хотел что-то вымолвить и заикнулся.

— Что ж ты молчишь, собачий сын! я тебе этим кинжалом расцеплю зубы!..

— Виноват! я приказчик!..

— А! так ты виноват! — сказал Орленко, наморщив брови и желая над ним позабавиться, — в чем же ты виноват? сейчас признавайся... а не то, видишь! — он пальцем указал на свои пистолеты...

— Батюшка!.. нет, я ни в чем не виноват! ваше ж благородие! помилуй!

— Ты у меня запираться!..

— Виноват! — опять заревел приказчик... — сжальтесь! Я от страху не знаю, что говорю... я приказчик... если б я знал, где господа, так я бы сам их выдал нашему батюшке!.. я бы сам полюбовался на их виселицу... я бы сам их сжег на костре, сам бы своими руками с них кожу содрал с живых!..

— Будто бы! точно ли?..

— Да убей меня бог! если я бы хоть один волосок за них отдал, злодеев!..

— Ну, а скажи-ка! отчего у тебя борода обрита?..

— Борода! — да так... а что, родимый?..

— Эй, ребята! я замечаю, что это плут большой руки!.

— Ваше превосходительство! — сказал приказчик,

привстав с большею уверенностью, — извольте спросить у всех мирян, любил ли я господ своих...

— Эй, вы! правду ли он говорит?

Мужики переминались, почесывали затылок, кашляли.

— Видишь, молчат! — сказал насмешливо Орленко... — да я подозреваю... уж не сам ли ты Палицын!.. борода-то мне подозрительна!.. эй, мужички!.. как вы думаете! ха, ха, ха!

Увы, народ молчал.

Приказчик бросил отчаянный взгляд кругом — но, не встретив нигде сожаления, прикусил губу и, не зная, что делать закричал:

— Ах вы нехристи, бусурманы... что вы молчите, разве я не приказчик, Матвей Соколов, разве в первый раз вы меня видите.. что это вы морочите честных людей. Ах вы каналии... разве забыли, как я вас порол... или еще хочется?

Лукавые мужики покашливали; наконец, один из них, покачав головой, молвил:

— Пороть-то ты нас, брат, порол... грешно сказать, лучшего мы от тебя ничего не видали... да теперь-то ты нас этим, любезный, не настращаешь!.. всему свое время, выше лба уши не растут... а теперь, не хочешь ли теперь на себе примерить!..

— Что же! ты его признаешь за барина своего? — спросил Орленко...

— Барин-то он не совсем барин, — сказал мужик, — да яблоко от яблони недалеко падает; куды поп, туда и попова собака...

— Что ж я буду с ним делать!..

— А что хочешь, кормилец! нам все равно!.. как присудишь!.. — заговорило несколько голосов.

Приказчик упал в ноги уряднику и заревел:

— Смилуйся, отец родной, золотой ты мой, серебряный, что я тебе сделал... неужто наш батюшка велит губить верных слуг своих.

— А на что ему таких трусов, таких баб, как ты! вашей братьею только улицы мостить. Эй, мужички, возьмите его себе... я вам его дарю на живот и на смерть! делайте из него что хотите...

В одно мгновение мужики его окружили с шумом и проклятьями; слова смерть, виселица отделялись по временам от общего говора, как в бурю отделяются удары грома от шума листьев и визга пронзительных ветров; все глаза налились кровью, все кулаки сжались... все сердца забились одним желанием мести; сколько обид припомнил каждый! сколько способов придумал каждый заплатить за них сторицею...

Вдруг толпа раздалась, расхлынулась, как некогда море, тронутое жезлом Моисея... и человек уродливой наружности, небольшого роста, запыленный, весь в поту, с изорванными одеждами, явился перед казаками... Когда урядник его увидал, то снял шапку и поклонился, как старому знакомому, но Вадим, ибо это был он, не заметив его, обратился к мужикам и сказал:

— Отойдите подальше, мне надо поговорить о важном деле с этими молодцами...

Мужики посмотрели друг на друга и, не заметив ни на чьем лице желания противиться этому неожиданному приказу и побежденные решительным видом страшного горбача, отодвинулись, разошлись и в нескольких шагах собрались снова в кучку.

Тогда Вадим обернулся к уряднику.

— Здравствуй, Орленко, — сказал он отрывисто, — зверя я сследил, а поймать ваше дело...

— Уж ты молодец, Красная шапка... знаем мы тебя... — с этими словами Орленко ударил его по плечу...

Едва приметная тень неудовольствия пробежала по лицу Вадима, но обиженная гордость повиновалась необходимости... как быть! этим ли еще одним он пожертвовал для своей грозной цели?..

— Если хотите, я вас наведу на след Палицына: пожива будет, за это отвечаю, — только с условием... и черт даром не трудится...

— Только укажи след, — сказал, улыбаясь, Орленко, — а уж за наградой дело не станет; сколько бы денег на нем ни нашли, — вот тебе крест, — десятую долю тебе!..

— Денег!.. нет, я не хочу денег...

— Чего ж ты хочешь... крови!..

— Да, крови! — с диким хохотом отвечал горбач.

— Что ж, и за этим дело не станет...

— О, я вас знаю! вы сами захотите потешиться его смертью... а что мне толку в этом? что я буду стоять и смотреть!.. нет, отдайте мне его тело и душу, чтоб я мог в один час двадцать раз их разлучить и соединить снова; чтоб я насытился его мученьями, один, слышите ли, один, чтоб ничье сердце, ничьи глаза не разделяли со мною этого блаженства... о, я не дурак... я вам не игрушка... слышите ли...

Некоторые казаки были поражены его ужасными словами и мрачным выражением этого лица, на котором так недавно стали отражаться его чувства во всей полноте своей!.. другие, перемигиваясь, смеялись над странными его телодвижениями.

— Ах ты урод, — сказал урядник, — ну кто бы ожидал от тебя такую прыть! ха! ха! ха!

Вадим побледнел, бросил на казака тот взгляд, который был его главным оружием, топнул ногою, заскрежетал, отвернулся, чтоб не могли прочитать его бешенства в багровых ланитах. Все смотрели на него с изумлением.

— Коня! — закричал он вдруг, будто пробудившись от сна. — Дайте мне коня... я вас проведу, ребята, мы потешимся вместе... вам вся честь и слава — мне же... — он вскочил на коня, предложенного ему одним из казаков, и, махнув рукою прочим, пустился рысью по дороге; мигом вся ватага повскакала на коней, раздался топот, пыль взвилась, и след простыл...

С отчаянием в груди смотрел связанный приказчик на удаляющуюся толпу казаков, умоляя взглядом неумолимых палачей своих; с дреколием теснились они около несчастной жертвы и холодно рассуждали о том, повесить его, или засечь, или уморить с голоду в холодном анбаре; последнее средство показалось самым удобным, и его с торжеством, хохотом и песнями отвели к пустому анбару, выстроенному на самом краю оврага, втолкнули в узкую дверь и заперли на замок. Потом народ рассыпался частью по избам, частью по улице; все сии происшествия заняли гораздо более

времени, нежели нам нужно было, чтоб описать их, и уж солнце начинало приближаться к западу, когда волнение в деревне утихло; девки и бабы собрались на завалинках и запели праздничные песни!.. вскоре стада с топотом, пылью и блеянием, возвращаясь с паствы, рассыпались по улице, и ребятишки с обычным криком стали гоняться за отсталыми овцами... и никто бы не отгадал, что час или два тому назад на этом самом месте произнесен смертный приговор целому дворянскому семейству!..

ГЛАВА XXIII

Вадим ехал перед казаками по дороге, ведущей в ту небольшую деревеньку, где накануне ночевал Борис Петрович. Он безмолвствовал; он мечтал о сестре, о родной кровле... он прощался с этими мечтами — навеки!

Казалось, его задумчивость, как облако, тяготела над веселыми казаками: они также молчали; иногда вырывалось шутливое замечание, за ним появлялись три-четыре улыбки — и только! вдруг один из казаков закричал:

— Стой, братцы! — кто это нам едет навстречу? слышите топот... видите пыль, там за изволоком!.. уж не наши ли это из села Красного!.. то-то, я думаю, была пожива, — не то, что мы, — чай, пальчики у них облизать, так сыт будешь... Э!.. да посмотрите... ведь точно, видно, они!.. ах разбойники, черти их душу возьми... эк сколько телег за собой везут, целый обоз!..

И точно, толпа, надвигающаяся к ним навстречу, более походила на караван, нежели на отряд вольных жителей Урала. Впереди ехало человек пятьдесят казаков, предводительствуемых одним старым, седым наездником, на серой борзой лошади. За ними шло человек десять мужиков с связанными назад руками, с поникшими головами, без шапок, в одних рубашках; потом следовало несколько телег, нагруженных поклажею, вином, вещами, деньгами, и, наконец, две кибитки, покрытые рогожей, так что нельзя было, не

приподняв оную, рассмотреть, что в них находилось; несколько верховых казаков окружало сии кибитки; когда Орленко с своими казаками приблизился к ним сажен на пятьдесят, то, велев спутникам остановиться и подождать, приударил коня нагайкой и подскакал к каравану.

— Здравствуй, молодец! — сказал ему седой наездник с приветливой улыбкой, — откуда и куда путь держишь?

— А мы из села Красного, разбивали панский двор... и везем этих собак к Белбородке!.. он им совьет пеньковое ожерелье, — не будут в другой раз бунтовать...

— Я отгадал, старый, что ты, верно, в Красном пировал... да, кажется, и теперь не с пустыми руками!..

— Да, нельзя пожаловаться на судьбу!.. бочки три вина везем к Белбородке!..

— К Белбородке!.. все ему! а зачем!.. у него и без нас много! эх, молодцы, кабы вместо того, чем везти туда, мы его роспили за здравье родной земли!.. что бы вам моих казачков не попотчевать? у них горло засохло, как Уральская степь... ведь мы с утра только по чарке браги выпили, а теперь едем искать Палицына, и бог знает, когда с вами опять увидимся...

Старый обратился к своим и молвил:

— Эй! ребята! как вы думаете? ведь нам до вечера не добраться к месту!.. аль сделать привал... своих обделять не надо... мы попируем, отдохнем — а там, что будет, то будет: утро вечера мудренее!..

— Стой, — раздалось по всему каравану.

Стой! — скрыпучие колесы замолкли, пыль улеглась; казаки Орленки смешались с своими земляками и, окружив телеги, с завистью слушали рассказы последних про богатые добычи и про упрямых господ села Красного, которые осмелились оружием защищать свою собственность; между тем некоторые отправились к роще, возле которой пробегал небольшой ручей, чтоб выбрать место, удобное для привала; вслед за ними скоро тронулись туда телеги и кибитки, и, наконец, остальные казаки, ведя в поводу лошадей своих...

Когда Вадим заметил, что его помощники вовсе не расположены следовать за ним без отдыха для отыскания неверной добычи, особенно имея перед глазами две миловидные бочки вина, то подъехав к Орленке, он взял его за руку и молвил:

— Итак, сегодня нет надежды!

— Да, брат... навряд, да признаюсь, мне самому надоело гоняться за этими крысами!.. сколько уж я их перевешал, право, и счет потерял; скорее сочту волосы в хвосте моего коня!..

Вадим круто повернул в сторону, отъехал прочь, слез, привязал коня к толстой березе и сел на землю; прислонясь к березе, сложа руки на груди, он смотрел на приготовления казаков, на их беззаботную веселость; вдруг его взор упал на одну из кибиток: рогожа была откинута, и он увидел... о, если б вы знали, что он увидал? во-первых, из нее показалась седая, лысая, желтая, исчерченная морщинами, угрюмая голова старика лет шестидесяти или более; его взгляд был мрачен, но благороден, исполнен этой холодной гордости, которая иногда родится с нами, но чаще дается воспитанием, образуется от продолжительной привычки повелевать себе подобными. Одежда старика была изорвана и местами запятнана кровью — да, кровью... потому что он не хотел молча отдать наследие своих предков пошлым разбойникам, не хотел видеть бесчестие детей своих, не подняв меча за право собственности... но рок изменил!.. он уже перешагнул две ступени к гибели: сопротивление, плен, — теперь осталась третья — виселица!..

И Вадим пристально, с участием всматривался в эти черты, отлитые в какую-то особенную форму величия и благородства, исчерченные когтями времени и страданий, старинных страданий, слившихся с его жизнью, как сливаются две однородные жидкости; но последние, самые жестокие удары судьбы не оставили никакого следа на челе старика; его большие серые глаза, осененные тяжелыми веками, медленно, строго пробегали картину, развернутую перед ними случайно; ни близость смерти, ни досада, ни ненависть, ничто не могло, казалось, отуманить этого спокойного,

всепроникающего взгляда; но вот он обратил их в внутренность кибитки, — и что же, две крупные слезы, засверкав, невольно выбежали на седые ресницы и чуть-чуть не упали на поднявшуюся грудь его; Вадим стал всматриваться с большим вниманием.

Вот показалась из-за рогожи другая голова, женская, розовая, фантастическая головка, достойная кисти Рафаэля, с детской полусонной, полупечальной, полурадостной, невыразимой улыбкой на устах; она прилегла на плечо старика, так беспечно и доверчиво, как ложится капля росы небесной на листок, иссушенный полднем, измятый грозою и стопами прохожего, и с первого взгляда можно было отгадать, что это отец и дочь, ибо в их взаимных ласках дышала одна печаль близкой разлуки, без малейших оттенок страсти, святая печаль, попечительное сожаление отца, опасения балованной, любимой дочери.

Тяжко было Вадиму смотреть на них, он вскочил и пошел к другой кибитке: она была совершенно раскрыта, и в ней были две девушки, две старшие дочери несчастного боярина; первая сидела и поддерживала голову сестры, которая лежала у ней на коленах; их волосы были растрепаны, перси обнажены, одежды изорваны... толпа веселых казаков осыпала их обидными похвалами, обидными насмешками... они, однако, не смели подойти к старику: его строгий, пронзительный взор поражал их дикие сердца непонятным страхом.

Между тем казаки разложили у берега речки несколько ярких огней и расположились вокруг; прикатили первую бочку, — началась пирушка... Сначала веселый говор пробежал по толпе, смех, песни, шутки, рассказы — все сливалось в одну нестройную, неполную музыку, но скоро шум начал возрастать, возрастать, как грозное крещендо оркестра; хор сделался согласнее, сильнее, выразительнее; о, какие песни, какие речи, какие взоры, лица, телодвижения, буйные, вольные! Какие разноцветные группы! яркое пламя костров согласно с догорающим западом озаряло картину пира, когда Вадим решился подойти к ним, замешаться в их веселие.

— За здравие пана Белбородки! — говорил один, выпивая разом полный ковшик. — Он первый выдумал этот золотой поход!..

— Черт его побери! — отвечал другой, покачиваясь, — славный малый!.. пьет как бочка, дерется как зверь... и умнее монаха!..

— Ребята!.. у кого из вас не замечен нынешний день на теле зарубкою, тот поди ко мне, я сослужу ему службу!..

— Ах ты хвастун, лях проклятый!.. ты во все время сидел с винтовкой за амбаром... ха! ха! ха!..

— А ты, рыжий, где спрятался, признайся, когда старик-то заперся в светелке да начал отстреливаться...

— Я, а где бишь! да я тут же был, с вами! да кто же, если не я, подстрелил того длинного молодца, что с топором высунулся из окна.

— Да это было прежде... ну, а если ты был тут, то скажи, что сделал старый боярин, когда наш Грицко удалый повалил его сына?..

— Что? ничего!..

— Так врешь! — он положил его поперек окна и, прислонив к нему ружье, выстрелил в десятского... вот повалил-то! как сноп! уж я целил, целил в его меньшую дочь... ведь разбойница! стоит за простенком себе да заряжает ружья... по крайней мере две другие лежали без памяти у себя на постелях...

— А много ваших легло?..

— Да человек десяток есть!.. зато уж мы, как ворвались в дом, всех покрошили, кроме господ... да этим суждено умереть немолодецкой смертью...

— Чего же вы ждете?.. осины есть... веревки есть...

— Да власти нет... старшина велит вести их к Белбородке!..

— Эх, кабы я был старшина!..

Тут ковш еще раз пропутешествовал по рукам и сухой вернулся к своему источнику!.. умы заклокотали сильнее, и лица разгорелись кровавым заревом.

— Кто вам мешает их убить! разве боитесь своих старшин? — сказал Вадим с коварной улыбкой.

Это была искра, брошенная на кучу пороха!..

— Кто мешает! — заревели пьяные казаки. — Кто смеет нам мешать! мы делаем что хотим, мы не рабы, черт возьми!.. убить, да, убить! отомстим за наших братьев... пойдемте, ребята... — и толпа с воем ринулась к кибиткам; несчастный старик спал на груди своей дочери; он вскочил... высунулся... и все понял!..

— Чего вы хотите! — сказал он твердым голосом.

— А! старый ворон! старый филин!.. мы тебя выучим воздушной пляске... пожалуй-ка сюда... да выходи же, — сказал один, подтверждая приказание ударом плетью...

Старик медленно вышел из кибитки, дочь выпрыгнула вслед за ним, уцепилась обеими руками за его платье. «Не бойся! — шепнул он ей, обняв одной рукою, — не бойся... если бог не захочет, они ничего не могут нам сделать, если же...» — он отвернулся... о, как изобразить выражение лица бедной девушки!.. сколько прелестей, сколько отчаяния!..

— Разнимите их! — закричал один кривой исполин, приготавливая петлю. — Что они лижутся!..

Их хотели растащить... но девушка в бешенстве укусила жестокую руку...

— Перестань! — сказал отец твердым голосом, — ты этим не поможешь, если мне суждено погибнуть от злодейских рук, без покаяния, как бусурману...

— Не может быть! не может быть, батюшка... ты не умрешь!

— Отчего же, дочь! не может быть?.. и Христос умер!.. молись...

Она отрывисто качнула головой и заплакала...

Боже! какие слезы!..

Несмотря на это, их растащили; но вдруг она вскрикнула и упала; отец кинулся к ней, с удивительной силой оттолкнул двух казаков, прижал руку к ее сердцу... она была мертва, бледна, холодна, как сырая земля, на которой лежало ее молодое, непорочное тело.

— Теперь пойдемте! — сказал старик; его глаза заблистали мрачным пламенем... он махнул рукою... ему надели на шею петлю, перекинули конец веревки через толстый сук, и... раздался громкий хохот, потом вдруг молчание, молчание смерти!..

Но увы! еще не кончились его муки; пьяные безумцы прежде времени пустили конец веревки, который взвился кверху; мученик сорвался, ударился оземь, — и нога его хрустнула... он застонал и повалился возле трупа своей дочери.

— Убийцы! — прохрипел он... — вот вам мое проклятье! проклятье!..

— Заткни ему горло! — сказал Орленко... это было сожаленье...

Два ножа в минуту воткнулись в горло старика, и он умолк.

Когда казаки, захотев увериться в его кончине, стали приподнимать его за руки, то заметили, что в последних судорогах он крепко ухватил ногу своей дочери, впился в нее костяными пальцами, которые замерли на нежном теле... О, это было ужасно... они смеялись!..

Божественная, милая девушка! и ты погибла, погибла без возврата... один удар — и свежий цветок склонил голову!.. твое слабое сердце, как нить истлевшая, разорвалось... Ни одно рыдание, ни одно слово мира и любви не усладило отлета души твоей, резвой, чистой, как радужный мотылек, невинной, как первый вздох младенца... грозные лица окружали твое сырое смертное ложе, проклятие было твоим надгробным словом!.. какая будущность! какое прошедшее! и все в один миг разлетелось; так иногда вечером облака дымные, багряные, лиловые гурьбой собираются на западе, свиваются в столпы огненные, сплетаются в фантастические хороводы, и замок с башнями и зубцами, чудный, как мечта поэта, растет на голубом пространстве... но дунул северный ветер... и разлетелись облака и упадают росою на бесчувственную землю!.. Мир с тобою, дева красоты, да ангел твой хранитель споет над твоим прахом песнь мира, любви и прощанья...

А между тем Вадим стоял неподвижно, смотрел на нее и на старика так же равнодушно и любопытно, как бы мы смотрели на какой-нибудь физический опыт! он, чье неуместное слово было всему виною...

Погодите, это легко объяснить вам.

Во-первых, он хотел узнать, какое чувство волнует душу при виде такой казни, при виде самых ужасных мук человеческих, — и нашел, что душу ничего не волнует.

Во-вторых, он хотел узнать, до какой степени может дойти непоколебимость человека... и нашел, что есть испытания, которых перенесть никто не в силах... это ему подало надежду увидать слезы, раскаяние Палицына — увидать его у ног своих, грызущего землю в бешенстве, целующего его руки от страха... надежда усладительная, нет никакого сомнения.

Уж было темно; огни догорали, толпа постепенно умолкала, и многие уж спали беззаботно... Луна, всплывая на синее небо, осеребрила струи виющейся речки и туманную отдаленность; черные облака медленно проходили мимо нее, как ночной сторож ходит взад и вперед мимо пылающего маяка...

Вадим сидел на своем прежнем месте, под толстой березой, сложа руки и угрюмо глядя на небо. К нему подошел Орленко.

— Посмотри, как весело! отчего ты один сердит, задумчив, горбач? — сказал он, ударив его по плечу.

— Ты видишь это облако, которое, как медвежья косматая шуба, висит над месяцем?.. — отвечал Вадим, приподняв голову с презрительной усмешкой.

— Вижу!

— Ну, а как ты думаешь, что таится в глубине его?..

— Что?.. по-моему, гром и молния — вишь, как насупилось...

— И ты спрашиваешь, зачем я угрюм и молчалив?..

Орленко, не поняв горбача, пожал плечами и отошел прочь...

ГЛАВА XXIV

Теперь оставим пирующую и сонную ватагу казаков и перенесемся в знакомую нам деревеньку, в избу бедной солдатки; дело подходило к рассвету, луна спокойно озаряла соломенные кровли дворов, и все ка-

залось погруженным в глубокий мирный сон; только в избе солдатки светилась тусклая лучина и по временам раздавался резкий грубый голос солдатки, коему отвечал другой, черезвычайно жалобный и плаксивый, — и это покажется черезвычайно обыкновенным, когда я скажу, что солдатка била своего сына! Я бы с великим удовольствием пропустил эту неприятную, пошлую сцену, если б она не служила необходимым изъяснением всего следующего; а так как я предполагаю в своих читателях должную степень любопытства, то не почитаю за необходимость долее извиняться.

— Ах ты лентяй! чтоб тебе сдохнуть... собачий сын!.. — говорила мать, таская за волосы своего детища.

— Матушки, батюшки! помилуй! золотая, серебряная... не буду! — ревел длинный балбес, утирая глаза кулаками!.. — я вчера вишь понес им хлеба да квасу в кувшине... вот, слышь, мачка, я шел... шел... да меня леший и обошел... а я устал, да и лег спать в кусты, мачка... вот, когда я проснулся... мне больно есть захотелось... я все и съел...

— Ах ты разбойник... экого болвана вырастила, запорю тебя до смерти... — И удары снова градом посыпались ему на голову. — Чай, он, мой голубчик, — продолжала солдатка, — там либо с голоду помер, либо вышел да попался в руки душегубам... а ты, нечесаная голова, и не подумал об этом!.. да знаешь ли, что за это тебя черти на том свете живого зажарят... вот родила я какого негодяя на свою голову... уж кабы знала, не видать бы твоему отцу от меня ни к.....а! — И снова тяжкие кулаки ее застучали о спину и зубы несчастного, который, прижавшись к печи, закрывал голову руками и только по временам испускал стоны, почти нечеловеческие.

И за дело! бедные изгнанники по милости негодяя более суток оставались без пищи, и отчаяние уже начинало вкрадываться в их души!.. и в самом деле, как выйти, где искать помощи, когда по всем признакам последние покровители их покинули на произвол судьбы?

Между тем, пока солдатка била своего парня, кто-то перелез через частокол, ощупью пробрался через двор, заставленный дровнями и колодами, и взошел в темные сени неверными шагами; усталость говорила во всех его движениях; он прислонился к стене и тяжело вздохнул; потом тихо пошел к двери избы, приложил к ней ухо и, узнав голос солдатки, отворил дверь — и взошел; догорающая лучина слабо озарила его бледное, исхудавшее лицо... не говоря ни слова, он в изнеможении присел на скамью и закрыл лицо руками...

Хозяйка вскрикнула при виде незваного гостя, но вскоре, вероятно узнав его и опасаясь свидетелей, поспешно притворила дверь и подошла к нему с видом простодушного участия.

— Что с тобою, мой кормилец!.. ах, матерь божия!.. да как ты зашел сюда... слава богу! я думала, что тебя злодеи-то давным-давно извели!..

— Случайно я нашел батюшку в Чертовом логовище, — отвечал он слабым голосом... — ты его спасла! благодарю... я пришел за хлебом.

— Ах я проклятая! ах я безумная! — а вы там, чай, родимые, голодали, голодали... нет, я себе этого не прощу... а ты, болван неотесанный, — закричала она, обратясь к сыну, — все это по твоей милости! собачий сын... — И снова удары посыпались на бедняка.

— Дай мне чего-нибудь! — сказал Юрий...

Эти слова напомнили ей дело более важное! она вынула из печи хлеба, поставила перед ним горшок снятого молока, и он с жадностью кинулся на предлагаемую пищу... в эту минуту он забыл все: долг, любовь отца, Ольгу, все, что не касалось до этого благодатного молока и хлеба. Если б в эту минуту закричали ему на ухо, что сам грозный Пугачев в тридцати шагах, то несчастный еще подумал бы: оставить ли этот неоцененный ужин и спастись — или утолить голод и погибнуть!.. у него не было уже ни ума, ни сердца — он имел один только желудок!

Пока он ел и отдыхал, прошел час, драгоценный час; восток белел неприметно; и уже дальние края туманных облаков начинали одеваться в утреннюю

свою парчовую одежду, когда Юрий, обремененный ношею съестных припасов, собирался выйти из гостеприимной хаты; вдруг раздался на улице конский топот, и кто-то проскакал мимо окон; Юрий побледнел, уронил мешок и значительно взглянул на остолбеневшую хозяйку... она подбежала к окну, всплеснула руками, и простодушное загорелое лицо ее изобразило ужас.

— Делать нечего! — сказал Юрий, призвав на помощь всю свою твердость... — не правда ли! я погиб. Говори скорее, потому что я не люблю неизвестности!..

Но хозяйка не отвечала; она приподняла половицу возле печи и указала на отверстие пальцем; Юрий понял сей выразительный знак и поспешно спустился в небольшой холодный погреб, уставленный домашней утварью.

— Что бы ты ни слыхал, что бы в избе ни творили со мной, барин, не выходи отсюда прежде двух ден, боже тебя сохрани, здесь есть молоко, квас и хлеб, на два дни станет! — И тяжелая доска, как гробовая крышка, хлопнула над его головою.

Хозяйка, чтоб не возбудить подозрений, стала возиться у печи, как будто ни в чем не бывало.

Скоро дверь распахнулась с треском, и вошли казаки, предводительствуемые Вадимом.

— Здесь был Борис Петрович Палицын с охотниками, — спросил Вадим у солдатки, — где они?..

— На заре, чем свет, уехали, кормилец!

— Лжешь; охотники уехали — а он здесь!..

— И, помилуйте, отцы родные, да что мне его прятать! ведь он, чай, не мой барин...

— В том-то и сила, что не твой! — подхватил Орленко... и, ударив ее плетью, продолжал: — Ну, живо поворачивайся, укажи, где он у тебя сидит... а не то...

— Делайте со мною что угодно, — сказала хозяйка, повесив голову, — а я знать не знаю, вот вам Христос и святая богородица!.. ищите, батюшки, а коли не найдете, не пеняйте на меня, грешную.

Несколько казаков по знаку атамана отправились на двор за поисками и через четверть часа возвратились, объявив, что ничего не нашли!..

Орленко недоверчиво посмотрел на Вадима, который, прислонясь к печи и приставив палец ко лбу, казался погружен в глубокое размышление; наконец, как будто пробудившись, он сказал почти про себя:

— Он здесь, непременно здесь!..

— Отчего же ты в том уверен? — сказал Орленко.

— Отчего! боже мой! отчего? я вам говорю, что он здесь, я это чувствую... я отдаю вам свою голову, если его здесь нет!..

— Хорош подарок, — заметил кто-то сзади.

— Но какие доказательства! и как его найти? — спросил Орленко...

Грицко осмелился подать голос и советовал употребить пытку над хозяйкой.

При грозном слове пытка она приметно побледнела, но ни тени нерешимости или страха не показалось на лице ее, оживленном, быть может, новыми для нее, но не менее того благородными чувствами.

— Пытать так пытать, — подхватили казаки и обступили хозяйку; она неподвижно стояла перед ними, и только иногда губы ее шептали неслышно какую-то молитву. К каждой ее руке привязали толстую веревку и, перекинув концы их через брус, поддерживающий полати, стали понемногу их натягивать; пятки ее отделились от полу, и скоро она едва могла прикасаться до земли концами пальцев. Тогда палачи остановились и с улыбкою взглянули на ее надувшиеся на руках жилы и на покрасневшее от боли лицо.

— Что, разбойница, — сказал Орленко... — теперь скажешь ли, где у тебя спрятан Палицын?

Глубокий вздох был ему ответом.

Он подтвердил свой вопрос ударом нагайки.

— Хоть зарежьте, не знаю, — отвечала несчастная женщина.

— Тащи выше! — было приказание Орленки, и в две минуты она поднялась от земли на аршин... глаза ее налились кровью, стиснув зубы, она старалась удерживать невольные крики... палачи опять остановились, и Вадим сделал знак Орленке, который его тотчас понял. Солдатку разули; под ногами ее разложили кучку горячих угольев... от жару и боли в ногах ее

начались судороги, — и она громко застонала, моля о пощаде.

— Ага, так, наконец, разжала зубы, проклятая... небось как начнем жарить, так не только язык, сами пятки заговорят... ну, отвечай же скорее, где он?

— Да, где он? — повторил горбач.

— Ох!.. ох! батюшки... голубчики... дайте дух перевести... опустите на землю...

— Нет, прежде скажи, а потом пустим...

— Воля ваша... не могу слова вымолвить... ох!. ох, господи... спаси... батюшки...

— Спустите ее, — сказал Орленко.

Когда ноги невинной жертвы коснулись до земли, когда грудь ее вздохнула свободно, то казак повторил прежние свои вопросы...

— Он убежал! — сказала она... — в ту же ночь... вон по той тропинке, что идет по оврагу... больше, вот вам Христос, я ничего не знаю.

В эту минуту два казака ввели в избу рыжего, замасленного болвана, ее сына. Она бросила ему взгляд, который всякий бы понял, кроме его.

— Кто ты таков? — спросил Орленко.

— *Петруха,* — отвечал парень...

— Да, дурачина, кто ты таков?

— А почем я знаю... говорят, что мачкин сын...

— Хорош! — сказал, захохотав, Орленко... — да где вы его нашли?..

— Зарылся в соломе по уши около амбара; мы идем, ан, глядь, две ноги торчат из соломы... вот мы его оттуда за ноги... уж тащили... тащили... словно лодку с отмели...

— Послушай, Орленко, — прервал Вадим, — мы от этого дурака можем больше узнать, чем от упрямой ведьмы, его матери!..

Казак кивнул головой в знак согласия.

— Только его надо вывести, иначе она нам помешает.

— И то правда — выведи-ка его на двор, — сказал Орленко, — а эту чертовку мы запрем здесь...

Услышав это, хозяйка вспыхнула, глаза ее засверкали...

— Послушай, Петруха, — закричала она звонким голосом, — если скажешь хоть единое словцо, я тебя прокляну, сгоню со двора, заморю, убью!..

Он затрепетал при звуках знакомого ему голоса; онемение, произведенное в нем присутствием стольких незнакомых лиц, еще удвоилось; он боялся матери больше, чем всех казаков на свете, ибо привык ее бояться; сопроводив свои угрозы значительным движением руки, она впала в задумчивость и казалась спокойною.

Прошло около десяти ужасных минут; вдруг раздались на дворе удары плети, ругательства казаков и крик несчастного. Ее материнское сердце сжалось, но вскоре мысль, что он не вытерпит мучений до конца и выскажет ее тайну, овладела всем ее существом; она и молилась, и плакала, и бегала по избе в нерешимости, что ей делать, даже было мгновенье, когда она почти покушалась на предательство... но вот сперва утихли крики, потом удары... потом брань... и, наконец, она увидала из окна, как казаки выходили один за одним за ворота, и на улице, собравшись в кружок, стали советоваться между собою. Лица их были пасмурны, омрачены обманутой надеждой; рыжий Петруха, избитый, полуживой, остался на дворе; он, охая и стоная, лежал на земле; мать, содрогаясь, подошла к нему, но в глазах ее сияла какая-то высокая, неизъяснимая радость: он не высказал, не выдал своей тайны душегубцам.

ПАНОРАМА МОСКВЫ

Кто никогда не был на вершине Ивана Великого, кому никогда не случалось окинуть одним взглядом всю нашу древнюю столицу с конца в конец, кто ни разу не любовался этою величественной, почти необозримой панорамой, тот не имеет понятия о Москве, ибо Москва не есть обыкновенный большой город, каких тысяча; Москва не безмолвная громада камней холодных, составленных в симметрическом порядке... нет! у нее есть своя душа, своя жизнь. Как в древнем римском кладбище, каждый ее камень хранит надпись, начертанную временем и роком, надпись, для толпы непонятную, но богатую, обильную мыслями, чувством и вдохновением для ученого, патриота и поэта!.. Как у океана, у нее есть свой язык, язык сильный, звучный, святой, молитвенный!.. Едва проснется день, как уже со всех ее златоглавых церквей раздается согласный гимн колоколов, подобно чудной, фантастической увертюре Беетговена, в которой густой рев контрбаса, треск литавр, с пением скрыпки и флейты образуют одно великое целое; и мнится, что бестелесные звуки принимают видимую форму, что духи неба и ада свиваются под облаками в один разнообразный, неизмеримый, быстро вертящийся хоровод!..

О, какое блаженство внимать этой неземной музыке, взобравшись на самый верхний ярус Ивана Великого, облокотясь на узкое мшистое окно, к которому

привела вас истертая, скользкая витая лестница, и думать, что весь этот оркестр гремит под вашими ногами, и воображать, что все это для вас одних, что вы царь этого невещественного мира, и пожирать очами этот огромный муравейник, где суетятся люди, для вас чуждые, где кипят страсти, вами на минуту забытые!.. Какое блаженство разом обнять душою всю суетную жизнь, все мелкие заботы человечества, смотреть на мир — с высоты!

На север перед вами, в самом отдалении на краю синего небосклона, немного правее Петровского замка, чернеет романическая Марьина роща, и пред нею лежит слой пестрых кровель, пересеченных кое-где пыльной зеленью булеваров, устроенных на древнем городском валу; на крутой горе, усыпанной низкими домиками, среди коих изредка лишь проглядывает широкая белая стена какого-нибудь боярского дома, возвышается четвероугольная, сизая, фантастическая громада — Сухарева башня. Она гордо взирает на окрестности, будто знает, что имя Петра начертано на ее мшистом челе! Ее мрачная физиономия, ее гигантские размеры, ее решительные формы, все хранит отпечаток другого века, отпечаток той грозной власти, которой ничто не могло противиться.

Ближе к центру города здания принимают вид более стройный, более европейский; проглядывают богатые колоннады, широкие дворы, обнесенные чугунными решетками, бесчисленные главы церквей, шпицы колоколен с ржавыми крестами и пестрыми раскрашенными карнизами.

Еще ближе, на широкой площади, возвышается Петровский театр, произведение новейшего искусства, огромное здание, сделанное по всем правилам вкуса, с плоской кровлей и величественным портиком, на коем возвышается алебастровый Аполлон, стоящий на одной ноге в алебастровой колеснице, неподвижно управляющий тремя алебастровыми конями и с досадою взирающий на кремлевскую стену, которая ревниво отделяет его от древних святынь России!..

На восток картина еще богаче и разнообразнее: за самой стеной, которая вправо спускается с горы и

оканчивается круглой угловой башнею, покрытой, как чешуею, зелеными черепицами; немного левее этой башни являются бесчисленные куполы церкви Василия Блаженного, семидесяти приделам которой дивятся все иностранцы и которую ни один русский не потрудился еще описать подробно.

Она, как древний Вавилонский столп, состоит из нескольких уступов, кои оканчиваются огромной, зубчатой, радужного цвета главой, чрезвычайно похожей (если простят мне сравнение) на хрустальную граненую пробку старинного графина. Кругом нее рассеяно по всем уступам ярусов множество второклассных глав, совершенно непохожих одна на другую; они рассыпаны по всему зданию без симметрии, без порядка, как отрасли старого дерева, пресмыкающиеся по обнаженным корням его.

Витые тяжелые колонны поддерживают железные кровли, повисшие над дверями и наружными галереями, из коих выглядывают маленькие темные окна, как зрачки стоглазого чудовища. Тысячи затейливых иероглифических изображений рисуются вокруг этих окон; изредка тусклая лампада светится сквозь стекла их, загороженные решетками, как блещет ночью мирный светляк сквозь плющ, обвивающий полуразвалившуюся башню. Каждый придел раскрашен снаружи особенною краской, как будто они не были выстроены все в одно время, как будто каждый владетель Москвы в продолжение многих лет прибавлял по одному, в честь своего ангела.

Весьма немногие жители Москвы решались обойти все приделы сего храма. Его мрачная наружность наводит на душу какое-то уныние; кажется, видишь перед собою самого Иоанна Грозного — но таковым, каков он был в последние годы своей жизни!

И что же? — рядом с этим великолепным, угрюмым зданием, прямо против его дверей, кипит грязная толпа, блещут ряды лавок, кричат разносчики, суетятся булочники у пьедестала монумента, воздвигнутого Минину; гремят модные кареты, лепечут модные барыни... все так шумно, живо, непокойно!..

Вправо от Василия Блаженного, под крутым скатом, течет мелкая, широкая, грязная Москва-река, изнемогая под множеством тяжких судов, нагруженных хлебом и дровами; их длинные мачты, увенчанные полосатыми флюгерями, встают из-за Москворецкого моста, их скрыпучие канаты, колеблемые ветром, как паутина, едва чернеют на голубом небосклоне. На левом берегу реки, глядясь в ее гладкие воды, белеет воспитательный дом, коего широкие голые стены, симметрически расположенные окна и трубы и вообще европейская осанка резко отделяются от прочих соседних зданий, одетых восточной роскошью или исполненных духом средних веков. Далее к востоку на трех холмах, между коих извивается река, пестреют широкие массы домов всех возможных величин и цветов; утомленный взор с трудом может достигнуть дальнего горизонта, на котором рисуются группы нескольких монастырей, между коими Симонов примечателен особенно своею, почти между небом и землей висящею платформой, откуда наши предки наблюдали за движениями приближающихся татар.

К югу, под горой, у самой подошвы стены кремлевской, против Тайницких ворот, протекает река, и за нею широкая долина, усыпанная домами и церквями, простирается до самой подошвы Поклонной горы, откуда Наполеон кинул первый взгляд на гибельный для него Кремль, откуда в первый раз он увидал его вещее пламя: этот грозный светоч, который озарил его торжество и его падение!

На западе, за длинной башней, где живут и могут жить одни ласточки (ибо она, будучи построена после французов, не имеет внутри ни потолков ни лестниц, и стены ее росперты крестообразно поставленными брусьями), возвышаются арки Каменного моста, который дугою перегибается с одного берега на другой; вода, удержанная небольшой запрудой, с шумом и пеною вырывается из-под него, образуя между сводами небольшие водопады, которые часто, особливо весною, привлекают любопытство московских зевак, а иногда принимают в свои недра тело бедного грешника. Далее моста, по правую сторону реки, отде-

ляются на небосклоне зубчатые силуэты Алексеевского монастыря; по левую, на равнине между кровлями купеческих домов, блещут верхи Донского монастыря... А там, за ним, одеты голубым туманом, восходящим от студеных волн реки, начинаются Воробьевы горы, увенчанные густыми рощами, которые с крутых вершин глядятся в реку, извивающуюся у их подошвы подобно змее, покрытой серебристою чешуей.

Когда склоняется день, когда розовая мгла одевает дальние части города и окрестные холмы, тогда только можно видеть нашу древнюю столицу во всем ее блеске, ибо, подобно красавице, показывающей только вечером свои лучшие уборы, она только в этот торжественный час может произвести на душу сильное, неизгладимое впечатление.

Что сравнить с этим Кремлем, который, окружась зубчатыми стенами, красуясь золотыми главами соборов, возлежит на высокой горе, как державный венец на челе грозного владыки?..

Он алтарь России, на нем должны совершаться и уже совершались многие жертвы, достойные отечества... Давно ли, как баснословный феникс, он возродился из пылающего своего праха?..

Что величественнее этих мрачных храмин, тесно составленных в одну кучу, этого таинственного дворца Годунова, коего холодные столбы и плиты столько лет уже не слышат звуков человеческого голоса, подобно могильному мавзолею, возвышающемуся среди пустыни в память царей великих?!

Нет, ни Кремля, ни его зубчатых стен, ни его темных переходов, ни пышных дворцов его описать невозможно... Надо видеть, видеть... надо чувствовать все, что они говорят сердцу и воображению!..

Юнкер л. г. гусарского полка *Лермантов.*

КНЯГИНЯ ЛИГОВСКАЯ

Роман

ГЛАВА I

Поди! — поди! раздался крик!
Пушкин.

В 1833 году, декабря 21-го дня в 4 часа пополудни по Вознесенской улице, как обыкновенно, валила толпа народу, и между прочим шел один молодой чиновник; заметьте день и час, потому что в этот день и в этот час случилось событие, от которого тянется цепь различных приключений, постигших всех моих героев и героинь, историю которых я обещался передать потомству, если потомство станет читать романы. Итак, по Вознесенской шел один молодой чиновник, и шел он из департамента, утомленный однообразной работой и мечтая о награде и вкусном обеде — ибо все чиновники мечтают! На нем был картуз неопределенной формы и синяя ваточная шинель с старым бобровым воротником; черты лица его различить было трудно: причиною тому козырек, воротник и сумерки; казалось, он не торопился домой, а наслаждался чистым воздухом морозного вечера, разливавшего сквозь зимнюю мглу розовые лучи свои по кровлям домов, соблазнительным блистаньем магазинов и кондитерских; порою подняв глаза кверху с истинно поэтическим умиленьем, сталкивался он с какой-нибудь розовой шляпкой и, смутившись,

извинялся; коварная розовая шляпка сердилась, потом заглядывала ему под картуз и, пройдя несколько шагов, оборачивалась, как будто ожидая вторичного извинения; напрасно! молодой чиновник был совершенно недогадлив!.. но еще чаще он останавливался, чтоб поглазеть сквозь цельные окна магазина или кондитерской, блистающей чудными огнями и великолепной позолотою; долго, пристально, с завистью разглядывал различные предметы — и, опомнившись, с глубоким вздохом и стоическою твердостью продолжал свой путь; самые же ужасные мучители его были извозчики, — и он ненавидел извозчиков; «Барин! куда изволите? прикажете подавать? подавать-с!» Это была пытка Тантала, и он в душе глубоко ненавидел извозчиков.

Спустясь с Вознесенского моста и собираясь поворотить направо по канаве, вдруг слышит он крик: «Берегись, поди!..» Прямо на него летел гнедой рысак; из-за кучера мелькал белый султан и развевался воротник серой шинели. Едва он успел поднять глаза, уж одна оглобля была против его груди, и пар, вылетавший клубами из ноздрей бегуна, обдал ему лицо; машинально он ухватился руками за оглоблю и в тот же миг сильным порывом лошади был отброшен несколько шагов в сторону на тротуар... раздалось кругом: «Задавил, задавил», — извозчики погнались за нарушителем порядка, но белый султан только мелькнул у них перед глазами и был таков.

Когда чиновник очнулся, боли он нигде не чувствовал, но колена у него тряслись еще от страха; он встал, облокотился на перилы канавы, стараясь прийти в себя; горькие думы овладели его сердцем, и с этой минуты перенес он всю ненависть, к какой его душа только была способна, с извозчиков на гнедых рысаков и белые султаны.

Между тем белый султан и гнедой рысак пронеслись вдоль по каналу, поворотили на Невский, с Невского на Караванную, оттуда на Симионовский мост, потом направо по Фонтанке, и тут остановились у богатого подъезда, с навесом и стеклянными дверьми, с медной блестящею обделкой.

— Ну, сударь, — сказал кучер, широкоплечий мужик с окладистой рыжей бородой, — Васька нынче показал себя!

Надобно заметить, что у кучеров любимая их лошадь называется всегда Ваською, даже вопреки желанию господ, наделяющих ее громкими именами Ахилла, Гектора... она все-таки будет для кучера не Ахел и не Нектор, а Васька.

Офицер слез, потрепал дымящегося рысака по крутой шее, улыбнулся ему признательно и взошел на блестящую лестницу; об раздавленном чиновнике не было и помину... Теперь, когда он снял шинель, закиданную снегом, и взошел в свой кабинет, мы свободно можем пойти за ним и описать его наружность — к несчастию, вовсе не привлекательную; он был небольшого роста, широк в плечах и вообще нескладен; казался сильного сложения, неспособного к чувствительности и раздражению; походка его была несколько осторожна для кавалериста, жесты его были отрывисты, хотя часто они выказывали лень и беззаботное равнодушие, которое теперь в моде и в духе века — если это не плеоназм. Но сквозь эту холодную кору прорывалась часто настоящая природа человека; видно было, что он следовал не всеобщей моде, а сжимал свои чувства и мысли из недоверчивости или из гордости. Звуки его голоса были то густы, то резки, смотря по влиянию текущей минуты; когда он хотел говорить приятно, то начинал запинаться и вдруг оканчивал едкой шуткой, чтоб скрыть собственное смущение, — и в свете утверждали, что язык его зол и опасен... ибо свет не терпит в кругу своем ничего сильного, потрясающего, ничего, что бы могло обличить характер и волю: свету нужны французские водевили и русская покорность чуждому мнению.

Лицо его смуглое, неправильное, но полное выразительности, было бы любопытно для Лафатера и его последователей: они прочли бы на нем глубокие следы прошедшего и чудные обещания будущности... толпа же говорила, что в его улыбке, в его странно блестящих глазах есть что-то...

В заключение портрета скажу, что он назывался Григорий Александрович Печорин, а между родными просто Жорж, на французский лад, и что притом ему было двадцать три года, и что у родителей его было три тысячи душ в Саратовской, Воронежской и Калужской губернии, — последнее я прибавляю, чтоб немного скрасить его наружность во мнении строгих читателей! виноват, забыл включить, что Жорж был единственный сын, не считая сестры, шестнадцатилетней девочки, которая была очень недурна собою и, по словам маменьки (папеньки уж не было на свете), не нуждалась в приданом и могла занять высокую степень в обществе с помощию божией, и хорошенького личика, и блестящего воспитания.

Григорий Александрович, войдя в свой кабинет, повалился в широкие кресла; лакей взошел и доложил ему, что, дескать, барыня изволила уехать обедать в гости, а сестра изволила уж откушать... «Я обедать не буду, — был ответ, — я завтракал!..»

Потом взошел мальчик лет тринадцати в красной казачьей куртке, быстроглазый, беленький и с виду большой плут, и подал, не говоря ни слова, визитную карточку: Печорин небрежно положил ее на стол и спросил, кто принес.

— Сюда нынче приезжали молодая барыня с мужем, — отвечал Федька, — и велели эту карточку подать Татьяне Петровне (так называлась мать Печорина).

— Что ж ты принес ее ко мне?

— Да я думал, что это все равно-с!.. может быть, вам угодно прочесть?

— То есть тебе хочется узнать, что тут написано.

— Да-с, — эти господа никогда еще у нас не были.

— Я тебя слишком избаловал, — сказал Печорин строгим голосом, — набей мне трубку.

Но эта визитная карточка, видно, имела свойство возбуждать любопытство... Долго Жорж не решался переменить удобного положения на широких креслах и протянуть руку к столу... притом в комнате не было свеч — она озарялась красноватым пламенем камина,

а велеть подать огню и расстроить очаровательный эффект каминного освещения ему также не хотелось. Но любопытство превозмогло, он встал, взял карточку и с каким-то непонятным волнением ожидания поднес ее к решетке камина; на ней было напечатано готическими буквами: «князь Степан Степаныч Лиговской, с княгиней». Он побледнел, вздрогнул, глаза его сверкнули, и карточка полетела в камин. Минуты три он ходил взад и вперед по комнате, делая разные странные движения рукою, разные восклицания, — то улыбаясь, то хмуря брови; наконец, он остановился, схватил щипцы и бросился вытаскивать карточку из огня: увы! одна ее половина превратилась в прах, а другая свернулась, почернела — и на ней едва только можно было разобрать «Степан Степ...»

Печорин положил эти бренные остатки на стол, сел опять в свои креслы и закрыл лицо руками, — и хотя я очень хорошо читаю побуждения души на физиономиях, но по этой именно причине не могу никак рассказать вам его мыслей. В таком положении сидел он четверть часа, и вдруг ему послышался шорох, подобный легким шагам, шуму платья или движению листа бумаги... хотя он не верил привидениям... но вздрогнул, быстро поднял голову — и увидел перед собою в сумраке что-то белое и, казалось, воздушное... с минуту он не знал, на что подумать, так далеко были его мысли... если не от мира, то по крайней мере от этой комнаты...

— Кто это? — спросил он.

— Я! — отвечал принужденный контральто — и раздался звонкий женский хохот.

— Варенька! какая ты шалунья.

— А ты спал!.. ужасно весело!..

— Я бы желал спать. Оно покойнее!..

— Это стыд! отчего нам на балах, в обществах так скучно!.. вы все ищете спокойствия... какие любезные молодые люди...

— А позвольте спросить, — возразил Жорж, зевая, — из каких благ мы обязаны забавлять вас...

— Оттого, что мы дамы.

— Поздравляю. Но ведь нам без вас не скучно...

— Я почему знаю!.. и что мы станем говорить между собою?

— Моды, новости... разве мало? поверяйте друг другу ваши тайны...

— Какие тайны? у меня нет тайн... все молодые люди так несносны...

— Большая часть их не привыкли к женскому обществу.

— Пускай привыкают — они и этого не хотят попробовать!..

Жорж важно встал и поклонился с насмешливой улыбкой:

— Варвара Александровна, я замечаю, что вы идете большими шагами в храм просвещения.

Варенька покраснела и надула розовые губки... а брат ее преспокойно опять опустился в свои кресла. Между тем подали свеч, и пока Варенька сердится и стучит пальчиком в окно, я опишу вам комнату, в которой мы находимся. Она была вместе и кабинет и гостиная и соединялась коридором с другой частью дома; светло-голубые французские обои покрывали ее стены... лоснящиеся дубовые двери с модными ручками и дубовые рамы окон показывали в хозяине человека порядочного. Драпировка над окнами была в китайском вкусе, а вечером, или когда солнце ударяло в стеклы, опускались пунцовые шторы, — противуположность резкая с цветом горницы, но показывающая какую-то любовь к странному, оригинальному. Против окна стоял письменный стол, покрытый кипою картинок, бумаг, книг, разных видов чернильниц и модных мелочей; по одну его сторону стоял высокий трельяж, увитый непроницаемою сеткой зеленого плюща, по другую — кресла, на которых теперь сидел Жорж... На полу под ним разостлан был широкий ковер, разрисованный пестрыми арабесками; другой персидский ковер висел на стене, находящейся против окон, и на нем развешаны были пистолеты, два турецкие ружья, черкесские шашки и кинжалы, подарки сослуживцев, погулявших когда-то за Балканом... на мраморном камине стояли три алебастровые карикатурки Паганини, Иванова и Россини...

остальные стены были голые, кругом и вдоль по ним стояли широкие диваны, обитые шерстяным штофом пунцового цвета; одна-единственная картина привлекала взоры, она висела над дверьми, ведущими в спальню; она изображала неизвестное мужское лицо, писанное неизвестным русским художником, человеком, не знавшим своего гения и которому никто об нем не позаботился намекнуть. Картина эта была фантазия, глубокая, мрачная. Лицо это было написано прямо, безо всякого искусственного наклонения или оборота, свет падал сверху, платье было набросано грубо, темно и безотчетливо, — казалось, вся мысль художника сосредоточилась в глазах и улыбке... Голова была больше натуральной величины, волосы гладко упадали по обеим сторонам лба, который кругло́ и сильно выдавался и, казалось, имел в устройстве своем что-то необыкновенное. Глаза, устремленные вперед, блистали тем страшным блеском, которым иногда блещут живые глаза сквозь прорези черной маски; испытующий и укоризненный луч их, казалось, следовал за вами во все углы комнаты, и улыбка, растягивая узкие и сжатые губы, была более презрительная, чем насмешливая; всякий раз, когда Жорж смотрел на эту голову, он видел в ней новое выражение; она сделалась его собеседником в минуты одиночества и мечтания — и он, как партизан Байрона, назвал ее портретом Лары. Товарищи, которым он ее с восторгом показывал, называли ее порядочной картинкой.

Между тем, покуда я описывал кабинет, Варенька постепенно придвигалась к столу, потом подошла ближе к брату и села против него на стул; в ее голубых глазах незаметно было ни даже искры минутного гнева, но она не знала, чем возобновить разговор. Ей попалась под руки полусгоревшая визитная карточка.

— Что это такое? «Степан Степ...» А! это, верно, у нас нынче был князь Лиговской!.. как бы я желала видеть Верочку! замужем, — она была такая добрая... я вчера слышала, что они приехали из Мо-

сквы!.. кто же сжег эту карточку... Ее бы надо подать маменьке!

— Кажется, я, — отвечал Жорж, — раскуривал трубку!..

— Прекрасно! я бы желала, чтоб Верочка это узнала... ей было бы очень приятно!.. Так-то, сударь, ваше сердце изменчиво!.. я ей скажу, скажу — непременно!.. впрочем, нет!.. теперь ей, должно быть, все равно!.. она ведь замужем!..

— Ты судишь очень здраво для твоих лет!.. — отвечал ей брат и зевнул, не зная, что прибавить...

— Для моих лет! что я за ребенок! маменька говорит, что девушка в семнадцать лет так же благоразумна, как мужчина в двадцать пять.

— Ты очень хорошо делаешь, что слушаешься маменьки.

Эта фраза, по-видимому похожая на похвалу, показалась насмешкой; таким образом согласие опять расстроилось, и они замолчали... Мальчик взошел и принес записку: приглашение на бал к барону Р***.

— Какая тоска! — воскликнул Жорж. — Надо ехать.

— Там будет mademoiselle Negouroff!.. — возразила ироническим тоном Варенька. — Она еще вчера об тебе спрашивала!.. какие у нее глаза! прелесть!..

— Как угль, в горниле раскаленный!..

— Однако сознайся, что глаза чудесные!

— Когда хвалят глаза, то это значит, что остальное никуда не годится.

— Смейся!.. а сам неравнодушен...

— Положим.

— Я и это расскажу Верочке!..

— Давно ли ты уверяла, что я для нее — все равно!..

— Поверьте, я лучше этого говорю по-русски — я не монастырка.

— О! совсем нет! очень далеко...

Она покраснела и ушла...

Но я вас должен предупредить, что это был на

них черный день... они обыкновенно жили очень дружно, и особенно Жорж любил сестру самой нежною братскою любовью.

Последний намек на mademoiselle Negouroff (так будем мы ее называть впоследствии) заставил Печорина задуматься; наконец, неожиданная мысль прилетела к нему свыше, он придвинул чернильницу, вынул лист почтовой бумаги и стал что-то писать; покуда он писал, самодовольная улыбка часто появлялась на лице его, глаза искрились — одним словом, ему было очень весело, как человеку, который выдумал что-нибудь необыкновенное. Кончив писать, он положил бумагу в конверт и надписал: «Милостивой гос. Елизавете Львовне, Негуровой в собственные руки»; потом кликнул Федьку и велел ему отнести на городскую почту — да чтоб никто из людей не видал. Маленький Меркурий, гордясь великой доверенностию господина, стрелой помчался в лавочку, а Печорин велел закладывать сани и через полчаса уехал в театр; однако в этой поездке ему не удалось задавить ни одного чиновника.

ГЛАВА II

Давали Фенеллу (четвертое представление). В узкой лазейке, ведущей к кассе, толпилась непроходимая куча народу... Печорин, который не имел еще билета и был нетерпелив, адресовался к одному театральному служителю, продающему афиши. За пятнадцать рублей достал он кресло во втором ряду с левой стороны — и с краю: важное преимущество для тех, которые берегут свои ноги и ходят пить чай к Фениксу. Когда Печорин вошел, увертюра еще не начиналась и в ложи не все еще съехались; между прочим, прямо над ним в бельэтаже была пустая ложа, возле пустой ложи сидели Негуровы, отец, мать и дочь; дочка была бы недурна, если б бледность, худоба и старость, почти общий недостаток петербургских девушек, не затмевали блеска двух огромных глаз и не разрушивали гармонию между чертами довольно пра-

вильными и остроумным выражением. Она поклонилась Печорину довольно ласково и просияла улыбкой.

«Видно, еще письмо не дошло по адресу!» — подумал он и стал наводить лорнет на другие ложи; в них он узнал множество бальных знакомых, с которыми иногда кланялся, иногда нет; смотря по тому, замечали его или нет; он не оскорблялся равнодушием света к нему, потому что оценил свет в настоящую его цену; он знал, что заставить говорить об себе легко, но знал также, что свет два раза сряду не занимается одним и тем же лицом; ему нужны новые кумиры, новые моды, новые романы... ветераны светской славы, как и все другие ветераны, самые жалкие созданья... В коротком обществе, где умный, разнообразный разговор заменяет танцы (рауты в сторону), где говорить можно обо всем, не боясь цензуры тетушек и не встречая чересчур строгих и неприступных дев,— в таком кругу он мог бы блистать и даже нравиться, потому что ум и душа, показываясь наружу, придают чертам жизнь, игру и заставляют забыть их недостатки; но таких обществ у нас в России мало, в Петербурге еще меньше, вопреки тому, что его называют совершенно европейским городом и владыкой хорошего тона. Замечу мимоходом, что хороший тон царствует только там, где вы не услышите ничего лишнего, но увы! друзья мои! зато как мало вы там и услышите.

На балах Печорин с своею невыгодной наружностью терялся в толпе зрителей, был или печален, или слишком зол, потому что самолюбие его страдало. Танцуя редко, он мог разговаривать только с теми дамами, которые сидели весь вечер у стенки — а с этими-то именно он никогда не знакомился... У него прежде было занятие — сатира, — стоя вне круга мазурки, он разбирал танцующих, и его колкие замечания очень скоро расходились по зале и потом по городу; но раз как-то он подслушал в мазурке разговор одного длинного дипломата с какою-то княжною... Дипломат под своим именем так и печатал все его остроты, а княжна из одного приличия не хохотала во

все горло; Печорин вспомнил, что когда он говорил то же самое и гораздо лучше одной из бальных нимф дня три тому назад, она только пожала плечами и не взяла на себя даже труд понять его; с этой минуты он стал больше танцевать и реже говорить умно; и даже ему показалось, что его начали принимать с большим удовольствием. Одним словом, он начал постигать, что *по коренным законам общества в танцующем кавалере ума не полагается!*

Загремела увертюра; все было полно, одна ложа рядом с ложей Негуровых оставалась пуста и часто привлекала любопытные взоры Печорина; это ему казалось странно — и он желал бы очень, наконец, увидать людей, которые пропустили увертюру Фенеллы.

Занавес взвился, — и в эту минуту застучали стулья в пустой ложе; Печорин поднял голову, но мог видеть только пунцовый берет и круглую белую божественную ручку с божественным лорнетом, небрежно упавшую на малиновый бархат ложи; несколько раз он пробовал следить за движениями неизвестной, чтоб разглядеть хоть глаз, хоть щечку; напрасно, — раз он так закинул голову назад, что мог бы видеть лоб и глаза... но как назло ему огромная двойная трубка закрыла всю верхнюю часть ее лица. У него заболела шея, он рассердился и дал себе слово не смотреть больше на эту проклятую ложу. Первый акт кончился, Печорин встал и пошел с некоторыми из товарищей к Фениксу, стараясь даже нечаянно не взглянуть на ненавистную ложу.

Феникс — ресторация весьма примечательная по своему топографическому положению в отношении к задним подъездам Александринского театра. Бывало, когда неуклюжие рыдваны, влекомые парою хромых кляч, теснились возле узких дверей театра и юные нимфы, окутанные грубыми казенными платками, прыгали на скрыпучие подножки, толпа усастых волокит, вооруженных блестящими лорнетами и еще ярче блистающими взорами, толпились на крыльце твоем, о Феникс! но скоро промчались эти буйные дни: и там, где мелькали прежде черные и белые султаны, там

ныне чинно прогуливаются треугольные шляпы без султанов; великий пример переворотов судьбы человеческой!

Печорин взошел к Фениксу с одним преображенским и другим конноартиллерийским офицером. Он велел подать чаю и сел с ними подле стола; народу было много всякого; за тем же столом, где сидел Печорин, сидел также какой-то молодой человек во фраке, не совсем отлично одетый и куривший собственные пахитосы к великому соблазну трактирных служителей. Этот молодой человек был высокого роста, блондин и удивительно хорош собою; большие томные голубые глаза, правильный нос, похожий на нос Аполлона Бельведерского, греческий овал лица и прелестные волосы, завитые природою, должны были обратить на него внимание каждого; одни губы его, слишком тонкие и бледные в сравнении с живостию красок, разлитых по щекам, мне бы не понравились; по медным пуговицам с гербами на его фраке можно было отгадать, что он чиновник, как все молодые люди во фраках в Петербурге. Он сидел задумавшись и, казалось, не слушал разговора офицеров, которые шутили, смеялись и рассказывали анекдоты, запивая дым трубки скверным чаем. Между прочим, стали говорить о лошадях: один артиллерийский поручик хвастался своим рысаком; начался спор; Печорин à propos[1] рассказал, как он сегодня у Вознесенского моста задавил какого-то франта и умчался от погони... Костюм франта в измятом картузе был описан, его несчастное положение на тротуаре также. Смеялись. Когда Печорин кончил, молодой человек во фраке встал и, протянув руку, чтоб взять шляпу со стола, сдернул на пол поднос с чайником и чашками; движение было явно умышленное; все глаза на него обратились; но взгляд Печорина был дерзче и вопросительнее других; кровь кинулась в лицо неизвестному господину, он стоял неподвижен и не извинялся — молчание продолжалось с минуту — сделался кружок, и все предугадывали *историю*. Вдруг Печорин опять сел и громко кликнул

---

[1] между прочим *(франц.)*.

служителя: «Что стоит посуда?» — ему сказали цену втрое дороже.

— Этот чиновник так был неловок, что разбил ее, — продолжал Жорж холодно, — вот деньги, — он бросил деньги на стол и прибавил: — Скажи ему, что теперь он может отсюда уйти свободно.

Служитель при всех доложил с почтением чиновнику, что он все получил, и просил на водку!.. Но тот, ничего не отвечая, скрылся: толпа хохотала ему вослед; офицеры смеялись еще больше... и хвалили товарища, который так славно отделал противника, не запутавшись между тем в *историю*. О! история у нас вещь ужасная; благородно или низко вы поступили, правы или нет, могли избежать или не могли, но ваше имя замешано в историю... все равно, вы теряете все: расположение общества, карьер, уважение друзей... попасться в историю! ужаснее этого ничего не может быть, как бы эта история ни кончилась! Частная известность уж есть острый нож для общества, вы заставили об себе говорить два дня. Страдайте ж двадцать лет за это. Суд общего мнения, везде ошибочный, происходит, однако, у нас совсем на других основаниях, чем в остальной Европе; в Англии, например, банкрутство — бесчестие неизгладимое, — достаточная причина для самоубийства. Развратная шалость в Германии закрывает навсегда двери хорошего общества (о Франции я не говорю: в одном Париже больше разных общих мнений, чем в целом свете) — а у нас?.. объявленный взяточник принимается везде очень хорошо: его оправдывают фразою: и! кто этого не делает!.. Трус обласкан везде, потому что он смирный малый, а замешанный в историю! — о! ему нет пощады: маменьки говорят об нем: «Бог его знает, какой он человек», — и папеньки прибавляют: «Мерзавец!..»

Офицеры без новой тревоги допили свой чай и пошли; Печорин вышел после всех; на крыльце кто-то его остановил за руку, примолвив:

— Я имею с вами поговорить!

По трепету руки он отгадал, что это его давешний противник; нечего делать: не миновать истории.

— Извольте говорить, — отвечал он небрежно, — только не здесь, на морозе.

— Пойдемте в коридор театра! — возразил чиновник. Они пошли молча.

Второй акт уже начался: коридоры и широкие лестницы были пусты; на площадке одной уединенной лестницы, едва освещенной далекой лампой, они остановились, и Печорин, сложив руки на груди, прислонясь к железным перилам и прищурив глаза, окинул взором противника с ног до головы и сказал:

— Я вас слушаю!..

— Милостивый государь,—голос чиновника дрожал от ярости, жилы на лбу его надулись, и губы побледнели, — милостивый государь!.. вы меня обидели! вы меня оскорбили смертельно.

— Это для меня не секрет, — отвечал Жорж, — и вы могли бы объясниться при всех, — я вам отвечал бы то же, что теперь отвечу... когда ж вам угодно стреляться? нынче? завтра?.. я думаю, что угадал ваше намерение; по крайней мере разбитие чашек не было случайностью: вы хотели с чего-нибудь начать... и начали очень остроумно, — прибавил он, насмешливо поклонившись...

— Милостивый государь! — отвечал он, задыхаясь, — вы едва меня сегодня не задавили, да, меня, который перед вами... и этим хвастаетесь, вам весело! а по какому праву? потому что у вас есть рысак, белый султан? золотые эполеты? Разве я не такой же дворянин, как вы? Я беден! да, я беден! хожу пешком — конечно, после этого я не человек, не только дворянин! А! вам это весело!.. вы думали, что я буду слушать смиренно дерзости, потому что у меня нет денег, которые бы я мог бросить на стол!.. Нет, никогда! никогда, никогда я вам этого не прощу!..

В эту минуту пламеневшее лицо его было прекрасно, как буря; Печорин смотрел на него с холодным любопытством и, наконец, сказал:

— Ваши рассуждения немножко длинны — назначьте час — и разойдемтесь: вы так кричите, что разбудите всех лакеев. — И точно, некоторые из них, спав-

шие на барских салопах в коридоре первого яруса, начали поднимать головы...

— Какое дело мне до них! пускай весь мир меня слушает!..

— Я не этого мнения... Если угодно, завтра в восемь часов я вас жду с секундантом.

Печорин сказал свой адрес...

— Драться! я вас понимаю! насмерть драться!.. и вы думаете, что я буду достаточно вознагражден, когда всажу вам в сердце свинцовый шарик!.. Прекрасное утешение!.. нет, я б желал, чтоб вы жили вечно и чтоб я мог вечно мстить вам. Драться! нет! тут успех слишком неверен...

— В таком случае ступайте домой, выпейте стакан воды и ложитесь спать, — возразил Печорин, пожав плечами, — и хотел идти.

— Нет, постойте, — сказал чиновник, придя несколько в себя, — и выслушайте меня!.. вы думаете, что я трус? как будто храбрость не может существовать без вывески шпор или эполетов?.. Поверьте, что я меньше дорожу жизнью и будущностью, чем вы! Моя жизнь горька, будущности у меня нет... я беден, так беден, что хожу в стулья; я не могу раз в год бросить пять рублей для своего удовольствия, я живу жалованьем, без друзей, без родных — у меня одна мать, старушка... я все для нее: я ее провидение и подпора... она для меня: и друзья и семейство; с тех пор как живу, я еще никого не любил, кроме ее: потеряв меня, сударь, она либо умрет от печали, либо умрет с голоду... — Он остановился, глаза его налились слезами и кровью... — И вы думали, что я с вами буду драться?..

— Чего ж, наконец, вы от меня хотите? — сказал Печорин нетерпеливо.

— Я хотел вас заставить раскаяться.

— Вы, кажется, забыли, что не я начал ссору.

— А разве задавить человека ничего — шутка — потеха!

— Я вам обещаюсь высечь моего кучера...

— О, вы меня выведете из терпения!..

— Что ж? мы тогда будем стреляться!..

Чиновник не отвечал, он закрыл лицо руками, грудь его волновалась, в его отрывистых словах проглядывало отчаяние, казалось, он рыдал, и, наконец, он воскликнул: «Нет, не могу, не погублю ее!..» — и убежал.

Печорин с сожалением посмотрел ему вослед и пошел в кресла: второй акт Фенеллы уж подходил к концу... Артиллерист и преображенец, сидевшие с другого края, не заметили его отсутствия.

ГЛАВА III

Почтенные читатели, вы все видели сто раз Фенеллу, вы все с громом вызывали Новицкую и Голланда, — и поэтому я перескочу через остальные три акта и подыму свой занавес в ту самую минуту, как опустился занавес Александринского театра; замечу только, что Печорин мало занимался пьесою, был рассеян и забыл даже об интересной ложе, на которую он дал себе слово не смотреть.

Шумною и довольною толпою зрители спускались по извилистым лестницам к подъезду... внизу раздавался крик жандармов и лакеев; дамы, закутавшись и прижавшись к стенам, и заслоняемые медвежьими шубами мужей и папенек от дерзких взоров молодежи, дрожали от холоду — и улыбались знакомым. Офицеры и штатские франты с лорнетами ходили взад и вперед, стучали одни саблями и шпорами, другие калошами. Дамы высокого тона составляли особую группу на нижних ступенях парадной лестницы, смеялись, говорили громко и наводили золотые лорнетки на дам без тона, обыкновенных русских дворянок, — и одни другим тайно завидовали: необыкновенные красоте обыкновенных, обыкновенные, увы! гордости и блеску необыкновенных.

У тех и у других были свои кавалеры; у первых почтительные и важные, у вторых услужливые и порой неловкие!.. в середине же теснился кружок людей, не светских, не знакомых ни с теми, ни с другими, — кружок зрителей. Купцы и простой народ проходили

другими дверями. Это была миньятюрная картина всего петербургского общества.

Печорин, закутанный в шинель и надвинув на глаза шляпу, старался продраться к дверям. Он поровнялся с Лизаветою Николавной Негуровой; на выразительную улыбку отвечал сухим поклоном и хотел продолжать свой путь, но был задержан следующим вопросом:

— Отчего вы так серьезны, monsieur George? [1] вы недовольны спектаклем?

— Напротив, я во все горло вызывал Голланда!..

— Не правда ли, что Новицкая очень мила!..

— Ваша правда.

— Вы от нее в восторге?

— Я очень редко бываю в восторге.

— Вы этим никого не ободряете! — сказала она с досадою и стараясь иронически улыбнуться.

— Я не знаю никого, кто бы нуждался в моем ободрении!.. — отвечал Печорин небрежно. — И притом восторг есть что-то такое детское...

— Ваши мысли и слова удивительно подвержены перемене... давно ли...

— Право...

Печорин не слушал, его глаза старались проникнуть пеструю стену шуб, салопов, шляп... ему показалось, что там, за колонною, мелькнуло лицо ему знакомое, особенно знакомое... в эту минуту жандарм крикнул и долговязый лакей повторил за ним: «Карета князя Лиговско́ва!..» С отчаянными усилиями расталкивая толпу, Печорин бросился к дверям... перед ним человека за четыре мелькнул розовый салоп, шаркнули ботинки... лакей подсадил розовый салоп в блестящий купе, потом вскарабкалась в него медвежья шуба, — дверцы хлопнули, — «на Морскую! пошел!..» Интересную карету заменила другая, может быть не менее интересная — только не для Печорина. Он стоял как вкопанный!.. мучительная мысль сверлила его мозг: эта ложа, на которую он дал себе слово не смотреть... Княгиня сидела в ней, ее розовая ручка покоилась на

---

[1] господин Жорж (*франц.*).

малиновом бархате; ее глаза, может быть, часто покоились на нем, а он даже и не подумал обернуться, магнетическая сила взгляда любимой женщины не подействовала на его бычачьи нервы — о, бешенство! он себе этого никогда не простит! Раздосадованный, он пошел по тротуару, отыскал свои сани, разбудил толчком кучера, который лежал свернувшись, покрытый медвежьею полостью, и отправился домой. А мы обратимся к Лизавете Николавне Негуровой и последуем за нею.

Когда она села в карету, то отец ее начал длинную диссертацию насчет молодых людей нынешнего века.

— Вот, например, Печорин, — говорил он, — нет того, чтоб искать во мне или в Катеньке (Катенька его жена, пятидесяти пяти лет), нет, и смотреть не хочет!.. как бывало в наше время: влюбится молодой человек, старается угодить родителям, всей родне... а не то, чтоб все по углам с дочкой перешептываться да глазки делать... что это нынче, страм смотреть!.. и девушки не те стали!.. бывало, слово лишнее услышат — покраснеют, да и баста, уж от них не добьешься ответа... а ты, матушка, двадцати пяти лет девка, так на шею и вешаешься... замуж захотелось!..

Лизавета Николавна хотела отвечать, слезы навернулись у нее на глазах... и она не могла произнесть ни слова; Катерина Ивановна за нее заступилась!..

— Уж ты всегда на нее нападаешь... понапрасну!.. Что ж делать, когда молодые люди не женятся... надо самой не упускать случая!.. Печорин жених богатый... хорошей фамилии — чем не муж? ведь не век же сидеть дома... слава богу — что мне ее наряды-то стоят... а ты свое: замуж хочешь, замуж хочешь?.. да кабы замуж не выходили, так что бы было... — и прочее.

Эти разговоры повторялись в том или другом виде всякий раз, когда мать, отец и дочь оставались втроем... дочь молчала, а что происходило в ее сердце в эти минуты, один бог знает.

Приехали домой. Катерина Ивановна с ворчливым супругом отправились в свою комнату, а дочка в свою. Родители ее принадлежали и к старому и к новому

веку; прежние понятия, полузабытые, полустертые новыми впечатлениями жизни петербургской, влиянием общества, в котором Николай Петрович по чину своему должен был находиться, проявлялись только в минуты досады или во время спора; они казались ему сильнейшими аргументами, ибо он помнил их грозное действие на собственный ум, во дни его молодости; Катерина Ивановна была дама не глупая, по словам чиновников, служивших в канцелярии ее мужа; женщина хитрая и лукавая во мнении других старух; добрая, доверчивая и слепая маменька для бальной молодежи... истинного ее характера я еще не разгадал; описывая, я только буду стараться соединить и выразить вместе все три вышесказанные мнения... и если выдет портрет похож, то обещаюсь идти пешком в Невский монастырь — слушать певчих!..

Лизавета же Николавна... о! знак восклицания... погодите!.. теперь она взошла в свою спальну и кликнула горничную Марфушу — толстую, рябую девищу!.. дурной знак!.. я бы не желал, чтоб у моей жены или невесты была толстая и рябая горничная!.. терпеть не могу толстых и рябых горничных, с головой, вымазанной чухонским маслом или приглаженной квасом, от которого волосы слипаются и рыжеют, с руками шероховатыми, как вчерашний решетный хлеб, с сонными глазами, с ногами, хлопающими в башмаках без ленточек, тяжелой походкой и (что всего хуже) четвероугольной талией, облепленной пестрым домашним платьем, которое внизу у́же, чем вверху... Такая горничная, сидя за работой в задней комнате порядочного дома, подобна крокодилу на дне светлого американского колодца... такая горничная, как сальное пятно, проглядывающее сквозь свежие узоры перекрашенного платья, приводит ум в печальное сомнение насчет домашнего образа жизни господ... о любезные друзья, не дай бог вам влюбиться в девушку, у которой такая горничная, если вы разделяете мои мнения — то очарование ваше погибло навеки.

Лизавета Николавна велела горничной снять с себя чулки и башмаки и расшнуровать корсет, а сама, сев на постель, сбросила небрежно головной убор на

туалет, черные ее волосы упали на плеча; но я не продолжаю описания: никому не интересно любоваться поблекшими прелестями, худощавой ножкой, жилистой шеею и сухими плечами, на которых обозначались красные рубцы от узкого платья, всякий, вероятно, на подобные вещи довольно насмотрелся. Лизавета Николавна легла в постель, поставила возле себя на столик свечу и раскрыла какой-то французский роман; Марфуша вышла... тишина воцарилась в комнате... книга выпала из рук печальной девушки, она вздохнула и предалась размышлениям.

Конечно, ни одна отцветшая красавица не поверяла мне дум и чувств, волновавших ее грудь после длинного бала или вечеринки, когда в одинокой своей комнате она припоминала все свое прошедшее, пересчитывала все любовные объяснения, которые некогда выслушала с притворной холодностию, притворной улыбкой или с истинным наслаждением и которые не имели для нее других следствий, кроме лишних десяти строк в альбоме или мстительной эпиграммы отвергнутого обожателя, брошенной мимоходом позади ее стула во время длинной мазурки. Но я догадываюсь, что эти размышления должны быть тяжелы, несносны для самолюбия и сердца — если оное налицо имеется, ибо натуральная история нынче обогатилась новым классом очень милых и красивых существ — именно классом женщин без сердца.

Чтоб легче угадать, об чем Лизавета Николавна изволила думать, я принужден, к моему великому сожалению, рассказать вам некоторые частности ее жизни... тем более что для объяснения следующих происшествий это необходимо.

Она родилась в Петербурге и никогда не выезжала из Петербурга — правда, один раз на два месяца в Ревель на воды... но вы сами знаете, что Ревель не Россия, и потому направление ее петербургского воспитания не получало никакого изменения; у нас в России несколько вывелись из моды французские мадамы, а в Петербурге их вовсе не держат... Агличанку нанимать ее родители были не в силах... агличанки дороги — немку взять было также неловко: бог знает

какая попадется: здесь так много всяких... Елизавета Николавна осталась вовсе без мадамы—по-французски она выучилась от маменьки, а больше от гостей, потому что с самого детства она проводила дни свои в гостиной, сидя возле маменьки и слушая всякую всячину... Когда ей исполнилось тринадцать лет, взяли учителя по билетам: в год она кончила курс французского языка... и началось ее светское воспитание. В комнате ее стоял рояль, но никто не слыхал, чтоб она играла... танцевать она выучилась на детских балах... романы она начала читать как только перестала учить склады... и читала их удивительно скоро... Между тем отец ее получил порядочное наследство, вслед за ним хорошее место — и стал жить открытее... Пятнадцати лет ее стали вывозить, выдавая за семнадцатилетнюю, и до двадцати пяти лет условный этот возраст не изменялся... Семнадцать лет точка замерзания; они растягиваются сколько угодно, как резиновые помочи. Лизавета Николавна была недурна и очень интересна: бледность и худоба интересны... потому что француженки бледны, а англичанки худощавы... надобно заметить, что прелесть бледности и худобы существуют только в дамском воображении и что здешние мужчины только из угождения потакают их мнению, чтоб чем-нибудь отклонить упреки в невежливости и так называемой «казарменности».

При первом вступлении Лизаветы Николавны на паркет гостиных у нее нашлись поклонники. Это все были люди, всегда аплодирующие новому водевилю, скачущие слушать новую певицу, читающие только новые книги. Их заменили другие: эти волочились за нею, чтоб возбудить ревность в остывающей любовнице или чтоб кольнуть самолюбие жестокой красоты, — после этих явился третий род обожателей: люди, которые влюблялись от нечего делать, чтоб приятно провести вечер, ибо Лизавета Николавна приобрела навык светского разговора и была очень любезна, несколько насмешлива, несколько мечтательна... Некоторые из этих волокит влюбились не на шутку и требовали ее руки: но ей хотелось попробовать лестную роль непреклонной... и к тому же они все

были прескучные: им отказали... один с отчаяния долго был болен, другие скоро утешились... между тем время шло; она сделалась опытной и бойкой девою: смотрела на всех в лорнет, обращалась очень смело, не краснела от двусмысленной речи или взора — и вокруг нее стали увиваться розовые юноши, пробующие свои силы в словесной перестрелке и посвящавшие ей первые свои опыты страстного красноречия — увы, на этих было еще меньше надежды, чем на всех прежних; она с досадою и вместе тайным удовольствием убивала их надежды, останавливала едкой насмешкой разливы красноречия — и вскоре они уверились, что она непобедимая и чудная женщина; вздыхающий рой разлетелся в разные стороны... и, наконец, для Лизаветы Николавны наступил период самый мучительный и опасный сердцу отцветающей женщины...

Она была в тех летах, когда еще волочиться за нею было не совестно, а влюбиться в нее стало трудно; в тех летах, когда какой-нибудь ветреный или беспечный франт не почитает уже за грех уверять шутя в глубокой страсти, чтобы после так, для смеху, скомпрометировать девушку в глазах подруг ее, думая этим придать себе более весу... уверить всех, что она от него без памяти, и стараться показать, что он ее жалеет, что он не знает, как от нее отделаться... говорить ей нежности шепотом, а вслух колкости... бедная, предчувствуя, что это ее последний обожатель, без любви, из одного самолюбия старается удержать шалуна как можно долее у ног своих... напрасно: она более и более запутывается, — и наконец... увы... за этим периодом остаются только мечты о муже, каком-нибудь муже... одни мечты.

Лизавета Николавна вступила в этот период, но последний удар нанес ей не беспечный шалун и не бездушный франт; вот как это случилось.

Полтора года тому назад Печорин был еще в свете человек довольно новый: ему надобно было, чтоб поддержать себя, приобрести то, что некоторые называют светскою известностию, то есть прослыть человеком, который может делать зло, когда ему вздумается; несколько времени он напрасно искал себе пье-

дестала, ставши на который он бы мог заставить толпу взглянуть на себя; сделаться любовником известной красавицы было бы слишком трудно для начинающего, а скомпрометировать девушку молодую и невинную он бы не решился, и потому он избрал своим орудием Лизавету Николавну, которая не была ни то, ни другое. Как быть? в нашем бедном обществе фраза: он погубил столько-то репутаций — значит почти: он выиграл столько-то сражений.

Лизавета Николавна и он были давно знакомы. Они кланялись. Составив план свой, Печорин отправился на один бал, где должен был с нею встретиться. Он наблюдал за нею пристально и заметил, что никто ее не пригласил на мазурку: знак был подан музыкантам начинать, кавалеры шумели стульями, устанавливая их в кружок. Лизавета Николавна отправилась в уборную, чтобы скрыть свою досаду: Печорин дожидался ее у дверей. Когда она возвращалась в залу, начиналась уже вторая фигура: Печорин торопливо подошел к ней.

— Где вы скрывались, — сказал он, — я искал вас везде — приготовил даже стулья: так я сильно надеялся, что вы мне не откажете.

— Как вы самоуверенны.

И неожиданное удовольствие вспыхнуло в ее глазах.

— Однако ж вы меня не накажете слишком строго за эту самоуверенность?

Она не отвечала и последовала за ним.

Разговор их продолжался во время всего танца, блистая шутками, эпиграммами, касаясь до всего, даже любовной метафизики. Печорин не щадил ни одной из ее молодых и свежих соперниц. За ужином он сел возле нее, разговор подвигался все далее и далее, так что, наконец, он чуть-чуть ей не сказал, что обожает ее до безумия (разумеется, двусмысленным образом). Огромный шаг был сделан, и он возвратился домой довольный своим вечером.

Несколько недель сряду после этого они встречались на разных вечерах; разумеется, он неутомимо искал этих встреч, а она по крайней мере их не избегала.

Одним словом, он пошел по следам древних волокит и действовал по форме, классически. Скоро все стали замечать их постоянное влечение друг к другу, как явление новое и совершенно оригинальное в нашем холодном обществе. Печорин избегал нескромных вопросов, но зато действовал весьма открыто. Лизавета Николавна была также этим очень довольна, потому что надеялась завлечь его дальше и дальше и потом, как говорили наши матушки, женить его на себе. Ее родители, не имея еще об нем никакого мнения, так, безо всяких видов пригласили, однако же, его посещать свой дом, чтоб узнать его короче. Многие уже стали над ним подсмеивать как над будущим женихом, добрые приятели стали уговаривать его, отклонять от безрассудного поступка, который ему не входил и в голову. Из этого всего он заключил, что минута решительного кризиса наступила.

Был блестящий бал у барона***. Печорин, по обыкновению, танцевал первую кадриль с Елизаветою Николавною.

— Как хороша сегодня меньшая Р., — заметила Елизавета Николавна.

Печорин навел лорнет на молодую красавицу, долго смотрел молча и, наконец, отвечал:

— Да, она прекрасна. С каким вкусом перевиты эти пунцовые цветы в ее густых, русых локонах; я непременно дал себе слово танцевать с нею сегодня, именно потому что она вам нравится; не правда ли, я очень догадлив, когда хочу вам сделать удовольствие.

— О, без сомнения, вы очень любезны, — отвечала она, вспыхнув.

В эту минуту музыка остановилась, первая кадриль кончилась, и Печорин очень вежливо раскланялся. Остальную часть вечера он или танцевал с Р..., или стоял возле ее стула, старался говорить как можно больше и казаться как можно довольнее, хотя, между нами, девица Р** была очень проста и почти его не слушала; но так как он говорил очень много, то она заключила, что Печорин — кавалер очень любезный. После мазурки она подошла к Елизавете Николавне, и та ее спросила с ироническою улыбкою:

— Как вам кажется ваш постоянный нынешний кавалер?

— Il est très aimable [1], — отвечала Р.

Это был жестокий удар для Елизаветы Николавны, которая почувствовала, что лишается своего последнего кавалера, ибо остальные молодые люди, видя, что Печорин занимается ею исключительно, совершенно ее оставили.

И точно, с этого дня Печорин стал с нею рассеяннее, холоднее, явно старался ей делать те мелкие неприятности, которые замечаются всеми и за которые между тем невозможно требовать удовлетворения. Говоря с другими девушками, он выражался об ней с оскорбительным сожалением, тогда как она, напротив, вследствие плохого расчета, желая кольнуть его самолюбие, поверяла своим подругам под печатью строжайшей тайны свою чистейшую, искреннейшую любовь. Но напрасно, он только наслаждался излишним торжеством, а она, уверяя других, мало-помалу сама уверилась, что его точно любит. Родители ее, более проницательные в качестве беспристрастных зрителей, стали ее укорять, говоря: «Вот, матушка, целый год пропустила даром, отказала жениху с двадцатью тысячами доходу, правда, что он стар и в параличе, да что нынешние молодые люди! Хорош твой Печорин, мы заранее знали, что он на тебе не женится, да и мать не позволит ему жениться! что ж вышло? он же над тобой и насмехается».

Разумеется, подобные слова не успокоят ни уязвленного самолюбия, ни обманутого сердца. Лизавета Николавна чувствовала их истину, но эта истина была уже для нее не нова. Кто долго преследовал какую-нибудь цель, много для нее пожертвовал, тому трудно от нее отступиться, а если к этой цели примыкают последние надежды увядающей молодости, то невозможно. В таком положении мы оставили Лизавету Николавну, приехавшую из театра, лежащую на постеле с книжкою в руках — и с мыслями, бродящими в минувшем и в будущем.

---

[1] Он очень любезен (*франц.*).

Наскучив пробегать глазами десять раз одну и ту же страницу, она нетерпеливо бросила книгу на столик и вдруг приметила письмо с адресом на ее имя и с штемпелем городской почты.

Какое-то внутреннее чувство шептало ей не распечатывать таинственный конверт, но любопытство превозмогло, конверт сорван дрожащими руками, свеча придвинута, и глаза ее жадно пробегают первые строки. Письмо было написано приметно искаженным почерком, как будто боялись, что самые буквы изменят тайне. Вместо подписи имени внизу рисовалась какая-то египетская каракула, очень похожая на пятна, видимые в луне, которым многие простолюдины придают какое-то символическое значение. Вот письмо от слова до слова:

«Милостивая государыня!

Вы меня не знаете, я вас знаю: мы встречаемся часто, история вашей жизни так же мне знакома, как моя записная книжка, а вы моего имени никогда не слыхали. Я принимаю в вас участие именно потому, что вы никогда на меня не обращали внимания, и притом я нынче очень доволен собою и намерен сделать доброе дело: мне известно, что Печорин вам нравится, что вы всячески думаете снова возжечь в нем чувства, которые ему никогда не снились, он с вами пошутил — он недостоин вас: он любит другую, все ваши старания послужат только к вашей гибели, свет и так указывает на вас пальцами, скоро он совсем от вас отворотится. Никакая личная выгода не заставила меня подавать вам такие неосторожные и смелые советы. И чтобы вы более убедились в моем бескорыстии, то я клянусь вам, что вы никогда не узнаете моего имени.

Вследствие чего остаюсь
ваш
покорнейший слуга:
Каракула».

От такого письма с другою сделалась бы истерика, но удар, поразив Лизавету Николавну в глубину сердца, не подействовал на ее нервы, она только

побледнела, торопливо сожгла письмо и сдула на пол легкий его пепел.

Потом она погасила свечу и обернулась к стене; казалось, она плакала, но так тихо, так тихо, что если б вы стояли у ее изголовья, то подумали бы, что она спит покойно и безмятежно.

На другой день она встала бледнее обыкновенного, в десять часов вышла в гостиную, разливала сама чай, по обыкновению. Когда убрали со стола, отец ее уехал к должности, мать села за работу, она пошла в свою комнату: проходя через залу, ей встретился лакей.

— Куда ты идешь? — спросила она.

— Доложить-с.

— О ком?

— Вот тот-с... офицер... Господин Печорин...

— Где он?

— У крыльца остановился.

Лизавета Николавна покраснела, потом снова побледнела и... потом отрывисто сказала лакею:

— Скажи ему, что дома никого нет. И когда он еще приедет, — прибавила она, как бы с трудом выговаривая последнюю фразу, — то не принимать!

Лакей поклонился и ушел, а она опрометью бросилась в свою комнату.

ГЛАВА IV

Получив такой решительный отказ, Печорин, как вы сами можете догадаться, не удивился; он приготовился к такой развязке и даже желал ее. Он отправился на Морскую, сани его быстро скользили по сыпучему снегу; утро было туманное и обещало близкую оттепель. Многие жители Петербурга, проведшие детство в другом климате, подвержены странному влиянию здешнего неба. Какое-то печальное равнодушие, подобное тому, с каким наше северное солнце отворачивается от неблагодарной здешней земли, закрадывается в душу, приводит в оцепенение все жизненные органы. В эту минуту сердце не способно к энтузиазму, ум к размышлению. В подобном расположении находился Печорин. Неожиданный успех увенчал его легко-

мысленное предприятие, и он даже не обрадовался. Чрез несколько минут он должен был увидеться с женщиною, которая была постоянною его мечтою в продолжение нескольких лет, с которою он был связан прошедшим, для которой был готов отдать свою будущность — и сердце его не трепетало от нетерпения, страха, надежды. Какое-то болезненное замирание, какая-то мутность и неподвижность мыслей, которые, подобно тяжелым облакам, осаждали ум его, предвещали одни близкую бурю душевную. Вспоминая прежнюю пылкость, он внутренно досадовал на теперешнее свое спокойствие.

Вот сани его остановились перед одним домом; он вышел и взялся за ручку двери, но прежде чем он отворил ее, минувшее как сон проскользнуло в его воображении и различные чувства внезапно, шумно пробудились в душе его. Он сам испугался громкого биения сердца своего, как пугаются сонные жители города при звуке ночного набата. Какие были его намерения, опасения и надежды, известно только богу, но, по-видимому, он готов был сделать решительный шаг, дать новое направление своей жизни. Наконец, дверь отворилась, и он медленно взошел по широкой лестнице. На вопрос швейцара, кого ему угодно, он отвечал вопросом, дома ли княгиня Вера Дмитревна.

— Князь Степан Степанович у себя-с.

— А княгиня? — повторил нетерпеливо Печорин.

— Княгиня также-с.

Печорин сказал швейцару свою фамилию, и тот пошел доложить.

Сквозь полураскрытую в залу дверь Печорин бросил любопытный взгляд, стараясь сколько-нибудь по убранству комнат угадать хотя слабый оттенок семейной жизни хозяев, но увы! в столице все залы схожи между собою, как все улыбки и все приветствия. Один только кабинет иногда может разоблачить домашние тайны, но кабинет так же непроницаем для посторонних посетителей, как сердце; однако же краткий разговор с швейцаром позволил догадаться Печорину, что главное лицо в доме был князь. «Странно, — подумал он. — Она вышла замуж за старого, неприятного

и обыкновенного человека, вероятно для того, чтоб делать свою волю, и что же, — если я отгадал правду, если она добровольно переменила одно рабство на другое, то какая же у нее была цель? Какая причина?.. но нет, любить она его не может, за это я ручаюсь головой».

В эту минуту швейцар взошел и торжественно произнес:

— Пожалуйте, князь в гостиной.

Медленными шагами Печорин прошел через зал, взор его затуманился, кровь прилила к сердцу. Он чувствовал, что побледнел, когда перешел через порог гостиной. Молодая женщина в утреннем атласном капоте и блондовом чепце сидела небрежно на диване; возле нее на креслах в мундирном фраке сидел какой-то толстый, лысый господин с огромными глазами, налитыми кровью, и бесконечно широкой улыбкой; у окна стоял другой в сертуке, довольно сухощавый, с волосами, обстриженными под гребенку, с обвислыми щеками и довольно неблагородным выражением лица, он просматривал газеты и даже не обернулся, когда взошел молодой офицер. Это был сам князь Степан Степанович.

Молодая женщина поспешно встала, обратясь к Печорину с каким-то очень неясным приветствием, потом подошла к князю и сказала ему:

— Mon ami [1], вот господин Печорин, он старинный знакомый нашего семейства... Monsieur Печорин, рекомендую вам моего мужа.

Князь бросил газеты на окно, раскланялся, хотел что-то сказать, но из уст его вышли только отрывистые слова:

— Конечно... мне очень приятно... семейство жены моей... что вы так любезны... я поставил себе за долг... ваша матушка такая почтенная дама — я имел честь быть вчерась у нее с женой.

— Матушка с сестрой хотела сама быть у вас сегодни, но она немного нездорова и поручила мне засвидетельствовать вам свое почтение.

---

[1] Мой друг (*франц.*).

Печорин сам не знал, что говорил. Опомнившись и думая, что он сказал глупость, он принял какой-то холодный принужденный вид. Княгине показалось, вероятно, что этой фразой он хотел объяснить свой визит, как будто бы невольный. Выражение лица ее также сделалось так же принужденно. Она подозревала намерение упрекнуть, щеки ее готовы были вспыхнуть, но она быстро отвернулась, сказала что-то толстому господину, тот захохотал и громко произнес: «О да!» Потом она пригласила Печорина сесть, заняла сама прежнее место, а князь взял опять в руки свои газеты.

Княгиня Вера Дмитревна была женщина двадцати двух лет, среднего женского роста, блондинка с черными глазами, что придавало лицу ее какую-то оригинальную прелесть и таким образом, резко отличая ее от других женщин, уничтожало сравнения, которые, может быть, были бы не в ее пользу. Она была не красавица, хотя черты ее были довольно правильны. Овал лица совершенно аттический и прозрачность кожи необыкновенна. Беспрерывная изменчивость ее физиономии, по-видимому несообразная с чертами несколько резкими, мешала ей нравиться всем и нравиться во всякое время, но зато человек, привыкший следить эти мгновенные перемены, мог бы открыть в них редкую пылкость души и постоянную раздражительность нерв, обещающую столько наслаждений догадливому любовнику. Ее стан был гибок, движения медленны, походка ровная. Видя ее в первый раз, вы бы сказали, если вы опытный наблюдатель, что это женщина с характером твердым, решительным, холодным, верующая в собственное убеждение, готовая принесть счастие в жертву правилам, но не молве. Увидавши же ее в минуту страсти и волнения, вы сказали бы совсем другое — или, скорее, не знали бы вовсе, что сказать.

Несколько минут Печорин и она сидели друг против друга в молчании, затруднительном для обоих. Толстый господин, который был по какому-то случаю барон, воспользовался этим промежутком времени, чтоб объяснить подробно свои родственные связи

с прусским посланником. Княгиня разными вопросами очень ловко заставляла барона еще более растягивать речь свою; Жорж, пристально устремив глаза на Веру Дмитревну, старался, но тщетно, угадать ее тайные мысли; он видел ясно, что она не в своей тарелке, озабочена, взволнована. Ее глаза то тускнели, то блистали, губы то улыбались, то сжимались; щеки краснели и бледнели попеременно; но какая причина этому беспокойству?.. может быть, домашняя сцена, до него случившаяся, потому что князь явно был не в духе, может быть, радость и смущение воскресающей или только вновь пробуждающейся любви к нему, может быть, неприятное чувство при встрече с человеком, который знал некоторые тайны ее жизни и сердца, который имел право и, может быть, готов был ее упрекнуть...

Печорин, не привыкший толковать женские взгляды и чувства в свою пользу, остановился на последнем предположении... из гордости он решился показать, что, подобно ей, забыл прошедшее и радуется ее счастью... Но невольно в его словах звучало оскорбленное самолюбие; когда он заговорил, то княгиня вдруг отвернулась от барона... и тот остался с отверстым ртом, готовясь произнести самое важное и убедительнейшее заключение своих доказательств.

— Княгиня, — сказал Жорж... — извините, я еще не поздравил вас... с княжеским титулом!.. поверьте, однако, что я с этим намерением спешил иметь честь вас увидеть... но когда взошел сюда... то происшедшая в вас перемена так меня поразила, что признаюсь... забыл долг вежливости...

— Я постарела, не правда ли, — отвечала Вера, наклонив головку к правому плечу.

— О! вы шутите! разве в счастии стареют... напротив, вы пополнели, вы...

— Конечно, я очень счастлива, — прервала его княгиня.

— Это молва всеобщая: многие молодые девушки вам завидуют... впрочем, вы так благоразумны, что не могли не сделать такого достойного выбора... весь свет восхищается любезностию, умом и талантами вашего

супруга... (барон сделал утвердительный знак головой), — княгиня чуть-чуть не улыбнулась, потом вдруг досада изобразилась на ее лице.

— Я вам отплачу комплиментом за комплимент, monsieur Печорин... вы также переменились к лучшему.

— Как быть? время всесильно... даже наши одежды, подобно нам самим, подвержены чудным изменениям — вы теперь носите блондовый чепчик, я вместо фрака московского недоросля или студентского сертука ношу мундир с эполетами... Вероятно, от этого я имею счастие вам нравиться больше, чем прежде... вы теперь так привыкли к блеску!

Княгиня хотела отмстить за эпиграмму.

— Прекрасно! — воскликнула она, — вы отгадали... а точно, нам, бедным москвитянкам, гвардейский мундир истинная диковинка!.. — Она насмешливо улыбнулась, барон захохотал, и Печорин на него взбесился.

— У вас такой усердный союзник, княгиня, — сказал он, — что я должен признаться побежденным. Я уверен, что барон при данном знаке готов меня сокрушить всей своей тяжестью.

Барон плохо понимал по-русски, хотя родился в России; он захохотал пуще прежнего, думая, что это комплимент, относящийся к нему вместе с Верою Дмитревной. Печорин пожал плечами; и разговор снова остановился. К счастию, князь подошел, преважно держа в руке газеты.

— Вот это до тебя касается, — сказал он жене, — новый магазин на днях открыт на Невском. Я покажу вам, — сказал он, обращаясь к гостям, — петербургский гостинец, который я вчера купил жене: все говорят, что серьги самые модные, а жена говорит, что нет, как будут по вашему вкусу?

Он пошел в другую комнату и принес сафьянную коробочку. Часто повторяемое князем слово жена как-то грубо и неприятно отзывалось в ушах Печорина; он с первого слова узнал в князе человека недалекого, а теперь убедился, что он даже человек не светский. Серьги переходили из рук в руки, барон произнес над ними несколько протяжных восклицаний, Печорин после него стал машинально их рассматривать.

— А как вы думаете, — спросил князь <Степан> Степаныч, спрятавшись в галстук и одной рукой вытаскивая накрахмаленный воротничок, — сколько я за них заплатил, отгадайте!

Серьги по большей мере стоили восемьдесят рублей, а были заплочены семьдесят пять. Печорин нарочно сказал сто пятьдесят. Это озадачило князя. Он ничего не отвечал, стыдясь сказать правду, и сел на канапе, очень немилостиво поглядывая на Печорина. Разговор сделался общим разменом городских новостей, московских известий: князь, несколько развеселившись, объявил очень откровенно, что если б не тяжебное дело, то никак бы не оставил Москвы и Английского клуба, прибавляя, что здешний Английский клуб ничто перед московским. Наконец, Печорин встал, раскланялся и дошел уже до двери, как вдруг княгиня вскочила с своего места и убедительно просила его не позабыть поцеловать за нее милую Вареньку сто раз, тысячу раз. Печорину хотелось ей заметить, что он не может передавать словесных поцелуев, но ему было не до шутки, и он очень важно опять поклонился. Княгиня улыбнулась ему той ничего не выражающей улыбкою, которая разливается на устах танцовщицы, оканчивающей пируэт.

С горьким предчувствием он вышел из комнаты: пройдя залу, обернулся, княгиня стояла в дверях, неподвижно смотрела ему вослед; заметив его движение, она исчезла.

«Странно, — подумал Печорин, садясь в сани, — было время, когда я читал на лице ее все движенья мысли так же безошибочно, как собственную рукопись, а теперь я ее не понимаю, совершенно не понимаю».

ГЛАВА V

До девятнадцатилетнего возраста Печорин жил в Москве. С детских лет он таскался из одного пансиона в другой и, наконец, увенчал свои странствования вступлением в университет, согласно воле своей премудрой маменьки. Он получил такую охоту к пере-

мене мест, что если бы жил в Германии, то сделался бы странствующим студентом. Но скажите ради бога, какая есть возможность в России сделаться бродягой повелителю трех тысяч душ и племяннику двадцати тысяч московских тетушек! Итак, все его путешествия ограничивались поездками с толпою таких же негодяев, как он, в Петровский, в Сокольники и Марьину рощу. Можете вообразить, что они не брали с собою тетрадей и книг, чтоб не казаться педантами. Приятели Печорина, которых число было, впрочем, не очень велико, были всё молодые люди, которые встречались с ним в обществе, ибо и в то время студенты были почти единственными кавалерами московских красавиц, вздыхавших невольно по эполетам и эксельбантам, не догадываясь, что в наш век эти блестящие вывески утратили свое прежнее значение.

Печорин с товарищи являлся также на всех гуляньях. Держась под руки, они прохаживались между вереницами карет к великому соблазну квартальных. Встретив одного из этих молодых людей, можно было, закрывши глаза, держать пари, что сейчас явятся и остальные. В Москве, где прозвания еще в моде, прозвали их la bande joyeuse [1].

Приближалось для Печорина время экзамена: он в продолжение года почти не ходил на лекции и намеревался теперь пожертвовать несколько ночей науке и одним прыжком догнать товарищей; вдруг явилось обстоятельство, которое помешало ему исполнить это геройское намерение. У матери Печорина Татьяны Петровны бывали детские вечера для маленькой дочери; на эти вечера съезжались и взрослые барышни и переспелые девы, жадные до всяких возможных вечеров. Дети ложились спать в десять часов, их сменяли на паркете большие. На эти вечера являлись часто отец и дочь Р — вы. Они были старинные знакомые Татьяны Петровны и даже несколько ей сродни. Дочь этого господина Р* называлась тогда просто Верочка. Жорж, привыкнув видеться с нею часто, не находил в ней ничего особенного, она же избегала его

---

[1] веселая шайка (*франц.*).

разговора. Раз собралась большая компания ехать в Симонов монастырь ко всенощной молиться, слушать певчих и гулять. Это было весною; уселись в длинные линии, запряженные каждая в шесть лошадей, и тронулись с Арбата веселым караваном. Солнце склонялось к Воробьевым горам, и вечер был в самом деле прекрасен.

По какому-то случаю Жоржу пришлось сидеть рядом с Верочкою, он этим был сначала недоволен: ее семнадцатилетняя свежесть и скромность казались ему верными признаками холодности и чересчур приторной сердечной невинности; кто из нас в девятнадцать лет не бросался очертя голову вослед отцветающей кокетке, которых слова и взгляды полны обещаний и души которых подобны выкрашенным гробам притчи. Наружность их — блеск очаровательный, внутри смерть и прах.

Выехав уже за город, когда растворенный воздух вечера освежил веселых путешественников, Жорж разговорился с своей соседкою. Разговор ее был прост, жив и довольно свободен. Она была несколько мечтательна, но не старалась этого выказывать, напротив — стыдилась этого, как слабости. Суждения Жоржа в то время были резки, полны противуречий, хотя оригинальны, как вообще суждения молодых людей, воспитанных в Москве и привыкших без принуждения постороннего развивать свои мысли.

Наконец, приехали в монастырь. До всенощной ходили осматривать стены, кладбище; лазили на площадку западной башни, ту самую, откуда в древние времена наши предки следили движения, и последний Новик открыл так поздно имя свое, и судьбу свою, и свое изгнанническое имя. Жорж не отставал от Верочки, потому что неловко было бы уйти, не кончив разговора, а разговор был такого рода, что мог продолжиться до бесконечности. Он и продолжался все время всенощной, исключая тех минут, когда дивный хор монахов и голос отца Виктора погружал их в безмолвное умиление. Но зато после этих минут разгоряченное воображение и чувства, взволнованные звуками, давали новую пищу для мыслей и слов.

После всенощной опять гуляли и возвратились в город тем же порядком, очень поздно. Жорж весь следующий день думал об этом вечере, потом поехал к Р — вым, чтоб поговорить об нем и передать свои впечатления той, с которой он их разделял. Визиты делались чаще и продолжительнее, по короткости обоих домов они не могли обратить на себя никакого подозрения; так прошел целый месяц, и они убедились оба, что влюблены друг в друга до безумия. В их лета, когда страсть есть наслаждение, без примеси забот, страха и раскаяния, очень легко убедиться во всем.

У Жоржа была богатая тетушка, которая в той же степени была родня и Р — вым. Тетушка пригласила оба семейства погостить к себе в Подмосковную недели на две, дом у нее был огромный, сады большие, — одним словом, все удобства. Частые прогулки сблизили еще более Жоржа с Верочкой; несмотря на толпу мадамов и детей тетушки, они как-то всегда находили средство быть вдвоем: средство, впрочем, очень легкое, если обоим этого хочется.

Между тем в университете шел экзамен. Жорж туда не явился; разумеется, он не получил аттестата, но о будущем он не заботился и уверил мать, что экзамен отложен еще на три недели и что он все знает. Вечерние прогулки имели необходимым следствием объяснение, потом клятвы в верности; наконец, когда двухнедельный срок кончился, надобно было возвращаться в Москву. Накануне рокового дня (это было вечером) оба стояли на балконе; они стояли вдвоем — какой-то невидимый демон сблизил их уста и руки в безмолвное пожатие, в безмолвный поцелуй!.. Они испугались самих себя: и хотя Жорж рано с помощью товарищей вступил на соблазнительное поприще разврата... но честь невинной девушки была еще для него святыней. На другой день, садясь в экипажи, они раскланялись по-прежнему очень учтиво, но Верочка покраснела, и глаза ее блистали.

Обман Жоржа открылся, как скоро приехали в Москву, отчаяние Татьяны Петровны было ужасно, брань ее неистощима. Жорж с покорностью и молча выслушал все как стоик; но гроза невидимая сбиралась

над ним. В комитете дядюшек и тетушек было положено, что его надобно отправить в Петербург и отдать в Юнкерскую школу: другого спасения они для него не видали — там, говорили они, его прошколят и выучат дисциплине.

В это время открылась Польская кампания, вся молодежь спешила определяться в полки; вступать в школу было для Жоржа невыгодно, потому что юнкера второго класса не должны были идти в поход. Он почти на коленях выпросил у матери позволение вступить в Н... гусарский полк, стоявший недалеко от Москвы. После многого плаканья и оханья получил он ее благословение, но самое трудное оставалось ему еще сделать: надобно было объявить об этом Верочке. Он был так еще невинен душою, что боялся убить ее неожиданным известием. Однако ж она выслушала его молча и устремила на него укоризненный взгляд, не веря, чтоб какие бы то ни было обстоятельства могли его заставить разлучиться с нею: клятва и обещания ее успокоили.

Через несколько дней Жорж приехал к Р — вым, чтоб окончательно проститься. Верочка была очень бледна, он посидел недолго в гостиной, когда же вышел, то она, пробежав чрез другие двери, встретила его в зале. Она сама схватила его за руку, крепко ее сжала и произнесла неверным голосом: «Я никогда не буду принадлежать другому». Бедная, она дрожала всем телом. Эти ощущения были для нее так новы, она так боялась потерять друга, она так была уверена в собственном сердце. Напечатлев жаркий поцелуй на холодном девственном челе ее, Жорж посадил ее на стул, опрометью сбежал с лестницы и поскакал домой. Вечером пришел лакей от Р. к Татьяне Петровне просить склянку с какими-то каплями и спирту, потому что, дескать, барышня очень нездорова и раза три была без памяти. Это был ужасный удар для Жоржа, он целую ночь не спал, чем свет сел в дорожную коляску и отправился в свой полк.

До сих пор, любезные читатели, вы видели, что любовь моих героев не выходила из общих правил всех романов и всякой начинающейся любви. Но зато

впоследствии — о! впоследствии вы увидите и услышите чудные вещи.

Печорин в продолжение кампании отличался, как отличается всякий русский офицер, дрался храбро, как всякий русский солдат, любезничал с многими паннами, но минуты последнего расставанья и милый образ Верочки постоянно тревожили его воображение. Чудное дело! Он уехал с твердым намерением ее забыть, а вышло наоборот (что почти всегда и выходит в таких случаях). Впрочем, Печорин имел самый несчастный нрав: впечатления, сначала легкие, постепенно врезывались в его ум все глубже и глубже, так что впоследствии эта любовь приобрела над его сердцем право давности, священнейшее из всех прав человечества.

После взятия Варшавы он был переведен в гвардию, мать его с сестрою переехали жить в Петербург, Варенька привезла ему поклон от своей милой Верочки, как она ее называла, — ничего больше, как поклон. Печорина это огорчило — он тогда еще не понимал женщин. Тайная досада была одна из причин, по которым он стал волочиться за Лизаветой Николавной; слухи об этом, вероятно, дошли до Верочки. Через полтора года он узнал, что она вышла замуж; через два года приехала в Петербург уже не Верочка, а княгиня Лиговская и князь Степан Степ<аныч>.

Тут, кажется, мы остановились в предыдущей главе.

ГЛАВА VI

Дни через три после того, как Печорин был у князя, Татьяна Петровна пригласила несколько человек знакомых и родных отобедать. Степан Степаныч с супругою был, разумеется, в числе.

Печорин сидел в своем кабинете и хотел уже одеваться, чтоб выйти в гостиную, когда взошел к нему артиллерийский офицер.

— А, Браницкий, — воскликнул Печорин, — я очень рад, что ты так кстати заехал, ты непременно будешь у нас обедать. Вообрази, у нас ныне полон дом

молодых девушек, и я один отдан им на жертву; ты всех их знаешь, сделай одолжение — останься обедать!

— Ты так убедительно просишь, — отвечал Браницкий, — как будто предчувствуешь отказ.

— Нет, ты не смеешь отказаться, — сказал Печорин; он кликнул человека и велел отпустить сани Браницкого домой.

Дальнейший разговор их я не передаю, потому что он был бессвязен и пуст, как разговоры всех молодых людей, которым нечего делать. И в самом деле, скажите, об чем могут говорить молодые люди? запас новостей скоро истощается, в политику благоразумие мешает пускаться, об службе и так слишком много толкуют на службе, а женщины в наш варварский век утратили вполовину прежнее всеобщее свое влияние. Влюбиться кажется уже стыдно, говорить об этом смешно.

Когда несколько гостей съехалось, Печорин и Браницкий вошли в гостиную. Там на трех столах играли в вист. Покуда маменьки считали козыри, дочки, усевшись вкруг небольшого столика, разговаривали о последнем бале, о новых модах. Офицеры подошли к ним, Браницкий искусно оживил непринужденной болтовней их небольшой кружок, Печорин был рассеян. Он давно замечал, что Браницкий ухаживал за его сестрой и, не входя в рассмотрение дальнейших следствий, не тревожил приятеля наблюдением, а сестру нескромными вопросами. Вареньке казалось очень приятно, что такой ловкий молодой человек приметно отличает ее от других, ее, которая даже еще не выезжает.

Мало-помалу гости съезжались. Князь Лиговской и княгиня приехали одни из последних. Варенька бросилась навстречу своей старой приятельнице, княгиня поцеловала ее с видом покровительства. Вскоре сели за стол.

Столовая была роскошно убранная комната, увешанная картинами в огромных золотых рамах: их темная и старинная живопись находилась в резкой противуположности с украшениями комнаты, легкими, как все, что в новейшем вкусе. Действующие лица этих картин — одни полунагие, другие живописно заверну-

тые в греческие мантии или одетые в испанские костюмы — в широкополых шляпах с перьями, с прорезными рукавами, пышными манжетами. Брошенные на этот холст рукою художника в самые блестящие минуты их мифологической или феодальной жизни, казалось, строго смотрели на действующих лиц этой комнаты, озаренных сотнею свеч, не помышляющих о будущем, еще менее о прошедшем, съехавшихся на пышный обед, не столько для того, чтобы насладиться дарами роскоши, но одни — чтоб удовлетворить тщеславию ума, тщеславию богатства, другие — из любопытства, из приличий или для каких-либо других сокровенных целей. В одежде этих людей, так чинно сидевших вокруг длинного стола, уставленного серебром и фарфором, так же как в их понятиях, были перемешаны все века. В одеждах их встречались глубочайшая древность с самой последней выдумкой парижской модистки, греческие прически, увитые гирляндами из поддельных цветов, готические серьги, еврейские тюрбаны, далее волосы, вздернутые кверху à la chinoise [1], букли à la Sévigné [2], пышные платья наподобие фижм, рукава, чрезвычайно широкие или чрезвычайно узкие. У мужчин прически à la jeune France [3], à la Russe [4], à la moyen âge [5], à la Titus [6], гладкие подбородки, усы, испаньолки, бакенбарды и даже бороды; кстати было бы тут привести стих Пушкина «Какая смесь одежд и лиц!» Понятия же этого общества были такая путаница, которую я не берусь объяснить.

Печорину пришлось сидеть наискось противу княгини Веры Дмитревны, сосед его по левую руку был какой-то рыжий господин, увешанный крестами, который ездил к ним в дом только на званые обеды, по правую же сторону Печорина сидела дама лет тридцати, чрезвычайно свежая и моложавая, в малиновом токе, с перьями, и с гордым видом, потому что она слыла

---

[1] по-китайски (*франц.*).
[2] как у госпожи Севинье (*франц.*).
[3] во вкусе молодой Франции (*франц.*).
[4] по-русски (*франц.*).
[5] по-средневековому (*франц.*).
[6] как у Тита (*франц.*).

неприступною добродетелью. Из этого мы видим, что Печорин как хозяин избрал самое дурное место за столом.

Возле Веры Дмитревны сидела по одну сторону старушка, разряженная как кукла, с седыми бровями и черными пуклями, по другую — дипломат, длинный и бледный, причесанный à la Russe и говоривший по-русски хуже всякого француза. После второго блюда разговор начал оживляться.

— Так как вы недавно в Петербурге, — говорил дипломат княгине, — то, вероятно, не успели еще вкусить и постигнуть все прелести здешней жизни. Эти здания, которые с первого взгляда вас только удивляют как все великое, со временем сделаются для вас бесценны, когда вы вспомните, что здесь развилось и выросло наше просвещение, и когда увидите, что оно в них уживается легко и приятно. Всякий русский должен любить Петербург: здесь все, что есть лучшего русской молодежи, как бы нарочно собралось, чтоб подать дружескую руку Европе. Москва только великолепный памятник, пышная и безмолвная гробница минувшего, здесь жизнь, здесь наши надежды...

Так высокопарно и мудрено говорил худощавый дипломат, который имел претензию быть великим патриотом. Княгиня улыбнулась и отвечала рассеянно:

— Может быть, со временем я полюблю и Петербург, но мы, женщины, так легко предаемся привычкам сердца и так мало думаем, к сожалению, о всеобщем просвещении, о славе государств! Я люблю Москву; с воспоминанием об ней связана память о таком счастливом времени! А здесь, здесь все так холодно, так мертво... О, это не мое мнение... это мнение здешних жителей. Говорят, что, въехавши раз в петербургскую заставу, люди меняются совершенно.

Эти слова она сказала, улыбаясь дипломату и взглянув на Печорина.

Дипломат взбеленился.

— Какие ужасные клеветы про наш милый город, — воскликнул он, — а все это старая сплетница Москва, которая из зависти клевещет на молодую свою соперницу.

При слове «старая сплетница» разряженная старушка затрясла головой и чуть-чуть не подавилась спаржею.

— Чтоб решить наш спор, — продолжал дипломат, — выберемте посредника, княгиня: вот хоть Григория Александровича, он очень прилежно слушал наш разговор. Как вы думаете об этом? Monsieur Печорин, скажите по совести и не принесите меня в жертву учтивости. Вы одобряете мой выбор, княгиня?

— Вы выбрали судью довольно строгого, — отвечала она.

— Как быть, наш брат всегда наблюдает свои выгоды, — возразил дипломат с самодовольной улыбкою. — Monsieur Печорин, извольте же решить.

— Мне очень жаль, — сказал Печорин, — что вы ошиблись в своем выборе. Из всего вашего спора я слышал только то, что сказала княгиня.

Лицо дипломата вытянулось.

— Однако ж, — сказал он, — Москве или Петербургу отдадите вы преимущество?

— Москва моя родина, — отвечал Печорин, стараясь отделаться.

— Однако ж — которая... — дипломат настаивал с упорством.

— Я думаю, — прервал его Печорин, — что ни здания, ни просвещение, ни старина не имеют влияния на счастие и веселость. А меняются люди за петербургской заставой и за московским шлагбаумом потому, что, если б люди не менялись, было бы очень скучно.

— После такого решения, княгиня, — сказал дипломат, — я уступаю свое дипломатическое звание господину Печорину. Он увернулся от решительного ответа, как Талейран или Меттерних.

— Григорий Александрович, — возразила княгиня, — не увлекается страстью или пристрастием, он следует одному холодному рассудку.

— Это правда, — отвечал Печорин, — я теперь стал взвешивать слова свои и рассчитывать поступки, следуя примеру других. Когда я увлекался чувством и воображением, надо мною смеялись и пользовались

моим простосердечием, но кто же в своей жизни не делал глупостей! И кто не раскаивался! Теперь по чести я готов пожертвовать самою чистейшею, самою воздушной любовью для трех тысяч душ с винокуренным заводом и для какого-нибудь графского герба на дверцах кареты! Надобно пользоваться случаем, такие вещи не падают с неба! Не правда ли? — Этот неожиданный вопрос был сделан даме в малиновом берете.

Молчаливая добродетель пробудилась при этом неожиданном вопросе, и страусовые перья заколыхались на берете. Она не могла тотчас ответить, потому что ее невинные зубки жевали кусок рябчика с самым добродетельным старанием: все с терпением молча ожидали ее ответа. Наконец, она открыла уста и важно молвила:

— Ко мне ли ваш вопрос относится?

— Если вы позволите, — отвечал Печорин.

— Не хотите ли вы разделить со мною вашу роль посредника и судьи?

— Я б желал вам передать ее совсем.

— Ах, избавьте!

В эту минуту ей подали какое-то жирное блюдо, она положила себе на тарелку и продолжала:

— Вот адресуйтесь к княгине, она, я думаю, гораздо лучше может судить о любви и об графском или о княжеском титуле.

— Я бы желал слышать ваше мнение, — сказал Печорин, — и решился победить вашу скромность упрямством.

— Вы не первые, и вам это не удастся, — сказала она с презрительной улыбкой. — Притом я не имею никакого мнения о любви.

— Помилуйте! в ваши лета не иметь никакого мнения о таком важном предмете для всякой женщины.

Добродетель обиделась.

— То есть я слишком стара, — воскликнула она, покраснев.

— Напротив, я хотел сказать, что вы еще так молоды...

— Слава богу, я уж не ребенок... вы оправдались очень неудачно.

— Что делать! — я вижу, что увеличил единицею несметное число несчастных, которые вам напрасно стараются понравиться...

Она от него отвернулась, а он чуть не засмеялся вслух.

— Кто эта дама? — шепотом спросил у него рыжий господин с крестами.

— Баронесса Штраль, — отвечал Печорин.

— Аа! — сделал рыжий господин.

— Вы, конечно, об ней много слыхали?

— Нет-с, ничего формально.

— Она уморила двух мужей, — продолжал Печорин, — теперь за третьим, который, верно, ее переживет.

— Ого! — сказал рыжий господин и продолжал уписывать соус, унизанный трюфелями.

Таким образом, разговор прекратился, но дипломат взял на себя труд возобновить его.

— Если вы любите искусства, — сказал он, обращаясь к княгине, — то я могу вам сказать весьма приятную новость: картина Брюллова «Последний день Помпеи» едет в Петербург. Про нее кричала вся Италия, французы ее разбранили. Теперь любопытно знать, куда склонится русская публика, на сторону истинного вкуса или на сторону моды.

Княгиня ничего не отвечала, она была в рассеянности — глаза ее бродили без цели вдоль по стенам комнаты, и слово «картина» только заставило их остановиться на изображении какой-то испанской сцены, висевшем противу нее. Это была старинная картина, довольно посредственная, но получившая ценность оттого, что краски ее полиняли и лак растрескался. На ней были изображены три фигуры: старый и седой мужчина, сидя на бархатных креслах, обнимал одною рукою молодую женщину, в другой держал он бокал с вином, он приближал свои румяные губы к нежной щеке этой женщины и проливал вино ей на платье. Она, как бы нехотя повинуясь его грубым ласкам, перегнувшись через ручку кресел и облокотясь на его плечо, отворачивалась в сторону, прижимая палец к устам и устремив глаза на полуотворен-

ную дверь, из-за которой во мраке сверкали два яркие глаза и кинжал.

Княгиня несколько минут со вниманием смотрела на эту картину и, наконец, попросила дипломата объяснить ее содержание.

Дипломат вынул из-за галстука лорнет, прищурился, наводил его в разных направлениях на темный холст и заключил тем, что это должна быть копия с Рембранта или Мюрилла.

— Впрочем, — прибавил он, — хозяин ее должен лучше знать, что она изображает.

— Я не хочу вторично затруднять Григория Александровича разрешениями вопросов, — сказала Вера Дмитревна и опять устремила глаза на картину.

— Сюжет ее очень прост, — сказал Печорин, не дожидаясь, чтобы его просили, — здесь изображена женщина, которая оставила и обманула любовника для того, чтобы удобнее обманывать богатого и глупого старика. В эту минуту она, кажется, что-то у него выпрашивает и удерживает бешенство любовника ложными обещаниями. Когда она выманит искусственным поцелуем все что ей хочется, она сама откроет дверь и будет хладнокровною свидетельницею убийства.

— Ах, это ужасно! — воскликнула княгиня.

— Может быть, я ошибаюсь, дав такой смысл этому изображению, — продолжал Печорин, — мое истолкование совершенно произвольное.

— Неужели вы думаете, что подобное коварство может существовать в сердце женщины?

— Княгиня, — отвечал Печорин сухо, — я прежде имел глупость думать, что можно понимать женское сердце. Последние случаи моей жизни меня убедили в противном, и поэтому я не могу решительно ответить на ваш вопрос.

Княгиня покраснела, дипломат обратил на нее испытующий взор и стал что-то чертить вилкою на дне своей тарелки. Дама в малиновом берете была как на иголках, слыша такие ужасы, и старалась отодвинуть свой стул от Печорина, а рыжий господин с крестами значительно улыбнулся и проглотил три трюфели разом.

Остальное время обеда дипломат и Печорин молчали, княгиня завела разговор с старушкою, добродетель горячо об чем-то спорила с своей соседкой с правой стороны, рыжий господин ел.

За десертом, когда подали шампанское, Печорин, подняв бокал, оборотился к княгине:

— Так как я не имел счастия быть на вашей свадьбе, то позвольте поздравить вас теперь.

Она посмотрела на него с удивлением и ничего не отвечала. Тайное страдание изображалось на ее лице, столь изменчивом, рука ее, державшая стакан с водою, дрожала... Печорин все это видел, и нечто похожее на раскаяние закралось в грудь его: за что он ее мучил? с какою целью? какую пользу могло ему принесть это мелочное мщение?.. он себе в этом не мог дать подробного отчета.

Вскоре стулья зашумели; встали изо стола и пошли в приемные комнаты... Лакеи на серебряных подносах стали разносить кофе. Некоторые мужчины, не игравшие в вист, — и в их числе князь Степан Степаныч, — пошли в кабинет Печорина курить трубки, а княгиня под предлогом, что у нее развились локоны, удалилась в комнату Вареньки.

Она притворила за собою двери, бросилась в широкие кресла; неизъяснимое чувство стеснило ее грудь, слезы набежали на ресницы, стали капать чаще и чаще на ее разгоревшиеся ланиты, и она плакала, горько плакала, покуда ей не пришло в мысль, что с красными глазами неловко будет показаться в гостиную. Тогда она встала, подошла к зеркалу, осушила глаза, натерла виски одеколоном и духами, которые в цветных и граненых скляночках стояли на туалете. По временам она еще всхлипывала, и грудь ее подымалась высоко, но это были последние волны, забытые на гладком море пролетевшим ураганом.

Об чем же она плакала? — спрашиваете вы, и я вас спрошу, об чем женщины не плачут: слезы их оружие нападательное и оборонительное. Досада, радость, бессильная ненависть, бессильная любовь имеют у них одно выражение: Вера Дмитревна сама не могла дать отчета, какое из этих чувств было главною

причиною ее слез. Слова Печорина глубоко ее оскорбили, но странно, она его за это не возненавидела. Может быть, если б в его упреке проглядывало сожаление о минувшем, желание ей снова нравиться, она бы сумела отвечать ему колкой насмешкой и равнодушием, но, казалось, в нем было оскорблено одно самолюбие, а не сердце, самая слабая часть мужчины, подобная пятке Ахиллеса, и по этой причине оно в этом сражении оставалось вне ее выстрелов. Казалось, Печорин гордо вызывал на бой ее ненависть, чтобы увериться, так же ли она будет недолговременна, как любовь ее, — и он достиг своей цели. Ее чувства взволновались, ее мысли смутились, первое впечатление было сильное, а от первого впечатления зависело все остальное: он это знал и знал также, что самая ненависть ближе к любви, нежели равнодушие.

Княгиня уже собиралась возвратиться в гостиную, как вдруг дверь легонько скрыпнула и взошла Варенька.

— Я тебя искала, chère amie[1], — воскликнула она, — ты, кажется, нездорова...

Вера Дмитревна томно улыбнулась и сказала:

— У меня болит голова, там так жарко...

— Я за столом часто на тебя взглядывала, — продолжала Варенька, — ты все время молчала, мне досадно было, что я не села возле тебя, тогда, может быть, тебе не было так скучно.

— Мне вовсе не было скучно, — отвечала княгиня, горько улыбнувшись, — Григорий Александрович был очень любезен.

— Послушай, мой ангел, я не хочу, чтоб ты называла брата Григорий Александрович: Григорий Александрович — это так важно, точно вы будто вчерась токмо познакомились. Отчего не называть его просто Жорж, как прежде, он такой добрый.

— О, я этого последнего достоинства в нем ныне не заметила, он мне ныне наговорил таких вещей, которые б другая ему никогда не простила.

---

[1] милый друг (*франц.*).

Вера Дмитревна почувствовала, что проговорилась, но успокоилась тем, что Варенька ветреная девочка, не обратит внимания на ее последние слова или скоро позабудет их. Вера Дмитревна, к несчастию ее, была одна из тех женщин, которые обыкновенно осторожнее и скромнее других, но в минуты страсти проговариваются.

Поправя свои локоны перед зеркалом, она взяла под руку Вареньку, и обе возвратились в гостиную, а мы пойдем в кабинет Печорина, где собралось несколько молодых людей и где князь Степан Степаныч с цигаркою в зубах тщетно старался вмешиваться в их разговор. Он не знал ни одной петербургской актрисы, не знал ключа ни одной городской интриги и, как приезжий из другого города, не мог рассказать ни одной интересной новости. Женившись на молодой женщине, он старался казаться молодым назло подставным зубам и некоторым морщинам. В продолжение всей своей молодости этот человек не пристрастился ни к чему: ни к женщинам, ни к вину, ни к картам, ни к почестям, и со всем тем, в угодность товарищей и друзей, напивался очень часто, влюблялся раза три из угождения в женщин, которые хотели ему нравиться, проиграл однажды тридцать тысяч, когда была мода проигрываться, убил свое здоровье на службе потому, что начальникам это было приятно. Будучи эгоист в высшей степени, он, однако, слыл всегда добрым малым, готовым на всякие услуги, женился же он потому, что всем родным этого хотелось. Теперь он сидел против камина, куря сигарку, и допивая кофе, и внимательно слушая разговор двух молодых людей, стоявших против него. Один из них был артиллерийский офицер Браницкий, другой статский. Этот последний был одно из характеристических лиц петербургского общества.

Он был порядочного роста и так худ, что английского покроя фрак висел на плечах его как на вешалке. Жесткий атласный галстук подпирал его угловатый подбородок. Рот его, лишенный губ, походил на отверстие, прорезанное перочинным ножичком в картонной маске, щеки его, впалые и смугловатые,

местами были испещрены мелкими ямочками, следами разрушительной оспы. Нос его был прямой, одинаковой толщины во всей своей длине, а нижняя оконечность как бы отрублена, глаза, серые и маленькие, имели дерзкое выражение, брови были густы, лоб узок и высок, волосы черны и острижены под гребенку, из-за галстука его выглядывала борода à la St.-Simonienne [1].

Он был со всеми знаком, служил где-то, ездил по поручениям, возвращаясь — получал чины, бывал всегда в среднем обществе и говорил про связи свои с знатью, волочился за богатыми невестами, подавал множество проектов, продавал разные акции, предлагал всем подписки на разные книги, знаком был со всеми литераторами и журналистами, приписывал себе многие безыменные статьи в журналах, издал брошюру, которую никто не читал, был, по его словам, завален кучею дел и целое утро проводил на Невском проспекте. Чтоб докончить портрет, скажу, что фамилия его была малороссийская, хотя вместо Горшенко он называл себя Горшенков.

— Что вы ко мне никогда не заедете? — говорил ему Браницкий.

— Поверите ли, я так занят, — отвечал Горшенко, — вот завтра сам должен докладывать министру; потом надобно ехать в комитет, работы тьма, не знаешь, как отделаться, еще надобно писать статью в журнал, потом надобно обедать у князя N., всякий день где-нибудь на бале, вот хоть нынче у графини Ф. Так и быть, уж пожертвую этой зимой, а летом опять запрусь в свой кабинет, окружу себя бумагами и буду ездить только к старым приятелям.

Браницкий улыбнулся и, насвистывая арию из Фенеллы, удалился.

Князь, который был мысленно занят своим делом, подумал, что ему не худо будет познакомиться с человеком, который всех знает и докладывает сам министру. Он завел с ним разговор о политике, о службе, потом о своем деле, которое состояло в тяжбе с каз-

---

[1] как у сен-симонистов (*франц.*).

ною о двадцати тысячах десятинах лесу. Наконец, князь спросил у Горшенки, не знает ли он одного чиновника Красинского, у которого в столе разбираются его дела.

— Да-да, — отвечал Горшенко, — знаю, видал, но он ничего не может сделать, адресуйтесь к людям, которые более имеют весу, я знаю эти дела, мне часто их навязывали, но я всегда отказывался.

Такой ответ поставил в тупик князя Степана Степаныча. Ему показалось, что перед ним в лице Горшенки стоит весь комитет министров.

— Да, — сказал он, — ныне эти вещи стали ужасно затруднительны.

Печорин, слышавший разговор и узнав от князя, в каком департаменте его дело, обещался отыскать Красинского и привести его к князю.

Степан Степаныч, в восторге от его любезности, пожал ему руку и пригласил его заезжать к себе всякий раз, когда ему нечего будет делать.

ГЛАВА VII

На другой день Печорин был на службе, провел ночь в дежурной комнате и сменился в двенадцать часов утра. Покуда он переоделся, прошел еще час. Когда он приехал в департамент, где служил чиновник Красинский, то ему сказали, что этот чиновник куда-то ушел; Печорину дали его адрес, и он отправился к Обухову мосту. Остановясь у ворот одного огромного дома, он вызвал дворника и спросил, здесь ли живет чиновник Красинский.

— Пожалуйте в сорок девятый нумер, — был ответ.

— А где вход?

— Со двора-с.

Сорок девятый нумер, и вход со двора! — этих ужасных слов не может понять человек, который не провел по крайней мере половины жизни в отыскивании разных чиновников, сорок девятый нумер есть число мрачное и таинственное, подобное числу 666 в Апокалипсисе. Вы пробираетесь сначала через узкий и

угловатый двор, по глубокому снегу или по жидкой грязи; высокие пирамиды дров грозят ежеминутно подавить вас своим падением, тяжелый запах, едкий, отвратительный, отравляет ваше дыхание, собаки ворчат при вашем появлении, бледные лица, хранящие на себе ужасные следы нищеты или распутства, выглядывают сквозь узкие окна нижнего этажа. Наконец, после многих расспросов, вы находите желанную дверь, темную и узкую, как дверь в чистилище; поскользнувшись на пороге, вы летите две ступени вниз и попадаете ногами в лужу, образовавшуюся на каменном помосте, потом неверною рукой ощупываете лестницу и начинаете взбираться наверх. Взойдя на первый этаж и остановившись на четвероугольной площадке, вы увидите несколько дверей кругом себя, но, увы, ни на одной нет нумера; начинаете стучать или звонить, и обыкновенно выходит кухарка с сальной свечой, а из-за нее раздается брань или плач детей.

— Кого вам угодно?

— Сорок девятый нумер.

— Здесь эдаких нет-с.

— Кто ж здесь живет?

Ответ бывает обыкновенно или какое-нибудь варварское имя, или: «Какое вам дело, ступайте выше». Дверь захлопывается. Во всех других дверях та же сцена повторяется в разных видах; чем выше вы взбираетесь, тем хуже. Софист наблюдатель мог бы заключить из этого, что человек, приближаясь к небу, уподобляется растению, которое на вершинах гор теряет цвет и силу.

Помучившись около часу, вы, наконец, находите желанный сорок девятый нумер или другой столько же таинственный, и то, если дворник не был пьян и понял ваш вопрос, если не два чиновника с одинаковым именем в этом доме, если вы не попали на другую лестницу, и т. д. Печорин претерпел все эти мучения и, наконец, вскарабкавшись на четвертый этаж, постучал в дверь; вышла кухарка, он сделал обычный вопрос, ему отвечали: «Здесь». Он взошел, снял шинель в кухне и хотел идти далее, как вдруг кухарка остановила его, сказав, что господин Красин-

ский не воротился еще из департамента. «Я подожду», — отвечал он и взошел. Кухарка следовала за ним и разглядывала его с видом удивления. Белый султан и красивый кавалерийский мундир были, повидимому, явление необыкновенное на четвертом этаже. При входе Печорина в гостиную, если можно так назвать четырехугольную комнату, украшенную единственным столом, покрытым клеенкою, перед которым стоял старый диван и три стула, низенькая и опрятная старушка встала с своего места и повторила вопрос кухарки.

— Я ищу господина Красинского, может быть я ошибся...

— Это мой сын, — отвечала старушка, — он скоро будет.

— Если вы мне позволите подождать, — продолжал Печорин.

— Сделайте одолжение, — прервала его старушка и торопливо придвинула стул.

Печорин сел. Окинув взором комнату и все в ней находящееся, ему стало как-то неловко; если б судьба неожиданно бросила его во дворец персидского шаха, он бы скорей нашелся, нежели теперь.

Старушке с первого взгляда можно было дать лет шестьдесят, хотя она в самом деле была моложе; но ранние печали сгорбили ее стан, иссушили кожу, которая сделалась похожа цветом на старый пергамент. Синеватые жилы рисовались по ее прозрачным рукам, лицо ее было сморщено, в одних ее маленьких глазах, казалось, сосредоточились все ее жизненные силы, в них светила необыкновенная доброжелательность и невозмутимое спокойствие. Печорин, не зная, как начать разговор, стал перелистывать книгу, лежавшую на столе; он думал вовсе не о книге, но странное заглавие привлекло его внимание: «Легчайший способ быть всегда богатым и счастливым», сочинение Н. П., Москва, в тип. И. Глазунова, цена 25 копеек. Улыбка появилась на лице Печорина; эта книжка, как пустой лотерейный билет, была резкое изображение мечтаний обманутых, надежд несбыточных, тщетных усилий представить себе в лучшем виде

печальную существенность. Старушка заметила его улыбку и сказала:

— Я просила сына моего, прочитав объявление в газетах, чтоб он мне достал эту книжку, да в ней ничего нет.

— Я думаю, — возразил Печорин, — что никакая книга не может выучить быть счастливым. О, если б счастие была наука! дело другое!

— Разумеется, — возразила старуха, — утопающий за щепку хватается, мы не всегда были в таком положении, как теперь. Муж мой был польский дворянин, служил в русской службе, вследствие долгой тяжбы он потерял большую часть своего имения, а остатки разграблены были в последнюю войну, однако же я надеюсь, скоро все поправится. Мой сын, — продолжала она с некоторою гордостию, — имеет теперь очень хорошее место и хорошее жалованье.

После минутного молчанья она спросила:

— Вы, конечно, к моему сыну по какому-нибудь делу? Может быть, вам скучно будет дожидаться, так не угодно ли сказать мне, я ему передам.

— Мне препоручил, — отвечал Печорин, — князь Лиговской попросить вашего сына, чтобы он сделал одолжение, заехал к нему; у князя есть тяжба, которая теперь должна рассматриваться в столе у господина Красинского. Я вас попрошу передать ему адрес князя. Вы меня очень одолжите, если уговорите вашего сына к нему заехать хоть завтра вечером, я там буду.

Написав адрес, Печорин раскланялся и подошел к двери. В эту минуту дверь отворилась, и он вдруг столкнулся с человеком высокого роста; они взглянули друг на друга, глаза их встретились, и каждый сделал шаг назад. Враждебные чувства изобразились на обоих лицах, удивление сковало их уста; наконец, Печорин, чтобы выйти из этого странного положения, сказал почти шепотом:

— Милостивый государь, вспомните, что я не знал, что вы господин Красинский, иначе бы я не имел счастия встретиться с вами здесь. Ваша матушка объяснит вам причину моего посещения.

Они разошлись — не поклонившись. Печорин уехал. Эта случайная игра судьбы сильно его потревожила, потому что он в Красинском узнал того самого чиновника, которого несколько дней назад едва не задавил и с которым имел в театре историю.

Между тем Красинский, не менее пораженный этою встречей, сел противу своей матери на кресла, опустил голову на руку и глубоко задумался. Когда мать передала ему препоручения Печорина, стараясь объяснить, как выгодно было бы взяться за дело князя, и стала удивляться тому, что Печорин не объяснился сам, тогда Красинский вдруг вскочил с своего места, светлая мысль озарила лицо его, и воскликнул, ударив рукою по столу: «Да, я пойду к этому князю!» Потом он стал ходить по комнате мерными шагами, делая иногда бессвязные восклицания. Старушка, по-видимому привыкшая к таким странным выходкам, смотрела на него без удивления. Наконец, он опять сел, вздохнул и посмотрел на мать с таким видом, чтоб только начать разговор; она его угадала.

— Ну что, Станислав, — сказала она, — скоро ль тебе выйдет награждение? у нас денег осталось мало.

— Не знаю, — отвечал он отрывисто.

— Ты, верно, не сумел угодить начальнику отделения, — продолжала она, — ну что за беда, что он твоими руками жар загребает; придет и твое время, а покамест, если не будешь искать в людях, и бог тебя не взыщет.

Горькое чувство изобразилось на прекрасном лице Станислава, — он отвечал глухим голосом:

— Матушка, вы хотите, чтобы я пожертвовал для вас даже характером; пожалуй, после всех жертв, которые я принес вам, — это будет капля воды в море.

Она подняла к нему глаза, полные слез, и молчание снова воцарилось. Станислав стал перелистывать книгу и вдруг сказал, не отрывая глаз от параграфа, где безыменный сочинитель доказывал, что дружба есть ключ истинного счастия:

— Знаете ли, матушка, кто этот офицер, который был сегодня у нас?

— Не знаю, а что?

— Мой смертельный враг, — отвечал он.

Лицо старушки побледнело сколько могло побледнеть, она всплеснула руками и воскликнула:

— Боже мой, чего же он от тебя хочет?

— Вероятно, он мне не желает зла, но зато я имею сильную причину его ненавидеть. Разве, когда он сидел здесь против вас, блистая золотыми эполетами, поглаживая белый султан, разве вы не чувствовали, не догадались с первого взгляда, что я должен непременно его ненавидеть? О, поверьте, мы еще не раз с ним встретимся на дороге жизни и встретимся не так холодно, как ныне. Да, я пойду к этому князю, — какое-то тайное предчувствие шепчет мне, чтобы я повиновался указаниям судьбы.

Напрасны были все старания испуганной матери узнать причину такой глубокой ненависти; Станислав не хотел рассказывать, как будто боялся, что причина ей покажется слишком ничтожна. Как все люди страстные и упорные, увлекаемые одной постоянной мыслию, он больше всех препятствий старался избегать убеждений рассудка, могущих отвлечь его от предположенной цели.

На другой день он оделся как можно лучше. Целое утро он прилежно, может быть в первый раз от роду, рассматривал с ног до головы департаментских франтиков, чтоб выучиться повязывать галстук и запомнить, сколько пуговиц у жилета надобно застегнуть; и пожертвовал четвертак Фаге, который бессовестно взбил его мягкие и волнистые кудри в жесткий и неуклюжий хохол; а когда пробило семь часов вечера, Красинский отправился на Морскую, полный смутных надежд и опасений!..

ГЛАВА VIII

У князя Лиговского были гости кое-кто из родных, когда Красинский взошел в лакейскую.

— Князь принимает? — спросил он, нерешительно взглядывая то на того, то на другого лакея.

— Мы не здешние, — отвечал один из них, даже не приподнявшись с барской шубы.

— Нельзя ли, любезный, вызвать швейцара?..

— Он, верно, сейчас сам выйдет, — был ответ, — а нам нельзя!

Наконец, явился швейцар.

— Князь Лиговской дома?

— Пожалуйте-с.

— Доложи, что пришел Красинский... он меня знает!

Швейцар отправился в гостиную и, подойдя к князю Степан Степанычу, сказал ему тихо:

— Господин Красинский... приехал-с — он говорит, что вы изволите его знать.

— Какой Красинский? что ты врешь? — воскликнул князь, важно прищурясь.

Печорин, прислушавшись в чем дело, поспешил на помощь сконфуженному швейцару.

— Это тот самый чиновник, — сказал он, — у которого ваше дело... я к нему нынче заезжал.

— А! очень обязан, — отвечал Степан Степ<аныч>.

Он пошел в кабинет и велел просить туда чиновника.

Мы не будем слушать их скучных толков о запутанном деле и останемся в гостиной; две старушки, какой-то камергер и молодой человек обыкновенной наружности играли в вист; княгиня Вера и другая молодая дама сидели на канапе возле камина, слушая Печорина, который, придвинув свои кресла к камину, где сверкали остатки каменных угольев, рассказывал им одно из своих похождений во время Польской кампании. Когда Степан Степ<аныч> ушел, он занял праздное место, чтобы находиться ближе к княгине.

— Итак, вам велели отправиться со взводом... в эту деревню, — сказала молодая дама, которую Вера называла кузиною, продолжая прерванный разговор.

— И я, как разумеется, отправился, хотя ночь была темная и дождливая, — сказал Печорин, — мне велено было отобрать у пана оружие, если найдется... а его самого отправить в главную квартиру... я только что был произведен в корнеты, и это была первая моя откомандировка. К рассвету мы увидали перед собою деревню с каменным господским домом, у околицы

мои гусары поймали мужика и притащили ко мне. Показания его об имени пана и о числе жителей были согласны с моею инструкциею.

— А есть ли у вашего пана жена или дочери? — спросил я.

— Есть, пане капитане.

— А как их зовут, графиню, жену вашего Острожского?

— Графиня Рожа.

«Должно быть, красавица», — подумал я, наморщась.

— Ну, а дочки ее такие же рожи, как их маменька?

— Нет, пане капитане, старшая называется Амалия и меньшая Эвелина.

«Это еще ничего не доказывает», — подумал я. Графиня Рожа меня мучила, я продолжал расспросы:

— А что, сама графиня Рожа старуха?

— Ни, пане, ей всего тридцать три года.

— Какое несчастье!

Мы въехали в деревню и скоро остановились у ворот замка. Я велел людям слезть и в сопровождении унтер-офицера вошел в дом. Все было пусто. Пройдя несколько комнат, я был встречен самим графом, дрожащим и бледным как полотно. Я объявил ему мое поручение; разумеется, он уверял, что у него нет оружий, отдал мне ключи от всех своих кладовых и, между прочим, предложил завтракать. После второй рюмки хереса граф стал просить позволения представить мне свою супругу и дочерей.

— Помилуйте, — отвечал я, — что за церемония. — Я, признаться, боялся чтобы эта Рожа не испортила моего аппетита, но граф настаивал и, по-видимому, сильно надеялся на могущественное влияние своей Рожи. Я еще отнекивался, как вдруг дверь отворилась и взошла женщина высокая, стройная, в черном платье. Вообразите себе польку и красавицу польку в ту минуту, как она хочет обворожить русского офицера. Это была сама графиня Розалия, или Роза, попростонародному Рожа.

Эта случайная игра слов показалась очень забавна двум дамам. Они смеялись.

— Я предчувствую, вы влюбились в эту Рожу, — воскликнула, наконец, молодая дама, которую княгиня Вера называла кузиной.

— Это бы случилось, — отвечал Печорин, — если б я уже не любил другую.

— Ого! постоянство, — сказала молодая дама. — Знаете, что этой добродетелью не хвастаются?

— Во мне это не добродетель, а хроническая болезнь.

— Вы, однако же, вылечились?

— По крайней мере лечусь, — отвечал Печорин.

Княгиня на него быстро взглянула, на лице ее изобразилось что-то похожее на удивление и радость. Потом вдруг она сделалась печальна. Этот быстрый переход чувств не ускользнул от внимания Печорина, он переменил разговор, анекдот остался неконченным и скоро был забыт среди веселой и непринужденной беседы; наконец, подали чай, и взошел князь, а за ним Красинский, князь отрекомендовал его жене и просил садиться. Взоры маленького кружка обратились на него, и молчание воцарилось. Если б князь был петербургский житель, он бы задал ему завтрак в пятьсот рублей. Если имел в нем нужду, даже пригласил бы его к себе на бал или на шумный раут потолкаться между разного рода гостями, но ни за что в мире не ввел бы в свою гостиную запросто человека постороннего и никаким образом не принадлежащего к высшему кругу; но князь воспитывался в Москве, а Москва такая гостеприимная старушка. Княгиня из вежливости обратилась к Красинскому с некоторыми вопросами, он отвечал просто и коротко.

— Мы очень благодарны, — сказала она, наконец, — господину Печорину за то, что он доставил нам случай с вами познакомиться.

При этих словах Печорин и Красинский невольно взглянули друг на друга, и последний отвечал скоро:

— Я еще более вас должен быть благодарен господину Печорину за эту неоцененную услугу.

По губам Печорина пробежала улыбка, которая могла бы выразиться следующей фразой: «Ого, наш чиновник пускается в комплименты»; понял ли

Красинский эту улыбку, или же сам испугался своей смелости, — потому что, вероятно, это был его первый комплимент, сказанный женщине, так высоко поставленной над ним обществом, — не знаю, но он покраснел и продолжал неуверенным голосом:

— Поверьте, княгиня, что я никогда не забуду приятных минут, которые позволили вы мне провесть в вашем обществе; прошу вас не сумневаться: я исполню все, что будет зависеть от меня... и к тому же ваше дело только запутано, но совершенно правое...

— Скажите, — спросила его княгиня с тем участием, которое так похоже на обыкновенную вежливость, когда не знают, что сказать незнакомому человеку, — скажите: вы, я думаю ужасно замучены делами... я воображаю эту скуку: с утра до вечера писать и прочитывать длинные и бессвязные бумаги... это нестерпимо; поверите ли, что мой муж каждый день в продолжение года толкует и объясняет мне наше дело — а я до сих пор ничего еще не понимаю.

«Какой любезный и занимательный супруг», — подумал Печорин...

— Да и зачем вам, княгиня! — сказал Красинский, — ваш удел — забавы, роскошь, а наш — труд и заботы; оно так и следует; если б не мы, кто бы стал трудиться.

Наконец, и этот разговор истощился: Красинский встал, раскланялся... Когда он ушел, то кузина княгини заметила, что он вовсе не так неловок, как бы можно ожидать от чиновника, и что он говорит вовсе не дурно. Княгиня прибавила: «Et savez-vous, ma chère, qu'il est très bien...» [1] Печорин при этих словах стал превозносить до невозможности его ловкость и красоту: он уверял, что никогда не видывал таких темно-голубых глаз ни у одного чиновника на свете, и уверял, что Красинский, судя по его глубоким замечаниям, непременно будет великим государственным человеком, если не останется вечно титулярным советником... «Я непременно узнаю, — прибавил он очень серьезно,— есть ли у него университетский аттестат!..»

---

[1] А знаете ли, дорогая, он очень мил (*франц.*).

Ему удалось рассмешить двух дам и обратить разговор на другие предметы; несмотря на то, выражение княгини глубоко врезалось в его памяти: оно показалось ему упреком, хотя случайным, но тем не менее язвительным. Он прежде сам восхищался благородной красотою лица Красинского, но когда женщина, увлекавшая все его думы и надежды, обратила особенное внимание на эту красоту... он понял, что она невольно сделала сравнение для него убийственное, и ему почти показалось, что он вторично потерял ее навеки. И с этой минуты в свою очередь возненавидел Красинского. Грустно, а надо признаться, что самая чистейшая любовь наполовину перемешана с самолюбием.

Увлекаясь сам наружной красотою и обладая умом резким и проницательным, Печорин умел смотреть на себя с беспристрастием и, как обыкновенно люди с пылким воображением, переувеличивал свои недостатки. Убедясь по собственному опыту, как трудно влюбиться в одни душевные качества, он сделался недоверчив и приучился объяснять внимание или ласки женщин — расчетом или случайностью; то, что казалось бы другому доказательством нежнейшей любви,— пренебрегал он часто, как приметы обманчивые, слова, сказанные без намерения, взгляды, улыбки, брошенные на ветер, первому, кто захочет их поймать; другой бы упал духом и уступил соперникам поле сражения... но трудность борьбы увлекает упорный характер, и Печорин дал себе честное слово остаться победителем: следуя системе своей и вооружась несносным наружным хладнокровием и терпением, он мог бы разрушить лукавые увертки самой искусной кокетки... Он знал аксиому, что поздно или рано слабые характеры покоряются сильным и непреклонным, следуя какому-то закону природы, доселе необъясненному; можно было наверное сказать, что он достигнет своей цели... если страсть, всемогущая страсть не разрушит, как буря, одним порывом высокие подмостки его рассудка и старание... но это *если,* это ужасное *если* почти похоже на «если» Архимеда, который обещался приподнять земной шар, если ему дадут точку упора.

Толпа разных мыслей осаждала ум Печорина, так что под конец вечера он сделался рассеян и молчалив; князь Степан Степаныч рассказывал длинную историю, почерпнутую из семейных преданий; дамы украдкою зевали.

— Отчего вы сделались так печальны? — спросила, наконец, у Печорина кузина Веры Дмитревны.

— Причину даже совестно объявить, — отвечал Печорин...

— Однако ж!..

— Зависть!

— Кому ж вы завидуете?.. например...

— Не мне ли? — сказал князь, тонко улыбаясь и не воображая важности этого вопроса; Печорину тотчас пришло в мысль, что княгиня рассказала мужу прежнюю их любовь, покаялась в ней, как в детском заблуждении; если так, то все было кончено между ними, и Печорин неприметно мог сделаться предметом насмешки для супругов или жертвою коварного заговора; я удивляюсь, как это подозрение не потревожило его прежде, но уверяю вас, что оно пришло ему в голову именно теперь; он обещал себе постараться узнать, исповедовалась ли Вера своему мужу, и между тем отвечал:

— Нет, князь; не вам, хотя бы я мог и всякий должен вам завидовать... но признаюсь, я бы желал иметь счастливый дар этого Красинского — нравиться всем с первого взгляда...

— Поверьте, — отвечала княгиня, — кто скоро нравится, об том скоро и забывают.

— Боже мой! что на свете не забывается?.. и если считать ни во что минутный успех, то где же счастие?.. Добиваешься прочной любви, прочной славы, прочного богатства... глядишь... смерть, болезнь, пожар, потоп, война, мир, соперник, перемена общего мнения — и все труды пропали!.. а забвенье? забвенье равно неумолимо к минутам и столетиям. Если б меня спросили, чего я хочу: минуту полного блаженства или годы двусмысленного счастия... я бы скорей решился сосре-

доточить все свои чувства и страсти на одно божественное мгновенье и потом страдать сколько угодно, чем мало-помалу растягивать их и размещать по нумерам в промежутках скуки или печали.

— Я во всем с вами согласна, кроме того, что все на свете забывается, — есть вещи, которых забыть невозможно... особенно горести, — сказала княгиня.

Ее милое лицо приняло какой-то полухолодный, полугрустный вид, и что-то похожее на слезу пробежало, блистая, вдоль по длинным ее ресницам, как капля дождя, забытая бурей на листке березы, трепеща перекатывается по его краям, покуда новый порыв ветра не умчит ее — бог знает куда.

Печорин с удивленьем взглянул на нее... но увы! он не мог ничем объяснить этот странный припадок грусти! он так давно разлучен был с нею; и с тех пор он не знал ни одной подробности ее жизни... даже очень вероятно, что чувства Веры в эту минуту относились вовсе не к нему? мало ли могло быть у нее обожателей после его отъезда в армию; может быть, и ей изменил который-нибудь из них; как знать!..

Кто объяснит, кто растолкует
Очей двусмысленный язык...

Когда он встал, чтоб уезжать, княгиня его спросила, будет ли он послезавтра на бале у баронессы Р... ее родственницы... «Мне досадно, что баронесса так убедительно нас звала, — прибавила она, — я почти вовсе не знаю здешнего круга и уверена, что мне там будет скучно...»

Печорин отвечал, что он еще не зван...

«Теперь я понимаю, — подумал он, садясь в сани, — ей хочется иметь на этом бале знакомого кавалера... Дай бог, чтоб меня не звали: там, верно, будет Лиза Негурова... Ах! боже мой, да, кажется, они с Верой давнишние знакомые... О! но если она осмелится...» Тут сани его остановились, и мысли также. Взойдя к себе в кабинет, он нашел на столе пригласительный билет от баронессы.

ГЛАВА IX

Баронесса Р ** была русская, но замужем за курляндским бароном, который каким-то образом сделался ужасно богат; она жила на Мильонной в самом центре высшего круга. С одиннадцатого часа вечера кареты, одна за одной, стали подъезжать к ярко освещенному ее подъезду: по обеим сторонам крыльца теснились на тротуаре прохожие, остановленные любопытством и опасностию быть раздавленными. В числе их был Красинский: прижавшись к стене, он с завистью смотрел на разных господ со звездами и крестами, которых длинные лакеи осторожно вытаскивали из кареты, на молодых людей, небрежно выскакивавших из саней на гранитные ступени, и множество мыслей теснилось в голове его. «Чем я хуже их? — думал он, — эти лица, бледные, истощенные, искривленные мелкими страстями, ужели нравятся женщинам, которые имеют право и возможность выбирать? Деньги, деньги и одни деньги, на что им красота, ум и сердце? О, я буду богат непременно, во что бы то ни стало, и тогда заставлю это общество отдать мне должную справедливость».

Бедный, невинный чиновник! он не знал, что для этого общества, кроме кучи золота, нужно имя, украшенное историческими воспоминаниями (какие бы они ни были), имя, столько уже знакомое лакейским, чтоб швейцар его не исковеркал и чтобы в случае, когда его произнесут, какая-нибудь важная дама, законодательница и судия гостиных, спросила бы — который это? — не родня ли он князю В. или графу К. Итак, Красинский стоял у подъезда, закутанный в шинель. Вот подъехала карета; из нее вышла дама: при блеске фонарей бриллианты ярко сверкали между ее локонами, за нею вылез из кареты мужчина в медвежьей шубе. Это были князь Лиговской с княгиней; Красинский поспешно высунулся из толпы зевак, снял шляпу и почтительно поклонился, как знакомым, но увы! его не заметили или не узнали, что еще вероятнее. И в самом деле, женщине, видевшей его один

только раз и готовой предстать на грозный суд лучшего общества, и пожилому мужу, следующему на бал за хорошенькою женою, право, не до толпы любопытных зевак, мерзнущих у подъезда, но Красинский приписал гордости и умышленному небрежению вещь чрезмерно простую и случайную, и с этой минуты тайная неприязнь к княгине зародилась в его подозрительном сердце. «Хорошо, — подумал он, удаляясь, — будет и на нашей улице праздник», — жалкая поговорка мелочной ненависти.

Между тем в зале уже гремела музыка, и бал начинал оживляться; тут было все, что есть лучшего в Петербурге: два посланника, с их заморскою свитою, составленною из людей, говорящих очень хорошо по-французски (что, впрочем, вовсе не удивительно) и поэтому возбуждавших глубокое участие в наших красавицах; несколько генералов и государственных людей; один английский лорд, путешествующий из экономии и поэтому не почитающий за нужное ни говорить, ни смотреть, зато его супруга, благородная леди, принадлежавшая к классу bluestockings[1] и некогда грозная гонительница Байрона, говорила за четверых и смотрела в четыре глаза, если считать стеклы двойного лорнета, в которых было не менее выразительности, чем в ее собственных глазах; тут было пять или шесть наших доморощенных дипломатов, путешествовавших на свой счет не далее Ревеля и утверждавших резко, что Россия государство совершенно европейское и что они знают ее вдоль и поперек, потому что бывали несколько раз в Царском Селе и даже в Парголове. Они гордо посматривали из-за накрахмаленных галстуков на военную молодежь, по-видимому так беспечно и необдуманно преданную удовольствию: они были уверены, что эти люди, затянутые в вышитый золотом мундир, не способны ни к чему, кроме машинальных занятий службы. Тут могли бы вы также встретить несколько молодых и розовых юношей, военных с тупеями, штатских, причесанных à la russe, скромных подобно наперсникам

---

[1] «синих чулок» (*англ.*).

классической трагедии, недавно представленных высшему обществу каким-нибудь знатным родственником: не успев познакомиться с большею частию дам и страшась, приглашая незнакомую на кадриль или мазурку, встретить один из тех ледяных ужасных взглядов, от которых переворачивается сердце, как у больного при виде черной микстуры, они робкою толпою зрителей окружали блестящие кадрили и ели мороженое, ужасно ели мороженое. Исключительно танцующие кавалеры могли разделиться на два разряда: одни добросовестно не жалели ни ног, ни языка, танцевали без устали, садились на край стула, обратившись лицом к своей даме, улыбались и кидали значительные взгляды при каждом слове, короче — исполняли свою обязанность как нельзя лучше; другие, люди средних лет, чиновные, заслуженные ветераны общества, с важною осанкой и гордым выражением лица, скользили небрежно по паркету, как бы из милости или снисхождения к хозяйке, и говорили только с дамою своего vis-à-vis [1], когда встречались с нею, делая фигуру.

Но зато дамы... о! дамы были истинным украшением этого бала, как и всех возможных балов!.. сколько блестящих глаз и бриллиантов, сколько розовых уст и розовых лент... чудеса природы и чудеса модной лавки... волшебные маленькие ножки и чудно узкие башмаки, беломраморные плечи и лучшие французские белилы, звучные фразы, заимствованные из модного романа, бриллианты, взятые на прокат из лавки... — я не знаю, но в моих понятиях женщина на бале составляет с своим нарядом нечто целое, нераздельное, особенное; женщина на бале совсем не то, что женщина в своем кабинете; судить о душе и уме женщины, протанцевав с нею мазурку, все равно что судить о мнении и чувствах журналиста, прочитав одну его статью.

У двери, ведущей из залы в гостиную, сидели две зрелые девы, вооруженные лорнетами и разговаривающие с двумя или тремя молодыми людьми — не тан-

---

[1] визави (напротив стоящего) (*франц.*).

цующими. Одна из них была Лизавета Николавна. Пунцовое платье придавало ее бледным чертам немного более жизни, и вообще она была к лицу одета. В надежде на это преимущество она довольно холодно отвечала на вежливый поклон Печорина, когда тот подошел к ней. (Надобно заметить между прочим, что дама дурно одетая обыкновенно гораздо любезнее и снисходительнее, — это, впрочем, вовсе не значит, что они должны дурно одеваться.) Печорин стал возле Елизаветы Николавны, ожидая, чтобы она начала разговор, и рассеянно смотрел на танцующих. Так прошло несколько минут, и, наконец, она принуждена была сорвать с своих уст печать молчания.

— Отчего вы не танцуете? — спросила она его.

— Я всегда и везде следую вашему примеру.

— Разве с нынешнего дня.

— Что ж, лучше поздно, чем никогда. Не правда ли?

— Иногда бывает слишком поздно.

— Боже мой! какое трагическое выражение!

Лизавета Николавна чуть-чуть не оскорбилась, но старалась улыбнуться и отвечала:

— Я с некоторых пор перестала удивляться вашему поведению. Для других бы оно показалось очень дерзко, для меня очень натурально. О, я вас теперь очень хорошо знаю!

— А нельзя ль узнать, кто так искусно объяснил вам мой характер?

— О, это тайна, — сказала она, взглянув на него пристально и прижав к губам свой веер.

Он наклонился и с притворной нежностью шепнул ей на ухо:

— Одну тайну вашего сердца вы мне давно уже поверили, ужели другая важнее первой?

Она покраснела при всей своей неспособности краснеть, но не от стыда, не от воспоминания, не от досады; невольное удовольствие, тайная надежда завлечь снова непостоянного поклонника, выйти замуж или хотя отомстить со временем по-своему, по-женски, промелькнули в ее душе. Женщины никогда не отказываются от таких надежд, когда представляется

какая-нибудь возможность достигнуть цели, и от таких удовольствий, когда цель достигнута.

Приняв тотчас сериозный, печальный вид, она отвечала с расстановкою:

— Вы мне напоминаете вещи, об которых я хочу забыть.

— Но еще не забыли? — сказал он с нежностию.

— О, не продолжайте, я ничему не поверю более, вы мне дали такой урок...

— Я?

В этом *я* было больше удивления, чем в пяти восклицательных знаках, поставленных рядом. Потом Печорин задумался.

— Да, — сказал он, — теперь я начинаю понимать: кто-нибудь меня оклеветал перед вами, у меня столько врагов и особенно друзей, теперь понимаю, отчего намедни, когда я заезжал к вам, это было поутру, и я знаю, что у вас были гости, но меня не приняли, о, конечно, я сам не буду искать вторично такого оскорбления.

— Но вы не знаете, что этому причиною, — сказала поспешно Елизавета Николавна, — я получила письмо от неизвестного, в котором...

— В котором меня хвалят и толкуют мои поступки в самую лучшую сторону, — отвечал, горько улыбаясь, Печорин. — О, я догадываюсь, кто мне оказал эту услугу, однако ж прошу вас, верьте, верьте всему, что там написано, как вы верили до сей минуты.

Он засмеялся и хотел отойти прочь.

— Но если я не верю? — воскликнула, испугавшись, Елизавета Николавна.

— Напрасно, всегда выгоднее верить дурному, чем хорошему... один против двадцати, что... — Он не кончил фразы, глаза его устремились на другую дверь залы, где произошло небольшое движение; глаза Елизаветы Николавны боязливо обратились в ту же сторону.

Сквозь толпу приближалась к гостиной княгиня Лиговская и за нею князь Степан Степ<аныч>.

Она была одета со вкусом, только строгие законодатели моды могли бы заметить с важностью, что на

ней было слишком много бриллиантов. Она медленно подвигалась сквозь толпу, небрежно раздавшуюся перед нею. Ни одно приветствие не удерживало ее на пути, и сто любопытных глаз, озиравших с головы до ног незнакомую красавицу, вызвали краску на нежные щеки ее, глаза покрылись какою-то электрической влагой, грудь неровно подымалась, и можно было догадаться по выражению лица, что настала минута для нее мучительная. Она была похожа на неизвестного оратора, всходящего в первый раз по ступеням кафедры... от этого бала зависел успех ее в модном свете... некстати пришитый бант, не на месте приколотый цветок мог навсегда разрушить ее будущность... И в самом деле, может ли женщина надеяться на успех, может ли она нравиться нашим франтам, если с первого взгляда скажут: elle a l'air bourgeois...[1] — это выражение, так некстати вкравшееся в наше чисто дворянское общество, имеет, однако же, ужасную власть над умами и отнимает все права у красоты и любезности.

Вкус, батюшка, отменная манера.

Когда княгиня поровнялась с Печориным, то едва отвечала легким наклонением головы и мимолетной улыбкой на его поклон; он хотел что-то сказать, но она отвернулась; глаза ее беспокойно бегали кругом, стараясь открыть хоть еще одно знакомое лицо... и упали на Лизавету Николавну... узнав друг друга, соперницы очень ласково обменялись привстствиями... Потом кто-то еще высунулся из толпы мужчин и с радостным видом стал спрашивать княгиню Веру, когда она из Москвы... и прочее. Она постепенно делалась приветливей, так что можно почти держать пари, что если б она встретила здесь девяносто девять знакомых, то девяносто девятый остался бы в счастливом убеждении, что одним взглядом победил ее сердце.

Только что княгиня и князь прошли в гостиную, Лизавета Николавна тотчас обратилась к Печорину,

---

[1] у нее вид мещанки (*франц*).

чтоб возобновить прерванный разговор, — но он был так бледен, так неподвижен, что ей стало страшно.

— Появление этой дамы, — сказала она, наконец, ему, — сделало на вас очень странное впечатление!.. вы давно ее знаете?

— С детства! — отвечал Печорин.

— Я также ее когда-то знала... за кем она замужем?

Печорин сказал.

— Как! неужели этот господин, который за нею шел так смиренно, ее муж?.. Если б я их встретила на улице, то приняла бы его за лакея. Я думаю, она делает из него все что хочет.

— По крайней мере все, что можно из него сделать!..

— Однако она счастлива...

— Разве вы не заметили, сколько на ней бриллиантов?

— Богатство не есть счастие!..

— Все-таки оно ближе к нему, нежели бедность: нет ничего безвкуснее, как быть довольну своей судьбою в скромной хижине... за чашкою гречневой каши.

— Кто ж вам говорит о бедности? везде надо уметь выбирать середину...

— Я вам желаю мужа, который бы так думал.

Он отошел. Кадрили кончались — музыка замолкла: в широкой зале раздавался смешанный говор тонких и толстых голосов, шарканье сапогов и башмачков; составились группы. Дамы пошли в другие комнаты подышать свежим воздухом, пересказать друг другу свои замечания, немногие кавалеры за ними последовали, не замечая, что они лишние и что от них стараются отделаться; княгиня пришла в залу и села возле Негуровой. Они возобновили старое знакомство, и между ними завязался незначительный разговор.

АШИК-КЕРИБ

Турецкая сказка

Давно тому назад, в городе Тифлизе, жил один богатый турок; много аллах дал ему золота, но дороже золота была ему единственная дочь Магуль-Мегери; хороши звезды на небеси, но за звездами живут ангелы, и они еще лучше, так и Магуль-Мегери была лучше всех девушек Тифлиза. Был также в Тифлизе бедный Ашик-Кериб; пророк не дал ему ничего, кроме высокого сердца и дара песен; играя на саазе (балалайка турецкая) и прославляя древних витязей Туркестана, ходил он по свадьбам увеселять богатых и счастливых; на одной свадьбе он увидал Магуль-Мегери, и они полюбили друг друга. Мало было надежды у бедного Ашик-Кериба получить ее руку — и он стал грустен, как зимнее небо.

Вот раз он лежал в саду под виноградником и, наконец, заснул; в это время шла мимо Магуль-Мегери с своими подругами; и одна из них, увидав спящего ашика (балалаечник), отстала и подошла к нему: «Что ты спишь под виноградником, — запела она, — вставай, безумный, твоя газель идет мимо»; он проснулся — девушка порхнула прочь, как птичка; Магуль-Мегери слышала ее песню и стала ее бранить. «Если б ты знала, — отвечала та, — кому я пела эту песню, ты бы меня поблагодарила: это твой Ашик-Кериб». — «Веди меня к нему», — сказала Магуль-Ме-

гери; и они пошли. Увидав его печальное лицо, Магуль-Мегери стала его спрашивать и утешать. «Как мне не грустить, — отвечал Ашик-Кериб, — я тебя люблю, — и ты никогда не будешь моею». — «Проси мою руку у отца моего, — говорила она, — и отец мой сыграет нашу свадьбу на свои деньги и наградит меня столько, что нам вдвоем достанет». — «Хорошо, — отвечал он, — положим, Аяк-Ага ничего не пожалеет для своей дочери; но кто знает, что после ты не будешь меня упрекать в том, что я ничего не имел и тебе всем обязан; нет, милая Магуль-Мегери, я положил зарок на свою душу: обещаюсь семь лет странствовать по свету и нажить себе богатство либо погибнуть в дальних пустынях; если ты согласна на это, то по истечении срока будешь моею». Она согласилась, но прибавила, что если в назначенный день он не вернется, то она сделается женою Куршуд-бека, который давно уж за нее сватается.

Пришел Ашик-Кериб к своей матери, взял на дорогу ее благословение, поцеловал маленькую сестру, повесил через плечо сумку, оперся на посох страннический и вышел из города Тифлиза. И вот догоняет его всадник, — он смотрит — это Куршуд-бек. «Добрый путь, — кричал ему бек, — куда бы ты ни шел, странник, я твой товарищ»; не рад был Ашик своему товарищу, но нечего делать; долго они шли вместе, наконец завидели перед собою реку. Ни моста, ни броду. «Плыви вперед, — сказал Куршуд-бек, — я за тобою последую». Ашик сбросил верхнее платье и поплыл; переправившись, глядь назад — о горе! о всемогущий аллах! Куршуд-бек, взяв его одежды, ускакал обратно в Тифлиз, только пыль вилась за ним змеею по гладкому полю. Прискакав в Тифлиз, несет бек платье Ашик-Кериба к его старой матери. «Твой сын утонул в глубокой реке, — говорит он, — вот его одежда». В невыразимой тоске упала мать на одежды любимого сына и стала обливать их жаркими слезами; потом взяла их и понесла к нареченной невестке своей, Магуль-Мегери. «Мой сын утонул, — сказала она ей, — Куршуд-бек привез его одежды; ты свободна». Магуль-Мегери улыбнулась и отвечала: «Не верь, это все вы-

думки Куршуд-бека; прежде истечения семи лет никто не будет моим мужем», — она взяла со стены свою сааз и спокойно начала петь любимую песню бедного Ашик-Кериба.

Между тем странник пришел бос и наг в одну деревню; добрые люди одели его и накормили; он за то пел им чудные песни; таким образом переходил он из деревни в деревню, из города в город: и слава его разнеслась повсюду. Прибыл он, наконец, в Халаф; по обыкновению, взошел в кофейный дом, спросил сааз и стал петь. В это время жил в Халафе паша, большой охотник до песельников; многих к нему приводили — ни один ему не понравился; его чауши измучились, бегая по городу; вдруг, проходя мимо кофейного дома, слышат удивительный голос; они туда. «Иди с нами к великому паше, — закричали они, — или ты отвечаешь нам головою». — «Я человек вольный, странник из города Тифлиза, — говорит Ашик-Кериб, — хочу пойду, хочу нет; пою когда придется, и ваш паша мне не начальник». Однако, несмотря на то, его схватили и привели к паше. «Пой», — сказал паша, и он запел. И в этой песне он славил свою дорогую Магуль-Мегери; и эта песня так понравилась гордому паше, что он оставил у себя бедного Ашик-Кериба. Посыпалось к нему серебро и золото, заблистали на нем богатые одежды; счастливо и весело стал жить Ашик-Кериб и сделался очень богат; забыл он свою Магуль-Мегери или нет, не знаю, только срок истекал, последний год скоро должен был кончиться, а он и не готовился к отъезду. Прекрасная Магуль-Мегери стала отчаиваться; в это время отправляется один купец с керваном из Тифлиза с сорока верблюдами и восемьюдесятью невольниками; призывает она купца к себе и дает ему золотое блюдо. «Возьми ты это блюдо, — говорит она, — и в какой бы ты город ни приехал, выставь это блюдо в своей лавке и объяви везде, что тот, кто признается моему блюду хозяином и докажет это, получит его и вдобавок вес его золотом». Отправился купец, везде исполнял поручение Магуль-Мегери, но никто не признался хозяином золотому блюду. Уж он

продал почти все свои товары и приехал с остальными в Халаф. Объявил он везде поручение Магуль-Мегери. Услыхав это, Ашик-Кериб прибегает в караван-сарай — и видит золотое блюдо в лавке тифлизского купца. «Это мое», — сказал он, схватив его рукою. «Точно, твое, — сказал купец, — я узнал тебя, Ашик-Кериб; ступай же скорее в Тифлиз, твоя Магуль-Мегери велела тебе сказать, что срок истекает, и если ты не будешь в назначенный день, то она выдет за другого». В отчаянии Ашик-Кериб схватил себя за голову: оставалось только три дни до рокового часа. Однако он сел на коня, взял с собою суму с золотыми монетами и поскакал, не жалея коня; наконец, измученный бегун упал бездыханный на Арзинган-горе, что между Арзиньяном и Арзерумом. Что ему было делать: от Арзиньяна до Тифлиза два месяца езды, а оставалось только два дни. «Аллах всемогущий, — воскликнул он, — если ты уж мне не помогаешь, то мне нечего на земле делать», — и хочет он броситься с высокого утеса; вдруг видит внизу человека на белом коне и слышит громкий голос: «Оглан, что ты хочешь делать?» — «Хочу умереть», — отвечал Ашик. «Слезай же сюда, если так, я тебя убью». Ашик спустился кое-как с утеса. «Ступай за мною», — сказал грозно всадник. «Как я могу за тобою следовать, — отвечал Ашик, — твой конь летит, как ветер, а я отягощен сумою». — «Правда; повесь же суму свою на седло мое и следуй». Отстал Ашик-Кериб, как ни старался бежать. «Что ж ты отстаешь?» — спросил всадник. «Как же я могу следовать за тобою, твой конь быстрее мысли, а я уж измучен». — «Правда, садись же сзади на коня моего и говори всю правду, куда тебе нужно ехать». — «Хоть бы в Арзерум поспеть нонче, — отвечал Ашик. «Закрой же глаза»; он закрыл. «Теперь открой». Смотрит Ашик: перед ним белеют стены и блещут минареты Арзрума. «Виноват, Ага, — сказал Ашик, — я ошибся, я хотел сказать, что мне надо в Карс». — «То-то же, — отвечал всадник, — я предупредил тебя, чтобы ты говорил мне сущую правду; закрой же опять глаза, — теперь открой». Ашик себе

не верит — то, что это Карс. Он упал на колени и сказал: «Виноват, Ага, трижды виноват твой слуга Ашик-Кериб, но ты сам знаешь, что если человек решился лгать с утра, то должен лгать до конца дня; мне по настоящему надо в Тифлиз». — «Экой ты, неверный, — сказал сердито всадник, — но, нечего делать, прощаю тебе: закрой же глаза. Теперь открой», — прибавил он по прошествии минуты. Ашик вскрикнул от радости: они были у ворот Тифлиза. Принеся искреннюю свою благодарность и взяв свою суму с седла, Ашик-Кериб сказал всаднику: «Ага, конечно, благодеяние твое велико, но сделай еще больше; если я теперь буду рассказывать, что в один день поспел из Арзиньяна в Тифлиз, мне никто не поверит; дай мне какое-нибудь доказательство». — «Наклонись, — сказал тот, улыбнувшись, — и возьми из-под копыта коня комок земли и положи себе за пазуху; и тогда если не станут верить истине слов твоих, то вели к себе привести слепую, которая семь лет уж в этом положении, помажь ей глаза — и она увидит». Ашик взял кусок земли из-под копыта белого коня, но только он поднял голову, всадник и конь исчезли; тогда он убедился в душе, что его покровитель был не кто иной, как Хадерилиаз (св. Георгий).

Только поздно вечером Ашик-Кериб отыскал дом свой; стучит он в двери дрожащею рукою, говоря: «Ана, ана (мать), отвори: я божий гость, я холоден и голоден; прошу, ради странствующего твоего сына, впусти меня». Слабый голос старухи отвечал ему: «Для ночлега путников есть дома богатых и сильных, есть теперь в городе свадьбы — ступай туда; там можешь провести ночь в удовольствии». — «Ана, — отвечал он, — я здесь никого знакомых не имею и потому повторяю мою просьбу: ради странствующего твоего сына впусти меня». Тогда сестра его говорит матери: «Мать, я встану и отворю ему двери». — «Негодная, — отвечала старуха, — ты рада принимать молодых людей и угощать их, потому что вот уже семь лет, как я от слез потеряла зрение». Но дочь, не внимая ее упрекам, встала, отперла двери и впустила Ашик-Кериба:

сказав обычное приветствие, он сел и с тайным волнением стал осматриваться: и видит он — на стене висит в пыльном чехле его сладкозвучный сааз. И стал он спрашивать у матери: «Что висит у тебя на стене?» — «Любопытный ты гость, — отвечала она, — будет и того, что тебе дадут кусок хлеба и завтра отпустят тебя с богом». — «Я уж сказал тебе, — возразил он, — что ты моя родная мать, а это сестра моя, и потому прошу объяснить мне, что это висит на стене?» — «Это сааз, сааз», — отвечала старуха сердито, не веря ему. «А что значит сааз?» — «Сааз то значит, что на ней играют и поют песни». И просит Ашик-Кериб, чтоб она позволила сестре снять сааз и показать ему. «Нельзя, — отвечала старуха, — это сааз моего несчастного сына, вот уже семь лет он висит на стене и ничья живая рука до него не дотрогивалась». Но сестра его встала, сняла со стены сааз и отдала ему; тогда он поднял глаза к небу и сотворил такую молитву: «О! всемогущий аллах! если я должен достигнуть до желаемой цели, то моя семиструнная сааз будет так же стройна, как в тот день, когда я в последний раз играл на ней». И он ударил по медным струнам, и струны согласно заговорили; и он начал петь: «Я бедный Кериб (нищий) — и слова мои бедны; но великий Хадерилияз помог мне спуститься с крутого утеса, хотя я беден и бедны слова мои. Узнай меня, мать, своего странника». После этого мать его зарыдала и спрашивает его: «Как тебя зовут?» — «*Рашид»* (храбрый), — отвечал он. «Раз говори, другой раз слушай, Рашид, — сказала она, — своими речами ты изрезал сердце мои в куски. Нынешнюю ночь я во сне видела, что на голове моей волосы побелели, а вот уж семь лет я ослепла от слез; скажи мне ты, который имеешь его голос, когда мой сын придет?» — И дважды со слезами она повторила ему просьбу. Напрасно он называл себя ее сыном, но она не верила, и спустя несколько времени просит он: «Позволь мне, матушка, взять сааз и идти, я слышал, здесь близко есть свадьба: сестра меня проводит; я буду петь и играть, и все, что получу, принесу сюда и разделю с

вами». — «Не позволю, — отвечала старуха, — с тех пор, как нет моего сына, его сааз не выходил из дому». Но он стал клясться, что не повредит ни одной струны, — «а если хоть одна струна порвется, — продолжал Ашик, — то отвечаю моим имуществом». Старуха ощупала его сумы и, узнав, что они наполнены монетами, отпустила его; проводив его до богатого дома, где шумел свадебный пир, сестра осталась у дверей слушать, что будет.

В этом доме жила Магуль-Мегери, и в эту ночь она должна была сделаться женою Куршуд-бека. Куршуд-бек пировал с родными и друзьями, а Магуль-Мегери, сидя за богатою чапрой (занавес) с своими подругами, держала в одной руке чашу с ядом, а в другой острый кинжал: она поклялась умереть прежде, чем опустит голову на ложе Куршуд-бека. И слышит она из-за чапры, что пришел незнакомец, который говорил: «Селям алейкюм: вы здесь веселитесь и пируете, так позвольте мне, бедному страннику, сесть с вами, и за то я спою вам песню». — «Почему же нет, — сказал Куршуд-бек. — Сюда должны быть впускаемы песельники и плясуны, потому что здесь свадьба: спой же что-нибудь, Ашик (певец), и я отпущу тебя с полной горстью золота».

Тогда Куршуд-бек спросил его: «А как тебя зовут, путник?» — «Шинды-Гёрурсез (скоро узнаете)». — «Что это за имя, — воскликнул тот со смехом. — Я первый раз такое слышу!» — «Когда мать моя была мною беременна и мучилась родами, то многие соседи приходили к дверям спрашивать, сына или дочь бог ей дал: им отвечали — шинды-гёрурсез (скоро узнаете). И вот поэтому, когда я родился, мне дали это имя». — После этого он взял сааз и начал петь:

«В городе Халафе я пил мисирское вино, но бог мне дал крылья, и я прилетел сюда в день».

Брат Куршуд-бека, человек малоумный, выхватил кинжал, воскликнув: «Ты лжешь; как можно из Халафа приехать сюда в <день>?»

«За что ж ты меня хочешь убить,— сказал Ашик, — певцов обыкновенно со всех четырех сторон собирают

в одно место; и я с вас ничего не беру, верьте мне или не верьте».

«Пускай продолжает», — сказал жених, и Ашик-Кериб запел снова:

«Утренний намаз творил я в Арзиньянской долине, полуденный намаз в городе Арзруме; пред захождением солнца творил намаз в городе Карсе, а вечерний намаз в Тифлизе. Аллах дал мне крылья, и я прилетел сюда; дай бог, чтоб я стал жертвою белого коня, он скакал быстро, как плясун по канату, с горы в ущелья, из ущелья на гору: Маулям (создатель) дал Ашику крылья, и он прилетел на свадьбу Магуль-Мегери».

Тогда Магуль-Мегери, узнав его голос, бросила яд в одну сторону, а кинжал в другую. «Так-то ты сдержала свою клятву, — сказали ее подруги, — стало быть, сегодня ночью ты будешь женою Куршуд-бека». — «Вы не узнали, а я узнала милый мне голос, — отвечала Магуль-Мегери; и, взяв ножницы, она прорезала чапру. Когда же посмотрела и точно узнала своего Ашик-Кериба, то вскрикнула, бросилась к нему на шею, и оба упали без чувств. Брат Куршуд-бека бросился на них с кинжалом, намереваясь заколоть обоих, но Куршуд-бек остановил его, примолвив: «Успокойся и знай: что написано у человека на лбу при его рождении, того он не минует».

Придя в чувства, Магуль-Мегери покраснела от стыда, закрыла лицо рукою и спряталась за чапру.

«Теперь точно видно, что ты Ашик-Кериб, — сказал жених, — но поведай, как же ты мог в такое краткое время проехать такое великое пространство?» — «В доказательство истины, — отвечал Ашик, — сабля моя перерубит камень, если же я лгу, то да будет шея моя тоньше волоска; но лучше всего приведите мне слепую, которая бы семь лет уж не видала свету божьего, и я возвращу ей зрение». Сестра Ашик-Кериба, стоявшая у двери и услышав такую речь, побежала к матери. «Матушка! — закричала она, — это точно брат и точно твой сын Ашик-Кериб», — и, взяв ее под руку, привела старуху на пир свадебный. Тогда

Ашик взял комок земли из-за пазухи, развел его водою и намазал матери глаза, примолвя: «Знайте все люди, как могущ и велик Хадрилиаз», — и мать его прозрела. После этого никто не смел сомневаться в истине слов его, и Куршуд-бек уступил ему безмолвно прекрасную Магуль-Мегери.

Тогда в радости Ашик-Кериб сказал ему: «Послушай, Куршуд-бек, я тебя утешу: сестра моя не хуже твоей прежней невесты, я богат: у ней будет не менее серебра и золота; итак, возьми ее за себя — и будьте так же счастливы, как я с моей дорогою Магуль-Мегери».

⟨ОТРЫВОК: «Я ХОЧУ РАССКАЗАТЬ ВАМ»⟩

Я хочу рассказать вам историю женщины, которую вы все видали и которую никто из вас не знал. Вы ее встречали ежедневно на бале, в театре, на гулянье, у нее в кабинете. Теперь она уже сошла со сцены большого света; ей тридцать лет, и она схоронила себя в деревне; но когда ей было только двадцать, весь Петербург шумно занимался ею в продолжение целой зимы. Об этом совершенно забыли, и слава богу! потому что иначе я бы не мог печатать своей повести. В обществе про нее было в то время много разногласных толков. Старушки говорили об ней, что она прехитрая и прелукавая, приятельницы — что она преглупенькая, соперницы — что она предобрая, молодые женщины — что она кокетка, а раздушенные старики значительно улыбались при ее имени и ничего не говорили. Еще прибавлю странность. Иные жалели, что такой правильной и свежей красоте недостает физиономии, тогда как другие утверждали, что хотя она вовсе не хороша, но неизъяснимая прелесть выраженья в ее лице заменяет все прочие недостатки. Притом муж ее, пятидесятилетний мужчина, имел графский титул и сомнительно огромное состоянье. Всего этого, кажется, довольно, чтобы доставить молодой женщине ту соблазнительную, мимолетную славу, за которой они все так жадно гоняются и за которую некоторые из них так дорого платят.

Подробности моего рассказа покажутся не очень нравственными, но ручаюсь вам, что в нем будет заключаться глубокий, нравственный смысл, который не ускользнет ни от кого, разве от восемнадцатилетних барышень — да им моей книги не дадут; а если она им и попадется случайно, то умоляю их, после этих строк закрыть ее и не класть на ночь под подушку, потому что от этого находят дурные сны. Молодые же дамы, прочитав эти правдивые страницы, верно отдадут справедливость моим описаниям и замечаниям, вспомнив нечто подобное в своей жизни; но они, конечно, этого никому не скажут, тогда как многие молодые франты станут уверять, что такие приключения были с ними на днях, тогда как с большею частию из них ничего такого случиться даже не может. Все почти жалуются у нас на однообразие светской жизни, а забывают, что надо бегать за приключениями, чтоб они встретились; а для того, чтобы за ними гоняться, надо быть взволновану сильной страстью или иметь один из тех беспокойно-любопытных характеров, которые готовы сто раз пожертвовать жизнию, только бы достать ключ самой незамысловатой, по-видимому, загадки; но на дне одной есть уж, верно, другая, потому что все для нас в мире тайна, и тот, кто думает отгадать чужое сердце или знать все подробности жизни своего лучшего друга, горько ошибается. Во всяком сердце, во всякой жизни пробежало чувство, промелькнуло событие, которых никто никому не откроет, а они-то самые важные и есть, они-то обыкновенно дают тайное направление чувствам и поступкам.

В нашем равнодушном веке любопытных и страстных людей немного; но около десяти лет тому назад случился один такой чудак в Петербурге, и судьба, как нарочно, поставила его перед непонятной женщиной, которой историю я хочу вам рассказать.

Александру Сергеевичу Арбенину было тридцать лет — возраст силы и зрелости для мужчины, если только молодость его прошла не слишком бурливо и не слишком спокойно. Известно, что в природе противоположные причины часто производят одинакие

действия: лошадь равно падает на ноги от застоя и от излишней езды.

Вот какова была молодость Арбенина!

Начнем сначала.

Он родился в Москве. Скоро после появления его на этот свет его мать разъехалась с его отцом по неизвестным причинам. Сообразив все городские толки, можно было сделать только одно верное заключение, а именно, что Сергей Васильевич разъехался с своей супругой.

Саша остался на руках отца. Когда ему минуло год, его посадили с кормилицей и няней в карету и отвезли в симбирскую деревню. Сергей Васильевич вскоре сам туда приехал и поселился на житье. Деревня эта находилась на берегу Волги. От барского дома по скату горы до самой реки расстилался фруктовый сад. С балкона видны были дымящиеся села луговой стороны, синеющие степи и желтые нивы. Весной, во время разлива, река превращалась в море, усеянное лесистыми островами; по ней мелькали белые паруса барок, и вечером раздавались песни бурлаков. Барский дом был похож на все барские дома: деревянный, с мезонином, выкрашенный желтой краской, а двор обстроен был одноэтажными длинными флигелями, сараями, конюшнями и обведен валом, на котором качались и сохли жидкие ветлы; среди двора красовались качели; по воскресеньям дворня толпилась вокруг них, и порой две горничные садились на полусгнившую доску, висящую меж двух сомнительных веревок, и двое из самых любезных лакеев, взявшись каждый за конец толстого каната, взбрасывали скромную чету под облака; мальчишки били в ладони, когда пугливые девы начинали визжать, — и всем было очень весело. Надо заметить, что качели среди барского двора — признак отечески доброго правления, а между тем вот как хорошо судят о нас иностранцы: в путевых записках одного француза я недавно читал, что у нас против господского дома обыкновенно торчит виселица. Француз замечал остроумно, что это, должно быть, злоупотребление, ибо смертная казнь в России уничтожена. Бедные качели!..

Мужики Арбенина большею частью занимались рыбной ловлей. Во время бури жены и дочери рыбаков выбегали с плачем на берег; в жаркие летние дни толпы крестьянских девок купалось в студеных струях Волги; их русые косы мелькали над пенистой влагой; их громкий смех раздавался далеко. Зимой горничные девушки приходили шить и вязать в детскую, во-первых, потому что няне Саши было поручено женское хозяйство, а во-вторых, чтоб потешать маленького барчонка. Саше было с ними очень весело. Они его ласкали и целовали наперерыв, рассказывали ему сказки про волжских разбойников, и его воображение наполнялось чудесами дикой храбрости, и картинами мрачными, и понятиями противуобщественными. Он разлюбил игрушки и начал мечтать. Шести лет уже он заглядывался на закат, усеянный румяными облаками, и непонятно-сладостное чувство уж волновало его душу, когда полный месяц светил в окно на его детскую кроватку. Ему хотелось, чтоб кто-нибудь его приласкал, поцеловал, приголубил, но у старой няньки руки были такие жесткие! Отец им вовсе не занимался, хозяйничал и ездил на охоту. Саша был преизбалованный, пресвоевольный ребенок. Он семи лет умел уже прикрикнуть на непослушного лакея. Приняв гордый вид, он умел с презреньем улыбнуться на низкую лесть толстой ключницы. Между тем природная всем склонность к разрушению развивалась в нем необыкновенно. В саду он то и дело ломал кусты и срывал лучшие <цветы>, усыпая ими дорожки. Он с истинным удовольствием давил несчастную муху и радовался, когда брошенный им камень сбивал с ног бедную курицу. Бог знает какое направление принял бы его характер, если б не пришла на помощь корь, болезнь, опасная в его возрасте. Его спасли от смерти, но тяжелый недуг оставил его в совершенном расслаблении: он не мог ходить, не мог приподнять ложки. Целые три года оставался он в самом жалком положении; и если б он не получил от природы железного телосложения, то, верно бы, отправился на тот свет. Болезнь эта имела важные следствия и странное влияние на ум и характер Саши:

он выучился думать. Лишенный возможности развлекаться обыкновенными забавами детей, он начал искать их в самом себе. Воображение стало для него новой игрушкой. Недаром учат детей, что с огнем играть не должно. Но увы! никто и не подозревал в Саше этого скрытого огня, а между тем он обхватил все существо бедного ребенка. В продолжение мучительных бессонниц, задыхаясь между горячих подушек, он уже привыкал побеждать страданья тела, увлекаясь грезами души. Он воображал себя волжским разбойником, среди синих и студеных волн, в тени дремучих лесов, в шуме битв, в ночных наездах, при звуке песен, под свистом волжской бури. Вероятно, что раннее развитие умственных способностей немало помешало его выздоровлению.

⟨ОТРЫВОК: «У ГРАФА В... БЫЛ МУЗЫКАЛЬНЫЙ ВЕЧЕР»⟩

I

У графа В... был музыкальный вечер. Первые артисты столицы платили своим искусством за честь аристократического приема; в числе гостей мелькало несколько литераторов и ученых; две или три модные красавицы; несколько барышень и старушек и один гвардейский офицер. Около десятка доморощенных львов красовалось в дверях второй гостиной и у камина; все шло своим чередом; было ни скучно, ни весело.

В ту самую минуту как новоприезжая певица подходила к роялю и развертывала ноты... одна молодая женщина зевнула, встала и вышла в соседнюю комнату, на это время опустевшую. На ней было черное платье, кажется по случаю придворного траура. На плече, пришпиленный к голубому банту, сверкал бриллиантовый вензель; она была среднего роста, стройна, медленна и ленива в своих движениях; черные, длинные, чудесные волосы оттеняли ее еще молодое, правильное, но бледное лицо, и на этом лице сияла печать мысли.

— Здравствуйте, мсье Лугин, — сказала Минская кому-то, — я устала... скажите что-нибудь! — и она опустилась в широкое пате возле камина; тот, к кому

она обращалась, сел против нее и ничего не отвечал. В комнате их было только двое, и холодное молчание Лугина показывало ясно, что он не принадлежал к числу ее обожателей.

— Скучно, — сказала Минская и снова зевнула, — вы видите, я с вами не церемонюсь! — прибавила она.

— И у меня сплин! — отвечал Лугин.

— Вам опять хочется в Италию? — сказала она после некоторого молчания. — Не правда ли?

Лугин в свою очередь не слыхал вопроса; он продолжал, положив ногу на ногу и уставя глаза безотчетливо на беломраморные плечи своей собеседницы:

— Вообразите, какое со мной несчастие: что может быть хуже для человека, который, как я, посвятил себя живописи! — вот уже две недели, как все люди мне кажутся желтыми,— и одни только люди! добро бы все предметы; тогда была бы гармония в общем колорите; я бы думал, что гуляю в галерее испанской школы. Так нет! все остальное как и прежде; одни лица изменились; мне иногда кажется, что у людей вместо голов лимоны.

Минская улыбнулась.

— Призовите доктора, — сказала она.

— Доктора̀ не помогут — это сплин!

— Влюбитесь! (Во взгляде, который сопровождал это слово, выражалось что-то похожее на следующее: «Мне бы хотелось его немножко помучить!»)

— В кого?

— Хоть в меня!

— Нет! вам даже кокетничать со мною было бы скучно, — и потом, скажу вам откровенно, ни одна женщина не может меня любить.

— А эта, как бишь ее, итальянская графиня, которая последовала за вами из Неаполя в Милан?..

— Вот видите, — отвечал задумчиво Лугин, — я сужу других по себе и в этом отношении, уверен, не ошибаюсь. Мне точно случалось возбуждать в иных женщинах все признаки страсти, но так как я очень знаю, что в этом обязан только искусству и привычке кстати трогать некоторые струны человеческого сердца, то и не радуюсь своему счастию; я себя спрашивал,

могу ли я влюбиться в дурную? — вышло нет; я дурен — и следственно, женщина меня любить не может, это ясно; артистическое чувство развито в женщинах сильнее, чем в нас, они чаще и долее нас покорны первому впечатлению; если я умел подогреть в некоторых то, что называют капризом, то это стоило мне неимоверных трудов и жертв, но так как я знал поддельность чувства, внушенного мною, и благодарил за него только себя, то и сам не мог забыться до полной, безотчетной любви; к моей страсти примешивалось всегда немного злости; все это грустно — а правда!..

— Какой вздор! — сказала Минская, но, окинув его быстрым взглядом, она невольно с ним согласилась.

Наружность Лугина была в самом деле ничуть не привлекательна. Несмотря на то, что в странном выражении глаз его было много огня и остроумия, вы бы не встретили во всем его существе ни одного из тех условий, которые делают человека приятным в обществе; он был неловко и грубо сложен; говорил резко и отрывисто; больные и редкие волосы на висках, неровный цвет лица, признаки постоянного и тайного недуга, делали его на вид старее, чем он был в самом деле; он три года лечился в Италии от ипохондрии — и хотя не вылечился, но по крайней мере нашел средство развлекаться с пользой; он пристрастился к живописи; природный талант, сжатый обязанностями службы, развился в нем широко и свободно под животворным небом юга, при чудных памятниках древних учителей. Он вернулся истинным художником, хотя одни только друзья имели право наслаждаться его прекрасным талантом. В его картинах дышало всегда какое-то неясное, но тяжелое чувство: на них была печать той горькой поэзии, которую наш бедный век выжимал иногда из сердца ее первых проповедников.

Лугин уже два месяца как вернулся в Петербург. Он имел независимое состояние, мало родных и несколько старинных знакомств в высшем кругу столицы, где и хотел провести зиму. Он бывал часто у Минской: ее красота, редкий ум, оригинальный взгляд

на вещи должны были произвести впечатление на человека с умом и воображением. Но любви между ними не было и в помине.

Разговор их на время прекратился, и они оба, казалось, заслушались музыки. Заезжая певица пела балладу Шуберта на слова Гете: «Лесной царь». Когда она кончила, Лугин встал.

— Куда вы? — спросила Минская.

Прощайте.

— Еще рано.

Он опять сел.

— Знаете ли, — сказал он с какою-то важностию, — что я начинаю сходить с ума?

— Право?

— Кроме шуток. Вам это можно сказать, вы надо мною не будете смеяться. Вот уже несколько дней, как я слышу голос. Кто-то мне твердит на ухо с утра до вечера — и как вы думаете — что? — адрес: вот и теперь слышу: «В Столярном переулке, у Кокушкина моста, дом титюлярного советника Штосса, квартира номер двадцать семь». И так шибко, шибко — точно торопится... Несносно!..

Он побледнел. Но Минская этого не заметила.

— Вы, однако, не видите того, кто говорит? — спросила она рассеянно.

— Нет. Но голос звонкий, резкий, дишкант.

— Когда же это началось?

— Признаться ли? я не могу сказать наверное... не знаю... ведь это, право, презабавно! — сказал он, принужденно улыбаясь.

— У вас кровь приливает к голове и в ушах звенит.

— Нет, нет. Научите, как мне избавиться?

— Самое лучшее средство, — сказала Минская, подумав с минуту, — идти к Кокушкину мосту, отыскать этот номер, и так как, верно, в нем живет какой-нибудь сапожник или часовой мастер, то для приличия закажите ему работу и, возвратясь домой, ложитесь спать, потому что... вы в самом деле нездоровы!.. — прибавила она, взглянув на его встревоженное лицо с участием.

— Вы правы, — отвечал угрюмо Лугин, — я непременно пойду.

Он встал, взял шляпу и вышел.

Она посмотрела ему вослед с удивлением.

2

Сырое ноябрьское утро лежало над Петербургом. Мокрый снег падал хлопьями, дома казались грязны и темны, лица прохожих были зелены; извозчики на биржах дремали под рыжими полостями своих саней; мокрая длинная шерсть их бедных кляч завивалась барашком; туман придавал отдаленным предметам какой-то серо-лиловый цвет. По тротуарам лишь изредка хлопали калоши чиновника, да иногда раздавался шум и хохот в подземной полпивной лавочке, когда оттуда выталкивали пьяного молодца в зеленой фризовой шинели и клеенчатой фуражке. Разумеется, эти картины встретили бы вы только в глухих частях города, как, например... у Кокушкина моста. Через этот мост шел человек среднего роста, ни худой, ни толстый, не стройный, но с широкими плечами, в пальто, и вообще одетый со вкусом; жалко было видеть его лакированные сапоги, вымоченные снегом и грязью; но он, казалось, об этом нимало не заботился; засунув руки в карманы, повеся голову, он шел неровными шагами, как будто боялся достигнуть цель своего путешествия или не имел ее вовсе. На мосту он остановился, поднял голову и осмотрелся. То был Лугин. Следы душевной усталости виднелись на его измятом лице, в глазах горело тайное беспокойство.

— Где Столярный переулок? — спросил он нерешительным голосом у порожнего извозчика, который в эту минуту проезжал мимо его шагом, закрывшись по шею мохнатою полостию и насвистывая камаринскую.

Извозчик посмотрел на него, хлыстнул лошадь кончиком кнута и проехал мимо.

Ему это показалось странно. Уж полно, есть ли Столярный переулок? Он сошел с моста и обратился с тем же вопросом к мальчику, который бежал с полуштофом через улицу.

— Столярный? — сказал мальчик, — а вот идите прямо по Малой Мещанской, и тотчас направо, первый переулок и будет Столярный.

Лугин успокоился. Дойдя до угла, он повернул направо и увидал небольшой грязный переулок, в котором с каждой стороны было не больше десяти высоких домов. Он постучал в дверь первой мелочной лавочки и, вызвав лавочника, спросил: «Где дом Штосса?»

— Штосса? Не знаю, барин, здесь этаких нет; а вот здесь рядом есть дом купца Блинникова, а подальше...

— Да мне надо Штосса...

— Ну не знаю, — Штосса!! — сказал лавочник, почесав затылок, и потом прибавил: — Нет, не слыхать-с!

Лугин пошел сам смотреть надписи; что-то ему говорило, что он с первого взгляда узнает дом, хотя никогда его не видал. Так он добрался почти до конца переулка, и ни одна надпись ничем не поразила его воображения, как вдруг он кинул случайно глаза на противоположную сторону улицы и увидал над одними воротами жестяную доску вовсе без надписи.

Он подбежал к этим воротам — и сколько ни рассматривал, не заметил ничего похожего даже на следы стертой временем надписи; доска была совершенно новая.

Под воротами дворник в долгополом полинявшем кафтане, с седой, давно не бритой бородою, без шапки и подпоясанный грязным фартуком, разметал снег.

— Эй! дворник, — закричал Лугин.

Дворник что-то проворчал сквозь зубы.

— Чей это дом?

— Продан! — отвечал грубо дворник.

— Да чей он был?

— Чей? Кифейкина, купца.

— Не может быть, верно Штосса! — вскрикнул невольно Лугин.

— Нет, был Кифейкина, а теперь так Штосса! — отвечал дворник, не подымая головы.

У Лугина руки опустились.

Сердце его забилось, как будто предчувствуя несчастие. Должен ли он был продолжать свои исследо-

вания? не лучше ли вовремя остановиться? Кому не случалось находиться в таком положении, тот с трудом поймет его: любопытство, говорят, сгубило род человеческий, оно и поныне наша главная, первая страсть, так что даже все остальные страсти могут им объясниться. Но бывают случаи, когда таинственность предмета дает любопытству необычайную власть: покорные ему, подобно камню, сброшенному с горы сильною рукою, мы не можем остановиться, хотя видим нас ожидающую бездну.

Лугин долго стоял перед воротами. Наконец, обратился к дворнику с вопросом:

— Новый хозяин здесь живет?

— Нет.

— А где же?

— А черт его знает.

— Ты уж давно здесь дворником?

— Давно.

— А есть в этом доме жильцы?

— Есть.

— Скажи, пожалуйста, — сказал Лугин после некоторого молчания, сунув дворнику целковый, — кто живет в двадцать седьмом номере?

Дворник поставил метлу к воротам, взял целковый и пристально посмотрел на Лугина.

— В двадцать седьмом номере?.. да кому там жить! он уж бог знает сколько лет пустой.

— Разве его не нанимали?

— Как не нанимать, сударь, — нанимали.

— Как же ты говоришь, что в нем не живут!

— А бог их знает! так-таки не живут. Наймут на год, да и не переезжают.

— Ну, а кто его последний нанимал?

— Полковник, из анженеров, что ли!

— Отчего же он не жил?

— Да переехал было... а тут, говорят, его послали в Вятку — так номер пустой за ним и остался.

— А прежде полковника?

— Прежде его было нанял какой-то барон, из немцев, — да этот и не переезжал; слышно, умер.

— А прежде барона?

— Нанимал купец для какой-то своей... гм! да обанкрутился, так у нас и задаток остался...

«Странно!» — подумал Лугин.

— А можно посмотреть номер?

Дворник опять пристально взглянул на него.

— Как нельзя? можно! — отвечал он и пошел, переваливаясь, за ключами.

Он скоро возвратился и повел Лугина во второй этаж по широкой, но довольно грязной лестнице. Ключ заскрипел в заржавленном замке, и дверь отворилась; им в лицо пахнуло сыростью. Они взошли. Квартира состояла из четырех комнат и кухни. Старая пыльная мебель, некогда позолоченная, была правильно расставлена кругом стен, обтянутых обоями, на которых изображены были на зеленом грунте красные попугаи и золотые лиры; изразцовые печи кое-где порастрескались; сосновый пол, выкрашенный под паркет, в иных местах скрипел довольно подозрительно; в простенках висели овальные зеркала с рамками рококо; вообще комнаты имели какую-то странную несовременную наружность.

Они, не знаю почему, понравились Лугину.

— Я беру эту квартиру, — сказал он. — Вели вымыть окна и вытереть мебель... посмотри, сколько паутины! да надо хорошенько вытопить... — В эту минуту он заметил на стене последней комнаты поясной портрет, изображающий человека лет сорока в бухарском халате, с правильными чертами, большими серыми глазами; в правой руке он держал золотую табакерку необыкновенной величины. На пальцах красовалось множество разных перстней. Казалось, этот портрет писан несмелой ученической кистью, — платье, волосы, рука, перстни — все было очень плохо сделано; зато в выражении лица, особенно губ, дышала такая страшная жизнь, что нельзя было глаз оторвать: в линии рта был какой-то неуловимый изгиб, недоступный искусству и, конечно, начертанный бессознательно, придававший лицу выражение насмешливое, грустное, злое и ласковое попеременно. Не случалось ли вам на замороженном стекле или в зубчатой тени, случайно наброшенной на стену каким-нибудь предметом,

различать профиль человеческого лица, профиль, иногда невообразимой красоты, иногда непостижимо отвратительный? Попробуйте переложить их на бумагу! вам не удастся; попробуйте на стене обрисовать карандашом силуэт, вас так сильно поразивший, — и очарование исчезает; рука человека никогда с намерением не произведет этих линий; математически малое отступление — и прежнее выражение погибло невозвратно. В лице портрета дышало именно то *неизъяснимое*, возможное только гению или случаю.

«Странно, что я заметил этот портрет только в ту минуту, как сказал, что беру квартиру!» — подумал Лугин.

Он сел в кресла, опустил голову на руку и забылся.

Долго дворник стоял против него, помахивая ключами.

— Что ж, барин? — проговорил он, наконец.

— А!

— Как же? коли берете, так пожалуйте задаток.

Они условились в цене, Лугин дал задаток, послал к себе с приказанием сейчас же перевозиться, а сам просидел против портрета до вечера; в девять часов самые нужные вещи были перевезены из гостиницы, где жил до сей поры Лугин.

«Вздор, чтоб на этой квартире нельзя было жить, — думал Лугин. — Моим предшественникам, видно, не суждено было в нее перебраться — это, конечно, странно! Но я взял свои меры: переехал тотчас! Что ж? — ничего!»

До двенадцати часов он с своим старым камердинером Никитой расставлял вещи...

Надо прибавить, что он выбрал для своей спальни комнату, где висел портрет.

Перед тем чтоб лечь в постель, он подошел со свечой к портрету, желая еще раз на него взглянуть хорошенько, и прочитал внизу вместо имени живописца красными буквами: *Середа.*

— Какой нынче день? — спросил он Никиту.

— Понедельник, сударь...

— Послезавтра середа! — сказал рассеянно Лугин.

— Точно так-с!..

Бог знает почему Лугин на него рассердился.

— Пошел вон! — закричал он, топнув ногою.

Старый Никита покачал головою и вышел.

После этого Лугин лег в постель и заснул.

На другой день утром привезли остальные вещи и несколько начатых картин.

8

В числе недоконченных картин, большею частию маленьких, была одна размера довольно значительного; посреди холста, исчерченного углем, мелом и загрунтованного зелено-коричневой краской, эскиз женской головки остановил бы внимание знатока; но, несмотря на прелесть рисунка и на живопись колорита, она поражала неприятно чем-то неопределенным в выражении глаз и улыбки; видно было, что Лугин перерисовывал ее в других видах и не мог остаться довольным, потому что в разных углах холста являлась та же головка, замаранная коричневой краской. То не был портрет; может быть, подобно молодым поэтам, вздыхающим по небывалой красавице, он старался осуществить на холсте свой идеал — женщину-ангела; причуда, понятная в первой юности, но редкая в человеке, который сколько-нибудь испытал жизнь. Однако есть люди, у которых опытность ума не действует на сердце, и Лугин был из числа этих несчастных и поэтических созданий. Самый тонкий плут, самая опытная кокетка с трудом могли бы его провесть, а сам себя он ежедневно обманывал с простодушием ребенка. С некоторого времени его преследовала постоянная идея, мучительная и несносная, тем более что от нее страдало его самолюбие: он был далеко не красавец, это правда, однако в нем ничего не было отвратительного, и люди, знавшие его ум, талант и добродушие, находили даже выражение лица его довольно приятным; но он твердо убедился, что степень его безобразия исключает возможность любви, и стал смотреть на женщин как на природных своих врагов, подозревая в случайных их ласках побуждения посторонние и объясняя грубым и положи-

тельным образом самую явную их благосклонность. Не стану рассматривать, до какой степени он был прав, но дело в том, что подобное расположение души извиняет достаточно фантастическую любовь к воздушному идеалу, любовь самую невинную и вместе самую вредную для человека с воображением.

В этот день, который был вторник, ничего особенного с Лугиным не случилось: он до вечера просидел дома, хотя ему нужно было куда-то ехать. Непостижимая лень овладела всеми чувствами его; хотел рисовать — кисти выпадали из рук; пробовал читать — взоры его скользили над строками и читали совсем не то, что было написано; его бросало в жар и в холод; голова болела; звенело в ушах. Когда смерклось, он не велел подавать свеч и сел у окна, которое выходило на двор; на дворе было темно; у бедных соседей тускло светились окна; он долго сидел; вдруг на дворе заиграла шарманка; она играла какой-то старинный немецкий вальс; Лугин слушал, слушал — ему стало ужасно грустно. Он начал ходить по комнате; небывалое беспокойство им овладело; ему хотелось плакать, хотелось смеяться... он бросился на постель и заплакал; ему представилось все его прошедшее, он вспомнил, как часто бывал обманут, как часто делал зло именно тем, которых любил, какая дикая радость иногда разливалась по его сердцу, когда видел слезы, вызванные им из глаз, ныне закрытых навеки, и он с ужасом заметил и признался, что он недостоин был любви безотчетной и истинной, и ему стало так больно! так тяжело!

Около полуночи он успокоился, сел к столу, зажег свечу, взял лист бумаги и стал что-то чертить; все было тихо вокруг. Свеча горела ярко и спокойно; он рисовал голову старика, и когда кончил, то его поразило сходство этой головы с кем-то знакомым! Он поднял глаза на портрет, висевший против него, — сходство было разительное; он невольно вздрогнул и обернулся; ему показалось, что дверь, ведущая в пустую гостиную, заскрипела; глаза его не могли оторваться от двери.

— Кто там? — вскрикнул он.

За дверьми послышался шорох, как будто хлопали туфли; известка посыпалась с печи на пол.

— Кто это? — повторил он слабым голосом.

В эту минуту обе половинки двери тихо, беззвучно стали отворяться; холодное дыхание повеяло в комнату; дверь отворялась сама; в той комнате было темно, как в погребе.

Когда дверь отворилась настежь, в ней показалась фигура в полосатом халате и туфлях: то был седой сгорбленный старичок; он медленно подвигался, приседая; лицо его, бледное и длинное, было неподвижно; губы сжаты; серые, мутные глаза, обведенные красной каймою, смотрели прямо без цели.

И вот он сел у стола против Лугина, вынул из-за пазухи две колоды карт, положил одну против Лугина, другую перед собой и улыбнулся.

— Что вам надобно? — сказал Лугин с храбростью отчаяния. Его кулаки судорожно сжимались, и он был готов пустить шандалом в незваного гостя.

Под халатом вздохнуло.

— Это несносно! — сказал Лугин задыхающимся голосом. Его мысли мешались.

Старичок зашевелился на стуле; вся его фигура изменялась ежеминутно, он делался то выше, то толще, то почти совсем съеживался; наконец, принял прежний вид.

«Хорошо, — подумал Лугин, — если это привидение, то я ему не поддамся».

— Не угодно ли я вам промечу штосс? — сказал старичок.

Лугин взял перед ним лежавшую колоду карт и отвечал насмешливым тоном:

— А на что же мы будем играть? я вас предваряю, что душу свою на карту не поставлю! (Он думал этим озадачить привидение...) А если хотите, — продолжал он, — я поставлю клюнгер; не думаю, чтоб водились в вашем воздушном банке.

Старичка эта шутка нимало не сконфузила.

— У меня в банке вот это! — отвечал он, протянув руку.

— Это? — сказал Лугин, испугавшись и кинув глаза налево, — что это?

Возле него колыхалось что-то белое, неясное и прозрачное. Он с отвращением отвернулся.

— Мечите! — потом сказал он, оправившись, и, вынув из кармана клюнгер, положил его на карту. — Идет, темная.

Старичок поклонился, стасовал карты, срезал и стал метать. Лугин поставил семерку бубен, и она с оника была убита; старичок протянул руку и взял золотой.

— Еще талью! — сказал с досадою Лугин.

Оно покачало головою.

— Что же это значит?

— В середу, — сказал старичок.

— А! в середу! — вскрикнул в бешенстве Лугин, — так нет же! не хочу в середу! завтра или никогда! слышишь ли?

Глаза странного гостя пронзительно засверкали, и он опять беспокойно зашевелился.

— Хорошо, — наконец, сказал он, встал, поклонился и вышел, приседая. Дверь опять тихо за ним затворилась; в соседней комнате опять захлопали туфли... и мало-помалу все утихло. У Лугина кровь стучала в голове молотком; странное чувство волновало и грызло его душу. Ему было досадно, обидно, что он проиграл!..

«Однако ж я не поддался ему! — говорил он, стараясь себя утешить, — переупрямил. В середу! как бы не так! что я за сумасшедший! Это хорошо, очень хорошо!.. он у меня не отделается. А как похож на этот портрет!.. ужасно, ужасно похож! а! теперь я понимаю!..»

На этом слове он заснул в креслах. На другой день поутру никому о случившемся не говорил, просидел целый день дома и с лихорадочным нетерпением дожидался вечера.

«Однако я не посмотрел хорошенько на то, что у него в банке! — думал он — верно, что-нибудь необыкновенное!»

Когда наступила полночь, он встал с своих кресел, вышел в соседнюю комнату, запер на ключ дверь, ведущую в переднюю, и возвратился на свое место; он недолго дожидался; опять раздался шорох, хлопанье туфелей, кашель старика, и в дверях показалась его мертвая фигура. За ним подвигалась другая, но до того туманная, что Лугин не мог рассмотреть ее формы.

Старичок сел, как накануне положил на стол две колоды карт, срезал одну и приготовился метать, повидимому не ожидая от Лугина никакого сопротивления; в его глазах блистала необыкновенная уверенность, как будто они читали в будущем. Лугин, остолбеневший совершенно под магнетическим влиянием его серых глаз, уже бросил было на стол два полуимпериала, как вдруг он опомнился.

— Позвольте, — сказал он, накрыв рукою свою колоду.

Старичок сидел неподвижен.

— Что бишь я хотел сказать! позвольте, — да!

Лугин запутался.

Наконец, сделав усилие, он медленно проговорил:

— Хорошо... я с вами буду играть, я принимаю вызов, я не боюсь, только с условием: я должен знать, с кем играю! как ваша фамилия?

Старичок улыбнулся.

— Я иначе не играю, — проговорил Лугин, меж тем дрожащая рука его вытаскивала из колоды очередную карту.

— Что-с? — проговорил неизвестный, насмешливо улыбаясь.

— Штос? кто? — У Лугина руки опустились: он испугался.

В эту минуту он почувствовал возле себя чье-то свежее ароматическое дыханье, и слабый шорох, и вздох невольный, и легкое огненное прикосновенье. Странный, сладкий и вместе болезненный трепет пробежал по его жилам. Он на мгновенье обернул голову и тотчас опять устремил взор на карты: но этого минутного взгляда было бы довольно, чтоб заставить его проиграть душу. То было чудное и божественное ви-

денье: склонясь над его плечом, сияла женская головка; ее уста умоляли, в ее глазах была тоска невыразимая... она отделялась на темных стенах комнаты, как утренняя звезда на туманном востоке. Никогда жизнь не производила ничего столь воздушно-неземного, никогда смерть не уносила из мира ничего столь полного пламенной жизни: то не было существо земное — то были краски и свет вместо форм и тела, теплое дыхание вместо крови, мысль вместо чувства; то не был также пустой и ложный призрак... потому что в неясных чертах дышала страсть бурная и жадная, желание, грусть, любовь, страх, надежда, — то была одна из тех чудных красавиц, которых рисует нам молодое воображение, перед которыми в волнении пламенных грез стоим на коленях, и плачем, и молим, и радуемся бог знает чему, — одно из тех божественных созданий молодой души, когда она в избытке сил творит для себя новую природу, лучше и полнее той, к которой она прикована.

В эту минуту Лугин не мог объяснить того, что с ним сделалось, но с этой минуты он решился играть, пока не выиграет: эта цель сделалась целью его жизни, — он был этому очень рад.

Старичок стал метать: карта Лугина была убита. Бледная рука опять потащила по столу два полуимпериала.

— Завтра, — сказал Лугин.

Старичок вздохнул тяжело, но кивнул головой в знак согласия и вышел, как накануне.

Всякую ночь в продолжение месяца эта сцена повторялась: всякую ночь Лугин проигрывал; но ему не было жаль денег, он был уверен, что, наконец, хоть одна карта будет дана, и потому всё удваивал куши; он был в сильном проигрыше, но зато каждую ночь на минуту встречал взгляд и улыбку, за которые он готов был отдать все на свете. Он похудел и пожелтел ужасно. Целые дни просиживал дома, запершись в кабинете; часто не обедал. Он ожидал вечера, как любовник свиданья, и каждый вечер был награжден взглядом более нежным, улыбкой более приветливой; *она* — не знаю как назвать ее? — она, казалось,

принимала трепетное участие в игре; казалось, она ждала с нетерпением минуты, когда освободится от ига несносного старика; и всякий раз, когда карта Лугина была убита, и он с грустным взором оборачивался к ней, на него смотрели эти страстные, глубокие глаза, которые, казалось, говорили: «Смелее, не упадай духом, подожди, я буду твоя, во что бы то ни стало! я тебя люблю»... и жестокая, молчаливая печаль покрывала своей тенью ее изменчивые черты. И всякий вечер, когда они расставались, у Лугина болезненно сжималось сердце — отчаянием и бешенством. Он уже продавал вещи, чтоб поддерживать игру; он видел, что невдалеке та минута, когда ему нечего будет поставить на карту. Надо было на что-нибудь решиться. Он решился.

ПРИЛОЖЕНИЯ

ЗАМЕТКИ. ПЛАНЫ. СЮЖЕТЫ

№ 1

1830. Замечание. Когда я начал марать стихи в 1828 году [в пансионе], я как бы по инстинкту переписывал и прибирал их, они еще теперь у меня. Ныне я прочел в жизни Байрона, что он делал то же, — это сходство меня поразило!

№ 2

Музыка моего сердца была совсем расстроена нынче. Ни одного звука не мог я извлечь из скрыпки, из фортепьяно, чтоб они не возмутили моего слуха.

№ 3

Сюжет трагедии. Отец с дочерью, ожидают сына, военного, который [недавно женился, с женою] приедет в отпуск. Отец разбойничает в своей деревне, и дочь самая злая убийца. Сын хочет сюрприз сделать отцу и [под другим именем], прежде нежели писал, отправляется. Приехав, недалеко от деревни становится [у мужика на постоялом дворе с женою] в трактире [ночевать]. Он находит здесь любезную свою с матерью. Они просят, чтоб он ночевал, ибо боятся разбойников. Он соглашается. Вдруг разбойники ночью приезжают. Он защищается и отрубает руку у одного. [Всех убивают и жену утаскивают. Он в отчаянье идет

броситься к отцу, чтоб тот дал ему помощь, ибо дом не так далеко.] Его запирают в его комнате. Когда все утихло, он вырывается. Уходит и приносит труп своей любезной, клянется отомстить ее. Для этого спешит к отцу, чтоб там найти помощь.

Ночь у отца. Дочь примеривает платья убитых несколько дней тому назад; люди прибирают мертвые тела. Прибегает вскоре сын, сказывает о себе, его впускают. Он рассказывает сестре свое несчастие — вдруг отец — он без руки... Сын к нему — и видит — в отчаянии убегает. Смятение в дому. Меж тем полиция узнала не о сем, но о другом недавнем злодеянии и приходит; сын сам объявляет об отце: вбегает с *ними.* Полиция. Отца схватывают и уводят. Сын застреливается. Тут вбегает служитель старый сына, добрый, хочет [сказать ему о смерти печальной супруги] его увидеть [но не замечает и рассказывает сестре, что он...] и видит его мертвого.

№ 4

Сюжет трагедии. В Америке (дикие, угнетенные испанцами. Из романа французского Аттала).

№ 5

Прежде от матерей и отцов продавали дочерей казакам на ярмарках, как негров: это в трагедии поместить.

№ 6

Сюжет трагедии. Молодой человек в России, который не дворянского происхождения, отвергаем обществом, любовью, унижаем начальниками (он был из поповичей или из мещан, учился в университете и вояжировал на казенный счет). Он застреливается.

№ 7

Сюжет. 1) В Испании [Парме] у матери дочь увез в дурной дом обманщик, хотя служащий при инквизиции, который хочет после обмануть и другую сестру. Любовник первой, за которого не хотели отдать, ибо

у него нет многих благородных предков, узнаёт происшествие, когда сидит с друзьями. Он спасает жида от инквизиции прежде. Жид и говорит, что ее увезли. Он клянется живую или мертвую — привезти ее. Жид ему помогает ее найти. Он находит — ему злодей не отдает. Он ее убивает и уносит. Злодей не мешает, ибо сам боится, чтоб не узнали похищения. Злодей идет к матери. Приносит тот свою любезную мертвую. Его схватывают, спрашивают, полиция. Входит злодей. Обвиняемый бросается к нему на шею, целует и кинжалом колет в сердце. Его ведут казнить.

2) Когда испанец вынимает портрет своей любезной, жидовка отвращается, и он говорит: «Вот что значит женщина, она не может видеть лица, которое не уступает ей в красоте». После он, видя, что она огорчилась, тут же спрашивает: что он должен дать ей, чего она хочет? Она говорит: «Чего я хочу, того ты не можешь мне дать!» — и уходит. Он: «Она только желает, и молчит; а как многие требуют невозможного от нас!..» (Во второй сцене у жида, дейст. IV.)

3) В первом действии моей трагедии молодой испанец говорит отцу любовницы своей, что благородные для того не сближаются с простым народом, что боятся, дабы не увидали, что они еще хуже его.

(В том же действии испанец говорит: «Что такое золото, которое мое может сделать счастье, ибо без него не могу обладать моей любезной? — Металл как другой. Верно, бог не дал ему этого преимущества, коего многие люди не имеют?»)

4) Действующие лица: дон Алварец — отец. Немного бедный, но гордый дворянин, и добрый. Донна Мария — мачеха Эмилии — причудливая, капризная, глупая женщина. Эмилия — дочь [не от Марии] Алвареца. Любит и любима Фернандом. Фернандо — молодой испанец, воспитанный в доме Алвареца. Патер Соррини — итальянец. Хитрый, богатый иезуит. Моисей — жид. Ноэми — дочь его. Испанцы праздношатающиеся. Жиды и жидовки. Слуги. (Действие в Кастилии.)

5) В первом действии так начинается: мачеха с Эмилией идут в церковь: Фернандо тут. Эмилия из-под мантильи роняет записку, где она говорит, что если Алварец ему что-нибудь станет говорить, то чтоб он не горячился. Тут приходит Алварец и говорит ему, что хотя прежде он обещал за него выдать дочь, но теперь не может, ибо имеет другие виды, а Фернандо побочный сын [небогат] и проч<ее>.

№ 8

Записка 1830 года, 8 июля. Ночь. Кто мне поверит, что я знал уже любовь, имея десять лет от роду?

Мы были большим семейством на водах Кавказских: бабушка, тетушки, кузины. К моим кузинам приходила одна дама с дочерью, девочкой лет девяти. Я ее видел там. Я не помню, хороша собою была она или нет. Но ее образ и теперь еще хранится в голове моей; он мне любезен, сам не знаю почему. Один раз, я помню, я вбежал в комнату; она была тут и играла с кузиною в куклы: мое сердце затрепетало, ноги подкосились. Я тогда ни об чем еще не имел понятия, тем не менее это была страсть, сильная, хотя ребяческая: это была истинная любовь: с тех пор я еще не любил так. О! сия минута первого беспокойства страстей до могилы будет терзать мой ум! И так рано!.. Надо мной смеялись и дразнили, ибо примечали волнение в лице. Я плакал потихоньку без причины, желал ее видеть; а когда она приходила, я не хотел или стыдился войти в комнату. Я [боялся] не хотел говорить об ней и убегал, слыша ее названье (теперь я забыл его), как бы страшась, чтоб биение сердца и дрожащий голос не объяснил другим тайну, непонятную для меня самого. Я не знаю, кто была она, откуда, и поныне, мне неловко как-то спросить об этом: может быть, спросят и меня, как я помню, когда они позабыли; или тогда эти люди, внимая мой рассказ, подумают, что я брежу; не поверят ее существованью — это было бы мне больно!.. Белокурые волосы, голубые глаза, быстрые, непринужденность — нет; с тех пор я ничего подобного не видал или это мне кажется, по-

тому что я никогда так не любил, как в тот раз. Горы Кавказские для меня священны... И так рано! в десять лет! о, эта загадка, этот потерянный рай до могилы будут терзать мой ум!.. иногда мне странно, и я готов смеяться над этой страстию! Но чаще — плакать [1].

№ 9

(1830.) Когда я был трех лет, то была песня, от которой я плакал: ее не могу теперь вспомнить, но уверен, что если б услыхал ее, она бы произвела прежнее действие. Ее певала мне покойная мать.

№ 10

1830. Я помню один сон; когда я был еще восьми лет, он сильно подействовал на мою душу. В те же лета я один раз ехал в грозу куда-то; и помню облако, которое, небольшое, как бы оторванный клочок черного плаща, быстро неслось по небу: это так живо передо мною, как будто вижу.

Когда я еще мал был, я любил смотреть на луну, на разновидные облака, которые в виде рыцарей с шлемами теснились будто вокруг нее: будто рыцари, сопровождающие Армиду в ее замок, полные ревности и беспокойства.

NB. В первом действии моей трагедии Фернандо, говоря с любезной под балконом, говорит про луну и употребляет предыдущее сравнение.

№ 11

1830. (Мне пятнадцать лет.) Я однажды (три года назад) украл у одной девушки, которой было семнадцать лет, и потому безнадежно любимой мною, бисерный синий снурок: он и теперь у меня хранится.

Кто хочет узнать имя девушки, пускай спросит у двоюродной сестры моей. Как я был глуп!..

---

[1] Говорят (Байрон), что ранняя страсть означает душу, которая будет любить изящные искусства. Я думаю, что в такой душе много музыки. *(Прим. М. Ю. Лермонтова.)*

№ 12

(1830.) Наша литература так бедна, что я из нее ничего не могу заимствовать; в пятнадцать же лет ум не так быстро принимает впечатления, как в детстве; но тогда я почти ничего не читал. Однако же, если захочу вдаться в поэзию народную, то, верно, нигде больше не буду ее искать, как в русских песнях. Как жалко, что у меня была мамушкой немка, а не русская — я не слыхал сказок народных: в них, верно, больше поэзии, чем во всей французской словесности.

№ 13

Мое завещание (про дерево, где я сидел с А. С.). Схороните меня под этим сухим деревом, чтобы два образа смерти предстояли глазам вашим; я любил под ним и слышал волшебное слово «люблю», которое потрясло судорожным движением каждую жилу моего сердца; в то время это дерево, еще цветущее, при свежем ветре покачало головою и шепотом молвило: «Безумец, что ты делаешь?» Время постигло мрачного свидетеля радостей человеческих прежде меня. Я не плакал, ибо слезы есть принадлежность тех, у которых есть надежды; но тогда же взял бумагу и сделал следующее завещание: «Похороните мои кости под этой сухою яблоней; положите камень; и — пускай на нем ничего не будет написано, если одного имени моего не довольно будет доставить ему бессмертие!»

№ 14

Эпитафия плодовитого писаки. Здесь покоится человек, который [не мог видеть] никогда не видал перед собою белой бумаги.

№ 15

(1830.) Еще сходство в жизни моей с *лордом* Байроном. [Ему] Его матери в Шотландии предсказала старуха, что он будет *великий человек* и будет два

раза *женат*; [мне] про меня на Кавказе предсказала *то же самое* [повивальная] старуха моей бабушке. Дай бог, чтоб и надо мной сбылось; хотя б я был так же несчастлив, как Байрон.

№ 16

Я читаю «Новую Элоизу». Признаюсь, я ожидал больше гения, больше познания природы и истины. Ума слишком много; идеалы — что в них? Они прекрасны, чудесны; но несчастные софизмы, одетые [красноречивыми] блестящими выражениями, не мешают видеть, что они всё идеалы. Вертер лучше; там человек — более человек; у Жан-Жака даже пороки не таковы, какие они есть. У него герои насильно хотят уверить читателя в своем великодушии, — но красноречие удивительное. И после всего я скажу, что хорошо, что у Руссо, а не у другого родилась мысль написать «Новую Элоизу».

№ 17

(Написать записки молодого монаха семнадцати лет. С детства он в монастыре; кроме священных книг не читал. Страстная душа томится. Идеалы...)

№ 18

Написать шутливую поэму, приключения богатыря.

№ 19

Memor: перевесть в прозе: «The Dream» of Lord Byron. Pour miss Alexandrin [1].

№ 20

Memor: написать трагедию: *Марий, из Плутарха.*

1) *дейст<вие>*. Его жизнь в Риме во время его конс<ульства> и изгнание Силлою.

---

[1] «Сон» лорда Байрона (*англ.*). Для мисс Александрины (*франц.*).

2) Когда Марий в изгнании бродит, и взят, и Цибрский невольник не смеет убить его.

3) Сын Мария при дворе сатрапа освобождаем невольницею, и Марий в Карфагене.

4) Цинна в Риме, пришествие Мария, тиранства, убийства и проч. (между прочим: Антония, оратора, убили).

5) Марий предчувствует гибель. Он умирает. Сластолюбивый сын его тиранствует, но, угрожаем Силлою, бежит из Рима и в Пренесте убивает себя.

Сыну Мария перед смертью в 5-м действии является тень его отца и повелевает умереть, ибо род их должен ими кончиться.

№ 21

Memor: прибавить к «Странному человеку» еще сцену, в которой читают историю его детства, которая нечаянно попалась Белинскому.

№ 22

При дворе князя Владимира был один молодой витязь, варяг, прекрасный, умный, но честолюбивый и гордый; пылкость его была во всем; он много наслаждался, и все начинало ему надоедать; говорили, что он не христианин и что волшебная сила над ним владеет; [но [это] первое неправда, ибо хотя он редко являлся в церковь, но носил чугунный крест на груди своей]. Однажды ночью он стоял на часах у дворца; при свете лампады; вдруг является тень девы и зовет его жалобно, умоляя спасти ее; он следует за нею; выходит из ворот; она исчезла, взяв от него клятву, что он спасет ее, и сказав, что она под властью чародея. На другой день витязь [уходит] уезжает, ни с кем не простившись, ибо он был сирота; едет витязь степью, лесом и горами; и видит крест на холме; и несколько пещер, и слышит звон; подъезжает и видит: один *инок* звонит, читает молитву, а двое копают могилу; тут на траве лежит мертвая женщина, прекрасная и бледная.

Он взглянул, и сердце его забилось; он не заплакал, но чувство, полное муки и тайного удовольствия, пролилось по его сердцу; он любит мертвую? — нет, это одно расстройство воображения. Витязь удаляется; подъезжает к реке; и вечером засыпает при свете молодого месяца и при песне лебедя; видит страшный сон. Поутру его будит поцелуй; дева, которая манила его, стоит перед ним и ведет в свой хрустальный чертог; там все полно неги, но витязь не любит ее; мысли его летят к умершей, сердце ноет, и он должен подавлять его. Дева рассказывает ему свою повесть, как царь Стамфул превратил ее в лебедя и как она посредством старухи избегнула его любви; он уходит от нее, чтоб достать [белую] цветок жизни в зàмке Стамфула, который за [морем] рекой великой; он пускает коня и садится в лодку; пловец этот ему рассказывает свою повесть и за что он осужден [он убил паломника] всегда ездить и не может вылезть. Переехав речку, витязь видит два ворона, которые всё вокруг него летают; «Что? ужели вы мне предвещаете смерть?» — сказал он им. «Нет, витязь, — говорит один ворон, — я хочу тебе помочь, я тебя проведу куда надо». Витязь идет за вороном и спрашивает, отчего он говорит как человек; ворон рассказывает ему, что их два брата было, и за что Стамфул превратил их в воронов, он рассказывает, как достать цветок жизни; они подходят к древнему замку; ворота отперты; все пусто; ворон просил витязя ничего, кроме цветка, не трогать; витязь взял в садах цветок и, возвращаясь, видит [щит] меч золотой на воротах, и едва прикоснулся, как раздался шум и звон; он выходит из замка быстро, стрела летит за ним и поражает ворона; витязь оборачивается; Стамфул на него несется; последний принимает разные виды, наконец сражен. Витязь бросает его тело в море, ибо замок на берегу моря; и видит мертвого ворона, а над ним другой умер. Витязь примечает, что его преследует что-то свыше. Он помнит умершую деву и чувствует, что любит ее. На дороге он видит издали пыль, и крик, и звон мечей, подходит, и что же? — горсть воинов обороняются против толпы врагов; он бросается

в бой и освобождает их; они ведут его к своему царю; царь угощает витязя, но сам печален и рассказывает, что у него была одна дочь, но что умерла на семнадцатом году, и что когда ее похоронили, то рассказывают, что три чернеца с крестами унесли ее тело бог весть куда; царь показывает витязю портрет дочери своей, говоря, что ей было предсказано паломником, за то, что она его напоила и накормила, что она выйдет замуж за такого-то витязя; наш витязь слышит свое имя и трепещет, но когда увидал портрет, то упал без чувств, ибо узнал умершую деву, которую любил; он тотчас удаляется из дворца, взяв лошадь только; не берет проводников, хотя гроза свирепствует на дворе — род бешенства или сумасшествия обладает им. Наконец, он приезжает к берегам речки, где лебедь, и бросает ему цветок жизни; лебедь тотчас делается девицей, она выходит из воды; он отвергает ее ласки, говоря, что не любит ее; она просит один поцелуй прощанья, и только что поцеловала, как исчезает с хохотом и визгом; прекрасное местоположение переменилось в дикое, розовые кусты, река исчезли. Овраг или пропасть, скалы одни остались, и вихорь едва не увлек туда героя; луна встала; витязь сидит на берегу пропасти. Вдруг на облаке является ему старец; и говорит, что он его отец; что он был язычник и оттого долго мучился, но теперь бог ему простил, и что злой дух преследует витязя, ибо он язычник. Витязь обещает креститься; а отец его дает ему крест и говорит, что он чудотворный; он едет к известной могиле; роет; и вдруг видит не гроб, но широкое подземелье; и дева при блеске свечей спит на подушке; она спит, ибо дышит; он выносит ее оттуда в исступлении любви; кладет на лошадь и скачет в Киев; приезжает туда вечером и приносит ее в церковь, где народ слушал вечерню; прикладывает крест к ее груди, и она оживает; и падает в ее объятья; их венчают; [и он крестится] но он позабыл креститься; когда кончился обряд и он выходил из церкви, чей-то голос ему напомнил вдруг об этом, говоря: «Ты не будешь счастлив!» На другой день свадьбы она умерла; он скрылся.

№ 23

Написать поэму «Ангел смерти». Ангел смерти при смерти девы влетает в се тело из сожаления к любезному и раскаивается, ибо это был человек мрачный и кровожадный, начальник греков. Он ранен в сражении и должен умереть; ангел уже не ангел, а только дева, и его поцелуй не облегчает смерти юноши, как бывало прежде. Ангел покидает тело девы, но с тех пор его поцелуи мучительны умирающим.

№ 24

Memor: написать длинную сатирическую поэму: приключения Демона.

№ 25

2-го декабря: св. Варвары. Вечером возвратясь. Вчера еще я дивился продолжительности моего счастья!

Кто бы подумал, взглянув на нее, что она может быть причиною страданья?

№ 26

(Ecrire une tragédie Néron [1].)

№ 27

Имя героя Мстислав — [Всеволод] Черный прозвание от его задумчивости — его сестра — Ольга. Мстислав три ночи молится на кургане, чтоб не погибло любезное имя Россия. Поместить песню: печальную, о любви или *Что за пыль пылит*; Ольга молодая, невинная, ангел — поет ее; входит брат ее — после паломник. Все сначала укоряют Мстислава в равнодушии к бедствиям родины, ибо он молчит. [Каким образом умирает Мстислав. Он израненный лежит в хижине, хозяйка-крестьянка баюкает ребенка песнью: *Что за пыль пылит...* Входит муж ее израненный.] Юный князь Василий утонул в крови во время битвы.

---

[1] Написать трагедию: Нерон (*франц.*).

№ 28

Сюжет 1.—1. Молодежь, разговаривают о том, что татары приедут толпой, и всё берут: никто не смеет и слова сказать; зарево видно, иные говорят, что лучше предаваться татарам, чем умирать, и тому подобное; Мстислав вскакивает и уходит; он все сначала молчал; он кажется равнодушен к бедствиям отечества, и его порицают за это.

2. Паломник у Ольги; он рассказ<ывает> про Ерус<алим>, путешествия и разрушенный Киев; Мстислав ходит; и, слыша рассказы о прежней вольности, ему приходит в голову мысль освободить родину от татар; Ольге один богатый татарин дал подарки; ее мать позволила; он ей нравится.

2. — 3. В городе; послы татарские; пир у князя, унижение князя; один посол за то, что русский не низко поклонился, велит его казнить; Мстислав убивает посла и скрывается.

4. Татарин любит Ольгу; мать не против, он обольщает ее. Это длинная сцена. Между тем множество заговорщиков разговаривают о возмущении против татар; они ищут начальника; и выбор падет на Мстислава; они идут искать его.

3. — 5. Мстислав на кургане; три ночи он молился; проходит паломник; и узнает его; Мстислав спрашивает его о сестре; паломник говорит, что про сестру его носятся дурные слухи, будто она в связи с мурзой татарским, это еще более воспламеняет его. Приходят заговорщики, избирают его начальником; он клянется им. Они хотят напасть на стан татар, кои приближались опять, чтобы грабить; и надеялись, что Россия последует их примеру.

6. Мстислав возвращается домой; печален, озабочен, угрюм. Сцена, где видна его любовь к сестре; он ее спрашивает, любит ли его одного; она смущается; он приготовливает ее к тому, что сам, может быть, погибнет; и спрашивает, готова ли она все пожертвовать для отечества; потом как будто все знал, но чтобы испытать, правда ли, вдруг [спрашивает] говорит: «Ты

любишь татарина!» Она ему признается в испуге; он мрачен; но выносит этот удар; говорит ей сильно, какая она преступница, и заставляет ее согласиться, что на будущую ночь она его пригласит, и тогда его убьют; это будет сигнал кровопролития; однако после этой вести, узнав позор сестры своей, Мстислав предчувствует ужасное, однако не теряет духа.

4. — 7. Ольга колеблется между отечеством и любовником; однако придумывает; в свидании умоляет, чтоб он не приходил сам к ней, ибо его жизнь в опасности; мурза допытывается и догадывается, что есть заговор; она бежит с мурзой, боясь братнина гнева

8. Мстислав проходит мимо деревни; одна женщина поет, баюкая ребенка *(Что за пыль... Злы татаровья),* — он радуется тому, что эта песня вдохнет ребенку ненависть против татар; и что если он погибнет, то останется еще мститель за отечество; он идет в назначенное место, где все собрались; однако он удивляется тому, что мурза не пришел.

5. — 9. Стан татар; сонный; стражи пьют русское вино и засыпают, разговаривая о красоте девушки, которая досталась мурзе; приходят русские и убивают сонных; Мстислав считает удары; он входит в палатку мурзы; и выносит оттуда деву, говоря, что как всех соглашено убить, то ее жалко; вдруг узнает, что это его сестра; она спит и бредит; и просыпается; вскрикивает; узнает его; упадает; он думает, что она умерла; склоняется над ней; между тем крик разбудил нескольких татар, кои еще не могут опомниться; «Боже, — говорит Мстислав, — зачем одно чувство любви должно погубить мое отечество! — как я ее любил, как она прекрасна!» Выбегает мурза; он его убивает; начинается битва, русских перерезали.

10. День. Мстислав раненый под деревом; старый воин приходит; он спрашивает, все ли убиты, и узнает, что все, что татары взяли то же утро город и разграбили; проходят несколько мужчин и женщин, которые хотят скрыться в лесах, с воем отчаяния указывая на зарево; Мстислав спрашивает, не видал ли он женщины в стане, может быть она не умерла; тот его не понимает; Мстислав умирает; и просит, чтоб над ним

поставили крест. И чтоб рассказал его дела какому-нибудь певцу; чтоб этой песнью возбудить жар любви к родине в душе потомков.

№ 29

Программа.
Его история.
[Что про него сказал один.]
Его любовь к отцу.
Приезд архиерея.
Что про него сказал архиерей.
История одного монаха.
Весна.
Любовь к неизвестной.
Зеркало.
Колокольчик. Родители.
Несправедливости.
[Пьянство.] Пострижение.
[Последняя игра.]
Убийство: один хотел быть игуменом и для того убил другого и посадил его так, будто он сам себя убил.
[Родители приезжают.]
Последняя любовь.
Разочарование.
Болезнь.

№ 30

Племя на Кавказе.
Герой — пророк.

№ 31

[Монах впоследствии сидит у окна. Подходит старый нищий и девушка. Он узнает отца и сестру. Хочет броситься — но ост<анавливается> — и закрывает окно в отчаянье. Он украл денег; и на другой день ищет их, но нигде не находит; потом, не зная, что с ними делать, зовет товарища-слугу в кабак и пропивает их; так узнали, что он украл; и он посажен в тюрьму.]

№ 32

Он угрожает ей гибелью отца, и она обещается завтра прислать к нему свою рабу. Она заражается чумой; он приходит, проводит ночь и умирает в ее объятьях в саду.

№ 33

Демон. Сюжет. Во время пленения евреев в Вавилоне (из библии). Еврейка; отец слепой; он в первый раз видит ее спящую. Потом она поет отцу про старину и про близость ангела; *и проч <ее>, как прежде.* Евреи возвращаются на родину — ее могила остается на чужбине.

№ 34

Алекс<андр>. У него любовница, которую он взял из жалости; он был знаком в Москве в одном знатном доме и любим дочерью; говорят, что у нее миллионы. Здесь его принимают худо, она ничего прежнего не хочет помнить. А в высшем кругу его не принимают. Граф за ней волочится и хочет жениться. Этот граф всегда был на дороге Алекс<андра>. Александр хочет заставить его отказаться; тот над ним смеется. Потом Алекса́ндр клевещет на него ей; но графы приезжают, и они над Александром трунят.

Александр дома с любовницей, хочет денег; но у нее, кроме любви, ничего нет. Он ее не любит и ту не любит, а хочет денег. Входит ростовщик, живущий за стеной, и предлагает ему денег, а тот дает ему вексель на все имение; ростовщик открывает, что у нее ничего нет.

Посредством денег Александр пробирается в комнату Софьи, говорит ей, что он знает, что у нее ничего нет, и что она хочет выйти за графа, ибо он богат, и что если она хочет, чтоб он не отказался от нее, узнав, что у нее ничего нет, то она должна его любить. Она уже колеблется; вдруг входит горничная, говоря, что граф приехал. Александра прячут за гардину. Граф изъясняется в любви, говорит, что ибо ему

позволяют вход во всякое время, то это показывает, что родители не прочь. Она ему клянется, что любит его одного. В эту минуту Александр выходит и говорит: это правда. Смущение, — сцена. Вдруг входит отец с дядей и говорит, что его дочь обесчещена, что граф должен жениться, что иначе они его лишат места, убьют и проч<ее>. Граф в отчаянии. Алекс<андра> выгоняют, но он <рад> — дочь в обмороке. Александр с ней прощается.

Александр болен; он в размолвке с любовницей. Рассказывает жизнь. <Говорит, что он...> входит ростовщик; жалеет и говорит, что вчера вечером была свадьба графа.

Посылают за графом. Граф приходит, подносит свечу к кровати и ужасается. Александр ему говорит, что он отомстил ему, что написал к своим приятелям всю историю; и потом говорит, что у нее ничего нет, и ставит в свидетели ростовщика. Сам упадает без чувств. Любовница в отчаянии проклинает графа. Александр <кается> и говорит, что жалеет, что не имеет... миллиона оставить ей. И умирает.

№ 35

Я в Тифлисе у Петр. Г. — ученый татар<ин> Али и Ахмет; иду за груз<инкой> в бани; она делает знак; но мы не входим, ибо суббота. Выходя, она опять делает знак; я рисовал углем на стене для забавы татар и делаю ей черту на спине; следую за ней: она соглашается... только чтоб я поклялся сделать, что она велит; надо вынести труп. Я выношу и бросаю в Куру. Мне делается дурно. Меня нашли и отнесли на гауптвахту. Я забыл ее дом наверное. Мы решаемся отыскать. Я снял с мертвого кинжал для доказательства. Несем его к Геургу. Он говорит, что делал его русскому офицеру. Мы говорим Ахмету, чтоб он узнал, кого имел этот офицер. Узнают от денщика, что этот офицер долго ходил по соседству к одной старухе с дочерью; но дочь вышла замуж; а через неделю он пропал. Наконец, узнаем, за кого эта

дочь вышла замуж, находим дом, но ее не видать. Ахмет бродит кругом и узнает, что муж приехал, и кто-то ему сказал, что видели, как из окошка вылез человек намедни, и что муж допрашивал и вся семья. Раз мы идем по караван-сераю (ночью) — видим: идет мужчина с <этой женщиной> женой; они остановились и посмотрели на нас. Мы прошли и видим, она показала на меня пальцем, а он кивнул головой. После ночью оба (двое) на меня напали на мосту. Схватили меня, и — как зовут. Я сказал. Он: «Я муж такой-то» — и хотел меня сбросить, но я его предупредил и сбросил.

№ 36

У России нет прошедшего; она вся в настоящем и будущем.

Сказывается сказка: Еруслан Лазаревич сидел сиднем двадцать лет и спал крепко, но на двадцать первом году проснулся от тяжкого сна, и встал, и пошел... и встретил он тридцать семь королей и семьдесят богатырей, и побил их, и сел над ними царствовать.

Такова Россия.

ПЕРЕВОДЫ

Мрак. Тьма.

Я видел сон, который не совсем был сон. Блестящее солнце потухло, и звезды темные блуждали по беспредельному пространству, без пути, без лучей; и оледенелая земля плавала слепая и черная в безлунном воздухе. Утро пришло и ушло — и опять пришло и не принесло дня; люди забыли о своих страстях в страхе и отчаянии; и все сердца охладели в одной молитве о свете; люди жили при огнях, и престолы, дворцы венценосных царей, хижины, жилища всех населенцев мира истлели вместо маяков; города развалились в пепел, и люди толпились вокруг домов горящих, чтоб еще раз посмотреть друг на друга; счастливы были жившие противу волканов, сих горных факелов; одна боязненная надежда поддерживала мир; леса были зажжены — но час за часом они падали и гибли, и треща гасли пни — и все было мрачно.

Чела людей при отчаянном свете имели вид чего-то неземного, когда случайно иногда искры на них упадали. Иные ложились на землю, и закрывали глаза и плакали; иные положили бороду на сложенные руки и улыбались; а другие толпились туда и сюда, и поддерживали в погребальных кострах пламя, и с безумным беспокойством устремляли очи на печальное небо, подобно савану одевшее мертвый мир; и потом с проклятьями снова обращали их на пыльную землю,

и скрежетали зубами и выли; и птицы кидали пронзительные крики и метались по поверхности земли, и били тщетными крылами; лютейшие звери сделались смирны и боязливы; и змеи ползая увивались между толпы, шипели, но не уязвляли — их убивали на съеденье люди; и война, уснувшая на миг, с новой силой возобновилась; пища покупалась кровью, и каждый печально и одиноко сидел, насыщаясь в темноте; не оставалось любви; вся земля имела одну мысль — это смерть близкая и бесславная; судороги голода завладели утробами, люди умирали, и мясо и кости их непогребенные валялись; тощие были съедены тощими, псы нападали даже на своих хозяев, все кроме одного, и он был верен его трупу и отгонял с лаем птиц и зверей и людей голодных, пока голод не изнурял или новый труп не привлекал их алчность; он сам не искал пищи, но с жалобным и протяжным воем и с пронзительным лаем лизал руку, не отвечавшую его ласке, — и умер. Толпа постепенно редела; лишь *двое* из обширного города остались вживе — и это были враги; они встретились у пепла алтаря, где грудой лежали оскверненные церковные утвари; они разгребали и дрожа подымали хладными сухими руками теплый пепел, и слабое дыханье немного продолжалось и произвело как бы насмешливый чуть видный огонек; тогда они подняли глаза при бо̀льшем свете и увидали друг друга — увидали, и издали вопль и умерли, от собственного их безобразия они умерли, не зная, на чьем лице голод начертал: враг. Мир был пуст, многолюдный и могущий сделался громадой безвременной, бестравной, безлесной, безлюдной, безжизненной, громадой мертвой, хаосом, глыбой праха; реки, озера, океан были недвижны, и ничего не ворочалось в их молчаливой глубине; корабли без пловцов лежали, гния в море, и их мачты падали кусками; падая, засыпали на гладкой поверхности; скончались волны; легли в гроб приливы, луна царица их умерла прежде; истлели ветры в стоячем воздухе, и облака погибли; мрак не имел более нужды в их помощи — он был повсеместен.

The Giaour[1]

Нет легкого дуновения воздуха, рассекающего волну, которая катится под могилою афинян; сей блестящий гроб на крутой, навислой скале первый приветствует возвращающуюся домой ладью; он высоко господствует над страною, тщетно им спасенною, — когда снова увидит такого героя?..

Прекрасный климат! где каждое время года улыбается над сими благословенными островами, кои, видные издалека, с высоты *колонны*, радуют сердце восхитительной картиной и представляют убежище уединенью. Там нежно рябится ланита океана, отражая *краски* многих утесов, пойманные смеющимися приливами, которые омывают этот восточный Эдем.

И если иногда мгновенный зефир взволнует голубой кристалл моря или сметет цвет с дерева, да будет благословен милый ветерок, пробудивший и разнесший здесь благоухание.

Ибо здесь — *роза*, на скале или в долине, любовница соловья, дева, для которой его звуки, тысячи его песней слышны в высоте, цветет, краснея от рассказов соловья: его царица, царица садов, его роза, не сгибаемая ветрами, не оледеняемая снегами, далеко от зимы западной, благословляемая каждым временем года и каждым зефиром, подарок природы — аромат отдает небу в сладчайшем благоухании. Она признательно возвращает и лучшие свои цветы улыбающемуся небу, с благовонным вздохом.

И много здесь летних цветов, и много тени, которую любовь желала бы разделить, и многие есть пещеры, манящие к отдохновенью, которые служат вертепом для разбойника, коего ладья, пристав к скрытой здесь гавани, ждет мирного корабля, пока не услышит гитару веселого моряка, пока не увидит вечернюю звезду. Тогда, укрываясь с своим веслом под тенью скалистого берега, кидается ночной грабитель на до-

---

[1] Гяур (*англ.*).

бычу свою и переменяет песни с гитарой на отчаянные крики. Странно, что, где природа создала жилище, достойное богов, и смешала, истощила все прекрасное в этом раю, здесь человек, живущий разрушением, хочет обращать его в дикую пустыню и попирает, подобно бессловесному животному, каждый цветок, который не стоит ниже часа трудов и не требует помощи ничьей руки, дабы расстилаться в волшебной стране сей, но выходит, растет, отвергая всякое старание, и только молит, чтоб его пощадили.

Странно, что, где господствует тишина, там страсти беспредельны в гордости своей и жадность и хищность дико бушуют, дабы помрачить прелестную землю. Это как будто злые духи взяли верх над ангелами и укрепили на небесных престолах освобожденного наследника ада; так прекрасна страна, созданная для удовольствия, и так ненавистны тираны, разрушающие его.

. . . .
. . . .
. . . .

О страна незабвенных героев! которая от долины до горных пещер была жилищем свободы или могилою славы. Храм могущих! ужели это все, что остается от тебя? Приближься, пресмыкающийся невольник; скажи, не это ли Термопилы? Эти синие воды, плещущие кругом, скажи, порабощенный потомок свободного, скажи, какое это море, какой берег?— это залив, это скала Саламины!.. восстаньте, вспомните прошедшее и возобновите его; исторгните из праха отцов ваших искры огня, коим некогда они пламенели.

И *тот*, кто погибнет в битве, к их именам прибавит свое страшное имя, коего будут трепетать тираны; он оставит потомкам надежду, знаменитость; и они прежде умрут, нежели посрамят ее: ибо, если война за свободу уже началась, она передается кровью от отца к сыну, и если иногда неуспешно, то всегда под конец торжествует. Этому свидетель ты, Греция, про которую доказывают о бессмертных столетьях многие живые страницы! Тогда как цари, скрытые в пыльном мраке, оставили одни безыменные пирамиды, твои

герои, хотя общим приговором сняты колонны на их могилах, имеют лучшие памятники: горы высокие отечества их!.. Здесь показывает муза могилы тех очам странника, кои не могут умереть. Долго и печально было бы рассказывать каждый шаг Греции от величия к бедственности; довольно — никакой чуждый враг не мог ослабить духа твоего, пока сам он не упал; так собственное унижение открыло путь ненавистным цепям и скипетру деспотов.

Что расскажет нам тот, кто попирает твой брег? Ни песни старинной, ничего, чем может заняться муза, ничего столь высокого, как прежде, когда человек был достоин сего климата. Сердца, рожденные в твоих долинах, буйные души, кои могли бы весть твоих сынов к великим подвигам, теперь пресмыкаются от колыбели до могилы, рабы — нет, рабы раба, безжизненные везде, кроме в преступленье; оскверненные всеми бедствиями рода человеческого, где он менее всего возвышается над тварею бессловесной; даже не имея ни одной дикой добродетели, не имея в среде своей ни одной храброй и свободной груди. Еще теперь у соседних пристаней они слывут лукавыми, и взошли в пословицу; в этом только хитрый грек найден, и этим, лишь этим, известен. Напрасно свобода стала бы призывать ум, дабы свергнуть иго с шеи, которое льстит ему; я больше не сожалею о их несчастии, однако я расскажу вам печальную повесть, и внимающие мне могут поверить, что тот, кто слушал ее в первый раз, имел право грустить.

Торопливо приближался он, и быстрота его бега привлекала мой удивленный взор; хотя, как ночной демон, он пробежал и скрылся от меня, его вид, выражение лица его оставили навсегда смутное воспоминанье в груди моей, и еще долго после, в моем страхом пораженном слухе раздавался топот ног черного его коня. Он жмет ногами коня; он приближается к крутому утесу, выдавшемуся от берега и бросающему тень на поверхность моря; он минует и низвергается за скалу, которая освобождает его от очей

моих; неуместен взор, преследующий беглеца, и хотя нет ни одной звезды на небе, но все для него светло кажется.

Он скрылся; но прежде кинул взгляд, который казался его последним, на минуту удержал беспокойного своего коня, на минуту дал ему отдохнуть, на минуту привстал на стременах — для чего смотрит он в оливную рощу? Полумесяц встает над холмом; лампы в мечетях, погасая, трепещут.

Napoleon's Farewell[1]

1

Прости! о край, где тень моей славы восстала и покрыла землю своим именем, — он покидает меня теперь, но страница его истории, самая мрачная или блестящая, наполнена моими подвигами. Я воевал с целым светом, который победил меня только тогда, когда метеор завоеваний заманил меня слишком далёко; я противился народам, которые боялись меня, оставленного, последнего, единственного пленника из миллионов бывших на войне.

2

Прости, Франция! — когда твой венец короновал меня, я сделал тебя алмазом, дивом и красою земли. Но твоя слабость повелевает, чтоб я тебя оставил, как нашел, увядшую славой и упадшую своим именем; ибо сердца старых бойцов моих были приведены в отчаянье нападением бури и непогоды, хотя сражения были выиграны, и орел, коего взор померкнул, мог бы снова подняться, встретив солнце победы.

3

Итак, прости же, Франция! — но если свобода снова появится у тебя, вспомни обо мне — фиалка надежды еще растет, скрываясь во глубине долин

---

[1] Прощание Наполеона (*англ.*).

твоих; хотя она увяла, слезы твои могут воскресить ее — я могу еще смешать неприятелей, нас окружающих, и твоя душа еще может внять голосу моему, в цепи, которая нас оковала, еще есть кольцы, могущие разорваться, тогда, обратясь, призови начальника твоего выбора.

Верро[1]

Известно, по крайней мере должно бы было быть известно, что во всех странах католического исповедания несколько недель до поста *народ* веселится и празднует сколько хочет; покупают раскаяние перед тем, чтобы сделаться богомольными, какого бы высокого или низкого состояния ни были, пируют, играют, пляшут, пьют, маскируются и употребляют все, что можно получить попросивши.

(С немецкого)

Я проводил тебя со слезами; но ты удалилась, чужда сожалений и слез.

Где долго ожиданный день, столько радости мне обещавший? — погиб он! — но я не раскаялся в том, в чем тебе поклялся.

И если б могла ты понять и измерить страданья мои, то вечно бы ты не забыла того, кто тебя никогда не забывал.

Тогда бы заплакала ты, и тот миг воскресил бы опять охладевшее мое счастье.

Мое сердце, отвергнутое тобою, мой ангел! все-таки тебе принадлежит; но сердце, тобою любимое, не будет так постоянно.

---

[1] Беппо (*англ.*).

ПИСЬМА

1. М. А. ШАН-ГИРЕЙ

<Москва, осенью 1827 г.>

Милая тетенька!

Наконец, настало то время, которое вы столь ожидаете, но ежели я к вам мало напишу, то это будет не от моей лености, но оттого, что у меня не будет время. Я думаю, что вам приятно будет узнать, что я в русской грамматике учу синтаксис и что мне дают сочинять; я к вам это пишу не для похвальбы, но, собственно, оттого, что вам это будет приятно; в географии я учу математическую; по небесному глобусу градусы, планеты, ход их, и прочее; прежнее учение истории мне очень помогло. Заставьте, пожалуста, Екима рисовать контуры, мой учитель говорит, что я еще буду их рисовать с полгода; но я лучше стал рисовать; однако ж мне запрещено рисовать свое. Катюше в знак благодарности за подвязку посылаю ей бисерный ящик моей работы. Я еще ни в каких садах не был; но я был в театре, где я видел оперу «Невидимку», ту самую, что я видел в Москве 8 лет назад; мы сами делаем театр, который довольно хорошо выходит, и будут восковые фигуры играть (сделайте милость, пришлите мои воски). Я нарочно замечаю, чтобы вы в хлопотах не были, я думаю, что эта пунктуальность не мешает; я бы приписал к

братцам здесь, но я им напишу особливо; Катюшу же целую и благодарю за подвязку.

Прощайте, милая тетенька, целую ваши ручки; и остаюсь ваш покорный племянник.

М. Лермантов.

2. М. А. ШАН-ГИРЕЙ

<Москва, около 21 декабря 1828 г.>

Милая тетенька!

Зная вашу любовь ко мне, я не могу медлить, чтобы обрадовать вас: экзамен кончился и вакация началась до 8-го января, следственно она будет продолжаться 3 недели. Испытание наше продолжалось от 13-го до 20-го числа. Я вам посылаю баллы, где вы увидите, что г-н Дубенской поставил 4 *русск.* и 3 *лат.*, но он продолжал мне ставить 3 и 2 до самого экзамена. Вдруг как-то сжалился и накануне переправил, что произвело меня вторым учеником.

Папенька сюда приехал, и вот уже 2 картины извлечены из моего portefeuille...[1] слава богу! что такими любезными мне руками!..

Скоро я начну рисовать с (buste) бюстов... какое удовольствие! к тому ж Александр Степанович мне показывает также, как должно рисовать пейзажи.

Я продолжал подавать сочинения мои Дубенскому, а «Геркулеса и Прометея»» взял инспектор, который хочет издавать журнал «Каллиопу» (подражая мне! (?)), где будут помещаться сочинения воспитанников. Каково вам покажется; Павлов мне подражает, перенимает у... меня! — стало быть... стало быть... но выводите заключения, какие вам угодно.

Бабушка была немного нездорова зубами, однако же теперь гораздо лучше, а я, — о! je me porte comme à l'ordinaire... bien![2]

---

[1] портфеля (*франц.*).

[2] о! я чувствую себя, как обычно... хорошо! (*франц.*)

Прощайте, милая тетенька, желаю, чтобы вы были внутренно покойны, след<овательно>, здоровы, ибо: les douleurs du corps proviennent des maux de l'âme! [1]

Остаюсь ваш покорный племянник:

М. Лермантов.

№В. Прилагаю вам, милая тетенька, стихи, кои прошу поместить к себе в альбом, а картинку я еще не нарисовал. На вакацию надеюсь исполнить свое обещание.

Вот стихи:

ПОЭТ

Когда Рафаель вдохновенный
Пречистой девы лик священный
Живою кистью окончал:
Своим искусством восхищенный,
Он пред картиною упал!
Но скоро сей порыв чудесный
Слабел в груди его младой,
И, утомленный и немой,
Он забывал огонь небесный.

Таков поэт: чуть мысль блеснет,
Как он пером своим прольет
Всю душу; звуком громкой лиры
Чарует свет и в тишине
Поет, забывшись в райском сне,
Вас, вас! души его кумиры!
И вдруг хладеет жар ланит,
Его сердечные волненья
Все тише, и призрак бежит!
Но долго, долго ум хранит
Первоначальны впечатленья.

М. Л.

P. S. Не зная, что дяденька в Апалихе, я не писал к нему, но прошу извинения и свидетельствую ему мое почтение.

---

[1] Страдания тела происходят от болезней души! (*франц.*)

3. М. А. ШАН-ГИРЕЙ

<Москва, весной, 1829 г.>

Милая тетенька!

Извините меня, что я так долго не писал... Но теперь постараюсь почаще уведомлять вас о себе, зная, что это вам будет приятно. Вакации приближаются и... прости! достопочтенный пансион. Но не думайте, чтобы я был рад оставить его, потому учение прекратится; нет! дома я заниматься буду еще более, нежели там.

Вы спрашивали о баллах, милая тетенька, увы! — у нас в пятом классе с самого нового года еще не все учителя поставили сии *вывески нашей премудрости!* [1] Помните ли, милая тетенька, вы говорили, что наши актеры (московские) хуже петербургских. Как жалко, что вы не видали здесь «Игрока», трагедию «Разбойники». Вы бы иначе думали. Многие из петербургских *господ* соглашаются, что эти пьесы лучше идут, нежели там, и что Мочалов в многих местах превосходит Каратыгина. Бабушка, я и Еким — все, слава богу, здоровы, но м-г G. Gendroz был болен, однако теперь почти совсем поправился.

Постараюсь следовать советам вашим, ибо я уверен, что они служат к моей пользе. Целую ваши ручки. Покорный ваш племянник.

М. Лермантов.

P. S. Прошу вас дяденьке засвидетельствовать мое почтение, и у тетеньки Анны Акимовны целую ручки. Также прошу поцеловать за меня: Алешу, двух Катюш и Машу.

М. Л.

4. М. А. ШАН-ГИРЕЙ

<Москва, февраль 1831 или 1832 г.>

Ma chère tante [2].

Вступаюсь за честь Шекспира. Если он велик, то это в «Гамлете», если он истинно Шекспир, этот гений необъемлемый, проникающий в сердце человека,

---

[1] Выражение одного ученика. *(Прим. М. Ю. Лермонтова.)*

[2] Дорогая тетя (*франц.*).

в законы судьбы, оригинальный, то есть неподражаемый Шекспир, — то это в «Гамлете». Начну с того, что имеете вы перевод не с Шекспира, а перевод перековерканной пиесы Дюсиса, который, чтобы удовлетворить приторному вкусу французов, не умеющих обнять высокое, и глупым их правилам, переменил ход трагедии и выпустил множество характеристических сцен; эти переводы, к сожалению, играются у нас на театре. Верно, в вашем «Гамлете» нет сцены могильщиков и других, коих я не запомню.

«Гамлет» по-английски написан половина в прозе, половина в стихах. Верно, нет той сцены, когда Гамлет говорит с своей матерью и она показывает на портрет его умершего отца; в этот миг с другой стороны, видимая одному Гамлету, является тень короля, одетая как на портрете; и принц, глядя уже на тень, отвечает матери, — какой живой контраст, как глубоко! Сочинитель знал, что, верно, Гамлет не будет так поражен и встревожен, увидев портрет, как при появлении призрака.

Верно, Офелия не является в сумасшествии, хотя сия последняя одна из трогательнейших сцен! Есть ли у вас сцена, когда король подсылает двух придворных, чтоб узнать, точно ли помешан притворившийся принц, и сей обманывает их; я помню несколько мест этой сцены; они, придворные, надоели Гамлету, и этот прерывает одного из них, спрашивая:

Гамлет. Не правда ли, это облако похоже на пилу?

1 придворный. Да, мой принц.

Гамлет. А мне кажется, что оно имеет вид верблюда, что похоже на животное!

2 придворный. Принц, я сам лишь хотел сказать это.

Гамлет. На что же вы похожи оба? — и прочее.

Вот как кончается эта сцена: Гамлет берет флейту и говорит:

Сыграйте что-нибудь на этом инструменте.

1 придворный. Я никогда не учился, принц, я не могу;

Гамлет. Пожалуста.

1 придворный. Клянусь, принц, не могу (и прочее, извиняется).

Гамлет. Ужели после этого не чудаки вы оба? когда из такой малой вещи вы не можете исторгнуть согласных звуков, как хотите из меня, существа одаренного сильной волею, исторгнуть тайные мысли?..

И это не прекрасно!..

Теперь следуют мои извинения, что я к вам, любезная тетенька, не писал: клянусь, некогда было; ваше письмо меня воспламенило: как обижать Шекспира?..

Мне здесь довольно весело: почти каждый вечер на бале. Но великим постом я уже совсем засяду. В университете все идет хорошо.

Прощайте, милая тетенька; желаю вам здоровья и всего, что вы желаете; если говорят: одна голова хорошо, а две лучше, зачем не сказать: одно сердце хорошо, а два лучше.

Целую ваши ручки, остаюсь покорный ваш племянник

М. Лермантов.

P. S. Поклонитесь от меня дяденьке и поцелуйте пожалуста деточек...

5. Н. И. ПОЛИВАНОВУ

<Москва, 7-го июня 1831 г.>

Любезный друг, здравствуй!

Протяни руку и думай, что она встречает мою; я теперь сумасшедший совсем. Нас судьба разносит в разные стороны, как ветер листы осени. Завтра свадьба твоей кузины Лужиной, *на которой* меня не будет (?!); впрочем, мне теперь не до подробностей. Черт возьми все свадебные пиры. Нет, друг мой! мы с тобой не для света созданы; я не могу тебе много писать: болен, расстроен, глаза каждую минуту мокры.

Source intarissable![1] Много со мной было; прощай, напиши что-нибудь веселее. Что ты делаешь? Про<щай, друг> мой.

М. Лермантов.

6. С. А. БАХМЕТЕВОЙ

<Тверь, июль — начало августа 1832 г.>

Ваше Атмосфераторство!
Милостивейшая государыня,
София, дочь Александрова!..

ваш раб всепокорнейший Михайло, сын Юрьев, бьет челом вам.

Дело в том, что я обретаюсь в ужасной тоске: извозчик едет тихо, дорога пряма как палка, на квартере вонь, и перо скверное!..

Кажется довольно, чтоб истощить ангельское терпение, подобное моему.

Что вы делаете?

Приехала ли Александра, Михайлова дочь, — и какие ее речи? всё пишите — а моего писания никому не являйте.

Растрясло меня и потому к благоверной кузине не пишу — а вам мало; извините моей немощи!..

До Петербурга с обоими прощаюсь:

раб ваш *М. Lerma.*

Прошу засвидетельствовать мое нижайшее почтение тетеньке и всем домочадцам.

7. С. А. БАХМЕТЕВОЙ

<Петербург, начало августа 1832 г.>

Любезная Софья Александровна;

до самого нынешнего дня я был в ужасных хлопотах; ездил туда-сюда, к Вере Николавне на дачу и проч.;

---

[1] Неиссякаемый источник! *(франц.)*

рассматривал город по частям и на лодке ездил в море, — короче, я ищу впечатлений, каких-нибудь впечатлений!.. Преглупое состояние человека то, когда он принужден занимать себя, чтоб жить, как занимали некогда придворные старых королей; быть своим шутом!.. как после этого не презирать себя; не потерять доверенность, которую имел к душе своей... одну добрую вещь скажу вам: наконец, я догадался, что не гожусь для общества, и теперь больше, чем когда-нибудь; вчера я был в одном доме NN, где, просидев 4 часа, я не сказал ни одного путного слова; у меня нет ключа от их умов — быть может, славу богу!

Вашей комиссии я еще не исполнил, ибо мы только вчера перебрались на квартеру. Прекрасный дом — и со всем тем душа моя к нему не лежит; мне кажется, что отныне я сам буду пуст, как был он, когда мы взъехали. Пишите мне, что делается в странах вашего царства? как свадьба? всё ли вы в Середникове или в Москве: чай, Александра Михаловна да Елизавета Александровна покою не знают, всё хлопочут!

Странная вещь! только месяц тому назад я писал:

Я жить хочу! хочу печали
Любви и счастию назло;
Они мой ум избаловали
И слишком сгладили чело;
Пора, пора насмешкам света
Прогнать спокойствия туман:
Что без страданий жизнь поэта?
И что без бури океан?

И пришла буря, и прошла буря; и океан замерз, но замерз с поднятыми волнами; храня театральный вид движения и беспокойства, но в самом деле мертвее, чем когда-нибудь.

Надоел я вам своими диссертациями!.. Я короче сошелся с Павлом Евреиновым: у него есть душа в душе!

Одна вещь меня беспокоит: я почти совсем лишился сна — бог знает, надолго ли; не скажу, чтоб от горести:

были у меня и больше горести, а я спал крепко и хорошо; нет, я не знаю: тайное сознание, что я кончу жизнь ничтожным человеком, меня мучит.

Дорогой я еще был туда-сюда; приехавши — не гожусь ни на что; право, мне необходимо путешествовать; я цыган.

Прощайте, пишите мне, чем поминаете вы меня. Обещаю вам, что не все мои письма будут такие; теперь я болтаю вздор, потому что натощак. Прощайте;

член вашей bande-joyeuse

M. Lerma.

P. S. У тетушек моих целую ручки и прошу вас от меня отнести поклон всем моим друзьям... во втором разряде коих Achille, арап; а если вы не в Москве, то мысленно. Прощайте.

8. С. А. БАХМЕТЕВОЙ

<Петербург, начало августа 1832 г.>

Примите дивное *посланье*
Из края дального сего;
Оно не *Павлово* писанье —
Но Павел вам отдаст его.
Увы! как скучен этот город,
С своим туманом и водой!..
Куда ни взглянешь, красный ворот
Как шиш торчит перед тобой;
Нет милых сплетен — все сурово,
Закон сидит на лбу людей;
Все удивительно и ново —
А нет ни пошлых новостей!
Доволен каждый сам собою,
Не беспокоясь о других,
И что у нас зовут душою,
То без названия у них!..
И, наконец, я видел море,
Но кто поэта обманул?..
Я в роковом его просторе

Великих дум не почерпнул;
Нет! как оно, я не был волен;
Болезнью жизни, скукой болен,
(Назло былым и новым дням)
Я не завидовал, как прежде,
Его серебряной одежде,
Его бунтующим волнам.

Экспромтом написал я вам эти стихи, любезная Софья Александровна, и не имею духу продолжать таким образом. В самом деле, не знаю отчего, поэзия души моей погасла;

По произволу дивной власти
Я выкинут из царства страсти,
Как после бури на песок
Волной расшибенный челнок;
Пускай прилив его ласкает,
Не слышит ласки инвалид;
Свое бессилие он знает
И притворяется, что спит;
Никто ему не вверит боле
Себя иль ноши дорогой;
Он не годится и на воле!
Погиб — и дан ему покой!

Мне кажется, что это недурно вышло; пожалуйста, не рвите этого письма на нужные вещи. Впрочем, если б я начал писать к вам за час прежде, то, быть может, писал бы вовсе другое; каждый миг у меня новые фантазии...

Прощайте, дражайшая.

Я к вам писал из Твери и отсюда — а до сих пор не получил ответа.

Стыдно — однако я прощаю.

И прощаюсь.

M. Lerma.

Тетеньке и всем нижайшее мое почтение.

Пишите, что делается, и слышится, и говорится.

У Демидовой был, дома не застал; она была у какой-то директорши, — бог знает; я письма не отдал и на днях поеду опять. Не имею слишком большого влечения к обществу: надоело! — всё люди, такая тоска, хоть бы черти для смеха попадались.

9. М. А. Лопухиной

С.-Петер<бург>, 28 августа <1832 г.>

Пишу вам сильно встревоженнный тем, что бабушка очень больна и уже два дня как в постели. Отвожу душу ответом на второе письмо ваше. Назвать вам всех, у кого я бываю? *Я сам* — вот та особа, у которой я бываю с наибольшим удовольствием. Правда, по приезде я выезжал довольно часто к родным, с которыми должен был познакомиться; но в конце концов нашел, что лучший мой родственник — это я сам. Видел я образчики здешнего общества: любезнейших дам, учтивейших молодых людей — все вместе они производят на меня впечатление французского сада, очень тесного и простого, но в котором с первого разу можно заблудиться, потому что хозяйские ножницы уничтожили всякое различие между деревьями.

Пишу мало, читаю не больше; мой роман становится произведением, полным отчаяния; я рылся в своей душе, чтобы извлечь из нее все, что способно обратиться в ненависть, и в беспорядке излил все это на бумагу,— читая его, вы бы пожалели меня! Кстати о вашем замужестве, милый друг: вы угадали мой восторг при вести, что он расстроился (*не французский оборот*); я уже писал кузине, что этот вздернутый нос годится разве на то, чтобы вынюхать дичь, — это выражение мне самому очень понравилось. Слава богу, что это кончилось так, а не иначе. Впрочем, не будем больше говорить об этом — и без того уж много говорили.

У меня есть свойство, которого нет у вас: когда мне говорят, что меня любят, я больше не сомневаюсь или (что хуже) не показываю вида, что сомневаюсь. У вас

же этот недостаток есть, и я вас прошу от него избавиться, по крайней мере в ваших милых письмах.

Вчера, в 10 часов вечера, было небольшое наводнение, и даже трижды сделано по два пушечных выстрела, по мере того как вода убывала и прибывала; ночь была лунная, я сидел у своего окна, которое выходит на канал. Вот что я написал:

Для чего я не родился
Этой синею волной?
Как бы шумно я катился
Под серебряной луной,
О! как страстно я лобзал бы
Золотистый мой песок,
Как надменно презирал бы
Недоверчивый челнок;
Всё, чем так гордятся люди,
Мой набег бы разрушал;
И к моей студеной груди
Я б страдальцев прижимал;
Не страшился б муки ада,
Раем не был бы прельщен;
Беспокойство и прохлада
Были б вечный мой закон;
Не искал бы я забвенья
В дальном северном краю;
Был бы волен от рожденья
Жить и кончить жизнь мою!

Вот еще другие; эти два стихотворения выразят вам мое душевное состояние лучше, чем я бы мог это сделать в прозе:

Конец! как звучно это слово!
Как много, — мало мыслей в нем!
Последний стон — и все готово
Без дальних справок; а потом?
Потом вас чинно в гроб положут,
И черви ваш скелет обгложут,
А там наследник в добрый час
Придавит монументом вас;

Простив вам каждую обиду,
Отслужит в церкви панихиду,
Которой (я боюсь сказать)
Не суждено вам услыхать;
И если вы скончались в вере
Как христианин, то гранит
На сорок лет по крайней мере
Названье ваше сохранит,
С двумя плачевными стихами,
Которых, к счастию, вы сами
Не прочитаете вовек.
Когда ж чиновный человек
Захочет место на кладбище,
То ваше тесное жилище
Разроет заступ похорон
И грубо выкинет вас вон;
И, может быть, из вашей кости,
Подлив воды, подсыпав круп,
Кухмейстер изготовит суп —
(Все это дружески, без злости).
А там голодный аппетит
Хвалить вас будет с восхищеньем;
А там желудок вас сварит,
А там — но с вашим позволеньем
Я здесь окончу мой рассказ;
И этого довольно с вас.

Прощайте... не могу больше писать, голова кружится от глупостей; думаю, что по той же причине и земля вертится вот уже 7000 лет, если Моисей не солгал.

Кланяйтесь всем.

Ваш искреннейший друг

М. Лерма.

10. М. А. ЛОПУХИНОЙ

<Петербург>, 2 сентября <1832 г.>

Сейчас я начал рисовать кое-что для вас и, может быть, пошлю вам рисунок с этим же письмом. Знаете ли, милый друг, как я стану писать вам? Исподволь! — одно письмо иногда будет длиться несколько дней. Придет ли мне в голову мысль,

я запишу ее; если что примечательное займет мой ум, поделюсь с вами. Довольны ли вы этим?

Вот уже несколько недель, как мы расстались и, может быть, надолго, потому что впереди я не вижу ничего особенно утешительного. Однако я все тот же, вопреки лукавым предположениям некоторых лиц, которых не стану называть. Можете себе представить мой восторг, когда увидел Наталью Алексеевну, она ведь приехала из наших мест, ибо Москва моя родина и всегда ею останется. Там я *родился,* там много *страдал* и там же был *слишком счастлив!* — пожалуй, лучше бы не быть ни тому, ни другому, ни третьему, но что делать!

Мадемуазель Аннета сообщила мне, что еще не стерли со стены знаменитую голову! Жалкое честолюбие! Это меня обрадовало, да еще как! Что за глупая страсть: оставлять везде следы своего пребывания. Мысль человека, хотя бы самую возвышенную, стоит ли запечатлевать в предмете вещественном из-за того только, чтобы сделать ее понятной душе немногих. Надо полагать, что люди вовсе не созданы мыслить, потому что мысль сильная и свободная — такая для них редкость!

Я поставил себе целью похоронить вас под грудой своих писем и стихов; это не очень по-дружески и даже не человеколюбиво, но каждый должен следовать своему предначертанию.

Вот еще стихи, которые сочинил я на берегу моря:

Белеет парус одинокой
В тумане моря голубом.
Что ищет он в стране далекой?
Что кинул он в краю родном?

Играют волны, ветер свищет,
И мачта гнется и скрыпит;
Увы! — он счастия не ищет
И не от счастия бежит!

Струя под ним светлей лазури,
Над ним луч солнца золотой —
А он, мятежный, просит бури,
Как будто в бурях есть покой!

Прощайте же, прощайте! Я не совсем хорошо себя чувствую: сон счастливый, божественный сон испортил мне весь день... Не могу ни говорить, ни читать, ни писать. Странная вещь эти сны! Вымышленная жизнь часто более приятна, нежели действительность... ибо я отнюдь не разделяю мнения тех, кто говорит, будто жизнь всего только сон; я вполне осязательно чувствую ее реальность, ее манящую пустоту! Я никогда не смогу отрешиться от нее настолько, чтобы от всего сердца презирать ее, ибо жизнь моя — я сам, тот, кто говорит с вами и кто через мгновение может превратиться в ничто, в одно имя, то есть опять-таки в ничто. Бог знает, будет ли существовать это «я» после жизни! Страшно подумать, что наступит день, когда не сможешь сказать: Я! При этой мысли вселенная есть только комок грязи.

Прощайте, не забудьте напомнить обо мне своему брату и сестрам, кузина же, я полагаю, еще не возвратилась.

Скажите, милая мисс Мери, передал ли вам мой кузен господин Евреинов мои письма и как он вам понравился? потому что в этом случае я вас выбираю своим термометром. Прощайте.

Преданный вам *Лерма.*

P. S. Мне очень хотелось бы задать вам небольшой вопрос, но перо отказывается его написать. Если угадаете, хорошо, я буду рад, если же нет, то, значит, задай я этот вопрос, вы бы не сумели на него ответить.

Это такого рода вопрос, какой, быть может, вам и в голову не приходит!

11. М. А. ЛОПУХИНОЙ

<Петербург, около 15 октября 1832 г.>

Мне крайне досадно, что мое письмо к кузине затерялось так же, как и ваше письмо к бабушке. Кузина, может быть, думает, что я поленился или лгу, уверяя,

что писал; но то и другое предположение было бы несправедливо с ее стороны, так как я слишком люблю ее, чтобы прибегать ко лжи, а вы можете засвидетельствовать, что я не ленюсь писать; я оправдаюсь, может быть даже с этой почтой; в противном случае, прошу вас сделать это за меня; послезавтра я держу экзамен и погружен в математику. Попросите ее писать ко мне иногда; ее письма так милы.

Не могу представить себе, какое впечатление произведет на вас такая важная новость обо мне: до сих пор я предназначал себя для литературного поприща, принес столько жертв своему неблагодарному кумиру и вдруг становлюсь воином. Быть может, такова особая воля провидения! Быть может, это кратчайший путь, и если он не приведет меня к моей первоначальной цели, то, возможно, приведет к конечной цели всего существующего. Умереть с пулей в груди стоит медленной агонии старца. Поэтому, если начнется война, клянусь вам богом, что везде буду впереди. Скажите, пожалуйста, Алексису, что я пришлю ему подарок, какого он не ожидает. Ему давно хотелось чего-нибудь в таком роде, и я посылаю ему то самое, только в десять раз лучше. Не пишу к нему теперь, ибо нет времени; через несколько дней экзамен. Как только определюсь, закидаю вас письмами, на которые заклинаю вас всех отвечать мне. Мадемуазель Софи обещалась писать тотчас по приезде, — уж не воронежский ли *угодник* посоветовал ей забыть меня? Скажите ей, что я желал бы получить от нее весточку. Долго ли написать письмо? Полчаса! И она не поступает в гвардейскую школу. Право, в моем распоряжении только ночь; вы — другое дело. Мне кажется, что если бы я не сообщил вам что-нибудь важное происшедшее со мною, то я бы утратил половину моей решимости. Верьте, не верьте, а это действительно так; не знаю почему, но, получив ваше письмо, я не могу удержаться, чтобы не отвечать тотчас же, как будто я с вами беседую.

Прощайте же, милый друг, не говорю до свиданья, потому что не надеюсь увидеть вас здесь; между мной и милой Москвой стоят непреодолимые преграды, и,

кажется, судьба с каждым днем увеличивает их. Прощайте, постарайтесь и впредь лениться не больше, чем до сих пор, и я буду вами доволен. Теперь ваши письма мне нужнее, чем когда-либо; в моем будущем заточении они доставят мне величайшее наслаждение; они одни могут связать мое прошлое и мое будущее, которые расходятся в разные стороны, оставляя между собой преграду из двух тягостных и печальных лет; возьмите на себя это скучное, но милосердное дело — и вы помешаете погибнуть человеческой жизни. Вам одной я могу сказать все, что думаю, и хорошее и дурное; я уж доказал это моей исповедью, и вы не должны отставать, не должны, потому что я прошу от вас не любезности, а благодеяния. Несколько дней тому назад я был в тревоге, но теперь это прошло: я успокоился; все кончено; я жил, я слишком рано созрел, и грядущие дни не принесут мне новых впечатлений...

Он был рожден для счастья, для надежд
И вдохновений мирных! — но, безумный,
Из детских рано вырвался одежд
И сердце бросил в море жизни шумной;
И мир не пощадил — и бог не спас!
Так сочный плод, до времени созрелый,
Между цветов висит осиротелый;
Ни вкуса он не радует, ни глаз;
И час их красоты — его паденья час!

И жадный червь его грызет, грызет,
И между тем как нежные подруги
Колеблются на ветках — ранний плод
Лишь тяготит свою... до первой вьюги!
Ужасно стариком быть без седин;
Он равных не находит; за толпою
Идет, хоть с ней не делится душою;
Он меж людьми ни раб, ни властелин,
И все, что чувствует, он чувствует один!

Прощайте, мои poclony всем, прощайте, не забывайте меня.

М. Лермантов.

P. S. Я никогда ничего не писал о вас Евреинову, вы видите все, что я говорил о его характере, — правда; я был только неправ, называя его лицемером: для этого у него не хватает способностей, он просто лгун.

12. А. М. ВЕРЕЩАГИНОЙ

<Петербург, конец октября — начало ноября 1832 г.>

Несправедливая и легковерная женщина! (Заметьте, что я имею полное право так называть вас, милая кузина.) Вы поверили словам и письму молодой девушки, не разобравшись в них. Аннета говорит, что она никогда не писала, будто у меня была неприятность, а только передавала, что мне не зачли, как многим другим, годы пребывания в Москве, ибо во всех университетах проведена реформа, и я опасаюсь, как бы от этого не пострадал и Алексис, потому что к трем невыносимым годам прибавляют еще один.

Вы, конечно, уже знаете, милостивая государыня, что я поступаю в Школу гвардейских подпрапорщиков. Это лишит меня, к сожалению, удовольствия вас скоро увидеть. Если бы вы могли угадать, сколько огорчения мне это причиняет, вы бы меня пожалели; не браните же меня больше, а утешьте, если у вас есть сердце.

Не понимаю, что вы хотите сказать выражением *взвешивать слова,* я не помню, чтобы я писал вам что-нибудь подобное. Впрочем, благодарю вас за то, что вы меня выбранили, это мне урок на будущее время, и, если вы приедете в Петербург, я надеюсь вполне отомстить за себя, да и вдобавок сабельными ударами и без пощады, — слышите ли! но пусть это вас не пугает; все-таки приезжайте и привезите с собой многочисленную свиту и мадемуазель Софи, которой я не пишу, потому что сердит на нее. Она мне обещала написать по возвращении из Воронежа *длинное письмо,* но я замечаю только длительность времени, заменяющую письмо.

И вы, милая кузина, обвиняете меня в том же, а ведь я написал вам два письма после Павла Евреинова. Но так как они были адресованы на дом

Столыпина в Москву, то я уверен, что их поглотила Лета или жена какого-нибудь лакея обернула свечи моими нежными посланиями.

Итак, я ожидаю вас этой зимой; никаких уклончивых ответов; вы должны приехать; доброе намерение не следует оставлять невыполненным, цветок не должен увянуть на стебле и т. д.

Пока говорю вам прощайте, потому что интересного ничего более сообщить вам не могу, готовлюсь к экзамену и через неделю с божьей помощью стану военным; кроме того, вы придаете слишком много значения невской воде; она является хорошим слабительным, но других качеств я за ней не знаю; очевидно, вы забыли мои прежние ухаживания и живете лишь настоящим и *будущим,* которое не замедлит представиться вам при первом случае; прощайте же, милый друг, и приложите все усилия, чтобы найти для меня *будущую* <суженую>, надо, чтобы она была похожа на Дашеньку, но только без ее большого живота, ибо тогда не будет соответствия со мной, как вам известно или как вам не известно, потому что я стал худ как щепка.

Целую ваши руки *М. Лерма.*

P. S. Мое почтение тетенькам.

13. М. А. Лопухиной

19 июня, Петербург, <1833 г.>

Вчера я получил два ваших письма, милый друг, и я их проглотил: так давно не было от вас известий. Вчера последнее воскресенье провел я в городе, потому что завтра (во вторник) мы отправляемся на два месяца в лагерь; я вам пишу сидя на школьной скамье, среди шумных приготовлений и т. п. Вам будет, я думаю, приятно узнать, что я, пробыв в школе всего два месяца, выдержал экзамен в первый класс и теперь один из первых... это вселяет надежду на скорое освобождение!

Однако нужно непременно рассказать вам довольно странный случай: в субботу, перед тем как проснуться, я вижу во сне, будто я в вашем доме: вы сидите на большом диване в гостиной; я подхожу к вам и спрашиваю, не хотите ли вы, чтобы я окончательно поссорился с вами, — а вы вместо ответа протянули мне руку. Вечером нас распустили, приезжаю домой — и нахожу ваши письма. Это меня поразило! Мне хотелось бы знать, что вы делали в этот день?

Теперь надо вам объяснить, почему я адресую это письмо в Москву, а не в деревню; я оставил ваше письмо дома вместе с адресом, и так как никто не знает, где я храню ваши письма, то и не могу вытребовать его сюда.

Вы спрашиваете, что значит фраза по поводу женитьбы князя: удавится или женится! — честное слово, не помню, чтоб я писал что-нибудь подобное. Я слишком хорошего мнения о князе и уверен, что он не из тех, которые выбирают невест ради приданого.

Скажите, пожалуйста, кузине, что будущей зимою у нее будет любезный и красивый кавалер: Иван Ватковский — гвардейский офицер, потому лишь, что его полковник женится на его сестре, — и говорите после этого, что не бывает случайности в нашем мире.

Скажите откровенно, сердились ли вы на меня некоторое время? Ну, раз с этим покончено, то не будем об этом говорить. Прощайте, меня зовут, потому что приехал генерал. Прощайте.

М. Лерма.

Кланяюсь всем.

Уже поздно; я улучил свободную минуту, чтобы продолжать письмо. С тех пор как я писал вам, во мне происходит столько странного, что я сам не знаю, каким путем я пойду — путем порока или глупости. Правда, оба пути часто приводят к одной и той же цели. Знаю, что вы станете увещевать меня, постараетесь утешить — это было бы излишком! Я счастливее чем когда-либо, веселее любого пьяницы, распевающего на улице! Вас коробит от этих выражений! но увы! *скажи, с кем ты водишься — и я скажу,*

Рисунок Лермонтова



Рисунки Лермонтова

кто ты! Я вам верю, что мадемуазель С. лгунья, ибо я знаю, что вы никогда не скажете неправды, тем более если это что-нибудь дурное! Бог с ней! Что же касается других предметов, о которых я мог бы вам написать, то я храню молчание, полагая, что один поступок важнее тысячи слов, а так как вам известно, милый друг, что я от природы ленив, то и почию на лаврах, сразу положив трагический конец и поступкам и словам.

Прощайте.

14. М. А. ЛОПУХИНОЙ

С.-Петербург, 4 августа <1833 г.>

Я не подавал о себе вестей с тех пор, как мы отправились в лагерь, да и, право, мне бы это не удалось при всем моем желании. Представьте себе палатку по 3 аршина в длину и ширину и в $2^1/_2$ в вышину, в которой живет три человека со всей поклажей и доспехами, как-то: сабли, карабины, кивера и проч. и проч. Погода была отвратительная из-за нескончаемого дождя. Зачастую по два дня сряду мы не могли просушить платье. Тем не менее эта жизнь мне отчасти нравилась. Вы знаете, милый друг, что у меня всегда было пристрастие к дождю и грязи, и теперь, по милости божьей, я насладился этим вдоволь.

Мы возвратились в город, и скоро снова начинаются наши занятия. Лишь одно меня ободряет — мысль, что через год я офицер! И тогда, тогда... Боже мой! Если бы вы знали, какую жизнь я намерен вести!.. О, это будет чудесно: во-первых, причуды, шалости всякого рода и поэзия, купающаяся в шампанском; я знаю, вы будете возражать; но, увы, пора моих грез миновала, прошло время, когда я верил; мне нужны чувственные наслаждения, ощутимое счастье, счастье, за которое платят золотом, счастье, которое носят в кармане как табакерку, счастье, которое обманывает только мои чувства, оставляя душу в покое и бездействии!.. Вот что мне теперь необходимо, и вы видите, милый друг, что с тех пор, как мы расста-

лись, я несколько изменился. Как скоро я заметил, что мои прекрасные мечты разлетаются, я сказал себе, что не стоит создавать новые; гораздо лучше, подумал я, научиться жить без них. Я попробовал; я походил на пьяницу, который мало-помалу старается отвыкнуть от вина; мои усилия были не напрасны, и вскоре прошлое представилось мне лишь перечнем незначительных и весьма обыденных похождений. Но поговорим о другом. Вы говорите, что князь Т. и ваша сестра, его супруга, очень довольны друг другом; я не вполне этому верю, потому что, кажется, знаю характер обоих: и ваша сестра не очень-то склонна к покорности, да, по-видимому, и князь тоже не агнец! Я надеюсь, что это искусственное затишье продолжится как можно долее, но я не могу предсказать ничего хорошего. Не говорю, чтоб у вас был недостаток проницательности; скорее, мне сдается, вы не хотели сказать мне всего, что думаете; и это вполне естественно, потому что теперь, если мои предположения верны, вам не придется даже сказать: да. Что вы делаете в деревне? Много ли у вас соседей, любезны ли они, забавны ли? Вот вопросы, в которых, кажется, нельзя увидеть никакого серьезного умысла.

Через год, может быть, я навещу вас. И какие перемены я найду? Узнаете ли вы меня и захотите ли узнать? И какую роль буду играть я? Будет эта встреча минутой радости для вас, или она смутит нас обоих? Ибо, предупреждаю вас, я уже не тот, каким был прежде: и чувствую и говорю иначе, и бог весть, что из меня выйдет через год. Моя жизнь до сих пор была лишь рядом разочарований, теперь они смешны мне, я смеюсь над собой и над другими. Я только вкусил все удовольствия и, не насладившись ими, пресытился.

Но это очень грустный предмет; постараюсь в другой раз к нему не возвращаться. Когда вы будете в Москве, дайте мне знать, милый друг... я надеюсь на ваше постоянство; прощайте.

М. Лер.

Мой поклон кузине, если будете писать ей; ведь я слишком ленив, чтобы самому сделать это.

15. М. Л. СИМАНСКОЙ

<Петербург, 20 февраля 1834 г.>

Милая кузина!

Я *с восторгом* принимаю ваше любезное приглашение и, конечно, не премину явиться с поздравлением к дяде, но после обеда, ибо, к великому моему огорчению мой кузен Столыпин умер позавчера, и, я уверен, вы не сочтете дурным, что я лишу себя удовольствия видеть вас на несколько часов раньше, чтобы пойти исполнить столь же печальную, сколь и необходимую обязанность. Преданный вам на весь вечер и на всю жизнь.

М. Л.

16. М. А. ЛОПУХИНОЙ

С.-Петербург, 23 декабря <1834 г.>

Милый друг!

Что бы ни случилось, я никогда не назову вас иначе; это значило бы порвать последние нити, еще связывающие меня с прошлым, а этого я не хотел бы ни за что на свете, так как моя будущность, блистательная на первый взгляд, в сущности пуста и заурядна. Должен вам признаться, с каждым днем я все больше убеждаюсь, что из меня вовек не получится ничего путного со всеми моими прекрасными мечтаниями и ложными шагами на жизненном пути... ибо недостает то удачи, то смелости!.. Мне говорят, что случай когда-нибудь представится, а смелость приобретается временем и опытностью!.. А кто знает, когда все это будет, сберегу ли я в себе хоть частицу молодой и пламенной души, которой столь некстати одарил меня бог? не иссякнет ли моя воля от долготерпения?.. и, наконец, не разочаруюсь ли я окончательно во всем том, что движет вперед нашу жизнь?

Итак, я начинаю письмо *исповедью*, право, без умысла! Пусть же она послужит мне оправданием: вы увидите по крайней мере, что если мой характер несколько изменился, сердце осталось то же. Один вид последнего письма вашего явился мне упреком, конечно вполне заслуженным. Но о чем я мог вам писать? Говорить вам о себе? Право, я так надоел сам себе, что, когда я ловлю себя на том, что восхищаюсь собственными мыслями, я стараюсь припомнить, где я их вычитал!.. и вследствие этого я дошел до того, что перестал читать, чтобы не мыслить!.. Я теперь бываю в свете... для того, чтобы меня узнали и чтобы доказать, что я способен находить удовольствие в хорошем обществе; ах!!! я ухаживаю и вслед за объяснением в любви говорю дерзости; это еще забавляет меня немного, и хотя это не совсем ново, но по крайней мере встречается не часто!.. Вы подумаете, что за это меня гонят прочь... о нет, совсем напротив... женщины уж так созданы; у меня появляется смелость в отношениях с ними! ничто меня не волнует — ни гнев, ни нежность; я всегда настойчив и горяч, но сердце мое довольно холодно и способно забиться только в исключительных случаях: не правда ли, я далеко пошел!.. И не думайте, что это бахвальство: я теперь скромнейший человек и притом хорошо знаю, что этим ничего не выиграю в ваших глазах; я говорю так, потому что только с вами решаюсь быть искренним; вы одна меня сумеете пожалеть, не унижая, ведь я сам себя унижаю; если бы я не знал вашего великодушия и вашего здравого смысла, то не сказал бы того, что сказал; и, может быть, оттого что вы когда-то облегчили мне сильное горе, возможно и теперь вы пожелаете разогнать ласковыми словами холодную иронию, которая неудержимо прокрадывается мне в душу, как вода просачивается в разбитое судно. О! как я хотел бы вас снова увидеть, говорить с вами: мне был бы благотворен самый звук вашей речи; право, следовало бы в письмах ставить ноты над словами; ведь теперь читать письмо то же, что глядеть на портрет: ни жизни,

ни движения; выражение застывшей мысли, что-то отзывающееся смертью!..

Я был в Царском Селе, когда приехал Алексис; узнав о том, я едва не сошел с ума от радости: я поймал себя на том, что разговаривал сам с собою, смеялся, потирал руки; вмиг возвратился я к прошедшим радостям, двух ужасных лет как не бывало, наконец...

На мой взгляд, ваш брат очень переменился, он толст, как я когда-то был, румян, но всегда серьезен и солиден; и все же мы хохотали как сумасшедшие в вечер нашей встречи — и бог знает над чем?

Послушайте, мне показалось, будто он чувствует нежность к мадемуазель Катерине Сушковой... известно ли это вам? Дядюшки этой девицы хотели бы их повенчать!.. Сохрани боже!.. Эта женщина — летучая мышь, крылья которой цепляются за все встречное! Было время, когда она мне нравилась. Теперь она почти принуждает меня ухаживать за ней... но, не знаю, есть что-то в ее манерах, в ее голосе жесткое, отрывистое, надломанное, что отталкивает; стараясь ей нравиться, находишь удовольствие компрометировать ее, видеть ее запутавшейся в собственных сетях.

Пишите мне, ради бога, милый друг, теперь, когда все наши недоразумения улажены и у вас больше нет повода жаловаться на меня; полагаю, что в этом письме я был достаточно искренен и предан вам, и вы забудете мой проступок против нашей дружбы.

Мне очень хотелось бы увидеть вас опять; в основе этого желания, прошу простить меня, покоится эгоистическая мысль, что возле вас я вновь мог бы обрести самого себя таким, каким я был когда-то, — доверчивым, полным любви и преданности, одаренным всеми благами, которых люди не в силах отнять и которые отнял у меня бог! Прощайте, прощайте, — хотел бы продолжать письмо, но не могу.

М. Лерма.

P. S. Поклоны всем, кому сочтете уместным передать их от меня... еще раз прощайте.

17. А. М. ВЕРЕЩАГИНОЙ

<Петербург, весна 1835 г.>

Милая кузина!

Я решил уплатить вам долг, который вы имели любезность с меня не требовать, и надеюсь, что мое великодушие тронет ваше сердце, с некоторых пор ставшее таким жестким ко мне. Я не прошу другого вознаграждения, кроме нескольких капель чернил и двух или трех штрихов пера, которые известили бы меня, что я еще не совершенно изгнан из вашей памяти. Иначе мне придется искать утешения у других (ибо и здесь у меня есть кузины), а как бы мало женщина ни любила (это известно), она не очень-то любит, чтобы искали утешения вдали от нее. Затем, если вы будете еще упорствовать в своем молчании, я могу вскоре прибыть в Москву — и тогда мое мщение не будет иметь границ. На войне (вы знаете) щадят сдавшийся гарнизон, но город, взятый приступом, без сожаления предают ярости победителей.

После этой гусарской бравады я падаю к вашим ногам, чтобы вымолить себе прощение, в ожидании, что вы мне его даруете.

После этого вступления я начинаю рассказ о том, что со мною случилось за это время, как это делают при свидании после долгой разлуки.

Алексис мог рассказать вам кое-что о моем образе жизни, но ничего интересного, разве что о начале моих приключений с мадемуазель Сушковой, конец которых несравненно интереснее и забавнее. Если я начал ухаживать за нею, то это не было отблеском прошлого — вначале это было для меня просто развлечение, а затем, когда мы поняли друг друга, стало расчетом: и вот каким образом. Вступая в свет, я увидел, что у каждого был какой-нибудь пьедестал: богатство, имя, титул, покровительство... я увидал, что, если мне удастся занять собою одно лицо, другие незаметно тоже займутся мною, сначала из любопытства, потом из соперничества.

Я понял, что мадемуазель С., желая *изловить меня* (техническое выражение), легко скомпрометирует себя ради меня. Потому я ее и скомпрометировал, насколько было возможно, не скомпрометировав самого себя. В обществе я обращался с нею, как если бы она была мне близка, давая ей чувствовать, что только таким образом она может покорить меня... Когда я заметил, что мне это удалось, но что еще один шаг меня погубит, я прибегнул к маневру. Прежде всего в свете я стал более холоден с ней, а наедине более нежным, чтобы показать, что я ее более не люблю, а что она меня обожает (в сущности это неправда). Когда она стала замечать это и пыталась сбросить ярмо, я в обществе первый ее покинул. Я стал жесток и дерзок, насмешлив и холоден с ней, я ухаживал за другими и рассказывал им (по секрету) выгодную для меня сторону этой истории. *Она* так была поражена неожиданностью моего поведения, что сначала не знала, что делать, и смирилась, а это подало повод к разговорам и придало мне вид человека, одержавшего полную победу; затем она очнулась и стала везде бранить меня, но я ее предупредил, и ненависть ее показалась ее друзьям (или врагам) уязвленною любовью. Затем она попыталась вновь вернуть меня напускною печалью, рассказывала всем близким моим знакомым, что любит меня, — я не вернулся к ней, а искусно всем этим воспользовался. Не могу сказать вам, как все это пригодилось мне, — это было бы слишком долго и касается людей, которых вы не знаете. Но вот смешная сторона истории: когда я увидал, что в глазах света надо порвать с нею, а с глазу на глаз все-таки еще казаться ей верным, я живо нашел чудесный способ — я написал анонимное письмо: «Мадемуазель, я человек, знающий вас, но вам неизвестный и т. д. ...предупреждаю вас, берегитесь этого молодого человека М. Л. Он вас соблазнит и т. д. ...вот доказательства (разный вздор) и т. д. ...» Письмо на четырех страницах! Я искусно направил это письмо так, что оно попало в руки тетки. В доме гром и молния. На другой день еду туда рано утром, чтобы во всяком случае не быть принятым.

Вечером на балу я с удивлением рассказываю ей это. Она сообщает мне ужасную и непонятную новость, и мы делаем разные предположения — я все отношу насчет тайных врагов, которых нет; наконец, она говорит мне, что ее родные запрещают ей разговаривать и танцевать со мною, — я в отчаянии, но остерегаюсь нарушить запрещение дядюшек и тетки. Так шло это трогательное приключение, которое, конечно, даст вам обо мне весьма лестное мнение. Впрочем, женщина всегда прощает зло, которое мы причиняем другой женщине (*афоризмы Ларошфуко*). Теперь я не пишу романов, я их делаю.

Итак, вы видите, я хорошо отомстил за слезы, которые меня заставило проливать 5 лет тому назад кокетство мадемуазель С. О.; мы еще не расквитались: она заставляла страдать сердце ребенка, а я всего только подверг пытке самолюбие старой кокетки, которая, может быть, еще более... но во всяком случае я в выигрыше, она мне сослужила службу! О, я ведь очень изменился; я не знаю, как это происходит, но только каждый день дает новый оттенок моему характеру и взглядам! — это и должно было случиться, я это всегда знал... но не ожидал, что произойдет так скоро. О милая кузина, надо вам признаться: причиной того, что я не писал вам и мадемуазель Мари, был страх, что вы по письмам моим заметите, что я почти не достоин более вашей дружбы... ибо от вас обеих я не могу скрывать истину, от вас, наперсниц юношеских моих мечтаний, таких прекрасных, особенно в воспоминании.

И все-таки, если посмотреть на меня, то покажется, что я помолодел года на три, потому что у меня вид счастливого и беспечного человека, довольного собою и всем миром; не кажется ли вам странным этот контраст между душой и наружностью?

Не могу выразить, как меня опечалил отъезд бабушки. Перспектива остаться в полном одиночестве в первый раз в жизни меня пугает. Во всем этом большом городе не останется ни единого существа, которое бы действительно мною интересовалось...

Но довольно говорить о моей скучной особе, побеседуем о вас и о Москве. Мне передавали, что вы очень похорошели, и сказала это госпожа Углицкая, и только в этом случае уверен я, что она не солгала: она слишком женщина для этого; она говорит также, что жена ее брата прелестна... В этом я ей не вполне верю, ибо она заинтересована в этой лжи. Что поистине смешно, так это ее желание во что бы то ни стало выказать себя несчастною, чтобы вызвать общее сочувствие, а между тем я уверен, нет в мире женщины, которая была бы менее ее достойна сожаления. В 32 года иметь такой детский характер и воображать, что можешь возбуждать страсти!.. и после этого жаловаться? Она мне также сообщила, что мадемуазель Barbe выходит замуж за господина Бахметева. Не знаю, должен ли я верить ей, но во всяком случае я желаю мадемуазель Barbe жить в супружеском согласии до празднования ее *серебряной* свадьбы и даже долее, если до тех пор она не пресытится!..

Теперь вот вам мои новости. Наталья Алексеевна с чады и домочадцы едет в чужие края!!! тьфу!.. Ну, и хорошее же она даст там представление о наших русских дамах!

Скажите Алексису, что его пассия, мадемуазель Ладыженская, с каждым днем становится все внушительнее!.. Я ему тоже советую еще больше пополнеть, чтобы контраст не был столь разителен. Не знаю, лучшее ли средство добиться прощения надоедать вам? Восьмая страница подходит к концу, и я боюсь начать десятую... Итак, милая и жестокая кузина, прощайте, и если точно вы возвратили мне свое расположение, то известите меня об этом письмом от вашего лакея, ибо я не смею рассчитывать на собственноручную вашу записку.

Итак, прощайте, имею честь быть тем, что ставится в конце письма...

Ваш покорнейший *М. Лермонтов.*

P. S. Засвидетельствуйте, пожалуйста, мое почтение тетенькам, кузинам, кузенам и знакомым.

18. А. М. ГЕДЕОНОВУ

<Петербург, около 20 декабря 1835 г.>

Милостивый государь,
Александр Михайлович.

Возвращенную цензурою мою пьесу «Маскерад» я пополнил четвертым актом, с которым, надеюсь, будет одобрена цензором; а как она еще прежде представления Вам подарена мною г-ну Раевскому, то и новый акт передан ему же для представления цензуре.

Отъезжая на несколько времени из Петербурга, я вновь покорнейше прошу Ваше Превосходительство оказать моему труду высокое внимание Ваше.

С отличным почтением и преданностью честь имею быть Вашего Превосходительства

покорнейший слуга

М. Лермантов.

19. С. А. РАЕВСКОМУ

Тарханы, 16-го января <1836 г.>

Любезный Святослав!

Мне очень жаль, что ты до сих пор ленишься меня уведомить о том, что ты делаешь и что делается в Петербурге. Я теперь живу в Тарханах, в Чембарском уезде (вот тебе адрес на случай, что ты его не знаешь), у бабушки, слушаю, как под окном воет метель (здесь все время ужасные, снег в сажень глубины, лошади вязнут и <...>, и соседи оставляют друг друга в покое, что, в скобках, весьма приятно), ем за десятерых, <...> не могу, потому что девки воняют, пишу четвертый акт новой драмы, взятой из происшествия, случившегося со мною в Москве. О, Москва, Москва, столица наших предков, златоглавая царица России великой, малой, белой, черной, красной, всех цветов, Москва, <.........> преподло со мною поступила. Надо тебе объяснить сначала,

что я влюблен. И что ж я этим выиграл? Одни <....>. Правда, сердце мое осталось покорно рассудку, но в другом не менее важном члене тела происходит гибельное восстание. Теперь ты ясно видишь мое несчастное положение и как друг, верно, пожалеешь, а может быть, и позавидуешь, ибо все то хорошо, чего у нас нет, от этого, верно, и <...> нам нравится. Вот самая деревенская философия.

Я опасаюсь, что моего «Арбенина» снова не пропустили, и этой мысли подало повод твое молчание. Но об этом будет!

Также я боюсь, что лошадей моих не продали и что они тебя затрудняют. Если бы ты об этом раньше написал, то я бы прислал денег для прокормления их и людей, и потом если они не продадутся, то я отсюда не возьму столько лошадей, сколько намереваюсь. Пожалуйста, отвечай, как получишь.

Объявляю тебе еще новость: летом бабушка переезжает жить в Петербург, то есть в июне месяце. Я ее уговорил потому, что она совсем истерзалась, а денег же теперь много, но я тебе объявляю, что мы все-таки не расстанемся.

Я тебе не описываю своего похождения в Москве в наказание за твою излишнюю скромность, — и хорошо, что вспомнил об наказании — сейчас кончу письмо (ты видишь из этого, как я еще добр и великодушен).

М. Лермонтов.

20. Е. А. АРСЕНЬЕВОЙ

<Царское Село, конец марта—первая половина апреля 1836 г.>

Милая бабушка.

Так как время вашего приезда подходит, то я уже ищу квартиру, и карету видел, да высока; Прасковья Николавна Ахвердова в мае сдает свой дом, кажется, что будет для нас годиться, только все далеко. Лошади мои вышли, башкирки так сносны, что чудо,

до Петербурга скачу — а приеду, они и не вспотели; а большими парой, особенно одной, все любуются, — они так выправились, что ожидать нельзя было. Лошадь у генерала я еще не купил, а уже говорил ему об этом, и он согласен. Посылаю вам в оригинале письмо Григорья Васильевича, и я буду дожидаться вашего письма, что ему отвечать; признаюсь вам, я без этого не знал бы, что и писать ему, — как вы рассудите: я боюсь наделать глупостей. Скоро государь, говорят, переезжает в Царское Село — и нам начнется большая служба, и теперь я больше живу в Царском, в Петербурге нечего делать, — я там уж полторы недели не был; все по службе идет хорошо — и я начинаю приучаться к царскосельской жизни.

Пожалуста, растолкуйте мне, что отвечать Григорью Васильевичу.

Прощайте, милая бабушка, будьте здоровы и покойны на мой счет, а я, будьте уверены, все сделаю, чтоб продолжать это спокойствие. Целую ваши ручки и прошу вашего благословения.

Покорный внук

М. Лермонтов.

21. Е. А. АРСЕНЬЕВОЙ

<Петербург, вторая половина апреля 1836 г.>

Милая бабушка.

На днях Марья Акимовна уехала, — я узнал об ее отъезде в Царском, — приехал в город на один вечер, был у нее, но не застал и потому не писал с нею, — вы, верно, получите мое письмо прежде ее приезда, то и не будете беспокоиться, что я с нею <не> пишу к вам.

Я на днях купил лошадь у генерала и прошу вас, если есть деньги, прислать мне 1580 рублей; лошадь славная и стоит больше, — а цена эта не велика.

Насчет квартиры я еще не решился, но есть несколько на примете; в начале мая они будут дешевле по причине отъезда многих на дачу. Я вам, кажется,

писал, что Лизавета Аркадьевна едет нынче весной с Натальей Алексевной в чужие краи на год; теперь это мода, как было некогда в Англии; в Москве около двадцати семейств собираются на будущий год в чужие краи; пожалуйста, бабушка, не мешкайте отъездом: вы, я думаю, получили письмо мое, с которым я посылаю письмо Григорья Васильевича — пожалуйста, объясните мне, что мне лучше ему писать.

Прощайте, милая бабушка, прошу вашего благословения, целую ваши ручки и остаюсь покорный внук.

М. Лермонтов.

22. Е. А. АРСЕНЬЕВОЙ

<Царское Село; конец апреля — начало мая 1836 г>

Милая бабушка.

Полагая, что вы уже в дороге, пишу к вам в Москву; последнее мое письмо от 25-го апреля, я думаю, вас не застанет в деревне, судя по тому, как вы хотели выехать, и к тому ж Андрей получил письмо от жены, где она пишет, что вы думали выехать 20-го апреля, также и то, что не получаю от вас писем, заставляет меня думать, что вы уже в дороге. Также я думаю, милая бабушка, что вы не получили моего письма, где я писал вам о письмах ко мне Григорья Васильевича, — и я все еще жду вашего разрешения, если вы получили. Квартиру я нанял на Садовой улице в доме князя Шаховского, за 2000 рублей, — все говорят, что недорого, смотря по числу комнат. Карета также ждет вас... а мы теперь все живем в Царском; государь и великой князь здесь; каждый день ученье, иногда два.

Ожидаю от вас письма, милая бабушка, оно разрешит мое недоумение.

Прощайте. Целую ваши ручки, прошу вашего благословения и остаюсь покорный внук.

М. Лермантов.

23. С. А. РАЕВСКОМУ

<Петербург, 27 февраля 1837 г.>

Милый мой друг Раевский.

Меня нынче отпустили домой проститься. Ты не можешь вообразить моего отчаяния, когда я узнал, что я виной твоего несчастия, что ты, желая мне же добра, за эту записку пострадаешь. Дубельт говорит, что Клейнмихель тоже виноват... Я сначала не говорил про тебя, но потом меня допрашивали от государя: сказали, что тебе ничего не будет и что если я запрусь, то меня в солдаты... Я вспомнил бабушку... и не смог. Я тебя принес в жертву ей... Что во мне происходило в эту минуту, не могу сказать, — но я уверен, что ты меня понимаешь, и прощаешь, и находишь еще достойным своей дружбы... Кто б мог ожидать!.. Я к тебе заеду непременно. Сожги эту записку.

Твой *M. L.*

24. С. А. РАЕВСКОМУ

<Петербург, первые числа марта 1837 г.>

Любезный друг.

Я видел нынче Краевского; он был у меня и рассказывал мне, что знает про твое дело. Будь уверен, что все, что бабушка может, она сделает... Я теперь почти здоров — нравственно... Была тяжелая минута, но прошла. Я боюсь, что будет с твоей хандрой? Если б я мог только с тобой видеться. Как только позволят мне выезжать, то вторично приступлю к коменданту. Авось позволит проститься. Прощай, твой навеки *M. L.*

25. С. А. РАЕВСКОМУ

<Петербург, первая половина марта 1837 г.>

Любезный друг Святослав.

Ты не можешь вообразить, как ты меня обрадовал своим письмом. У меня было на совести твое несчастье, меня мучила мысль, что ты за меня страдаешь. Дай бог, чтоб твои надежды сбылись. Бабушка хлопочет у Дубельта, и Афанасий Алексеевич также. Что до меня касается, то я заказал обмундировку и скоро еду. Мне комендант, я думаю, позволит с тобой видеться — иначе же я и так приеду. Сегодня мне прислали сказать, чтоб я не выезжал, пока не явлюсь к Клейнмихелю, ибо он теперь и мой начальник. <........>. Я сегодня был у Афанасья Алексеевича, и он меня просил не рисковать без позволения коменданта — и сам хочет просить об этом. Если не позволят, то я все же приеду. Чтó Краевский, на меня пеняет за то, что и ты пострадал за меня? Мне иногда кажется, что весь мир на меня ополчился, и если бы это не было очень лестно, то, право, меня бы огорчило... Прощай, мой друг. Я буду к тебе писать про страну чудес — восток. Меня утешают слова Наполеона: Les grands noms se font à l'Orient [1]. Видишь: всё глупости. Прощай, твой навсегда

M. Lerma.

26. М. А. ЛОПУХИНОЙ

31-го мая <1837 г.>

В точности держу слово и посылаю вам, милый и добрый друг, а также сестре вашей туфельки черкесские, которые обещал вам; их шесть пар, так что поделить их вы легко можете без ссоры; купил их, как только удалось их отыскать; я теперь на водах, пью и принимаю ванны, словом, веду жизнь настоящей утки. Дай бог, чтобы мое письмо еще застало вас в Москве,

---

[1] Знаменитости создаются на Востоке (*франц.*).

а то, если ему придется путешествовать вслед за вами по Европе, может быть, вы получите его в Лондоне, в Париже, в Неаполе, как знать, — во всяком случае в таком месте, где оно вовсе не будет для вас интересно, а от этого сохрани боже и его и меня. У меня здесь славная квартира; каждое утро из окна я смотрю на цепь снежных гор и Эльбрус; вот и теперь, сидя за письмом к вам, я то и дело останавливаюсь, чтобы взглянуть на этих великанов, так они прекрасны и величественны. Надеюсь порядком поскучать все время, покуда останусь на водах, и хотя очень легко завести знакомства, я стараюсь избегать их. Ежедневно брожу по горам и одно это укрепило мне ноги; поэтому я только и делаю, что хожу: ни жара, ни дождь меня не останавливают... Вот примерно мой образ жизни, милый друг; не так уж это хорошо, но... как только я выздоровлю, то отправлюсь в осеннюю экспедицию против черкесов, когда государь будет здесь.

Прощайте, дорогая, желаю вам веселиться в Париже и в Берлине. Получил ли Алексис отпуск? Обнимите его за меня. Прощайте.

Весь ваш *М. Лермонтов.*

P. S. Ради бога, пишите мне и сообщите, понравились ли вам туфельки.

27. Е. А. АРСЕНЬЕВОЙ

<Пятигорск>, 18 июля <1837 г.>

Милая бабушка! пишу к вам по тяжелой почте, потому что третьего дня по экстра-почте не успел, ибо ездил на железные воды и, виноват, совсем забыл, что там письма не принимают; боюсь, чтобы вы не стали беспокоиться, что одну почту нет письма. Эскадрон нашего полка, к которому барон Розен велел меня причислить, будет находиться в Анапе, на берегу Черного моря, при встрече государя, тут же, где отряд Вельяминова, и, следовательно, я с вод не поеду в

Грузию; итак, прошу вас, милая бабушка, продолжайте адресовать письма на имя Павла Ивановича Петрова и напишите к нему: он обещался мне доставлять их туда; иначе нельзя, ибо оттуда сообщение сюда очень трудно и почта не ходит, а депеши с нарочными отправляют. От Алексея Аркадича я получил известия; он здоров, и некоторые офицеры, которые оттуда сюда приехали, мне говорили, что его можно считать лучшим офицером из гвардейских, присланных на Кавказ. То, что вы мне пишете об Гвоздеве, меня не очень удивило; я, уезжая, ему предсказывал, что он будет юнкером у меня во взводе; а впрочем, жаль его.

Здесь погода ужасная: дожди, ветры, туманы; июль хуже петербургского сентября; так что я остановился брать ванны и пить воды до хороших дней. Впрочем, я думаю, что не возобновлю, потому что здоров как нельзя лучше. Для отправления в отряд мне надо будет сделать много покупок, а свои вещи я думаю оставить у Павла Ивановича, то, пожалуйста, пришлите мне денег, милая бабушка; на прожитье здесь мне достанет, а если вы пришлете поздно, то в Анапу трудно доставить. Прощайте, милая бабушка, целую ваши ручки, прошу вашего благословения и остаюсь ваш вечно привязанный к вам и покорный

внук *Михаил.*

Пуще всего не беспокойтесь обо мне; бог даст, мы скоро увидимся.

28. С. А. РАЕВСКОМУ

<Тифлис, вторая половина ноября — начало декабря 1837 г.>

Любезный друг Святослав!

Я полагаю, что либо мои два письма пропали на почте, либо твои ко мне не дошли, потому что с тех пор, как я здесь, я о тебе знаю только из писем бабушки.

Наконец, меня перевели обратно в гвардию, но только в Гродненский полк, и если бы не бабушка, то, по совести сказать, я бы охотно остался здесь, потому что вряд ли Поселение веселее Грузии.

С тех пор как выехал из России, поверишь ли, я находился до сих пор в беспрерывном странствовании, то на перекладной, то верхом; изъездил Линию всю вдоль, от Кизляра до Тамани, переехал горы, был в Шуше, в Кубе, в Шемахе, в Кахетии, одетый по-черкесски, с ружьем за плечами; ночевал в чистом поле, засыпал под крик шакалов, ел чурек, пил кахетинское даже...

Простудившись дорогой, я приехал на воды весь в ревматизмах; меня на руках вынесли люди из повозки, я не мог ходить — в месяц меня воды совсем поправили; я никогда не был так здоров, зато веду жизнь примерную, пью вино только тогда, когда где-нибудь в горах ночью прозябну, то, приехав на место, греюсь... Здесь, кроме войны, службы нету; я приехал в отряд слишком поздно, ибо государь нынче не велел делать вторую экспедицию, и я слышал только два, три выстрела; зато два раза в моих путешествиях отстреливался: раз ночью мы ехали втроем из Кубы, я, один офицер нашего полка и черкес (мирный, разумеется), — и чуть не попались шайке лезгин. Хороших ребят здесь много, особенно в Тифлисе есть люди очень порядочные; а что здесь истинное наслаждение, так это татарские бани! Я снял на скорую руку виды всех примечательных мест, которые посещал, и везу с собою порядочную коллекцию; одним словом, я вояжировал. Как перевалился через хребет в Грузию, так бросил тележку и стал ездить верхом; лазил на снеговую гору (Крестовая) на самый верх, что не совсем легко; оттуда видна половина Грузии как на блюдечке, и, право, я не берусь объяснить или описать этого удивительного чувства: для меня горный воздух — бальзам; хандра к черту, сердце бьется, грудь высоко дышит — ничего не надо в эту минуту: так сидел бы да смотрел целую жизнь.

Начал учиться по-татарски, язык, который здесь и вообще в Азии необходим, как французский в Европе, — да жаль, теперь не доучусь, а впоследствии

могло бы пригодиться. Я уже составлял планы ехать в Мекку, в Персию и проч., теперь остается только проситься в экспедицию в Хиву с Перовским.

Ты видишь из этого, что я сделался ужасным бродягой, а право, я расположен к этому роду жизни. Если тебе вздумается отвечать мне, то пиши в Петербург; увы, не в Царское Село; скучно ехать в новый полк, я совсем отвык от фронта и серьезно думаю выйти в отставку.

Прощай, любезный друг, не позабудь меня и верь все-таки, что самой моей большой печалью было то, что ты через меня пострадал.

Вечно тебе преданный

М. Лермонтов.

29. П. И. ПЕТРОВУ

<Петербург, 1 февраля 1838 г.>

Любезный дядюшка
Павел Иванович.

Наконец, приехав в Петербург, после долгих странствований и многих *плясок* в Москве, я благословил, во-первых, всемогущего аллаха, разостлал ковер отдохновения, закурил чубук удовольствия и взял в руки перо благодарности и приятных воспоминаний.

Бабушка выздоровела от моего приезда и надеется, что со временем меня опять переведут в лейб-гусары; и теперь я еще здесь обмундировываюсь; но мне скоро грозит приятное путешествие в *великий* Новгород, *ужасный* Новгород.

Ваше письмо я отдал в руки дядюшке Афанасью Алексеевичу, которого нашел в Москве. Я в восторге, что могу похвастаться своею аккуратностью перед вами, которые видели столько раз во мне противное качество или порок, как угодно.

Боюсь, что письмо мое не застанет вас в Ставрополе, но, не зная, как вам адресовать в Москву, пускаюсь на удалую, и великий пророк да направит стопы почтальона.

С искреннейшею благодарностию за все ваши попечения о моем ветреном существе, имею честь прикладывать к *сему* письму 1050 руб., которые вы мне одолжили.

Пожалуйста, любезный дядюшка, скажите милым кузинам, что я целую у них ручки и прошу меня не забывать,

— остаюсь всей душою преданный вам

М. Лермонтов.

30. М. А. Лопухиной

15 февраля <1838 г>

Пишу вам, милый друг, накануне отъезда в Новгород; я все поджидал, не случится ли со мною чего хорошего, чтобы сообщить вам о том, но ничего такого не случилось, и я решаюсь писать вам, что мне смертельно скучно. Первые дни после приезда прошли в непрерывной беготне: представления, парадные визиты — вы знаете; да еще каждый день ездил в театр: он действительно очень хорош, но мне уже надоел; вдобавок меня преследуют все эти милые родственники! Не хотят, чтобы я бросил службу, хотя я уже мог бы это сделать: ведь те господа, которые вместе со мною поступили в гвардию, теперь уже там не служат. Наконец, я порядком пал духом и хочу даже как можно скорее бросить Петербург и отправиться куда бы то ни было, хоть в полк ли, хоть к черту; тогда по крайней мере у меня будет предлог жаловаться, а это утешение не хуже всякого другого.

С вашей стороны не хорошо, что вы всегда ожидаете моего письма, чтобы писать мне; можно подумать, что вы возгордились; что касается Алексиса, то это не удивительно, потому что на днях он женится, как здесь уверяют, на какой-то богатой купчихе, и понятно, что у меня нет надежды занимать в его сердце такое же место, какое он отводит толстой оптовой купчихе.

Он обещался написать мне через два дня после моего отъезда из Москвы; но, может быть, забыл мой адрес, вот ему два:

1) В С.-Петерб<ург>: у Пантелеймоновского моста на Фонтанке, против Летнего сада, в доме Венецкой.

2) В Новгородскую губернию, в первый округ военных поселений в штаб *Лейб-гвардии* Гродненского гусарского полка.

Если и после этого он мне не напишет, прокляну его и его толстую оптовую купчиху: я уже занят составлением этого проклятия. Боже! вот беда иметь друзей, которые собираются жениться.

Приехав сюда, я нашел дома целый ворох сплетен. Я навел порядок, поскольку это возможно, когда имеешь дело с тремя или четырьмя женщинами, которым ничего не втолкуешь; простите, что я так говорю о вашем прекрасном поле, но увы! раз я вам это говорю, это как раз доказывает, что вас я считаю исключением. Когда я возвращаюсь домой, я только и слышу, что истории, истории, жалобы, упреки, подозрения, выводы; это отвратительно, для меня особенно, потому что я отвык от этого на Кавказе, где общество дам — редкость или же они мало разговорчивы (в особенности грузинки: они не говорят по-русски, а я по-грузински).

Прошу вас, милая Мари, пишите мне немножко, пожертвуйте собой, пишите мне всегда, не будьте церемонны: вы должны быть выше этого. Ведь если иногда я и медлю с ответом, это, право, значит, что мне нечего сказать либо у меня слишком много дела — обе причины уважительные.

Я был у Жуковского и отнес ему, по его просьбе, «Тамбовскую казначейшу»; он повез ее Вяземскому, чтобы прочесть вместе; им очень понравилось, ее напечатают в ближайшем номере «Современника».

Бабушка надеется, что меня скоро переведут в царскосельские гусары, бог знает на каком основании ей подали эту надежду; оттого она не соглашается, чтобы я вышел в отставку; что касается меня, то я ровно ни на что не надеюсь.

В заключение этого письма посылаю вам стихотворение, которое случайно нашел в моих дорожных бумагах, оно мне довольно нравится, именно потому, что я совсем забыл его — впрочем, это ровно ничего не доказывает.

МОЛИТВА СТРАННИКА

Я, матерь божия, ныне с молитвою,
Пред твоим образом, — ярким сиянием, —
Не о спасении, не перед битвою,
Не с благодарностью иль покаянием;

Не за свою молю душу пустынную,
За̀ душу странника в свете безродного:
Но я вручить хочу деву невинную
Теплой заступнице мира холодного.

Окружи счастием счастья достойную,
Дай ты ей спутников полных внимания,
Молодость светлую, старость покойную, —
Сердцу незлобному мир упования;

Срок ли приблизится часу прощальному,
В утро ли шумное, в ночь ли безгласную,
Ты восприять пошли к ложу печальному
Лучшего ангела душу прекрасную.

Прощайте, милый друг, обнимите Алексиса и скажите, что стыдно ему; скажите то же и мадемуазель Мари Лопухиной.

Лерма.

31. С. А. РАЕВСКОМУ

Июня 8 дня <1838 г.>

Любезный друг Святослав.

Твое последнее письмо огорчило меня: ты сам знаешь почему; но я тебя от души прощаю, зная твои расстроенные нервы. Как мог ты думать, чтоб я шутил твоим спокойствием или говорил такие вещи, чтобы

отвязаться. Главное то, что я совсем этого не говорил или пусть говорил, да не про то. Я сказал, что отзыв *непокорен к начальству* повредит тебе тогда, когда ты еще здесь сидел под арестом, и что без этого ты, может быть, остался бы здесь.

Я слышал здесь, что ты просился к водам и что просьба препровождена к военному министру, но резолюции не знаю; если ты поедешь, то, пожалуйста, напиши, куда и когда. Я здесь по-прежнему скучаю: как быть? покойная жизнь для меня хуже. Я говорю *покойная,* потому что ученье и маневры производят только усталость. Писать не пишу, печатать хлопотно, да и пробовал, но неудачно.

Роман, который мы с тобою начали, затянулся и вряд ли кончится, ибо обстоятельства, которые составляли его основу, переменились, а я, знаешь, не могу в этом случае отступить от истины.

Если ты поедешь на Кавказ, то это, я уверен, принесет тебе много пользы физически и нравственно: ты вернешься поэтом, а не экономо-политическим мечтателем, что для души и для тела здоровее. Не знаю, как у вас, а здесь мне после Кавказа все холодно, когда другим жарко, а уж здоровее того, как я теперь, кажется, быть невозможно. О Юрьеве скажу тебе: вообрази, влюбился в актрису, вышел в отставку, живет у Балабина, табак и чай уж в долг не дают, и 30 000 долгу, и вон из города не выпускают, — видишь: у всякого свои несчастия.

Прощай, любезный друг, и прошу тебя, будь уверен во мне и думай, что я никогда не скажу и не сделаю ничего тебе огорчительного. Прощай, милый друг, бабушка также к тебе пишет

М. Лермонтов.

32. *М. А. Лопухиной*

<Конец 1838 г.>

Давно уж я не писал вам, милый и добрый друг, а вы ничего не сообщали мне ни о вашей дорогой особе, ни о всех ваших; поэтому надеюсь, что ответа

на это письмо долго ждать не придется. Это звучит самоуверенно, скажете вы, но вы ошибетесь. Я знаю, вы убеждены, что ваши письма доставляют мне большое удовольствие, раз вы пользуетесь молчанием как средством наказать меня; но наказания этого я не заслуживаю, потому что постоянно думал о вас; вот доказательство: просил отпуска на полгода — отказали, на 28 дней — отказали, на 14 дней — великий князь и тут отказал; все это время я надеялся увидеть вас; сделаю еще одну попытку — дай бог, чтоб она удалась. Надо вам сказать, что я самый несчастный человек, и вы поверите мне, когда узнаете, что я каждый день езжу на балы: я пустился в *большой* свет; в течение месяца на меня была мода, меня буквально разрывали. Это по крайней мере откровенно. Весь этот свет, который я оскорблял в своих стихах, старается осыпать меня лестью; самые хорошенькие женщины выпрашивают у меня стихи и хвастаются ими, как величайшей победой. Тем не менее я скучаю. Просился на Кавказ — отказали. Не хотят даже, чтобы меня убили. Может быть, эти жалобы покажутся вам, милый друг, неискренними; может быть, вам покажется странным, что я гонюсь за удовольствиями, чтобы скучать, слоняюсь по гостиным, когда я там не нахожу ничего интересного? Ну, так я открою вам свои побуждения: вы знаете, что мой самый большой недостаток — это тщеславие и самолюбие; было время, когда я в качестве новичка искал доступа в это общество; это мне не удалось: двери аристократических салонов были для меня закрыты; а теперь в это же самое общество я вхожу уже не как проситель, а как человек, добившийся своих прав; я возбуждаю любопытство, предо мною заискивают, меня всюду приглашают, а я и вида не подаю, что хочу этого; женщины, желающие, чтобы в их салонах собирались замечательные люди, хотят, чтобы я бывал у них, потому что я ведь тоже *лев*, да, я, ваш Мишель, добрый малый, у которого вы и не подозревали гривы. Согласитесь, что все это может опьянить. К счастью, моя природная лень берет верх, и мало-помалу я начинаю находить все это более, чем несносным. Этот

новый опыт принес мне пользу, потому что дал мне в руки оружие против этого общества, и если оно когда-нибудь станет преследовать меня клеветой (а это непременно случится), то у меня по крайней мере найдется средство отомстить; нигде ведь нет столько низкого и смешного, как там. Я уверен, что вы никому не передадите моего хвастовства; меня сочли бы, что я еще смешнее других; с вами же я говорю как со своей совестью, а потом, так приятно исподтишка посмеяться над тем, чего так добиваются и чему так завидуют глупцы, — с человеком, который заведомо всегда готов разделить ваши чувства; я имею в виду вас, милый друг, и повторяю это, ибо это место моего письма несколько неясно.

Но вы мне напишете, не правда ли? Я уверен, что вы не писали мне по какой-нибудь важной причине. Не больны ли вы? Не болен ли кто в семье? Боюсь, что так. Мне говорили что-то в этом роде. На следующей неделе жду вашего ответа и надеюсь, что он будет не короче моего письма и уж, наверно, лучше написан. Боюсь, что не разберете моего маранья.

Прощайте, милый друг; может быть, если богу угодно будет вознаградить меня, я добьюсь отпуска и тогда во всяком случае получу какой бы то ни было ответ.

Поклонитесь от меня всем, кто меня не забыл.

Весь ваш

М. Лермонтов.

33. А. П. Шувалову

<Весна 1838 — весна 1840 г.>

Дорогой граф!

Сделайте мне удовольствие, предоставьте мне вашего пса Монго, чтобы продлить породу, которая у меня уже повелась от него. Вы меня чрезвычайно обяжете.

Преданный Вам *Лермонтов.*

34. А. А. ЛОПУХИНУ

<Петербург, конец февраля — первая половина марта 1839 г.>

Милый Алексис.

Я был болен и оттого долго тебе не отвечал и не поздравлял тебя, но верь мне, что я искренне радуюсь твоему счастию и поздравляю тебя и милую твою жену. Ты нашел, кажется, именно ту узкую дорожку, через которую я перепрыгнул и отправился целиком. Ты дошел до цели, а я никогда не дойду: засяду где-нибудь в яме, и поминай как звали, да еще будут ли поминать? Я похож на человека, который хотел отведать от всех блюд разом, сытым не наелся, а получил индижестию, которая вдобавок, к несчастию, разрешается стихами. Кстати о стихах; я исполнил обещание и написал их твоему наследнику, они самые нравоучительные (à l'usage des enfants [1]):

Ребенка милого рожденье
Приветствует мой запоздалый стих.
Да будет с ним благословенье
Всех ангелов небесных и земных!
Да будет он отца достоин;
Как мать его, прекрасен и любим;
Да будет дух его спокоен
И в правде тверд, как божий херувим!
Пускай не знает он до срока
Ни мук любви, ни славы жадных дум;
Пускай глядит он без упрека
На ложный блеск и ложный мира шум;
Пускай не ищет он причины
Чужим страстям и радостям своим,
И выйдет он из светской тины
Душою бел и сердцем невредим!

Je désire, que le sujet de ces vers ne soit pas un mauvais sujet... [2]

---

[1] для детского возраста (*франц.*).

[2] Я хотел бы, чтобы предмет этих стихов не стал бы негодником (непереводимая игра слов) (*франц.*).

Увы! каламбур лучше стихов! Ну да все равно! Если он вышел из пустой головы, то по крайней мере стихи из полного сердца. Тот, кто играет словами, не всегда играет чувствами, и ты можешь быть уверен, дорогой Алексис, что я так рад за тебя, что завтра же начну сочинять новую арию для твоего маленького крикуна.

Напиши, пожалуйста, милый друг, еще тотчас, что у вас делается; я три раза зимой просился в отпуск в Москву к вам, хоть на 14 дней, — не пустили! Что, брат, делать! Вышел бы в отставку, да бабушка не хочет — надо же ей чем-нибудь пожертвовать. Признаюсь тебе, я с некоторого времени ужасно упал духом.

35. А. И. ТУРГЕНЕВУ

<Петербург, вторая половина декабря 1839 г.>

Милостивый государь
Александр Иванович!

Посылаю Вам ту строфу, о которой Вы мне вчера говорили, для *известного употребления,* если будет такова ваша милость.

...Его убийца хладнокровно
Навел удар — спасенья нет!
Пустое сердце бьется ровно,
В руке не дрогнул пистолет.
И что за диво? — из далека,
Подобный сотне беглецов,
На ловлю денег и чинов,
Заброшен к нам по воле рока,
Смеясь, он дерзко презирал
Чужой земли язык и нравы;
Не мог щадить он нашей славы,
Не мог понять в сей миг кровавый,
На что̀ он руку поднимал!

За сим остаюсь навсегда вам преданный и благодарный

Лермонтов.

36. К. Ф. ОПОЧИНИНУ

<Петербург или Царское Село, январь — начало марта 1840 г.>

О милый и любезный Опочинин! *И* вчера вечером, когда я вернулся от вас, мне сообщили со всеми возможными предосторожностями роковую весть. *И* сейчас, в то время, когда вы будете читать эту записку, меня не будет . . . .
. . . . (переверните)
в Петербурге. Ибо я несу караул. *И посему* (стиль библейский и наивный) верьте моему искреннему сожалению, что не мог вас навестить.

И весь ваш *Лермонтов.*

37. Н. Ф. ПЛАУТИНУ

<Начало марта 1840 г.>

Ваше превосходительство,
милостивый государь!

Получив от Вашего превосходительства приказание объяснить Вам обстоятельства поединка моего с господином Барантом, честь имею донести Вашему превосходительству, что 16-го февраля на бале у графини Лаваль господин Барант стал требовать у меня объяснения насчет будто мною сказанного; я отвечал, что все ему переданное несправедливо, но так как он был этим недоволен, то я прибавил, что дальнейшего объяснения давать ему не намерен. На колкий его ответ я возразил такою же колкостию, на что он сказал, что если б находился в своем отечестве, то знал бы, как кончить дело; тогда я отвечал, что в России следуют правилам чести так же строго, как и везде, и что мы меньше других позволяем себя оскорблять безнаказанно. Он меня вызвал, мы условились и расстались. 18-го числа в воскресенье в 12 часов утра съехались мы за Черною речкой на Парголовской дороге. Его секундантом был француз, которого имени я не помню и которого никогда до сего

не видал. Так как господин Барант почитал себя обиженным, то я предоставил ему выбор оружия. Он избрал шпаги, но с нами были также и пистолеты. Едва успели мы скрестить шпаги, как у моей конец переломился, а он мне слегка оцарапал грудь. Тогда взяли мы пистолеты. Мы должны были стрелять вместе, но я немного опоздал. Он дал промах, а я выстрелил уже в сторону. После сего он подал мне руку, и мы разошлись.

Вот, Ваше превосходительство, подробный отчет всего случившегося между нами.

С истинною преданностию честь имею пребыть
Вашего превосходительства покорнейший слуга

Михайла *Лермонтов.*

38. С. А. СОБОЛЕВСКОМУ

<Петербург, середина марта 1840 г.>

Я очень огорчен, дорогой Соболевский, что не могу сегодня воспользоваться вашим приглашением, обществом и ростбифом; надеюсь, вы простите мне, что я нарушил свое слово, в связи с моим теперешним положением, которое отнюдь не является независимым.

Весь ваш *Лермонтов.*

39. С. А. СОБОЛЕВСКОМУ

<Петербург, конец марта — середина апреля 1840 г.>

Любезный Signor Соболевский, пришли мне, пожалуйста, *с сим* кучером «Sous les tilleuls» [1] да заходи потом сам, если успеешь; я в ордонансгаузе, наверху в особенной квартире; надо только спросить плац-майора.

Твой *Лермонтов.*

---

[1] «Под липами» *(франц.).*

40. А. И. Философову

<Петербург, середина апреля 1840 г.>

Дорогой дядя, осмеливаюсь умолять вас ходатайствовать о моем деле, которое только вы можете уладить, и я уверен, что вы не откажете мне в вашем покровительстве. Бабушка опасно больна, настолько, что не могла даже написать мне об этом; слуга пришел за мною, думая, что я уже освобожден. Я просил у коменданта всего несколько часов, чтобы проведать ее, писал генералу, но так как это зависит от великого князя, то они ничего не могли сделать.

Пожалейте если не меня, то бабушку, и добейтесь для меня одного дня, ибо время не терпит...

Мне нет необходимости говорить вам о моей признательности и моем горе, так как ваше сердце вполне поймет меня.

Преданный вам всецело

М. Лермонтов.

41. В. кн. Михаилу Павловичу

<Петербург, 20—27 апреля 1840 г.>

Ваше императорское высочество!

Признавая в полной мере вину мою и с благоговением покоряясь наказанию, возложенному на меня его императорским величеством, я был ободрен до сих пор надеждой иметь возможность усердною службой загладить мой проступок, но, получив приказание явиться к господину генерал-адъютанту графу Бенкендорфу, я из слов его сиятельства увидел, что на мне лежит еще обвинение в ложном показании, самое тяжкое, какому может подвергнуться человек, дорожащий своей честью. Граф Бенкендорф предлагал мне написать письмо к Баранту, в котором бы я просил извиненья в том, что несправедливо показал в суде, что выстрелил на воздух. Я не мог на то согласиться, ибо это было бы против моей совести; но теперь мысль, что его императорское величество и ваше императорское высочество, может быть, разделяете сомнение

в истине слов моих, мысль эта столь невыносима, что я решился обратиться к вашему императорскому высочеству, зная великодушие и справедливость вашу и будучи уже не раз облагодетельствован вами; и просить вас защитить и оправдать меня во мнении его императорского величества, ибо в противном случае теряю невинно и невозвратно имя благородного человека.

Ваше императорское высочество позволите сказать мне со всею откровенностию: я искренно сожалею, что показание мое оскорбило Баранта: я не предполагал этого, не имел этого намерения; но теперь не могу исправить ошибку посредством лжи, до которой никогда не унижался. Ибо, сказав, что выстрелил на воздух, я сказал истину, готов подтвердить оную честным словом, и доказательством может служить то, что на месте дуэли, когда мой секундант, отставной поручик Столыпин, подал мне пистолет, я сказал ему именно, что выстрелю на воздух, что и подтвердит он сам.

Чувствуя в полной мере дерзновение мое, я, однако, осмеливаюсь надеяться, что ваше императорское высочество соблаговолите обратить внимание на горестное мое положение и заступлением вашим восстановить мое доброе имя во мнении его императорского величества и вашем.

С благоговейною преданностию имею счастие пребыть

вашего императорского высочества
всепреданнейший
Михаил *Лермонтов.*

Тенгинского пехотного полка поручик.

42. А. А. ВАДКОВСКОЙ

<Москва, май 1840 г.>

Благодарю вас за адрес дома, который вечно будет мне дорог; прошу милую кузину не забывать меня и умоляю ее оставить за мной мазурку.

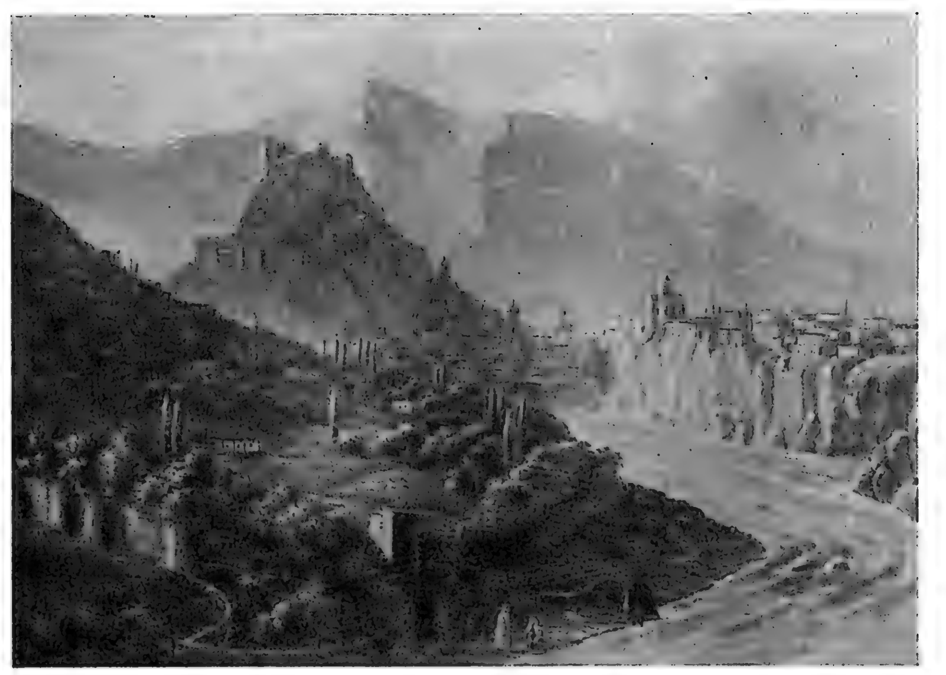
Преданный вам
Лермонтов.

43. А. А. ЛОПУХИНУ

<Ставрополь>, 17 июня <1840 г.>

О милый Алексис!

Завтра я еду в действующий отряд на левый фланг, в Чечню брать пророка Шамиля, которого, надеюсь, не возьму, а если возьму, то постараюсь прислать тебе по пересылке. Такая каналья этот пророк! Пожалуйста, спусти его с Аспелинда; они там в Чечне не знают индийских петухов, так авось это его испугает. Я здесь, в Ставрополе, уже с неделю и живу вместе с графом Ламбертом, который также едет в экспедицию и который вздыхает по графине Зубовой, о чем прошу ей всеподданнейше донести. И мы оба так вздыхаем, что кишочки наши чересчур наполнились воздухом, отчего происходят разные приятные звуки... Я здесь от жару так слаб, что едва держу перо. Доро́гой я заезжал в Черкаск к генералу Хомутову и прожил у него три дня, и каждый день был в театре. Что за *феатр!* Об этом стоит рассказать: смотришь на сцену — и ничего не видишь, ибо перед носом стоят сальные свечи, от которых глаза лопаются; смотришь назад — ничего не видишь, потому что темно; смотришь направо — ничего не видишь, потому что ничего нет; смотришь налево — и видишь в ложе полицмейстера; оркестр составлен из четырех кларнетов, двух контрабасов и одной скрипки, на которой пилит сам капельмейстер, и этот капельмейстер примечателен тем, что глух, и когда надо начать или кончать, то первый кларнет дергает его за фалды, а контрабас бьет такт смычком по его плечу. Раз, по личной ненависти, он его так хватил смычком, что тот обернулся и хотел пустить в него скрипкой, но в эту минуту кларнет дернул его за фалды, и капельмейстер упал навзничь головой прямо в барабан и проломил кожу; но в азарте вскочил и хотел продолжать бой — и что же! о ужас! на голове его вместо кивера торчит барабан. Публика была в восторге, занавес опустили, а оркестр отправили на съезжую. В продолжение этой потехи я все



Тифлис

С картины Лермонтова



Тифлис. Замок Метехи

Рисунок Лермонтова

ждал, что будет? Так-то, мой милый Алеша! Но здесь, в Ставрополе, таких удовольствий нет; зато ужасно жарко. Вероятно, письмо мое тебя найдет в Сокольниках. Между прочим, прощай: ужасно я устал и слаб. Поцелуй за меня ручку у Варвары Александровны и будь благонадежен. Ужасно устал... Жарко... Уф!

Лермонтов.

44. А. А. ЛОПУХИНУ

Пятигорск, <12> сентября 1840 г.

Мой милый Алеша.

Я уверен, что ты получил письма мои, которые я тебе писал из действующего отряда в Чечне, но уверен также, что ты мне не отвечал, ибо я ничего о тебе не слышу письменно. Пожалуйста, не ленись; ты не можешь вообразить, как тяжела мысль, что друзья нас забывают. С тех пор как я на Кавказе, я не получал ни от кого писем, даже из дому не имею известий. Может быть, они пропадают, потому что я не был нигде на месте, а шатался все время по горам с отрядом. У нас были каждый день дела, и одно довольно жаркое, которое продолжалось 6 часов сряду. Нас было всего 2 000 пехоты, а их до 6 тысяч; и все время дрались штыками. У нас убыло 30 офицеров и до 300 рядовых, а их 600 тел осталось на месте — кажется, хорошо! — вообрази себе, что в овраге, где была потеха, час после дела еще пахло кровью. Когда мы увидимся, я тебе расскажу подробности очень интересные, — только бог знает, когда мы увидимся. Я теперь вылечился почти совсем и еду с вод опять в отряд в Чечню. Если ты будешь мне писать, то вот адрес: «на Кавказскую линию, в действующий отряд генерал-лейтенанта Голофеева, на левый фланг». Я здесь проведу до конца ноября, а потом не знаю, куда отправлюсь — в Ставрополь, на Черное море или в Тифлис. Я вошел во вкус войны и уверен, что для человека, который привык к сильным ощущениям этого банка, мало найдется удовольствий, которые бы не показались приторными.

Только скучно то, что либо так жарко, что насилу ходишь, либо так холодно, что дрожь пробирает, либо есть нечего, либо денег нет, — именно что со мною теперь. Я прожил все, а из дому не присылают. Не знаю, почему от бабушки ни одного письма. Не знаю, где она, в деревне или в Петербурге. Напиши, пожалуйста, видел ли ты ее в Москве. Поцелуй за меня ручку у Варвары Александровны и прощай. Будь здоров и счастлив.

Твой *Лермонтов*.

45. А. А. ЛОПУХИНУ

<Крепость Грозная, 16—26 октября 1840 г.>

Милый Алеша.

Пишу тебе из крепости Грозной, в которую мы, то есть отряд, возвратились после 20-дневной экспедиции в Чечне. Не знаю, что будет дальше, а пока судьба меня не очень обижает: я получил в наследство от Дорохова, которого ранили, отборную команду охотников, состоящую изо ста казаков — разный сброд, волонтеры, татары и проч., это нечто вроде партизанского отряда, и если мне случится с ним удачно действовать, то авось что-нибудь дадут; я ими только четыре дня в деле командовал и не знаю еще хорошенько, до какой степени они надежны; но так как, вероятно, мы будем еще воевать целую зиму, то я успею их раскусить. Вот тебе обо мне самое интересное.

Писем я ни от тебя, ни от кого другого уж месяца три не получал. Бог знает что с вами сделалось; забыли, что ли? или пропадают? Я махнул рукой. Мне тебе нечего много писать: жизнь наша здесь вне войны однообразна; а описывать экспедиции не велят. Ты видишь, как я покорен законам. Может быть, когда-нибудь я засяду у твоего камина и расскажу тебе долгие труды, ночные схватки, утомительные перестрелки, все картины военной жизни, которых я был свидетелем. Варвара Александровна будет зевать за пяльцами и, наконец, уснет от моего рассказа, а тебя вызовет в

другую комнату управитель, и я останусь один и буду доканчивать свою историю твоему сыну, который сделает мне кака на колена... Сделай одолжение, пиши ко мне как можно больше. Прощай, будь здоров с чадами и *домочадцами* и поцелуй за меня ручку у своей *сожительницы*.

Твой *Лермонтов*.

46. А. И. БИБИКОВУ

<Петербург, вторая половина февраля 1841 г.>

Милый Биби.

Насилу собрался писать к тебе; начну с того, что объясняю тайну моего отпуска: бабушка моя просила о прощении моем, а мне дали отпуск; но я скоро еду опять к вам, и здесь остаться у меня нет никакой надежды, ибо я сделал вот какие беды: приехав сюда, в Петербург, на половине масленицы, я на другой же день отправился на бал к г-же Воронцовой, и это нашли неприличным и дерзким. Что делать? Кабы знал, где упасть, соломки бы подослал; обществом зато я был принят очень хорошо, и у меня началась новая драма, которой завязка очень замечательная, зато развязки, вероятно, не будет, ибо 9-го марта отсюда уезжаю заслуживать себе на Кавказе отставку; из Валерикского представления меня здесь вычеркнули, так что даже я не буду иметь утешения носить красной ленточки, когда надену штатский сюртук.

Я был намедни у твоих, и они все жалуются, что ты не пишешь; и, взяв это в рассмотрение, я уже не смею тебя упрекать. Мещеринов, верно, прежде меня приедет в Ставрополь, ибо я не намерен очень торопиться; итак, не продавай удивительного лова, ни кровати, ни седел; верно, отряд не выступит прежде 20 апреля, а я к тому времени непременно буду. Покупаю для общего нашего обихода Лафатера и Галя и множество других книг.

Прощай, мой милый, будь здоров.

Твой *Лермонтов*.

47. А. А. КРАЕВСКОМУ

<Петербург, 13—14 апреля 1841 г.>

Любезный Андрей Александрович.

Очень жалею, что не застал уже тебя у Одоевского и не мог, таким образом, с тобою проститься; сделай одолжение: отдай подателю сего письма для меня два билета на «О<течественные> Записки». Это для бабушки моей.

Будь здоров и счастлив.

Твой *Лермонтов.*

48. Е. А. АРСЕНЬЕВОЙ

<Москва, 19 апреля 1841 г.>

Милая бабушка.

Жду с нетерпением письма от вас с каким-нибудь известием; я в Москве пробуду несколько дней, остановился у Розена; Алексей Аркадич здесь еще; и едет послезавтра. Я здесь принят был обществом, по обыкновению, очень хорошо — и мне довольно весело; был вчера у Николая Николаевича Анненкова и завтра у него обедаю; он был со мною очень любезен. Вот все, что я могу вам сказать про мою здешнюю жизнь; еще прибавлю, что я от здешнего воздуха потолстел в два дни; решительно Петербург мне вреден; может быть, также я поздоровел оттого, что всю дорогу пил горькую воду, которая мне всегда очень полезна. Скажите, пожалуста, от меня Екиму Шангирею, что я ему напишу перед отъездом отсюда и кое-что пришлю. Вероятно, Сашенькина свадьба уж была, и потому прошу вас ее поздравить от меня; а Леокадии скажите от меня, что я ее целую. и желаю исправиться, и быть *как можно осторожнее вообще.*

Прощайте, милая бабушка, будьте здоровы и уверены, что бог вас вознаградит за все печали. Целую ваши ручки, прошу вашего благословения и остаюсь покорный внук

М. Лермонтов.

49. Е. А. АРСЕНЬЕВОЙ

<Ставрополь, 9—10 мая 1841 г.>

Милая бабушка.

Я сейчас приехал только в Ставрополь и пишу к вам; ехал я с Алексеем Аркадьевичем, и ужасно долго ехал, дорога была прескверная, теперь не знаю сам еще, куда поеду; кажется, прежде отправлюсь в крепость Шуру, где полк, а оттуда постараюсь на воды. Я, слава богу, здоров и спокоен, лишь бы вы были так спокойны, как я: одного только и желаю; пожалуйста, оставайтесь в Петербурге: и для вас и для меня будет лучше во всех отношениях. Скажите Екиму Шангирею, что я ему не советую ехать в Америку, как он располагал, а уж лучше сюда, на Кавказ. Оно и ближе и гораздо веселее.

Я все надеюсь, милая бабушка, что мне все-таки выйдет прощенье и я могу выйти в отставку.

Прощайте, милая бабушка, целую ваши ручки и молю бога, чтоб вы были здоровы и спокойны, и прошу вашего благословения.

Остаюсь п<окорный> внук *Лермонтов.*

50. С. Н. КАРАМЗИНОЙ

<Ставрополь>, 10 мая <1841 г.>

Я только что приехал в Ставрополь, дорогая мадемуазель Софи, и отправляюсь в тот же день в экспедицию с Столыпиным Монго. Пожелайте мне счастья и легкого ранения, это самое лучшее, что только можно мне пожелать. Надеюсь, что это письмо

застанет вас еще в С.-Петерб<урге> и что в тот момент, когда вы будете его читать, я буду штурмовать Черкей. Так как вы обладаете глубокими познаниями в географии, то я не предлагаю вам смотреть на карту, чтоб узнать, где это; но, чтобы помочь вашей памяти, скажу вам, что это находится между Каспийским и Черным морем, немного к югу от Москвы и немного к северу от Египта, а главное, довольно близко от Астрахани, которую вы так хорошо знаете.

Я не знаю, будет ли это продолжаться; но во время моего путешествия мной овладел демон поэзии, или — стихов. Я заполнил половину книжки, которую мне подарил Одоевский, что, вероятно, принесло мне счастье. Я дошел до того, что стал сочинять французские стихи, — о падение! Если позволите, я напишу вам их здесь; они очень красивы для первых стихов и в жанре Парни, если вы его знаете.

L'ATTENTE

Je l'attends dans la plaine sombre;
Au loin je vois blanchir une ombre,
Une ombre, qui vient doucement...
Eh non! — trompeuse espérance! —
C'est un vieux saule, gui balance
Son tronc desséché et luisant.
Je me penche, et longtemps j'écoute:

Ie crois entendre sur la route
Le son, qu'un pas léger produit...
Non, ce n'est rien! C'est dans la mousse
Le bruit d'une feuille, que pousse
Le vent parfumé de la nuit.

Rempli d'une amère tristesse,
Je me couche dans l'herbe épaisse
Et m'endors d'un sommeil profond...
Tout-à-coup, tremblant je m'éveille:
Sa voix me parlait à l'oreille,
Sa bouche me baisait au front.[1]

Вы можете видеть из этого, какое благотворное влияние оказала на меня весна, чарующая пора, когда по уши тонешь в грязи, а цветов меньше всего. Итак, я уезжаю вечером; признаюсь вам, что я порядком устал от всех этих путешествий, которым, кажется, суждено вечно длиться. Я хотел написать еще кое-кому в Петербург, в том числе и г-же Смирновой, но не знаю, будет ли ей приятен этот дерзкий поступок, и поэтому воздерживаюсь. Если вы ответите мне, пишите по адресу: в Ставрополь, в штаб генерала Грабе, — я распорядился, чтобы мне пересылали письма. Прощайте; передайте, пожалуйста, всем вашим мое почтение; еще раз прощайте — будьте здоровы, счастливы и не забывайте меня.

Весь ваш *Лермонтов.*

51. Е. А. АРСЕНЬЕВОЙ

<Пятигорск>, июня 28 <1841 г.>

Милая бабушка.

Пишу к вам из Пятигорска, куды я опять заехал и где пробуду несколько времени для отдыху. Я получил ваших три письма вдруг и притом бумагу от Степана насчет продажи людей, которую надо засвидетельствовать и подписать здесь; я это все здесь обделаю и пошлю.

Напрасно вы мне не послали книгу графини Ростопчиной; пожалуйста, тотчас по получении моего письма пошлите мне ее сюда в Пятигорск. Прошу вас также, милая бабушка, купите мне полное собрание сочинений Жуковского последнего издания и пришлите также сюда тотчас. Я бы просил также полного Шекспира, по-английски, да не знаю, можно ли найти в Петербурге; препоручите Екиму. Только, пожалуйста, поскорее; если это будет скоро, то здесь еще меня застанет.

То, что вы мне пишете о словах г<рафа> Клейнмихеля, я полагаю, еще не значит, что мне откажут отставку, если я подам; он только просто не советует; а чего мне здесь еще ждать?

Вы бы хорошенько спросили только, выпустят ли, если я подам.

Прощайте, милая бабушка, будьте здоровы и покойны; целую ваши ручки, прошу ваше благословение и остаюсь покорный внук

М. *Лермонтов.*

ПРИМЕЧАНИЯ

Прозаические произведения Лермонтова — важнейший этап в истории русской классической литературы. Белинский высоко ценил прозу Лермонтова и особо отмечал ее поэтические достоинства. «Лирическая поэзия и повесть современной жизни,— писал он в статье о «Герое нашего времени», — соединились в одном таланте» [1]. Известны слова Гоголя, сказанные им в 1846 году: «Никто еще не писал у нас такой правильной, прекрасной и благоуханной прозой, готовился будущий великий живописец русского быта...» [2]

В прозе, как и в поэтическом творчестве, Лермонтов от бурного романтизма идет к высокому реализму. В раннем юношеском романе «Вадим», при наличии отдельных реалистических элементов (в народно-бытовых эпизодах), в целом утверждались принципы романтической эстетики, господствовавшие в европейской литературе 20—30-х годов. В работе над «Княгиней Лиговской» молодой писатель уже смело решал труднейшие проблемы создания реалистического романа; это был путь к «Герою нашего времени», которому суждено было стать одним из самых значительных явлений русской и мировой литературы XIX века. И ранние прозаические опыты, и зрелые сочинения Лермонтова, и последние оставшиеся незавершенными замыслы свидетельствовали об его напряженном интересе к общественно значимым темам, к жгучим проблемам современной ему жизни, к смелой постановке острых социальных вопросов. Уже «Вадим» — роман из эпохи пугачевского восстания — со всей оче-

---

[1] В. Г. Белинский, Полн. собр. соч., АН СССР, М. 1954, т. IV, стр. 198.

[2] Н. В. Гоголь, Полн. собр. соч., АН СССР, М. 1952, т. VIII, стр. 202.

видностью обнаруживает свободолюбивые стремления юного Лермонтова, его интерес к теме крестьянских восстаний, которая волновала декабристов, Грибоедова, Пушкина.

Незавершенный роман «Княгиня Лиговская», в котором Лермонтов создает портрет своего современника, с первой же страницы строится на конфликте богатого гвардейского офицера с бедным униженным петербургским чиновником. Вполне закономерно поэтому, что в «Герое нашего времени» писатель ставит перед собой задачу дать портрет типического представителя эпохи, обнаружить общественную болезнь, отражающую исторические особенности времени («была бы болезнь указана», — пишет он в Предисловии). Этим прежде всего и определяется содержание наиболее замечательного прозаического произведения Лермонтова.

В романе, состоящем из пяти повестей, связанных между собой одним героем, всё — идейный замысел, и композиция, и сюжет — подчинено единой художественной задаче: глубокого и многостороннего изображения судьбы и характера «героя времени», его конфликта с окружающей средой. Лермонтовым создан обобщенный образ «младшего брата Онегина», представителя того поколения, которое формировалось в эпоху реакции, когда, по слову Белинского, все старое разрушено, а нового еще нет, — реакции, наступившей после 1825 года. В судьбе «героя нашего времени» отразилась духовная драма людей, обреченных на общественное бездействие при «жажде действия и избытке чувств». Сложность эпохи нашла свое выражение в сложности и противоречивости духовного облика Печорина. Все, с кем судьба сталкивает Печорина, страдают, находятся на краю гибели или гибнут, но гибнет и сам Печорин, не найдя счастья и гармонии в жизни и никому не дав счастья. Обличая эгоистический индивидуализм своего героя, сформировавшегося в условиях русской крепостнической действительности, писатель вместе с тем утверждал его превосходство над окружающей средой. «История души человеческой», представленная в романе Лермонтова, звучит как приговор всему общественному строю николаевской России.

«Герой нашего времени» — первое произведение русской прозы, в котором получила конкретно-историческое воплощение центральная тема реалистического романа XIX века, проблема взаимоотношения личности и современного общества, сложность ее формирования и интеллектуального развития. В этом

романе Лермонтов выступает как продолжатель пушкинской традиции и как великолепный мастер психологического анализа.

Достижения Лермонтова в раскрытии внутреннего мира человека и его связей с общественной средой во многом определили характер дальнейшего развития русской реалистической литературы XIX века. Еще Чернышевский указал на Лермонтова как на предшественника Л. Н. Толстого. Увидев в Толстом гениального художника-реалиста, раскрывающего «диалектику души», великий критик писал, что «из других замечательных наших поэтов более развита эта сторона психологического анализа у Лермонтова» [1].

Проникновение во внутренний мир человека, точность и выразительность даже беглых портретных характеристик, реалистические пейзажи, раскрывающие душевное состояние героев, мастерство композиции, афористическая отточенность стиля, язык, сочетающий достоинства поэтической речи с естественностью разговорных интонаций — все эти особенности зрелой прозы Лермонтова предвосхитили и во многом предопределили дальнейшее развитие и многообразие русской художественной прозы XIX и XX веков. «Лермонтов-прозаик — это чудо, — говорил Алексей Николаевич Толстой, — это то, к чему мы сейчас, через сто лет, должны стремиться... Читаешь и чувствуешь: здесь все: — не больше и не меньше того, что нужно и как можно сказать. Это глубоко и человечно. Эту прозу мог создать только русский язык, вызванный гением к высшему творчеству. Из этой прозы — и Тургенев, и Гончаров, и Достоевский, и Лев Толстой, и Чехов. Вся великая река русского романа растекается из этого прозрачного источника» [2].

«Герой нашего времени» был закончен Лермонтовым, когда поэту еще не исполнилось 25 лет. Дошедший до нас очерк «Кавказец» и прозаический набросок «У графа В... был музыкальный вечер» свидетельствуют о расширении его художественных интересов, о многогранности его таланта, о дальнейшем стремлении к большим общественно-политическим обобщениям, о поисках новых путей и о новых художественных достижениях молодого писателя. Известно, что в последний год жизни Лермонтов замышлял написать три романа из трех эпох жизни

---

[1] Н. Г. Чернышевский, Полн. собр. соч., М. 1947, т. III, стр. 423.

[2] А. Н. Толстой, Полн. собр. соч., М. 1949, т. 13, стр. 428.

русского общества. «Уже затевал он в уме... создания зрелые, — сообщал Белинский вскоре после роковой гибели поэта. — Он сам говорил нам, что замыслил написать романическую трилогию, три романа из трех эпох жизни русского общества... имеющие между собой связь и некоторое единство...» [1] Действие первого из них должно было происходить в царствование Екатерины, второй относился ко времени Отечественной войны 1812 года «с завязкой в Петербурге, действиями в сердце России и под Парижем и развязкой в Вене». Третий роман Лермонтов собирался писать «из кавказской жизни, с Тифлисом при Ермолове, его диктатурой и кровавым усмирением Кавказа, Персидской войной и катастрофой, среди которой погиб Грибоедов в Тегеране» [2].

При жизни Лермонтова из его прозаических произведений был опубликован только роман «Герой нашего времени». Все остальные прозаические сочинения Лермонтова стали достоянием читателей уже после гибели поэта.

Том открывается самым значительным произведением Лермонтова в прозе — романом «Герой нашего времени». Именно этот роман, наряду со сборником «Стихотворения М. Ю. Лермонтова», утвердил его имя в истории русской литературы рядом с именами Пушкина и Гоголя. Вслед за «Героем нашего времени» помещен очерк «Кавказец», предназначенный к печати самим Лермонтовым.

Во втором разделе печатаются незаконченные прозаические произведения и школьное сочинение «Панорама Москвы». В приложении даны планы задуманных сочинений, записи сюжетов, автобиографические заметки. Письма Лермонтова помещаются в конце тома.

Текст «Героя нашего времени» публикуется по изд. «Герой нашего времени». Сочинение М. Лермонтова, ч. I и II, СПб. 1841, все остальные произведения — по автографам.

Рукопись «Вадима» и сказки «Ашик-Кериб» хранятся в архиве Института русской литературы (Пушкинский дом) Академии наук СССР.

---

[1] В. Г. Белинский, Полн. собр. соч., АН СССР, М. 1954, т. V, стр. 455.

[2] П. К. Мартьянов, Дела и люди века, Спб. 1893, т. II, стр. 93—94.

Рукопись «Княгини Лиговской», авторизованный список «Панорамы Москвы», черновой автограф и авторизованная копия предисловия к «Герою нашего времени», рукописи «Максима Максимыча», «Фаталиста», «Княжны Мери» и «Предисловия» к «Журналу Печорина», авторизованная копия «Тамани» и копия «Кавказца» хранятся в Государственной публичной библиотеке имени М. Е. Салтыкова-Щедрина в Ленинграде (ГПБ).

Автограф «У графа В... был музыкальный вечер» находится в тетради Чертковской библиотеки в Государственном историческом музее (ГИМ).

В подготовке текста принимали участие М. И. Гиллельсон, В. Э. Вацуро и Л. В. Калита.

«Герой нашего времени» (стр. 7)

Об истории создания романа «Герой нашего времени» почти ничего не известно. Несомненно, что замысел его возник под воздействием кавказских впечатлений 1837 г. Н. М Сатин, встречавшийся с Лермонтовым в Пятигорске летом 1837 г., вспоминал: «Он был знаком со всем водяным обществом (тогда очень многочисленным), участвовал на всех обедах, пикниках, праздниках. Такая, по-видимому пустая, жизнь не пропадала, впрочем, для него даром: он писал тогда свою «Княжну Мери» (Н. М. Сатин, Воспоминания, «Почин», кн. I, М. 1895). Однако работа над романом в основном протекала в Петербурге в 1838—1839 гг. и была полностью закончена к началу 1840 г.: в феврале 1840 г. последовало цензурное разрешение первого отдельного издания, вышедшего в свет в мае того же года. В последний приезд с Кавказа в феврале 1841 г. Лермонтов написал только предисловие, явившееся ответом на критические статьи и напечатанное во второй части второго издания романа (1841).

Печатать свой роман Лермонтов начал еще до его завершения. С марта 1839 г. по февраль 1840 г. на страницах «Отечественных записок» были напечатаны, как три самостоятельных произведения, «Бэла», «Фаталист» и «Тамань». В отдельное издание Лермонтов включил не публиковавшиеся в журнале «Княжну Мери», «Максима Максимыча» и «Предисловие» к «Журналу Печорина» и дал всему сочинению заглавие «Герой нашего времени». О том, что эта книга была задумана писателем

как целостное произведение, свидетельствует сделанная рукою Лермонтова на обложке автографа «Максима Максимыча», «Фаталиста» и «Княжны Мери» надпись: «Один из героев века».

Отзывы критики на роман Лермонтова, появившиеся вскоре после его выхода в свет, были многочисленны и разноречивы. Начало подлинно историческому осмыслению творчества Лермонтова, его значения в истории русской литературы и общественной мысли было положено Белинским. Он первый увидел в произведении Лермонтова отражение целой эпохи русской жизни, увидел поэта, тесно связанного с исторической эпохой.

Великий критик утверждал прогрессивное значение образа Печорина с его «томительной бездейственностью в действиях, отвращением ко всякому делу, отсутствием всяких интересов в душе, неопределенностью желаний и стремлений, безотчетной тоской, болезненной мечтательностью при избытке внутренней жизни». Он сознавал, что «это состояние сколько ужасно, столько же необходимо»[1].

В 60-х годах, в период революционного подъема, когда необходимо было от проблемы «кто виноват?» перейти к проблеме «что делать?», революционно-демократическая критика продолжила и углубила то развенчание Печорина, которое было начато самим Лермонтовым. Н. А. Добролюбов в своей статье «Что такое обломовщина» показал всю слабость, несостоятельность и Онегиных, и Печориных, и Бельтовых, и Рудиных, так называемых «лишних людей» в эпоху 60-х годов, когда нужны были не «слова, слова», а реальное дело, революционный подвиг, целеустремленная сознательная общественная деятельность. В отличие от революционно-демократической критики с ее глубоким проникновением в объективное содержание образа Печорина и в сущность всего романа реакционно-охранительная критика всячески нападала на «злодея» Печорина. С точкой зрения реакционной критики солидаризировался сам Николай I. В письме к императрице от 12(24) июня 1840 г. он писал: «Характер капитана прекрасно намечен. Когда я начал эту историю, я надеялся и радовался, что, вероятно, он будет героем нашего времени... но в этом романе капитан появляется как

---

[1] В. Г. Белинский, Полн. собр. соч., АН СССР, М. 1954, т. IV, стр. 254.

надежда, которая не осуществляется», — и выразил сожаление, что Лермонтов «не дорисовал до конца характер своего капитана» («Дела и дни», Пгр. 1921, кн. 2). Конечно, и для Лермонтова Максим Максимыч — положительный персонаж. Не скрывая его духовной ограниченности и примитивности, писатель создает образ доброго и душевного человека, но не возвышающегося над своей средой. Разумеется, не Максим Максимыч, а Печорин был с точки зрения Лермонтова героем времени.

Предисловие (стр. 7)

Впервые опубликовано в изд. «Герой нашего времени», ч. I и II, Спб. 1841. Написано как ответ на некоторые нападки современной реакционной критики. Лермонтов имеет в виду главным образом профессора Московского университета, литературного критика консервативно-дворянского лагеря С. П. Шевырева, который объявил Печорина безнравственным и порочным явлением, не существующим в русской жизни и принадлежащим «миру мечтательному, производимому в нас ложным отражением Запада» («Москвитянин», 1841, № 2. «О герое нашего времени»). «Где причина того, что Печорин переживает томительную скуку и непомерную грусть духа, где причина его апатии?» — спрашивал Шевырев и находил корень всего зла «в западном воспитании, чуждом чувству веры» (то есть в отходе от православия. — *В. М.*). Шевырев, стремясь парализовать воздействие на умы современников романа, с его обличительным социально-критическим содержанием, утверждал, что «Печорин не герой нашего времени», что «если явления, подобные Печорину, типичны для Западной Европы и выражены в произведениях Гете и Байрона, то в России этой болезни нет. Печорин только герой фантазии Лермонтова, в нем нет ничего русского». Отрицательно оценил Шевырев и других героев романа. Доктор Вернер, по его мнению, «материалист и скептик», Грушницкий — «какой-то выродок из общества»; княжна Мери — «произведение общества искусственного»; Вера — «лицо вставочное и непривлекательное». Только Максим Максимыч был им положительно оценен, так как, по его мнению, в этом образе дана целостность русской натуры, «цельность характера, в который не проникла тонкая зараза западного образования». В противовес мятущемуся, безнравственному Печорину Шевырев

подчеркивал в Максиме Максимыче «черты христианского смирения» («Москвитянин», 1841, № 2).

Бунтарский, протестующий дух творчества Лермонтова был враждебен редактору журнала «Маяк», автору статьи о «Герое нашего времени» («Маяк», 1840, ч. IV). Его имел в виду Лермонтов, говоря о критиках, которые «очень тонко замечали, что сочинитель нарисовал свой портрет и портреты своих знакомых». В черновике же предисловия Лермонтов еще более резко и определенно называл журнал, поместивший подобную критику, ничтожным и тут же замечал: «Однако все-таки прочитав грубую и неприличную брань — на душе остается неприятное чувство, как после встречи с пьяным на улице».

Показательно, что отзывы реакционной критики, враждебно встретившей роман Лермонтова, совпадают в важнейших положениях с замечаниями Николая I в цитируемом выше письме. «...Я прочел «Героя» до конца и нахожу вторую часть отвратительной, вполне достойной быть в моде... — писал царь. — Это то же преувеличенное изображение презренных характеров, которые находим в нынешних иностранных романах. Такие романы портят нравы и портят характер... Итак, я повторяю, что, по моему убеждению, это жалкая книга, показывающая большую испорченность автора...»

Этого письма Лермонтов, конечно, не мог знать, но, отвечая своим идейным противникам, он по существу ответил и царю.

В. Г. Белинский понял идейный смысл этого предисловия, скрытый в нем намек на то, что в романе есть второй, прямо не высказанный смысл. Полностью приведя это предисловие в своей статье 1841 г. о «Герое нашего времени» как образец «слога», Белинский вместе с тем подчеркнул: «Читая строки, читаешь и между строками; понимая ясно все сказанное автором, понимаешь еще и то, что он не хотел говорить, опасаясь быть многоречивым» («Отечественные записки», 1841, № 9).

Бэла (стр. 8)

Впервые опубликовано в ОЗ (1839, № 3).

В литературе 20-х и 30-х годов XIX в. был широко распространен жанр «путевых записок». Вслед за декабристами этот

жанр был использован Пушкиным в «Путешествии в Арзрум». В виде путевых записок развивается повествование в «Бэле».

В записки странствующего офицера, то есть автора романа, включен рассказ Максима Максимыча о похищении Бэлы. Подобная история была рассказана Лермонтову в 1837 г. его дальним родственником А. Хастатовым, у которого жила татарка Бэла. Рассказ Максима Максимыча по теме, по материалу — романтическая история, напоминающая «Кавказского пленника» Пушкина и повести А. Бестужева-Марлинского, но природа, быт, люди Кавказа обрисованы здесь Лермонтовым без романтической приподнятости. Казбич — реальное историческое лицо, наездник, широко известный среди шапсугов.

Стр. 9. *Вы, верно, едете в Ставрополь?* — Во времена Лермонтова Ставрополь был главным городом Северного Кавказа, местопребыванием штаба войск Кавказской линии.

Стр. 15. *Верст шесть от крепости жил один мирно́й князь.* — «Мирными» назывались чеченцы, черкесы и другие горцы, признавшие власть русских. Так как присяга горцев на верность русскому правительству вынуждалась силой и редко давалась искренне, то твердой границы между «мирными» и «немирными» горцами в действительности не существовало.

Стр. 17 *...любит таскаться за Кубань с абреками...* — Абрек — вооруженный всадник, удалец-мститель, поклявшийся в вечной вражде к «гяурам» (неверным) — русским. Набеги абреков наносили большой урон русским станицам и селениям на Кавказской линии.

Стр. 19. *...а шашка его настоящая гурда.* — Гурда — название по имени известного оружейного мастера лучших клинков на Кавказе, закалявшихся особым способом.

Стр. 20. *«Много красавиц в аулах у нас»* — вариант «Черкесской песни» из поэмы Лермонтова «Измаил-Бей» (ср. «Беглец»). Сюжет этой песни заимствован поэтом из «Собрания русских песен» М. Чулкова (1770—1774), ч. III, стр. 587 (Песня «Ты дума моя, думушка...»).

Стр. 24. *Пожалуйте вашу шпагу!* — У офицера при аресте отбиралась шпага, без которой он не имел права выйти из дому.

Стр. 31. *...отпрягши заранее уносных...* — Уносные — первая пара лошадей при запряжке четверкою (от слова «уносы» — постромки).

ученый Гамба... — Французский консул в Тифлисе, много путешествовавший по Кавказу. Он оставил записки, в которых по ошибке назвал Крестовую гору горой св. Кристофа.

Стр. 33. *Байдара* — название горной реки (правого притока Терека), протекающей в Байдарском ущелье, между станциями Койшаур и Коби.

Стр. 44. *У меня был кусок термаламы...* — Термалама — плотная шелковая ткань, выделываемая в Персии и Турции.

Максим Максимыч (стр. 45)

Впервые опубликовано в изд. «Герой нашего времени», чч. I и II, Спб. 1840.

Стр. 45. *Казбек* — станция на Военно-Грузинской дороге у подножия горы Казбек, в 42 верстах от Владикавказа.

Ларс — станция на Военно-Грузинской дороге, в 25 верстах от Владикавказа.

Владикавказ — первоначально крепость на Тереке, основанная русскими в 1784 г. для защиты Военно-Грузинской дороги. Ныне город Орджоникидзе.

Стр. 50. *...бальзакова тридцатилетняя кокетка...* — Выражение «бальзаковская женщина», «бальзаковский возраст» возникло после выхода в свет романа О. Бальзака «Тридцатилетняя женщина» (1831—1834).

Тамань (стр. 56)

Впервые опубликовано в ОЗ (1840, № 2) с примечанием редакции: «Еще отрывок из записок Печорина, главного лица в повести «Бэла», напечатанной в 3-й книжке «Отеч. записок», 1839 года».

Происшествие, описанное в «Тамани», как свидетельствуют некоторые мемуаристы, случилось с самим Лермонтовым во время его пребывания в Тамани у казачки Царицыхи в 1837 г. («Русский архив», 1893, № 8; ср. «Русское обозрение», 1898, № 1). В 1838 г. товарищ Лермонтова, М. И. Цейдлер, командированный на Кавказ, останавливался в Тамани и жил в том самом домике, где до него жил Лермонтов. В своем очерке «На Кавказе в 30-х годах» он писал: «Мне суждено было жить в том же домике, где жил и он; тот же слепой мальчик и за-

гадочный татарин послужили сюжетом к его повести. Мне даже помнится, что когда я, возвратясь, рассказывал в кругу товарищей о моем увлечении соседкою, то Лермонтов пером начертил на клочке бумаги скалистый берег и домик, о котором я вел речь» («Русский вестник», 1888, № 9).

Чехов считал «Тамань» образцом прозы: «Я не знаю языка лучше, чем у Лермонтова. Я бы так сделал: взял его рассказ и разбирал бы, как разбирают в школах, по предложениям, по частям предложения. Так бы и учился писать» (С. Щ., Из воспоминаний об А. П. Чехове, «Русская мысль», 1911, № 10).

Стр. 58. *В тот день немые возопиют и слепые прозрят...* — неточная цитата из библии, из книги пророка Исайи: «И в тот день глухие услышат слова книги и глаза слепых прозрят из тьмы и мрака».

Стр. 62. *Юная Франция* — так называли себя молодые французские писатели романтического направления после революции 1830 г.

Стр. 63 *...Гетеву Миньону...* — Миньона — героиня романа Гете «Ученические годы Вильгельма Мейстера» (1821—1829).

Ундина — персонаж германо-скандинавского фольклора, соответствующий русалке в русском фольклоре. Несомненно этот образ был навеян изданной в 1837 г. старинной повестью «Ундина» Ламот Фуке, в стихотворном переводе В. Жуковского.

Княжна Мери (стр. 67)

Впервые опубликовано в изд. «Герой нашего времени», чч. I и II, Спб. 1840.

В этой повести, написанной в форме дневника, по рукописи восстанавливаются даты записей Печорина, начиная с записи от 22 мая. В печати (уже в издании 1840 г.) даты эти изменены по сравнению с автографом, но произошло это несомненно в результате какой-то ошибки. В записи от 21 мая говорится: «Завтра бал по подписке в зале ресторации»; следующая запись, рассказывающая о событиях на балу и сделанная, очевидно, непосредственно после него, датирована в автографе 22 мая, а в печати — 29 мая. Это вносит явную бессмыслицу в текст: в следующей записи, датированной в автографе 23 мая, а в

печати — 30 мая, Грушницкий благодарит Печорина за то, что Печорин *вчера* (то есть 22 мая, как и должно быть) защитил Мери. Далее в печатных датировках появляется еще одна бессмыслица — явный результат недосмотра: после даты «6 июня» следует дата «13 июня» (в автографе в первом случае — «22 мая», во втором — «3 июня»), а затем — «12 июня». Основная ошибка, превращение даты «22 мая» в дату «29 мая», внесла в текст путаницу и противоречия.

Современники указывали на реальных лиц, которые, возможно, являются прототипами Грушницкого и в особенности доктора Вернера. Так, Н. М. Сатин писал: «Те, которые были в 1837 году в Пятигорске, вероятно, давно узнали и княжну Мери, и Грушницкого, и особенно доктора Вернера» (сборник «Почин», 1895, стр. 239). Однако мнения относительно прототипов расходятся. Одни видят в Грушницком портрет Н. П. Колюбакина, другие — убийцу Лермонтова, Н. С. Мартынова. Н. П. Колюбакин (1812—1868) был сослан на Кавказ рядовым в Нижегородский драгунский полк. Он отличался вспыльчивостью, дрался на дуэлях и, будучи приятелем А. Бестужева-Марлинского, вел себя несколько в духе его героев. Прототип Вернера — доктор Н. В. Майер, приятель сосланных на Кавказ декабристов (см. о нем статью Н. Бронштейн «Доктор Майер» — «Литературное наследство», 1948, т. 45—46). В Вере Лиговской одни видят В. А. Лопухину, другие — Н. С. Мартынову, сестру убийцы Лермонтова.

В рукописи «Княжны Мери» подверглись сильной переделке прощальное письмо Веры и последующие размышления Печорина. В первоначальном варианте Вера не объясняет причины своего отъезда, ничего не говорит о муже и советует Печорину жениться на Мери; в окончательном тексте все это изменено и соответственно изменены размышления Печорина.

Стр. 67. *...пятиглавый Бешту...* — По-татарски бештау значит «пять гор». Так называется самая высокая из всех гор Минераловодского района, с пятью вершинами.

«Последняя туча рассеянной бури» — начальная строка стихотворения Пушкина «Туча» (1835).

Стр. 68. *...они привыкли на Кавказе встречать под нумерованной пуговицей пылкое сердце и под белой фуражкой образованный ум.* — В те времена нумера, обозначавшие армейские

части, отмечались на фуражках, на пуговицах и на эполетах. В цензурно-приемлемой форме Лермонтов дает здесь понять, что на Кавказе при Николае I можно было встретить офицеров, переведенных из гвардии в армейские полки (как Печорин и сам Лермонтов) или разжалованных в солдаты (как многие декабристы).

Стр. 69. *...военные выпускают из-за воротника брыжжи.* — Брыжи — белые воротнички сорочки, которые при ношении военной формы запрещалось выпускать из-за воротника мундира.

...павильон, называемый Эоловой Арфой... — Эолова арфа — струнный инструмент, звуки которого извлекаются порывами ветра (Эол — бог ветров); Эолова арфа была установлена в окрестностях Пятигорска на крыше специально построенного павильона; «звуки ее далеко разносились в воздухе, а когда была настроена, то и довольно гармоничные» (Э. А. Шан-Гирей, «Нива», 1885, № 27).

Грушницкий — юнкер. — Юнкерами в то время назывались молодые люди дворянского происхождения, вступавшие в военную службу нижними чинами, но на особых правах, выделяющих их из общей солдатской массы, и производившиеся в офицеры по получении практической подготовки или за боевые заслуги.

Стр. 76. *...самых свежих и розовых эндимионов...* — Эндимион — в древнегреческой мифологии юный красавец, в которого влюбилась богиня любви Афродита.

Френолог — последователь теории распознавания способностей и склонностей людей по строению черепов и по расположению и форме бугров на них.

Стр. 77. *...посмотрев значительно друг другу в глаза, как делали римские авгуры, по словам Цицерона, мы начинали хохотать...* — В трактате «О гадании» Марка Туллия Цицерона сказано: «...давно известно замечание Катона Старшего, который удивлялся, что два авгура могут глядеть друг на друга без смеха» (кн. II, гл. 24). В рукописи Лермонтов написал сначала ошибочно: «по словам Виргилия». Авгуры — в древнем Риме жрецы-гадатели.

Стр. 88. *Немецкая колония* — место по дороге из Пятигорска в Железноводск, носившая название «Каррас» или «Шотландка».

...смесь черкесского с нижегородским... — перефразировка слов Чацкого из «Горе от ума» Грибоедова: «Господствует еще смешенье языков: французского с нижегородским» (д. I).

Стр. 108. *Где нам, дуракам, чай пить! — отвечал я ему, повторяя любимую поговорку одного из самых ловких повес прошлого времени, воспетого некогда Пушкиным.* — Лермонтов приводит поговорку П. П. Каверина (1794—1855), которого Пушкин упомянул в первой главе «Евгения Онегина». В дни юности Пушкина Каверин служил в том самом лейб-гусарском полку, в который потом поступил Лермонтов.

Стр. 113. *Недаром Нарзан называется богатырским ключом.* — Нард-санна значит по-абазински «богатырь-вода».

Стр. 114. *«Но смешивать два эти ремесла»* — неточная цитата из «Горя от ума» Грибоедова (д. III).

Стр. 115. *Ума холодных наблюдений...* — стихи из посвящения «Евгения Онегина» П. А. Плетневу.

Стр. 116. *...Вернер намедни сравнил женщин с заколдованным лесом...* — Лермонтов имеет в виду то место в поэме итальянского поэта Торквато Тассо (1544—1594) «Освобожденный Иерусалим», где рассказывается, как герой поэмы рыцарь Танкред вступил в очарованный лес (песнь XIII, строфа 18 и след.).

Стр. 118. *Вампир* — герой одноименной английской повести, записанной со слов Байрона его спутником по путешествию доктором Полидори. Русский перевод вышел в Москве в 1828 г.: «Вампир. Повесть, рассказанная лордом Байроном (с английского) П<етр> К<иреевский>». В черновом автографе предисловия к «Герою нашего времени» Лермонтов писал: «Если вы верили существованию Мельмота, Вампира и других — отчего же вы не верите в действительность Печорина?»

Стр. 130. *«Шотландские пуритане».* — В рукописном тексте вместо «Шотландских пуритан» Лермонтовым был назван другой роман Вальтера Скотта — «Похождения Нигеля». Заглавие «Шотландские пуритане» указывает на то, что Лермонтову был знаком французский текст, изданный под названием «Les puritains d'Ecosse», или русский перевод 1824 г. с французского издания. Английское название романа — «Old Mortality» (1816).

Архалук (или ахалук) — кавказский полукафтан, род поддевки.

Стр. 135. *Вспомните Юлия Цезаря!* — В числе многих дурных предзнаменований, будто бы остерегавших Юлия Цезаря от присутствия на заседании сената, где он был убит заговорщиками, древние историки называют и то, что он оступился на пороге.

Стр. 142. *...заснул сном Наполеона после Ватерлоо.* — По преданию, Наполеон I после битвы при Ватерлоо (18 июня 1815 г.), когда он потерпел поражение, был так утомлен и подавлен, что проспал более суток.

Фаталист (стр. 146)

Впервые опубликовано в ОЗ (1839, № 11).

В литературе о Лермонтове указывалось на сходство образа Вулича с поручиком лейб-гвардии Конного полка И. В. Вуичем, описанным в «Воспоминаниях» Г. И. Филипсона (М. 1885). Это сходство подтверждается и тем, что в рукописи «Фаталиста» Лермонтов писал не Вулич, а Вуич.

Кавказец (стр. 159)

Печатается по копии ГПБ.

На обложке копии помета переписчика: «Список с статьи собственноручной покойного М. Лермонтова, предназначенной им для напечатания в «Наших» и не пропущенной цензурою».

Автограф неизвестен.

Впервые напечатано в журнале «Минувшие дни», 1929, № 4.

Очерк написан в конце 1840 или начале 1841 г. для второго тома предпринятого А. И. Башуцким издания «Наши, списанные с натуры русскими». По цензурным причинам выход сборника прекратился, и очерк остался ненапечатанным.

В первом выпуске сборника «Наши, списанные с натуры русскими» в предисловии (дозволено цензурой 10 октября 1841 г.) среди подготовленных к изданию материалов упоминается «Кавказец» (без указания фамилии автора). Сборники состояли из так называемых «физиологических очерков», по одному в каждом выпуске.

«Кавказец», который представляет собою как бы развернутую биографию Максима Максимыча, по своему идейному содержанию и ярко выраженной реалистической манере примыкает к «Герою нашего времени».

Стр. 160. *Марлинский* — псевдоним писателя-декабриста Александра Александровича Бестужева. Переведенный из Сибири рядовым солдатом на Кавказ, Марлинский создает на мате-

риале кавказской жизни и войны ряд романтических повестей и рассказов, «Аммалат-Бек» (1832), «Мулла Нур» (1835—1836) и другие, пользовавшиеся в свое время огромным успехом.

Вадим (стр. 165)

Впервые опубликовано в журнале «Вестник Европы» (1873, кн. 10) под названием «Юношеская повесть М. Ю. Лермонтова».

Печатается по автографу ИРЛИ.

Настоящее заглавие произведения неизвестно, так как первый лист рукописи, на котором, вероятно, было заглавие, вырван. П. А. Ефремов, публикуя рукопись, оставил ее без названия. П. А. Висковатов (Соч., 1891, т. 5) озаглавил ее «Горбач-Вадим. Эпизод из Пугачевского бунта (юношеская повесть)»; И. М. Болдаков (Соч., 1891, т. 5) — «Вадим. Неоконченная повесть». С тех пор за этим произведением укрепилось название «Вадим».

В автографе жена помещика Палицына Наталья Сергеевна в трех случаях названа Настасьей Сергеевной. В настоящем издании во всех случаях она именуется — Наталья Сергеевна.

В процессе работы над романом Лермонтов перенес место его действия с Оки на Суру; но правки до конца не довел. В публикуемом тексте везде условно принята Сура.

Вопрос о начале работы над романом «Вадим» до сих пор не может считаться окончательно решенным. Можно сказать с уверенностью, что замысел романа возник в творческом сознании Лермонтова под непосредственным впечатлением крестьянских восстаний 1830—1831 гг. и что работа над ним велась Лермонтовым во время пребывания в Школе гвардейских подпрапорщиков и кавалерийских юнкеров, то есть в 1833—1834 гг.

В основу романа положены устные рассказы об исторических событиях пугачевского движения, слышанные Лермонтовым. Как известно, в июле 1774 г. Пугачев, избегая преследования, переправился у Кокшайска на правую сторону Волги и через Ядрин, Алатырь, Саранск и Пензу двинулся на юг к Саратову. И сразу же крестьянские восстания вспыхнули в Симбирской, Пензенской, Саратовской, Нижегородской и Тамбовской губерниях.

В Пензенской губернии восстание охватило уезды Краснослободский, Керенский и Нижнеломовский. В городе Красно-

слободске пугачевцы убили капитана Д. Столыпина, родственника Е. А. Арсеньевой. В селе Родниках повесили помещика М. Киреева, дочь которого воспитывалась вместе с Арсеньевой и приходилась родной бабкой другу поэта С. А. Раевскому. О казни Саранского помещика В. Акинфова Лермонтов слышал от внуков его Владимира и Николая Шеншиных, знал также, что родственник Столыпиных, владелец саратовского имения Лесная Нееловка, спасся от пугачевцев в подземной пещере. Такие же пещеры есть в восьми верстах от Тархан. Их описал Лермонтов в своем романе под названием Чертова логовища (см. И. Андроников, М. Ю. Лермонтов, Пенза, 1952).

В августе 1774 г. пугачевцы побывали в Тарханах, тогда принадлежавших И. Я. Нарышкину. Они хотели повесить управляющего Злынина, но тот успел раздать крестьянам господский хлеб и, обеспечив этим их заступничество, спас себе жизнь (П. Шугаев, Из колыбели замечательных людей, «Живописное обозрение», 1898, № 25).

Фабульное сходство между романами Лермонтова «Вадим» и Пушкина «Дубровский» в известной мере объясняется тем, что в основе обоих романов лежит один и тот же реальный факт — судебная тяжба между тамбовскими помещиками С. П. Крюковым и И. Я. Яковлевым (см. И. Андроников, Лермонтов, М. 1951).

Сознавая неизбежность и историческую правоту народной мести, Лермонтов воспроизводит суровую картину жестокой расправы восставшего народа над своими поработителями — помещиками-крепостниками. Но вся сложная конкретно-историческая проблема «народного бунта» приобретает в произведении Лермонтова отвлеченно-философский характер, становясь абстрактной проблемой добра и зла.

Образ Вадима, одинокого и мятежного героя, создан Лермонтовым в прямой зависимости от традиций французского романтизма конца 20-х и начала 30-х годов XIX в. Это — гордый мститель за все совершающиеся в мире несправедливости. В нем все исключительно, все доведено до крайности, все преувеличено, романтически приподнято, но при этом в его характере отсутствуют конкретно-исторические черты.

В сценах, изображающих народ, чувствуется знание поэтом крестьянского быта, его чутье живого народного языка, в них пробивается подлинная правда жизни.

Стр. 206. *«Воет ветер...»* — с изменениями первых двух строк в поэме «Азраил» (см. т. 2 наст. издания, стр. 209).

Стр. 209. *Гуммель* — Иоганн Непомук (1778—1837) — немецкий композитор, пианист, дирижер и педагог, ученик Моцарта, автор опер, балетов, фортепьянных и камерно-инструментальных сочинений.

Фильд — Филд Джон (1782—1837) — выдающийся ирландский пианист, педагог и композитор, проживавший с 1802 г. до конца своей жизни в России (Петербург, Москва). Встреча Фильда с Гуммелем могла произойти в 1811 г. в Петербурге или в Москве, когда Гуммель приезжал на гастроли в Россию.

Стр. 210. *«Моя мать родная...»* — эта песня переработана Лермонтовым в стихотворение «Воля» (см. т. 1 наст. издания, стр. 196).

Стр. 211. *...поезжай скажи Белбородке...* — Среди ближайших к Пугачеву вожаков движения известен «главный атаман и походный полковник» Иван Наумович Белобородов. Но Белобородов не был на правом берегу Волги, а значит, и в местах, описанных в романе.

...турки угнетали потомков Леонида... — Потомки Леонида, царя Спарты — греки. В данном контексте имеется в виду турецкое владычество над Грецией.

Стр. 215. *...под Адамовой головой.* — Адамова голова — так называют изображения человеческого черепа с двумя сложенными под ним накрест костями.

Стр. 232. *...безобразных кумиров.* — Имеются в виду архаические каменные статуи, «каменные бабы», встречающиеся на холмах в степной части южной России.

Стр. 235. *«Оставь надежду всякий сюда входящий!»* — стих из «Божественной комедии» Данте (ч. I, Ад, песнь 3, стих 9).

Стр. 238. *Мадонна долороза* — мать скорбящая (*лат.*) Так называли средневековое орудие пытки и казни.

Стр. 244. *И перед ним начал развиваться длинный свиток воспоминаний...* — Этот образ восходит к стихотворению Пушкина «Воспоминание».

Воспоминание безмолвно предо мной
Свой длинный развивает свиток.

Стр. 259. *...человек, как вам это известно, то есть животное, которое ничем не хуже волка; по крайней мере так утверждают натуралисты и философы...* — Имеется в виду известное изречение английского философа-материалиста Томаса Гоббса (1588—1679), утверждавшего, что в естественном состоянии «человек человеку волк». Это выражение до Гоббса встречалось в комедии древнеримского драматурга Плавта «Ослы».

Панорама Москвы (стр. 281)

Впервые опубликовано в Соч. М. Ю. Лермонтова под ред. П. А. Висковатова (1891, т. 5). Печатается по авторизованной копии ГПБ.

«Панорама Москвы» — сочинение, написанное в 1834 г. в Школе гвардейских подпрапорщиков и кавалерийских юнкеров по заданию преподавателя русской словесности В. Т. Плаксина.

Хотя в лермонтовском описании Москвы прямо не упоминается Петербург, тем не менее противопоставление древней Москвы новой столице — Петербургу в нем несомненно чувствовалось. В русской литературе 30—40-х годов тема «Петербург и Москва» занимала заметное место. В начале 1834 г. напечатано вступление к «Медному всаднику» Пушкина, к 1835 г. относится статья Н. В. Гоголя «Петербург и Москва», в 1841—1842 гг. написана статья А. И. Герцена «Москва и Петербург». (Об этом же письмо В. Г. Белинского к А. П. и Е. П. Ивановым от 21—31 декабря 1829 г. и его статью 1845 г. «Петербург и Москва»).

Противопоставление Москвы — символа старой Руси Петербургу — символу новой послепетровской России было связано с постановкой вопроса об исторических путях развития России и русской национальной культуры. В 40-е годы, в период борьбы между западниками и славянофилами, это противопоставление приобретало особую политическую остроту.

Стр. 284. *...будучи построена после французов...* — Уходя из Москвы, французы начали взрывать Кремль, но успели взорвать только три башни, выходившие на набережную, и часть прилегавшей к ним стены. В 1816—1820 гг. эти башни были восстановлены.

Княгиня Лиговская (стр. 286)

Впервые опубликовано в «Русском вестнике» (1882, № 1). Печатается по автографу ГПБ.

Лермонтов начал писать «Княгиню Лиговскую» в 1836 г., после драмы «Два брата». В начале 1837 г. работа над романом прервалась, так как Лермонтов был арестован и сослан за стихотворение «Смерть Поэта». 8 июня 1838 г. Лермонтов писал своему приятелю С. А. Раевскому: «Роман, который мы с тобою начали, затянулся и вряд ли кончится, ибо обстоятельства, которые составляли его основу, переменились, а я, знаешь, не могу в этом случае отступить от истины». Однако Раевский не был соавтором Лермонтова. В. Х. Хохряков, который в 50-х годах расспрашивал С. А. Раевского об его участии в создании «Княгини Лиговской», записал: «Св<ятослав> Аф<анасьевич> говорит, что писал только под диктовку Лермонтова» (ИРЛИ, ф. 524, оп. 4, № 26, л. 5 об.).

В образах князя Лиговского и его жены Веры (ср. те же имена и характеры в драме «Два брата», написанной в январе 1836 г. и в «Княжне Мери» — 1840), Лермонтов в какой-то мере запечатлел черты В. А. Лопухиной и ее мужа Н. Ф. Бахметева. В письме к А. М. Верещагиной, относящемся к весне 1835 г., Лермонтов рассказывает историю своих отношений с Е. А. Сушковой, которая вскоре была изображена в образе Елизаветы Николаевны Негуровой в романе «Княгиня Лиговская» (см. «Записки» Е. А. Сушковой-Хвостовой).

В лице Горшенкова Лермонтов изобразил дельца и афериста Н. И. Тарасенко-Отрешкова, состоявшего негласным сотрудником III отделения (см. Н. О. Лернер, Оригинал одного из героев Лермонтова, «Нива», 1913, № 37).

Роман «Княгиня Лиговская» — первый опыт Лермонтова в области создания реалистического романа из современной жизни. Критика дворянского общества, по сравнению с романом «Вадим», в этом произведении углубилась. Изображая императорскую столицу, Лермонтов подчеркивает резкость ее социальных контрастов. Аристократу, дворянину Печорину, в романе противопоставлен бедный чиновник Красинский, чей образ примыкает к галерее образов бедных чиновников, столь характерных для будущей «натуральной школы». Намечающееся в романе столкновение интересов и соперничество между дворянским героем Печориным и чиновником Красинским, по-ви-

димому, должно в дальнейшем привести к моральной победе Красинского и поражению Печорина.

Эпиграф к роману взят Лермонтовым из первой главы «Евгения Онегина» (строфа XVI). Этим эпиграфом подчеркивается литературная традиция, преемственная связь с автором «Евгения Онегина». И самая фамилия героя, как заметил Белинский по поводу «Героя нашего времени», «незримо» связывает его с Онегиным (Онега — Печора). В рукописи первой главы «Княгини Лиговской» вместо фамилии «Печорин» Лермонтов написал «Евгений». Несомненна также связь «Княгини Лиговской» с петербургскими повестями Гоголя («Невский проспект» и первая редакция «Портрета»).

Стр. 288. *Лицо его... было бы любопытно для Лафатера.* — Лафатер Иоганн Каспар (1741—1801) — автор «Физиономики», в которой устанавливал связь между характером человека и строением его лица.

Стр. 291. *...сослуживцев, погулявших когда-то за Балканом.* — Лермонтов имеет в виду русско-турецкую войну 1828—1829 гг., когда русские войска перешли через Балканы.

...три алебастровые карикатурки Паганини, Иванова и Россини. — Паганини Никколо (1784—1840) — итальянский скрипач-виртуоз и композитор. Иванов Николай Кузьмич (1810—1880) — известный в Европе русский певец. Россини Джоаккино (1792—1868) — итальянский композитор, автор многочисленных опер.

Стр. 292. *...он, как партизан Байрона, назвал ее портретом Лары.* — Лара — герой одноименной поэмы Байрона — возглавил восстание против феодалов. Печорин изображен Лермонтовым последователем, почитателем Байрона.

Стр. 293. *«Как угль, в горниле раскаленный»* — цитата из оды № 9 Ломоносова (Ломоносов, Собрание разных сочинений в стихах и в прозе, Спб. 1803, ч. I, стр. 29).

...я лучше этого говорю по-русски — я не монастырка. — Монастырками называли воспитанниц института благородных девиц, который помещался в здании Смольного женского монастыря. Обучению воспитанниц Смольного института иностранным языкам, в первую очередь французскому языку, уделялось преимущественное внимание.

Стр. 294. *Маленький Меркурий...* — По древнеримской мифологии, Меркурий — бог красноречия, вестник богов.

Стр. 294. *Давали «Фенеллу».* — Опера французского композитора Даниеля Франсуа Обера «Фенелла, или Немая из Портичи», написанная в 1828 г., шла в Петербурге в Александринском театре под названием «Фенелла» с 1 января 1834 г.

...ходят пить чай к Фениксу. — Трактир «Феникс», существовавший с 1832 г., помещался «против Александринского театра, почти рядом с подъездом дирекции, на той стороне, где теперь Аничков дворец, в самом углу» (Воспоминания актера А. А. Алексеева. Изд. книжного магазина журнала «Артист», М. 1894).

Стр. 301. *...вы все с громом вызывали Новицкую и Голланда...* — Новицкая Мария Дмитриевна (1816—1868) прославилась в роли немой рыбачки Фенеллы, героини оперы. Эту роль она исполняла поочередно с уже известной танцовщицей Е. А. Телешевой. Среди зрителей составились две партии — одна за Телешеву, другая за Новицкую. Голланд Константин (1804—1868) — певец, тенор, исполнял роль брата немой из Портичи в опере «Фенелла». Именем Фиорелло в русской переделке оперы заменено имя Мазаниелло, действительного вождя народного восстания в Неаполе в 1647 г.

Стр. 304. *Невский монастырь* — Александро-Невская лавра; во времена Лермонтова — окраина города.

Стр. 306. *...взяли учителя по билетам...* — Домашний учитель получал за каждый урок билет, а затем накопившиеся билеты оплачивались в конторе управляющим.

Стр. 318. *Серьги по большей мере стоили восемьдесят рублей, а были заплочены семьдесят пять. Печорин нарочно сказал сто пятьдесят. Это озадачило князя.* — В рукописи первые две цифры зачеркнуты карандашом и вместо них неизвестной рукой написаны 280 и 175; затем 280 переправлено на 250. В цифре 150 зачеркнуто 1. Таким образом, получилось: 250, 175 и 50. Исправление, по-видимому, произведено в редакции «Русского вестника» с намерением объяснить смущение князя чрезмерно низкой оценкой его подарка.

Стр. 318—319. *Он получил такую охоту к перемене мест...* — ср. в «Евгении Онегине»: «Им овладело беспокойство, Охота к перемене мест» (гл. VIII, строфа XIII).

Стр. 320. *...лазили на площадку западной башни...* — С площадки западной башни Симонова монастыря, основанного в XIV в., наблюдали за движением неприятеля.

...последний Новйк открыл так поздно имя свое, и судьбу свою, и свое изгнанническое имя. — Сын царевны Софьи Алек-

севны и князя В. В. Голицына, последний Новик — герой одноименного исторического романа И. И. Лажечникова (М. 1833).

В петровскую эпоху новиками назывались молодые люди из дворян или детей боярских, начинавшие свою службу во дворце без определенной должности и соответствующего оклада.

Стр. 323. *После взятия Варшавы...* — 8 сентября 1831 г. войска Николая I под командованием Паскевича штурмом взяли Варшаву, довершив разгром польского восстания.

Стр. 325. *...букли à la Sévigné.* — Севинье Мари Рабютен-Шанталь де (1626—1696) — французская писательница, прославившаяся изысканным стилем своих писем. Прическа, как у госпожи Севинье, состояла из обруча, стягивающего волосы на темени, и из буклей, начинающихся очень пышно над ушами и падающих узкими трубочками на плечи.

у мужчин прически à la jeune France, à la Russe, à la moyen âge, à la Titus. — Романтически настроенные французские писатели носили особый костюм и прически (длинные волосы). Прической «по-русски» назывались коротко остриженные в кружок волосы. Прическа «по-средневековому» состояла из челки и длинных до плеч волос. Прическа, «как у Тита» (римского императора), отличалась очень короткой стрижкой волос.

«Какая смесь одежд и лиц!» — стих из поэмы Пушкина «Братья-разбойники».

Стр. 329. *...картина Брюллова «Последний день Помпеи» едет в Петербург. Про нее кричала вся Италия, французы ее разбранили.* — Картина «Последний день Помпеи», написанная в 1830—1833 гг., в Италии получила высокую оценку, и Брюллов был избран членом Миланской академии («Северная пчела», 1834, № 13). В марте 1834 г. картина была выставлена в Париже. Во французской прессе о ней появились противоречивые суждения. В первой половине августа 1834 г. картина была доставлена в Петербург и выставлена в Эрмитаже.

Стр. 334. *...из-за галстука его выглядывала борода à la St. Simonienne.* — Последователи французского социалиста-утописта Сен-Симона (1760—1825) Анфантен, Базар и другие отпускали длинные волосы и носили бороды в виде узкой полоски, обрамляющей бритые щеки и подбородок.

Стр. 335. *...подобное числу 666 в Апокалипсисе.* — Число 666 в книге откровений евангелиста Иоанна толковалось как мистическое обозначение антихриста.

Стр. 337. *«Легчайший способ быть всегда богатым и счаст-*

ливым», сочинение Н. П., Москва, в тип. Н. Глазунова, цена 25 копеек». — Заглавие этой книжки пародирует заглавия популярных поучительных брошюрок, которые выпускались с коммерческой целью, например: «Искусство быть счастливым. Соч. Дроза, Спб. 1831, 55 коп.» и другие.

Стр. 353. *«Вкус, батюшка, отменная манера»* — стих из комедии Грибоедова «Горе от ума» (д. II, явл. V).

Ашик-Кериб (стр. 343)

Впервые опубликовано в литературном сборнике «Вчера и сегодня» (кн. II, 1846). Печатается по автографу ИРЛИ.

Датируется 1837 г. — временем первой ссылки Лермонтова на Кавказ.

В подзаголовке своей сказки Лермонтов обозначил: «Турецкая сказка». Действительно, эта сказка широко распространена в Турции, распевается певцами в кофейнях Румелии и Анатолии и издается для народного чтения.

Турецкая сказка об Ашик-Керибе получила широкое распространение. Известны азербайджанские, армянские, грузинские, кабардинские и другие варианты. К тексту Лермонтова близка сказка, записанная в 1892 г. со слов ашика Оруджа, жившего в селении Тирджан, Шемахинского уезда. Близок к ней также вариант, записанный в 1930 г. в Ахалцихском районе в Грузии. Интересно, что рассказчик в передаче сюжета сказки допускает ту же ошибку, которую мы встречаем в тексте Лермонтова: христианский святой Георгий отожествляется с мусульманским пророком Хадрилиазом.

Дошедшая до нас запись Лермонтова не предназначалась им для печати и представляет собой первый, неотделанный набросок, в котором и в стиле и в развитии сюжета имеется известная непоследовательность. Так, например, неясно, почему Ашик-Кериб объявляет себя владельцем золотого блюда; в доказательство своих слов Ашик-Кериб заявляет, что его сабля перерубит камень, однако он этого не делает, и это его заявление никак не вытекает из предыдущего. Нет в тексте единства и в передаче местных слов. В тексте записи Лермонтова преобладают азербайджанские слова (ага — господин; ана — мать, оглан — юноша), хотя встречаются и турецкие, арабские, иранские и армянские. Так, например, по-азербайджански дано само именование героя: Ашик-Кериб. Ашик (пра-

вильное — ашык, армянская форма — ашуг) в прямом смысле обозначает — влюбленный, а в переносном — певец, поэт. Кериб (по-турецки было бы Гариб) — чужеземец, скиталец, бедняк. На этом основана непереводимая игра слов в диалоге вернувшегося певца со своей слепой матерью· Кериб, называя себя странником, называет вместе с тем и свое имя, мать же его воспринимает слово «Кериб» только в смысле нарицательном.

В автографе Лермонтов в ряде мест именует своего героя Ашик-Керимом. Это не случайная описка. В Закавказье и Средней Азии существует народная повесть, герой которой именуется Ашик-Керимом.

〈Отрывок: «Я хочу рассказать Вам»〉 (стр. 364)

Печатается по литературному сборнику «Вчера и сегодня» (кн. I, 1845), где впервые опубликовано вместе с 〈Отрывком: «У графа В... был музыкальный вечер»〉, под общим заглавием «Из бумаг покойника. Два отрывка из начатых повестей». Автограф неизвестен.

〈Отрывок: «У графа В... был музыкальный вечер»〉 (стр. 369)

Печатается по автографу ГИМ. Впервые опубликовано в литературном сборнике «Вчера и сегодня» (кн. I, 1845).

По свидетельству поэтессы Е. П. Ростопчиной, Лермонтов начал писать эту повесть во время своего последнего пребывания в Петербурге, в начале 1841 г. («Русская старина», 1882, кн. 9).

В альбоме 1840—1841 гг. сохранился набросок плана этой повести.

«Сюжет: у дамы: лица желтые. Адрес. Дом: старик с дочерью, предлагает ему метать. Дочь в отчаянии, когда старик выигрывает. Шулер: старик проиграл дочь, чтобы... Доктор: окошко...»

В альбоме, подаренном Лермонтову В. Ф. Одоевским (ГПБ), имеется запись, относящаяся к этой повести:

«Да кто же ты, ради бога? — Что-с?— отвечал старичок, примаргивая одним глазом. — Што-с! — повторил в ужасе Лугин.

Шулер имеет разум в пальцах. Банк. Скоропостижная...»

Наличие записи в альбоме В. Ф. Одоевского (подаренном 13 апреля 1841 г.) подтверждает сообщение Ростопчиной

и свидетельствует о том, что в апреле 1841 г. Лермонтов продолжал интересоваться замыслом этого произведения.

В автографе первые слова, которыми Лермонтов начал историю Лугина, вычеркнуты: «Был музыкальный вечер у графа С...», «У графа В... вечер».

Существует предположение, что в лице Минской Лермонтов изобразил А. О. Смирнову-Россет (1809—1882), приятельницу Жуковского, Пушкина, Гоголя.

Стр. 369. *Граф В...* — Михаил Юрьевич Виельгорский (1788—1856), любитель музыки, композитор; в его доме постоянно собирались деятели литературы и музыки, устраивались концерты

Стр. 372. *Заезжая певица пела балладу Шуберта* — по-видимому, имеется в виду Сабина Гейне-Фехтер, гастролировавшая в то время в Петербурге и исполнявшая романсы Шуберта.

ЗАМЕТКИ. ПЛАНЫ. СЮЖЕТЫ

Все заметки, планы и сюжеты извлечены из разных тетрадей Лермонтова: в тех случаях, когда нет авторской даты, они приурочиваются к определенному году на основании нахождения в той или иной тетради (датировку тетрадей см. в т. 1 наст. издания, стр. 337).

Автографы заметок №№ 1—33 хранятся в Институте русской литературы (Пушкинский дом) Академии наук СССР.

Автографы заметок №№ 34, 35 — в Государственном историческом музее (Москва) и заметки № 36 — в Отделе рукописей Государственной публичной библиотеки имени М. Е. Салтыкова-Щедрина.

№ 1. 1830. Замечание (стр. 387)

Впервые опубликовано в ОЗ (1859, № 7). Датируется 1830 г. по дате заголовка.

№ 2. Музыка моего сердца (стр. 387)

Впервые опубликовано в Соч. под ред. П. А. Ефремова (т. 2, 1873).

№ 3. Сюжет трагедии (стр. 387)

Впервые опубликовано в изд. П. А. Ефремова «Юношеские драмы М. Ю. Лермонтова» (1880). Датируется 1830 г. по нахождении в тетради VI.

Это один из первых, если не самый ранний, из всех неосуществленных драматических замыслов Лермонтова.

№ 4. Сюжет трагедии (стр. 388)

Впервые опубликовано в ОЗ (1859, № 11). Датируется 1830 г. по нахождении в тетради VI.

Замысел навеян чтением романа Шатобриана «Атала, или Любовь двух дикарей» (1801). Замысел остался неосуществленным.

№ 5. Прежде от матерей и отцов... (стр. 388)

Впервые опубликовано в Соч. под ред. П. А. Ефремова (т. 2, 1873). Датируется 1830 г. по нахождении в тетради VI.

Эта заметка относится к неосуществленному драматическому замыслу.

№ 6. Сюжет трагедии («Молодой человек в России») (стр. 388)

Впервые опубликовано в ОЗ (1859, № 11). Датируется 1830 г. по нахождении в тетради VI.

Этот замысел трагедии о разночинце предвосхищает драмы Лермонтова «Menschen und Leidenschaften» и «Странный человек». Замысел во многом близок к драме молодого Белинского «Дмитрий Калинин» и напоминает неосуществленный замысел трагедии А. С. Грибоедова о 1812 годе, где герой, также «недворянского происхождения», совершает подвиги на поле боя, после войны «возвращается под палку господина» и кончает жизнь самоубийством.

№ 7. Сюжет. «В Испании у матери дочь увез...» (стр. 388—390)

Сюжеты 1, 2, 4 и 5 опубликованы в изд. П. А. Ефремова «Юношеские драмы М. Ю. Лермонтова» (1880).

Сюжет 3 — в ОЗ (1859, № 1). Текст, взятый в кавычках, означает, что он полностью соответствует стихам драмы «Испанцы».

Парма — герцогство в Северной Италии, а также главный город этого герцогства.

В этой первой по времени записи замысла трагедии «Испанцы» сюжет в основном совпадает с фабулой окончательного текста, хотя имена действующих лиц еще не обозначены. Воплощая этот замысел, Лермонтов отказался от намерения ввести в трагедию «другую сестру» Эмилии.

№ 8. Записка 1830 года, 8 июля. Ночь (стр. 390)

Впервые опубликовано в ОЗ (1859, № 7).

Упоминание о первом детском увлечении см. в стихотворении Лермонтова «Кавказ» (т. 1 наст. издания, стр. 119). Е. А. Шан-Гирей утверждала, что девятилетняя белокурая девочка, упоминаемая в записи Лермонтова, — это ее мать Эмилия Александровна, урожденная Клингенберг, — которой в 1825 г. было 9 лет. В их доме в Горячеводске бывала Е. А. Арсеньева с внуком.

№ 9. (1830) («Когда я был трех лет») (стр. 391)

Впервые опубликовано в Соч. под ред. П. А. Ефремова (т. 2, 1873).

№ 10. 1830. («Я помню один сон») (стр. 391)

Впервые опубликована вторая часть заметки: «Когда я еще мал был — беспокойство...» — в ОЗ (1859, № 11), полностью — в Соч. под ред. П. А. Ефремова (т. 2, 1873).

Ср. в драме «Испанцы» слова Фернандо, обращенные к Эмилии (т. 3 наст. издания, стр. 140).

Армида — героиня поэмы Торквато Тассо «Освобожденный Иерусалим» (1575), волшебница, влюбленная в героя поэмы Ринальдо; своими чарами она удерживает возлюбленного в волшебном саду.

№ 11. 1830. («Мне пятнадцать лет») (стр. 391)

Впервые опубликовано в Соч. под ред. П. А. Ефремова (т. 2, 1873).

По-видимому, эта запись связана с пребыванием Лермонтова летом 1827 г. в имении отца Кропотове, Ефремовского уезда, Тульской губернии. См. стихотворения «К Гению» (т. 1 наст. издания, стр. 94) и «Дереву» (т. 1, стр. 151) и приписки Лермонтова к ним. Лермонтов обозначил инициалы любимой девушки — «А. С.», которые иногда расшифровывали как Анна Столыпина. Однако в 1827 г. Столыпиной было всего только 12 лет. Более вероятно, что это была дочь Александра Алексеевича Столыпина, Агафья, родившаяся в 1809 г. Дочери Александра Алексеевича ездили в 1825 г. с Е. А. Арсеньевой и Лермонтовым на Кавказ.

№ 12. (1830) («Наша литература так бедна») (стр. 392)

Впервые опубликовано в ОЗ (1859, № 11).

У меня была мамушкой немка — Ремер Христина Осиповна, бонна Лермонтова.

№ 13. Мое завещание (стр. 392)

Впервые опубликовано в ОЗ (1859, № 11). Датируется 1830 г. по нахождении в тетради VI. Заметка на полях стихотворения «Дереву» (см. т. 1 наст. издания, стр. 151). Ср. примечание к заметке № 11.

№ 14. Эпитафия плодовитого писаки (стр. 392)

Впервые опубликовано в «Русской мысли» (1882, № 2). Датируется 1830 г. по нахождении в тетради VI.

№ 15. 1830. («Еще сходство в жизни моей») (стр. 392)

Впервые опубликовано в ОЗ (1859, № 11).

О предсказании Байрону см. The Moore. The Life and Letters of Lord Byron, Vol. I, Chapter 2, L. 1830 (Т. Мур, Жизнь и письма лорда Байрона).

Отзвук этой автобиографической записи Лермонтова см. в «Княжне Мери», стр. 120.

№ 16. Я читаю Новую Элоизу (стр. 393)

Впервые опубликовано в ОЗ (1859, № 11).

«Новая Элоиза» — роман Ж.-Ж. Руссо «Новая Элоиза, или Письма двух любовников, жителей одного небольшого города у подошвы Альпийских гор» (1761).

№ 17. Написать записки молодого монаха (стр. 393)

Впервые опубликовано в ОЗ (1859, № 11).

Этот план близок по содержанию к поэме «Исповедь».

№ 18. Написать шутливую поэму (стр. 393)

Впервые опубликовано в ОЗ (1859, № 11).

Замысел шутливой поэмы о приключениях богатыря свидетельствует об интересе юного Лермонтова к жанрам так называемой ирои-комической и богатырской поэмы конца XVIII и начала XIX в. («Елисей, или Раздраженный Вакх» В. Майкова, «Алеша Попович» и «Чурила Пленкович» Н. А. Радищева-сына и др.).

№ 19. Memor: перевесть в прозе (стр. 393)

Впервые опубликовано в ОЗ (1859, № 11). Датируется 1831 г. по нахождении в тетради XI.

Текст прозаического перевода стихотворения Байрона «The Dream» («Сон») до нас не дошел. Возможно, что этот замысел вообще не был осуществлен. Из стихотворения Байрона «Сон» девять стихов взяты Лермонтовым в качестве эпиграфа к драме «Странный человек».

Miss Alexandrine — Александра Михайловна Верещагина (о ней см. прим. к письму 12).

№ 20. Memor. («Написать трагедию: Марий, из Плутарха») (стр. 394)

Впервые опубликовано в ОЗ (1859, № 11).

Этот план исторической трагедии, оставшийся неосуществленным, возник, по-видимому, под влиянием чтения Шекспира; судя по плану, в пятом действии должна была, подобно тени отца Гамлета, явиться тень отца к сыну Мария. Из письма Лермонтова к М. А. Шан-Гирей (письмо 4) известно, что «Гамлет» Шекспира произвел на молодого Лермонтова сильное впечатление.

Гай Марий — римский консул (154—85 гг. до н. э.). Его биография была написана Плутархом и вошла в книгу «Сравнительные жизнеописания славных мужей», в русском переводе, Спб. 1818.

Силла — римский диктатор Луциний-Корнелий-Феликс Сулла (138—78 гг. до н. э.). Имя Силла Лермонтов заимствовал из вышеупомянутой книги Плутарха.

Цинна — римский консул Люций-Корнелий Цинна.

Антоний — ритор. «Он был дед триумвира Марка Антония. Цицерон, который слушал его, удивлялся его красноречию» (см. Плутарх, Сравнительные жизнеописания, Спб. 1818).

№ 21. Memor. («Прибавить к «Странному человеку») (стр. 394)

Впервые опубликовано в Соч. под ред. С. С. Дудышкина (1862, т. 1).

В известном нам тексте драмы «Странный человек» подобной сцены нет.

Белинской — персонаж драмы «Странный человек».

№ 22. («При дворе князя Владимира») (стр. 394)

Впервые опубликовано в Соч. под ред. А. И. Введенского (т. 4, 1891). Датируется 1831 г. по нахождении в тетради XI.

Этот план фантастической сказки или поэмы, по-видимому, был отвергнут поэтом, так как в тетради он перечеркнут.

№ 23. Написать поэму «Ангел смерти» (стр. 396)

Впервые опубликовано в ОЗ (1859, № 11). Запись представляет собою краткий план поэмы «Ангел смерти».

№ 24. Memor. Написать длинную сатирическую поэму (стр. 397)

Впервые опубликовано в Соч. под ред. П. А. Ефремова (1873, т. 2). Сопоставляется с поэмой «Сказка для детей» (см. т. 2 наст. издания).

№ 25. 2-го декабря: св. Варвары (стр. 397)

Впервые опубликовано в Соч. под ред. П. А. Ефремова (1873, т. 2).

Датируется 1831 г. по нахождении в тетради XI.

Заметка относится к Варваре Александровне Лопухиной (о ней см. в прим. к письму 17).

2-го декабря: св. Варвары — указано ошибочно. Варварин день отмечался 4 декабря по старому стилю.

№ 26. («Ecrire une tragédie») (стр. 397)

Впервые опубликовано в Соч. под ред. П. А. Ефремова (1873, т. 2).

Датируется 1831 г. по нахождении в тетради XI. Замысел не осуществлен.

Нерон — римский император (54—68), отличавшийся произволом и жестокостью.

№ 27. Имя героя Мстислав (стр. 397)

Впервые опубликовано в «Русской мысли» (1881, кн. 12). Датируется 1831 г. по нахождении в тетради XI.

Замысел исторической поэмы или драмы навеян чтением третьего тома «Истории Государства Российского» Н. М. Карамзина. События, положенные в его основу, относятся к 1238 г., когда татары овладели городом Владимиром. Город обороняли войска Всеволода и Мстислава Георгиевичей — сыновей великого князя Георгия. Первоначально в тексте наброска вместо имени «Мстислав» было написано «Всеволод». Некоторые строки плана почти текстуально совпадают с «Историей» Карамзина.

«Что за пыль пылит». — Сохранилась запись этой песни в обработке Лермонтова:

Что в поле за пыль пылит,
Что за пыль пылит, столбом валит?
Злы татаровья полон делят,
То тому, то сему по добру коню;
А как зятю теща доставалася,
Он заставил ее три дела делать:
А первое дело — гусей пасти,
А второе дело — бел кужель прясти,
А третье дело — дитя качать.

И я глазыньками гусей пасу,
И я рученьками бел кужель пряду,
И я ноженьками дитя качаю;
Ты баю-баю, мило дитятко,
Ты по батюшке злой татарчонок,
А по матушке родной внучонок,
У меня ведь есть приметочка —
На белой груди что копеечка.

Как услышала моя доченька,
Закидалася, заметалася:
«Ты родная моя матушка,
Ах ты что давно не сказалася?
Ты возьми мои золоты ключи,
Отпирай мои кованые ларцы
И бери казны сколько надобно,
Жемчугу да злата-серебра».

«Ах ты милое мое дитятко,
Мне не надобно твоей золотой казны,
Отпусти меня на святую Русь;
Не слыхать здесь петья церковного,
Не слыхать звону колокольного».

№ 28. Сюжет («Молодежь, разговаривают...») (стр. 398)

Впервые опубликовано в ОЗ (1859, № 7).

Текст разделен на десять абзацев, причем каждые два абзаца обозначены цифрой, вынесенной в левое поле каждого листа.

Этот замысел тематически примыкает к предыдущему, но в нем отчетливее намечена драматическая форма. По-видимому, предполагалась драма из пяти актов и десяти сцен.

№ 29. Программа (стр. 400)

Впервые опубликовано в «Русской мысли» (1881, кн. 12). Датируется 1832 г. по нахождении в тетради IV.

№ 30. Племя на Кавказе (стр. 400)

Впервые опубликовано в ОЗ (1859, № 7) под заглавием «Программа поэмы на Кавказе». Датируется 1832 г. по нахождении в тетради IV.

№ 31. («Монах впоследствии сидит у окна») (стр. 400)

Впервые опубликовано в «Русской мысли» (1881, кн. 12). Датируется 1832 г. по нахождении в тетради IV.

№ 32. («Он угрожает ей гибелью отца») (стр. 401)

Впервые опубликовано в изд. П. А. Ефремова «Юношеские драмы М. Ю. Лермонтова» (Спб. 1880).

Датируется 1832 г. по нахождении в тетради IV.

№ 33. Демон. Сюжет (стр. 401)

Впервые опубликовано в Соч. под ред. А. И. Введенского (1891, т. 4).

Датируется 1832 г. по нахождении в тетради 21[а].

№ 34. («Александр: у него любовница») (стр. 401)

Впервые упомянуто в Соч. под ред. П. А. Ефремова (1873, т. 1). Опубликовано в Соч. под ред. А. И. Введенского (т. 4, 1891).

Нижняя часть листа автографа оборвана на последней

строке. Слева, на полях — два рисунка: набросок мужского лица, без прически, и портрет молодого человека в штатском с усами и длинными пышными волосами.

Автограф расположен на обороте листа с автографом стихотворения «Опять народные витии» (1834—1835). На этом основании данный набросок датируется второй половиной 30-х годов. По-видимому, это неосуществленный план драмы.

№ 35. («Я в Тифлисе у Петр. Г.») (стр. 402)

Впервые упомянуто в Соч. под ред. П. А. Ефремова (т. 1, 1873). Опубликовано в Соч. под ред. А. И. Введенского (т. 4, 1891).

Датируется 1838 г., относится ко времени, когда Лермонтов начал работать над «Героем нашего времени». (О сходстве этой записи со стихотворением 1841 года «Свидание» см. т. 1 наст. издания, стр. 75.)

Вернее всего, что данная запись представляет собой замысел произведения с обозначениями каких-то реальных лиц. Скорей всего слова «Я в Тифлисе у Петр. Г.» следует расшифровать: «Я в Тифлисе у Петрова». Возможно, что речь идет о родственнике Лермонтова, генерал-майоре П. И. Петрове, а «Г.» — Геург, оружейный мастер, упоминающийся далее в этой же записи.

И. Л. Андроников предполагает, что Петров — Павел Ефимович, дежурный штаб-офицер Штаба Отдельного кавказского корпуса, постоянно живший в Тифлисе, а «Г.» — Герарди Франц Петрович, штаб-лекарь Тифлисского военного госпиталя, а упоминаемый в этом же наброске Али — это известный азербайджанский философ, поэт, драматург Мирза Фатали (Фет-Али) Ахундов, который с 1834 г. служил в должности переводчика с восточных языков при канцелярии главноуправляющего Грузией (Лермонтов в Грузии, «Советский писатель», М. 1955). И. К. Ениколопов предполагает, что Али — это тифлисский ахунд Мамед-Али, Ахмет — его племянник (Лермонтов на Кавказе, Тбилиси, 1940).

№ 36. («У России нет прошедшего: она вся в настоящем и будущем») (стр. 403)

Впервые опубликовано в Соч. под ред. С. С. Дудышкина (1860, т. 1).

Датируется апрелем — июлем 1841 г. по нахождении в за-

писной книжке, подаренной Лермонтову В. Ф. Одоевским 13 апреля 1841 г. До сих пор не установлено, является ли эта запись афоризмом самого Лермонтова, или это выписка из какой-либо книги.

ПЕРЕВОДЫ

Все переводы датируются на основании местонахождения в тетради VIII (1830) и XI (1831). Автографы хранятся в Институте русской литературы (Пушкинский дом) АН СССР.

Мрак. Тьма (стр. 404)

Впервые опубликовано в Соч. Лермонтова изд. Академической библиотеки (1910, т. 2).

Перевод представляет собой упражнение в английском языке; «Тьма» («Darkness») — стихотворение Байрона, написанное в Швейцарии в 1816 г. Вольным подражанием «Тьме» Байрона является стихотворение юного Лермонтова «Ночь. II» (1830) — см. т. 1 наст. издания, стр. 126.

The Giaour (стр. 406)

Впервые опубликовано в Соч. Лермонтова изд. Академической библиотеки (1910, т. 2).

Перевод поэмы Байрона «Гяур» (1813).

Napoleon's Farewell (стр. 409)

Впервые опубликовано в Соч. Лермонтова изд. Академической библиотеки (1910, т. 2).

Перевод стихотворения Байрона «Прощание Наполеона» (1815).

Beppo (стр. 410)

Впервые опубликовано в Соч. Лермонтова изд. Академической библиотеки (1910, т. 2).

Это — перевод первой строфы поэмы Байрона «Беппо» (1817). Лермонтов обозначил переведенный отрывок цифрой «I» и затем поставил цифру «II», но к переводу второй строфы не приступил.

(«Я проводил тебя со слезами») (стр. 410)

Впервые опубликовано в Соч. Лермонтова под ред. Висковатова (1889, т. 1).

Перевод стихотворения немецкого поэта Иоганна Т. Гермеса (1738—1821) «Dir folgen meine Tränen». На полях перевода Лермонтова записан его рукой немецкий текст, несколько отличающийся от подлинника; по-видимому, записан по памяти.

ПИСЬМА

Из эпистолярного наследия Лермонтова до нас дошло всего пятьдесят одно письмо. Десять из них (18, 20, 22, 29, 33, 35, 38, 39, 40, 50) обнаружены в течение последних лет.

Беспокойная, кочевая жизнь поэта не могла не сказаться на его переписке. Лермонтов писал не только у себя в комнате, но и на постоялых дворах, и на почтовых станциях, «на бивакax», в походных палатках. Многие его письма коротки и поспешны. Он не отделывал их, как Пушкин или Тургенев, не писал по нескольку дней, как Белинский. Письма Лермонтова — моментальное отражение его настроений и состояний. В них отсутствуют политические, философские или литературные рассуждения. Это не значит, конечно, что таковы были все письма Лермонтова. Можно с уверенностью сказать, что не дошедшие до нас письма Лермонтова к А. А. Краевскому, В. Ф. Одоевскому, Ю. Ф. Самарину, С. А. Раевскому, Е. П. Ростопчиной и другим друзьям-литераторам были более значительными и содержательными, чем те, которые обращены к бабушке или тетке М. А. Шан-Гирей. Особенно ощутительна утрата эпистолярного наследия Лермонтова за 1837 г., когда в беспрестанных странствованиях по Кавказу зарождался замысел «Героя нашего времени», когда поэт сдружился с А. И. Одоевским, общался с сосланными на Кавказ и в Закавказье декабристами и с лучшими представителями грузинской, азербайджанской и армянской интеллигенции (семья А. Чавчавадзе, Мирза Фатали Ахундов и др.)

Тем не менее дошедшая до нас переписка Лермонтова представляет собою ценнейший источник биографических сведений, помогает нам создать представление о личности поэта во всем ее неповторимом своеобразии.

Публикация писем по автографам, авторизированным и корректурным копиям не оговаривается. Автографы писем 1, 2,

3, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 26, 32, 36, 47, 49, 51 хранятся в отделе рукописей Государственной публичной библиотеки имени М. Е. Салтыкова-Щедрина, писем 5, 8, 15, 19, 21, 25, 30, 37, 41, 48, 50 — в Институте русской литературы (Пушкинском доме) Академии наук СССР, писем 6, 7 — в Центральном государственном историческом архиве в Москве, писем 18, 33, 40— в Центральном государственном историческом архиве в Ленинграде, писем 20, 22, 27, 29, 35, 38, 39 — в Центральном государственном архиве литературы и искусства, письмо 46 — в Тартуском государственном университете, письмо 4 — в Государственной библиотеке имени В. И. Ленина.

Письма 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 26, 30, 32, 33, 36, 38, 40, 42 и 50 написаны в оригинале по-французски. Перевод сделан М. И. Гиллельсоном и В. Б. Шеметилло под редакцией М. Г. Ашукиной.

Пропущенные автором в тексте слова заключены в ломаные скобки.

1. М. А. Шан-Гирей (стр. 413)

Впервые опубликовано П. А. Ефремовым в «Русской старине» (1872, кн. 2).

Письмо датируется предположительно осенью 1827 г., так как написано вскоре после приезда в Москву. А. П. Шан-Гирей в своих воспоминаниях относит переезд Е. А. Арсеньевой в Москву к 1827 г.

Мария Акимовна Шан-Гирей, рожденная Хастатова — двоюродная тетка Лермонтова.

Еким — Аким Павлович (1817—1883), сын М. А. Шан-Гирей, друг детства Лермонтова.

Мой учитель — А. С. Солоницкий, учитель рисования Лермонтова.

Катюша — Екатерина Павловна, дочь М. А. Шан-Гирей.

«Невидимка» — опера «Князь Невидимка» в 4-х действиях, текст Е. Лифанова, музыка К. А. Кавоса. В Москве эта опера, впервые поставленная 1 июля 1819 г., продержалась в репертуаре до 1828 г.

...мы сами делаем театр... будут восковые фигуры играть... — Как свидетельствует М. Е. Меликов, приятель детских лет поэта, в своих «Заметках и воспоминаниях художника-живописца», Лермонтов лепил из красного воска целые сцены, на-

пример: охотника с собакой и сцены сражений; кроме того, составил из марионеток театр и сочинял для него пьесы. А. П. Шан-Гирей в своих воспоминаниях писал: «Мишель был счастливо одарен способностями к искусствам; уже тогда рисовал акварелью довольно порядочно и лепил из крашеного воску целые картины».

Братцы — Алексей и Николай Павловичи, сыновья М. А. и П. П. Шан-Гиреев.

М. Лермантов — так писалась фамилия Лермонтовых во всех официальных документах. Только с 1835 г. поэт начал подписываться «Лермонтов», после того как пришел к выводу, что эта фамилия происходит от имени легендарного шотландского барда — Томаса Лермонта.

2. М. А. Шан-Гирей (стр. 414)

Впервые опубликовано П. А. Ефремовым в «Русской старине» (1872, кн. 2).

Письмо написано 21 декабря 1828 г., или вскоре после этого дня, когда Лермонтов, поступивший в Московский университетский благородный пансион 1 сентября 1828 г., отлично выдержав испытания, был переведен из четвертого класса в пятый («Вакация началась до 8 января, следственно она будет продолжаться 3 недели», то есть начиная с 20—21 декабря. Но о 20 декабря Лермонтов упомииает в прошедшем времени, значит письмо написано не ранее 21 декабря).

К письму приложена копия ведомости, сделанная рукой Лермонтова:

Ведомость о поведении и успехах Университетского пансиона воспитанника 4-го класса М. Лермантова

Поведение	Прилежание	Успехи								Заключение
		Закон божий	Математика	Русский язык	Латинский язык	История	География	Немецкий язык	Французский язык	
Весьма похвально		3	4	4	3	4	4	4	4	30. За 24 балла перевод в 5-й класс

Инспектор Павлов

К ведомости Лермонтовым сделана приписка: «N. B. 4 означает высшую степень. 0 — низшую! Я сижу 2-м учеником».

Дубенской — Дмитрий Никитич Дубенской, магистр, преподавал в четвертом классе Университетского пансиона русский и латинский языки, автор книги «Опыт о народном русском стихосложении» (М. 1828).

Папенька сюда приехал. — Юрий Петрович Лермонтов (1787—1831) приезжал в Москву из своей Тульской деревни Кропотово.

Скоро я начну рисовать с бюстов... — Интерес Лермонтова к изообразительному искусству проходит через всю его жизнь и творчество. В Институте русской литературы Академии наук СССР в Ленинграде и в Государственном литературном музее в Москве собрана большая часть сохранившихся картин и рисунков Лермонтова, свидетельствующих о его незаурядном даровании. (См. Н. Пахомов, Живописное наследство Лермонтова. Лит. наследство, т. 45—46, 1948, стр. 55—222.)

Александр Степанович — Солоницкий.

«Геркулес и Прометей» — раннее, не дошедшее до нас произведение Лермонтова.

«Каллиопа» — литературные сборники, в которых печатались произведения воспитанников Университетского пансиона. Выходили в 1815, 1816, 1817, 1820 гг. при участии В. Ф. Одоевского, С. П. Шевырева, А. И. Писарева и других. В 1828 г. сборник не выходил.

Павлов — Михаил Григорьевич, инспектор Университетского пансиона, профессор, с 1828 г. издавал журнал «Атеней».

Дяденька — Павел Петрович Шан-Гирей, муж Марии Акимовны (ум. в 1869 г.).

Апалиха — или Опалиха — имение Марии Акимовны Шан-Гирей, неподалеку от Тархан.

3. М. А. Шан-Гирей (стр. 416)

Впервые опубликовано в «Русской старине» (1886, кн. 5).

Письмо датируется весной 1829 г. на основании слов: «У нас в пятом классе с самого нового года еще не все учителя поставили сии *вывески нашей премудрости!*» Лермонтов перешел в пятый класс Университетского пансиона в конце декабря

1828 г. О новом 1829 г. он упоминает в письме в прошедшем времени. Следовательно, слова «ваканции (то есть вакации) приближаются» относятся к весенним пасхальным каникулам.

«Игрок» — мелодрама Дюканжа (1783—1833) «Тридцать лет, или Жизнь игрока» в переводе Ф. Ф. Кокошкина с музыкой А. Н. Верстовского, впервые представлена в Москве 26 января 1828 г. Главную роль в этой пьесе в Москве исполнял П. С. Мочалов (1800—1848), а в Петербурге — В. А. Каратыгин (1802—1853).

«Разбойники» — драма Шиллера (1781) шла в переделке Н. Сандунова с 1814 г. В Москве роль Карла Моора исполнял П. С. Мочалов.

Вопрос о превосходстве П. С. Мочалова над В. А. Каратыгиным занимал видное место в идейной борьбе за передовой русский театр. «Каратыгин удивительно шел николаевскому времени и военной столице его», — писал А. И. Герцен, называвший этого актера «лейб-гвардейским трагиком». О Мочалове же, как и о Щепкине, Герцен отзывался как о самых замечательных артистах, виденных им «в продолжение тридцати пяти лет и на протяжении всей Европы». «Видел я в ролях Отелло и Карла Моора, — писал В. Г. Белинский в письме родителям 9 октября 1829 г., — знаменитого Мочалова, первого, лучшего трагического московского актера, единственного соперника Каратыгина. Гений мой слишком слаб, слишком ничтожен, недостаточен, чтобы достойно описать игру сего необыкновенного гения, сего великого артиста драматического искусства» (В. Г. Белинский, Полн. собр. соч., АН СССР, т. 1, стр. 4—5).

Еким — А. П. Шан-Гирей, которого незадолго до этого привезли учиться в Москву.

M-r G. Gendroz — гувернер Лермонтова Жан-Пьер Келлет Жандро; умер в доме Арсеньевой 8 августа 1830 г.

Анна Акимовна — Петрова, рожденная Хастатова, сестра М. А. Шан-Гирей, гостившая иногда с детьми в Апалихе.

Алеша — Алексей Павлович Шан-Гирей.

Две Катюши — дочь Марии Акимовны Екатерина Павловна Шан-Гирей, впоследствии Веселовская, и дочь Анны Акимовны Екатерина Павловна Петрова, впоследствии Жигмонт.

Маша — Мария Павловна, дочь Анны Акимовны и Павла Ивановича Петровых.

4. М. А. Шан-Гирей (стр. 416)

Впервые опубликовано в «Русской старине» (1889, кн. 1).

Письмо датируется февралем 1831 или 1832 г. на основании слов Лермонтова: «...почти каждый вечер на бале. Но великим постом я уже совсем засяду. В университете все идет хорошо». В 1831 и 1832 гг. масленица приходилась на февраль.

Это письмо — ответ Лермонтова на неизвестное нам письмо М. А. Шан-Гирей, в котором, по-видимому, содержался неодобрительный отзыв о драматургии Шекспира.

Юный Лермонтов высоко оценил гений Шекспира, произведения которого он читал не только во французских переделках, но и в подлиннике. Цитируя в настоящем письме текст «Гамлета» по памяти, Лермонтов смешивает Розенкранца и Гильденштерна с Полонием, который, впрочем, появляется в той же сцене. Эпизод с флейтой в трагедии Шекспира не завершает сцену, но предшествует разговору Гамлета с Полонием (акт III, сц. II). Белинский также особо выделил эту превосходную сцену.

...перевод перековерканной пиесы Дюсиса... — Речь идет о переделке С. И. Висковатовым «Гамлета» с французской переделки шекспировской трагедии, выполненной членом Французской академии Дюсисом (1733—1816). Перевод С. И. Висковатова был издан в 1811 г. под названием «Гамлет, трагедия 5 д., подражание Шекспиру в стихах. Стихотворная обработка (александрийским стихом) по Дюсису».

5. Н. И. Поливанову (стр. 418)

Впервые опубликовано в «Русской старине» (1875, кн. 9).

Письмо представляет собой приписку, сделанную рукой Лермонтова на письме его друга Владимира Александровича Шеншина к Н. И. Поливанову, в котором Шеншин писал:

«Любезный друг. Первый мой тебе реприманд: зачем ты по-французски письмо написал, разве ты хотел придать более меланхолии, это было совсем некстати.

Мне здесь очень душно, и только один Лермантов, с которым я уже пять дней не виделся (он был в вашем соседстве у Ивановых), меня утешает своею беседою.

Николай в деревне. Закревский избаловался. Других я не вижу, не полагая довольного удовольствия с ними быть в компании.

Пиши к нам со всякой оказией, ты ничего не делаешь, да при том, верно, нам не откажешь в малом удовольствии нас повеселить твоими письмами, следуя параллельной системе, да, пожалоста, пиши поострее, кажется, у тебя мысли просвежились от деревенского воздуха. Твое нынешнее письмо доказывает, что ты силишься принять меланхолический оборот твоему характеру, но ты знаешь, что я откровенен, и потому прими мой совет: следуй *Шпигельбергу*[1], а не Лермантову, которого ты безжалостно изувечил, подражая ему на французском языке».

Датируется 7 июня 1831 г. по дате на письме Шеншина.

Николай Иванович Поливанов (1814—1874) — один из близких товарищей Лермонтова, с которым впоследствии вместе учился в Школе гвардейских подпрапорщиков и кавалерийских юнкеров в Петербурге.

Завтра свадьба твоей кузины Лужиной... — Лужины были в родстве с Поливановыми и Шеншиными. О какой кузине идет речь — не установлено.

...я не могу тебе много писать: болен, расстроен... — Тяжелое состояние духа, на которое жалуется в письме Лермонтов, по-видимому, связано с его увлечением Натальей Федоровной Ивановой (1813—1875), дочерью драматурга Ф. Ф. Иванова.

6. С. А. Бахметевой (стр. 419)

Впервые опубликовано в Соч. под ред. П. А. Ефремова (1873, т. 1) с пропусками имен и фамилий упоминаемых лиц. Полностью — в Соч. под ред. П. А. Ефремова (1887, т. 1).

На основании слов Лермонтова: «Я к вам писал из Твери и отсюда...» (письмо 8) — датируется июлем — началом августа 1832 г., когда Лермонтов совершал поездку из Москвы в Петербург. Следовательно, настоящее письме послано с дороги из Твери.

---

[1] Шпигельберг — один из персонажей трагедии Шиллера «Разбойники».

Софья Александровна Бахметева (род. в 1800 г.) воспитывалась в доме Е. А. Арсеньевой. Лето 1830 г. вместе с Лермонтовым и двумя своими сестрами она провела в имении Столыпиных Середникове, под Москвой. По свидетельству первого биографа Лермонтова П. А. Висковатого, С. А. Бахметева была «веселая, сама увлекающаяся, она увлекла и Лермонтова, но ненадолго». Лермонтов называл ее «легкой, как пух». Взяв пушинку в присутствии Софьи Александровны, «Лермонтов дул на нее, говоря: «Это вы — ваше Атмосфераторство».

Александра, Михайлова дочь — Александра Михайловна Верещагина (род. в 1810 г.), племянница Екатерины Аркадьевны Столыпиной, невестки Е. А. Арсеньевой. Поэтому Лермонтов называет ее «кузиной».

До Петербурга с обеими прощаюсь — означает, что из Петербурга будет написано Лермонтовым следующее письмо.

Тетенька — Екатерина Аркадьевна Столыпина, в доме которой жили С. А. Бахметева и А. М. Верещагина. Е. А. Столыпина была вдовой Дмитрия Алексеевича Столыпина (1785—1826), брата Е. А. Арсеньевой.

7. С. А. Бахметевой (стр. 419)

Впервые опубликовано неполностью вместе с отрывками из письма 8 (с опечатками) в «Современнике» (1854, кн. 1). Полностью — в «Русском архиве» (1864, № 10).

Письмо датируется по содержанию. В одном из писем, отправленных М. А. Лопухиной из Петербурга 2 сентября 1832 г. (см. письмо 10), Лермонтов писал: «Вот уже несколько недель, как мы расстались...» Следовательно, первые письма его из Петербурга, в том числе и это, относятся к началу августа.

Вере Николавне — Столыпиной (1790—1834) — вдове Аркадия Алексеевича Столыпина, брата Е. А. Арсеньевой.

Прекрасный дом — дом, в который Е. А. Арсеньева въехала с внуком, по словам А. П. Шан-Гирея, находился на Мойке и принадлежал Ланскому.

...как свадьба? — Свадьба Марии Александровны Лопухиной не состоялась (см. письмо 9). Кто сватался за М. А. Лопухину — неизвестно.

Средниково — или Середниково — подмосковное имение Ека-

терины Аркадьевны Столыпиной, вдовы Д. А. Столыпина, брата Е. А. Арсеньевой. В Середникове Лермонтов проводил летние каникулы 1829, 1830 и 1831 гг. Там часто гостили А. М. Верещагина, С. А. Бахметева, Е. А. Сушкова и другие дальние родственницы и приятельницы юного Лермонтова.

Александра Михайловна — Верещагина—см. прим. к письму 12.

Елизавета Александровна — Лопухина (род. в 1809 г.) — двоюродная сестра А. М. Верещагиной.

Павел Евреинов — Павел Александрович Евреинов (ум. 5 июля 1857 г.) — двоюродный дядя Лермонтова.

Лермонтов познакомился с ним до 1832 г., в Москве, но сблизился лишь в Петербурге. Однако в дальнейшем Лермонтов изменил свое отношение к Евреинову (см. письмо 11).

Bande joyeuse (веселая шайка) — так называла С. А. Бахметева Лермонтова и его приятелей Н. И. Поливанова, В. и Н. Шеншиных, А. Закревского и А. Лопухина.

Тетушки — Екатерина Аркадьевна Столыпина, ее сестра Елизавета Аркадьевна Верещагина и Екатерина Петровна Лопухина.

Achille — арап, слуга в доме Лопухиных. В альбоме А. М. Верещагиной Лермонтов нарисовал его акварельный портрет.

8. С. А. Бахметевой (стр. 421)

Впервые опубликовано неполностью вместе с отрывками письма 7 (с опечатками) в «Современнике» (1854, № 1). Полностью — в «Русской старине» (1873, кн. 3).

Датируется по содержанию. В письме к М. А. Лопухиной от 2 сентября 1832 г. (см. письмо 10) Лермонтов спрашивает: «...передал ли вам мой кузен господин Евреинов мои письма?..» Следовательно, настоящее письмо, в котором говорится: «...Павел вам отдаст его», — относится к августу 1832 г.

...дивное посланье... не Павлово писанье — каламбур, намек на послание апостола Павла.

Павел — Павел Александрович Евреинов.

Я к вам писал из Твери и отсюда... — Очевидно, речь идет о двух предыдущих письмах (см. письма 6 и 7).

У Демидовой был... я письма не отдал... — Какую Демидову он имеет в виду и чье письмо должен был отдать Лермонтов — не установлено.

9. М. А. Лопухиной (стр. 423)

Впервые опубликованы французский текст и перевод в «Русском архиве» (1863, № 3).

Датируется 1832 г. на основании приводимых стихов, упоминания о приезде в Петербург, о знакомстве с родными.

Мария Александровна Лопухина (1802—1877) — сестра Алексея и Варвары Лопухиных. С этой семьей Лермонтов сдружился еще будучи в Московском университетском пансионе. Лермонтов не скрывал от Марии Александровны своего глубокого чувства к ее сестре В. А. Лопухиной. По словам П. А. Висковатова, «Мария Александровна уничтожила все, где в письмах к ней Лермонтов говорил о сестре ее Вареньке... Даже в дошедших до нас немногих листах, касающихся Вареньки и любви к ней Лермонтова, строки вырваны».

Мой роман. — Речь идет, очевидно, об одном из ранних не дошедших до нас прозаических сочинений Лермонтова. Возможно, что имеется в виду «Вадим».

10. М. А. Лопухиной (стр. 425)

Впервые опубликовано в «Русском архиве» (1863, кн. 5—6) с пропусками. Полностью — в Соч. под ред. П. А. Ефремова (1882, т. 1).

Датируется 1832 г. на основании слов: «Вот уже несколько недель, как мы расстались...» и стихотворения «Парус», относящегося к 1832 г.

Наталья Алексеевна — Столыпина (1786—1851) — сестра Е. А. Арсеньевой, бывшая замужем за однофамильцем — Григорием Даниловичем Столыпиным, пензенским предводителем дворянства.

Мадемуазель Аннета — Анна Григорьевна Столыпина (1815—1892), дочь Г. Д. и Н. А. Столыпиных, с 1834 г. замужем за А. И. Философовым.

...еще не стерли со стены знаменитую голову! — В доме Лопухиных в Москве в 1830 или 1831 г. Лермонтов написал портрет предполагаемого своего предка, испанского герцога Лерма. Портрет был случайно уничтожен. Позднее Лермонтов по памяти восстановил этот портрет на холсте.

Кузина — А. М. Верещагина — см. прим. к письму 12.

Мне очень хотелось бы задать вам небольшой вопрос... — Вероятно, Лермонтову хотелось получить известие о В. А. Лопухиной. Не получив ответа на свой вопрос, Лермонтов в недошедшем до нас письме от 3 октября, судя по ответному письму Лопухиной от 12 октября 1832 г., напомнил о нем еще раз.

11. М. А. Лопухиной (стр. 427)

Впервые опубликовано с сокращениями и пропусками имен упоминаемых лиц в «Русском архиве» (1863, кн. 4). Полностью — в Соч. изд. Академической библиотеки (1916, т. 4).

Исходя из того, что это письмо, судя по его содержанию, не является ответом на письмо М. А. Лопухиной от 12 октября (см. М. Ю. Лермонтов, Соч., т. VI, стр. 762), а предшествует ему, письмо датируется около 15 октября, то есть до того, когда оно могло быть получено. Слова Лермонтова «послезавтра экзамен», «через несколько дней экзамен» не позволяют уточнить дату, а свидетельствуют, что день экзамена точно известен не был.

...мое письмо к кузине затерялось... — Трудно установить, кого имеет в виду Лермонтов. Возможно, здесь идет речь о письме к А. М. Верещагиной.

Алексис — Алексей Александрович Лопухин (1813—1872) (см. прим. к письму 34).

...через несколько дней экзамен. — Речь идет об экзамене в Школу гвардейских подпрапорщиков и кавалерийских юнкеров, куда Лермонтов поступал.

...уж не воронежский ли угодник посоветовал ей забыть меня? — 6 августа в Воронеже были открыты мощи святого Митрофана. С. А. Бахметева уехала в Воронеж как раз около этого времени. В данном тексте слово «угодник» употреблено в каламбурном значении; подразумевается, очевидно, кто-то из поклонников С. А. Бахметевой.

...из двух тягостных и печальных лет... — Эти строки свидетельствуют о том, что вынужденный уход из Московского университета и отказ от мысли продолжать университетское образование в Петербурге нелегко дались Лермонтову и что, связывая свою судьбу с военной службой, он понимал, насколько это решение коренным образом изменит его жизнь.

12. А. М. Верещагиной (стр. 430)

Отрывок впервые опубликован в «Русской мысли» (1883, кн. 4). Полностью — в Соч. под ред. П. А. Висковатова (1891, т. 5).

Письмо датируется концом октября — началом ноября 1832 г. на основании слов Лермонтова: «Готовлюсь к экзамену и через неделю с божьей помощью я стану военным». Как известно, экзамен он держал 4 ноября, а 10 ноября приказом по Школе гвардейских подпрапорщиков и кавалерийских юнкеров был уже зачислен на службу в Лейб-гвардии гусарский полк кандидатом. Кроме того, данное письмо является ответом на письмо А. М. Верещагиной от 13 октября.

Александра Михайловна Верещагина, в замужестве баронесса Гюгель (род. в 1810 г.), близкий друг Лермонтова. Когда Лермонтов учился в Московском университетском пансионе, а потом в университете, он постоянно бывал у А. М. Верещагиной, которая жила с матерью, и сопровождал ее и Е. А. Сушкову на гулянья и вечера.

А. П. Шан-Гирей так характеризует отношение А. М. Верещагиной к Лермонтову: «Мисс Александрина, то есть Александра Михайловна Верещагина, кузина его, принимала в нем большое участие, она отлично умела пользоваться немного саркастическим направлением ума своего и иронией, чтоб овладеть этой беспокойной натурой и направлять ее, шутя и смеясь, к прекрасному и благородному: все письма Александры Михайловны к Лермонтову доказывают ее дружбу к нему». Из ее писем известен только отрывок письма от 13 октября 1832 г., дошедший в выписке В. Х. Хохрякова, и одно письмо полностью от 18 августа 1835 г., сохранившееся в тексте воспоминаний А. П. Шан-Гирей («Русское обозрение», 1890, кн. 8).

У А. М. Верещагиной был альбом, в который Лермонтов вписал восемь стихотворений, множество рисунков и автопортрет в бурке, известный нам только в копии. Многие письма Лермонтова к А. М. Верещагиной были уничтожены ее матерью, так как, по ее словам, они «были крайне саркастичны и задевали многих» («Литературное наследство», 1948, т. 45—46, стр 36).

...дом Столыпина в Москву... (на Поварской улице, ныне улица Воровского.) — Этот дом принадлежал владелице Середникова Екатерине Аркадьевне Столыпиной. Александра Михайловна Верещагина жила с матерью в этом доме.

13. М. А. Лопухиной (стр. 431)

Впервые опубликовано с пропусками в «Русском архиве» (1863, кн. 5—6). Полностью — в Соч. под ред. П. А. Ефремова (1882, т. 1).

Письмо датируется 1833 г. на том основании, что 19 июня приходилось на понедельник в 1833 г.

...скорое освобождение. — Лермонтов имеет в виду окончание Школы гвардейских подпрапорщиков и кавалерийских юнкеров.

...фраза по поводу женитьбы князя... — По-видимому, речь идет о князе Николае Николаевиче Трубецком, сделавшем предложение сестре М. А. Лопухиной — Елизавете Александровне.

Скажите, пожалуйста, кузине... — Речь идет, по всей вероятности, об А. М. Верещагиной.

Иван Ватковский — по всей вероятности, Иван Яковлевич Вадковский, который одновременно с Лермонтовым учился в Московском университете.

...его полковник женится на его сестре! — Лермонтов подразумевает предстоящее замужество двоюродной сестры А. М. Верещагиной — Прасковьи Александровны Воейковой, дочери Екатерины Аркадьевны Столыпиной.

Мадемуазель С. — Екатерина Александровна Сушкова (1812—1868), впоследствии замужем за А. В. Хвостовым. Письмо относится ко времени начала романа Сушковой с А. А. Лопухиным. Очевидно, не расположенная к ней Марья Александровна писала в не дошедшем до нас письме из Москвы что-то резко отрицательное о Сушковой.

14. М. А. Лопухиной (стр. 433)

Впервые опубликовано с пропуском в «Русском архиве» (1863, кн. 5—6). Полностью — в Соч. под ред. П. А. Ефремова (1882, т. 1).

Датируется 1833 г. на основании слов: «Лишь одно меня ободряет — мысль, что через год я офицер!» Лермонтов окончил Школу гвардейских подпрапорщиков и кавалерийских юнкеров 22 ноября 1834 г.

...князь Т. и ваша сестра, его супруга... — Князь Николай Николаевич Трубецкой был женат на Елизавете Александровне Лопухиной (см. прим. к письму 13).

...я уже не тот, каким был прежде... — О перемене, происшедшей в Лермонтове, пишет А. П. Шан-Гирей: «Нравственно Мишель в Школе переменился не менее, как и физически, следы домашнего воспитания и женского общества исчезли; в то время в Школе царствовал дух какого-то разгула, кутежа, бамбошерства; по счастию, Мишель поступил туда не ранее девятнадцати лет и пробыл там не более двух; по выпуске в офицеры все это пропало, как с гуся вода» («Русское обозрение», 1890, кн. 8). Шан-Гирей допустил ошибку: Лермонтов поступил в Школу гвардейских подпрапорщиков и кавалерийских юнкеров 18 лет.

Привет от меня кузине... — речь идет, по-видимому, об А. М. Верещагиной.

15. М. Л. Симанской (стр. 435)

Впервые опубликовано и воспроизведено в «Известиях Лермонтовского и Исторического музеев Николаевского кавалерийского училища» (1916, № 1).

Кроме письма, сохранилась ей же адресованная записка Лермонтова: «Je vous aime <я вас люблю> M-lle M. S. Своею кровью» (опубликовано там же, где письмо). На записке — рисунок лука со спущенной стрелой и пронзенное стрелою сердце.

Письмо датируется 20 февраля 1834 г по следующим соображениям: 17 февраля 1834 г. умер Михаил Григорьевич Столыпин, троюродный брат Лермонтова. Его похороны совпали с днем именин Льва Александровича Симанского, отца М. Л. Симанской, которые приходились на 20 февраля.

Мария Львовна Симанская (ум. в 1878 г.) — дальняя родственница Лермонтова, замужем за Д. Н. Дурново.

16. М. А. Лопухиной (стр. 435)

Впервые опубликовано с пропусками в «Русском архиве» (1863, кн. 5). Полностью — в Соч. под ред. П. А. Ефремова (1887, т. 1).

Письмо датируется 1834 г., исходя из слов «двух страшных годов как не бывало», то есть времени пребывания Лермонтова в юнкерской школе, которую он закончил в декабре 1834 г. Также установлено, что Алексис (А. А. Лопухин) приехал в Петербург 21 декабря 1834 г.

Я был в Царском Селе, когда приехал Алексис... — Лейб-гвардии гусарский полк стоял в Софии (предместье Царского Села); по службе Лермонтов часто бывал в Царском Селе, но большую часть времени проводил в Петербурге.

17. А. М. Верещагиной (стр. 438)

Впервые перевод двух отрывков письма с пропусками имен и фамилий упоминаемых лиц напечатан в «Русском вестнике» (1882, кн. 3). Полностью — в Соч. под ред. П. А. Висковатова (1891, т. 5).

Письмо датируется весной 1835 г. на основании сообщения Лермонтова об отъезде бабушки, которая уехала из Петербурга весной 1835 г.

Афоризмы Ларошфуко. — Герцог Ларошфуко (1613—1680) — французский писатель, автор книги афоризмов «Размышления, или Сентенции и максимы о морали» (1665), которую Лермонтов имеет в виду, пародируя его афоризмы о женщинах.

Мари — Мария Александровна Лопухина.

Госпожа Углицкая — Мария Александровна Углицкая, племянница Е. А. Арсеньевой.

...она говорит также, что жена ее брата прелестна... — Речь идет о жене Павла Евреинова.

Мадемуазель Barbe — Варвара Александровна Лопухина. В Петербурге чувство Лермонтова к Лопухиной, как рассказывает А. П. Шан-Гирей, «временно заглушено было новою обстановкой и шумною жизнью тогдашней Школы, по вступлении в свет новыми успехами в обществе и литературе; но мгновенно и сильно пробудилось оно при неожиданном известии о замужестве любимой женщины» («Русское обозрение», 1890, кн. 8). А. П. Шан-Гирей присутствовал весной 1835 г. при получении Лермонтовым известия о том, что Лопухина выходит замуж за Н. Ф. Бахметева: «Мы играли в шахматы, человек подал письмо; Мишель начал его читать, но вдруг изменился в лице

и побледнел; я испугался и хотел спросить, что такое, но он, подавая письмо, сказал: «Вот новость — прочти», — и вышел из комнаты» («Русское обозрение», 1890, кн. 8). Замужество Варвары Александровны не прервало ее отношений с Лермонтовым. В 1837 г. он пишет для нее акварельный автопортрет в бурке на фоне кавказских гор и, по-видимому, продолжает переписку. В 1838 г., проездом за границу, В. А. Лопухина остановилась с мужем в Петербурге. «Я послал к нему нарочного, а сам поскакал к ней, — пишет А. П. Шан-Гирей, приводя свой разговор с Бахметевой. «Ну, как вы здесь живете?» — «Почему же это «вы»?» — «Потому что я спрашиваю про двоих». — «Живем как бог послал, а думаем и чувствуем как в старину. Впрочем, другой ответ будет из Царского через два часа». Это была наша последняя встреча: ни ему, ни мне не суждено было ее больше видеть» («Русское обозрение», 1890, кн. 8). 8 сентября 1838 г. Лермонтов послал Варваре Александровне авторизованный список «Демона» (VI редакция, писанная им на Кавказе и оконченная в Петербурге). В. А. Бахметева умерла 9 августа 1851 г. Родственники Варвары Александровны, и в особенности Н. Ф. Бахметев (ум. в 1884 г.), уничтожили ее переписку с Лермонтовым и сделали все возможное для того, чтобы уничтожить какие бы то ни было следы этой многолетней привязанности. До 1890 г. имя Лопухиной даже не появлялось в печати. Опубликование воспоминаний А. П. Шан-Гирея задержалось потому, что в этих воспоминаниях сообщалось об исключительной роли В. А. Лопухиной в жизни и творчестве Лермонтова.

Наталья Алексеевна — Столыпина (1786—1851), сестра Е. А. Арсеньевой, вдова Григория Даниловича Столыпина. Лермонтов намекает на ее плохой характер и дурные манеры.

Мадемуазель Ладыженская — вероятно, родственница Е. С. Ладыженского, мужа сестры Е. А. Сушковой.

18. А. М. Гедеонову (стр. 442)

Впервые опубликовано в «Литературной газете» (1940, 15 мая, № 27).

В письме рукой Лермонтова только подпись: «Покорнейший слуга М. Лермонтов».

Вверху письма проставлена помета «31 декабря», сделанная, очевидно, в дирекции театров по получении письма. Письмо

датируется приблизительно около 20 декабря 1835 г., так как 20 декабря Лермонтов получил отпуск «по домашним обстоятельствам в Тульскую и Пензенскую губернии на шесть недель». Уезжая из Петербурга, Лермонтов оставил это письмо С. А. Раевскому, чтобы тот передал его вместе с новой редакцией «Маскарада» в театральную дирекцию А. М. Гедеонову, а другой экземпляр списка — в театральную цензуру.

Александр Михайлович Гедеонов (1791—1887) — директор императорских с.-петербургских театров.

В «Описи письмам и бумагам Л.-гв. гусарского полка корнета Лермонтова» (в деле Военного министерства о «непозволительных» стихах на смерть Пушкина 1837 г.) значится отобранное у Лермонтова при обыске «письмо известного Раевского к Лермонтову, в котором первый поздравляет его с счастливым успехом написанной пьесы и приглашает его к Кирееву, который предполагал представить Лермонтова г. Гедеонову». Из этого следует, что знакомство Лермонтова с А. М. Гедеоновым произошло через С. А. Раевского и его двоюродного брата А. Д. Киреева, управляющего дирекцией императорских театров в Петербурге. Впоследствии А. Д. Киреев был издателем «Героя нашего времени» и «Стихотворений М. Лермонтова». Не исключено, что при встрече Лермонтова с Гедеоновым шла речь о постановке «Маскарада». Под «успехом пьесы», возможно, надо понимать успех при чтении ее в узком кругу избранных лиц.

Возвращенную цензурою мою пьесу «Маскерад...» — Первоначальная редакция «Маскарада» в трех актах, оканчивавшаяся отравлением Арбениным Нины, была представлена Лермонтовым в октябре 1835 г. в драматическую цензуру для разрешения на постановку ее на сцене театров и 8 ноября «возвращена для нужных перемен».

...подарена мною г-ну Раевскому... — Эти слова означают предоставление С. А. Раевскому доверенности и права вести переговоры в отсутствие Лермонтова.

19. С. А. Раевскому (стр. 442)

Впервые опубликовано с пропусками в «Русской старине» (1884, кн. 5). Полностью — в Соч. изд. «Academia» (1937, т. 5).

Из письма Е. А. Арсеньевой к П. А. Крюковой известно, что Лермонтов прибыл в Тарханы 31 декабря 1835 г. («Литератур-

ное наследство», т. 45—46, 1948, стр. 648). На этом основании настоящее письмо датируется 1836 г.

Святослав (Святополк) Афанасьевич Раевский (1808—1876), ближайший друг Лермонтова, крестник Е. А. Арсеньевой, в детстве долго жил в Тарханах вместе с Лермонтовым. Поступив в 1823 г. в Московский университет, С. А. Раевский прослушал лекции на нравственно-политическом, на словесном и физико-математическом отделениях. С 1831 г. служил в Министерстве финансов, а с 1836 г. — в Департаменте государственных имуществ. После того как Е. А. Арсеньева с Лермонтовым переехала в Петербург, Раевский поселился в ее доме. Он был близок к литературным кругам и печатался на страницах «Литературных прибавлений к «Русскому инвалиду», издаваемых А. А. Краевским.

...пишу четвертый акт новой драмы, взятой из происшествия, случившегося со мною в Москве. — Речь идет, очевидно, о пьесе «Два брата». В таком случае под происшествием, случившимся в Москве, Лермонтов подразумевает встречу с В. А. Лопухиной, незадолго до того, в мае 1835 г., вышедшей замуж за Н. Ф. Бахметева.

...летом бабушка переезжает жить в Петербург... — С 25 июля 1835 г. до конца апреля 1836 г. Е. А. Арсеньева жила в Тарханах, а затем переехала в Петербург.

...денег же теперь много... — После двух лет засухи в связи с хорошим урожаем 1835 г. материальное положение Е. А. Арсеньевой улучшилось.

20. Е. А. Арсеньевой (стр. 443)

Впервые опубликовано в «Огоньке» (1948, № 22).

Е. А. Арсеньева предполагала выехать из Тархан 20 апреля 1836 г. (см. письмо 22). Лермонтов вернулся в Петербург во второй половине марта. Поэтому слова о том, что время приезда бабушки подходит, позволяют датировать письмо концом марта — первой половиной апреля 1836 г., тем более что в письме содержится фраза: «...в мае сдает свой дом».

Елизавета Алексеевна Арсеньева (1773—1845), урожденная Столыпина, в 1794 г. вышла замуж за гвардии поручика Михаила Васильевича Арсеньева (1768—1810). Потеряв мужа и единственную дочь, Е. А. Арсеньева всю любовь перенесла на

внука, М. Ю. Лермонтова, и очень много сделала для того, чтобы дать ему отличное воспитание. Е. А. Арсеньева впервые рассталась с внуком, когда весной 1835 г. хозяйственные дела заставили ее уехать в Тарханы. Будучи в Тарханах во время своего отпуска, Лермонтов уговорил Елизавету Алексеевну весной вернуться в Петербург и по возвращении стал подыскивать просторную квартиру. (В отсутствие Е. А. Арсеньевой Лермонтов в Петербурге снимал небольшую квартиру на Владимирском проспекте в доме Обрезкова.)

Прасковья Николаевна Ахвердова, урожденная Арсеньева (1786—1851) — троюродная тетка Лермонтова, вдова кавказского генерала Ф. И. Ахвердова. С 1815 по 1830 г. П. Н. Ахвердова жила в Тифлисе, где сблизилась с грузинской интеллигенцией и особенно подружилась с известным поэтом А. Г. Чавчавадзе. Она воспитала его дочь Нину Александровну, ставшую впоследствии женой А. С. Грибоедова; была дружна с Кюхельбекером и Грибоедовым, знакома с Пушкиным. В 1830 г. П. Н. Ахвердова переселилась в Петербург, где с 1832 г. постоянно встречалась с Е. А. Арсеньевой. В одной из тетрадей Лермонтова записан ее петербургский адрес.

...в мае сдает свой дом... — Собственного дома у П. Н. Ахвердовой в Петербурге не было. Она нанимала квартиру в доме Ильина на углу Кирочной и Таврической улиц.

Григорий Васильевич — Арсеньев (1777—1850), родной брат деда поэта, принимавший ближайшее участие в хозяйственных делах Лермонтова.

21. Е. А. Арсеньевой (стр. 444)

Впервые опубликовано в Соч. под ред. П. А. Ефремова (1882, т. 1).

Датируется второй половиной апреля 1836 г. по сопоставлению с предыдущим («Лошадь у генерала я еще не купил» — ср.: «Я на днях купил лошадь у генерала»).

На днях Марья Акимовна уехала... — Зиму 1835—1836 гг. М. А. Шан-Гирей провела в Петербурге, в апреле уехала в Пензенскую губернию, в свою деревню Апалиху, неподалеку от Тархан.

Лизавета Аркадьевна — Верещагина, мать Александры Михайловны Верещагиной.

22. Е. А. Арсеньевой (стр. 445)

Впервые опубликовано в «Литературном наследстве» (тт. 19—21, 1935).

Датируется концом апреля — началом мая 1836 г. на основании слов «последнее мое письмо от 25 апреля» и по сопоставлению с предыдущими письмами. Письмо Лермонтова от 25 апреля до нас не дошло.

Андрей — Соколов (1795—1875), камердинер Лермонтова, жена его — Дарья Куртина, тарханская ключница, находилась в это время в Тарханах.

Великий князь — Михаил Павлович (1798—1849), младший брат Николая I.

23. С. А. Раевскому (стр. 446)

Печатается по тексту первой публикации в Соч. под ред. П. А. Висковатова (1891, т. 5). Автограф неизвестен.

Написано 27 февраля 1837 г. в день, когда Лермонтов был отпущен домой после ареста за стихотворение «Смерть Поэта».

Широкое распространение в списках стихотворения Лермонтова «Смерть Поэта» вызвало строгое расследование. 20 февраля 1837 г. у Лермонтова и С. А. Раевского был произведен обыск. В описи бумаг, обнаруженных у Раевского, под первым номером значится: «Записка журналиста Краевского от 17-го сего февраля следующего содержания: скажи мне, что сталось с Л-р-вым? Правда ли, что он жил или живет еще теперь не дома? Неужели еще жертва, заклаемая в память усопшему? Господи, когда все это кончится!»

Таким образом, уже 17 февраля ходили слухи об аресте Лермонтова, и вполне вероятно, что он действительно в это время находился «не дома».

...я виной твоего несчастия... — 21 февраля 1837 г. С. А. Раевский был арестован по распоряжению графа П. А. Клейнмихеля по «Делу о непозволительных стихах, написанных корнетом Лейб-гвардии гусарского полка Лермонтовым».

...желая мне же добра, за эту записку пострадаешь. — Желая облегчить участь М. Ю. Лермонтова, С. А. Раевский дал «Объяснение... о связи его с Лермонтовым»... и переслал камер-

динеру Лермонтова через одного из сторожей черновик своих показаний со следующей запиской:

«Против 3 Адмиралтейской части в доме кн. Шаховской
Андрею Иванову.

Андрей Иванович! Передай тихонько эту записку и бумаги Мишелю. Я подал эту записку министру. Надобно, чтобы он отвечал согласно с нею, и тогда дело кончится ничем. А если он станет говорить иначе, то может быть хуже. Если сам не можешь завтра же поутру передать, то через Афанасия Алексеевича <Столыпина>. И потом непременно сжечь ее».

Пакет был перехвачен, а эта записка только увеличила вину Раевского. На другой день был допрошен и Лермонтов; не зная содержания показаний Раевского, в своих объяснениях он показал: «Когда я написал стихи мои на смерть Пушкина (что, к несчастью, я сделал слишком скоро), то один мой хороший приятель, Раевский, слышавший, как и я, многие неправильные обвинения и, по необдуманности, не видя в стихах моих противного законам, просил у меня их списать; вероятно, он показал их, как новость, другому, — и таким образом они разошлись...»

Двадцать пятого февраля 1837 г. военный министр Чернышев сообщил шефу жандармов А. Х. Бенкендорфу высочайшее повеление: «...корнета Лермантова... перевесть тем же чином в Нижегородский драгунский полк, а губернского секретаря Раевского за распространение сих стихов, и в особенности за намерение тайно доставить сведение корнету Лермантову о сделанном им показании, выдержать под арестом в течение одного месяца, а потом отправить в Олонецкую губернию для употребления на службу — по усмотрению тамошнего гражданского губернатора».

Раевский понес более строгое и более продолжительное наказание, чем Лермонтов: приказ о возвращении Лермонтова последовал 11 октября 1837 г., а Раевский был прощен только 7 декабря 1838 г.

Раевский ни в чем не упрекал и даже решительно оправдывал своего друга. Уже много лет спустя, 8 мая 1860 г., он писал А. П. Шан-Гирею: «...Я всегда был убежден, что Мишель напрасно исключительно себе приписывает маленькую мою катастрофу в Петербурге в 1837 г. Объяснения, которые Михаил Юрьевич был вынужден дать своим судьям, допрашивавшим о мнимых соучастниках в появлении стихов на смерть Пушкина,

составлены им вовсе не в том тоне, чтобы сложить на меня какую-нибудь ответственность, и во всякое другое время не отозвались бы резко на ходе моей службы; но, к несчастью моему и Мишеля, я был тогда в странных отношениях к одному из служащих лиц. Понятия юриста, студента Московского университета, часто вовлекали меня в несогласия с окружающими меня служаками, и я, зная свою полезность, не раз смело просил отставки. Мне уступали, и я оставался на службе при своих убеждениях; но когда Лермонтов произнес перед судом мое имя, служаки этим воспользовались, аттестовали меня непокорным и ходатайствовали об отдаче меня под военный суд, рассчитывая, вероятно, что во время суда я буду усерден и покорен, а покуда они приищут другого — способного человека. К счастью, ходатайство это не было уважено, а я просто без суда переведен на службу в губернию; записываю это для отнятия права упрекать память благородного Мишеля» («Русское обозрение», 1890, кн. 8).

Таким образом, С. А. Раевский объяснял свой арест политической аттестацией, которую ему давали некоторые сослуживцы, и ненавистью к нему одного из «служащих лиц». По-видимому, он имел в виду своего начальника — директора департамента военных поселений, графа П. А. Клейнмихеля (1793—1869), который и распорядился об аресте Раевского. Одновременно генерал-адъютант П. А. Клейнмихель был дежурным генералом Главного штаба, где Лермонтов находился под арестом и где велось следствие по «Делу о непозволительных стихах».

Дубельт — очевидно, Леонтий Васильевич Дубельт (1792—1862), начальник штаба жандармского корпуса.

24. С. А. Раевскому (стр. 446)

Печатается по тексту первой публикации в Соч. под ред. П. А. Висковатова (1891, т. 5). Автограф неизвестен.

Это письмо датируется первыми числами марта 1837 г., когда в связи с окончанием «Дела о непозволительных стихах» на смерть Пушкина Лермонтов был освобожден из-под ареста и находился под домашним арестом (почему он и пишет: «Как только позволят мне выезжать»).

Краевский — см. прим. к письму 47.

...вторично приступлю к коменданту. — По-видимому, Лермонтов подавал коменданту прошение о свидании с С. А. Раев ским.

25. С. А. Раевскому (стр. 447)

Впервые опубликовано в «Русской старине» (1884, кн. 5).

Лермонтов выехал из Петербурга на Кавказ 19 марта 1837 г. Письмо написано около этого времени.

...ты меня обрадовал своим письмом. — Письма Раевского к Лермонтову не сохранились. Судя по письму Раевского к А. П. Шан-Гирею (см. прим. к письму 23), Раевский писал Лермонтову о том, что не считает его виновником своей ссылки. Кроме того, по-видимому, Раевский надеялся на смягчение наказания, а может быть, и на прощение.

Бабушка хлопочет у Дубельта... — Е. А. Арсеньева хотела воспользоваться своим знакомством с Дубельтом для смягчения участи С. А. Раевского (см. прим. к письму 23).

Афанасий Алексеевич — Столыпин (1788—1866), брат Е. А. Арсеньевой.

Сегодня мне прислали сказать, чтоб я не выезжал, пока не явлюсь к Клейнмихелю, ибо он теперь и мой начальник. — Первым, к кому Лермонтов должен был явиться в новой форме после перевода в Нижегородский драгунский полк, был дежурный генерал Главного штаба П. А. Клейнмихель; он же, как директор департамента военных поселений, был и начальником С. А. Раевского. П. А. Висковатов утверждал, что после слова «начальник» в оригинале письма шли слова, представляющие неудобную для печати, весьма резкую характеристику Клейнмихеля, что подтверждается пропуском в сохранившейся копии письма.

26. М. А. Лопухиной (стр. 447)

Впервые опубликовано с пропусками в «Русском архиве» (1863, № 5—6). Полностью — в Соч. под ред. П. А. Ефремова (1887, т. 1).

Николай I был на Кавказе осенью 1837 г. На этом основании письмо следует отнести к 1837 г.

...сестре вашей — по всей вероятности, Варваре Александровне Лопухиной-Бахметевой.

...я теперь на водах... — Лермонтов выехал из Москвы 10 апреля 1837 г. По дороге он заболел и, прибыв в Ставрополь, лег в госпиталь, откуда был переведен в Пятигорский военный госпиталь «для пользования минеральными водами». Письмо к М. А. Лопухиной написано вскоре после приезда в Пятигорск.

У меня здесь славная квартира. — Лермонтов жил в доме полковницы Тарановской.

...отправлюсь в осеннюю экспедицию против черкесов... — После летней экспедиции 1837 г. на Кубань, в которой Лермонтов не участвовал, предполагалась осенняя экспедиция на побережье Черного моря, но она была отменена по случаю поездки Николая I на Кавказ.

27. Е. А. Арсеньевой (стр. 448)

Впервые опубликовано в Соч. под ред. П. А. Ефремова (1883, т. 1).

Датируется 1837 г. на основании слов «при встрече государя». О поездке Николая I по Кавказу см. прим. к письму 26.

Эскадрон нашего полка... — Нижегородского драгунского полка, в котором в это время служил Лермонтов.

Барон Розен — Григорий Владимирович Розен, генерал-адъютант, командир Отдельного кавказского корпуса, главнокомандующий Грузией с 1831 до 1837 г.

Вельяминов — Алексей Александрович Вельяминов, генерал-лейтенант, командующий войсками Кавказской линии и Черноморни.

Павел Иванович Петров — см. прим. к письму 29.

Алексей Аркадьич — Столыпин (1816—1858), по прозвищу Монго, двоюродный дядя Лермонтова. Он изображен Лермонтовым в поэме «Монго». В 1837 г. А. А. Столыпин, будучи офицером Лейб-гвардии гусарского полка, поехал на Кавказ «охотником» (так назывались солдаты и офицеры, добровольно вызвавшиеся на какое-либо дело, требующее отваги и риска).

Гвоздев — Павел Александрович (1815—1851), юнкер Школы гвардейских подпрапорщиков и кавалерийских юнкеров, поэт;

за одно из своих сатирических стихотворений был разжалован в солдаты и отправлен на Кавказ; еще будучи в Школе, он написал сочувственный стихотворный ответ Лермонтову на его стихотворение «Смерть Поэта».

28. С. А. Раевскому (стр. 449)

Печатается по первой публикации в «Русском обозрении» (1890, кн. 8). Автограф неизвестен.

Датируется второй половиной ноября — началом декабря 1837 г. Слова «меня перевели обратно в гвардию» свидетельствуют о том, что это письмо не могло быть написано раньше 11 октября 1837 г. 10 октября 1837 г. под Тифлисом состоялся смотр четырем эскадронам Нижегородского драгунского полка. 11 октября 1837 г. в высочайшем приказе по кавалерии было объявлено о переводе «Нижегородского драгунского полка прапорщика Лермонтова лейб-гвардии в Гродненский гусарский полк корнетом». Приказ был опубликован только 1 ноября 1837 г. в «Русском инвалиде» (№ 273). До Карагача, штаб-квартиры Нижегородского драгунского полка, этот приказ мог дойти только в начале 20-х чисел ноября. 25 ноября Лермонтов был уже выключен из списков полка. Слова «я бы охотно остался здесь» подтверждают, что письмо послано из Грузии. Из Тифлиса Лермонтов выехал около 5—7 декабря.

...вряд ли Поселение веселее Грузии. — Гродненский гвардейский полк стоял в то время под Новгородом в Селищенских казармах, в местности, где были размещены военные поселения А. А. Аракчеева.

...изъездил Линию всю вдоль... — так называлась Кавказская линия, образуемая цепью укрепленных казачьих станиц, степных крепостей и казачьих постов, проходившая от Каспийского моря по Тереку и затем по Кубани до Черного моря.

...в Шуше, в Кубе, в Шемахе, в Кахетии... — По предположению, высказанному И. Л. Андрониковым, в Кубу Лермонтов попал в связи с кубинским восстанием, поднятым сторонниками Шамиля в сентябре 1837 г. Для ликвидации восстания из Кахетии (из местечка Карагач) были отправлены в Кубу два эскадрона Нижегородского драгунского полка. До Кубы «ниже-

городцы» не дошли — восстание было уже подавлено — и остановились в Шемахе, где, очевидно, и догнал их Лермонтов, следовавший к полку из Тифлиса. Как попал он в Шушу, которая находится ближе к южной границе Закавказья, неясно. Возможно, что А. П. Шан-Гирей, публикуя текст письма, ошибочно прочел «Шуша» вместо «Нуха», через которую Лермонтов не мог не проехать, следуя из Шемахи в Кахетию.

...одетый по-черкесски — черкеска с газырями на груди и бурка составляли походную форму нижегородских драгун.

...я приехал в отряд слишком поздно... — После лета, проведенного на Кавказских минеральных водах, Лермонтов прибыл в укрепление Ольгинское на побережье Черного моря в последних числах сентября, а 29 сентября военные действия, по случаю приезда Николая I, были временно прекращены.

Хороших ребят здесь много, особенно в Тифлисе есть люди очень порядочные... — В Грузии Лермонтов встречался с начальником штаба Отдельного кавказского корпуса В. Д. Вольховским (лицейским приятелем Пушкина, переведенным на Кавказ за связь с декабристами), подружился с поэтом-декабристом А. И. Одоевским и, по всей вероятности, был знаком с поэтом А. Г. Чавчавадзе, его дочерью Н. А. Грибоедовой, а также с кругом их друзей и с азербайджанским поэтом, драматургом и философом Мирза Фатали Ахундовым (об этом см. И. Андроников, Лермонтов в Грузии в 1837 году, М. 1955, стр. 98—103).

...проситься в экспедицию в Хиву с Перовским. — Хивинские походы состоялись в 1839—1840 гг. под начальством командира Отдельного Оренбургского корпуса, генерал-адъютанта графа Василия Алексеевича Перовского (1794—1857). Эти походы окончились полной неудачей.

...я совсем отвык от фронта... — Под «фронтом» Лермонтов разумеет строевую службу, которую кавказские войска не несли.

29. П. И. Петрову (стр. 451)

Впервые опубликовано в «Литературном сборнике» (I, Кострома, 1928).

На этом письме приписка Е. А. Арсеньевой:

«Не нахожу слов, любезнейший Павел Иванович, благодарить вас за любовь вашу к Мишеньке, и чувства благодарности навсегда останутся в душе моей.

Приезд его подкрепил слабые мои силы. Лета и горести совершенно изнурили меня, а Гродненский полк не успокоит.

Не вздумаете ли в Петербург побывать, чего бы очень желала.

Милых детей целую и остаюсь

Готовая к услугам
Елизавета Арсеньева.

1838 года 1 февраля».

Письмо датируется на основании числа, поставленного на приписке Арсеньевой. На этом же письме приписка М. А. Шан-Гирей по-французски.

Павел Иванович Петров (1790—1871) был женат на племяннице Е. А. Арсеньевой — Анне Акимовне Хастатовой. В 1837 г., когда Лермонтов находился на Кавказе в ссылке, Петров занимал должность начальника штаба войск Кавказской линии и Черномории и жил в Ставрополе.

...великий Новгород, ужасный Новгород... — Древний Великий Новгород для передовых русских людей конца XVIII и начала XIX в. был символом свободы. Современный Лермонтову Новгород связывался в представлении поэта с аракчеевщиной, ибо под Новгородом находились аракчеевские военные поселения.

30. М. А. Лопухиной (стр. 452)

Впервые опубликовано с пропусками собственных имен в «Русском архиве» (1863, кн. 5—6). Полностью — в Соч. под ред. П. А. Ефремова (1887, т. 1).

Письмо написано в 1838 г., «накануне отъезда в Новгород», куда Лермонтов был переведен в Лейб-гвардии Гродненский гусарский полк (ср. прим. к письмам 28, 29).

...после моего отъезда из Москвы... — В Москве, проездом с Кавказа, Лермонтов был с 3 января по вторую половину января 1838 г. (см. предыдущее письмо).

...был у Жуковского... он понес ее к Вяземскому... — Василий Андреевич Жуковский (1783—1852) и Петр Андреевич Вяземский (1792—1878) после смерти Пушкина редактировали

журнал «Современник»; в конце января — начале февраля 1838 г. А. А. Краевский познакомил с ними Лермонтова; они с большим интересом и вниманием отнеслись к молодому поэту и привлекли его к участию в «Современнике». Около этого времени В. А. Жуковский подарил Лермонтову с надписью свой перевод поэмы де ла Мотт Фуке «Ундина». Отзывы Жуковского и Вяземского о «Тамбовской казначейше» не сохранились.

31. С. А. Раевскому (стр. 454)

Впервые не полностью опубликовано в «Русском вестнике» (1882, № 3).

Печатается по тексту первой публикации в Соч. под ред. П. А. Висковатова (1891, т. 5). Автограф неизвестен.

Письмо датируется 1838 г. на основании слов Лермонтова: «...ты просился к водам». С. А. Раевскому был разрешен «отпуск в Петербург и к водам морским в Эстляндии» 29 мая 1838 г.

Я сказал, что отзыв непокорен к начальству повредит тебе... — Соображения С. А. Раевского по этому поводу, приведенные в письме А. П. Шан-Гирею от 8 мая 1860 г., см. в прим. к письму 23.

...печатать хлопотно, да и пробовал, но неудачно. — Лермонтов имеет в виду трудности, связанные с печатанием его произведений. «Песня про царя Ивана Васильевича, молодого опричника и удалого купца Калашникова» была напечатана в «Литературных прибавлениях к «Русскому инвалиду» № 18 за 1838 г. лишь после ходатайства В. А. Жуковского перед министром народного просвещения С. С. Уваровым; при этом вместо фамилии «Лермонтов» в подписи было обозначено только «—въ».

Роман, который мы с тобою начали... — роман «Княгиня Лиговская». Некоторые его страницы написаны С. А. Раевским под диктовку Лермонтова.

Если ты поедешь на Кавказ... — В декабре 1838 г. Раевскому было разрешено «продолжать службу где пожелает, на общих основаниях». Однако в Петербурге он не устроился и в июне 1839 г. уехал на Кавказ, где поступил на службу в Канцелярию кавказского гражданского губернатора в Ставрополе.

...ты вернешься поэтом, а не экономо-политическим мечтателем... — Имеется в виду увлечение Раевского идеями утопического социализма.

Юрьев — Николай Дмитриевич, родственник Лермонтова и товарищ по Школе гвардейских подпрапорщиков и кавалерийских юнкеров, офицер Л.-гв. драгунского полка, уволенный в отставку в 1838 г. в чине штабс-капитана.

32. М. А. Лопухиной (стр. 455)

Впервые опубликовано в «Русском архиве» (1863, кн. 5—6).

Датируется концом 1838 г. на основании помет М. А. Лопухиной на автографе: «1838 окт., 3 д. Совершенно не помню по...» (зачеркнуто), «1838. Конец года», «1838 года. Ни числа, ни месяца не помню», а также письма Лермонтова к брату Лопухиной Алексею конца февраля — начала марта 1839 г. (письмо 34), в котором также упоминается об отказах, последовавших на просьбы об отпуске: «...я три раза зимой просился в отпуск в Москву к вам, хоть на 14 дней, — не пустили». Ясно, что в обоих случаях Лермонтов писал об одних и тех же событиях.

...Весь этот свет, который я оскорблял в своих стихах... — Подразумеваются заключительные строки стихотворения «Смерть Поэта».

33. А. П. Шувалову (стр. 457)

Впервые опубликовано в «Литературном наследстве» (т. 58, 1952).

С Шуваловым Лермонтов служил вместе в Лейб-гвардии гусарском полку. Записку нельзя датировать временем раньше весны 1838 г., так как до этого времени Шувалов отбывал ссылку в войсках Кавказского корпуса. Вместе с тем записка могла быть написана только до 10 марта 1840 г., когда Лермонтов был арестован за дуэль с де Барантом и затем переведен из Лейб-гвардии гусарского полка в Тенгинский полк, на Кавказ. Следовательно, записка относится к периоду от весны 1838 г. до весны 1840 г.

Граф Андрей Павлович Шувалов (1816—1876) был участником так называемого «Кружка шестнадцати» — группы оппозиционно настроенной аристократической молодежи, собиравшейся в Петербурге в 1839 г.

...вашего пса Монго... — Собака Монго принадлежала А. А. Столыпину, который жил в Царском Селе вместе с Лермонтовым. По кличке этой собаки, как уверяет Лонгинов, получил свое прозвище и сам Монго Столыпин («Русская старина», 1837, кн. 3).

34. А. А. Лопухину (стр. 458)

Впервые опубликовано в Соч. под ред. П. А. Висковатова (1891, т. 5). Последняя часть письма до нас не дошла. После слова «целиком» в первопечатном тексте было в скобках: «прошел ее всю».

Печатается по тексту Соч. изд. Академической библиотеки (1916, т. 4). Автограф в настоящее время неизвестен.

Письмо датируется концом февраля — первой половиной марта 1839 г. на основании помещенного в нем стихотворения, посвященного сыну А. А. Лопухина Александру, который родился 13 февраля 1839 г.

С Лопухиными Лермонтов познакомился сразу после приезда в Москву для поступления в Московский университетский благородный пансион. Алексей Александрович Лопухин (1813—1872) был одним из ближайших друзей Лермонтова, с которым одновременно учился в Московском университете. Служил в Москве в Синодальной конторе.

...милую твою жену — кн. Варвара Александровна Оболенская (1820—1873), на которой А. А. Лопухин женился в 1838 г.

35. А. И. Тургеневу (стр. 459)

Впервые опубликовано в журнале «Огонек» (1939, № 25—26).

Александр Иванович Тургенев (1784—1845) — друг Жуковского и Пушкина, брат известного декабриста, активный участник культурной жизни первой половины XIX в.

С Лермонтовым Тургенев познакомился еще в 1837 г., как

с автором стихотворения «Смерть Поэта». 2 февраля 1837 г. он писал в своем дневнике: «Стихи Лермонтова прекрасные». После возвращения Лермонтова из ссылки Тургенев постоянно встречался с ним у общих знакомых, в частности в доме Карамзиных.

Письмо Лермонтова к А. И. Тургеневу было вызвано необходимостью объясниться по поводу неправильного толкования французским послом стихов «Смерть Поэта». Тургенев писал П. А. Вяземскому: «Дело вот как было; барон Д'Андре, помнится, на вечеринке у Гогенлоэ, спрашивает меня, правда ли, что Лермонтов в известной строфе своей бранит французов вообще или только одного убийцу Пушкина, что Барант желал бы от меня знать правду... на другой же день встретил я Лермонтова и на третий получил от него копию со строфы: через день или два, кажется на вечеринке или на бале у самого Баранта, я хотел показать эту строфу Андре, но он прежде сам подошел ко мне и сказал, что дело уже сделано, что Барант позвал на бал Лермонтова, убедившись, что он не думал поносить французскую нацию».

Письмо Лермонтова к А. И. Тургеневу является ответом на запрос Тургенева. Поэтому письмо это следует отнести, очевидно, ко второй половине декабря 1839 г. Убедившись в том, что в стихотворении «Смерть Поэта» честь французской нации не задета, Проспер де Барант передал Лермонтову приглашение на новогодний бал, который должен был состояться во французском посольстве 2 января 1840 г. (см. «Литературное наследство», 1948, т. 45—46, стр. 409—410).

Отрывок стихотворения «Смерть Поэта» цитируется в письме к А. И. Тургеневу с незначительными разночтениями по сравнению с текстом белового автографа.

36. К. Ф. Опочинину (стр. 460)

Впервые опубликовано в Соч. под ред. П. А. Ефремова (1887, т. 1).

На автографе помета К. Ф. Опочинина: «1840, апреля 3», однако эта дата не согласуется с содержанием записки: 3 апреля 1840 г. Лермонтов находился под арестом за дуэль с Э. де Барантом и караула нести не мог, так же как не мог

выехать из Петербурга. Если записка действительно относится к 1840 г., то во всяком случае ко времени до 10—11 марта, когда Лермонтов еще не был арестован.

Константин Федорович Опочинин (1808—1848) — штаб-ротмистр Лейб-гвардии Конного полка, флигель-адъютант.

Повод, по которому написана записка, неизвестен. П. А. Висковатов высказывал предположения, что эта записка — только шутка, «писанная поэтом во время служения его в лейб-гусарах. Он часто проводил время в Петербурге, где охотно играл с Опочининым в шахматы».

37. Н. Ф. Плаутину (стр. 460)

Впервые опубликовано со значительными искажениями в журнале «Век» (1862, № 3). Полностью — в Соч. под ред. П. А. Висковатова (1891, т. 5).

Письмо следует датировать началом марта 1840 г., так как командир полка мог потребовать от Лермонтова объяснения лишь после того, как царю стало известно о дуэли. В письме от 6(18) марта 1840 г. М. Д. Нессельроде сообщала сыну, что «дней пять», как уже известно о дуэли Лермонтова с Барантом и что «государь сказал, что офицера <Лермонтова> будут судить» («Русский архив», 1910, кн. 5).

Николай Федорович Плаутин (1794—1866) — непосредственный начальник Лермонтова по службе, командир Лейб-гвардии гусарского полка.

...обстоятельства поединка моего с господином Барантом... — Есть основания предполагать, что дуэль Лермонтова с сыном французского посланника Э. де Барантом была спровоцирована в кругу лиц, близких к дочери Николая I Марии Николаевне, которая была раздражена эпиграммами Лермонтова на балу под новый 1840 год и стихотворением «1 января» («Как часто пестрою толпою окружен»).

По свидетельству А. П. Шан-Гирея, зимой 1839/1840 г. Лермонтов был увлечен княгиней М. А. Щербатовой (рожденной Штерич), которой посвятил стихотворение «На светские цепи». За М. А. Щербатовой ухаживал и Э. де Барант. В феврале 1840 г. враги Лермонтова передали Э. де Баранту эпиграмму,

якобы сочиненную Лермонтовым на него и М. А. Щербатову. На самом деле была использована подошедшая к случаю старая эпиграмма, написанная поэтом еще в Школе гвардейских подпрапорщиков и кавалерийских юнкеров.

...в России следуют правилам чести так же строго, как и везде... — В письме А. И. Тургенева П. А. Вяземскому от 8 апреля 1840 г. есть указание на то, что в столкновении между Лермонтовым и де Барантом в какой-то степени сказалась позиция Лермонтова в дни гибели Пушкина и его отношение к «Дантесам» и «Барантам». Хотя истолкование стихов «Смерть Поэта», как задевающих честь французской нации, было решительно опровергнуто еще в конце декабря (см. прим. к письму 35), но, как свидетельствует письмо Лермонтова к Н. Ф. Плаутину, национальный мотив все же имел место в столкновении поэта с де Барантом.

Его секундантом был француз... — Секундантом де Баранта был граф Рауль д'Англес, так же, как и Барант, ни разу не опрошенный военно-следственной комиссией. Лермонтов, конечно, хорошо знал имя секунданта своего противника, но в письме к Н. Ф. Плаутину сознательно его не называет, так же как и не упоминает истинной причины дуэли. Секундантом Лермонтова был А. А. Столыпин (Монго).

38. С. А. Соболевскому (стр. 461)

Впервые (в русском переводе) опубликовано во вступительной статье А. К. Виноградова к «Герою нашего времени», изданному в серии «История молодого человека XIX столетия» (М. 1932).

Записка датируется серединой марта 1840 г., когда Лермонтов был только что арестован за дуэль с Барантом. Слова Лермонтова о его «теперешнем положении» означают, что он был под арестом. Но в 1837 г., когда Лермонтов был впервые арестован, он не мог писать С. А. Соболевскому, так как последний находился за границей. Следовательно, письмо относится к 1840 году.

Сергей Александрович Соболевский (1803—1870) — один из ближайших друзей Пушкина, известный русский библиофил и библиограф.

39. С. А. Соболевскому (стр. 461)

Впервые опубликовано в книге А. К. Виноградова «Мериме в письмах к Соболевскому», М. 1928.

Арестованный 10 или 11 марта 1840 г. по делу о поединке с де Барантом, Лермонтов был заключен в Петербургском ордонансгаузе. 17 марта его перевели на Арсенальную гауптвахту; в конце месяца он снова был препровожден в ордонансгауз, но помещен уже не в комнате караульного офицера, где находился прежде, а в особой комнате, устроенной для подсудимых офицеров. 20 апреля Лермонтов был освобожден из-под ареста. Поэтому его слова «Я в ордонансгаузе наверху, в особенной квартире» дают основание отнести записку к концу марта — середине апреля 1840 г.

«Sous les tilleuls» («Под липами») — роман французского писателя Альфонса Карра (1808—1890).

40. А. И. Философову (стр. 462)

Впервые опубликовано в «Литературном наследстве», т. 45—46, 1948.

Письмо датируется серединою апреля 1840 г., так как дело о поединке Лермонтова с де Барантом было уже закончено и 13 апреля 1840 г. последовала резолюция царя. Однако с 13 по 19 апреля Лермонтов все еще продолжал оставаться в заключении. Слова: «...слуга пришел за мною, думая, что я уже освобожден» — указывают на то, что письмо написано после окончания дела, но до освобождения, то есть около 14 апреля 1840 г.

Алексей Илларионович Философов (1800—1874) — адъютант великого князя Михаила Павловича, с 1838 г. генерал, воспитатель сыновей Николая I. А. И. Философов был женат на племяннице Е. А. Арсеньевой, Анне Григорьевне Столыпиной. Он высоко ценил Лермонтова, принимал живейшее участие в его судьбе и неоднократно хлопотал за него, используя свои связи с двором.

...писал генералу... — начальнику штаба Гвардейского корпуса генерал-лейтенату П. Ф. Вейнмарну.

...это зависит от великого князя... — Комиссия военного суда, учрежденная при Кавалергардском полку над поручиком Лермонтовым, подчинялась командиру Гвардейского корпуса великому князю Михаилу Павловичу.

41. В. кн. Михаилу Павловичу (стр. 462)

Впервые опубликовано в Соч. под ред. П. А. Висковатова, 1891, т. 6.

На письме пометы, сделанные начальником штаба жандармского корпуса генералом Дубельтом: «Государь изволил читать», «к делу», «29 апреля 1840».

Сохранился черновой автограф этого письма:

«Ваше императорское высочество!

Выписанный по приговору военного суда тем же чином в армию, неся гнев государя императора и ваш, я с благоговением покоряюсь судьбе моей, ценя в полной мере вину мою и справедливость заслуженного наказания. Я был ободрен до сих пор надеждой иметь возможность усердною и ревностною службой загладить мой проступок, но, получив приказание явиться к господину генерал-адъютанту графу Бенкендорфу, я из слов его сиятельства увидел, к неописанной моей горести, что на мне лежит не одно обвинение за дуэль с господином Барантом и за приглашение его на гауптвахту, но еще самое тяжкое, какому может подвергнуться человек, дорожащий своею честию, офицер, имевший счастие служить под высоким начальством вашего императорского высочества. Граф Бенкендорф изволил предложить мне написать письмо господину Баранту, в котором я бы просил у него извинения в ложном моем показании насчет моего выстрела.

Ваше императорское высочество! хотя не имею более счастия служить под командой вашего, но ныне осмеливаюсь прибегнуть к высокой вашей защите. Великодушное сердце ваше позволит мне сказать вам со всею откровенностию: могла быть ошибка или недоразумение в словах моих или моего секунданта, личного объяснения у меня при суде с господином Барантом не было, но никогда я не унижался до обмана и лжи.

Вашему императорскому высочеству осмеливаюсь повторить сказанное мною в суде: я не имел намерения стрелять в господина Баранта, не метил в него, выстрелил в сторону, и это готов подтвердить честью моею. В доказательство намерения моего не стрелять в господина Баранта служит то, что когда секундант мой Столыпин подал мне пистолет, я ему сказал по-французски: «Je tirerai en l'air» <я выстрелю в воздух>.

Чувствуя в полной мере дерзновение мое, я, однако, осмеливаюсь надеяться, что ваше императорское высочество соблаговолите взойти в мое трудное положение и защитить меня от незаслуженного обвинения.

С благоговейною преданностию имею счастие пребыть вашего императорского высочества всепреданнейший

Михаил Лермонтов

Тенгинского полка поручик».

Письмо написано после освобождения Лермонтова из-под ареста и вызова к Бенкендорфу, но не позже 29 апреля, так как в этот день его письмо читал Николай I. Михаилу Павловичу это письмо передал его адъютант генерал А. И. Философов (о нем см. прим. к письму 40).

Великий князь Михаил Павлович (1798—1849) — младший брат Николая I.

...покоряясь наказанию, возложенному на меня... — Генерал-аудиториат полагал необходимым за дуэль с Барантом лишить Лермонтова чинов и дворянского звания и разжаловать в рядовые, но, принимая во внимание ряд обстоятельств, смягчавших вину Лермонтова (в том числе стремление поддержать честь русского офицера и выстрел в сторону), обратился к Николаю I с ходатайством о смягчении наказания, с тем чтобы, вменив ему содержание под арестом с 10 марта, «выдержать его еще под оным в крепости на гаубтвахте три месяца и потом выписать в один из армейских полков тем же чином». 13 апреля Николай I определил: «Поручика Лермонтова перевесть в Тенгинский пехотный полк тем же чином» — и добавил: «Исполнить сегодня же». Эта заключительная часть резолюции противоречила предложению генерал-аудиториата выдержать Лермонтова под арестом в крепости. 19 апреля военный министр Чернышев сообщил командиру Отдельного гвардейского корпуса великому князю Михаилу Павловичу, что в ответ на его доклад Николай I «изволил сказать, что переводом Лермонтова в Тенгинский полк желает ограничить наказание».

Граф Бенкендорф предлагал мне написать письмо к Баранту... — Александр Христофорович Бенкендорф (1783—1844) — шеф жандармов и главный начальник III отделения. Вскоре, после того как Лермонтову была объявлена «высочайшая конфирмация» о переводе его в Тенгинский пехотный полк, Бен-

кендорф вызвал Лермонтова и потребовал, чтобы он написал письмо к Баранту и признал бы ложность своего показания на суде о выстреле в сторону. Михаил Павлович направил письмо Лермонтова на рассмотрение Николаю I. Резолюции царя не последовало, но Бенкендорф отказался от своих требований.

...будучи уже не раз облагодетельствован вами... — Эти слова относятся к ходатайству Михаила Павловича о смягчении приговора по делу о дуэли с Барантом в конце марта и начале апреля 1840 г. Кроме того, приятель Лермонтова, Константин Александрович Булгаков (1812—1862), был в милости у Михаила Павловича, и Михаил Павлович несколько раз прощал и Лермонтову и Булгакову их совместные гусарские проказы.

42. А. А. Вадковской (стр. 463)

Печатается по тексту первой публикации в Соч. изд. Академической библиотеки (1916, т. 5).

Автограф неизвестен.

Записка датируется предположительно маем 1840 г., когда Лермонтов, следуя в кавказскую ссылку, остановился в Москве, где жили Вадковские. Но возможно, что эту записку Лермонтов послал Вадковской в один из ее приездов в Петербург, когда она гостила у отца (записка Лермонтова обнаружена в петербургском архиве Меньшикова).

И. Я. Вадковский был в дальнем родстве с Лермонтовым. Этим объясняется, почему Лермонтов называет Вадковскую кузиной.

Александра Александровна Вадковская (ум. в 1884 г.) — дочь генерал-адъютанта князя А. С. Меньшикова. Ее муж Иван Яковлевич Вадковский упоминается в письме Лермонтова от 19 июля 1833 г. (см. прим. к письму 13).

43. А. А. Лопухину (стр. 464)

Впервые опубликовано в Соч. под ред. П. А. Висковатова (1891, т. 5).

Печатается по тексту первой публикации в Соч. изд. Академической библиотеки (1916, т. 4). Автограф неизвестен.

Письмо датируется по помете Лермонтова «17 июня» и по упоминанию города Ставрополь, куда Лермонтов приехал 10 июня 1840 г.

Завтра я еду в действующий отряд на левый фланг... — 18 июня 1840 г. Лермонтов был командирован на левый фланг Кавказской линии в Чечню для участия в экспедиции отряда под начальством генерал-лейтенанта А. В. Галафеева.

...еду... брать пророка Шамиля... — Разгромленный под Ахульго в августе 1839 г., Шамиль к концу мая 1840 г. собрал значительное ополчение в Малой Чечне и присунженских аулах. 14 сентября 1840 г. русские войска под командованием Клюки-фон-Клюгенау разбили Шамиля под Гимрами. В плен Шамиль был взят только в 1859 г.

Ламберт — граф Карл Карлович Ламберт (1815—1865), поручик Кавалергардского полка, только что приехавший на Кавказ и назначенный вместе с Лермонтовым в отряд генерала Галафеева. 11 июля 1840 г. он участвовал вместе с поэтом в деле при реке Валерик.

...вздыхает по графине Зубовой... — По всей вероятности, речь идет о графине Е. А. Зубовой (рожд. Оболенской), с которой поэт встречался в Москве.

...заезжал в Черкаск к генералу Хомутову... — Генерал Михаил Григорьевич Хомутов (1795—1864) — командир Лейб-гвардии гусарского полка, в котором служил Лермонтов; в 1839 г. был назначен начальником штаба Войска Донского.

Поцелуй за меня ручку у Варвары Александровны... — Речь идет о жене А. Лопухина.

44. А. А. Лопухину (стр. 465)

Впервые опубликовано в Соч. под ред. П. А. Висковатова (1891, т. 5).

Печатается по тексту Соч. изд. Академической библиотеки (1916, т. 4). На обороте письма, по свидетельству редактора первого академического издания сочинений Лермонтова Д. И. Абрамовича, был адрес: «Его высокоблагородию милостивому государю Алексею Александровичу Лопухину. В Москве на Молчановке, в собственном доме, в приходе Николы Явленного» (Почтовый штемпель: «Пятигорск. Сентября... 1840»).

Автограф неизвестен.

У нас были каждый день дела, и одно довольно жаркое... — Речь идет о сражении 11 июля 1840 г. на реке Валерик.

...не знаю, куда отправлюсь... — Конец 1840 г. Лермонтов провел в Ставрополе.

45. А. А. Лопухину (стр. 466)

Отрывок впервые опубликован в «Русской старине» (1884, № 1). Полностью — в Соч. под ред. П. А. Висковатова (1891, т. 5).

Печатается по тексту Соч. изд. Академической библиотеки (1916, т. 4). Автограф неизвестен.

В первом академическом издании сочинений Лермонтова Д. И. Абрамович сообщает, что на обороте письма был адрес с почтовым штемпелем: «Кавказск. 1840 г. Ноября 4». П. А. Висковатов утверждал в своем издании, что почтовый штемпель был «Кавказ. 1840 г. Ноября 3 дня». На основании этих данных письмо обычно датировалось началом ноября 1840 г. Между тем отряд генерала А. В. Галафеева, выступивший в Чечню 26 сентября, возвратился в крепость Грозную после 20-дневной экспедиции, 15 или 16 октября. 27 октября отряд выступил в новую экспедицию, из которой возвратился только 20 ноября — через три с лишним недели. Таким образом, письмо Лермонтова к Лопухину могло быть написано из Грозной только между 16 и 26 октября 1840 г. Дата на штемпеле (3 или 4 ноября) объясняется тем, что штемпель на письмо был положен в Ставрополе, а в Ставрополь письмо было отправлено с оказией. Слово «Кавказск» на штемпеле означает: «Кавказская линия».

...после 20-дневной экспедиции в Чечне. — Во время этой экспедиции отряд генерала А. В. Галафеева действовал в районе Шали.

...я получил в наследство от Дорохова... — 10 октября 1840 г. был ранен юнкер Руфин Дорохов, командовавший в экспедиции отрядом, составленным из «охотников» (то есть добровольцев), вызвавшихся выполнять самые сложные и опасные поручения. Командование отрядом Дорохова было поручено Лермонтову.

Руфин Иванович Дорохов (ум. в 1852 г.) — сын героя Отечественной войны И. С. Дорохова; служил на Кавказе в Нижегородском драгунском и Навагинском пехотном полках и в линейном казачьем войске; за различные проделки неоднократно разжаловался в рядовые.

Лермонтов командовал отрядом Дорохова с 10 по 15 октября 1840 г. Затем он вместе с тем же отрядом принимал участие во второй осенней экспедиции в Малую Чечню с 26 октя-

бря по 6 ноября. За участие в экспедициях Лермонтов в конце года был представлен к награждению золотой саблей с надписью «За храбрость». В этой награде Николай I ему отказал.

46. А. И. Бибикову (стр. 467)

Впервые опубликовано в Соч. под ред. П. А. Висковатова (1891, т. 5, стр. 432—433).

Судя по тексту, письмо относится ко второй половине февраля 1841 г., когда Лермонтов находился в отпуску в Петербурге. До 1953 г. считалось, что «Биби» — это Дмитрий Сергеевич Бибиков, офицер Генерального штаба, служивший на Кавказе. В 1953 г. И. Л. Андроников высказал предположение, что письмо адресовано Александру Ивановичу Бибикову (ум. в 1856 г.), который был дружен с поэтом и находился с ним в родстве. В 1837 г. Бибиков был выпущен из Школы гвардейских подпрапорщиков и кавалерийских юнкеров в Егерский полк и откомандирован на Кавказ. Лермонтов был дружен с семьей Бибикова, которая принадлежала к тем кругам общества, к которым Лермонтов был близок.

...приехав сюда, в Петербург, на половине масленицы... — Масленица в 1841 г. начиналась 2 февраля. Следовательно, Лермонтов прибыл в Петербург около 5—7 февраля.

...отправился на бал к г-же Воронцовой... — к графине Александре Кирилловне Воронцовой-Дашковой, урожденной Нарышкиной (1818—1856), которой в 1840 г. Лермонтов посвятил стихотворение «К портрету».

...нашли неприличным и дерзким. — Появление Лермонтова на балу у Воронцовых-Дашковых привело в особенное негодование графа Клейнмихеля и все военное начальство. Выяснено, что это резко отрицательное отношение к поступку Лермонтова было инспирировано Бенкендорфом.

...у меня началась новая драма, которой завязка очень замечательная, зато развязки, вероятно, не будет... — может быть, намек на отношения с Е. П. Ростопчиной.

...из Валерикского представления меня здесь вычеркнули... — За отличие в сражении при реке Валерик в Чечне 11 июля 1840 г. Лермонтов был представлен командующим отрядом на левом фланге Кавказской линии генерал-лейтенантом А. П. Галафеевым к награде орденом св. Владимира 4-й степени с бантом, но, согласно мнению начальника штаба и отметки кор-

пусного командира, испрашиваемая награда была снижена до ордена св. Станислава 3-й степени. Впоследствии командующий войсками на Кавказской линии и Черномории генерал-адъютант П. Х. Граббе в рапорте от 3 февраля 1841 г. за № 76 снова представил Лермонтова «к золотой полусабле». Но и в этой награде уже после смерти Лермонтова было отказано.

Я был намедни у твоих... — Лермонтов был знаком с семьей Бибикова, принадлежавшей к тому кругу, в котором поэт чаще всего проводил свой досуг в Петербурге в 1838—1841 гг. Имеются сведения о том, что одно из стихотворений Лермонтова 1841 г. было вписано в альбом А. И. Бибикова. К сожалению, оно дошло до нас только в немецком переводе Ф. Боденштедта. (Стихотворения Лермонтова, не вошедшие в последнее издание его сочинений. Изд. Ф. Шнейдера, Берлин, 1862.)

Мещеринов — очевидно, Дмитрий, в прошлом однополчанин Лермонтова, офицер Лейб-гвардии гусарского полка, окончивший Школу гвардейских подпрапорщиков и кавалерийских юнкеров вместе с М. Н. Глебовым, Д. А. Столыпиным и Д. Д. Оболенским.

Лов — порода черкесских лошадей.

Покупаю для общего нашего обихода Лафатера и Галя... — Лафатер — см. прим. на стр. 495. Галь — автор книги «Анатомия и физиология нервной системы» (Париж, 1810—1818), в которой доказывал, что индивидуальные свойства человека определяются строением его черепа.

47. А. А. Краевскому (стр. 468)

Впервые опубликовано в Соч. под ред. А. И. Введенского (1891, т. 4) с искажениями. На л. 1 автографа помета чернилами: «Лермонтов». На обороте адрес: «Его высокоблагородию Андрею Александровичу Краевскому, у Измайловского моста. Спросить, чей дом у Аничкова моста на Фонтанке, в доме кн. Долгорукова, на квартире кн. Одоевского». У В. Ф. Одоевского Лермонтов был накануне отъезда — 13 апреля. На этом основании настоящая записка А. А. Краевскому датируется 13—14 апреля 1841 г.

Андрей Александрович Краевский (1810—1889) — в 1837—1839 гг. редактор «Литературных прибавлений к «Русскому инвалиду», а с 1839 г. — журнала «Отечественные записки», изданий, где печатались произведения Лермонтова.

...не застал уже тебя у Одоевского... — Владимир Федорович Одоевский (1803—1869) — писатель, литературный и музыкальный критик, принимавший близкое участие в издании журнала «Отечественные записки». 13 апреля 1841 г. Одоевский подарил Лермонтову накануне его отъезда на Кавказ записную книжку-альбом, куда Лермонтов вписал ряд своих лучших последних стихотворений.

...отдай подателю сего письма... — По-видимому, «податель письма» — Аким Павлович Шан-Гирей; он провожал Лермонтова на почтамт, откуда отправлялись московские дилижансы. «Пока закладывали лошадей, — вспоминал Шан-Гирей, — Лермонтов давал мне различные поручения к В. А. Жуковскому и А. А. Краевскому» («Русское обозрение», 1890, кн. 8).

...для меня два билета... — то есть билеты на право получения двух экземпляров «Отечественных записок»; очевидно, один — для Е. А. Арсеньевой, другой — для отправки на Кавказ самому Лермонтову.

48. Е. А. Арсеньевой (стр. 468)

Впервые опубликовано в Соч. под ред. П. А. Висковатова (1891, т. 5).

Лермонтов прибыл в Москву 17 апреля 1841 г.

Письмо следует датировать 19 апреля на основании фразы: «...я от здешнего воздуха потолстел в два дни». Эта датировка подтверждается упоминанием о свадьбе Александры Александровны Углицкой («вероятно, Сашенькина свадьба уж была»), которая состоялась в Петербурге 18 апреля 1841 г.

...остановился у Розена... — у барона Дмитрия Розена.

...Алексей Аркадич здесь еще... — Столыпин (Монго), который выехал из Москвы 22 апреля 1841 г. через Тулу на Ставрополь.

Николай Николаевич Анненков (1793—1865) — генерал-майор свиты его величества (с 1835 г.) и командир Л.-гв. измайловского полка. В молодости он пробовал свои силы в литературе, а в дальнейшем целиком ушел в военно-административную деятельность. Н. Н. Анненков был женат на Вере Ивановне Бухариной (1812—1902).

Леокадия — Углицкая, троюродная сестра Лермонтова.

49. Е. А. Арсеньевой (стр. 469)

Впервые опубликовано в «Отчете Гос. Публичной библиотеки за 1875 г.».

Письмо датируется 9—10 мая 1841 г. на основании слов: ...сейчас приехал только в Ставрополь». Лермонтов прибыл в Ставрополь 9 мая 1841 г Вместе с тем следующее письмо к С. Н. Карамзиной, написанное также по приезде в Ставрополь, датировано самим поэтом 10 мая.

...ехал я с Алексеем Аркадьевичем... — Столыпиным (Монго). Лермонтов нагнал его в Туле, и затем на Кавказ они ехали вместе.

50. С. Н. Карамзиной (стр. 469)

Впервые опубликовано в «Литературном наследстве» (т. 19—21, 1935).

Датируется 1841 г.: в письме упоминается записная книжка, которую В. Ф. Одоевский подарил Лермонтову 13 апреля 1841 г., и приводится текст стихотворения, вписанного в эту книжку.

Софья Николаевна Карамзина (1802—1865) — дочь писателя и историографа Н. М. Карамзина, с которой, по свидетельству П. А. Висковатова, в последний период своей жизни поэт «был особенно дружен». Из гостеприимного дома Карамзиных в середине апреля 1841 г. Лермонтов отправился в кавказскую ссылку.

...г-жа Смирнова — Александра Осиповна Смирнова-Россет (1809—1882) — участница кружка Карамзиных, известная своими дружескими связями с Жуковским, Пушкиным и Гоголем. В 1840 г. Лермонтов посвятил ей стихотворение «В простосердечии невежды».

L'attente — Ожидание. Прозаический перевод см. в томе 1 наст. издания, стр. 398.

...в штаб генерала Грабе. — Павел Христофорович Граббе (1789—1875) — приятель генерала Ермолова, в годы молодости член Союза благоденствия, привлекался по делу о декабрьском восстании 1825 г. В 1840-е годы — командующий войсками на Кавказской линии и в Черномории.

51. Е. А. Арсеньевой (стр. 471)

Впервые опубликовано в Соч. под ред. П. А. Висковатова (1891, т. 5).

Письмо это обычно датировалось 1840 г. Б. М. Эйхенбаум в 1948 г. впервые обратил внимание, что 28 июня 1840 г. Лермонтов не мог быть в Пятигорске, так как находился в действующем отряде на левом фланге Кавказской линии в Чечне. Письмо могло быть написано только в 1841 г. и, таким образом, является последним по времени из всех дошедших до нас писем Лермонтова.

Степан — приказчик в Тарханах.

...книгу графини Ростопчиной... — сборник «Стихотворения графини Евдокии Петровны Ростопчиной», Спб. 1841. На титульном листе Е. П. Ростопчина сделала надпись: «Михаилу Юрьевичу Лермонтову в знак удивления к его таланту и дружбы искренней к нему самому, Петербург, 20-е апреля 1841».

Лермонтов познакомился с Е. П. Ростопчиной (1811—1858) еще в студенческие годы в Москве, когда посвятил ей стихотворения: «Крест на скале» и «Додо»; но настоящая дружба между Лермонтовым и Ростопчиной завязалась во время последнего приезда Лермонтова в Петербург в начале 1841 г. В 1858 г. Е. П. Ростопчина в виде письма к Александру Дюма-отцу написала воспоминания о встречах с Лермонтовым.

Полное собрание сочинений Жуковского последнего издания — «Стихотворения В. Жуковского (в семи томах). Издание четвертое, исправленное и умноженное, Спб. 1835. Издание книгопродавца Александра Смирдина». В 1839 г. были изданы дополнительно еще два тома.

ОСНОВНЫЕ ДАТЫ ЖИЗНИ И ТВОРЧЕСТВА М. Ю. ЛЕРМОНТОВА

1814 *

Октябрь, в ночь со 2 на 3. В Москве (в доме генерал-майора Ф. Н. Толя напротив Красных ворот) в семье капитана Юрия Петровича Лермонтова и его жены Марии Михайловны, рожденной Арсеньевой, родился Михаил Юрьевич Лермонтов.

Конец года или весна 1815 (не позднее первой половины апреля). Из Москвы Лермонтовы вместе с Елизаветой Алексеевной Арсеньевой (бабушкой поэта) переехали в ее имение Тарханы, Чембарского уезда, Пензенской губернии. В Тарханах (ныне село Лермонтово) прошли детские годы М. Ю. Лермонтова.

1817

Февраль 24. Умерла Мария Михайловна Лермонтова, мать поэта.

Март 5. Юрий Петрович Лермонтов уехал из Тархан в свое имение Кропотово, оставив сына на попечение Е. А. Арсеньевой.

Июнь около 8. Е. А. Арсеньева переезжает вместе с внуком из Тархан в Пензу.

1818

Первая половина года до мая. Лермонтов с Е. А. Арсеньевой в Пензе.

Лето. Первая поездка Е. А. Арсеньевой с внуком и семьей своего брата А. А. Столыпина на Северный Кавказ к сестре Е. А. Хастатовой.

---

* Все даты даны по старому стилю.

1820

Лето. Вторая поездка Лермонтова с Е. А. Арсеньевой на Кавказские минеральные воды к Е. А. Хастатовой.

1821

Март. Лермонтов и Е. А. Арсеньева в Тарханах.

Март 7. Проездом из Пензы в Москву Тарханы посетил М. М. Сперанский.

1825

Май 7. В Петербурге умер брат Е. А. Арсеньевой, тайный советник, обер-прокурор сената Аркадий Алексеевич Столыпин, близкий к кругам декабристов, приятель Грибоедова, Кюхельбекера и Рылеева.

Май 12. К. Ф. Рылеев в «Северной пчеле» поместил стихотворение «Вере Николаевне Столыпиной», посвященное вдове А. А. Столыпина.

Лето. Третья поездка Лермонтова с Е. А. Арсеньевой на Кавказские минеральные воды.

Лето. Первая любовь Лермонтова. «Кто мне поверит, что я знал уже любовь, имея 10 лет от роду?» (См. запись Лермонтова от 8 июля 1830 г., — т. 4 наст. издания, стр. 390).

Декабрь, около 24. До Тархан дошли первые известия о восстании на Сенатской площади в Петербурге.

1826

Январь 3. В Москве скоропостижно умер брат Е. А. Арсеньевой, генерал-майор Дмитрий Алексеевич Столыпин, сослуживец и приятель П. И. Пестеля, близкий к кругам декабристов.

1827

Лето. Двенадцатилетний Лермонтов гостит в отцовской деревне Кропотово, Ефремовского уезда, Тульской губернии.

Осень. Лермонтов с Е. А. Арсеньевой переезжает в Москву. Он часто бывал в доме дальнего родственника П. И. Мещеринова. Дружба с его сыновьями Владимиром, Афанасием и Петром. Начало занятий Лермонтова с приглашенным на дом учителем А. З. Зиновьевым.

Осень. Первое дошедшее до нас письмо Лермонтова из Москвы к Марии Акимовне Шан-Гирей о занятиях с учителями и о посещении Московского театра, где шла опера «Князь Невидимка».

Ноябрь 6. Запись в юношеской тетради рукой Лермонтова: «Разные сочинения принадлежат М. Л. 1827 года, 6-го ноября».

В эту тетрадь Лермонтов переписал отрывки из произведений Сент-Анжа, Лагарпа, поэму Пушкина «Бахчисарайский фонтан» и поэму Байрона «Шильонский узник» в переводе Жуковского.

1828

Весна. Лермонтов с Е. А. Арсеньевой живет в Москве на Поварской улице (ныне ул. Воровского, 24).

Лето. Е. А. Арсеньева с внуком в Тарханах. Поездка в Чембары, где написана первая поэма Лермонтова «Черкесы» (на копии рукой Лермонтова сделана надпись: «В Чембар<ах> за дубом»).

Август. К Лермонтову приглашен француз Жан-Пьер Келлет-Жандро в качестве гувернера.

Сентябрь 1. Лермонтов зачислен полупансионером в четвертый класс Московского университетского благородного пансиона.

Осень. Лермонтов с Е. А. Арсеньевой переезжает с Поварской на Малую Молчановку в дом Чернова (ныне № 2). Напротив живет семья Лопухиных: отец, три дочери (Мария, Варвара и Елизавета) и сын Алексей, с которыми Лермонтов очень подружился.

Декабрь 13—20. Лермонтов переведен из четвертого класса в пятый; за успешные занятия получил две награды: книгу и картины.

Около 21 декабря. Письмо Лермонтова к тетке М. А. Шан-Гирей (об экзаменах в пансионе, о приезде отца, об учителях). К письму приложено стихотворение «Поэт».

К 1828 г. Лермонтов относит начало своей поэтической деятельности: «Когда я начал марать стихи в 1828 г. <в пансионе>,

я как бы по инстинкту переписывал и прибирал их, они еще теперь у меня» (запись 1830 г. в пятой тетради, л. 13). Этим годом датирован «Кавказский пленник» в записной книжке: «Кавказский пленник. Сочинение М. Лермантова. Москва, 1828». В этой же тетради — «Корсар». Этим же годом Лермонтов датирует стихотворения «Осень», «Заблуждение Купидона», «Цевница».

1829

Февраль 19. Экзамены в Московском университетском благородном пансионе.

Март 5. Подписан билет на выпуск из типографии альманаха Московского университетского благородного пансиона: «Цефей. Альманах на 1829 год. Москва. В типографии Августа Семена. 1829». Возможно, что в этом альманахе под псевдонимом N. N. опубликованы первые литературные опыты Лермонтова.

Весна. Письмо Лермонтова из Москвы к М. А. Шан-Гирей, в котором он делится своими впечатлениями от игры П. С. Мочалова.

Апрель 6. Торжественное собрание в Московском университетском благородном пансионе по случаю девятого выпуска в присутствии поэта И. И. Дмитриева и других почетных гостей. На этом собрании среди отличившихся воспитанников был назван и Михаил Лермонтов.

Август 8. Смерть гувернера Лермонтова Пьера-Келлета-Жандро.

Декабрь 12—20. Испытания воспитанников Московского университетского благородного пансиона в языках и науках.

Декабрь 21. В Московском университетском благородном пансионе после экзаменов «следовало испытание в искусствах. Лермантов «играл» на скрипке аллегро из Маурерова концерта».

1829. Написана первая редакция «Демона».

1830

Начало года. Написана вторая редакция «Демона».

Вторая половина января. Лермонтов после зимних вакаций приступил к занятиям в пансионе.

Конец февраля — начало апреля В автографе «Джюлио» Лермонтовым обозначено: «Повесть. 1830 год» — и приписка: «1830 года великим постом и после».

Март 11. Московский университетский благородный пансион посетил Николай I, без предупреждения и без свиты. Николай I был неприятно поражен вольными порядками пансиона.

Март 29. Среди выпускников шестого класса, награжденных книгами, отмечен «Михайла Лермонтов».

Апрель 16. Выдано свидетельство из Благородного пансиона «Михаилу Лермантову в том, что он в 1828 г., быв принят в пансион, обучался в старшем отделении высшего класса разным языкам, искусствам и преподаваемым в оном нравственным, математическим и словесным наукам .. ныне же по прошению его от Пансиона с сим уволен»

Май начало (?) Лермонтов вместе с Е. А. Арсеньевой переехал на лето из Москвы в подмосковное имение Середниково, принадлежащее Е А. Столыпиной

Май 10. Дата цензурного разрешения «Атенея», ч. IV, в котором напечатано стихотворение «Весна» («Когда весной разбитый лед») с подписью «L».

Май 16. Эта дата стоит в заголовке стихотворения «1830. Маия 16 число» («Боюсь не смерти я. О нет!»)

Июль 10. Эта дата стоит в заголовке стихотворения «Опять гордые, восстали...».

Июль 15. Эта дата стоит в заголовке стихотворения «1830 год. Июля 15-го» («Зачем семьи родной безвестный круг...»).

Июль 16—18 (по н. с. 28—30) Революция во Франции. Несколькими днями позже написано стихотворение Лермонтова, озаглавленное «30 июля. — (Париж) 1830 года».

Август 12. Под текстом стихотворения «Благодарю» в «Записках» Е. А. Сушковой стоит· «Середниково. 12 августа».

Август 14. Лермонтов вместе с Е. А. Арсеньевой, Е. А. Сушковой и своими кузинами отправился из имения Столыпиных Середниково на богомолье в Троице-Сергиеву лавру

Август 15. Рядом с заглавием стихотворения «Чума в Саратове» в автографе дата: «1830 года августа 15 дня».

Август 17. Лермонтов вместе с Е. А. Арсеньевой и своими кузинами проводит день в Сергиевской лавре, где пишет стихотворение «Нищий».

Август 26. Дата в автографе стихотворения «Стансы» («Взгляни, как мой спокоен взор...»).

Август 28. Дата в автографе стихотворения «Ночь» («Один я в тишине ночной...»).

Август. Дата в автографе стихотворения «Чума» («Два человека в этот год...»).

Сентябрь 1. Постановление правления Московского университета о приеме Лермонтова на нравственно-политическое отделение.

Сентябрь. Лермонтов с Е. А. Арсеньевой остаются в Москве, оцепленной военными кордонами в связи с распространившейся в городе эпидемией холеры. Занятия в университете, едва начавшись, прекратились.

Октябрь 1. Этим числом в «Записках» Е. Сушковой датировано стихотворение «Свершилось! Полно ожидать...». По ее словам, в этот же день написано стихотворение: «Итак, прощай! Впервые этот звук...»

Октябрь 3. Перед зачеркнутым текстом стихотворения «Сыны снегов, сыны славян...» в автографе рядом с заглавием «Новгород» дата: «3 октября 1830».

Октябрь 4. Дата в автографе под текстом стихотворения «Глупой красавице» («Амур спросил меня однажды...»).

Октябрь 5. Дата в черновом автографе под текстом стихотворения «Могила бойца».

Октябрь 9. Дата в копии под текстом стихотворения «Смерть» («Закат горит огнистой полосою...»).

1830. В тетради Лермонтова «Разные стихотворения (1830 год)» 1830-м годом датированы стихотворения: «Оставленная пустынь предо мной...», «Кладбище», К*** («Не думай, чтоб я был достоин сожаленья...») и «Дереву».

Этим же годом датированы копия драмы «Испанцы» и автограф «Menschen und Leidenschaften».

1831

Январь 12. В Московском университете возобновились занятия.

Январь. Дата в заглавии стихотворения «1831-го января» («Редеют бледные туманы...»).

Первая половина февраля. Письмо Лермонтова к М. А. Шан-Гирей, в котором он «вступается за честь Шекспира» и сообщает, что «в университете все идет хорошо».

Март 16. Студенты Московского университета выгнали из аудитории реакционного профессора М. Я. Малова.

Март 23. Дата на стихотворении Лермонтова в альбоме Н. И. Поливанова «Послушай! вспомни обо мне...». Сбоку приписка рукою Н. Поливанова с поправками Лермонтова: «Москва Михайла Юрьевич Лермантов написал *эти строки* в моей комнате во флигеле нашего дома на Молчановке, ночью, когда, вследствие какой-то университетской шалости, *он ожидал строгого наказания.* Н. Поливанов» (Курсив — поправки Лермонтова.)

Начало июня. Лермонтов гостил несколько дней под Москвой в семье драматурга Ф. Ф. Иванова. В одну из его дочерей — Наталью Федоровну — Лермонтов был влюблен.

Июнь 11. Дата в авторизованной копии в заглавии стихотворения «Моя душа, я помню, с детских лет...»

Июль 17. Кончена драма «Странный человек». Дата на черновике.

Июль 29. К стихотворению «Желание» («Зачем я не птица, не ворон степной...») приписано: «Средниково. Вечер на бельведере (29 июля)».

Август 7. В заглавии стихотворения «Блистая, пробегают облака...» — «7-го августа».

Август 15. Университетский приятель Лермонтова Андрей Дмитриевич Закревский, будучи в Костроме, переписал в альбом Ю. Н. Бартенева начало поэмы «Демон», «Азраил» и стихотворение «1831-го января» («Редеют бледные туманы...»).

Сентябрь 4. Дата посвящения поэмы «Ангел смерти» А. М. Верещагиной.

Сентябрь 28. Дата в заголовке стихотворения «Опять, опять я видел взор твой милый...»

Октябрь 1. Отец поэта Юрий Петрович Лермонтов сорока четырех лет от роду умер в Кропотове.

Декабрь 31. В маскараде в Благородном собрании Лермонтов читал новогодние мадригалы и эпиграммы.

1832

Начало года. В Московском университете начал чтение курса лекций по теории изящных искусств и археологии Н. И. Надеждин.

Май 10. Датирована поэма «Измаил-Бей».

Июнь 1. Лермонтовым подано прошение об увольнении из Московского университета «по домашним обстоятельствам» с

просьбой «снабдить надлежащим свидетельством для перевода в императорский Санкт-петербургский университет».

Июнь 6. На прошении Лермонтова резолюция: «Приказали означенного студента Лермонтова, уволив из университета, снабдить его надлежашим свидетельством». Это свидетельство было выдано Лермонтову 18 июня.

Июль — начало августа. Лермонтов вместе с Е. А. Арсеньевой выехал из Москвы в Петербург. По дороге из Твери послано письмо С. А. Бахметевой.

Июль — начало августа. Проездом в Петербург в Новгороде написано стихотворение. «Приветствую тебя, воинственных славян святая колыбель...»

Август 28. Письмо Лермонтова из Петербурга к М. А. Лопухиной о болезни бабушки, о впечатлениях от петербургского общества, о работе над романом, в письме — стихи «Для чего я не родился» и «Конец! как звучно это слово!»

Сентябрь. Сближение со Святославом Афанасьевичем Раевским.

Сентябрь 2. Письмо Лермонтова из Петербурга к М. А. Лопухиной со стихами «Белеет парус одинокий».

Около 15 октября. Письмо Лермонтова из Петербурга в Москву к М. А. Лопухиной о предстоящем поступлении его в военную школу, со стихами: «Он был рожден для счастья, для надежд...».

Ноябрь 4. Лермонтов держит экзамен в Школу гвардейских подпрапорщиков и кавалерийских юнкеров.

Ноябрь 10. Отдан по Школе приказ о зачислении «Михайла Лермантова, просящегося на службу в Лейб-гвардии гусарский полк кандидатом».

Ноябрь 13. Заведующий Школой гвардейских подпрапорщиков и кавалерийских юнкеров генерал-адъютант Нейдгард дал предписание командиру Школы генерал-майору К. А. Шлиппенбаху о том, чтобы «недоросля из дворян Михайла Лермантова, просящегося в Лейб-гвардии гусарский полк, зачислить на праве вольноопределяющегося унтер-офицером».

Ноябрь 14. Отдан приказ по Школе гвардейских подпрапорщиков и кавалерийских юнкеров о зачислении Лермонтова на правах вольноопределяющегося унтер-офицером в Лейб-гвардии гусарский полк.

Ноябрь 26 или 27. Несчастный случай с Лермонтовым в манеже лошадь расшибла ему до кости ногу ниже колена.

Декабрь 18. Отдан приказ по Школе «о переименовании» Лермонтова в юнкера.

«1832 года». Дата рукою Лермонтова на авторизованной копии поэмы «Моряк».

1833

Середина апреля. Лермонтов после болезни вернулся в Школу гвардейских подпрапорщиков и кавалерийских юнкеров.

Июнь (до 19). Лермонтов выдержал экзамен в первый (старший) класс.

Август 4. Письмо Лермонтова к М. А. Лопухиной о жизни в лагере.

1834

Начало года. Лермонтов принимает деятельное участие в рукописном журнале юнкеров «Школьная заря». Здесь были помещены «Гошпиталь», «Петергофский праздник» и другие «юнкерские» поэмы и стихотворения.

Июнь 5. Публичные экзамены юнкерам и подпрапорщикам в Школе гвардейских подпрапорщиков и кавалерийских юнкеров.

Июнь 22. Выступление Школы гвардейских подпрапорщиков и кавалерийских юнкеров в лагерь под Петергофом.

Ноябрь 22. *Лермонтов высочайшим* приказом произведен по экзамену из юнкеров в корнеты Лейб-гвардии гусарского полка.

Декабрь 4. Встреча Лермонтова с Е. А. Сушковой на балу у «госпожи К».

Декабрь. Встречи Лермонтова с Е. А. Сушковой.

1833—1834 гг. Работа над романом из времен Пугачевского восстания («Вадим»).

1835

Январь — февраль. Разрыв Лермонтова с Е. А. Сушковой.

Зима 1834/1835 г. Лермонтов часто бывает у братьев Александра и Сергея Трубецких, где встречается с Б. А. Перовским (братом писателя), Сергеем Голицыным, Нарышкиным, Бахметевым, Н. А. Жерве и др. Некоторые из участников кружка Трубецких стали впоследствии участниками «Кружка шестнадцати» (см. 1838—1839 гг.).

Апрель 10. Последняя встреча Лермонтова с Сушковой на балу.

Июнь 30. Дата цензурного разрешения «Библиотеки для чтения, т. XI, где напечатана поэма Лермонтова «Хаджи-Абрек».

Октябрь. Лермонтов представил «Маскарад» (трехактную редакцию) в драматическую цензуру при III отделении его императорского величества канцелярии.

Ноябрь 8. На докладе цензора Е. Ольдекопа по поводу первой редакции драмы Лермонтова «Маскарад» помечено: «Возвращена для нужных перемен».

Первая половина декабря. Закончен четвертый акт «Маскарада» (вторая редакция драмы). Лермонтов поручил С. А. Раевскому снова представить «Маскарад» в драматическую цензуру.

Конец декабря. С. А. Раевский передал директору императорских театров А. М. Гедеонову письмо Лермонтова от 20 декабря вместе с текстом четырехактной редакции «Маскарада».

20-е числа декабря. Получив 20 декабря отпуск из полка на 6 недель, Лермонтов проездом в Тарханы задержался в Москве.

Декабрь 31. Лермонтов приехал в Тарханы.

1836

Январь 16. Отрицательный отзыв цензора Е. Ольдекопа на четырехактную редакцию «Маскарада».

Январь 16. Письмо Лермонтова к С. А. Раевскому из Тархан в Петербург. Лермонтов сообщает о работе над четвертым актом новой драмы, «взятой из происшествия, случившегося в Москве». Тут же он спрашивает, пропустила ли цензура «Арбенина» (речь идет о второй редакции «Маскарада»).

Январь 17. Письмо Е. А. Арсеньевой из Тархан к П. А. Крюковой, в котором она сообщает о приезде внука в Тарханы под новый год, а далее пишет: «План жизни моей, мой друг, переменился: Мишенька упросил меня ехать в Питербург с ним жить, и так убедительно просил, что не могла ему отказать и так решилась ехать в маии...»

Февраль 2. Дата стихотворения «Умирающий гладиатор».

Вторая половина марта. Лермонтов «налицо в полку» (Царское Село и Петербург).

Март 30 или 31. Лермонтов гостил в Петербурге у Никиты Васильевича Арсеньева (в Коломне за Никольским мостом). Здесь его видел М. Н. Лонгинов, с которым Лермонтов провел

вечер и которому показывал тетрадь in folio, очень толстую; на заглавном листе крупными буквами было написано: «Маскарад».

Конец марта — первая половина апреля. Письмо Лермонтова из Царского Села к Е. А. Арсеньевой в Тарханы.

Вторая половина апреля. Письмо Лермонтова из Петербурга к Е. А. Арсеньевой в Тарханы о покупке лошади у генерала Хомутова и о том, что Лермонтов подыскивает квартиру в Петербурге в связи с предстоящим приездом Арсеньевой.

Последние числа апреля — начало мая. Письмо Лермонтова к Е. А. Арсеньевой в Москву о том, что квартира нанята «иа Садовой улице в доме князя Шаховского за 2000 рублей...»

Май — июнь. В связи с болезнью Лермонтов получил разрешение ехать на Кавказские воды, которым не воспользовался...

Середина августа. Поездка Лермонтова с Алексеем Аркадьевичем Столыпиным (Монго) из села Копорского (около Царского Села) на Петергофскую дорогу на дачу Моисеева к жившей там балерине Екатерине Егоровне Пименовой, — приключение, описанное в поэме «Монго».

Первая половина сентября. Написана поэма «Монго».

Октябрь 28. Запрещена представленная Лермонтовым в драматическую цензуру пятиактная драма «Арбенин».

Декабрь 24. Лермонтов «заболел простудою».

Осень и зима. Знакомство Лермонтова через С. А. Раевского с А. А. Краевским.

1836 — начало 1837 года. Работа над романом «Княгиня Лиговская».

1837

Январь 27. Около 5 часов пополудни за Комендантской дачей на Черной речке в окрестностях Петербурга состоялся поединок Пушкина с Дантесом. В 6 часов вечера смертельно раненный Пушкин привезен в свою квартиру в доме кн. Волконской на Мойке. В тот же вечер по городу распространились слухи о дуэли и даже смерти Пушкина.

Январь 29. В 2 часа 45 минут пополудни смерть Пушкина.

Января около 31. Написано стихотворение «Смерть Поэта» (до слов «И на устах его печать»).

Февраль 2. А. И. Тургенев в своем дневнике записал: «Стихи Лермонтова прекрасные».

Февраль 6. А. И. Тургенев после похорон Пушкина за завтраком у П. А. Осиповой в Тригорском обещает ей дать стихи Лермонтова «Смерть Поэта».

Февраль 11. А. И. Тургенев читает поэту И. И. Козлову стихотворение Лермонтова «Смерть Поэта».

Первая половина февраля. Лермонтов написал заключительные 16 строк стихотворения «Смерть Поэта» («А вы надменные потомки...»).

Февраль 16. Дата на списке «Смерть Поэта» (ЦГАЛИ).

Февраль 17. Записка А. А. Краевского С. А. Раевскому с вопросом о судьбе Лермонтова.

Февраль 20. У Лермонтова и С. А. Раевского сделан обыск.

Февраль 20—21. Лермонтов арестован и помещен в одной из комнат верхнего этажа Главного штаба.

Февраль 21—23. «Объяснение корнета Лейб-гвардии гусарского полка Лермонтова» по поводу стихов на смерть Пушкина.

Как утверждает А. П. Шан-Гирей, к арестованному Лермонтову пускали только камердинера, приносившего обед. Лермонтов «велел завертывать хлеб в серую бумагу, и на этих клочках с помощью вина, печной сажи и спички написал несколько пьес, а именно: «Когда волнуется желтеющая нива...», «Я, матерь божия, ныне с молитвою...», «Кто б ни был ты, печальный мой сосед...» — и переделал старую пьесу «Отворите мне темницу...»

Февраль 22. Юнкер Школы гвардейских подпрапорщиков и кавалерийских юнкеров П. А. Гвоздев (1815—1851), написал ответ на стихи Лермонтова «Смерть Поэта».

Зачем порыв свой благородный
Ты им излил, младой поэт... и т. д.

(«Русская старина», 1896, кн. 10)

Февраль 23. Началось «Дело о непозволительных стихах, написанных корнетом Лейб-гвардии гусарского полка Лермонтовым и о распространении оных губернским секретарем Раевским».

Февраль 23. Секретная записка от А. Х. Бенкендорфа к П. А. Клейнмихелю, препровождающая «Объяснения корнета Лейб-гвардии гусарского полка Лермонтова для сличения с таковыми же объяснениями чиновника Раевского». В этой же записке уведомление о высочайшем повелении приостановить предание Раевского суду впредь до особых распоряжений.

Февраль 25. Военный министр граф А. И. Чернышев сооб-

щил шефу жандармов графу А. Х. Бенкендорфу высочайшее повеление: «Лейб-гвардии гусарского полка, корнета Лермантова, за сочинение известных вашему сиятельству стихов, перевесть тем же чином в Нижегородский драгунский полк, а губернского секретаря Раевского за распространение сих стихов, и в особенности за намерение тайно доставить сведение корнету Лермантову о сделанном им показании, выдержать под арестом в течение одного месяца, а потом отправить в Олонецкую губернию для употребления на службу — по усмотрению тамошнего гражданского губернатора».

Февраль 27. Лермонтова отпустили домой проститься. Записка Лермонтова к С. А. Раевскому.

Первые числа марта. К Лермонтову, находившемуся под домашним арестом, приезжал А. А. Краевский и говорил с ним об аресте С. А. Раевского. Вторая записка Лермонтова к С. А. Раевскому.

Первая половина марта. Письмо С. А. Раевского к Лермонтову из крепости. Ответное письмо Лермонтова, в котором он сообщает о хлопотах Е. А. Арсеньевой по смягчению участи Раевского.

Около 19 марта. Лермонтов выехал из Петербурга в ссылку на Кавказ через Москву.

Март 23. Лермонтов приехал в Москву.

Апрель 10. Лермонтов выехал из Москвы на Кавказ.

Вторая половина апреля — первые числа мая. Лермонтов приехал в Ставрополь, «простудившись дорогой».

Весна. Два варианта эпиграммы на Ф. В. Булгарина «Россию продает Фадей...»

Май 2. Дата цензурного разрешения «Современника» № 2, в котором напечатано «Бородино».

Май 13. Находясь в Ставрополе, Лермонтов подал в штаб войск на Кавказской линии и в Черномории рапорт «об освидетельствовании болезни». Помещенный сначала в ставропольский военный госпиталь, Лермонтов был переведен затем в пятигорский военный госпиталь для лечения минеральными водами.

Май 31. Письмо Лермонтова М. А. Лопухиной из Пятигорска о жизни на водах.

Июнь 2. Лермонтов находится на излечении в пятигорском военном госпитале.

Июль 13. Письмо Е. А. Арсеньевой к в. кн. Михаилу Павловичу с просьбой ходатайствовать «о всемилостивейшем прощении внука».

Июль 16. Лермонтов ездил из Пятигорска в Железноводск.

Июль 18. Письмо Лермонтова к Е. А. Арсеньевой из Пятигорска, в котором он сообщает о причислении к эскадрону Нижегородского драгунского полка в Анапе, жалуется на плохую погоду и просит прислать ему денег.

Июль. В Пятигорске Лермонтов встретился с поэтом и переводчиком, членом кружка Герцена и Огарева, Н. М. Сатиным, с которым был знаком еще по Московскому университетскому благородному пансиону, и с доктором Н. В. Майером, прототипом доктора Вернера в повести «Княжна Мери». Знакомство на квартире Н. М. Сатина с Белинским. Споры о Вольтере и Дидро.

Первая половина сентября. С Кавказских минеральных вод Лермонтов едет на Черноморское побережье в отряд генерала Вельяминова, готовившийся к встрече Николая I в Анапе. Вынужденная задержка в Тамани.

Сентябрь 29. Лермонтов вернулся в укрепление Ольгинское, где получил предписание отправиться в свой полк в Тифлис. В Ольгинском произошла встреча с Н. С. Мартыновым, которому Лермонтов должен был доставить пакет с письмами и деньгами от родителей его из Пятигорска.

Октябрь, до 22 числа. По пути в Тифлис Лермонтов задержался в Ставрополе. Здесь он бывал в доме своего родственника начальника Штаба Кавказской линии и в Черномории генерал-майора П. И. Петрова, встречался с Н. М. Сатиным и доктором Н. В. Майером. Через Сатина и Майера поэт познакомился с сосланными на Кавказ декабристами С. Кривцовым и В. Голицыным, а быть может, и с прибывшими из Сибири в первых числах октября В. Н. Лихаревым, М. А. Назимовым, М. М. Нарышкиным, А. И. Одоевским и А. И. Черкасовым.

Октябрь 10. На Дидубийском поле под Тифлисом Николай I произвел смотр войсковым частям Кавказского корпуса, среди которых были четыре эскадрона Нижегородского драгунского полка, найденные царем в отличном состоянии. По-видимому, в это время Лермонтов находился еще в Ставрополе, но смотр Нижегородского полка под Тифлисом, по словам В. Потто, автора работы по истории полка, косвенным образом повлиял на судьбу Лермонтова.

Октябрь 11. В Тифлисе отдан высочайший приказ по кавалерии о переводе «прапорщика Лермантова лейб-гвардии в Гродненский гусарский полк корнетом».

Конец октября — ноябрь. Лермонтов, направляясь в Нижего-

родский драгунский полк, «переехал горы», а затем в Закавказье «был в Шуше, в Кубе, в Шамахе, в Кахетии».

Ноябрь. В Закавказье Лермонтов сдружился с поэтом-декабристом А. И. Одоевским.

Ноябрь. Лермонтов записал сказку «Ашик-Кериб».

Вторая половина ноября — первая половина декабря. Письмо Лермонтова к С. А. Раевскому о странствованиях по Кавказу и Закавказью.

Ноябрь 25. Лермонтов исключен из списков Нижегородского драгунского полка.

Начало декабря. На пути из Тифлиса во Владикавказ написано стихотворение «Спеша на север издалека».

Около 10 декабря. Лермонтова, приехавшего по Военно-Грузинской дороге во Владикавказ из Тифлиса, видел в заезжем доме В. В. Бобарыкин.

Декабрь 14. Запись в дневнике неизвестного кавказского офицера: «14. В Прохладной встретил я Лермонтова, едущего в С.-Петербург».

Вторая половина декабря. По пути в Петербург Лермонтов задержался в Ставрополе. Встречи с П. И. Петровым, Н. М. Сатиным, Н. В. Майером и сосланными декабристами.

Конец года. Лермонтов в дороге с Кавказа в Петербург.

1838

Январь 3. Лермонтов прибыл с Кавказа в Москву.

Вторая половина января. Лермонтов приехал в Петербург. Первые дни после приезда в Петербург «прошли в постоянной беготне: представления, церемонные визиты». Лермонтов почти «каждый день ездил в театр». Был у Жуковского, отнес ему, по его просьбе, «Тамбовскую казначейшу».

Февраль 15. Письмо Лермонтова М. А. Лопухиной, в котором он сообщает о петербургской жизни. К письму приложено стихотворение «Молитва странника».

Февраль 16 или несколькими днями позже. Отъезд Лермонтова из Петербурга в Новгородскую губернию, в первый округ военных поселений, в распоряжение Штаба Лейб-гвардии Гродненского гусарского полка.

Февраль 26. Лермонтов прибыл в Лейб-гвардии Гродненский гусарский полк, получил назначение состоять в четвертом эскад-

роне, которым командовал К. Войнилович. Лермонтов поселился вместе с Н. А. Краснокутским в доме для холостых офицеров.

Март 3 и ночь на 4 марта. Лермонтов принимал участие в проводах М. И. Цейдлера, откомандированного из Л -гв. Гродненского гусарского полка в отдельный Кавказский корпус. Экспромт: «Русский немец белокурый едет в дальнюю страну».

Март 24. По ходатайству Е. А. Арсеньевой шеф жандармов А Х. Бенкендорф сделал представление через военного министра графа А. И. Чернышева о переводе Лермонтова из Л.-гв. Гродненского гусарского полка в Л.-гв. гусарский полк

Апрель 9. Опубликован высочайший приказ о переводе Лермонтова в Лейб гвардии гусарский полк.

Март — первая половина апреля. Н. А. Краснокутский, живший вместе с Лермонтовым под Новгородом в Селищенских казармах, сделал подстрочный перевод сонета А. Мицкевича «Вид гор из степей Козлова», и Лермонтов тогда же сделал вольный перевод этого стихотворения под тем же заглавием.

Апрель 18. Лермонтов подал рапорт о болезни и некоторое время еще оставался в Л.-гв. Гродненском гусарском полку.

Февраль 26 — апрель 19. За это время Лермонтов два раза был в отпуску в Петербурге, каждый раз по 8 дней.

Апрель 29. Дата цензурного разрешения «Литературных прибавлений к «Русскому инвалиду» № 18, где за подписью «— въ» напечатана «Песня про царя Ивана Васильевича, молодого опричника и удалого купца Калашникова».

Весна. Проездом за границу остановилась в Петербурге Варвара Александровна Бахметева, рожденная Лопухина. Последнее свидание с нею Лермонтова и А. П Шан-Гирея.

Май 14. Лермонтов прибыл в Лейб-гвардии гусарский полк, расквартированный в Софии под Царским Селом.

Июнь 8. Письмо Лермонтова к С. А. Раевскому, в котором он пишет о том, что роман «Княгиня Лиговская» «затянулся и вряд ли кончится».

Июль 1. Дата цензурного разрешения «Современника», т. XI, № 3, где без подписи автора напечатана «Казначейша».

Сентябрь 8. На обложке копии «Демона» дата рукой Лермонтова: «1838 года сентября 8 дня».

Вторая половина года. Письмо Лермонтова из Петербурга к М. А. Лопухиной в Москву, в котором он сообщает, что ему трижды отказали в отпуске.

Декабрь 4. Лермонтов закончил работу над седьмой редакцией поэмы «Демон».

Декабрь 7. С. А. Раевский прощен, и ему дозволено продолжать службу на общих основаниях.

1838. Дата стихотворения «Дума» в сборнике «Стихотворения М. Лермонтова».

1839

Январь 1. Дата цензурного разрешения «Отечественных записок» № 1, в котором за подписью «М. Лермонтов» было напечатано стихотворение «Дума».

Февраль 1. Дата цензурного разрешения «Отечественных записок» № 2, в котором напечатано за подписью «М. Лермонтов» стихотворение «Поэт» («Отделкой золотой блистает мой кинжал...»).

Март 1. Дата цензурного разрешения «Московского наблюдателя», ч. II, № 4, где помещен отзыв Белинского о стихотворении Лермонтова «Поэт».

Первая половина марта. В «Отечественных записках», № 3, напечатана «Бэла (Из записок офицера о Кавказе)». Подпись — «М. Лермонтов».

Март 16. Дата цензурного разрешения «Сына отечества», т. VII, ч. II, где помещен положительный отзыв о стихотворении Лермонтова «Поэт» и приведена цитата из него.

Конец февраля — март. Письмо Лермонтова из Петербурга в Москву А. А. Лопухину со стихами, посвященными его новорожденному сыну: «Ребенка милого рожденье приветствует мой запоздалый стих...»

Вторая половина марта или начало апреля. Свидание с С. А. Раевским, освобожденным из ссылки и приехавшим из Петрозаводска в Петербург.

Апрель 14. Дата цензурного разрешения «Отечественных записок», т. III, № 4, в котором напечатана «Русалка», подписанная «М. Лермонтов».

Май. В майской книжке «Отечественных записок», № 5, напечатаны стихотворения «Ветка Палестины» и «Не верь себе», подписанные «М. Лермонтов».

Июнь 14. Дата цензурного разрешения «Отечественных записок», № 6, в котором напечатаны стихотворения «Еврейская мелодия (Из Байрона)» — «Душа моя мрачна» и «В аль-

бом (Из Байрона)» — «Как одинокая гробница», подписанные «М. Лермонтов».

Август 5. Дата рукой Лермонтова на обложке рукописи «Бэри» <«Мцыри»>: «Поэма 1839 года. Августа 5».

Август 11. Написано стихотворение, посвященное Анне Алексеевне Олениной, «Ах! Анна Алексевна...», по случаю дня ее рождения.

Август 14. Дата цензурного разрешения «Отечественных записок», № 8, в котором напечатано стихотворение «Три пальмы (Восточное сказание)», подписанное «М. Лермонтов».

Сентябрь 12. Лермонтов у Карамзиных в присутствии А. И. Тургенева читал отрывок из «Героя нашего времени». В тот же день вечером Лермонтов был у Валуевых, где были также А. И. Тургенев, Л. Ф. Полуэктова, А. В. Мергасов, Александр Н. Карамзин.

Сентябрь 16. В «Литературных прибавлениях к «Русскому инвалиду», № 11, в отделе «Литературные известия», сообщается, что в ближайшей книжке журнала «Отечественные записки» будет напечатана повесть Лермонтова «Фаталист».

Октябрь 24. Лермонтов обедал у Карамзиных в день 25-летия Андрея Николаевича Карамзина. Там же присутствовали В. А. Жуковский, П. А. Вяземский и А. И. Тургенев.

В тот же день Жуковский записал в своем дневнике: «Поездка в Петербург <из Царского Села> с Вельгорским по железной дороге. Дорогой чтение «Демона».

Октябрь 27. Лермонтов в театре с П. А. Вяземским, П. А. Валуевым и А. И. Тургеневым на балетном спектакле с участием Тальони в роли Сильфиды.

Ноябрь 5. Жуковский записал в своем дневнике: «Обедал у Смирновой. Поутру у Дашкова. Вечер у Карамзиных. Князь и княгиня Голицыны и Лермонтов».

Ноябрь 14. Дата цензурного разрешения «Отечественных записок», № 11, в котором напечатаны повесть «Фаталист» и стихотворение «Молитва» («В минуту жизни трудную...») за подписью «М. Лермонтов».

В примечании редакции сообщалось: «С особенным удовольствием пользуемся случаем известить, что М. Ю. Лермонтов в непродолжительном времени издаст собрание своих повестей и напечатанных и ненапечатанных. Это будет новый, прекрасный подарок русской литературе».

Ноябрь 16. Лермонтов был у А. И. Тургенева и с ним отправился на бал к Гогенлоэ, вюртембергскому посланнику в Петербурге.

Декабрь 6. Лермонтов высочайшим приказом произведен из корнетов в поручики.

Декабрь 14. Дата цензурного разрешения «Отечественных записок» № 12, где за подписью «М. Лермонтов» напечатаны стихотворения «Дары Терека» и «Памяти А. И. О<доевско>го».

Декабрь 22. Дата цензурного разрешения «Одесского альманаха на 1840 год», в котором напечатаны стихотворения «Узник» и «Ангел», подписанные «М. Лермонтов».

Последние числа декабря. И. С. Тургенев впервые видел Лермонтова в доме княгини Шаховской в Петербурге.

Декабрь 31. Лермонтов на новогоднем балу в зале Дворянского собрания в Петербурге. Дерзкая выходка Лермонтова против дочерей Николая I Марии и Ольги. Здесь видел Лермонтова И. С. Тургенев.

С осени Лермонтов принимал участие в «Кружке шестнадцати». Это общество составилось из университетской молодежи, частью из кавказских офицеров. «Каждую ночь, возвращаясь из театра или бала, они собирались то у одного, то у другого. Там после скромного ужина, куря свои сигары, они рассказывали друг другу о событиях дня, болтали обо всем и всё обсуждали с полнейшей непринужденностью и свободою, как будто бы III отделения собственной его императорского величества канцелярии вовсе не существовало» («Исторический вестник», 1895, кн. 10). В «Кружок шестнадцати», кроме Лермонтова, входили: А. А. Столыпин (Монго), К. В. Браницкий, Н. А. Жерве, Д. П. Фредерикс, А. и С. Долгорукие, П. А. Валуев, И. С. Гагарин, А. П. Шувалов и др.

1840

Январь 1. Стихотворение «Как часто, пестрою толпою окружен...» датировано: «1-е января».

Январь 2(14). Лермонтов на балу во французском посольстве.

Январь 14. Лермонтов вечером у Карамзиных. Здесь же были А. И. Тургенев, Жуковский, Вяземский и князь В. Ф. Одоевский.

Между 14 и 17 января. Вышли в свет «Отечественные записки», № 1, где напечатано стихотворение «Как часто, пестрою толпою окружен...», подписанное «М. Лермонтов».

Январь 20. В «Литературной газете» напечатано стихотворение «И скучно и грустно», подписанное «М. Лермонтов».

Начало года. Знакомство Лермонтова с поэтом Е. А. Баратынским у кн. В. Ф. Одоевского в Петербурге.

Февраль 9. Белинский в письме к Боткину делится впечатлением от стихотворения «Дары Терека»: «Черт знает — страшно сказать, а мне кажется, что в этом юноше готовится третий русский поэт и что Пушкин умер не без наследника». В этом же письме Белинский упоминает «Колыбельную песнь казачки» (то есть «Казачью колыбельную песню»), «Молитву» («В минуту жизни трудную...») и стихотворение «И скучно и грустно...»

Февраль около 14. Вышла февральская книжка «Отечественных записок», № 2, где напечатаны «Тамань» и «Казачья колыбельная песня», подписанные «М. Лермонтов».

Февраль 16. На балу у графини Лаваль столкновение между Лермонтовым и сыном французского посланника Эрнестом де Барантом. Де Барант вызвал Лермонтова на дуэль.

Февраль 18, воскресенье, в 12 часов дня. Дуэль Лермонтова с де Барантом за Черной речкой на Парголовской дороге при секундантах А. А. Столыпине и графе Рауль д'Англесе. После дуэли Лермонтов, получивший легкую царапину ниже локтя, заезжал к А. А. Краевскому.

Февраль 19. Дата цензурного разрешения первого издания «Героя нашего времени. Сочинение М. Лермонтова. Чч. I и II, Спб. В типографии Ильи Глазунова и К°. 1840».

Начало марта. Письмо Лермонтова к командиру Л.-гв. гусарского полка Н. Ф. Плаутину с объяснением обстоятельств дуэли с де Барантом.

Март 2. В «Одесском вестнике» № 18 отзыв о стихотворениях Лермонтова «Узник» и «Ангел», напечатанных в «Одесском альманахе на 1840 год».

Март 10. Начато «Дело штаба Отдельного Гвардейского корпуса... О поручике Лейб-гвардии гусарского полка Лермонтове, преданном военному суду за произведенную им с французским подданным Барантом дуэль и необъявление о том в свое время начальству».

Март 14. Дата цензурного разрешения «Отечественных записок», № 3, где напечатана пасквильная повесть В. А. Солло-

губа «Большой свет», направленная против Лермонтова.

Март 15. А. И. Тургенев в письме из Москвы спрашивает П А. Вяземского· «...Верно, Лермонтов дрался с Бар<антом> за кн. Щербатову?»

Март 15. Белинский в письме к В. П. Боткину сообщает об аресте Лермонтова и обстоятельствах его дуэли с Барантом.

Середина марта (?). Записка Лермонтова к С. А. Соболевскому о том, что он из-за своего ареста не может воспользоваться его приглашением.

Март 16. Допрос Лермонтова комиссией военного суда. Лермонтов дал письменные показания.

Март 17. Лермонтов переведен из ордонансгауза на Арсенальный караул.

Март 20. На копии стихотворения «Журналист, читатель и писатель» рукой В. А. Соллогуба — «С.-Петербург. 20 марта 1840 Под арестом, на Арсенальной гауптвахте».

Март 20. В «Литературной газете» № 23 напечатан одобрительный отзыв о стихотворениях Лермонтова «Узник» и «Ангел».

Март 22. Лермонтов через А. В. Браницкого 2-го пригласил на Арсенальную гауптвахту Эрнеста де Баранта для личных объяснений по поводу своих показаний от 16 марта. Свидание состоялось около 8 часов вечера.

Март 23. Министр иностранных дел граф К. В. Нессельроде получил предписание великого князя Михаила Павловича снять показания с Баранта. Нессельроде распорядился: «Отвечать, что Барант уехал...»

Март 25. Объяснение Лермонтова о свидании с де Барантом, представленное великому князю Михаилу Павловичу.

Март 29. Лермонтов допрошен «в присутствии комиссии военного суда» и дал письменные показания о свидании с Барантом на Арсенальной гауптвахте 22 марта.

Апрель 5. Комиссия военного суда закончила дело Лермонтова.

Апрель 11. Мнение в. кн. Михаила Павловича по поводу приговора военно-судной комиссии в отношении Лермонтова: «...сверх содержания его под арестом с 10 прошедшего марта выдержать еще под оным в крепости в каземате три месяца и потом выписать в один из армейских полков тем же чином...»

В этот же день поступило предписание Николая I о срочном окончании дела о дуэли Лермонтова с Барантом.

Апрель 12. Вышли «Отечественные записки», № 4, в котором напечатано стихотворение «Журналист, читатель и писатель», подписанное «М. Лермонтов».

Апрель 13. На докладе генерал-аудиториата по делу Лермонтова рукой Николая I написано: «Поручика Лермонтова перевесть в Тенгинский пехотный полк тем же чином; отставного поручика Столыпина и Г. Браницкого освободить от подлежащей ответственности, объявив первому, что в его звании и летах полезно служить, а не быть праздным. Впрочем, быть по сему. Николай. С.-Петербург, 13 апреля 1840».

Резолюция Николая I противоречила определению генерал-аудиториата, который предлагал выдержать Лермонтова три месяца на гауптвахте, а потом уже выписать в один из армейских полков (см. апрель 19).

Конец марта — середина апреля. Записка Лермонтова из ордонансгауза к С. А. Соболевскому с просьбой прислать ему роман А. Карра «Под липами».

Апреля около 14. А. А. Краевский привез В. Г. Белинского к Лермонтову в ордонансгауз, куда он был переведен с Арсенальной гауптвахты за то, что 22 марта вызвал к себе Баранта для личных объяснений. Продолжительная беседа Белинского с Лермонтовым о романе «Герой нашего времени», о Пушкине, Вальтере Скотте, Гете, Байроне и Фениморе Купере.

Апреля 16. Письмо Белинского к В. П. Боткину о посещении Лермонтова «в заточении» и о выходе в свет «Героя нашего времени».

Середина апреля (между 13 и 19 апреля). Письмо от арестованного Лермонтова к А. И. Философову, с просьбой добиться через в. кн. Михаила Павловича разрешения отлучиться на несколько часов из ордонансгауза для свидания с больной бабушкой.

Апрель 17. Отдан приказ по Отдельному гвардейскому корпусу за подписью генерал-фельдцейхмейстера в. кн. Михаила Павловича о переводе Лермонтова в Тенгинский пехотный полк тем же числом.

Апрель 19. Военный министр А. И. Чернышев сообщил в. кн. Михаилу Павловичу, что Николай I «изволил сказать, что переводом Лермонтова в Тенгинский <пехотный> полк желает ограничить наказание».

Апрель 20-ые числа. Письмо Лермонтова к в. кн. Михаилу Павловичу с просьбой защитить его от требований Бенкендорфа,

Апрель 27. В «Литературной газете» № 34 напечатано извещение о выходе из печати «Героя нашего времени».

Апрель 29. На письме Лермонтова к в. кн. Михаилу Павловичу Л. В. Дубельтом сделана карандашная надпись: «Государь изволил читать», и далее: «к делу», «29 апреля 1840». Хотя резолюции Николая I на это письмо не последовало, но Бенкендорф отказался от своих требований, оскорбительных для Лермонтова.

Май 3, 4 или 5. Отъезд Лермонтова из Петербурга. Прощальный визит к Карамзиным. Написано стихотворение «Тучи».

Май 5. В «Северной пчеле» № 98 извещение о выходе из печати «Героя нашего времени».

Май 8. Приезд Лермонтова в Москву.

Май 9. Лермонтов присутствовал на первом именинном обеде Н. В. Гоголя в саду у Погодина на Девичьем поле. «На этом обеде, кроме круга близких, приятелей и знакомых, — по свидетельству С. Т. Аксакова, — были: А. И. Тургенев, князь П. А. Вяземский... М. Ф. Орлов, М. А. Дмитриев, Загоскин, профессора Армфельд и Редкин и многие другие... После обеда все разбрелись по саду маленькими кружками. Лермонтов читал наизусть Гоголю и другим, кто тут случились, отрывок из новой своей поэмы «Мцыри» — и читал, говорят, прекрасно...»

Май 10. А. И. Тургенев записал в дневнике: «Вечер у Сверб<еевой> с гр. Зубовой. Павлова: подарил ей лиру. Она довольна. Лермонтов и Гоголь. До 2 часов... Был у кн. Щерб<атовой>. Сквозь слезы смеется. Любит Лермонт<ова>...»

Май 12. Запись в дневнике А. И. Тургенева: «...После обеда в Петровское к Мартыновым... Несмотря на дождь, поехали в Покровское — Глебово, ...возвратились к Мартыновым — пить чай и сушиться. Лермонтов любезничал и уехал».

Первая половина мая. Проездом на Кавказ Лермонтов задерживается в Москве. Часто встречается с Ю. Ф. Самариным, в семье Мартыновых знакомится с А. В. Мещерским, несколько вечеров проводит у Н. Ф. Павлова и Свербеевых. Бывает в кружке московских славянофилов. Больше других Лермонтову понравился Хомяков. По словам Ю. Ф. Самарина, «Лермонтов сделал на всех самое приятное впечатление».

Май 14. Дата цензурного разрешения «Отечественных записок», № 5, где напечатано стихотворение «Воздушный корабль», подписанное «М. Лермонтов». В том же номере без подписи напечатана первая статья Белинского о «Герое нашего времени».

Май 19. Запись в дневнике А. И. Тургенева: «...в Петровское, гулял с гр. Зубовой... Цыгане, Волковы, Мартыновы: Лермонтов».

Май 22. Запись в дневнике А. И. Тургенева: «...в театр, в ложи гр. Броглио и Мартыновых, с Лермонтовым; зазвали пить чай и у них с Лермонт<овым> и с Озеров<ым> кончил невинный вечер; весело...»

Май 25. В «Литературной газете» № 42 помещена рецензия на «Героя нашего времени».

Письмо Е. М. Мартыновой, писанное из Москвы к сыну Николаю, в котором говорится о том, что Лермонтов еще в городе и почти каждый день посещает ее дочерей, находящих большое удовольствие в его обществе.

Последние числа мая. Отъезд Лермонтова из Москвы на Кавказ. Вечер у писателя Н. Ф. Павлова и его жены поэтессы и переводчицы Каролины Павловой. Ю. Ф. Самарин писал: «Он уехал грустный. Ночь была сырая. Мы простились на крыльце».

Первые числа июня. По пути на Кавказ Лермонтов заезжал в Новочеркасск к генералу М. Г. Хомутову: он прожил у него три дня и каждый день бывал в театре.

Июнь 10. Лермонтов приехал в Ставрополь, в главную квартиру командующего войсками Кавказской линии и Черномория генерал-адъютанта П. Х. Граббе.

Июнь 12(24). Резко отрицательный отзыв Николая I о Лермонтове и его романе «Герой нашего времени» в письме к императрице.

Июнь 15. Вышли в свет «Отечественные записки», № 6, где напечатаны стихотворения «Отчего» и «Благодарность», подписанные «М. Лермонтов». В той же книжке начата публикация статьи В. Белинского (без подписи) о «Герое нашего времени».

Июнь 17. Лермонтов в письме А. А. Лопухину из Ставрополя сообщает о том, что на следующий день едет в действующий отряд на левый фланг в Чечню «брать пророка Шамиля».

Июнь 18. Лермонтов командирован на левый фланг Кавказской линии для участия в экспедиции, в отряде под начальством генерал-лейтенанта А. В. Галафеева.

Июнь 21. Издатель и редактор «Отечественных записок» А. А. Краевский обратился с письмом к цензору А. В. Никитенко, в котором просил «благословить... к напечатанию отдельной книжкой» сборник стихотворений Лермонтова. Никитенко не

решился взять на себя ответственность по выпуску сборника стихов опального поэта и после ряда напоминаний Краевского перенес это дело на рассмотрение Цензурного комитета.

Июль 6. Отряд, в котором находился Лермонтов, выступил из лагеря при крепости Грозной.

Июль 7. Лермонтов вместе с отрядом после ночевки в Дуду-Юрте через Б Атагу выступил к Чах-Гери.

Июль 8. Отряд, в котором находился Лермонтов, выступил с рассветом из деревни Чах-Гери к Гойтинскому лесу.

Июль 9. Дневка в лагере при Урус-Мартане.

Июль 10. Переход из лагеря при Урус-Мартане к деревне Гехи.

Июль 11. Отряд выступил из лагеря при дер. Гехи. Бой при реке Валерик. «Тенгинского пехотного полка поручик Лермонтов, во время штурма неприятельских завалов на реке Валерик, имел поручение наблюдать за действиями передовой штурмовой колонны и уведомлять начальника отряда об ее успехах, что было сопряжено с величайшею для него опасностью от неприятеля, скрывавшегося в лесу за деревьями и кустами. Но офицер этот, несмотря ни на какие опасности, исполнял возложенное на него поручение с отменным мужеством и хладнокровием и с первыми рядами храбрейших ворвался в неприятельские завалы» («Журнал военных действий на левом фланге Кавказской линии», см. сентября 12).

Июль 12. Лермонтов принимает участие в перестрелке при сожжении деревни Ачхой.

Июль 13. Лермонтов принимает участие в перестрелке при следовании отряда из лагеря на реке Натахи, через деревню Чильчихи, в Казах-Кичу, на левый берег реки Сунжи.

Июль 14. Лермонтов принимает участие в перестрелке при следовании отряда из лагеря на реке Сунже в крепость Грозную.

Дата цензурного разрешения «Отечественных записок», № 7, где напечатаны стихотворения «Молитва» («Я, матерь божия. .») и «Из Гете» («Горные вершины...»).

Июль 19. Письмо Ю. Ф. Самарина к кн. И. С. Гагарину о встречах с Лермонтовым в Москве весной 1840 г. и о проезде через Москву на юг всего «Кружка шестнадцати».

Август 13. Цензурный комитет разрешил сборник «Стихотворения М. Лермонтова».

Август 15. Письмо А. А. Краевского к А. В. Никитенко, в котором Краевский благодарит за разрешение к изданию сборника

«Стихотворения М. Лермонтова» и просит дополнительно разрешить к набору «три маленькие пьески Лермонтова, напечатанные в 6-й и 7-й книжках «Отечественных записок», — речь идет о стихотворениях: «Отчего», «Благодарность» и «Из Гете» («Горные вершины...»).

Сентябрь 12. Письмо Лермонтова из Пятигорска к А. А. Лопухину в Москву с описанием битвы при Валерике.

Сентябрь 14. Дата цензурного разрешения «Отечественных записок», № 9, где напечатано стихотворение «Ребенку» («О грезах юности томим воспоминаньем...»), подписанное «М. Лермонтов».

Сентябрь 26. Отряд генерал-лейтенанта А. В. Галафеева выступил из крепости Грозной через Ханкальское ущелье к реке Аргуну. Лермонтов был прикомандирован к кавалерии отряда.

Октябрь 10. После того, как выбыл из строя раненый юнкер Руфин Дорохов, Лермонтов принял от него начальство над «охотниками» числом в сорок человек, выбранными из всей кавалерии.

Октябрь 12. Лермонтов на фуражировке за Шали, «пользуясь плоскостью местоположения, бросился с горстью людей на превосходного числом неприятеля и неоднократно отбивал его нападения на цепь наших стрелков и поражал неоднократно собственною рукою хищников».

Октябрь 15. Лермонтов «с командою первый прошел Шалинский лес, обращая на себя все усилия хищников, покушавшихся препятствовать нашему движению, и занял позицию в расстоянии ружейного выстрела от опушки. При переправе через Аргун он действовал отлично... и, пользуясь выстрелами наших орудий, внезапно кинулся на партию неприятеля, которая тотчас же ускакала в ближайший лес, оставив в руках наших два тела».

Октябрь 15. Вышли в свет «Отечественные записки», № 10, где напечатано стихотворение «А. О. Смирновой» («Без вас хочу сказать вам много...»), подписанное «М Лермонтов».

Октябрь 25. Вышел в свет сборник «Стихотворения М. Лермонтова, Спб. В типографии Ильи Глазунова и К°. 1840» (1000 экз).

Вторая половина октября. Лермонтов в крепости Грозной после двадцатидневной экспедиции в Чечне. Письмо к А. А. Лопухину.

Октябрь 27. Отряд генерал-лейтенанта А. В. Галафеева выступил из крепости Грозной во вторую экспедицию по направлению к Алды Лермонтов «первый открыл отступление хищников из аула Алды».

Октябрь 28. После ночевки под аулом Алды отряд двинулся по Гойте к Гойтинскому лесу и под вечер занял Урус-Мартан. При переходе через Гойтинский лес Лермонтов «первый открыл завалы, которыми укрепился неприятель и, перейдя тинистую речку... выбил из леса значительное скопище».

Октябрь 29. Лермонтов, отряженный с командою к отряду генерал-лейтенанта А. В. Галафеева, действовал «всюду с отличною храбростью и знанием военного дела».

Октябрь 30. «При речке Валерик поручик Лермонтов явил новый опыт хладнокровного мужества, отрезав дорогу от леса сильной партии неприятельской, из которой малая часть только обязана спасением быстроте лошадей, а остальная уничтожена».

Октябрь 30. В «Северной пчеле» № 246 напечатана статья Ф. Булгарина о «Герое нашего времени».

Ноябрь 9. Лермонтов в Ставрополе.

Ноябрь 9—20. Во время второй экспедиции в Малой Чечне Лермонтов все время находился при генерал-лейтенанте А. В. Галафееве.

Декабрь 11. Военный министр А. И. Чернышев сообщил командиру Отдельного Кавказского корпуса, что Николай I разрешил предоставить Лермонтову отпуск в С.-Петербург сроком на два месяца.

Декабрь 14. Вышли в свет «Отечественные записки», № 12, где напечатано стихотворение «К портрету» («Как мальчик кудрявый, резва...»), подписанное «М. Лермонтов».

Декабрь 16 и 17. В «Северной пчеле» № 284—285 в форме письма к Ф. В. Булгарину напечатан отзыв В. С. Межевича (подпись «Л. Л.») о «Герое нашего времени» и о первом издании «Стихотворений М. Лермонтова».

Декабрь 24. Рапорт командовавшего всей кавалерией действующего отряда на левом фланге Кавказской линии полковника князя Голицына командующему войсками на Кавказской линии и в Черномории генерал-лейтенанта Граббе с просьбой о награждении Лермонтова золотой саблей с надписью «За храбрость».

1841

Январь 1. Дата цензурного разрешения «Отечественных записок», № 1, где напечатано стихотворение «Есть речи — значенье...», подписанное «М. Лермонтов».

Январь 14. Лермонтову выдан отпускной билет на два месяца. Вероятно, в этот день он выехал из Ставрополя в Петербург.

Январь 30. Лермонтов прибыл с Кавказа в Москву.

Конец января. Свидание с генералом А. П. Ермоловым.

Первые числа февраля. Вышли в свет «Отечественные записки», № 2, где напечатано стихотворение «Завещание» («Наедине с тобою, брат...»), подписанное «М. Лермонтов». В этой же книжке статья В. Г. Белинского (без подписи) о сборнике «Стихотворения М. Лермонтова».

Февраль 5—8. Приезд Лермонтова в Петербург «на половине масленицы». Присутствие Лермонтова на балу у гр. А. К. Воронцовой-Дашковой признано властями неприличным и дерзким.

Февраль 8. Вечером Лермонтов был у В. Ф. Одоевского, к которому в 11-м часу вечера приехал и П. А. Плетнев.

Февраль 19. Дата цензурного разрешения второго издания «Героя нашего времени. Сочинение М. Лермонтова. Часть 1. Издание 2-е. Спб. В типографии Ильи Глазунова и К°. 1841». Тираж 1200 экз.

Февраль. Знакомство Лермонтова с гр. Е. П. Ростопчиной.

Вторая половина февраля. Письмо Лермонтова к А. И. Бибикову, в котором он между прочим сообщал, что его вычеркнули «из Валерикского представления».

Февраль 27. Лермонтов был у Карамзиных, где его застал приехавший в 11 часов П. А. Плетнев.

Февраль 28. Дата цензурного разрешения «Отечественных записок», № 3, где напечатано стихотворение «Оправдание», подписанное «М. Лермонтов».

Март 5. Рапорт командира Отдельного Кавказского корпуса с просьбой наградить Лермонтова за участие в экспедиции в Малой Чечне с 27 октября по 6 ноября 1840 г. 30 июня 1841 г. был получен отказ.

Март 11. А. А. Краевский пишет М. Н. Каткову за границу: «Здесь <то есть в Петербурге> теперь Лермонтов в отпуску и через две недели опять едет на Кавказ. Я заказал списать с него портрет Горбунову: вышел похож. Он поздоровел, целый год провел в драках и потому писал мало, но замыслил очень много». Далее Краевский пишет, что доктор Р. Липперт, известный переводчик произведений Пушкина, перевел на немецкий язык сти-

хотворение «Дары Терека», затем сообщает, что печатается второе издание «Героя нашего времени».

Март 13. Белинский пишет В. П. Боткину: «Лермонтов еще в Питере. Если будет напечатана его «Родина», то, аллах-керим, что за вещь: пушкинская, то есть одна из лучших пушкинских».

Февраль, март, первая половина апреля. Е. П. Ростопчина рассказывает: «Три месяца, проведенные... Лермонтовым в столице, были... самые счастливые и самые блестящие в его жизни. Отлично принятый в свете, любимый и балованный в кругу близких, он утром сочинял какие-нибудь прелестные стихи и приходил к нам читать их вечером. Веселое расположение духа проснулось в нем опять, в этой дружественной обстановке, он придумывал какую-нибудь шутку или шалость, и мы проводили целые часы в веселом смехе благодаря его неисчерпаемой веселости. Однажды он объявил, что прочитает нам новый роман под заглавием «Штос»... Неисправимый шутник заманил нас первой главой какой-то ужасной истории, начатой им только накануне; написано было около двадцати страниц, а остальное в тетради — белая бумага».

Начало апреля. Вышли в свет «Отечественные записки», № 4, где напечатано стихотворение «Родина», подписанное «М. Лермонтов».

В этом же номере «Отечественных записок» извещение: «Герой нашего времени». Сочинение М. Ю. Лермонтова, — принятый с таким энтузиазмом публикою, теперь уже не существует в книжных лавках; первое издание его все раскуплено; приготовляется второе издание, которое скоро должно показаться в свет: первая часть уже отпечатана. Кстати, о самом Лермонтове: он теперь в Петербурге и привез с Кавказа несколько новых прелестных стихотворений, которые будут напечатаны в «Отечественных записках». Тревоги военной жизни не позволили ему спокойно и вполне предаваться искусству, которое назвало его одним из главнейших жрецов своих; но замышлено им много и все замышленное превосходно. Русской литературе готовятся от него драгоценные подарки».

Март — первая половина апреля. Стихотворение в альбом С. Н. Карамзиной «Любил и я в былые годы...»

Март — первая половина апреля. Попытка Лермонтова выйти в отставку, посвятить себя литературной деятельности и издавать свой журнал.

Апрель около 11 числа. Дежурный генерал Главного штаба граф П. А. Клейнмихель вызвал Лермонтова и сообщил ему предписание в 48 часов покинуть Петербург и отправиться на Кавказ в Тенгинский полк. От Клейнмихеля Лермонтов приехал к Краевскому.

Апрель 12. Вечером у Карамзиных проводы Лермонтова.

Апрель 13. Надпись князя В. Ф. Одоевского на альбоме, подаренном Лермонтову при отъезде его на Кавказ: «Поэту Лермонтову дается сия моя старая и любимая книга с тем, чтобы он возвратил мне ее сам и всю исписанную. К<нязь> В. Одоевский, 1841, апреля 13-е. СПБург».

Апрель 13—14. Прощальная записка А. А. Краевскому.

Апрель 14—15. Отъезд Лермонтова из Петербурга в Москву.

Апрель 17. Лермонтов прибыл в Москву.

Апрель 19—20. Письмо Лермонтова к Е. А. Арсеньевой о том, что он остановился у Дмитрия Григорьевича Розена и пробудет в Москве несколько дней.

Апрель 20-е числа. Встреча Лермонтова с Ю. Ф. Самариным. Самарин записал мнение Лермонтова о современном состоянии России: «Хуже всего не то, что известное количество людей терпеливо страдает, а то, что огромное количество страдает, не сознавая этого». Далее Самарин сообщает, что он был с Лермонтовым на народных гуляниях под Новинском.

Апрель, между 17 и 23 числами. Встреча Лермонтова в Москве с немецким поэтом и переводчиком Ф. Боденштедтом.

Около 23 апреля. За полчаса до отъезда из Москвы на Кавказ Лермонтов пришел проститься с Ю. Ф. Самариным, принес ему для «Москвитянина» стихотворение «Спор» и просил напечатать его «просто без всяких примечаний от издателя, с подписью его имени».

Около 23 апреля. Лермонтов выехал из Москвы в Ставрополь.

Апрель, между 25 и 30 числами. По пути на Кавказ Лермонтов встретился в Туле с товарищем по Школе гвардейских подпрапорщиков и кавалерийских юнкеров А. М. Меринским. В это время в Туле уже находился Алексей Аркадьевич Столыпин (Монго), выехавший из Москвы в Тифлис 22 апреля. Лермонтов и Столыпин обедали у Меринского. Затем Лермонтов отправился в путь вместе со Столыпиным и заехал с ним к М. П. Глебову в его имение Мишково, Мценского уезда, Орловской губернии.

Май 1. Дата цензурного разрешения «Отечественных записок», № 5, где напечатано стихотворение «Последнее новоселье», подписанное «М. Лермонтов».

Май 3. Дата цензурного разрешения второго издания «Героя нашего времени». Сочинение М. Лермонтова, ч. II, Спб. В типографии Ильи Глазунова и К°. 1841».

Май 9. Лермонтов прибыл в Ставрополь и был прикомандирован к отряду, действующему на левом фланге Кавказа для участия в экспедиции.

Май 9—10. Письмо Лермонтова к Е. А. Арсеньевой о приезде со Столыпиным в Ставрополь и о предполагающейся поездке в крепость Темир Хан Шуру, где находился его полк.

Май 10. Письмо Лермонтова к С. Н. Карамзиной.

Май 12. Лермонтов встречает в Георгиевске ремонтера Борисоглебского уланского полка П. Магденко и решает с ним и А. А. Столыпиным отправиться в Пятигорск.

Май 13. Приезд Лермонтова в Пятигорск.

Май 12 или 19 в понедельник. Ю. Ф. Самарин посылает М. П. Погодину стихотворение Лермонтова «Спор».

Конец мая. Вышли в свет «Отечественные записки», № 6, где напечатано стихотворение «Кинжал», подписанное «М. Лермонтов».

Май 31. Дата цензурного разрешения журнала «Москвитянин», ч. III, № 6, где напечатано стихотворение «Спор», подписанное «М. Лермонтов».

Июнь 13. Рапорт Лермонтова, поданный командиру Тенгинского полка полковнику С. И. Хлюпину о том, что он, отправляясь в отряд командующего войсками на Кавказской линии и в Черномории генерал-адъютанта Л. Х. Граббе, заболел по дороге лихорадкой и получил от Пятигорского коменданта позволение остаться в Пятигорске впредь до излечения.

Июнь 28. Письмо Лермонтова к Е. А. Арсеньевой из Пятигорска, в котором он просит прислать ему на Кавказ полного Жуковского и Шекспира «по-английски» и сообщает о намерении проситься в отставку.

Лето. А. С. Хомяков в письме к Н. М. Языкову пишет: «В «Москвитянине» был разбор Лермонтова Шевыревым, и разбор не совсем приятный, по-моему несколько несправедливый. Лермонтов ответил очень благоразумно: дал в «Москвитянин» славную пьесу, Спор Шата с Казбеком, стихи прекрасные».

Июнь 30. Дежурный генерал Главного штаба граф П. А. Клейнмихель сообщил командиру Отдельного Кавказского корпуса генералу Е. А. Головину о том, что Николай I, «заметив, что поручик Лермонтов при своем полку не находился, но был употреблен в экспедиции с особо порученною ему казачьею командою, повелеть соизволил... дабы поручик Лермонтов непременно состоял налицо во фронте и чтобы начальство отнюдь не осмеливалось ни под каким предлогом удалять его от фронтовой службы в своем полку».

Июль 8. Вечером Лермонтов и его друзья дали пятигорской публике бал в гроте Дианы возле Николаевских ванн.

Июль 13. Столкновение между Лермонтовым и Мартыновым на вечере в доме Верзилиных.

Июль 14. Поездка Лермонтова в Железноводск.

Июль 15. Утром к Лермонтову в Железноводск из Пятигорска приехали в коляске Обыденная и Екатерина Быховец, которых сопровождали верхами юнкер К. К. Бенкендорф, И. И. Дмитревский и Л. С. Пушкин. Пикник в шотландской колонии Каррас. После обеда в колонии, между 6—7 часами вечера, дуэль Лермонтова с Николаем Мартыновым у подножия Машука. При этом присутствовали кн. А. И. Васильчиков и М. П. Глебов, фигурировавшие в следственном деле в качестве секундантов, а также А. А. Столыпин и С. Л. Трубецкой. Гроза. Лермонтов убит Мартыновым. Поздно вечером тело поэта перевезено в Пятигорск в дом Чиляева, где Лермонтов жил вместе с А. А. Столыпиным.

Июль 16. Осмотр места поединка Лермонтова с Мартыновым следственной комиссией. Художник Шведе зарисовал Лермонтова в гробу.

Июль 17. Медицинский осмотр тела Лермонтова. Погребение на Пятигорском кладбище. Запись в метрической книге Пятигорской Скорбященской церкви за 1841 г., часть III, № 35. «Тенгинского пехотного полка поручик Михаил Юрьев Лермонтов 27 лет убит на дуэли 15 июля, а 17-го погребен, погребение пето не было».

СПИСОК ИЛЛЮСТРАЦИЙ

СОДЕРЖАНИЕ

ПРОИЗВЕДЕНИЯ

1833—1841 гг.

ПРИЛОЖЕНИЯ

ПИСЬМА

ПОПРАВКИ

Стр.	стр. св.	Напечатано	Следует читать
		т. 1	
9	12	Недаром	Не даром
318	17	За мной	За мой
343	18	И ты, послушный	И ты, покорный
343	23	Такие	Таким

т. 3

В части тиража третьего тома по техническим причинам неверно указаны в «Списке иллюстраций» страницы.

Следует читать:

Стр. 208. Рисунок Лермонтова: испанец с фонарем и католический монах. Акварель. 1830—1831. Государственная публичная библиотека им. М. Е. Салтыкова-Щедрина. Ленинград.

Стр. 209. Испанец. Акварель Лермонтова. 1837. ИРЛИ АН СССР.

Стр. 240. Рисунки Лермонтова из тетради юнкерского периода. Карандаш. ИРЛИ АН СССР.

Стр. 241. Рисунок Лермонтова: молодая женщина и старуха. Итальянский карандаш. ИРЛИ АН СССР.

Стр. 304. Рисунки Лермонтова пером на шмуцтитуле книги «Краткое изображение...». Государственный литературный музей. Москва.

Стр. 305. Рисунок Лермонтова. Перо. ИРЛИ АН СССР.

Стр. 336. Бивуак Лейб-гвардии гусарского полка под Красным Селом. Акварель Лермонтова. 1835. Государственная библиотека СССР им. В. И. Ленина. Москва.

Стр. 337. Рисунки Лермонтова. Акварель. ИРЛИ АН СССР.

Михаил Юрьевич Лермонтов
Собр. соч., т. 4.

Редактор *С. Розанова*
Художественный редактор *И. Жихарев*
Технический редактор *М. Позднякова*
Корректор *Е. Козлова*

Сдано в набор 3/IX 1957 г.
Подписано к печати 18/II 1958 г.
Бумага $84\times108^{1}/_{32}$ — 18,63 печ. л.=30,55 усл. печ. л.
28,769 уч.-изд. л.+8 вкл.=29,169 л. Тираж 430000 экз.
Заказ № 2465. Цена 10 руб.

Гослитиздат
Москва, Б-66. Ново-Басманная, 19

Типография № 2 им. Евг. Соколовой
УПП Ленсовнархоза.
Ленинград, Измайловский пр., 29



